Ш Ве Л2
Ш-159

Иван Шамякин

АТЛАНТЫ И КАРИАТИДЫ

с(Бел)2
Ш-19.

Иван Шамякин

АТЛАНТЫ И КАРИАТИДЫ

РОМАНЫ

АТЛАНТЫ И КАРИАТИДЫ

●

СНЕЖНЫЕ ЗИМЫ

●

УРГАНЧ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ КУТУБХОНАСИ

Авторизованный перевод
с белорусского А. Островского

БИБЛИОТЕКА
Инв. № 184489
Ханский Гос. пед. институт
015782

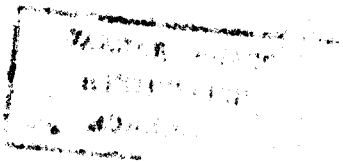
Москва, «Молодая гвардия», 1978

АТЛАНТЫ И КАРИАТИДЫ

РОМАН

С(Бел)2
Ш19

Второе издание



Оформление художника Ю. БАЖАНОВА
Иллюстрации художника Г. КАЛИНОВСКОГО

Ш $\frac{70303-144}{078(02)-78}$ без объявл.

© Издательство «Молодая гвардия», 1976 г.

I

Улица встретила неприветливо. Северный ветер резанул по лицу первым зарядом снежной крупы — коротким, как автоматная очередь. Изодранные ветром, стылые до свинцового блеска тучи стремительно неслись над городом, казалось, совсем низко — над крышами, над мачтами искусных литых светильников. Кстати, светильники эти сконструировал он, Карнач, и немало испортил крови и себе, и Аноху, и кой-кому еще, пока добился, чтоб завод взял заказ на их отливку.

В просветы меж туч смотрят звезды, по-зимнему яркие. Даже светильники, которые здесь, у подъезда дворца, льют на асфальт столько белого бестеневого света, хоть операцию делай, не ослабляют яркости звезд. Летом тут, у фонарей, звезд почти нельзя разглядеть.

Ветер срывал последние листья со старых лип и молодых каштанов и гнал их от сквера к гранитной лестнице главного подъезда. Днем шел дождь, спавшие раньше листья примерзли к асфальту, а те, что слетали сейчас, подсохли на деревьях и с шорохом катились через улицу в поисках затишка.

Обычно после таких больших собраний кто-нибудь предлагал поужинать, и набиралась немалая компания, которая сперва шумела в ресторане, а потом закатывалась к кому-нибудь домой — у кого жена поласковее и терпимее относится к ночным визитам.

Сегодня никто не пригласил. Одни прошмыгивали мимо, будто бы не видя, другие торопливо прощались, вежливо касаясь пальцами шляпы. И Максим вспомнил, как странно и непривычно ослабели ноги, когда спускался со сцены после самоотвода. Противное ощущение. И на миг как бы остановилось сердце, когда увидел, как дружно взлетели вверх руки — лес рук. Взлетели, казалось, с радостью, мстительно. Да, могли и мстить, особенно те, кому очень хотелось попасть в высокий орган, кто считал, что его незаслуженно обошли. Такие могли подумать: нашелся смельчак, цену себе набивает, рекламу делает. Когда объявили перерыв, многие стояли в проходе и пропускали тех, кто шел из первых рядов; он шел, и его бесцеремонно разглядывали, как, вероятно, разглядывали бы человека, совершившего подвиг или, наоборот, учинившего дебош.

Такое повышенное любопытство нервировало.

Анох, заведующий коммунальным отделом, с которым чаще, чем с кем-либо, приходилось сталкиваться по работе, громко и

грубо сказал в фойе: «Тебе не кажется, что ты плюхнул в лужу вот этим местом?» — и хлопнул себя по толстому заду.

Макоед схватил руку, сжал до боли. «Старик, жму твою мужественную руку. Признаюсь, я не отважился бы. Ты победил! Очко в твою пользу!»

А Витька Шугачев накинулся в туалете, когда он, Максим, помыв руки, причесывался перед зеркалом, любуясь, как хорошо выглядят белоснежные раковины на фоне черного кафеля.

«Прилизываешься, герой? — закричал Виктор, не обращая внимания на людей. — Что ты наделал, цыган ты несчастный?»

«А что я наделал?»

«Ты еще фиглярничаешь? Думаешь, фортуна всегда будет подставлять тебе напомаженную морду? Когда-нибудь она покажет тебе облезлую задницу».

Тогда, после Витькиного взрыва, подумал, что, пожалуй, что-то он сделал не так. Можно бы по-иному: сказать, например, Герасиму до конференции. Нет, не мог он сказать об этом свояку, потому что не знал, рекомендуют ли его. Давать себе отвод, не будучи выдвинутым, смешно, Игнатович мог подумать, что он таким манером напрашивается в состав комитета.

Теперь, когда знакомые проходили мимо, снова подумал, что своим самоотводом он как бы отдалил себя от определенного круга людей.

Человек легко поддается нахлынувшему настроению, когда свежие эмоции берут верх над тем, что установилось в результате долгих размышлений, многолетнего умственного труда, традиций, обычаев, воздействия постоянной среды. Не раз случалось, что уже на другой день он смеялся над своими вчерашними увлечениями, страхами, выводами или сомнениями, внезапными симпатиями и антипатиями.

Что будет завтра, увидим завтра. А сегодня здесь, под козырьком входа во дворец, на площадке, залитой ярким светом, он почувствовал себя неуютно, одиноко, ощутил холод и грусть. Куда пойти? С кем, к кому? Захотелось кинуться назад за стеклянные двери, в теплое фойе, в просторный, темный сейчас зал. Если б можно было, он с удовольствием остался бы здесь, хоть раз один на один со своим творением без комиссий, без шумной толпы — так, как оставался с ним долгими ночами, когда работал над проектом. Тогда он был полный и единоличный владелец дворца. Осмотреть бы не спеша все до мелочей, до деталей: как осуществлен его замысел строителями, что так, как он представлял еще четыре года назад, когда дворец существовал лишь в его воображении, а что не так, что сделано лучше, что хуже. Но тут же посмеялся над своим желанием. А зачем осматривать? Что он может изменить? Теперь уже хозяин не он, плодами его труда, таланта пользуется множество людей. В этом суть.

Вчера утром он шел сюда не без волнения. Всегда считал, что подлинную радость ему приносит лишь творческий процесс, а не

результат его. Однако вчера, как никогда раньше, ему хотелось посмотреть, как примут дворец первые посетители — партийный актив. Конечно, хотелось услышать слова одобрения, может быть, восторга. Посетители приняли просто, как и надлежит хозяевам: нынешний народ не удивишь ни объемами, ни отделкой внешней и внутренней, ни интерьером, ни освещением. А тех тонкостей, тех деталей, которые придают зданию архитектурную неповторимость и ставят его в ряд явлений искусства, потребитель обычно сразу не замечает. Нужно известное время, может быть, мнение специалистов, знатоков, и лишь потом придут школьники, студенты, приедут туристы и будут слушать гидов, разинув рты и высоко задрав головы, чтоб разглядеть своеобразный архитрав, фриз, капитель или еще какую-нибудь архитектурную деталь.

Оценки за два дня, пока шла конференция, он слышал разве что такие:

«Ничего домик отгрохали».

«Денег не жалели. Хорошие деньги — хорошее здание. Все нормативы превысили».

Да тот же Анох на вопрос одного из делегатов: «Где такую плитку достали? Импортная небось?» — ответил: «Будет у тебя свояк секретарь горкома, и ты достанешь».

Выразил свои чувства только один человек — начальник областного управления МВД полковник Курослепов. «Поздравляю... с таким дворцом. Это, — он широко развел руками, оглядывая фойе, — здорово! Москва может позавидовать. Два дня ловлю вас, чтоб поздравить».

Но было это после выдвижения кандидатур, и Максим хорошо помнил, что за два дня сталкивался с полковником много раз.

Дворец комиссия приняла с оценкой «отлично». Но больше говорили о строителях; никто не вспомнил, что все началось с его, Максима, бессонных ночей. Кроме коллег, разумеется. Виктор Шугачев предложил, чтобы на здании была указана фамилия архитектора. С ним согласились, но никто так и не заказал этой дощечки. Не заказывать же самому!

Через много лет историки только из архивов узнают фамилию автора. Подумал об этом и усмехнулся: славы захотелось! Не в пример некоторым своим коллегам он никогда подолгу не любовался объектом, построенным по его проекту. Чаще, неудовлетворенный и своей работой, и особенно работой строителей, ругался, потом, захваченный новым замыслом, скоро забывал и равнодушно проходил мимо своего творения.

Дворец построен лучше, чем все, что он делал до сих пор, поэтому, видно, и любуется он им дольше, и такие странные желания появляются.

Осторожно спускаясь по мокрым ступенькам — мал все же козырек, залетает дождь, — Максим сошел вниз на асфальт. И тут увидел Шугачева. Виктор стоял по ту сторону улицы, под каштанами, с поднятым воротником. Несомненно, ждал его, Максима.

Не делегат, он должен был покинуть зал еще перед голосованием. И вот ждет уже полтора часа. Даже издали видно: нос от холода посинел.

Доброе тепло разлилось в груди, как от стакана вина, выпитого на морозе. Стало хорошо и весело. Молодчина Витька! И если ты опять начнешь кричать и ругаться, черт с тобой, это даже забавно, можно будет посмеяться и подразнить тебя.

Шугачев вышел из тени каштана и, не говоря ни слова, зашагал рядом, отвернув воротник пальто. С мальчишеским озорством, которое все больше им овладевало, Максим решил тоже помолчать — подождать, как, с чего начнет разговор друг.

Виктор сказал:

— Идем ко мне, поужинаем.

Доброе тепло вдруг подступило к горлу сладко-соленым комком, на миг перехватило дыхание.

Максим остановился, повернулся к Шугачеву. Тот, должно быть, догадался, что может услышать что-нибудь сентиментальное, чего они оба не любят, спросил грубо-насмешливо:

— Обо что споткнулся? Не смотри на меня как на балерину, антраша я тебе не выкину!

— Витя! Давай без намеков, — засмеялся Максим.

Какие там намеки. Безо всяких намеков. Шугачев высказал уже свое мнение и может выпустить еще не один залп тяжких и горячих слов. Но он был не из тех, кто машет после драки кулаками. Зачем? Лучше спокойно обмозговать возможные последствия того, что случилось, — вот чего хотелось ему. Он не сомневался, что неожиданный, непонятный шаг Карнача не может не иметь последствий, разумеется, нежелательных, которые не помогут, а лишь помешают им.

Они вышли на центральную улицу напротив большого, на полквартала, залитого светом гастронома.

— Зайдем сперва сюда, — предложил Максим.

— Пожалуй, надо, — согласился Шугачев. — Дома ничего не держим. Игорь, бездельник, прикладывается.

— Родительская наивность. Думаете, вы таким образом убережете его от прикладывания? Ему же не пятнадцать, а двадцать пять.

— Скажи, пожалуйста, все, кого балует судьба, так витают в облаках?

Максим не понял, какая связь между его замечанием об Игоре и словами Виктора о витании в облаках. Но они подошли к винному отделу, где в этот вечерний час стояла изрядная очередь, и философствовать тут было неуместно.

— Коньяк? — спросил Максим.

— На коньяк у меня не хватит штанов, — раздраженно и громко сказал Шугачев.

— Я же с тебя штаны не снимаю, — тихо упрекнул друга Максим. Очередь обернулась к ним. С доброжелательными улыбками

посмотрели на Шугачева и хмуро — на Максимово новое пальто и шляпу.

Из винного отдела Максим направился к колбасному.

Шугачев, который любил вкусно поесть, нерешительно отговаривал:

— Не надо, Максим. Выдаст Поля и тебе и мне, что ты несешь не только выпивку, а и закуску. Обижает это ее.

— Стареешь ты, Витя.

— Почему?

— Делить начинаешь на мое и твое. Раньше мы делили? Зачем Поле знать детали?

Виктор вздохнул.

— А вообще — стареем.

Молодая женщина из очереди обернулась, оглядела их обоих совсем другими глазами, чем те, в винной очереди, улыбнулась то ли их словам, то ли своему заключению об их возрасте и виде.

Выйдя из гастронома, Максим сказал:

— Никак я не доберусь до этого магазина.

— В смысле?

— Предложить им новый интерьер. Для самообслуживания у них все спланировано бездарнейшим образом. Какой-то чиновник поставил одну-единственную цель — контроль. Все остальное не помогает покупателям и продавцам, а мешает.

— Какой только мурой ты не забиваешь себе голову!

— Какая же это мура, Витя? Это культура города. Эстетика, условия быта...

— Но я в первый раз слышу, чтоб главный архитектор расставлял прилавки.

— Кроме всего прочего, я здесь постоянный покупатель. И я люблю свой город. Равнодушие — примета лености ума, дорогой коллега.

— Пора торговцам иметь своих дизайнеров.

— Сперва надо растолковать им, что это за звери такие.

— А я ненавижу самообслуживание. Видно, морально к нему не подготовлен. Вот сейчас... Я ничего не купил, а на контроле толстая баба обшаривает взглядом мои карманы. Противно и обидно. Начинаешь чувствовать себя вором. И хочется в самом деле что-нибудь стащить. Когда-нибудь суну-таки в карман банку хрена или горчицы.

Максим засмеялся. Потом подумал, что Шугачев во всем проявляет свою натуру. Архитектор он не хуже его, может быть, даже лучше, вкладывает в работу всю душу. А вот из-за того, наверное, что, кроме своего проекта, ничего больше вокруг не видит и не хочет видеть, что не хватает ему широты мышления, размаха, а главное — смелости, прописан на всю жизнь в рядовых.

В одном Карнач завидовал Шугачеву — его семье. Подшучивал над его усердием: пятеро детей! В наше время это подвиг.

Но любил шугачевских ребят, шумных, веселых, внешне как будто не очень воспитанных, а на самом деле добрых и душевных, как родители. И особенно любил хозяйку. Для Поли весь смысл жизни — в заботе о детях и о людях вообще.

За много лет Максим никак не мог уяснить своего отношения к квартире Шугачевых. Эстет, человек с тонким чувством соразмерности, пропорции, он терпеть не мог плохой мебели, разнокалиберной, неуклюжей, непродуманных интерьеров. Особенно его возмущали разнобой и безвкусица в квартирах коллег, прямая обязанность которых — воспитывать хороший вкус у других.

В квартире Шугачевых мебель была самого низкого качества, устарелых фасонов, собранная с бору по сосенке: заводилась лишняя копейка — покупали новый стол или диван. Три комнаты, в которых жили семь человек, постепенно загромождались вещами. На шкафах лежали чемоданы, книги, между ними или на них фотоувеличители, чертежные доски, рейсшины, угольники, боксерские перчатки. В узком коридоре на вешалке всегда висело штук пятнадцать пальто и плащей, под вешалкой стояло столько же, если не больше, пар обуви, довольно поношенной и не всегда почищенной. В туалете Максим с опаской поглядывал на двое санок, подвешенных над самой головой, казалось, не слишком прочно. Тут же стояли три пары лыж и две раскладушки.

Проектируя жилье или утверждая проекты, они, архитекторы, ломают голову, как разгрузить квартиры от лишних вещей — вещей сезонного назначения. В собственной квартире Шугачеву ничего не придумать. В их доме нет ни стенных шкафов, ни сарайчиков, куда б можно было вынести санки и лыжи. Шугачев не раз жаловался на это и ругал своего коллегу — автора проекта дома. А Поля даже перед ним, Максимом, старым другом семьи, каждый раз чувствовала неловкость за беспорядок в квартире, просила извинения.

Но — странно и необъяснимо! — эстет, борец за наилучший дизайн, нигде — ни в собственной, стильно обставленной квартире, ни у других, ни в богатых гостиничных и санаторных апартаментах — не чувствовал себя Максим так уютно, как тут, у Шугачевых. Такое непонятное чувство путало все представления, сложившиеся в результате поисков оптимальных архитектурных дизайнерских решений, которые должны украшать человеческую жизнь. Что же, в конце концов, ее украшает, черт возьми? Мебель? Картины? Оригинальный интерьер? Чистота? Или этот вот кавардак?

Только Шугачев сунул ключ в замочную скважину, как за дверью радостно закричали:

— Мама! Папка пришел!

— Узнает по почерку, — довольно засмеялся Шугачев. — У всех взрослых есть ключи, но меня Катька ни с кем не путает.

В прихожей перед дверью, как на посту, стояла пятилетняя Катя.

Увидев, что отец не один, захлопала в ладошки.

— Максим пришел! Максим пришел!

— Эй, милая, ты с кем побраталась? Надо говорить «дядя Максим».

Но Катька уже подлетала до потолка и визжала от удовольствия на весь дом. Очутившись на полу, девчушка захотела отблагодарить за такую радость дядю Максима. Для этого надо сказать ему что-нибудь приятное. Что? И она вспомнила событие недельной давности и сообщила с радостным блеском в глазах, уверенная, что гостю услышать это — самое большое удовольствие:

— А я видела тетю Дашу! Она ехала в машине.

Максима будто холодной водой обдало. На какой-то миг он даже растерялся. Как принять это наивное, от всей души детское сообщение? Спросить: на какой машине? С кем? Когда? Но такими расспросами можно унизить себя перед старшими Шугачевыми.

Странно, выходит, он все еще ревнует? Да нет, давно уже он не ревновал. Да и причины не было. Причина в другом.

Хозяйка вышла из кухни, окутанная аппетитным запахом, увидела его мгновенную растерянность, поняла ее и тут же отправила девчушку в столовую, должно быть, испугавшись, что дочка с самыми благими намерениями может по-детски сказать что-нибудь неуместное.

Обычно Максим был благодарен Поле за ее тонкую женскую деликатность. Но тут ему стало горько. Ранило не то, что Шугачевы знают его тайну. Ничего удивительного. Да и тайны нет. От кого другого он мог таиться, а от Шугачевых скрывать свои отношения с женой он не мог, да и ни к чему. Наконец, надо с кем-то посоветоваться. А с кем? Разумеется, с Виктором и Полей.

Неприятно стало от мысли, что Поля как будто жалеет его. Подумал, что, может быть, поэтому Виктор и ждал его полтора часа у дворца. Такая жалость как бы бросала тень на их дружбу, принижала ее. Максим с благодарностью отзывался на человеческую доброту, но с детства ненавидел, когда его жалели. Хотя, пожалуй, и не это вызвало протест и даже немного испугало — не унижение жалостью. Другое. Мысль, что в такой ситуации, когда Поля уже догадывается, он в ответ на их доброту как бы обязан рассказать им обо всем. А сегодня ему не хотелось говорить о своей боли ни с кем. Должно быть, он не был еще готов к такой исповеди. На счастье, Катька ничего больше не выдала. Мало ли на какой машине могла ехать тетя Даша! Максим, здороваясь, шутливо обнял хозяйку.

— Меряю, насколько ты пополнела.

— Неправда, я уже худею.

— Мама не ест хлеба, — приоткрыв дверь, сообщила Катька, как будто мама совершала подвиг, о котором надо объявить на весь мир.

Рассмеялись. Отец погрозил:

— Катя, сколько учу тебя не выдавать семейные тайны!

Естественно, что, родив пятерых детей, последнего в сорок четыре года, Поля располнела. Но это была красивая полнота зрелой женщины. Максим всегда любовался ее руками. Никогда они не знали никаких маникюров, только труд, труд нелегкий, но были на удивление красивы — белые, пухлые, с ямочками, как у ребенка.

— Идите в столовую, — сказала Поля. — Сейчас подам на стол.

Функциональное, как говорят архитекторы, назначение комнат в квартире Шугачевых было весьма условно, потому что спали, к примеру, во всех трех комнатах, но семья твердо придерживалась названий, которые бытовали в других многокомнатных квартирах: столовая, спальня, детская. «Спальня» одновременно служила хозяину кабинетом и была завалена его проектами. В «детской» спали дети — девочки. Но в другое время младших туда не пускала старшая сестра, студентка, там она портила глаза над чертежами. Шугачевы — династия архитекторов. Сын Игорь — архитектор. И дочка учится в архитектурном.

Максим завидовал товарищу, что тот — неведомо каким способом, какими средствами — воспитал в детях любовь к своей профессии. Это редко случается. У музыкантов чаще. У писателей, художников, архитекторов очень редко.

— Вера дома?

— Дома.

— Занимается?

— Занимается, — Полина почему-то вздохнула.

— Тогда на кухню. Не будем никому мешать.

— Ой, у меня там такое творится! — испугалась хозяйка, но особенно протестовать не стала: ради спокойствия дочки можно и покраснеть за беспорядок на кухне, не беда, Максим свой человек. А может быть, догадывалась, что гостю нравится у них на кухне. Это было уже совсем непонятно самому Максиму — он любил кухню Шугачевых, тесную, примитивно обставленную и загроможденную всякой всячиной.

Поля первая поспешила на кухню, быстро стащила с блестящей медной проволоки Катькины штанишки. На этой же проволоке в углах висели большие вязанки крупного янтарного лука, поменьше — чеснока и пучки каких-то трав. На кухне пахло всем богатством земли и добрым человеческим жильем.

На плите варилась картошка, кипела, даже крышка подпрыгивала на кастрюле, вырывался аппетитный пар.

У двери на балкон стояла большая бочка, прикрытая чистой скатертью.

— Пока я соберу на стол, вы поработайте. Выкатите бочку с капустой на балкон, а то перекиснет, — сказала хозяйка.

— Удалась? — спросил Максим, зная по опыту многих лет,

что капуста у Шугачевых всегда отменная, даже и замерзшая, ведь хранить ее можно было только на балконе.

— Не знаю, как кому, а я ем, и еще есть хочется.

— Что-то тебя опять на кислое потянуло, — без улыбки пошутил Шугачев.

Поля залилась краской, как девочка.

— Бесстыдник ты, Витя!

Максим захохотал.

— А что? Подари, Поля, миру еще одного зодчего.

— Да нет, хватит уже. С этими зодчими замучилась, — она опять вздохнула.

Чтоб открыть дверь на балкон во всю ширину, иначе бочка не проходила, пришлось отодвинуть шкафчик с посудой. Да и над бочкой, в которой было пудов восемь капусты, покряхтели. Шугачев запыхался. А у Максима тут же возникла идея.

— Послушай. Если этот шкафчик втиснуть между плитой и стенкой? Войдет? — Он прикинул. — Войдет. А холодильник переставить к двери. Тогда стол можно поставить здесь. Будет просторнее и удобней хозяйке. Правда, Поля?

Шугачев почему-то разозлился на это предложение.

— Пошел ты к черту со своими интерьерами! Надоело. Дизайнер несчастный! — Слово «дизайнер» у Виктора уже давно стало бранным.

Хозяйка ужаснулась от такого обращения с гостем. Поблагодарил, называется, за помощь, за добрый совет.

— Витя! Ты ошалел! Как можно?

— Да ну его! У меня его идеи в печенке сидят, — сказал Шугачев и пошел в ванную мыть руки.

— Простите его, Максим, — попросила смущенная Поля.

— Не расстраивайся, пожалуйста. Что я, Витьки не знаю? Или впервые слышу от него такие речи?

— Перемываете косточки? Но не забудьте высушить! — уже весело крикнул из ванной Шугачев и, хлопнув дверью, пошел в комнату к детям, которых хозяйка выгнала из кухни, когда выкатывали бочку.

— Вы же знаете, какой он консерватор! Сколько я воюю, чтоб заменить кое-что из мебели. Люди беднее нас гарнитуры покупают. А он ни в какую. У него, видите ли, принцип, — она снова вздохнула и пожаловалась: — Трудно мне с ними, Максим. Каждый со своими выдумками. Верочка такая общительная была. Помогала мне и все институтские новости рассказывала. А теперь... Будто подменили девочку... Недели две уже. Замкнулась. Никому ни слова. По ночам плачет... Я ведь слышу. Может быть, вы, Максим, поговорили бы с ней. Она вам доверяет. Другу семьи дети иной раз расскажут то, чего не скажут родителям.

— А что, если я это сделаю сейчас?

Полина с благодарностью улыбнулась.

На его стук в дверь Вера ответила не сразу. Через минуту сама открыла и как будто удивилась, хотя, конечно, слышала его голос.

— Вы? Простите. А я думала, Катька дразнится. Вот не дает покоя.

— Добрый вечер, Вера.

— Добрый вечер.

— Можно войти?

— Пожалуйста.

Следом за ним вошла и Катька.

Вера взяла сестру за воротник и довольно невежливо выставила за дверь, повернула ключ.

Катька протестовала, стучала в дверь кулачками. Но вскоре затихла — мать молча увела ее на кухню.

Вера, видно, лежала до его прихода, потому что покрывало и подушка на диване были смяты. Там же валялась раскрытая книжка. На столе к чертежной доске приколот чистый лист ватмана.

Максим поднял с дивана книгу. «Дым» Тургенева.

Вера опустила глаза, как будто ее застали за чем-то недозволенным.

Максим подошел, положил руку на ее острое плечико. Девушка съежилась и еще ниже опустила голову, уставилась в его ботинки.

— Вера! С самого твоего детства мы с тобой друзья. Правда?

Она чуть заметно кивнула.

— Мне будет горько, если с твоим повзрослением придет конец нашей дружбе. Это не самая лучшая черта — запираться от близких, от друзей.

— Я запираюсь от Катерины.

— Вера, не хитри. Посмотри мне в глаза.

Она подняла голову, посмотрела на него, попыталась улыбнуться.

— Боже мой! Что это за глаза?!

— А что? — испугалась Вера.

— Почему в них столько печали? Из-за чего? Какая беда стряслась?

Ясная, прозрачно-лазурная глубина вмиг затуманилась слезами. Девушка прижала к глазам пальцы, будто испугавшись, что слезы вот-вот брызнут фонтаном.

— Что случилось, Верунька? — шепотом, очень душевно и мягко спросил Максим. И девушка уткнулась лицом ему в грудь, прошептала:

— Беда, дядя Максим.

Он не спросил, какая беда. Не спугнуть бы этого птенчика. Ждал. Раз начала, доскажет. Да, нелегко ей было решиться на такое признание, хотя, наверно, скрывать было еще тяжелей. Надо было преодолеть и страх, и стыд.

Снизу глянула ему в лицо уже сухими и горячими до лихорадочного блеска глазами.

— А вы... вы не скажете нашим?

— Ты же знаешь, я из разговорчивых, но умею и молчать.

Вера поднялась на цыпочки, должно быть, хотела дотянуться до уха, не дотянулась, прижалась к шее и не прошептала, нет, Максим не услышал — почувствовал кожей, сонной артерией, как из горячих губ ее вырвались слова:

— У меня... будет... ребенок...

Так просто было догадаться! Какая еще могла случиться беда с восемнадцатилетней девушкой? Но — странно! — если б у Максима были не минуты, а часы и дни на размышление и разгадку Вериной тайны, он, вне всякого сомнения, припомнил бы сто человеческих бед, но об этой не подумал бы, как, наверно, не подумала и мать. Он знал Веру с пеленок, и она все еще оставалась в его представлении ребенком, девочкой.

Максима охватило странное чувство — какой-то страх перед ответственностью за чужую судьбу. Он испытывал его разве что на войне, когда вел разведчиков в тыл врага. Сразу отступили собственные беды, показались мелкими и ничтожными по сравнению с тем, что, понимал он, переживало это юное, беспомощное существо. Можно себе представить, как у нее наболело, если она отважилась признаться ему, мужчине чуть ли не в три раза старше ее.

Вера отступила на шаг и смотрела на него с надеждой и страхом. Он понял, что даже секундная его растерянность может еще больше испугать ее и потушить последний огонек надежды на благополучный, достойный выход из такого положения.

— Он не хочет жениться? — шепотом спросил Максим.

Но Вере показалось, что он говорит слишком громко, она испуганно взглянула на дверь, хотя голоса родителей, ребят доносились откуда-то с кухни.

Максим взял ее за руку, усадил на диван, сам сел на стул напротив, лицом к лицу, как врач перед больной.

— Это тот каштановый красавец?

Карнач читал на старших курсах теорию архитектурной композиции и несколько раз встречал Веру с высоким красивым студентом. Еще тогда он подумал, что у Шугачевой недурной вкус, хотя, правда, и сама она девушка привлекательная — в мать, разве что ростом маловата, особенно рядом со своим другом.

Вера кивнула: он.

— Не хочет жениться?

— Нет, он хочет... Вадим... Он хороший. Но родители... Отец его сказал: женишься, забудь дорогу в мой дом. А он любит их и не может...

— Кто его отец?

— Он живет в Минске. В Госплане, кажется, работает.

— Считай, полбеды с плеч. С плановиками я здорово умею разговаривать. Они ведь должны все планировать. Свадьбы в том числе. Определи меня доверенным лицом, и я все улажу. Договорились?

— Договорились, — уже чуть веселей улыбнулась Вера и, как бы поверив, что есть какой-то выход, спасение, горячо зашептала, все еще опасливо поглядывая на дверь: — Дядя Максим, всю жизнь буду вам благодарна...

— На всю жизнь зарока не давай, дитя мое. Жизнь — дело долгое и сложное. Я одного друга сколько лет благодарил, а теперь проклинаю его услугу. То, что когда-то было добром, стало злом.

— Вам причинили зло? — сочувственно и встревоженно спросила девушка, готовая, в свою очередь, броситься на помощь.

Но за дверью загремел Шугачев:

— Максим! Где ты? Картошка стынет!

Полина смотрела на него, как смотрят на профессора, который только что выслушал ребенка, болезнь которого непонятна и потому страшна для матери. Но «профессор» уверенно поставил диагноз, знает, что смертельной опасности нет, что болезнь не так трудно вылечить, и потому улыбнулся матери весело, бодро: ничего, мол, страшного. И... Полина поверила ему, у нее отлегло от сердца, она успокоенно вздохнула и еще более заботливо стала хлопотать у стола, заставленного по-крестьянски простой, но очень аппетитной закуской — огурцы, капуста, селедка, грибки, жареное сало с домашней колбаской, картошка, над которой поднимался столб пара.

— Что вам еще, мужички?

— Вот теперь я понимаю, отчего пухнет Шугачев. Гляди, можно подумать, что он арбуз проглотил.

Поля засмеялась не столько, должно быть, над бородатой шуткой, сколько потому, что на душе стало легче.

Шугачев между тем разлил коньяк, понюхал свою рюмку.

— Божественный аромат! Пьют же люди! А я на «сучок» только, да и то разве что на троих, могу разориться.

— Витя! Как не стыдно ныть.

— Ладно. Не перевоспитывай ты меня. Поздно. Поехали. За то, чтоб не случилось того, чего боюсь.

— А чего ты боишься? — встревожилась Поля.

— Ты знаешь, что сегодня отмочил этот типус? — хрустя огурцом, прошамкал Шугачев. — Он отвел свою кандидатуру в горком.

— Ну и что? — пожала плечами Поля; ей это не казалось чем-то особенным, когда-то, когда учительствовала, она всегда отводила себя на всех выборах, потому что на общественную работу у нее не хватало времени.

— Ну и что? — повторил Полины слова Максим, причем так же искренне и серьезно.

Шугачев бросил на стол вилку и даже подскочил на кухонной табуретке.

— Когда такой вопрос задает моя жена, так для нее нет разницы между школьным месткомом и горкомом партии. А когда ты прикидываешься наивненьким, это меня возмущает.

— Не понимаю, почему тебя испугал мой самоотвод.

— А-а, сам знаешь, что испугал. Да, испугал. Признаюсь! Испугал, потому что после этого может случиться, что на место главного посадят Вилкина. Макоед — еще не худший вариант. Ты знаешь, к чему свели эту должность в других городах.

— Если стать на голову, то будет казаться, что весь мир перевернулся вверх ногами.

— Нет, врешь. Это ты стал вверх ногами. И тебе ударила в голову...

— Витя! — остановила Шугачева жена, зная, что тот, когда разойдется, не слишком выбирает выражения.

— А я стою на ногах. О, я реалист! Черт возьми, мне легче жилось бы, если б я хоть чуточку был идеалистом. Но я реалист. И не мальчик. Мне шестой десяток пошел. Я знаю людей и знаю обстановку, в которой работаю. Что, скажешь, я плохой архитектор?

— Не скажу.

— Да я не менее талантлив, чем ты!

— Ну и похвальбишка ты, Витя, — легкой, безобидной насмешкой старалась утихомирить мужа Поля. — Лучше выпейте еще да закусывайте. Картошка стынет.

— Наливай. А что я создал за четверть века? Стоящее внимания — лишь в последние пять лет, когда ты после поисков счастья в столице возглавил архитектуру города.

— Ты преувеличиваешь мою роль. За тебя. За твой талант.

— Не иронизируй.

— Нисколько. Я совершенно искренне. Будь здоров.

— Черт с тобой. Я выпью и за мой талант. Но я пью за тебя, за то, что ты добился, чтоб с тобой считались, с твоим мнением. С твоим и нашим! Чтоб мы не были исполнителями воли архитектурных дилетантов! — Шугачев опрокинул рюмку, закусил картофелиной, сделал вывод: — Талант требует еще смелости.

— Вот это правда, смелости у тебя никогда не хватало, — как бы с укором сказала Поля.

— Да нет. Детей он делает смело, — Максим пытался перевести разговор на шутку.

— Случись ему рожать хоть раз, поглядела бы я на его отвагу, — с долей грусти улыбнулась Поля.

Шугачев на шутку не откликнулся. Слишком большое значение придавал он поступку Карнача и слишком всерьез думал над возможными последствиями.

— Нет, я смелый! Но я смел в воображении, когда сижу за чертежной доской. Однако смелость в воображении — это для нас,

архитекторов, далеко не все. Смелость на практике — вот истинная смелость. Ты смел на практике. В этом твое преимущество над такими, как я. Ты обладаешь пробивной силой. В наше время и особенно в нашей профессии это много значит — уметь пробить, организовать.

— Ты наделяешь меня качествами, за которые бьют. Почитай современные романы.

— Да, неглубокий литератор, послушав Макоеда и даже меня сегодня, написал бы с тебя отрицательный тип. Можно выставить все те качества, которыми я восхищаюсь, так, что ты окажешься отрицательным. Но если б тот же литератор посмотрел на тебя моими глазами, то он увидел бы организатора, которых нам так недостает... — Опрокинув рюмку, которую налила Поля, один, без тоста, без обычного «поехали» или «будь», Шугачев снова вспыхнул: — Черт с ним, с литератором! У меня, как у каждого зодчего, есть славолюбие и самолюбие — желание увидеть свою смелую фантазию осуществленной в натуре полностью, прости, без обрезания. Одна Поля знает, как меня мучает то, что мои дома стареют скорее, чем я. Стареют задолго до технической амортизации. И в этом повинны не проекты. Дом на Привокзальной так не постареет. Только благодаря тебе мне удалось раза два перенести с бумаги на землю, осуществить в камне, бетоне, стекле свой замысел. Теперь загорелся маяк — Заречный район. Ты представляешь, что это значит и для меня и для людей — построить его таким, каким задумали мы с тобой? Вот почему я не хочу твоего падения. Я эгоист. Думаю о себе.

— Да откуда я могу упасть? — разозлился наконец Максим. — А упаду — невысоко падать, не разобьюсь. Подумаешь, главный архитектор. Кроме умения пробивать, как ты говоришь, что мне надоело до черта, у меня есть еще кое-что за душой — я тоже умею создавать кое-что. И хочу творить, а не пробивать! А я набрался разных должностей и званий, как собака репья, с утра до ночи заседаю.

— Обиделся? — опять успокоившись, спросил Шугачев и, прожевав и проглотив колбасу, добродушно заключил: — Черт с тобой. Обижайся.

— Витя! По-моему, ты пьян! — упрекнула жена, чувствуя неловкость перед гостем и желая как-нибудь незаметно перевести разговор на другое, хотя понемногу и начинала понимать, почему ее Виктор так взволнован. А Шугачев вскинулся опять:

— Нет, ты мне объясни, что случилось. Что это? Отрыжка прежнего пижонства? Так не в том же ты возрасте! Голова закружилась? Отчего?

— Сам думаю, отчего.

— Не прикидывайся дурачком. Ты можешь выйти из многих комиссий, советов, комитетов, где ты иной раз заседаешь без всякой пользы. Но есть такое представительство и такие звания, которые нужны нам не для удовлетворения своего мелкого тщесла-

вия, не для того, чтоб покрасоваться перед бабами на курорте. Нет, членство в таких комитетах может помочь делать дело, нужное народу. Неужто тебе это надо объяснять?

Нет, это объяснять ему не надо. Откровенность, с которой говорил Шугачев, — свидетельство высшего дружеского доверия. А он, Максим, всегда высоко ценил верность в дружбе. Но слушал он Шугачева неровно — то внимательно и цепко, то с провалами, уходя куда-то в другое. В мысли не о себе, о них — Шугачевых. Он думал о Вере. Ее до банальности обыкновенная девичья беда заслонила, отодвинула его собственную драму, кстати, не менее банальную.

«А может, сказать Шугачевым о причине моего самоотвода?» — несколько раз приходило ему на ум, да сдерживала неуверенность: вдруг он сам не до конца понял, что причина именно в этом.

Как-то слабо вязалось одно с другим. Может случиться, что посторонние, даже Шугачев, не поймут и посмеются над ним. Поймет разве что Поля, тут он не сомневался. Если б не Виктор, возбужденный, взбудораженный его поступком и собственными словами, Поле можно было бы все рассказать. Кстати, ей не понадобилась бы длинная исповедь, достаточно было бы нескольких слов: «Худо у нас, Поля», — и она обо всем догадалась бы, поверила и приняла бы к сердцу с душевностью близкого человека. А Виктор может ответить на его признание: «Идиот! Из-за бабы губишь дело».

А может, Поля знает больше, чем он? Не зря же она удалила от него Катю.

«С кем это она раскатывала в машине, уважаемая тетя Даша? Выходит, мне еще небезразлично. Шевелится еще что-то. Нет, это уже не ревность. Просто не хочется еще и эту пошлость переносить. Между прочим, следовало бы сказать Поле про Веру, хоть он и дал Вере слово. Мать... такая мать, как она, должна знать. Но опять-таки если б без Шугачева. А то этот крикун, чего доброго, может тут же наделать шуму. Тогда для Веры это и в самом деле обернется трагедией».

— Ты меня не слушаешь!

— Прости, задумался.

— О чем?

— О чем? — Максим лукаво посмотрел на хозяйку. — Сказать ему, Поля?

Она подхватила шутку, между прочим, уже не новую у них.

— Не надо. Пускай наша тайна помучает Шугачева. Он любит разгадывать чужие тайны, потому что своих у него нет. Чуть появится и тут же вылетит.

— Держите свои тайны под семью замками. Вам же хуже, — вдруг остыл Шугачев и занялся картошкой с капустой.

«И в самом деле хуже», — подумал Максим.

В это время в другом доме два человека тоже обсуждали самоотвод Карнача — Бронислав Макоед и его жена, Нина Ивановна. Все было рассказано и обговорено во время обеда. Но и у телевизора, в затемненной комнате, полулежа в низком мягком кресле, Макоед не столько вникал в сюжет и детали постановки венгерской семейной комедии, сколько думал о Карначе, которому не однажды клялся в дружбе, однако в душе считал врагом, слишком часто стоявшим у него на пути.

Нина принесла кофе. Поставила на столик кофейник и чашки. Макоед любил жить красиво и модно, убежденный: тем, что архитектора окружает, на чем он спит, из чего и как ест и пьет, определяется его художественный вкус. Ему пришлось немало потратить сил, чтоб приучить к комфорту Нину, женщину энергичную, умеющую приспособиться к любой жизни, но стихийную, неэкономную — сколько у нее продуктов пропадало, небрежную — раньше ни одна вещь не лежала, не стояла у нее на месте. Теперь знакомые восхищались вкусом, с каким обставлена их квартира. Интерьер — его область, поддержание порядка — дело женщины. Но, в конце концов, и в этом его заслуга. Если бы кто-нибудь знал, каких усилий ему стоило «укротить эту дикую кобылку». Хотя вряд ли и укротил. Черт с ней сладит, с этой настырной бабой, из которой не вышел архитектор, но у которой хватило настойчивости написать и защитить диссертацию и занять место заведующей кафедрой. Зарплата у нее больше, чем у него, и поэтому она держит себя независимо. Где же справедливость? Все получила, всему научилась от него, а теперь задирает хвост, даже пытается командовать!

Нина примостилась в таком же кресле по другую сторону столика.

— Они развелись?

— Кто?

— Герои.

— Черт их знает.

— Ты смотришь или спишь?

— Я думаю.

— О Карначе?

— Я дорого дал бы, чтоб знать, что это: проявление его силы или слабости?

— Считай, силы. Карнач — настоящий мужчина.

— Ты знаешь, какой он мужчина?

— К сожалению, нет.

— К сожалению! Не буди во мне зверя, Нина!

— Ах, какой там в тебе зверь! Заяц. Изредка пьяный.

— Ты меня доведешь своими дурацкими шуточками.

— Мне так хочется тебя довести хоть разок! Но до чего? До чего тебя можно довести? Вот что мне хотелось бы разгадать.

— Ты плохо меня знаешь.

— За двенадцать лет жизни? Не смеши. Притворяйся перед

своими коллегами, но не передо мной. Уметь играть — вовсе не значит быть ярким характером.

— Ты себя считаешь ярким характером?

— Не ярким, но бабой с характером, как говорит наш ректор. Про тебя кто-нибудь так сказал?

— Баба с характером, — хмыкнул Макоед.

— Не хмыкай. Когда про меня говорят «баба» — это не укор, не осуждение, а вот когда про тебя так говорят, не думаю, что у тебя есть причина радоваться.

— Тебе поссориться захотелось?

— Нет. С тобой и ссориться неинтересно.

— Не считай мою доброту и мягкость слабостью. Я люблю тебя. А на что не пойдешь, когда любишь.

— Я требую от тебя так мало жертв.

— Нина, не иронизируй, когда я говорю серьезно. Налей коньяка.

— Во-первых, ты уже пил. Во-вторых, я сварила кофе. Сегодня моя очередь, и я честно выполнила свою обязанность, оторвавшись от фильма. Не забывай, что у нас разделение труда. Я не Поля Шугачева.

Макоед не любил Шугачева, но жену его, как и многие другие, ставил в пример. Нина терпеть не могла Полю. За что? Ни разу не объяснила. Но когда однажды Бронислав Адамович стал доказывать, что Поля — идеальная жена, мать, хозяйка, разговор закончился скандалом: Нина разбила дорогую хрустальную вазу, опрокинула торшер.

Его даже испугала ненависть жены к человеку, с которым она не так уж была связана, — обыкновенное знакомство, праздничные визиты. Он потом удивлялся, что Нина не отказывается ходить в гости к Шугачевым и при встречах целуется с Полей.

Макоед вздохнул на слова жены «я не Поля Шугачева». Но даже его сдержанный вздох вызвал у Нины раздражение.

— Грустишь по такой жене?

Он смолчал, потому что чувствовал, что ей все-таки хочется поссориться. Поднялся, достал из серванта бутылку с коньяком.

— Налей и мне.

— А сердце?

— Аллах с ним, с сердцем. Кому оно нужно, мое сердце!

— То, что оно нужно мне, в расчет не принимается?

— Ха! Тебе нужно вовсе не сердце.

— Нина! Ты становишься циничной.

— Тебе просто жалко коньяка. Ты скупердяй, гарпагон. Ты вылизывал коньяк, пролитый на кухонном столе.

— Ну, знаешь! При тебе нельзя и пошутить.

Назло налил ей большой винный бокал: на, мол, пей, чтоб тебя.. Себе — «наперсток». Но и это обернулось против него.

— Теперь я вижу, как ты бережешь мое сердце.

В такой ситуации лучше молчать. Но странно, из-за чего, по какому поводу она завелась? За их поздним обедом, час тому назад, была внимательная, ласковая, веселая.

Бронислав Адамович сел в кресло, глотнул из «ампулы» свой коньяк, отхлебнул кофе. Чтоб перевести разговор, в свою очередь, спросил:

— Развелись?

— Нет. Этот тип похож на тебя.

— Нина!

— Скажи, за что ты так не любишь Карнача?

— Я? Мы с ним друзья и коллеги. Случается, спорим...

— Врешь ты. Ты его ненавидишь. Тебе хочется занять его место?

Терпеть дольше, играть в спокойствие не хватило силы. Он взорвался.

— Хочется! Так же, как тебе хотелось получить кафедру! Сколько человек ты съела?

Нина ответила не сразу, видно, подумала, как отнестись к его агрессивному выпаду. Сказала сдержанно и как бы про себя:

— Это я запомню.

Бронислав Адамович подождал, что еще она выкинет, поглядывал с опаской. Жена молчала, ни слова больше. Он встал и налил себе большую рюмку. Торжествовал победу. Иной раз ненароком бывает прямое попадание. А главное, теперь он знал ее больное место. Настроение сразу поднялось. Кинокомедия, поначалу казавшаяся скучной, захватила внимание, хотя он и отвлекся от сюжета, пока наливал коньяк и парировал удары жены.

II

Максим вышел от Шугачевых поздно. Пошел пешком, чтоб прогуляться. Распогодилось. Высыпали звезды. Ветер утих. Подмораживало. Асфальт подсох. Шаги редких прохожих щелкали, как выстрелы, особенно женские каблучки. Днем они никогда не щелкают, только ночью, на сухом асфальте и к морозу.

Он думал о Вере. Не о самой Вере — о том, как завтра он поговорит с этим каштановым спортсменом. С Вадимом разговор будет короткий и простой — он же не против. А вот с его родителями... Смоделировал несколько вариантов разговора с ними — в зависимости от места и от того, как они поведут себя. Если они начнут рассуждать как обыватели... Обосновывая свои удары и контрудары, он воодушевился, начал вслух на безлюдной улице подавать реплики в этом диалоге втроем... Нет, вчетвером. Вадим будет на его стороне, вместе поведут наступление на его родителей.

«Ничего, Верочка, пробьем, спи спокойно. Не таких твердолобых пробивали. Нашлись домостроевцы! Старосветские помещики.

Наследства лишите сынка, что ли? От всех ваших аргументов только пух полетит...»

Занятый Верой, Максим и не думал о своем гордиевом узле, который вряд ли удастся развязать, придется рубить. Первую подготовку к этому решительному шагу он сделал сегодня. Меньше будет упреков, и не столь высокая партийная инстанция займется его персональным делом, если оно все-таки возникнет.

По ту сторону улицы ярко светились окна его квартиры. Подумал зло, раздраженно: «Устроила иллюминацию среди ночи». И тут увидел Дашу. Фигура ее вырисовывалась в окне спальни. Она стояла перед зеркалом, подняв руки, поправляя бигуди на голове.

Раздражение росло. Только что мысленно боролся с мещанством, пока еще с воображаемыми носителями его. А сам должен опять окунуться в такое же обывательское болото, внешне красивое, стилизованное, но от этого еще более опасное. Чувствовал, что, заведенный сегодняшними событиями, подогретый коньяком, снова не сдержится, скажет что-нибудь, и опять будет ссора. А к чему это теперь, после почти год длящейся отчужденности, холодности, взаимной вежливости, как между субквартирантами, которым волей обстоятельств приходится терпеть друг друга? Показалось: идти сейчас домой — все равно что в такую осеннюю ночь лезть в трясину, где, кроме сырости и холода, тебя может поджидать и беда. Хотя какая беда угрожает ему? Он уже ко всему готов. А вот она... Он может сказать о своем решении. Интересно посмотреть, что отразится на ее раскрашенной физиономии.

Нет, не сегодня. И не из мести, не из желания полюбоваться ее растерянностью, горем или гневом надо это сделать. Надо сдержанно, рассудительно, достойно.

Поправив бигуди, Даша стала накладывать крем, старательно массируя лицо, с таким видом, будто от этого зависела судьба человечества. Кто-кто, а Карнач умел распознавать и принимать новое — в архитектуре, в искусстве, в одежде. Не боялся слова «мода». Случалось, ошибался, но никогда не был ханжой. Любил женщин хорошо одетых, с умело наложенной косметикой, с красивой прической. Но Дашино внимание к своей особе перешло все границы. Ее размалевывание перед зеркалом давно уже возмущало, хотя в начале их совместной жизни он сам приучил бывшую деревенскую девушку следовать моде.

Прошел какой-то тип, хмыкнул:

— Подглядываешь за голыми бабами?

Максим сорвался с места, зашагал дальше. Когда миновал свой дом, почувствовал, что вернуться не может. Не может подняться в собственную квартиру, которую когда-то так любил, куда знакомые приходили, как в музей. А теперь все опротивело. До горечи. До сердечной боли. Когда в доме нелюбимый человек, все становится нелюбимым, даже то, что сделано твоими руками, по твоему замыслу.

Вышел на площадь. Город засыпает, а на стоянке такси очередь больше, чем днем. Стоять пришлось долго. Пустые машины проходили мимо, должно быть, шоферы знали, что тут не самые выгодные пассажиры, на вокзале народ более денежный.

Наконец Максим дождался своей очереди. Назвал адрес:

— Волчий Лог.

Шофер посмотрел на него как на пьяного.

— Деревня Волчий Лог. За Рудней. По шоссе на...

— Знаю. Только я туда не поеду.

— Боитесь? — нарочито язвительно спросил Карнач, чтоб задеть самолюбие шофера.

— Не боюсь, товарищ архитектор, — дал понять, что знает, с кем говорит. — Но кто мне оплатит обратный пробег?

— Я. Хорошо заплачу. Не пожалеете.

Шофер засмеялся. Машина сорвалась с места.

— А вы напрасно бросили со смешком: «Боитесь?» Скажу вам, что и храбриться нечего. Слышали, в Минске таксиста убили? А у меня летом была история...

Максим слушал шофера краем уха, а сам думал о своем.

Когда все началось? С чего?

Была ведь любовь. И было счастье. Как он влюбился когда-то в застенчивую беленькую девушку — студентку университета! Познакомил их Игнатович, Даша — сестра его жены. Игнатович еще учился на последнем курсе механического, но уже два года был женат. Карнач считал себя убежденным холостяком, ему шел двадцать седьмой год. Участник войны, офицер, он только что окончил архитектурный факультет. Почти весь выпуск оставили в столице — строить новый Минск. Тогда уже был утвержден первый генеральный план. Романтически настроенный, горячий, полный энергии и сил, он с утра до вечера, а часто и ночью, часов до трех (тогда это было в моде), торчал в мастерской. Иногда встречался с девушками. Но о женитьбе не думал.

И вдруг она, Даша, Дашенька, солнце, песня, радость. На некоторое время он даже забыл о своем первом самостоятельном проекте. С нетерпением ждал конца рабочего дня (коллеги видели, как он ежеминутно поглядывал на часы, и подсмеивались), чтоб поскорее встретиться с ней. Водил ее по городу, реже — по застроенной уже и освещенной части проспекта, чаще — по боковым улицам, где так много еще оставалось следов войны, развалин, и рассказывал о будущем города, в котором им жить да жить. Это и вправду была песня, черт возьми, те встречи и его рассказы. Такого города, какой он представлял себе, не построили, хотя совершили, можно сказать, подвиг. Самое удивительное, что тот город, о котором он тогда, два десятилетия назад, рассказывал ей, живет и теперь в его воображении, не постарел от смены стилей, направлений, мод, материалов. Если бы ему предоставили возможность построить совсем новый город, на новом месте, как Светлогорск или Новополоцк, он построил бы тот город —

ее город, который он тогда подарил ей. Да, он подарил ей город.

Мелькали новые дома микрорайона, из-за которого он немало попортил крови.

«А Шугачев дарил Поле города?»

С чего же началось?

Первые пять лет их жизни действительно были песней. Он, Карнач, жил, был счастлив любовью, работой, верил в свое призвание и в свои возможности. И Даша верила. Она не очень увлекалась своим преподаванием, она жила его архитектурой. Он покорил ее, заразил своей профессией. Скоро Даша научилась рассуждать о зодчестве так, что даже старые архитектурные зубры не сразу угадывали в ней дилетантку; московский академик весь долгий вечер, проведенный у них в гостях, считал ее коллегой, расточал комплименты. Очень может быть, на какой-то стадии она сама поверила, что стала знатоком архитектуры и искусства. Должно быть, здесь была его основная ошибка. Надо было научить жену любить ее собственную профессию, любить детей, которых она учила. Надо было воспротивиться ее переходу из школы в мастерские художественного фонда. Но когда это случилось? В конце второго пятилетия, пятилетия нормальной, установившейся жизни, когда окончилась песня и началась рассудительная, чуть скучноватая проза. Даша все свое время отдавала воспитанию дочки. Кстати, первая запомнившаяся ему стычка произошла как раз из-за дочки. Он хотел назвать дочку Татьяной, дать имя своей матери. Даша решительно запротестовала: только Виолетта. В конце концов, это ерунда. Виолетта так Виолетта. Он не стал долго спорить, согласился. Однако поразила недоброжелательность по отношению к имени, которое он предложил, показалось тогда, что даже не к имени — к человеку, к его матери. Но и это он простил: после нелегких родов у женщины могут быть самые неожиданные фантазии, капризы и просто беспричинная раздражительность. Из-за имени она разозлилась еще раз вскоре после того, как девочку записали уже в загсе. Даша услышала, что отец называет дочку не Вилей, как она, а Ветой, и это ей почему-то очень не понравилось. Но тут впервые — странно, что это было в расцвете их счастья, — он заупрямился и продолжал называть дочку по-своему. Так она и росла: Виля — для матери, Вета — для отца. Пока была маленькая, во дворе и в детском саду, — Виля, в средних классах школы — Вета, сама так выбрала. Выходит, он победил. Но к этому привыкли и даже в шутку никогда не упоминали, кто тут победил, а кто потерпел поражение. Нет, с Веты не могло начаться, Вета — их счастье. Правда, спорили из-за нее нередко. Сперва спорили, потом ссорились. Девочка не хотела учиться музыке. Мать упорно и настойчиво заставляла ее «развивать музыкальные способности», даже сама научилась читать ноты и — для любителя — очень недурно играть. К ориентированности в вопросах архитектуры прибавились некоторые све-

дения в области музыки, что дало ей возможность проникнуть и в музыкальный мир. Максиму поначалу до слез жалко было глядеть, как мучилась за роялем маленькая болезненная Ветка. Казалось, Даша не по-матерински жестоко терзает дочку. Разговоры их на эту тему подчас напоминали ссору. Но, в конце концов, это была обыкновенная семейная жизнь — во втором пятилетии. Даша добилась своего. Во всяком случае, считает, что тут одержала полную победу — Виолетта поступила в консерваторию. Даша хвастает результатами своего воспитания. Гордится. Однажды он имел неосторожность сказать: поступление еще ничего не доказывает, он по-прежнему не очень уверен, что Ветино призвание — музыка. О, что тут поднялось! Какими эпитетами он был награжден. Волосы краснели за нее, женщину, считающую себя всесторонне образованной и интеллигентной. Но это произошло два года назад, когда было уже немало трещин.

Нет, все-таки началось не из-за Веты. Из-за чего же?

Пожалуй, из-за того ребенка, который не появился на свет.

Он очень хотел второго ребенка. Уговаривал Дашу. Обычно разговор этот происходил в постели, в моменты нежности, и Даша смеялась, целовала его и отговаривалась по-своему: «Почему тебе хочется поскорее закабалить меня? Я хочу еще немножко пожить так. Когда же и жить, если не сейчас — Виля подросла, мы устроились, живем в достатке?» О беременности, неожиданной для нее, сообщила ему с гневом, с обвинениями: «Ты это нарочно. Но знай, его не будет», — и решительно объявила о своем намерении сделать аборт. Максим ужаснулся. Просил, умолял Дашу сохранить дитя. «А вдруг это будет сын? Наш сын! Мы возьмем няню. Хочешь, я привезу свою мать?» Нет, никакие уговоры не действовали. Слушать не хотела. Без его согласия, даже не предупредив, пошла в больницу.

Ее поступок перевернул ему всю душу. Он, правда, ходил в больницу (ее не сразу выписали), радовался, когда она выглядывала из окна, побледневшая, виновато улыбающаяся.

Когда забирал ее, Даша по дороге к машине с благодарностью сжала ему руку, шепнула: «Прости меня». Она стала добрая-добрая и тихая, покорная, прямо как в первый год после замужества. Но доброта ее была какая-то другая, не такая, как раньше. Она не сближала, наоборот, отчуждала как-то. Во всяком случае, Максим почувствовал это в первый же миг, когда в вестибюле больницы почему-то смущенно и неловко поцеловал ее в белую напудренную щеку. Это был совсем иной поцелуй, не тот, каким восемь лет назад он тут же, только с другого, более парадного, торжественного, подъезда встретил ее с дочкой — маленьким свертком, перевязанным розовой лентой, который протягивала ему сестра. В том поцелуе была теплота его любви, нежности, признательности. В этом — обязательная учтивость.

Очевидно, Даша почувствовала его вежливую, тихую отчужденность и отвечала на нее неожиданно и довольно странно: уд-

военным, утроенным вниманием к своей внешности, нарядам и таким же непомерным, почти оскорбительным требованием его внимания к себе.

Раньше все покупалось как-то само собой, без особых расчетов. Чаще всего он сам делал покупки, особенно когда ездил в Москву, в Вильнюс, в заграничные командировки. Было приятно привозить подарки ей, Вете. Знал женскую психологию и не осуждал ее. Их радость — его радость.

Вскоре после аборта Даша начала требовать у него деньги на обновки, тратя как бы между прочим весь свой заработок. И тогда ему расхотелось привозить ей из командировок подарки. Он явно становился скупее. Одно вело за собой другое. Возникала некая цепная реакция отчужденности.

Начала раздражать ее косметика. Столько времени тратится на ерунду. Налепив на лицо идиотскую маску из смеси сметаны, яиц, кремов и еще черт знает чего, она может час и два сидеть перед зеркалом. Но он, верно, тоже виноват: у него не хватало прежнего такта, деликатности, мягкости. Он стал разговаривать с ней другим языком.

«Тебе не противно смотреть на себя в таком виде?»

«А тебе противно?»

«Более того».

Ссора.

«Послушай. Для кого ты так мажешься? Если для меня, то говорю тебе совершенно серьезно: мне это не нужно! Ты мне нужна настоящая, а не выпотрошенная и размалеванная».

По-видимому, он ударил по больному месту. Не надо было говорить этих безжалостных слов! Впервые она рыдала до истерики. И он искренне просил прощения. Простила. Целовались. Взаимное тяготение и та короткая радость, которую давала физическая близость, — единственное, пожалуй, на чем держалось их супружество. Тогда они еще могли запылать страстью через час после ссоры. Существовали какие-то не открытые и не объясненные наукой душевные токи, биотоки, импульсы, которые связывали их. Потом, очевидно, и они оборвались...

...Шофер мешал думать — все время разговаривал. Хорошо еще, что он не вынуждал говорить собеседника, задавал вопросы и сам на них отвечал, видно, был из той категории людей, которые с наибольшим удовольствием слушают самих себя.

— Когда мы перестанем строить конурки? Разве это квартира? Я не говорю уже, что гроб нельзя вынести...

— Сейчас габариты увеличены.

— Да, с гробом уже можно развернуться. Но ведь строим мы для живых... А мне дай простор. Я простор люблю. Чтоб пригласить гостей, потанцевать у себя дома...

— Танцевальный зал для каждого — дорогая роскошь. Сколько ваших товарищей не имеют квартиры?

— Да у меня самого нет квартиры. Четыре души на восем-

надцати метрах. Потому и говорю. Стою в очереди на улучшение. А что мне дадут? Две комнаты, двадцать шесть метров? Нет, если я столько ждал, то дайте мне пожить просторно. Я простор люблю...

...Да, дальше начало рваться самое главное. Почему? Кто виноват? Были бы причины, как у других. Измена, например. В семье только измену нельзя простить. Но ему и в голову никогда не приходило, что Даша может изменить. У нее, правда, и раньше, в безоблачные дни, прорывалась иногда беспочвенная ревность. Но она не раздражала, наоборот, может быть, даже тешила его, забавляла! В конце концов, это одно из проявлений ее любви. Жена, которая не ревнует, — скучная жена, будничная. Но, оказывается, это проявление любви начинает перерастать в нечто болезненное, уродливое, оскорбительное, что разъедает лучшие чувства, как коррозия металл.

Так случилось у них.

При явной душевной отчужденности Даша каждый раз находила повод, чтоб устроить сцену ревности. По любому случаю. Задержался на работе. Вышел из автобуса вместе с женщиной и разговаривал с ней, хотя она могла быть совершенно незнакомой. Звонил по телефону — она подходила и бесцеремонно прислушивалась, чтобы разобрать голос в трубке. Упаси боже, если женский голос был так слаб, что Даша не слышала его, стоя рядом с ним.

«Почему она шептала? Зачем так прижимал трубку к уху?»

Нет, ревность была более поздней стадией этой невидимой и опасной коррозии. Ревность, пожалуй, была тем последним, что оборвало нити их душевной и физической близости. Более ранняя стадия сразу после непомерного увлечения косметикой — требование чрезвычайного внимания к себе.

Однажды в гардеробе оперного театра он заговорился со знакомым и забыл помочь ей надеть шубку.

Не застегнув пуговицы, с пуховым платком в руках она бежала по лестнице, расталкивая людей. Он не сразу сообразил, что случилось, и догнал ее уже в сквере на безлюдной, слабо протоптанной в снегу дорожке. Попробовал пошутить:

«Дашок, идешь не в тот бок».

«Пошел прочь! Ты хам! Хам! Хам!»

О, сколько злобы и презрения было в этом слове!

Он набрал в туфли снегу и, однако, должен был часа два ходить по скверу, чтобы утихомирить ее. Ему не хотелось ссориться, более того, казалось низким и оскорбительным поднимать шум из-за такой мелочи. Скажи, пожалуйста, трагедия — не помог одеться! Но в ту ночь его поразило другое. Даша высказала ему все обиды, которые он якобы причинил ей за десять лет жизни. Обид было сотни. Он не помнил и десятой доли, а если что и помнил, то не придавал им такого значения — чего не бывает в семейной жизни! Она помнила все до мелочей, смеху подоб-

ных. Она словно регистрировала свои обиды, вела им бухгалтерский учет.

Слушая длинный перечень своих недостатков, какой он эгоист, мерзавец, хамло, Максим впервые тогда подумал, что женщина эта никогда не любила его так же самоотверженно и самозабвенно, как любил он, она играла в любовь, потому и сохранила в памяти всю житейскую шелуху, пену, мусор, потому и занималась бухгалтерией его проступков и семейных неурядиц.

Даша создавала проблемы там, где ни одна жена, не только такая, как Поля Шугачева, но самая обыкновенная, молодая, глупенькая, с любыми «мухами», не вздумала бы становиться на дыбы.

Так было с его назначением сюда на должность главного архитектора. Пригласил его Игнатович, выбранный здесь председателем исполкома горсовета. В архитектурных кругах должность главного архитектора города и до сих пор невысоко оценивается, потому что сидят на этом месте чаще всего нетворческие люди. Он решил доказать, что дело не в должности, а в том, кто ее занимает. Кроме того, он почему-то любил этот город, видел в нем больше, чем где-либо, возможностей для интересных архитектурных решений и в центре, и в новых районах. Он верил в Игнатовича: с таким руководителем можно что-то сделать. А Даша вдруг уперлась: не уеду из Минска. Причина — Вета в музыкальной школе. Не помогали и уговоры ее сестры, жены Игнатовича. Он возмутился и впервые не уступил — уехал один. Как она проклинала его в письмах, угрожала разводом. Он перестал отвечать. Не выдержала, приехала. Но очень похоже, что стала мстить за свое поражение. А он тоже заупрямился и все реже и реже шел первым на примирение. Во всяком случае, не через час после ссоры. Она же подхватила эту тактику и довела ее до абсурда: ах, ты молчишь день — я буду молчать неделю. И молчала. Сначала по неделе, потом по две и по три. У него не укладывалось в голове, как можно, живя вместе, столько времени не разговаривать с близким человеком. Сила воли, черт возьми! Однако на что направлена эта сила воли? Для него, горячего, но отходчивого, ее молчание было мукой. Читая книгу, ломая голову над новой композицией, он имел обыкновение в паузах высказывать свои мысли, делиться своими замыслами, сомнениями. Так он и делал сначала. Но Даша надувала накрашенные губы и выходила в другую комнату или на кухню.

Особенно его возмутил один случай. По какому-то поводу Игнатовичи собирали гостей. Зван был Сосновский. А у них как раз шла долгая молчанка. Максим думал, что Даша не пойдет. Но, к его удивлению, как только позвонила сестра, она сразу согласилась. В такую компанию она не могла не пойти. И в гостях она проявляла такое внимание к мужу, такую заботу, что, наверное, не один мужчина позавидовал: везет же архитектору! Красотой, нарядом — есть же у чертовой куклы вкус! — Даша, безус-

ловно, затмила всех присутствовавших женщин. Максим сам невольно залюбовался ею и был рад, что неожиданный случай помирил их. Он танцевал с нею, нарочно — пускай завидуют! — целовал руку. За столом они так нежно ухаживали друг за другом, что, наверное, потом многие жены советовали своим мужьям поучиться у главного архитектора, а мужья, в свою очередь, указывали своим половинам на Дашу: вот идеальная жена!

Каково же было его удивление, как он был разочарован и возмущен, когда за дверью квартиры Игнатовича Даша снова замолчала — ни слова ему в ответ. Выдерживала срок! Такого лицемерия, такой дьявольской игры он стерпеть не мог и дома так разошелся, что она не только заговорила, даже заголосила по-бабьи.

После этого она уже не устраивала столь долгих сеансов молчания. А его отношение к ней перешло в следующую — после аборта — стадию отчужденности, более опасную: тогда оставалось физическое влечение, теперь уходило и оно.

Должно быть, она скоро почувствовала это, потому что перестала играть в молчанку. Стала приветливой, хотя приветливость эту, как еду перцем, приправляла подчас иронией. Тогда и он взял иронический тон, легкий и безразличный.

Раньше она восторгалась его новаторством. Теперь его поиски такого, что не повторяло бы построенного другими, она считала издевательством над людьми. Женщина теряла всякую объективность по отношению к своему мужу.

Однако и в это последнее, четвертое пятилетие их совместной жизни, казалось, безнадежно тягостное, бывали просветы: внезапно она тянулась к нему, полная прежнего огня. Он в таких случаях не отталкивал ее, каждый раз надеясь, что у них что-то изменится, бывают же чудеса.

Но кончалось это примерно так.

«Ты можешь всегда быть таким?» — спрашивала она с девичьим безрассудством.

«А ты?»

Слово за слово, начинался перечень обид, и все летело к дьяволу. А на душе — будто тебе дали конфетку, начиненную гнилью. Сперва сладко, а потом гадко до тошноты.

...Ночью в фантастическом свете фар самые знакомые места и предметы не узнаешь. Ездил тут сотни раз и все равно пропустил поворот на Волчий Лог. Опомнился, когда выехали к мосту. Пришлось разворачиваться.

Дорога в лесу была разбитая и грязная. Шофер боялся застрять и три долгих километра плакался:

— Тут среди ночи сядешь — покукуешь. Знал бы, не поехал. Набивал цену.

Максим отвалил ему плату, не жалея. Парень сразу помягчел. Вглядываясь сквозь белые березы в силуэт темного строения, спросил:

— Один будете ночевать? Не боитесь?
— А чего бояться?
— С доброй бабешкой было бы веселей.
— Да, кабы с доброй. Да где они есть, добрые?
Шофер захохотал:
— Это верно. Счастливо вам.

III

Организовывался в отделах горсовета садово-огородный кооператив. Людей потянуло к земле. Началась садовая лихорадка, «садовый Клондайк».

Максим сперва отнесся к этому скептически, тем более что и Даша фыркнула: «Не думай, что я буду работать у тебя на огороде. Капусты тебе не хватает?»

Но уговорила практичная Поля Шугачева: «Берите, Максим, участок, не пожалеете».

Поля жаждала добраться до земли, работа на огороде была для нее радостью.

За участки шла борьба. За лучшие, те, где мог расти сад, куститься клубника. Организаторы из инициативной группы, когда делили, даже пошли на мошенничество, о котором много судачили потом в кулуарах: номерки на самые выгодные участки остались в карманах у членов комиссии — для себя и для друзей.

Максим не тащил жребия. Он попросил участок с краю, у леса, — крутой косогор, заросший березняком. Никто из членов кооператива не возражал, потому что там не только яблони посадить нельзя, но и грядки под лук невозможно было выкроить.

По примеру многих других кооперативов и здесь не придерживались положения о размерах и формах застройки на садовых участках, мало кто ставил типовой летний домик, все возводили хоть и небольшие, но фундаментально построенные дачи. Старались друг перед другом. Действительно «золотая лихорадка». Забывали про сон и еду, а некоторые и о службе государственной. Разговоры в отделах шли только об одном: кто где достал шифер, трубы, цемент, навоз, кто какие сорта яблок, крыжовника, смородины посадил на своем участке. Все вдруг стали архитекторами, строителями, агрономами.

Максим сперва подсмеивался над этой болезнью, над частнособственническими бациллами — какие живучие! А потом сам увлекся. Но не огородом, не клубникой — строительством, архитектурой. Как-то во время паузы, отдыхая от проекта дворца — вон какая хоромина! — он набросал маленький сказочный домик, использовав мотивы народной архитектуры, которая произвела на него впечатление в польских и словацких Татрах. В последние годы он часто несколькими легкими взмахами карандаша набрасывал на бумаге такие вот экзотические домики. Подсознательно хо-

телось попытаться включить элементы этой архитектуры в проект какого-нибудь современного здания. Он начал открывать их во многих старых постройках в Полесье, особенно в деревянных церквах. Но постепенно убеждался, что это невозможно, что современный стиль и современные материалы решительно противятся такому сочетанию. Злился. Не мог примириться с мыслью, что созданное за века мудростью народа, его коллективным художественным гением должно исчезнуть навсегда.

И вдруг эскизный рисунок навел на мысль построить такой домик на своем участке, кстати, и ландшафт — косогор, березняк — подсказывал именно такое, вертикальное решение, а не плоскостное. Нравилась еще одна сторона этой идеи: подарит Вете и Даше сказочный теремок. Как всегда, увлекшись, он проявил недюжинную энергию, инициативу, настойчивость. Заказал на деревообделочном комбинате деревянный каркас по своему проекту. Директор, добрый старый знакомый, которому Максим оказал немало дизайнерских услуг, выполнил этот специальный заказ. И продал необходимый материал. Больше Максим ни к кому не обращался. Ни одного рабочего не нанял. Все делал сам. Иногда только Шугачевы помогали — Виктор, Игорь, малыши. Они чувствовали, что возводится что-то необычное, и работали тут охотнее, чем на строительстве своего простого, стандартного домика.

Два года нелегкого труда были лучшей радостью и лучшим отдыхом. Впервые за свою немалую архитектурную практику он сам с топором, ножовкой, долотом и молотком в руках осуществлял собственный проект. Так работали строители древности. Особое удовлетворение давало то, что он имел полную возможность без конца совершенствовать проект. Ничто не связывало — ни сроки, ни чужие инженерные расчеты, ни материалы, ни стандарты, ни утверждение и согласование в инстанциях. Он не просто строил себе дачу. Он творил. Работал так, как работает живописец над большим полотном, писатель над романом. Едучи сюда, в Волчий Лог, в выходной день, каждый раз чувствовал, что у него учащается пульс от нетерпеливого желания поскорей встретиться со своим созданием, поскорей нанести на «полотно» еще один «мазок» или, наоборот, убрать то, что показалось лишним, ненужным, слишком декоративным.

У него с детства было пристрастие — резьба по дереву, это, между прочим, определило выбор профессии. Пока возводил дом, он так набил руку, что хобби почти стало второй профессией.

Пока он строил, дача была одним из поводов стычек с Дашей. Она зло высмеивала его увлечение и больше года принципиально не наведывалась сюда. Но когда Поля Шугачева затащила Дашу на участок и та увидела, что и как строится, притихла, стала наезжать. В позапрошлом году она и дочь прожили здесь все лето, и это были, пожалуй, самые спокойные и счастливые месяцы второй половины их совместной жизни.

Люди со вкусом, специалисты больше, чем игрушечным внешним видом, восторгались внутренним убранством дачи. Кроме кухонной посуды и матраса, тут не было ни одной вещи, купленной в магазине. Вся мебель — столы, лавки, полки — сделана самим Максимом, сделана оригинально, в народных традициях, и в то же время современна по форме. В создании интерьера Максим дал полный простор своим дизайнерским способностям.

Игнатович, по-родственному посетив дачу, сперва даже несколько растерялся: как к этому отнестись? Ходил, осматривал, часто повторял: «М-да», — и ничего определенного не говорил, уступив эту прерогативу жене. Лиза, которая здесь уже бывала и слышала разговоры Максима о замысле и его решении, об архитектурном эксперименте, вела себя, как заправский гид перед любимым произведением искусства.

За столом Игнатович предложил, чтоб Максим передал проекты мебели фабрике. Максим отшутился:

«Выдадут патент, заплатят хороший гонорар, передам».

Неожиданно серьезно возразил Шугачев: «Это ценно именно в одном экземпляре, в оригинале».

Игнатович сказал: «Куркулями вы тут делаетесь, вижу. Надо будет за вас взяться, а то совсем окулачитесь».

Слова секретаря горкома приняли как застольную шутку. Только Лиза поняла, что муж не шутит, она вдруг стала горячо защищать коллективное садоводство и индивидуальные дачи.

Максим боялся одного — на даче не будет света. Еще в августе кто-то дал команду отключить их поселок от энергосистемы. Пришлось ему тайно договориться с электриками, чтоб подключили к линии, иначе жизнь тут очень бы усложнилась. Отсутствие электроэнергии создавало множество проблем и трудностей. Во-первых — свет, во-вторых — тепло и все прочие удобства. Правда, внизу сделан камин для дров. Но он не любил нижних комнат — перестарался в их отделке, сделал их слишком музейными, более пригодными для праздничного парада, показа, чем для повседневной жизни. Может быть, не любил еще потому, что это были ее комнаты, она любила их. Хорошо и уютно чувствовал себя в своей комнате наверху — в мансарде, куда вела узкая винтовая лестница с оригинальными перилами. Комната эта была необычной многоугольной формы, под стать крыше с ее причудливыми выступами. Получились ниши, которые очень продуманно были заполнены сделанными Максимом столами, полками, диванами. Комната служила и кабинетом, и мастерской, и спальней. Лежали свертки ватмана с проектами, стояли липовые чурбаки — заготовки для резьбы — разных размеров: от маленьких, с кулачок, из которых можно было вырезать куклу, до ствола чуть не в рост человека. Все, кто приходил сюда, удивлялись, как удалось втащить на второй этаж такое

бревно и зачем оно архитектору. Никто не знал, что была у хозяина давняя, с юношеских лет, мечта — создать скульптуру, которую признали бы настоящим произведением искусства, а творца ее — скульптором. Были заветные сюжеты и множество проб на эти сюжеты, но пока ни одна из них его не удовлетворяла, и он их безжалостно уничтожал. Поэтому несколько лет нетронутой стояла главная заготовка.

В последнее время Максим все чаще и чаще сомневался, что когда-нибудь осуществит свою мечту. О ней знала одна Даша. Даже Витька Шугачев и тот вместе с другими удивлялся его пристрастию, особенно когда он искал эту липу, чтоб была без дупла, ровной структуры. Жена когда-то относилась с почтением, с гордостью к его хобби — художник! Теперь при случае издевалась. И это иной раз заставляло Максима сомневаться в себе. Внимание его все больше сосредоточивалось не на эстетической выразительности или оригинальности, а на функциональной целесообразности зданий, которые он проектирует. Может быть, прав Шугачев: постепенно и незаметно он, признанный архитектор и непризнанный скульптор, превращается в дизайнера. Обо всем этом Максим думал как-то сразу, сумбурно. Мысли, как тучи, разгоняемые ветром, летели стремительно и, что редко бывает в природе, в разные стороны.

Не раздеваясь — холодно! — он сел на низенький табурет и включил электрический камин. Как и все остальное, камин был оригинальный, не такой, какие продаются, а сделанный друзьями-электриками по его проекту.

Сперва включил лишь маленькую лампочку-ночник в форме старого уличного фонаря, висевшую над диваном. Мягкий свет ночника всегда успокаивал. Но шумел вентилятор камина, колыхалось красно-синее «пламя», забивало спокойное, матовое свечение фонаря светом дрожащим, нервным, неестественно театральным. И в этом свете все показалось неестественным, деланным, игрушечным — все, чему он отдал столько труда, силы, энергии, чем он любил похвастаться перед друзьями. В самом деле, к чему этот музей? Зачем это делалось? Для кого? Не лучше разве так, как у Шугачевых, — просто, безалаберно, тесно, шумно, но уютно и... счастливо?

Еще сильнее почувствовал холод, а с ним пустоту и одиночество. Он всегда боялся одиночества, его всегда тянуло к людям. Правда, с годами чаще приходило желание побыть одному. Но тогда, когда не было этого страшного, как неизлечимая болезнь, одиночества в душе, когда хотелось работать и радоваться — природе, результатам труда и собственным мыслям. Сегодня ничто не радует, а это страшно.

Он выключил вентилятор камина. Исчезли эффекты, осталось одно тепло. Подошел и выключил фонарь. Посмотрел в окно. Светил ущербный месяц — странно! — тоже какой-то неестественный, театральный. Звезды, правда, как звезды. Внизу —

он забрался выше всех — белели крыши, отливали каким-то синтетическим светом. Видно, на них, застывших, не растаял снег, падавший с утра (на земле его уже нет), или, может быть, лежал иней. За поселком темнела стена леса. Молодой соснячок. Но сейчас, ночью, в этом искусственном свете лес — что гора, огромный и зловеще черный. И ни огонька. Ни души. Верно, он один в этом диком урочище, которое недаром зовется Волчьим Логом.

Максим подошел к окну в коридорчике, куда выходила лестница. Он больше любил это окно. Из него не открывался широкий вид, однако мир отсюда не казался тесным. Тут, на косогоре, росли березы. Они подступали к самому домику, протягивали ветви в окно. Как хорошо шумела их листва летом! И сейчас в тени дома их мягкая, ласковая и, казалось, теплая белизна выглядела такой естественной. И шумели березы, как живые существа, тихо-тихо, нежно, как бы боясь потревожить его покой.

С березы на балкончик прыгнул большой кот. Жалостно мяукнул. Максим улыбнулся.

— Ах, бандит, шлялся и хозяина прозевал. А я уж беспокоился, где ты, не извели ли тебя кошки. Небось голодный?

Открыл дверь, впустил кота. Принес из холодильника колбасу.

На миг показалось, что появление кота — бессловесного, а потому удобного собеседника — прогнало одиночество и тоску.

Включил все лампы — люстру, настольную, ночник, подсветку в камине. Иллюминация так иллюминация!

В комнате потеплело и стало уютнее. Максим огляделся вокруг. Хотелось, очень хотелось, чтобы все эти вещи, сделанные его руками, плоды его фантазии, вызвали прежнюю, привычную и добрую радость. Но радость не приходила. Все казалось ненужными детскими игрушками, мишурой, как театральный реквизит после спектакля, при обычном, будничном освещении.

Кот терся о ноги и довольно мурлыкал.

Максим сел в кресло, взял на колени кота, погладил пушистую шерсть.

— Завидная у тебя жизнь, Барон. Никаких проблем. Если б ты мог понять, сколько их у меня. Ты знаешь, какое я сейчас сделал открытие? Что здесь, в комнате, подлинное, настоящее и имеет истинную ценность? Только вот эти заготовки, эти бревна. Обычно гости подсмеиваются над ними. Чудаки. Не понимают. Разумеется, можно распилить их на дрова и сжечь. Но только вот этот чурбак, больше ничто, может дать мне радость. Труд и ожидание чуда. Надежду, что наконец из-под моего резца выйдет что-то стоящее внимания.

Опять — в сотый раз! — он задумался над тем, что бы ему вырезать из этой заготовки, чтоб не погубить исключительный материал. Какая идея могла бы вдохнуть жизнь в это покуда мертвое дерево?

Кот засыпал на коленях, мурлыкал все тише, тонко, как котенок.

А хозяин не мог успокоиться. Нет, не только о резьбе он думал. Он снова перебрал в памяти все пережитое, то, что его больше всего волновало. Работа, архитектура, сегодняшняя конференция и самоотвод, его причины. И опять вернулся к тому, что делал здесь, в этом доме, своими руками. Ради кого он тратил столько времени, энергии, даже таланта, делая все эти игрушки?

— Я, Барон, пилил, строгал, долбил, орудовал резцом. До мозолей на руках. Да, я люблю эту работу. Но не только для своего удовольствия я поднимался в пять часов утра... Вдохновляло другое — сознание, что мой труд порадует еще кого-то.

Кот недовольно мурлыкнул и ударил хозяина хвостом по руке.

— Я мешаю тебе спать? Дармоед! За то, что я тебя кормлю, ты мог бы проявить больше внимания. Походи и послушай, — Максим беззлобно столкнул кота с колен. Тот, подумав, что в чем-то провинился, стал снова виновато тереться о ноги. — Я открою тебе, Барон, одну истину, о которой, пожалуй, никому больше не скажу. Я строил школы, дворцы для людей... Для множества людей... Некоторые люди, сотни или тысячи... пожалуй, могут быть благодарны мне. А вот этот маленький теремок я строил для них. Ты понимаешь, Барон, для кого. Да, для двух человек, самых близких мне тогда. Для Веты и для... нее... Черт возьми! Ты видишь, Барон, до чего дошло? Мне не хочется называть ее имя, которое я тысячу раз шептал с нежностью и умилением. Это нелепо, Барон. Да, для Даши. Для Веты и Даши. Для Даши и Веты. Мне хотелось дать им еще одну радость. И мне хотелось почувствовать их благодарность. Тебе, представителю паразитического класса, не понять, как это дорого — благодарность. Но благодарность людей вообще — это вещь абстрактная, хотя и она приятна. Благодарность людей близких, людей, которых ты любишь, — это величайшая радость и, может быть, главный смысл жизни. Тогда, пять лет назад, я верил в такое счастье. Я нарочно решил все сделать своими... вот этими... руками. Можешь осуждать меня, Барон, за проявление таких... не знаю, как назвать эти чувства. Но мне хотелось, чтоб тут все, к чему они будут прикасаться, чем будут, любуясь, пользоваться, чтоб все-все напоминало им меня. Разве это дурное, позорное желание? Да нет же, нет, Барон!

Максим встал, прошелся по комнате. Скрипнула половица. Целый год она скрипит. Целый год он собирается поднять ее, подложить что-нибудь, чтоб убрать этот скрип. Сто раз думал об этом и ничего не сделал. Вот если б там, внизу, были о н и и он знал, что этот скрип их раздражает... Для себя же делать не хочется, для себя он редко когда что-нибудь делал.

Выключил люстру. Кот тревожно мяукнул, должно быть, ему

показалось, что хозяин опять собирается уйти. Кот тоже боялся одиночества.

Максим понял его тревожное мяуканье и снова сел, но уже не перед камином, а между книжными полками, где обычно любил читать.

— А что я встретил, Барон? Какой отклик? Они прожили одно лето... Но видел ли я тогда истинную радость? Больше потребительское удовольствие от дачного комфорта и удовлетворение мелкого тщеславия от посещения экскурсантов, знакомых и незнакомых. Но во мне жили еще какие-то иллюзии, вера, что я трудился не зря. Прошлым летом Вета... Вета летом... Виолетта приехала сюда однажды на часок... попросить денег, чтобы поехать с друзьями в шумный и пыльный курортный город. Знаток Бетховена и Шопена, она осталась равнодушна к этой музыке в дереве. А может быть, нет ее, никакой музыки? Сегодня мне так показалось. Это страшно, Барон! Так я могу однажды открыть, что и во дворце моем нет никакой музыки. Мне страшно думать об этом, Барон! Что ж мне тогда остается? Даша этим летом не появилась ни разу. Выдерживала характер. И не появится. Я знаю, ты не будешь скучать, она тебя не любит... А кого она любит? Кого, Барон?

Вдруг снова вспомнились слова Катьки Шугачевой: «А я видела тетю Дашу. Она ехала в машине».

И снова почувствовал, что в душе шевельнулось что-то, похожее на Барона — мягкое, но с коготками, и когти эти больно царапнули там, внутри.

«Неужто ревную?» — он хотел, чтоб этот вопрос самому себе прозвучал иронически. Но иронии не вышло, потому что тот, внутренний Барон, опять больно царапнул. Живой Барон вскочил на колени. Максим со злостью столкнул его. Барон забрался под письменный стол и оттуда настороженно и недоуменно, поблескивая в полумраке глазами, следил за хозяином, стараясь кошачьим своим умом понять, чем не угодил властелину и кормильцу.

Максим поднялся и зашагал по комнате, нарочно с силой ступая на скрипучую половицу. Скрип ее пугал Барона. Он вздрагивал и забивался глубже под стол. Но Максима впервые не раздражал этот скрип. Пускай скрипит все. И пускай разваливается.

Остановился перед хитро замаскированным баром. Открыл свой тайник, посмотрел на бутылки; их стояло там немало, маленьких, сувенирных, с этикетками многих фирм и стран, но все были пустые. Осталось только полбутылки «Плиски».

— Нет, дорогой Барон, мы не станем пить этот ординарный коньяк. У меня есть бутылка — давно уже стоит — для торжественного случая и особо дорогих гостей. А что у нас может быть торжественного? Пожалуй, сегодня и есть тот случай, который следует отметить и запомнить. А гости... К черту гостей! Их много перебывало здесь, и немало таких, кто просто хотел

выпить за наш счет, Барон. В будущем тут выпьет только тот, кто привезет свое. Остальные пусть пьют... смолу, как говорил мой отец...

Кот почувствовал, что настроение хозяина изменилось, и вылез из-под стола; потерся о ноги, довольно мяукнул, одобряя такую перемену.

Из-за толстых томов «Строительных норм и правил» Максим вытащил плоскую бутылку «Арарата», подаренную когда-то ереванскими коллегами. Из бара достал рюмки. Две. Придвинул журнальный столик и сел у камина. Но налил не сразу. Несколько минут сидел, закрыв глаза. Потом произнес:

— Нет! Нет! Нет!

И тогда налил. Две рюмки. Как на поминках — одна для покойника. Минуту назад ему представилось, что в этот момент кто-то другой... обнимает Дашу. И Барон в груди царапнул так, что хотелось закричать от боли. Отогнал видение и обрадовался. Не сказал вслух, даже Барону не доверил этой тайны, этой неожиданной радости. Подумал только:

«Черт возьми! Действительно ревную! Ревную и хочу ее. Значит, люблю. Еще люблю. Даша! Почувствуй это! Пойми!»

Чокнулся с рюмкой, стоявшей на столе.

— Я пью с тобой, Даша. Еще раз. Будет горько, если это в последний раз. Горько всем нам. Неужели ты не понимаешь этого? Неужели ты так ослеплена? Кем? Я не верю, что кем-то. Или чем? Да, чем?

Пил. И не пьянел. Но все больше и больше распалялся ревностью и жаждой ее близости и ласки. Странно и непривычно, кажется, впервые сливались эти два чувства, которые по логике должны были бы взаимно исключать друг друга. Это все больше убеждало его, что любовь, которую он хотел похоронить, еще жива.

Почувствовал, что больше не может сидеть здесь, в Волчьем Логе, и разговаривать с котом. Он должен увидеть ее. Сейчас же. От этой встречи, может быть, зависит его жизнь, его работа. И ее счастье. И Виолеттино тоже.

Максим еще не встал, только решительно закупорил бутылку, а Барон уже почуял его намерение и жалостно замяукал.

— Ах, Барон. Люди часто так вот, как ты сейчас, думают лишь о себе, только бы им было хорошо. Из-за этого большинство наших несчастий. Из-за эгоизма, себялюбия, глупых принципов. Кто-то первым должен сделать шаг, протянуть руку. Иначе нельзя жить в согласии и счастье. Я где-то читал... Распадающийся брак выявляет самое дурное у обоих супругов. Если бы мы научились видеть это дурное в себе и вырывать его с корнем, как сорняк...

Знал, что завести старенький «Москвич» не удастся — залегли кольца и вдобавок сел аккумулятор. Уже полмесяца машина не заводилась.

Пошел пешком в надежде, что на шоссе его подберет какая-нибудь попутка. Пока добирался до шоссе лесом, вымазался по колени; обходя по дороге лужи, исцарапал о ветки руки и лицо.

Была поздняя ночь, и на шоссе не попалось ни одной машины. Пятнадцать километров отмахал за каких-нибудь два часа. Почувствовал усталость, давно не делал таких переходов. Но решимость добраться до дому, поговорить с Дашей не проходила. Наоборот, росла по мере приближения к городу. За дорогу он придумал такие слова, от которых, казалось, должна рухнуть любая, даже железобетонная, стена враждебности, отчуждения, злобы.

Только в микрорайоне удалось остановить позднее такси.

Решительно, не боясь нарушить ночную тишину дома, он поднялся на второй этаж. У него был свой ключ. Но дверь оказалась на цепочке. Пришлось звонить.

Дашины шаги послышались очень скоро. У Максима екнуло сердце.

«Не спала. Почему не спала?»

Даша спросила, будто и не сонная:

— Кто?

Он ответил:

— Я, — и испугался своего голоса, такой он был хриплый и неестественный.

Она щелкнула выключателем, сняла цепочку.

Он переступил порог, громко захлопнул за собой дверь.

Даша стояла в дверях спальни. Сквозь легкую ткань ночной сорочки, как сквозь туман, обрисовывалось ее тело — грудь, живот, ноги.

Максим едва сдержался, чтоб не броситься, не подхватить ее на руки, как некогда в молодости, и не понести в спальню.

Удержал ее взгляд — она оглядывала его, брезгливо скривив припухлые, все еще красивые губы.

Он сам посмотрел на свои заляпанные грязью туфли и штаны.

Она спросила со злой иронией:

— Что, Максим Евтихиевич, вместе с Бароном по крышам лазил?

— Я шел пешком из Волчьего Лога.

— От волчицы ты шел. Придумал бы хоть что-нибудь более оригинальное.

Он шагнул к ней. Она, как бы обороняясь, прикрыла рукой грудь, смяв сорочку.

— Даша! Я шел к тебе.

— Ко мне? Скажи, пожалуйста, какой рыцарь! Не думала. Растрогана до слез.

— Даша! Нам надо поговорить.

— О чем?

— Я люблю тебя, Даша.

Она деланно захохотала.

— Не смеши. Соседей разбудишь. Откуда такие нежности? От винных паров? Смешно. Он меня любит! Иди проспись! — и вдруг злобно закричала: — Я твоей любовью сыта по горло! Паразит ты! Деспот! Садист!

Вскочила в спальню, хлопнула дверью и... повернула ключ. Щелкнул замок.

Максим знал Дашин характер, готов был от нее все, что угодно, услышать. Идя сюда, твердо решил любую обиду принять спокойно. Иначе невозможно будет начать серьезный разговор. Его не обидели ее слова, пусть бы говорила что хочет, пусть бы ругалась до утра. Но ключ... Это уже новое. Запираться от него?

Возникло непреодолимое желание ударить кулаком по узорному матовому стеклу двери. И все. Считать, что это конец. Точка. Но он потратил столько душевной энергии, чтобы убедить себя сделать еще один, последний шаг к примирению. Шел, как юноша, чуть ли не всю ночь. Ради чего?

Стало обидно, что так унизил себя. Какое-то мгновение стоял неподвижно, опустошенный и равнодушный ко всему на свете. Не знал, что делать. Потом ощутил, что не может в эту ночь оставаться с ней в одной квартире — еще сотворит глупость, которую потом не простит себе.

Двери закрыл за собой осторожно, бесшумно. Спускался по лестнице на цыпочках, как ночной злодей. Не боялся шума — было стыдно самого себя.

Только на дворе вдохнул полной грудью морозный воздух и смело затопал по тротуару. Подумал, что нужно уважать себя, даже когда ошибаешься; если поступки продиктованы искренним душевным порывом, никогда нельзя раскаиваться и казнить себя.

Через час он тихонько позвонил в квартиру Шугачевых. Поля даже не спросила кто. Будто ждала.

— Почему не спрашиваешь? — шепотом сказал Максим. — А если воры?

— Дураки они, что ли, воры? Не знают, к кому лезть?

Максим засмеялся.

Поля удивленно посмотрела на него: с чего это он?

— Я тебе все объясню.

— Не надо, Максим, чего не бывает! — вздохнула Поля, кутаясь в халат. — Я вам сейчас постелю. Раздевайтесь.

Максим опять весело подумал: «Где она постелет? В каждом углу сопят дети».

IV

Максим ждал, что Игнатович на следующий же день вызовет его для объяснений. Не мог не вызвать. Своим неожиданным самоотводом Карнач в каком-то отношении подводил горком и, конечно, первого секретаря; их родственная и дружеская связь из-

вестна всему активу. Но с родством Игнатович, строгий и бескомпромиссный блюститель законов и норм партийной жизни, партийной морали, не посчитается. Милости не жди.

Максим чуть не с озорным любопытством (после ночной встречи с Дашей он почему-то весь день был в веселом настроении) пытался представить себе, каким образом Игнатович выразит свое недовольство.

Сперва удивился, что тот не вызвал ни в первый день после конференции, ни на второй. Потом с тем же озорством подумал о деликатном положении, в которое попал секретарь горкома: попробуй найди кару такому черту, как он, Карнач, да еще за поступок, не противоречащий Уставу.

Однако неписаный этикет он все же нарушил, к чему Игнатович — Максим это знал — ни в коем случае не может остаться равнодушным. Почувствовал уважение к уму свояка: выбрал единственно правильный метод — официальное молчание и соблюдение дистанции. В конце концов, это, пожалуй, и есть самое тяжелое наказание, так как при всей несхожести их характеров, суховатости Игнатовича Максим любил этого человека, высоко ставил его преданность делу, честность, принципиальность — всегда хозяин своему слову. Такие качества руководителя нельзя не ценить, особенно ему, главному архитектору, которому ежедневно приходится решать бесчисленное количество самых неожиданных и часто каверзных вопросов. О, как ему помогала деловитость секретаря горкома! Любил с ним поговорить, поспорить, иной раз довольно горячо, но всегда уходил с сознанием, что спор пошел на пользу городу. Чувствовал, что Игнатович тоже охотно спорит с ним, потому что не формально, а как партийный руководитель стремится проникнуть в архитектурные тайны, разобраться в них. Архитектура города для него не просто еще один нелегкий участок работы, лишняя забота, а часть — и немалая! — жизни, так же как и для него, Максима. На этом сблизились. И даже подружились. Дружба была сдержанная и глубокая, более серьезная и прочная, чем дружба тех, кто часто встречается за чаркой и доверяет друг другу интимные подробности своей жизни. За обеденным столом они встречались лишь в обкомовской столовой, в гости друг к другу ходили редко — раза два в год, в большие праздники или на именины жен. Своих дней рождения не отмечали, на «сердечные темы» никогда разговоров не вели.

Максим даже был несколько разочарован, когда на третий день позвонила секретарша и передала, что Герасим Петрович просит зайти к нему сегодня в двенадцать двадцать. Сам не позвонил. Обычно звонил сам и почти никогда не назначал так точно время, просто говорил: «Максим, сын Евтихия, загляни часика в четыре», — хотя все в городе знали пунктуальность Игнатовича — в приемной никто из вызванных больше десяти минут не ждал. И никто, наверно, не удивился бы, если б его

пригласили к секретарю горкома на десять часов двадцать девять минут.

Но Максим не ожидал, что Игнатович так пригласит его и так явно даст понять, по какой причине.

В приемной работала приятная женщина — Галина Владимировна. Мало кто знал ее фамилию, но все знали имя и отчество. И все уважали, даже, не будет преувеличением сказать, любили за приветливость, аккуратность: все объяснит, запишет, выполнит. К ней обращались чаще, чем в отделы. Пожалуй, рассчитывали на нее больше. Работники обычно говорили: «Хочешь, чтоб документ (или вопрос) не мариновался, попроси Галину Владимировну».

Кроме уважения как к секретарше и благодарности — она не раз помогала ему «протолкнуть» некоторые неотложные вопросы, — Максим испытывал к ней еще другие чувства: в последнее время, когда произошел окончательный разлад с Дашей, он раза два в бессонные ночи подумал о Галине Владимировне как о женщине. Ни о ком больше, только почему-то о ней, хотя за два года, что она работала здесь, в этой строгой горкомовской приемной, он ни разу не позволил себе говорить с ней в том легком и шутливом тоне, которым завоевывал симпатии женщин в горсовете, в институте и даже продавщиц в магазине.

Максим поздоровался с Галиной Владимировной за руку, как всегда, но на этот раз задержал ее руку в своей чуть дольше и почувствовал ее теплоту, ту теплоту, которая всегда волнует, когда касаешься женщины, нравящейся тебе. Может, и она почувствовала что-то подобное, потому что взглянула на него внимательнее.

— Один? — кивнул Максим на полированную дверь.

— Нет. У Герасима Петровича ректор института Ковальчик и ваш коллега Макоед.

— Я опоздал? — посмотрел Максим на часы.

— Нет. Вас просили подождать здесь.

— Подождать? — он удивился.

Если там Макоед и Ковальчик, значит, решается планировочный вопрос, скорей всего речь идет о месте для общежития, и Макоед отстаивает посадку своего «сундука» на Московском проспекте. И в этот момент его просят подождать? Он рванулся было к двери, но тут же вспомнил, почему, по какому поводу вызван сюда, и повернулся, зашагал из угла в угол, не замечая Галины Владимировны. Где-то глубоко внутри, как в проснувшемся вулкане, заклокотала лава.

Неужто он, Максим, должен разочароваться еще в одном человеке, которого уважает? Он боялся таких разочарований.

Игнатович никогда раньше не заставлял его ждать, даже когда разговаривал с людьми, далекими от архитектуры.

«Может, потому я и киплю? — подумал Максим. — Задета гордость. Но ведь ты же сам этого желал. Тогда ты был членом

горкома и от тебя не могло быть секретов. Теперь ты себя отвел. Чего же ты хочешь?»

Немного успокоенный этим рассуждением, он вдруг почувствовал, что Галина Владимировна внимательно и настороженно следит за ним и, очевидно, догадывается, о чем он думает. Пристыженный тем, что выдал себя, он взял стул и сел у ее стола, прямо против нее.

— Галина Владимировна, кто ваш муж?

— Почему вдруг такой вопрос? — Галина Владимировна попыталась улыбнуться, но улыбка получилась какая-то вымученная.

Он подумал, что у этой приветливой и всегда спокойной женщины, видно, далеко не безоблачная жизнь.

— Считаю со своей стороны хамством, что до сих пор о человеке, который мне нравится, я не узнал больше того, что необходимо для официальных отношений.

Она ответила шутливо:

— Как мне это понимать? Как признание в любви?

— Пока что нет, — серьезно ответил Максим.

Тогда она стерла улыбку с лица, и в глазах ее проступила грусть.

— У меня нет мужа. Он погиб. Три года назад. Он был военный летчик. На реактивном...

Максим накрыл своей ладонью ее руку.

— Простите, Галина Владимировна.

Она не отняла руки, и глаза ее затуманились слезами, теми слезами, которые не проливаются, не текут по щекам; такие слезы что внутреннее кровоизлияние — самое опасное при ранении.

— Простите, ради бога.

— Не надо, Максим Евтихиевич, а то я могу расплакаться. А я давно уже не плакала. К счастью, у меня такая должность, что никто не доводит до слез — ни начальство, ни посетители. Отпустите руку. А то войдет кто-нибудь, что подумает?

Он отпустил ее руку. Перевел взгляд на лицо. Она встретила его спокойно, не смутилась, не отвела глаз. Подумал, что назвать ее красавицей, пожалуй, нельзя, но как привлекательна: лицо светится добротой и умом, и какой-то очень теплой женственностью. Хотел спросить, есть ли у нее дети, но не решился: если их нет, это может ранить ее еще больше, чем вопрос о муже.

— Никогда не делала этого, но вам могу выдать тайну, — кивнула на дверь кабинета. — Герасим Петрович недоволен вашим самоотводом.

— Я знаю.

— Сказал: дожил до седых волос, — посмотрела на его голову, — хотя их еще не видно у вас, а ведет себя как мальчишка. От зазнайства, сказал Довжик. Но Герасим Петрович не согласился, что от зазнайства. Зачем вы это сделали? Неразумно — таково мое женское мнение.

— Когда-нибудь я вам объясню, и вы его измените.

Галина Владимировна засмеялась.

— А вы самоуверенны.

Из полированного «шкапа» первым вывалился Макоед. Увидел Карнача, удивился, как будто растерялся, даже испуг мелькнул в глазах, словно Максим захватил его за чем-то недозволенным.

— И ты тут?

— Да вот... жду приема.

— Ты ждешь приема? — Макоед спросил это тихо, но так, точно закричал от радостного удивления на весь дом. Галине Владимировне показалось, что он подскочил и тут же преобразился — как водой смыло его смущение, и сразу, в один миг всплыла наглость победителя; он объявил, точно кукиш поднес: — А мы с Сидором Ивановичем общежитие «привязали». Окончательно и прочно, — засмеялся, довольный тем, что тут произошло.

— Чудесно, — с сарказмом бросил Максим. — Поздравляю. Одним гробом будет больше на проспекте.

В свое время Максим отклонил несколько проектов Макоеда, но тот упорно, изо всех сил лез на проспект.

Ректор, седой красивый мужчина, по виду и манерам похожий на старого официанта дореволюционной выучки, застегивал на столе свою толстую, набитую бумагами папку. Сказал с чарующей улыбкой:

— Напрасно вы, Максим Евтихиевич, так отзываетесь о студенческом общежитии. Мне проект нравится. И место, которое мы предложили, одобрил Герасим Петрович.

Максим собрался было сказать и одному и другому «пару теплых слов», настроение для такого монолога было подходящее. Но перехватил красноречивый взгляд Галины Владимировны: «Не натворите глупостей. Идите в кабинет».

Он послушался.

Игнатович стоял в углу у маленького столика и наливал из сифона воду. Пошел навстречу со стаканом в руке, с радушной улыбкой. Прежде чем поздоровался, по-домашнему объяснил:

— Лиза селедкой накормила. Любит соленое. А у меня печень. Уже заныла.

— Послушай! Посадить макоедовское общежитие на проспекте можете только через мой труп. А пока я отвечаю за архитектуру города...

— Отвечаем все. Горком — в первую очередь, — выпуская его руку, нахмурился Игнатович, но тут же улыбнулся. — А ты, вижу, верен своему принципу: лучшая форма обороны — наступление.

— От чего и от кого мне обороняться?

Игнатович обогнул письменный стол, сел в кресло, и мизансцена сразу изменилась: теперь Максим находился не в гостях у свояка, а на приеме у секретаря горкома.

Оба они готовились к официальному разговору, поэтому такой внезапный поворот не захватил ни одного из них врасплох, не удивил, не поставил в неловкое положение. Правда, Игнатович сделал попытку несколько сгладить эту официальность.

— Сегодня обороняйся от меня, — пошутил и закрылся стаканом, жадно выпил воду.

Максим прочитал в шутке скрытую угрозу: смотри, как бы тебе не пришлось обороняться перед бюро горкома.

Игнатович поставил стакан на край стола за стопку новых журналов и помолчал — ждал, что Карнач сам начнет объяснение. Максим сделал вид, что не понимает, чего от него хотят.

Игнатович разочарованно вздохнул и вынужден был пойти напрямик:

— Надеюсь, объяснишь свой фортель, который ты выкинул на конференции, — он повторил слова секретаря обкома Сосновского; тот во время перерыва в буфете сказал как бы между прочим, но так, что услышали все: «Выкинул твой своячок фортель».

— Разве я нарушил Устав?

Игнатович разозлился, потому что думал об этом и чувствовал слабость своей позиции в предстоящем разговоре.

— Не прикидывайся простачком. Мы слишком хорошо знаем друг друга.

Тогда Максим ответил серьезно:

— Хорошо. Я объясню. Закурить разрешаешь?

Игнатович обрадовался. Сам он не курил и знал, что Карнач тоже, по сути, не курит, закуривает лишь в трех случаях: во время напряженной работы над проектом, когда волнуется и после чарки за праздничным столом.

— Кури, — и подумал с удовлетворением: «Ага, все же волнуешься. Это хорошо».

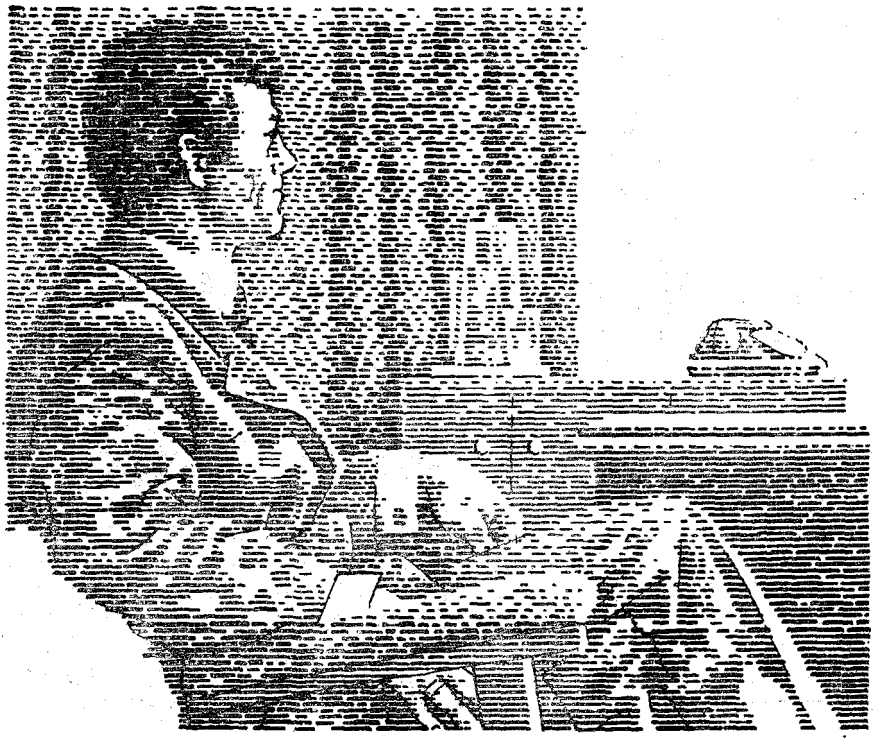
Но он ошибался: кажется, никогда Максим в этом кабинете не был так спокоен, как в эту минуту. Просто ему понадобилась пауза, чтоб подумать, с чего начать — сразу с основного или немного походить вокруг да около и поводить Игнатовича по извилистым тропкам некоторых своих размышлений.

— Ты знаешь... мне захотелось проверить свой характер... И закалить.

Начало не понравилось Игнатовичу, он хмуро ухмыльнулся: мол, давай городи дальше.

— Всю свою сознательную жизнь я стараюсь утвердиться как художник. Черт его знает, может быть, потуги мои напрасны. Правда, кое-что я сделал, стоящее внимания, но меня все время заносило... прямо тянуло... в колею административную, чиновничью...

— Думаю, что это разные вещи, — сказал Игнатович.



— Может, и разные, но я со страхом замечаю, что я часто думаю как чиновник, а не как художник. Даже не думаю, чувствую, вот что страшно. Чиновник не всегда тот, кто становится формалистом и бюрократом в своей деятельности. Таким я, кажется, еще не стал. Чиновник тот, у кого появляются... опять повторяю... даже не мысли, мыслей он боится, как черт ладана, а переживания, эмоции мещанина. Вот это, скажу тебе откровенно, меня испугало. Конкретно? На собраниях избирают президиум, а у меня уже учащается пульс: выберут или не выберут?

Игнатович улыбнулся так, как улыбнулся бы наивному детскому признанию.

— А не выберут — ночь не сплю. Где уж тут думать о высоком искусстве.

— Не обожествляй своего брата. Любой художник в первую очередь человек. Если б он не знал человеческих эмоций, как бы он творил? Поставь на свое место драматурга.

— Эмоции надо знать. Но не согласен, что они возвышают художника. А вот еще. Еду в Минск, в Москву... Сколько тут езды? В тамбуре можно доехать. Нет, дай мне мягкий вагон. Но таких, как я, много, очень много. Все стали богатые, и все

хотят в мягком. А всем не хватает. И я бегу к дежурному, к начальнику вокзала, показываю все свои книжечки, выкладываю все свои заслуги перед народом. Я им, чертям, дом строил, а они мне мягкого места не дают... Не место нужно — признание...

Игнатович опять нахмурился и, показалось Максиму, хотел перебить.

— Или вот такой факт. Ты ездишь на «Волге», да еще на новой, с казенным шофером, а я на своем разбитом «Москвиче». Разве не завидно? Завидно. Опять не сплю и думаю, где бы мне раздобыть денег на новую машину. Деньги могу найти, но найду ли новое в архитектуре?

— Да, явные черты обывательской психологии, — протянул Игнатович и резко встал, взял стакан, пошел к сифону.

— А о чем же я говорю! Выкладываю свои грехи, как на исповеди. А как ударить по такой психологии? Кто человеку поможет, если он сам не одумается, не спохватится?

— Что ж, пожалуй, ты правильно ударил, — наливая воду, угрюмо заключил Игнатович. Сперва ему показалось, что Карнач дурачится, он не раз уже слышал, как тот некоторые бесспорные истины для смеха переворачивает вверх ногами. Но его призна-

ние в зависти насторожило и почти заставило поверить, что все это серьезно. Такой цыган в результате самоанализа может выкинуть любое коленце.

Игнатович подумал, как объяснить все это Сосновскому. Как тот примет такую, мягко выражаясь, ахинею? Либо безжалостно высмеет с присущим ему сарказмом, либо, если примет всерьез, упрекнет: вот как ты воспитал свояка и друга.

Игнатович снова жадно выпил воду и со стаканом в руке прошелся до двери, как бы проверяя, плотно ли она закрыта.

Максим следил за ним с веселым озорством, нравилось, что тот так серьезно задумался над его словами.

Игнатович остановился перед ним, широко расставив ноги: в институте он увлекался боксом.

— А ты думал, отчего это произошло?

— Отчего? — в тон ему повторил Максим, и чертики запрыгали у него в глазах.

— От преувеличения своей роли, своей персоны. Тебе начало казаться, что без тебя в городе ничего бы не построили.

— Неужто я так считаю? — притворно удивился Максим.

— Скажу откровенно. В этом виноваты и мы. Горисполком. Горком. Лично я. Кому из твоих коллег было дано столько, сколько тебе? Ты знаешь, что такое главный архитектор в других городах?

— Знаю. К великому сожалению, обыкновенный маленький чиновник.

— Тебе дали исключительные права.

— Разве это пошло во вред городу?

— Тебе дали возможность получать зарплату в трех местах...

Озорные огоньки погасли в глазах Максима.

— Я получаю ее не за представительство, а за работу — за проекты, над которыми сижу ночами, и за обучение студентов. Ты преподавал когда-нибудь?

— Теперь я начинаю понимать свою ошибку.

— Погоди, Герасим Петрович, — остановил Максим Игнатовича. — Поняв свою ошибку, неужто ты серьезно думаешь, что я удовлетворился бы ролью отводчика участков под застройки и надзирателя за тем, чтоб частник не построил лишнего хлева или уборной? Ты хорошо знаешь, что я могу сделать кое-что побольше. Потому и пригласил меня на эту должность. Если я уже не нужен, давай распрощаемся по-хорошему.

— Ах, вот оно что! Разгадка простая! Как же мы не додумались? Нашел местечко потеплее? За спиной у горкома? А не кажется ли тебе, Максим Евтихиевич, что ты забыл про одну вещь — про партийную дисциплину? С какой формулировкой нам тебя освободить?

Максим поднялся со стула.

Игнатович, должно быть, испугавшись, что Карнач скажет что-то, что может принизить или оскорбить его как секретаря

горкома, настороженно обошел опасного посетителя и вернулся на свое место за столом: кресло — самая надежная броня от нежелательных высказываний.

Но Максим проводил его добрым взглядом и, видно, понял, чего Игнатович боится. В глазах его опять вспыхнули озорные огоньки. Он сделал несколько шагов следом за Игнатовичем, заставив того еще больше насторожиться, но остановился возле стола.

— Не отгадал ты, Герасим Петрович. Не нашел я более теплого места. Не искал. Прости, я тебя немножко, грубо говоря, разыграл. Но ты меня знаешь, не обижайся. А теперь скажу настоящую причину моего фортеля, как ты это назвал. Я развожусь с женой.

Игнатович от удивления, будто язык проглотил, молчал добрую минуту, разглядывая свояка совсем новыми глазами.

— Ты разводишься с Дашей? — спросил и засмеялся, вдруг почувствовав облегчение, которое не сразу осмыслил.

— Смешного мало. — Непонятный смех Игнатовича неприятно удивил Максима.

— Прости. Смешного вовсе нет. Это я просто так, своим мыслям. Садись. Рассказывай. Что случилось? — Игнатович вдруг засуетился, чего с ним никогда не бывало, как будто он должен был оказать человеку скорую помощь, но не знал, как это сделать, не умел. — Чего вы не поделили? Любви к Вете?

— Это сложно. В двух словах не расскажешь.

— Кто же из вас виноват?

— Считай, что я.

— Завел любовницу?

— Пока еще нет. Но заведу.

— Смотри! — Игнатович погрозил пальцем.

— Один весьма авторитетный для нас с тобой человек сказал: когда любовь иссякла или вытеснена другой, то расторжение брака является благом как для индивидуума, так и для общества.

— Не прикрывайся Энгельсом.

— Мне нечего прикрываться. Я просто хочу, чтоб ты понял...

— Но для этого я должен знать, что же случилось. Мне ты можешь довериться?

— Могу. Но давай как-нибудь потом.

— Как хочешь. Как хочешь. Как бы не было поздно. Может, еще можно наладить?

— Нет, нельзя.

— Подумай. Ты человек настроения. Цыган, как говорит твой друг Шугачев. Не поддавайся настроению. Расскажи. Подумаем, порассудим. Черт возьми, свои же люди. Я знаю, Даша с бзиком. Но кто из них, чертовых баб, без какого-нибудь бзика? Думаешь, Лиза — идеал?

— Герасим Петрович, ей-богу: не могу сейчас говорить на эту

тему. Отпусти, — серьезно и учтиво попросил Максим, потому что в самом деле после признания Игнатовичу он снова впал в мрачное настроение.

— Что ты умеешь удивлять, я знал. Но чтоб так, чтоб так... — говорил Игнатович, провожая Максима до дверей.

— Раньше, чем начал удивлять я, удивили меня.

— Развода требует Даша?

— Нет.

— Сплошные загадки.

— Попытайся разгадать, — грустно усмехнулся Максим.

— Ладно. Попытаюсь. Один только вопрос. Это не секрет? Лизе можно сказать?

Максим на миг смешался, застыл, взявшись за ручку двери. Нехорошо, что о его решении Даша узнает от сестры. А может быть, так даже лучше? «Все равно ты скажешь, разрешу я тебе или нет», — подумал об Игнатовиче.

— Кричать о своей беде на площади я не собираюсь. А Лиза все равно узнает. От тебя или от нее, какая разница.

Игнатович помрачнел.

— М-да, подкинул ты мне проблемку.

Только у двери из приемной в коридор Максим вспомнил о Галине Владимировне — не попрощался с ней. Обернулся с виноватой улыбкой. Она внимательно и мягко, с добротой смотрела на него, словно все знала, все понимала.

— Простите, — попытался пошутить. — Думы мои, думы, лыхо мени з вамы! Вот так всегда, за делами, за мыслями забываем об интересных женщинах.

Вернулся к столу, чтоб попрощаться. Теперь уже она задержала его руку и душевно, как близкий человек, спросила:

— У вас неприятности?

Он ответил весело, и это не было игрой, так внезапно изменилось настроение:

— Знаете, я начал на все смотреть диалектически. Есть неприятности, которые могут стать в результате радостью. И бывает наоборот.

Игнатович с минуту стоял и смотрел на дверь, закрывшуюся за Карначом. И тут осознал, почему почувствовал облегчение, когда этот ветрогон (впервые так назвал Карнача) открыл истинную причину своего неожиданного и непонятного поступка, причину, которой нельзя не поверить.

Хотя Сосновский не требовал никаких объяснений, словом не обмолвился, но Игнатович хорошо знал: ждет все-таки, и ни от кого другого, от него, не только потому, что горком отвечает за людей, которых рекомендовал, но прежде всего потому, что Сосновский знает о его родственных и дружеских отношениях с архитектором. А как можно было объяснить? Игнатович прямо испугался, когда в начале беседы Карнач начал пороть всю эту

чепуху про президиум, машины. Попробуй рассказать это Сосновскому! А так все просто и понятно. И ни на кого, кроме самого Карнача, не падает тень. Семейные отношения — темный лес, ни один суд в них еще надлежащим образом не разобрался, ни один психолог и писатель, даже Лев Толстой.

Наконец, при таком повороте сам Карнач в истории с самоотводом выглядит совсем неплохо. Хотя по форме это сделано было неправильно, но нельзя не признать, что поступил Карнач честно и мужественно. Кто-нибудь другой не отважился бы, скрывал до последнего...

Игнатович подошел к столу и набрал номер Сосновского. Сегодня они уже виделись, и потому приветствие и все прочие слова были не нужны. Сказал безо всякой преамбулы:

— Леонид Минович? Только что у меня был Карнач. Объяснил причину своего фортеля, — опять он употребил его, Сосновского, слово.

— Ну? — заинтересовался секретарь обкома и этим подтвердил уверенность Игнатовича, что ждал-таки объяснения.

— Разводится с женой, чертов цыган.

Сосновский громко крякнул. И умолк. Долго молчал. Игнатович подумал, не прервалась ли связь. Окликнул для проверки. В ответ загремел голос Сосновского:

— Хреновые мы с тобой, Герасим, руководители. Если мы не знаем, чем живут, что думают, чем дышат наши свояки, сыновья, зятья, то что мы знаем о других людях, скажи, пожалуйста? — и положил трубку.

Игнатович трубку опускал медленно, ошеломленный. Слова Сосновского — оплеуха, которой он не ждал.

Снова подошел к столику с водой. Подумал: «Чего это меня так жжет сегодня?» И тут почувствовал, как ударила волна возмущения против Сосновского, чего раньше не случалось даже после саркастических проборок, которые Сосновский учинял иной раз секретарям горкомов и райкомов. Этого веселого толстяка невозможно понять, не угадаешь, куда повернут его мысли. Никогда он не скажет, как положено говорить руководителю такого ранга. Всегда юмор, ирония, аллегория, подтекст.

«Мы с тобой». Знаю я это — мы с тобой! Скажи, пожалуйста, какая самокритичность!»

Вошла Галина Владимировна, сказала, что ждут новые посетители, которых он вызвал. Предстояло разобрать кляузную историю.

Игнатович почувствовал раздражение и усталость.

— Пусть подождут минутку. Я окончу одно дело.

Когда секретарша вышла, подумал: какое дело? Стало неприятно от этой, пускай маленькой, лжи. Он не прощал себе обычных человеческих слабостей, считал, что не имеет на них права. Стиль работы должен быть незыблем.

Черт возьми! Одни занимаются коммерческими махинациями,

как те, что ждут в приемной. Другие заводят любовниц. А ты не только ломай голову, что с ними делать, но еще и щелкнуть тебя могут, как будто бы деликатно, однако так, что искры из глаз посыплются.

С Сосновского раздражение его перекинулось на первопричину — Карнача... «Архитектурный гений! Корбюзье! Распустили мы тебя!»

Макоеду после посещения горкома и встречи с Карначом не работалось. Ему хотелось плясать. Он ходил из кабинета в кабинет, говорил комплименты проектировщикам, чертежницам, сметчицам, хотя еще вчера разносил их за медлительность, расхлябанность и вообще относился к этим винтикам, как он их называл про себя, пренебрежительно. Его давно приводило в бешенство, что некоторые из этих людей чертежи и сметы по проектам Карнача делают скорее и лучше.

Чертежницу Майю, любвеобильную толстуху, которая сменила трех мужей и обожала мужские нежности, он даже обнял, хотя обычно не разрешал себе такой фамильярности и в самом лучшем настроении.

Майя подалась к нему, прижалась и сказала смеясь:

— Бронислав Адамович, вы сегодня такой... словно в лотерею выиграли.

— Выиграл, Майя.

— Что?

— Вашу любовь.

Она захохотала, крутнула бедрами. Но он снял руку с ее плеча и отступил в сторону — подальше от греха.

Ему хотелось поговорить с кем-нибудь о том, что его радовало. Но с кем? В этом проклятом филиале все очарованы Карначом. Завтра же передадут. А он, Макоед, не такой дурак, чтоб связываться с Карначом даже тогда, когда тот совсем плюхнется. Архитектурного таланта у него никто не отнимет, и неизвестно, куда его вывезет фортуна. Завтра может оказаться в Белгоспроекте или даже в Госстрое.

Наконец Макоеду удалось встретить в коридоре человека, который, как ему казалось, не любит Карнача. Несколько дней назад Карнач критиковал заместителя директора филиала Лазаря Львовича Фрида за хозяйственную беспомощность: дожили до того, что не было даже пенопласта для макетов. Фрид пенсионного возраста, ему под семьдесят, и его, как каждого из тех, кому не хочется на пенсию, обидела не столько критика, сколько требование Карнача омолодить кадры. Флегматичный Фрид подскочил, но, получив слово, только сказал:

«Слушай, Карнач, ты гений. Да я и не таких гениев видел. Ну и что?»

Фраза эта несколько дней веселила весь филиал. Проекти-

ровщики, встречаясь, приветствовали друг друга: «Ты гений. Ну и что?»

Макоед взял Фрида, который, кажется, впервые куда-то спешил, под руку. Хозяйственник хорошо знал, в каких случаях его вот так берут под руку, и спросил с суровой практичностью:

— Товарищ Макоед, скажите сразу, что вам надо. Пенопласт? Ватман? Доска? Стол? Телевизор? Холодильник? Гамаши?

Фрид не мог назвать такое ведомство в этом городе, где бы он не работал. Всех он знал, все знали его, и потому сотрудники обращались к нему с самыми неожиданными, иногда странными до смешного просьбами. Он не все просьбы выполнял, но любил поговорить, показать свою осведомленность.

Макоед засмеялся.

— Можешь представить, Лазарь Львович, мне ничего не нужно.

— Нет, не могу. Человеку всегда что-нибудь нужно.

— Ты просто царь Соломон.

— Э-э, если б я был Соломоном, да еще царем, думаешь, я разговаривал бы с тобой тут, возле женской уборной?

— Я хочу сообщить тебе одну новость.

— Новость? Ты думаешь, на свете есть что-нибудь новое? Все — давно забытое старое.

— Накрылся наш Карнач.

Фрид отступил на шаг и внимательно оглядел архитектора с ног до головы.

— Слушай, Макоед, что я тебе скажу. Накрыться можем мы с тобой. А Карнач всегда открытый. Был и останется.

Произнес это, как библейскую заповедь, и пошел, переваливаясь утицей с ноги на ногу, медлительный, но уверенный в своих движениях и в своей мудрости.

Макоед злобно плюнул. Тьфу! Старый маразматик! Давно пора на пенсию. Держится за кресло, поэтому всех хочет ублажить. Такое было приподнятое настроение. И кто испортил? Никогда не подумал бы. Никому, выходит, нельзя довериться.

С самого начала ему хотелось позвонить Нине на кафедру. Но, обойдя весь институт, он не нашел телефона, возле которого не торчали бы люди. Как назло. Правда, можно выйти на улицу и позвонить из автомата. Но он не совсем уверен, что Нина правильно его поймет. Сегодня утром они опять поцапались.

Когда неприятный осадок после разговора с Фридом прошел, Макоед снова почувствовал неодолимую потребность с кем-нибудь поговорить о падении человека, успехам которого он много лет завидовал. С течением времени зависть перешла в тайную враждебность. Но даже самому себе Макоед никогда не признался бы, что испытывает по отношению к коллеге и товарищу вражду. Нет. Просто считал, что он объективнее других и потому относится к Карначу более критически. И не толстовец же

он, чтобы целоваться с человеком, который, Макоед в этом убежден, использует свое положение, выдвигает себя, своих друзей, а его зажимает. Макоед считал себя человеком принципиальным и справедливым.

Поговорить откровенно можно, разумеется, только с женой. В конце концов, жена есть жена. Как бы они ни цапались между собой, но всегда заключали союз, когда надо было от кого-нибудь защититься или показать кому-нибудь свою силу.

Бронислав Адамович не выдержал и отправился на улицу, пробежал целый квартал, ведь автоматов в городе не густо, в их районе — только возле родильного дома.

Войдя в будку, Бронислав Адамович набрал телефон кафедры и сразу услышал Нинин голос. Выдержал паузу, чтоб окончательно убедиться, что это она.

— Алло! Не слышу вас. Вы из автомата? Нажмите кнопку.

Оглянувшись на разбитое стекло будки, прикрыв ладонью рот и трубку, как от ветра, Макоед безо всякого вступления громко прошептал:

— А все-таки он шлепнулся.

— Ах, это ты! — узнала Нина и засмеялась. — Почему это тебя так обрадовало? Ты же клялся, что никогда не пойдешь на его место.

— Ты одна?

— Нет, — громко отвечала Нина. — Тут вся моя кафедра. Разве не слышишь голосов?

— Ты что, ошалела?

— Миленький мой, им тоже интересно узнать, что Карнач шлепнулся. Ведь он же у нас читает. Слышали, коллеги? Некоторые из нас влюблены в него. Нам нужны сильные эмоции.

— Голодной куме...

— С таким мужем, как ты, будешь голодной, — засмеялась Нина.

Конечно, врет, что в кабинете еще кто-то есть. Хотя кто знает, эту сумасшедшую никогда не поймешь, не раз уже она выставляла его перед людьми в самом нелепом виде.

Там действительно, кажется, слышны голоса, хлопают двери.

Он сказал громко, не прикрывая больше трубки:

— Я хотел поговорить с тобой как с разумной женщиной, а ты... Тут тоже стоят люди, поэтому я воздерживаюсь от эпитетов, — и повесил трубку.

Поговорил, называется, откровенно и по душам! Шел назад, в лицо лепил мокрый снег, и казалось, что на голову выливают холодную грязную воду. Было горько и обидно от мысли, что во всем городе нет человека, с которым мог бы поговорить действительно откровенно. У Карнача, верно, таких людей без счета. И у Шугачева. И жены у них не такие, как его крапива: как ни коснись, обожжешься. Нина смеется над Полей Шугачевой, а мужчины завидуют ее мужу. Правда, он однажды бросил Нине,

что она не любит Полю, потому что завидует ей. Наверное, женщине, помимо борьбы за кафедру, нужны еще другие радости. Нина начинает ощущать свой возраст, тридцать семь лет уже, и бесится от неполноты женского счастья — от бездетности. А может быть, у нее в самом деле есть любовник? Кто? В последнее время часто возникают такие мысли. Самое странное, что они, эти мысли, не рождают бурных приливов ревности и гнева, как раньше, когда он чувствовал, что убил бы соперника. Теперь он может еще неплохо сыграть ревность перед ней, но если б соперник и в самом деле появился, то — чувствует — он не только не задушил бы обоих, а вряд ли дал бы по доброй пощечине. Более того, вряд ли хватило бы силы воли порвать с Ниной. Сознание своего безволия угнетало. И за это он ненавидел всех вокруг. Например, на конференции самоотвод Карнача он примерил к себе и сразу почувствовал — нет, не подходит, никогда он не сделал бы ничего подобного, и его неприязнь к человеку, в дружбе к которому он неоднократно клялся, усилилась. Потому так обрадовался, почуяв сегодня в горкоме, что под Карначом зашаталась почва.

В буфете Макоед встретил Шугачева. Шугачев редко обедал в тесном и шумном институтском буфете, ездил домой; коллеги подсмеивались: «К детям, к Поле». Не все понимали, что бюджет человека, имеющего пятерых детей, не позволяет каждый день обедать в дорогом буфете. Да и не любил Шугачев харч, привезенный из столовой в термосах. Только молоко зимой здесь брал, считал, что оно лучше, чем в магазинах, натуральное, не из порошка.

На этот раз Шугачев стоял в общей очереди, в руке та же авоська, в которой носил бутылки с молоком.

Макоед стал за ним. Спросил:

— Будем обедать? Или за молоком?

— Что вы скалите зубы над моим молоком? Что тут смешного? Что детям молоко нужно?

Макоед испугался — из-за пустяка человек может обидеться. А зачем ему ссориться с Шугачевым, которого выбрали секретарем партбюро?

— Ей-богу, Виктор, не смеюсь. Ты редко обедаешь, потому спросил, — стал уверять Макоед.

Шугачев поверил, смягчился.

— Сегодня жена дежурит в школе.

— Пошла на работу?

— Нет. Куда ей. Такой колхоз. Как член родительского комитета.

Обед Шугачев заказал основательный, по-домашнему, на трех чертежниц хватило бы. Макоед, боясь потолстеть, редко заказывал такой, но тут повторил шугачевский заказ и сел с ним за один столик. Взявшись за селедку с винегретом, Макоед сказал:

— Вчера читал Корбюзье. Здорово у него сказано: дом — это машина для жизни.

— Неплохо. А дальше что?

— Что дальше?

— Каждый вычитывает то, что ему нравится. «Дом — машина для жизни». Это я слышал еще в институте. Я не читал всего, что написал Корбюзье. Но знаю, что на практике Корбюзье заботится об эстетике и что особенно важно, учит людей, как им надо жить в этих «машинах» — домах, квартирах, целых городах. Мы с тобой учим этому? Мы лепим «машины для жизни», и больше ничего. Да и «машины» устарелые. Их не сравнишь с первым автомобилем. При технической и эстетической нескладности в этом автомобиле было хоть просторно. Не такая теснота. Один китайский архитектор еще лет за шестьсот до нашей эры сказал: «Окна и двери прорубают, чтоб сделать дом, польза же дома от пустого пространства». От пустого пространства!

— Это я слышал от Карнача. Он любил цитировать китайцев.

— Он цитирует мудрых людей.

— Виктор, дорогой, это бесплодный спор. Мы выполняем заказ. Социальный. Партии, государства. Обеспечить людей жильем. Да, строим пока еще тесные «машины для жизни». Их не сравнишь с современными самолетами. В авиации не жалеют денег не только на конструкторскую разработку, но и на дизайнерскую. А у нас? Надо экономить на каждом метре. Нельзя не экономить при таких масштабах. Я уважаю Корбюзье, Райта. Но, когда ставят в пример виллу Савуа, мне смешно. Кто у нас может заказать такую виллу? Кто в ней будет жить? Во что она обойдется?

— Однако и при нашем функционализме люди строят здания, которые можно назвать произведениями искусства. Беда в том, что мы перестали быть художниками. Мы превращаемся в копировщиков. Мы даже авторское самолюбие теряем.

— Ну, не скажи. У некоторых оно сильно развито.

— К сожалению, не у меня, — вздохнул Шугачев.

— У тебя самокритическая струна. Твой друг так не сказал бы.

— Карнач? Да он единственный, кто воюет за то, чтоб каждый из нас мог выявить свою индивидуальность. Благодаря ему нам удалось построить кое-что оригинальное.

— Согласен. Но скажи, пожалуйста, что с ним случилось? Он что, хочет от нас уйти? Куда? Кто его переманил? У нас, кажется, не принято уходить таким образом. Это похоже на демонстрацию. Меня почему-то считают его недругом, а я тебе скажу: я первый от души жалею, что у нас не будет такого главного. Он умел пробивать...

Макоед положил на стол вилку и внимательно вглядывался

в Шугачева. Но тот, казалось, был целиком занят картофельным пюре.

Шугачеву не надо было проницательно смотреть в глаза собеседнику. Он понял сразу, как только тот спросил о Карначе, почему Макоед сел с ним за один стол. Все долгие подходы, от самого Корбюзье, делались с единственной целью: в доверительной беседе, как бы невзначай, будто между прочим, спросить о том, что лишило его сна и покоя. Но, как все слишком самоуверенные люди, Макоед не подумал, что такой простачок, как Шугачев, да к тому же измученный детьми, может быть не менее хитер и проницателен. Вероятно, одна Поля знала, каким озорником бывает ее Витя, как неожиданно он реагирует на разные бытовые ситуации, какую мину иной раз может незаметно подвести.

Макоед облизывал губы от нетерпения, а Шугачев не спеша подбирал хлебом остатки соуса с тарелки, чтоб ничего не пропало, ведь деньги плачены.

Макоед даже брезгливо поморщился.

«Будто три дня не ел. Набил брюхо картошкой».

— Ты угадал, — проглотив последний кусочек хлеба, тяжело вздохнул Шугачев. — Максим хочет уйти... Осуществить свою давнюю мечту — заняться наукой, растить молодых архитекторов. Как я ни отговаривал его, не помогает. Идет в институт...

— В наш?

— В наш. Куда же еще. Не те года, чтоб носиться по свету.

Шугачев увидел, как у Макоеда побелела лысина, и от удовольствия даже качнулся на стуле — попал, как говорится, в яблочко.

— Может, чайку выпьем?

— Нет. Не буду. Мне еще позвонить надо, пока обеденный перерыв.

Макоед встал и пошел к двери.

Шугачев смотрел ему вслед, и губы его блестели, как у малыша, измазанные подливкой, а из глаз сыпались озорные искры. Он догадался, кому бросился звонить самовлюбленный хитрюга. Всю жизнь он стремился кого-нибудь перехитрить. Надо же и его хоть раз поставить в смешное положение. Пускай звонит про пожар, которого нет.

Макоед, сдерживая себя, прошел к лестнице — в холле сновали люди, — а там кинулся через пять ступенек на второй этаж. Ему повезло, в приемной директора было пусто, секретарша обедала. Он набрал номер кафедры. Показалось, что ответила Нина, такой же молодой бодрый голос. И он выпалил:

— Ты, ворона! Знай! Не я хочу занять его место, а он твое!

— Вы что, пьяный? Куда вы звоните? — голос чужой, незнакомый. По здравому рассуждению, которое — черт бы его

взял! — всегда запаздывает, ему надо было тут же положить трубку. А он, дурак, раздраженно гаркнул:

— Нину Ивановну!

Наконец действительно ее голос. Как он мог ошибиться?

— Я вас слушаю.

— Поздравляю тебя, моя дорогая. Он идет к вам. Готовь встречу.

В ответ она весело засмеялась, хотя он услышал в этом смехе кипение гнева.

— Где это ты в рабочее время так «напроектировался»?

— Ты что?

— Иди проспись. — смеялась она. — Поговорим дома. У меня люди, — и положила трубку.

А Бронислав Адамович, ошеломленный, все еще слушал короткие гудки, пока не догадался, что странным смехом своим и еще более странными словами Нина стремилась сгладить возникшую неловкость. Ее практический ум подсказывал: пусть преподаватели кафедры лучше смеются над мужем пьяным, чем над трезвым.

V

Такая депрессия впервые охватила его тогда, когда Даша начала свои сеансы упорного молчания. Безразличие ко всему, бездумие и безволие — ни за что не хочется браться, ничего не хочется решать, — перед сколько-нибудь серьезными проблемами мозг, казалось, ставит непроницаемую преграду, в голову лезет один мусор, мелочные, никчемные мыслишки.

Тогда такое состояние испугало. Но с течением времени, когда Даша стала замолкать все чаще и депрессия начала повторяться, он привык — защитная реакция организма. Если бы не эта заторможенность, он мог бы невесть что натворить. А так посидишь часок-другой с сумбуром в голове и помаленьку возвращаешься к нормальной жизни и творчеству. Пирушка, выпивка не помогают, наоборот, еще более углубляют и затягивают это состояние. Лучше всего — трезвое одиночество.

После разговора с Игнатовичем хотелось удрать в свой Волчий Лог, покормить синиц, побеседовать с Бароном. Но в горсовете ждали люди, сознание служебного долга победило.

Глядя на пыльные свертки проектов на шкафу и думая о том, что надо сказать уборщицам, чтоб вытирали там пыль, Максим слушал работников своего управления, подписывал бумаги, не углубляясь в их содержание.

Тамара Лапич из бюро инвентаризации, с которой любил пошутить, выслушивая ее жалобы на мужа, тренера футбольной команды, озабоченно спросила:

— У вас не грипп, Максим Евтихиевич?

Он удивился:

— Грипп? Почему грипп?

— Вид у вас какой-то...

— А-а... вчера перепил, — соврал он, чтобы поскорей отвязаться от женщины, которая явно заигрывала с ним.

Тамара засмеялась.

— Максим Евтихиевич, вы прямо ребенок!

— Почему ребенок?

— Ну, кто бы, занимая такую должность, признался, что перепил? Начальство только боржом пьет... Молоко и то им не разрешается.

— Я плохой начальник.

— Дай бог, чтоб все такие были.

— Тамара Федоровна, это же подхалимаж.

После своих пошли посетители. С ними было трудней. Их надо выслушивать, потому что дела, входящие в компетенцию главного архитектора, как правило, запутаны, иной раз, слушая какого-нибудь частника, не сразу и до сути доберешься — чего же он хочет? Тем более трудно сегодня, когда в голову лезет черт знает что.

«В приборе высохли чернила. Никто теперь не пользуется приборами, а их все еще покупают и ставят на столы».

«Сапожки на женщине заметно разнятся по цвету: один темнее, другой светлее. Явный брак может создать моду. Надо поискать примеры такого парадокса».

Явился на прием старик, которого Карнач давно знал. Все его знали в исполкоме, этого бородатого старовера, три года он обивает пороги разных учреждений.

Дом его с хорошим садом оказался в квартале новой застройки. Надо было сносить. Но дед отказался от квартиры в новом доме. Он не мог жить без собственной крепости, а потому потребовал, чтоб ему построили такой же дом в Заречном районе, у леса, где в то время еще отводились участки под индивидуальную застройку. И чтоб посадили сад. Требования его вдвое превышали нормы расходов на такой перенос. Возразили финансисты. Но закон защищал права собственника. Дед знал законы лучше любого юриста. Уговаривали его не только официальные органы, но и собственные дети, ничто не помогло — старовер был упрям, как козел.

Игнатовичу, который в то время был председателем исполкома, надоело заниматься его заявлениями и жалобами, и он решил: не трогайте, черт с ним, пускай остается; начнется строительство, сам попросит, чтоб перенесли или дали квартиру в новом доме. Игнатович ошибся, он не знал, что такое староверческое упрямство. С обеих сторон садика выросли пятиэтажные каменные дома, а дед никуда не просится, только по верху сетки, которой огорожена его крепость, пустил колючую проволоку, чтоб не лазили дети. А когда жители кооперативного дома написали заявление с просьбой снести домик частника, старик ото-

мстил им по-своему: перенес уборную с дальнего конца сада под окна жалобщиков.

Максима история эта когда-то забавляла. Когда начинали планировку квартала, он настойчиво требовал, чтобы нашли средства и удовлетворили желание старовера переселиться в Заречный район. Его не послушались. Пускай же теперь разбираются те, кто хотел сэкономить какую-то ерунду в то время, когда планировалась застройка на миллионы рублей. Старовер этот — что прыщ на носу. Но теперь уже не только у архитектуры.

Старика обязали снести уборную. Но, пока добивались, чтоб он выполнил решение (милиция не знала, как его заставить, — деликатное дело), возмущенные жильцы управились сами: ночью разнесли в щепу дедову «скворечню». И своей поспешностью посадили старовера, как говорится, «на коня»: теперь он ходит по учреждениям уже как истец, а не как ответчик. И похоже, что сутяжничество стало смыслом его жизни.

Максим в начале этой староверческой эпопеи разговаривал со стариком с веселым юмором, терпеливо, часто не только о конкретном деле, а вообще о жизни: интересовала философия этого бородача, который, проповедуя старую веру, в то же время прекрасно умел приспособиться к новым условиям, отлично изучил законы, охранявшие его общественные, имущественные и все прочие права.

Старовер знал, что главный архитектор добивался переноса его «цитадели», к тому же умел внимательно выслушать и поговорить на разные темы, и в других учреждениях ставил Карнача в пример: мол, единственный начальник, который понимает простого человека. Наверно, делал это не без умысла — неплохо иметь авторитетного защитника на будущее, потому что знал, что не один год ему судиться с городскими властями и новыми соседями.

Максим сперва даже обрадовался, увидев знакомую бороду. Дед не лишен юмора, с ним можно весело поболтать, немного позабавиться и забыть обо всех серьезных проблемах.

Но старовер кипел гневом и требовал, чтоб архитектор тут же поехал и показал, где имеет право он, хозяин участка, отгородить клочок для неотложной нужды; искать средства заставить «фулиганов» из соседнего дома восстановить разрушенное строение он будет в другом месте.

Максим сразу почувствовал, что гнев старовера — дымовая завеса, на самом же деле этот бородатый тип издевается над законами, строительными порядками, регламентациями и над ним, главным архитектором, тоже. Подумал, какими вонючими делами приходится заниматься! И тут же вспомнил попрек Игнатовича и свою борьбу за то, чтоб главный архитектор был главным в том, что имеет отношение к архитектуре. Вдруг показалось, что победа, которой он когда-то радовался и которой похвалялся перед

коллегами, мифическая, что ничего не изменилось и роль его — вот она, вся ее суть в этом «староверческом деле».

Депрессия, сделавшая его безразличным ко всему на свете, вдруг обернулась раздражительностью и злостью. На кого? На этого старика? На него тоже. Но и на себя самого. На свою должность.

Максим сжал подлокотники кресла и уставился в бумаги на столе, чтоб не смотреть в наглые маслянистые глазки старовера, на его совсем молодой, без морщин, лоб — единственное место, не заросшее шерстью.

— Послушайте, Маслобоев, — и тут же подумал: «Фамилия — как нарочно придуманная». — Вам же предлагали канализацию. В доме у вас места хватает...

— Паскудство это великое и противное богу — нужник в доме. У меня в доме святой дух живет.

— Значит, ваш дух и святой дух не уживаются вместе? И потому вы свой дух подсунули соседям?

Маслобоев на миг смешался. Но тут же загудел, укоризненно качая головой:

— Нехорошо, начальник, смеяться над старым человеком и над его верой. Веру мою вам все одно не поколебать. Я знаю, что бог принимает из того, что теперь творится на земле, а чего не принимает.

— Много он вам доверил, бог. Это он посоветовал вам подсунуть ваш «святой дух» грешным?

— Не оскорбляйте бога, начальник. Я не за тем к вам пришел. Я покоряюсь власти, хотя поступает она несправедливо. Укажите мне, где поставить, и все.

Максим тяжело поднялся с кресла, отступил в сторону; он кипел, но сдерживался.

— Знаете что, Маслобоев?

— Что?

— Садитесь на мое место...

Старовер, как бы почуяв подвох, тоже настороженно привстал.

— Не надо мне вашего места. Я сижу на своем, куда бог посадил.

— Нет! Садитесь! И пошлите меня...

Маслобоев не обиделся, не возмутился. Он почти обрадовался, что вывел из терпения еще одного представителя власти, самого терпеливого, и что получил возможность написать еще одну жалобу. Глазки его, казалось, даже завертелись, и он закричал фальцетом:

— Так! Так! Так! Вот так, значит, говорят с советским человеком?

Больше Максим сдерживаться не мог. Загремел на весь горсовет:

— Ты советский человек? Кулак ты, хапуга, ханжа и клеветник!

Старовера как ветром сдуло. Вспоминая потом, как тот кинулся к двери, с какой молодой прытью, Максим засмеялся. Но тогда было не до смеха.

Председатель исполкома Кислюк до горсовета был секретарем сельского райкома и, должно быть, оттуда принес непривычный для такого учреждения стиль работы. Председателю не сиделось в кабинете. Даже своих непосредственных подчиненных он редко вызывал в кабинет, чаще шел к ним в отделы. Между прочим, некоторые считали, что это разумная хитрость: председательские посещения дисциплинировали людей. Теперь никто в рабочее время не играл в шашки, потому что Кислюк мог нагрянуть в любую, самую неожиданную минуту.

Так что Максим не удивился, когда увидел председателя на пороге своей комнаты. Не удивился, но совсем не обрадовался: никакими делами заниматься не хотелось, с Кислюком особенно. Председатель был молодой, энергичный работник, но Максиму казалось парадоксальным, что не в пример Игнатовичу, инженеру-механику, Кислюк, который долго работал по культуре и пропаганде, был равнодушен к архитектурной эстетике. Чистейший функционалист. Для него, пожалуй, все равно, что парадный фасад Дворца культуры, что глухая, без окон, стена холодильника. Правда, одно хорошо, что сам он знает свое слабое место, признает его и никогда не навязывает другим собственный вкус и понимание архитектуры. Целиком полагается на главного архитектора и... на секретаря горкома.

— Максим Евтихиевич, что вы такое сказали этому бородачу? Он чуть не сбил с ног Зину, когда та пыталась не пустить его ко мне. Влетел, как с цепи сорвавшись, призывал на вашу голову и гнев божий, и гнев ЦК, Совета Министров... всех высших органов.

Максим рассказал вяло, нехотя, равнодушный к самому факту и ко всему тому, что из него может проистечь. Но Кислюка рассказ его рассмешил. Максим ни разу еще не видел, чтоб председатель так заливисто, по-детски, до слез смеялся.

— Нет, серьезно, так и сказали?

— Так и сказал.

— Ох, не могу. Его дух и дух святой не уживаются вместе? Ну, насмешили...

— Павел Павлович, издевается он, старый ханжа, над нами. Это не смешно, а грустно. Мы иной раз невнимательно выслушиваем прекрасных людей, отказываем им в помощи и нянчимся с такими вот наглецами.

Кислюк вытер пальцами слезы.

— Да, смешного мало. Теперь хлынет новый поток кляуз.

Самое противное — отвечать на жалобы бездоказательные, клеветнические. Знаешь, что кляуза, что ответить на нее стоило бы, как вы ответили староверу этому. А нельзя.

— На очередную кляузу Маслобоева поручите ответить мне.

— Чтоб потом приехало семь комиссий? Нет, дорогой Максим Евтихиевич, нам суждено оставаться бюрократами. Так проще откреститься и от бога, и от черта.

Максим внимательно посмотрел на председателя и серьезно, даже сурово сказал:

— А может, попробуем остаться людьми? Просто человеками?

Кислюка, знавшего, что обычно Карнач подхватывает любую шутку и катит ее, как снежный ком, удивила такая непривычная его серьезность. Он засмеялся, покачал головой.

— Однако настроение у вас сегодня... Даже боязно начинать разговор о деле.

Максим насторожился.

— Что там еще? Давайте. Сразу всех жаб. Проглочу. Я не брезглив, всеядный.

— Однако. Кто вам сегодня наступил на мозоль?

— Забудьте о моих мозолях. Я ваш подчиненный.

— Вы меня обижаете, Максим Евтихиевич. Ей-богу, я еще не настолько обюрократился, чтоб так разговаривать с вами. Я глубоко уважаю ваш авторитет...

Максим ненавидел раздражительность в других и в себе тоже. Обычно он умел не показывать ее на людях. Странно, но перед Кислюком ему не захотелось скрывать свое настроение, притворяться бодрячком. В то же время он понимал неуместность такого тона в разговоре с человеком, безусловно, доброжелательным.

Мягкой улыбкой попросил прощения. Но все же не сдержался, чтоб не ответить с известным подтекстом на заверение Кислюка:

— Теперь в любви ко мне клянется только один человек — Макоед.

Кислюк знал об их отношениях и, обиженный таким сравнением, тяжело вздохнул. Остальное до него не могло дойти. А между тем было в этих словах желание перенести заряд на другой объект, возможно, на первопричину своего дурного настроения. Если б не встреча с Макоедом, не беседа с Игнатовичем, весь их разговор, наверно, имел бы совсем другую окраску, другой характер. А еще была в его словах горькая ирония.

Но председатель не знал ни о его отношениях с женой, ни о разговоре у Игнатовича и потому счел, что, пожалуй, всего уместнее, деликатнее промолчать и перейти к делу.

— Звонил Игнатович. Требует, чтобы мы «посадили» на проспекте, напротив Лесной, общежитие института.

Максим втянул в легкие воздух и задержал дыхание. Кислюк

умолк, ждал, что архитектор сейчас гневно запротестует. Но тот так же шумно выдохнул воздух и ничего не ответил.

Председатель откровенно признался:

— Ничего не понимаю. Даже мне, грешному функционалисту, как вы меня окрестили, абсолютно ясно, что на это место просится что-то монументальное, а не ординарная коробка. В будущем это второй центр. Игнатович меня удивил. Такое внимание к архитектурному облику города и вдруг... Поговорили бы вы с ним.

— А вы? Вы говорили?

— Попытался. Ответ короткий: «Нет вопроса!» Для него нет вопроса. А для нас вопрос есть. Вы могли бы более профессионально доказать. Да вам и проще при ваших отношениях...

— Родственных, да? — криво улыбнулся Максим и сердито выпалил: — К вашему сведению, Павел Павлович, я никогда не решаю архитектурные проблемы по-родственному.

Кислюк смутился.

— Вы меня неправильно поняли. Прежде всего я имею в виду вашу компетентность. Игнатович считается с вашим мнением.

— Павел Павлович, к Игнатовичу не пойду говорить на эту тему. Но постановления не подпишу.

— Что же делать?

— Обойти главного архитектора — это так просто. Не впервые.

Кислюк, который только вначале на минутку присел, а потом расхаживал вокруг стола, вдруг направился к двери. Но посреди комнаты остановился и издалека, уже совсем по-начальнически, иронично, с сознанием своей власти посмотрел на Карнача.

— Однако колючий вы сегодня. Не дотронуться. Не нравитесь вы мне.

— Спасибо за откровенность. Между прочим, я никогда не старался нравиться начальству. Принимайте таким, каков есть. Да, кстати, с сегодняшнего дня обязанности ваши усложняются. Теперь Игнатовича убеждать придется вам. Какие проблемы он еще подкинул?

Кислюк вернулся к столу.

— Это уже мелочь. Есть указание: дом на Ветряной, который занимают сейчас геологи, надстроить и передать под исполком сельского района.

— Что значит надстроить?

— К двум этажам еще два.

Максим почувствовал, как кровь ударила в виски, словно эта обыденная история с малоприметным домом вдруг задела его собственную судьбу. Да, задела, потому что в воображении его уже давно живет архитектурный образ этого живописного уголка над рекой — такой, каким он будет после реконструкции. Это один из тех образов, что возникают в бессонные ночи. Один из тех проектов, что рождаются сами по себе, без заказа и кото-

рые дают смысл жизни зодчего. Может быть, замысел никогда не осуществится, но, пока он есть, пока живут желание и мечта, есть радость творчества: даешь простор фантазии и мысленно планируешь, строишь что-то новое. В городе это единственный уголок, где во время войны уцелели старые, XVII — XVIII веков здания. Суметь сохранить все старое, имеющее историческую и архитектурную ценность, и сочетать его с новым — задача сложная, интересная, какой ему еще не приходилось решать. Двадцать лет он строил только новое, убирая остатки старого, разрушенного войной. Так было в Минске, так было и здесь, в этом городе.

Максим стремительно вышел из-за стола, сердито рванул занавеску на стене, зазвенели кольца на проволоке, открылся генеральный план реконструкции города. Он ткнул пальцем в план.

— Десятки людей ломали головы, не спали, спорили, чтоб разработать его. И вдруг кто-то, почесав левой рукой правое ухо, одним махом все перечеркивает.

— Ну, так уж и перечеркивает. Одним домом весь план? — снисходительно улыбнулся Кислюк.

Безразличие Максима как рукой сняло. Вмиг вернулось его обычное, знакомое всем состояние — энергия, полемический огонь.

— Черт возьми! Не план. Лучший район. Зачеркивает возможности реконструкции целого района. Эту старую казарму давно надо снести. Не позволяла наша бедность. В таком виде через год-два мы ее уберем. А кто позволит сносить, если мы ухлопаем полмиллиона и надстроим еще два этажа? Пришьем новый рукав к старой свитке. И будет стоять уродина, как бельмо в глазу. Закроет перспективу на реку. Ни один гений не найдет тогда композиционного решения района, Павел Павлович. Что перед таким домом можно посадить? Филармонию, как мы планировали? Смешно! А теперь взгляните с другой стороны. Все мы говорим о транспортной проблеме, которая уже возникла. А что будет через пять, десять лет? В этом конце уже два крупных учреждения, возле которых собирается сотня машин. Сажаем третье, к которому пойдут колхозные грузовики. Потом, допустим, посадим филармонию. Приближается время, когда люди станут ездить на концерты на собственных машинах. Где их ставить? Снос этого «чирья», кроме того, что открывает перспективу, дает площадку для машин. Неужели это трудно понять? Кто дал такое «мудрое» указание? Игнатович?

— Сосновский.

— Сосновский? Ну, Сосновскому я докажу! Не может он не согласиться! Не в пятидесятые годы мы живем, чтоб все латать прорехи.

— Вот таким вы мне нравитесь, — улыбнулся Кислюк.

— Мне нужны не ваши комплименты, а ваша поддержка! Что вы ответили на это требование? Есть? Будет сделано? Так?

Кислюк нахмурился.

— Вот вы как думаете обо мне?

— А как мне думать?

— Если б я сказал: «Будет сделано!» — то не пришел бы к вам и, между прочим, легко сумел бы вас обойти.

Сказал и вышел из комнаты, не попрощавшись. Обиделся. Но Максима это мало тронуло. Во-первых, знал, что Кислюк не злопамятен. А во-вторых, упрек в нерешительности, несомненно, подбавит ему пыла в борьбе за проекты, с которыми он согласен.

У Максима появилось ощущение, что он одержал победу, пускай небольшую и пока что неизвестно над кем. Может быть, просто над обстоятельствами. Суть не в этом. Главное — чувство это изменило настроение, вернуло к активной деятельности.

Он остановился перед планом города. Знал его наизусть. Но все равно любил вот так постоять и посмотреть. Тут всего ярче возникал образ будущего города во всей полноте планировочных композиций. Словно видишь свой город с высоты. Через несколько минут спустишься сюда, в новый аэропорт. И тебе надо решить, куда ты поедешь, что тебе захочется посмотреть после недолгой разлуки. Проспект Мира? Аллею Героев? Новый парк? Заречный район? У Витьки Шугачева замечательная идея этого района. Детали уже ложатся на листы ватмана. Виктор работает, веря, что он, главный, добьется ассигнований на экспериментальную застройку. Потому Виктора так испугал его самоотвод. Шугачев никогда не копирует чужое, не гонится за модой, он бывает традиционен, однако решения у него всегда оригинальные — в русле лучших традиций отечественной архитектуры.

Странно, Виктор так редко говорит о своей работе. А вот дети пошли за ним, двое уже выбрали отцовскую профессию. Он же столько беседовал с Ветой об архитектуре. А она выбрала музыку... Если б сама выбрала! Он до сих пор не верит, что из нее выйдет настоящая пианистка.

Подумал о детях, и тут же возникло острое ощущение вины за то, что он упустил что-то очень важное, что должен был сделать. Не сразу сообразил, что, перед кем он виноват. Перед Ветой? Нет. Перед Верой Шугачевой. За три дня он не удосужился поговорить с этим каштановым красавчиком. К черту все дела! Все высокие материи! Надо спасать юное девичье сердце, отвести от него беду!

Нина Ивановна испугалась, увидев Карнача на пороге своей комнаты в институте. Только что так по-дурацки позвонил этот чурбан, ее муж, и Карнач уже здесь. А лекций, она знала, у него нет, он прочитал свой курс за два месяца, чтоб не отрываться надолго от основной работы, ректорат шел ему навстречу, толь-

ко бы читал. Неужели все решено? А что, если он скажет: «Ну вот, я пришел тебя заменить. Ты жаловалась, что тебе трудно вести кафедру?» Нина Ивановна похолодела от этой мысли.

А Карнач — воплощение вежливости, галантности, оптимизма. Как это подозрительно! Подошел в пальто, бросив меховую шапку на стол, поздоровался, задержал ее руку, любуясь.

— Ну как тут удержаться, чтоб не поцеловать такую руку?

Лаборантка кафедры Роза — верная слуга Нины Ивановны, ее глаза и уши — залилась радостным смехом. Поздоровавшись с ней (больше в комнате никого не было), Максим продолжал:

— Нина Ивановна, ты картошку когда-нибудь чистишь? Это ж надо уметь так холить руки, — он оглядел статную фигуру моложавой женщины в новеньком, с иголочки, простом, но со вкусом сшитом костюме. Мало в городе женщин, которые умеют так одеваться — просто и красиво. Дашу тянет на крикливую сверхмоду.

— А муж у меня зачем? — без улыбки ответила Нина Ивановна на его вопрос о картошке, все еще настороженная и испуганная.

— Бедный Макоед! Да и все мы, мужчины. Возвращается матриархат.

— По-моему, это вам хочется вернуть матриархат, чтоб еще больше работы взвалить на наши слабые плечи.

Нине Ивановне не терпелось поскорей перейти от галантной болтовни к более серьезному разговору, который, может быть, прояснил бы ее положение.

— Какие новости в архитектуре, Максим?

— Нина Ивановна, богиня моя, все новости должны быть у вас, теоретиков. А нам, практикам, некогда полистать журнал. Сегодня один бородатый тип потребовал, чтоб я пошел показал, где ему поставить уборную, простите.

Роза, недавно приобщившаяся к архитектуре, любила разговоры на специальные темы и слушала, разинув рот, но уборная ее опять рассмешила.

— А высокому функционалисту пришла идея надстроить николаевскую казарму на Ветряной. Можешь представить, какой шедевр мы возвели бы.

У Нины Ивановны немного отлегло от сердца: нет, кажется, он по-прежнему занят своей работой.

— Твой гениальный Макоед тоже не нашел другого места, как площадка напротив Лесной, чтоб посадить общежитие института. Еще один шедевр!

Нина Ивановна засмеялась, почти уже успокоенная; сарказм по отношению к мужу ее не задел.

Но тут же неожиданно Максим нанес чуть ли не смертельный удар.

— Надоела мне до чертиков эта нервотрепка. Завидую вам. Чистая наука. Безгрешные юные души.

— Так переходите к нам! — весело предложила Роза. — Вас с распростертыми объятиями примут.

Не ведало наивное существо, что в один миг превратилось из лучшего друга и слуги во врага своей покровительницы. Но Нина Ивановна не испепелила ее взглядом: боялась взглянуть, чтоб не выдать себя.

— Открой лучше, Максим, нам, бабам, секрет своей молодости. Гляжу на тебя и дивлюсь: при такой цыганской черноте ни одного седого волоса.

— Не сплю на чужих подушках.

Роза сползла под стол.

— Не думаю, что мой Макоед спит, — без улыбки ответила Нина Ивановна.

— Макоеду ты часто мылишь голову, вот и полысел.

Нина Ивановна засмеялась, хотя на сердце было пусто и холодно.

Роза кудахтала от смеха.

Заведующая кафедрой упрекнула лаборантку:

— Роза, вы — что малое дитя.

Та вмиг умолкла, испугалась: почему вдруг на «вы»?

Резко зазвенел электрический звонок. Над головой и где-то далеко в коридоре затопали, загрохотали, даже стакан зазвенел о графин на столе. Максим поморщился: легкие железобетонные конструкции непригодны для зданий, где собирается столько людей, все дрожит, над головой грохот, будто танки идут. В старом корпусе Минского политехнического, где он учился, ничего подобного не было.

Вадима Кулагина он нашел, когда окончился перерыв и студенты собрались в аудитории. Тот неохотно принял приглашение выйти поговорить — не хочет пропускать лекцию.

Максим, глубоко скрыв сарказм, сказал совершенно серьезно:

— Приятно видеть студента, который не пропускает ни одной лекции.

Попал в цель — друзья Вадима весело засмеялись.

Юноша был уверен, что его ведут в деканат, поэтому держал себя несколько нахально. Удивился, когда Максим предложил выйти на улицу. Удивился и... испугался. Максим простил ему нахальство, в его возрасте многие ведут себя так, это глупая мальчишеская форма утверждения своего «я», своей независимости. Сам он, правда, таким не был, потому что до института армия и война уже воспитали в нем чувство собственного достоинства. Но ни на войне, когда каждый день смотрели смерти в глаза, ни теперь, во время мирной жизни, Максим никому не прощал трусости. Поэтому, увидев, что Кулагин испугался, сразу настроился против него.

Вадим не хотел одеваться, должно быть, нарочно, чтоб разговор не затянулся.

— Я закаленный.

— А я не закаленный, — с ударением сказал Максим. — Поэтому хочу разговаривать на равных. Я в пальто, в меховой шапке. А ты рядом будешь, как сирота, обращать на себя внимание прохожих. Что они подумают обо мне?

Вадим оделся.

Пошли проспектом по направлению к полю. Оно недалеко, новый институт строился на окраине. После его постройки проспект протянулся дальше: посадили молочный комбинат, рядом жилые дома. Многие в городе гордятся этим районом. Но не главный архитектор. Максим считает эту застройку своим самым большим поражением: слишком уж «по-новому», шаблонно, посверхтиповому. Чистейший функционализм. Такие районы есть в каждом городе. Единственное их достоинство, что новые. А что будет, когда они постареют?

Он спросил у студента, как ему нравятся планировка района и его архитектурный облик. Вадим ответил:

— Мне нравится. Современно.

Вот так, коротко и ясно: современно. Формула всеобъемлющая.

Попробуй спорить, каким ретрогадом и консерватором ты окажешься в глазах юноши. Отсталость. Темнота.

Поэтому, оставив архитектуру в покое, Максим безо всяких подходов спросил о главном:

— Ты любишь Веру?

Вадим не удивился, как будто ждал этого вопроса.

— Это имеет отношение к архитектуре?

— Это имеет отношение к судьбе будущего архитектора. Между прочим, есть нерушимый закон, он не записан в моральном кодексе, но вытекает из него: прежде чем стать хорошим специалистом в любой области, надо стать человеком. Просто человеком.

Но тут же обожгла мысль: «Завтра он узнает, что я развожусь с женой, и можно представить, как истолкует мои слова».

Вадим помолчал минутку и ответил как будто даже застенчиво:

— Мы дружим.

— Знаешь, что от вашей дружбы будет ребенок?

Юноша остановился, глотнул морозный воздух, по лбу из-под шапки красивых каштановых волос поползла бледность, но не дошла до щек, они не побледнели, по-прежнему светились здоровым румянцем.

— Откуда вы... знаете?

— Я друг семьи.

Он съежился, и бледность перешла на щеки.

— И родители знают?

— Пока нет.

— Откуда же вы?..

— Мне сказала Вера.

Губы его скривились в подленькой ухмылочке, и бледность поползла обратно, вверх.

— Почему такое доверие?

Максиму стало гадко от его низкого подозрения. Если б речь шла о судьбе его собственной дочери, то на этом он бы, верно, прекратил разговор с «женихом». Но Веру такая развязка мало порадует. Этой бедной влюбленной девочке надо помочь выйти из ее тяжелого положения с наименьшей душевной травмой. Да и всем Шугачевым — Поле, Виктору... Наконец, надо исходить из того, что нет людей безнадежных, тем более не безнадежен этот парень, в хороших руках — а у Шугачевых руки хорошие — он еще может стать человеком.

— Почему такое доверие, тебе, видно, трудно понять. Но ты мог бы знать из ее рассказов, что я нес ее из роддома. Нянчил, когда ей было год, два, три... Существовала когда-то такая категория — крестный отец. Часто он бывал духовным отцом. Ему, особенно если он близкий друг семьи, дети доверяли больше, чем родителям. У тебя не было такого человека?

Вадим молчал.

— Представляешь ее душевное состояние, если она отважилась признаться мне в своей беде? Хотя, по логике, для женщины это должно быть радостью, счастьем...

— Что? — должно быть, Вадим задумался и не уловил смысла его слов.

— То, что она будет матерью.

— Ну, не очень-то этому радуются в наше время.

У Максима зачесались руки, но он спрятал их в карманы пальто.

Студент достал сигареты, щелкнул красивой зажигалкой. Дым потянуло на Максима, и ему тоже захотелось курить. Но своих сигарет не было — нарочно не носил, чтоб не поддаться искушению. Бестактность студента — закуривает, не спросив разрешения, — оправдал: должно быть, волнуется, а если волнуется, значит, не законченный циник.

Максим смягчился.

— Думаю, ты знаешь, что в таких случаях делает мужчина?

— Что делает? — наивно спросил студент и закашлялся, поперхнувшись табачным дымом.

— Неужто не знаешь? — с иронией повторил Максим. — Я имею в виду настоящего мужчину. У которого есть совесть. Честь. Надеюсь, что ты именно такой.

Вадим не сразу ответил.

Максим дал ему подумать, не торопил.

— У меня есть отец и мать, я их уважаю. Я ничего не решал без их согласия. А они против моей женитьбы.

— Твое уважительное отношение к родителям хвалю. Ты говорил с ними?

— Отец сказал: женишься — живи как хочешь. А как я проживу, пока учусь?

Максим отметил, что Вадим не отвечает на его вопрос, гово-

рил ли он с родителями о Вере. Он ссылается на слова отца, которые могли быть сказаны год и два назад за вечерним чаем, обычные слова, которые говорят отцы по конкретному поводу или просто так, желая продемонстрировать «житейскую мудрость».

Если бы Максим поверил в искренность Вадима, то пообещал бы и ему, как Вере: «Я поговорю с твоими родителями». Так и думал, когда ехал в институт. Но во время разговора убедился, что дело не в родителях или, во всяком случае, не только в них. Перед ним был молодой рационалист, который научился разделять свои чувства на выгодные для него и невыгодные. Красивыми словами, эмоциональными призывами его не убедишь.

— Как же живут другие?

— Немногие студенты женятся. А кто женат, так и живут.

— А ты приучен к сладкой жизни?

— Я живу в общежитии, как все.

Осмелел и отбивает удары ловко.

— Что же ты советуешь Вере? Что ей делать?

Студент раздраженно бросил окурок на лед в канаве. Асфальтированный тротуар кончился, они остановились, словно перед препятствием. Вадим первый повернул назад, как бы подчеркивая, что ему разговор надоел, что пора кончать его. Посмотрел на Максима нахально, дерзко и, показалось, насмешливо. Победителем посмотрел.

— С Верой мы сами договоримся. Без вас.

Вот как заговорил!

Максима передернуло, но он понимал, что в такой ситуации, с таким человеком спокойствие — самое сильное оружие.

— Это разумно — договориться вам самим. Но знай, Шугачевы не та семья и Вера не та девушка, чтоб это можно было решить так, как, я чувствую, тебе хочется. Нет, дорогой мой молодой коллега! За все надо отвечать. За все наши архитектурные и житейские промашки. Однако в данном случае высокая ответственность может дать тебе счастье на всю жизнь.

Он посмотрел на Вадима: если тот скептически улыбнется на его слова, надо будет повернуть разговор иначе, тогда уж пусть не ждет деликатности и пощады. Нет, студент был задумчив и серьезен. Значит, не сомневается в том, что Вера — девушка, с которой можно построить счастье.

— Я поговорю с родителями.

Ах, свинтус! Все-таки признался, что о Вере ты с ними не говорил, а морочил голову девушке.

— Хочешь, я тебе помогу?

Вадим опять испугался.

— Нет, нет. Нет. Не надо. Я сам...

Максим отбросил дипломатию.

— Слушай, парень! Ты передо мной не крути... Я тебя вижу насквозь. И ты меня знаешь. Должен знать не только как пре-

подавателя... Имей в виду... Верина судьба меня волнует так же, как судьба собственной дочери. Тебе понятно?

Вадим, как школьник, кивнул головой.

— Ну вот. Будем считать, что договорились. А теперь иди и хорошенько подумай. Не поспи ночь-другую... Подумай, как над самым ответственным проектом. А это проект серьезный, уверяю тебя. Будь здоров.

Студент постоял перед ним в нерешительности, опять с белой полосой на лбу, то ли собираясь что-то ответить, то ли не зная, как попрощаться. Потом быстро, почти по-военному повернулся и направился к институту чуть не бегом. Шагов через тридцать оглянулся, как будто хотел убедиться, что за ним не гонятся.

Максим стоял и смотрел ему вслед.

В воздухе кружились робкие снежинки.

VI

Игнатович с его пунктуальностью и требовательностью так уплотнил рабочий день, так загрузил себя работой, что под конец дня чувствовал себя прямо опустошенным. Уходил он из горкома на час позже всех; час этот в тишине тратил на то, чтоб спланировать следующий день, подготовить дела, требующие решения. Планировал он с серьезностью командарма, которому предстояло провести ответственную операцию. Когда по его примеру некоторые из горкомовцев тоже стали оставаться после шести, Герасим Петрович тактично дал понять, что он вовсе не считает таких работников лучшими, просто они не умеют рационально использовать рабочее время.

Одного он не любил — вечерних заседаний и собраний, на которых непременно надо было присутствовать. Они выбивали из ритма, нарушали режим, после них он с трудом засыпал и спал плохо.

В любую погоду он шел домой пешком и за эти пятнадцать минут отключался от дел, если не случалось таких, от которых, даже когда уснешь, не можешь отключиться. Лизе он редко рассказывал о своих делах, хотя жена его тоже член партии, работает в облсовпрофе, знает людей, в курсе многих городских проблем и посоветоваться с ней иногда бывает полезно. Но это значило продолжать работу и дома, никогда не отдыхать. Такая перегрузка не поможет завтра трудиться с полной отдачей. Поэтому он не любил, чтобы и Лиза рассказывала о своих профсоюзных делах, ведь часто это оборачивалось просьбами, над которыми нельзя было не думать. С давних времен, когда они еще оба работали в комсомоле, у них установилось почти нерушимое правило: дома — за ужином, в постели, у детской кроватки — только свои семейные проблемы, больше никаких; работа работой, дом домом.

Герасим Петрович считал, что это разумное правило, оно спа-

сает от излишних перегрузок, что особенно важно сейчас, когда уже приходится носить в кармане валидол.

Игнатович миновал переулок, где стоял его дом, и направился к парку — погулять несколько лишних минут. Хороший был вечер. Пошел тихий сухой снежок. В парке звучала музыка. Сегодня он дал указание, чтоб тут залили еще один каток, а то дети идут на реку, как только установится лед, и в прошлом году был несчастный случай. Подумал о безынициативности работников, которые отвечают за отдых детей и обязаны были раньше его позаботиться об этом. Обо всем приходится думать самому.

Герасим Петрович вздохнул. Из головы не выходили слова Сосновского, его упрек. Такова судьба партийного работника. Достаточно одной промашки, чтоб заработать такую вот «благодарность». Какая промашка? В чем? Не хватает еще секретарю горкома интересоваться, кто как спит с женой. Черт его ведает, этого Карнача! Внешне все казалось в порядке. Неужто и Лиза ничего не знала, ни о чем не догадывалась? Разозлился на жену. Наверно, из-за этого и миновал свой дом: понимал, что там придется заниматься этим неприятным, кляузным делом. Не в пример другим мужьям, ему совсем не хотелось как можно скорее сообщить пикантную новость жене. Во-первых, не тот у него характер. Во-вторых, не очень это, надо полагать, Лизу порадует. В-третьих... И так далее.

Удивляло, что раздражение его против Карнача не росло, наоборот, слабело. Какое-то седьмое или тринадцатое чувство подсказывало: не он виноват. Чем больше думал о том, что ему сообщил Карнач, тем больше настраивался против Даши. Ожила его давнишняя неприязнь к свояченице. Он как-то подумал, что Даша обокрала всех своих сестер, самая красивая, чертовка! Тогда, в молодости, он даже немного завидовал Карначу и считал, что тот должен быть ему благодарен — он их познакомил. Но потом не мог не увидеть, что Даше достались и те качества, которые вряд ли можно назвать положительными. Во всяком случае, у Лизы с годами эти черты постепенно сглаживались, а у Даши проявлялись все резче. Был момент, когда зависть к Карначу перешла в... незлобивое, этакое по-родственному добродушное злорадство: мол, природе, брат, свойственно равновесие, если много дано одного, то, как правило, не хватает чего-то другого.

Вот поэтому ему трудно было настроить себя против Максима. Но вместе с тем такое положение злило: не к лицу партийному руководителю душевная раздвоенность. Как же сохранить свойственную ему объективность, если дело дойдет до бюро горкома?

Легко Сосновскому упрекать. Разве он не знает, что в семейных отношениях сам черт ногу сломит, пока разберется. Однако придется разбираться не черту, а ему. Сосновский, наверно, спросит, что случилось.

Герасим Петрович вздохнул и отказался от намерения зайти в парк, посмотреть, как заливают каток. Нехотя повернул назад.

Лиза сразу почувствовала, что настроение у мужа... не скажешь, что испорчено, но все же не обычное. Во всяком случае, видно, что случилось что-то, о чем, нарушая свое правило, ему хотелось с ней поговорить. У нее разгорелось любопытство. Но за столом сидели дети.

Восьмиклассница Марина нахально и бесцеремонно требовала, чтоб ей купили такой же костюм для катка, как у Галки Бадзяй.

— Да нет их в магазине, Марина, — уговаривала дочку мать.

— А вы не можете позвонить этому Бадзяю? У него на складе все есть.

— Марина! — ласково попрекнул дочку Герасим Петрович. — Я тебе говорил! Ты знаешь мой принцип.

— Боже мой! Да над вашей праведностью смеются! Это устарелая форма показухи. Смотрите, мол, какие мы!.. Ах, ах. И сами собой любуетесь!

— Марина! — Лиза замахнулась на дочь ложкой. — Замолчи, чертово зелье!

Герасим Петрович даже возмущаться перестал, — не впервые дочь так высказывается. Хотелось только одного — понять истоки этой философии девочки, школьницы. Ему было больно от этих слов, он переживал как самое тяжкое свое поражение ее бунт против домашних строгих установок. В школе Марина считается примерной ученицей, а дома все делает как будто назло.

Игнатович посмотрел на сына.

Девятнадцатилетний Петр, студент географического факультета, юноша вдумчивый и серьезный, гордость отца, опустил близорукие глаза в тарелку и... странно улыбался, казалось, скептически, насмешливо: мол, вот результаты вашего пуританского воспитания, любуйтесь.

Припомнился недавний спор с сыном, когда тот вежливо и тактично, но с полной убежденностью пытался доказать, что нынче пропаганда слабо воздействует на молодежь, что какие-то другие факторы — какие, он еще как следует не разобрался, возможно, экономические — нейтрализуют силу высоких и правильных слов и толкают молодых людей на удовлетворение потребительских нужд. Пришлось потратить немало энергии, чтоб доказать сыну, что он ошибается, строя столь широкие обобщения на отдельных фактах. Теперь он подумал, что этот чертенок Марина, в свои неполные пятнадцать лет не признающая никаких авторитетов, больше, чем нужно, думающая о тряпках, не так наивна, безобидна — она плохо влияет на брата, делает его, активного комсомольца, скептиком.

Мысль эта покоробила, и он рассердился не столько на дочку, сколько на жену — это она распустила свою баловницу, без конца потакая ей, безотказно выполняя ее капризы.

Не закричал, слишком много чести, чтоб он кричал. Наоборот, понизил голос, процедил сквозь зубы:

— Ты как разговариваешь с родителями? Я тебе дам показуху! — и, обращаясь к жене: —Завтра же чтоб не видел на ней этих красных сапожек! И меховой шапки! Давно ли с горшка? А уже наряжай ее как принцессу.

— Сапоги я сама выброшу, они старые. А костюмчик все равно купите! — дерзко ухмыльнулась Марина. — Ваш же лозунг: удовлетворять растущие потребности!.. Для этого вы работаете.

Петр, который обычно мучительно переживал подобные ссоры (и это радовало отца), весело рассмеялся. Смех сына прямо-таки испугал Герасима Петровича; показалось, сын теряет к нему уважение, которое ему было дорого, которым он гордился. Он на миг смешался: как же себя держать? Но возмущение прорвало плотину спокойствия и равновесия, которую он многие годы возводил на работе и дома, опрокинуло нерушимое правило — не волноваться из-за мелочей, особенно семейных, потому что они всегда есть и всегда будут и принимать их к сердцу — не хватит сердца.

Загремел на всю квартиру, как это делают многие отцы:

— Я сейчас удовлетворю твои потребности! Вот возьму ремень...

Но с чертенка — что с гуся вода.

— Будешь отвечать. Я Сосновскому пожалуюсь.

— Пошла вон, поганка!

Марина смело посмотрела на отца, подумала, уйти ей или остаться, поднялась, но пригрозила:

— Ну хорошо. Вы меня еще попросите.

— Жди, поклонюсь в ножки. Приду в школу и перед классом расскажу про твои фокусы.

— Приходи, повесели класс, а то нам скучно. — И, медленно, гордо и независимо пройдя по комнате, хлопнула дверью.

Игнатович кипел. Только присутствие сына сдерживало его, а то он высказал бы свой гнев в полную силу. Это же черт знает что такое! С ним уже лет пятнадцать никто не отваживался разговаривать таким тоном.

Для тысяч людей — каких людей! — он высокий авторитет, наставник. А с собственной дочкой не знает, как быть. Что же это такое? Кто на нее влияет? Что делать? Бить, кричать? Это ему не к лицу. Чувствовал, тем, что сорвался здесь, за столом, только унизил себя перед этой маленькой вертушкой. Во всяком случае, авторитет свой отцовский не поднял.

Лиза вздохнула и сказала с укором:

— Нельзя так, Герась.

— А как можно? Ты изучала педагогику.

— У девочки переходный возраст.

— Переходный — переездный. Это ты ее избаловала. Наряжаешь, как под венец.

— Известное дело, я виновата. Кто же еще? Во всем, что не ладится в доме, виновата я. А что хорошо — твоя заслуга. У тебя

выгодная позиция и дома, и на работе: ты можешь переложить вину на других.

— Работу мою не трогай!

— Ты сам доказывал, что все в жизни взаимосвязано.

— Знаю я твою женскую софистику. И сегодня у меня нет охоты ее выслушивать.

Лиза снова вздохнула.

— В том-то и беда. То у нас нет охоты выслушать друг друга. То — еще чаще — нет времени.

— Хорошо. Я слушаю. Ты мудрая. Так скажи, что делать с этой твоей тряпичницей?

— Не надо называть нас так. И думать как о тряпичницах.

— Только и всего? Какая глубокая мудрость! А подтекст прозрачен, как дистиллированная вода: покупай нам все, что мы захотим, удовлетворяй все наши прихоти, и мы будем хорошими, будем послушными. Да если хочешь знать, самая большая угроза всему святому, за что мы проливали кровь, вот в этой потребительской психологии. Это же страшно, — он сжал руками голову, — что у восьмиклассницы нет другого идеала, кроме костюма, которым ей хочется всех удивить. И это моя дочь! Ужас!

— Между прочим, все не так трагично, как тебе кажется. Ты просто плохо знаешь женскую психологию.

Петр опять засмеялся.

Отец посмотрел на него удивленно, непонимающе: над чем сын смеется?

Юноша поблагодарил мать за ужин и пошел в ту же комнату, куда нырнула Марина. Когда-то комната называлась детской, но теперь сын, студент, имел там права на один стол, а спал здесь, в столовой, на диване; комнатой завладела Марина, против чего отец тоже пытался возражать, однако безуспешно. Теперь он припомнил это, и его возмущение женой и дочерью еще усилилось.

— Имей в виду, — спокойно и рассудительно (о, эта женщина умеет владеть собой!) сказала Лиза. — Твои наскоки на Марину не сближают тебя с сыном. Он любит сестру. Несхожие характеры тянутся друг к другу.

Бросила соли на свежую рану. Кстати сказать, не впервые. Уже несколько раз говорила, что, мол, напрасно он тешит себя тем, что Петр в восторге от него, отца, от его дел и слов. Может быть, когда-нибудь и восторгался, но теперь вряд ли. Выходит сын из-под его влияния, а он не видит этого или не хочет видеть.

Герасим Петрович считал, что со стороны жены бестактно попрекать его этим. Этот упрек бросал на него тень не только как на отца, хорошего семьянина, но и как на партийного руководителя. Это больно задевало.

Вдруг вспомнился утренний разговор с Карначом, его признание. Подумал: а можно ли осуждать Максима? Эти чертовы бабы любого доведут.

— Претендуешь на глубокое проникновение в человеческую

психологию, а до сих пор не знаешь, что родная сестра разводится с мужем.

Лиза остолбенела, застыла с грязными тарелками, которые хотела унести на кухню.

— Какая сестра?

— Да уж не Марфа же в шестьдесят лет.

— Даша?!

— У меня был Максим. Заявил официально. Из-за этого он отвел свою кандидатуру в горком.

— Ты... ты серьезно?

— Нет, мне захотелось пошутить после мидого разговора с дочкой и... с тобой.

— Боже мой! На кого обиделся! На нас с Мариной. Постыдись, Герасим! Что у них там стряслось?

— А это я у тебя хотел спросить. Ты сестра.

Лиза поставила тарелки на край стола, опустилась на стул, бессильно уронив руки.

— Ты меня ошеломил. Такая любовь! Все завидовали. Одна я чувствовала... и не любила этого цыгана, который заглядывался на каждую юбку.

— Ты сразу нашла виноватого. А я скажу тебе, что сестрица твоя тоже штучка. Мещанка. Тряпичница. Вон они, гены, проявились, — кивнул он на дверь комнаты, где находились дети.

Лиза не обиделась. Понимала, что ссориться сейчас с мужем нет никакого смысла.

— Одного не могу постигнуть... Откуда страсть к тряпкам у Марины, еще как-то можно объяснить. А вот откуда она у дочерей такого голяка, каким всю жизнь был ваш отец, этого не понять никакому психологу.

Даже этот его выпад против них всех и в известном смысле против отца-покойника Лиза простила мужу. Молча согласилась, что есть у них такая слабость, и по-своему объяснила ее:

— От бывшей бедности, наверно. Противоположные причины подчас ведут к одним следствиям. Я позову Дашу сюда. Сейчас же. Хорошо, Герась?

— Как хочешь. Твоя сестра.

— Пожалуйста, не делай вид, что тебя это мало трогает. Ведь я понимаю, тебе это еще более неприятно, чем мне. Ты не только был связан с этим... горе-архитектором по работе. Ты дружил с ним.

— Карнач не горе-архитектор, а настоящий архитектор. Сохраняй, пожалуйста, объективность. Неизвестно еще, кто из них больше виноват.

Даша явилась через полчаса, не больше, после Лизиного звонка. Герасим Петрович не успел прочитать статью в «Экономической газете», как раздался ее молодой веселый смех. Ей отворила Марина. Он услышал, как они поцеловались, как Даша сказала:

— Любовь моя, племянница. Мариночка! Ягодка! Цвети на зависть нам, старым. На горе женихам.

Герасим Петрович недовольно подумал:

«Надо оградить дочку от ее любви».

Марина так же довольно смеялась и, понизив голос, говорила комплименты тетке, хвалила какую-то ее обнову.

Но вышла из кухни Лиза и не словами, а, должно быть, жестом остановила шумную радость тетки и племянницы.

Игнатович еще больше настроился против женщин, и главным образом против Даши: перевалило за сорок, а в голове одни наряды.

Он встал с дивана, поднял на плечи подтяжки, застегнул рубаху. Хотел было выйти из спальни в общую комнату, но на полпути остановился. Подумал: во-первых, не надо выходить навстречу этой женщине, а то получится, что позвал ее сюда он, а не сестра; во-вторых, там, за столом, разговор может принять почти официальный характер; в-третьих, может услышать Марина, от нее, конечно, ничего не скроешь, но все же...

Спальня их трехкомнатной квартиры была в то же время и кабинетом: тут стояли письменный стол, мягкое кресло и диван, на котором можно было отдохнуть вот так, не раздеваясь.

Герасим Петрович не любил мягких домашних шлепанцев. Надел легкие летние туфли. Но они ссохлись от редкого употребления и «заголосили» на все лады. Он застыл на месте, прислушиваясь к тому, что происходит в коридоре. Голоса там стали глуше, но Маринин смех звенит. Значит, у Лизы хватает ума не готовить сестру к разговору с ним в присутствии дочки. И все же его беспокоило, что они так долго не заходят. Когда женщины прошли на кухню, Герасим Петрович едва сдержал желание пойти туда, чтобы помешать им сговориться. Очень хотелось увидеть, как поведет себя Даша, услышав о решении Максима.

Нет, Лиза понимала мужа и привела Дашу в спальню, ничего заранее ей не сказав.

Герасим Петрович сразу отметил, что Даша оделась как будто специально для такого разговора. Модная длинная юбка, белая блузочка с черным бантом, сапожки на шнурках.

«Ольга Ивановна из «Попрыгуньи», вот она кто», — недоброжелательно подумал он, чтоб настроиться на соответствующий лад.

Даша всегда проявляла к нему особенное уважение, казалось, даже немного робела и смущалась. Игнатович считал, что это обыкновенная женская хитрость.

Теперь она тоже поздоровалась за руку и зарумянилась, как девочка.

— Простите, Герасим Петрович, что помешала вам отдыхать, — и, обращаясь к сестре: — Может, на кухне поговорим?

— Да нет, поговорим здесь, — строго ответил Игнатович.

Увидел, что теперь она действительно испугалась, и это почему-то не понравилось ему еще больше, чем ее притворство.

Понимал, что нехорошо настраиваться против человека, не зная его вины. Не к лицу ему, в конце концов, и такая неустойчивость: днем был почти уверен, что виноват Карнач, такой цыган на все способен; теперь же, после стычки с дочкой и женой, заметив показную бодрость Даши, он уже почти не сомневался, что первопричина семейного разлада в ней, в этой вертихвостке, все интересы которой сосредоточены на своей внешности.

— Что-нибудь случилось? — уже совсем испуганно спросила Даша, даже глаза у нее расширились.

— Это мы хотим спросить у тебя. Что у вас случилось? — все так же строго спросил Игнатович.

— А что?

— Что у вас с Максимом?

— Ничего.

— Даша! — упрекнула сестру Лиза. — Мы все знаем.

— Что вы знаете?

— Максим был сегодня у Герасима Петровича и заявил, что вы разводитесь.

— Мы?.. Разводимся?.. — сперва накрашенные губы ее некрасиво скривились от попытки засмеяться, но смех не получился, заглох где-то в горле, и она спросила серьезно и испуганно, обращаясь к хозяину: — Он вам это сказал?

— Да. Официально.

Сразу побледнев, она беспомощно осмотрела знакомую комнату, как бы ища что-то. Рядом стоял пуфик, но она села на застланную постель, закрыла лицо руками и заплакала навзрыд, как маленькая. Даже затряслась вся. Настоящий истерический припадок.

Непоколебимый, твердокаменный под любым напором мужских жалоб, просьб, требований, Игнатович всегда терялся перед женскими слезами, хотя и знал народную пословицу: бабьи слезы дешевы. Опять это «персональное дело» повернулось к нему другой стороной.

«Вот до чего чертов цыган довел женщину, с которой прожил больше двадцати лет».

Лиза села рядом с Дашей, обняла ее за плечи, стала утешать:

— Успокойся, пожалуйста. Ну успокойся. Что за глупости! Как маленькая! Скажи на милость, какая трагедия! Что, у тебя куча малых ребят? Не раскисай, прошу тебя. Во-первых, не все еще потеряно. Мы еще с ним поговорим.

Но слова не успокоили, наоборот, вызвали новый поток слез, новый приступ истерики.

Игнатович вышел на кухню и вернулся со стаканом холодной воды.

Даша покорно взяла воду, пила маленькими глоточками, как пьют, когда боятся простудить горло, зубы ее дробно стучали

о стакан... Выпив воды, она кулаком вытерла глаза; Лиза дала ей платочек. Смяв платок, Даша гневно потрясла кулачком и заговорила злобно:

— Зверь он! Зверь! Деспот! Тиран! Что он делает со мной? Что он со мной делает? Я молчала... Я терпела... Я никому ни слова. Родной сестре. Вам, Герасим Петрович! Никому. Я надеялась... что он образумится. Неглупый же человек. Нет, покатился... покатился. В болото. В грязь. Он же полгода не живет дома. Полгода. Прикрывается тем, что на даче работает. Но я ездила, я не один раз ездила. Нет его там. Нет. Где он? Где? Где эта... — она сказала нецензурное слово, — что приворожила его? Где он пьянствует, распутничает? Бесстыжие его глаза! Три дня назад пришел под утро, пьяный, на ногах не держался...

— Максим не держался на ногах? — даже Лиза усомнилась.

Даша накинулась на нее:

— Ты не веришь? — и снова залилась слезами. — Он всех вас приворожил. Вы все за него! Ты тоже на него молилась!

Лизе стало неловко перед мужем.

— Ну что ты болтаешь? Когда я на него молилась? Думай, что говоришь!

— Обворожить он может. Всех, кто его плохо знает. Женщин. Мужчин. Детей. Начальство свое. Ах, какой талантливый! Какой остроумный! Смелый. Обаятельный. Притворщик он! Хамелеон!

Игнатович неслышно шагал по синтетическому ковру, заложив руки за спину, ссутулившись, словно ее слова непосильной тяжестью ложились на его плечи. Он уже не очень внимательно слушал свояченицу. Его сперва ошеломили Дашина злоба и ненависть к мужу. Неужели люди, которые когда-то так любили друг друга, могут так возненавидеть? Понял, что наладить их отношения вряд ли удастся. Но теперь его волновало не это. Он думал о себе, и мысли были невеселые. Не только он сам, но и те, кто руководил им, и те, кем он руководил, считали — знал это, чувствовал, — что он, Игнатович, понимает людей, умеет распознать любого человека, определить, чего он стоит. Неужто он так грубо, так слепо ошибался в человеке, которого знает четверть века, с которым подружился, полюбил его, с которым столько лет вместе работает?

Согласиться, что ошибался, — это моральная катастрофа, самое большое поражение, хотя другие этого, может быть, и не заметят, разве что Сосновский с его проницательностью может еще раз ударить, как ударил сегодня. Но не это страшно. Страшно, что сам он никогда не простит себе такой промашки, страшно наконец, что он теряет... нет, уже потерял друга.

Он пытался сохранить спокойствие и объективность. Но вспомнил слова Сосновского и почувствовал, как поднимается, растет как на дрожжах его возмущение Карначом.

Даша осушила слезы и уже не столько с гневом, сколько с ка-

ким-то неприятным смакованием, войдя в роль, выливала грязь на голову мужа, вспоминала всякие мелочи и такие интимные вещи, о которых женщине, уважающей себя, не следует рассказывать даже родной сестре, а тем более в присутствии мужчины. Это Герасиму Петровичу было неприятно, и он опять попытался настроиться против Даши, однако не снимая вины с Максима: «Оба вы хороши».

Перебив ее, спросил тоном судьи:

— С чего это у вас началось?

Даша смешалась.

— Что началось?

— Что... Ну, разлад! — раздраженно развел руками Игнатович.

— С чего? С моей глупости.

— Вот это верно!

— Герась! — укорила его Лиза.

— Ничего, Лизочка. Я не боюсь признаться. Да, с моей глупости. Из-за того, что я молилась на него, как на бога. Ноги обмывала, пальчики целовала. Света за ним не видела.

— Ну, так уж и не видела! Что-то я не помню, чтоб ты замуровывала себя.

— Да я везде — на улице, на работе, на рынке — только о нем думала. Вся жизнь моя была посвящена ему. Я дочке меньше внимания отдавала, — и вдруг опять заревела, как телка: — Я... я лю-блю его! Я не хочу без него жить!

Это уже совсем разозлило Герасима Петровича.

— Черт ногу сломит в ваших отношениях! У меня голова трещит. Дайте мне отдохнуть!

Даша быстренько вскочила, отряхнулась, как уточка, вылезшая из воды, одернула блузку, извинилась и при этом не забыла взглянуть в зеркало.

После этого женщины еще добрый час шептались на кухне. Приглушенные голоса их доносились до спальни и раздражали Игнатовича. Лучше было бы, пожалуй, чтоб он слышал, о чем они говорят. Или пускай бы Марина включила телевизор. То не отогнать, а сегодня телевизор ее не интересует.

Ни читать, ни спокойно думать он не мог. Росло желание пойти и прекратить болтовню сестер. Но понимал, что это бестактно, сами же позвали Дашу.

Наконец, оживленно поговорив в коридоре с Мариной, Даша ушла. Лиза, озабоченная и грустная, вернулась в спальню.

— Подкинули вы мне проблемку, — недовольно сказал Герасим Петрович, забыв, что он первым узнал и сообщил жене об этой «проблемке».

Лиза тяжело вздохнула, ласково сказала:

— Я понимаю, Герась, как тебе нелегко. Я знаю твое отношение к Максиму. Но ты должен проявить твердость. Распустился человек. Погибает. Надо спасать в первую очередь его самого. Ну, разумеется, и Дашу. Ты видел, до чего она дошла. И какое

благородство! Мучилась и никогда ни слова. Даже мне. Надо спасать семью.

— Легко сказать — спасать. А как это сделать?

— *Герасим! Неужели тебя надо учить?*

Нет, учить его не надо. Он не желает, чтоб его учила даже жена!

Шугачевы привыкли к Вадиму. Он стал приходить, когда Вера была еще на первом курсе. Полине поначалу он не понравился. Она высказала свои сомнения мужу. Но Виктор верил детям и, может быть, поэтому придерживался самых демократических взглядов на их свободу, во всяком случае, считал, что не нужно и даже вредно вмешиваться в интимную жизнь взрослых детей. А потому сказал Полине: «Выкинь из головы старозаветные представления. А то начнешь выбирать женихов по своему вкусу. А вкус у тебя не слишком, если ты выбрала меня. Лишь бы Вере нравился. Будь готова принять такого зятя, какого выберет она. И невестку такую, какую приведет Игорь».

Она знала, ее отношение к тому или иному человеку влияет на отношение к нему всей их семьи — от Виктора до Катьки. Поэтому была очень осторожна в проявлении своих антипатий. Лучше проявлять симпатии — дети будут расти более добрыми. А она только и думала о том, чтоб дети выросли душевными, добрыми людьми.

Поэтому и Вадима приняла как своего человека в доме.

Встревожило ее, что после того, как институт посылали на картошку этой осенью, Вадим перестал заходить. И Верино *настроение в последнее время не нравилось, неровное какое-то:* то чересчур веселое, то несвойственное ей, подавленное.

Полина обрадовалась появлению Вадима.

Катька оповестила о нем веселым криком:

— Верка! Жених пришел!

Вера вышла из своей комнаты и шлепнула Катьку по мягкому месту. Катька прилетела на кухню, чтоб пожаловаться, но мать еще добавила фартуком, правда, по-матерински, небольно.

Маленькую пролазу репрессивные меры сестры и матери не угомонили. Она уселась на стул возле Вериной комнаты и приставила ухо к двери.

Вера обрадовалась, что после долгого перерыва, когда они встречались только в институте или случайно в кино, Вадим опять так же просто, как прежде, ранним вечером, когда нет еще дома ни отца, ни Игоря, пришел к ней. Обрадовалась и испугалась, потому что подумала, что этот его приход должен решить то, самое главное.

До очумелости, как признавалась она сама себе, любила она этого каштанового бога. Вадим для нее был особенным, непохожим на других, на всех юношей в их городе; сколько она ни приглядывалась, красивее его не встречала.

Вадим поздоровался просто, за руку, как со всеми остальными. А ей хотелось прижаться к его груди, услышать удары его сердца, удары учащенные, как у нее, как тогда, в деревне, а потом на носочках дотянуться до его губ, почувствовать их сладкую теплоту, смешную колкость подбородка. Он каждое утро бреется, а под вечер подбородок у него уже колючий. От этой колючести ей почему-то всегда делалось смешно.

Нет, после такого его приветствия не может она кинуться с поцелуями.

Вера пошла и повернула в дверях ключ.

Вадим как будто испугался.

— Зачем?

— Катька. От нее нет покоя.

Вадим развернул трубку ее чертежа; свертки ватмана лежали на столе, на шкафу, на диване, в углу комнаты на полу. Не удивительно — три архитектора в одной квартире!

Вадим спросил:

— Твой? — И вздохнул. — Не выйдет из меня, должно быть, архитектора. Не люблю чертить. Рисовать люблю, а чертить не люблю. Не хватает терпения. Это, наверно, должно быть в крови. От предков. Как у тебя.

Вера сразу поняла, что он говорит не то, что ему хочется сказать, для чего пришел.

Она решила помочь ему. Заглянула снизу вверх в глаза, с ласковой доверчивостью близкого человека спросила:

— Вадик, почему ты?..

— Что я?

— Ну... не такой, как раньше. Ты больше не любишь меня, да? Тебе неприятно встречаться со мной?

— Не выдумывай, Вера. Это твоя всегдашняя болезненная подозрительность. И ревность. Но...

— Что «но»?

— Мы же договорились, что все проблемы разрешим сами. Разве я отказывался от чего-нибудь? А ты... ты присылаешь ко мне сватов, — и скривился в недоброй усмешке. — Очень современно!

У Веры больно екнуло сердце, оторвалось и упало куда-то вниз, в живот, туда, где зарождалась новая жизнь. Чуть не стало дурно. Желтые круги поплыли перед глазами. «Боже мой! Какой стыд! Позор! Он думает, что я послала... свата. Слово какое! Ужас!»

После разговора с Максимом Евтихиевичем она в ту ночь подумала, что сделала глупость, доверив ему тайну, которую боялась открыть даже матери. Все эти дни она мучилась, не зная, что делать. Иногда ей хотелось предупредить Вадима. Но через несколько минут начинало казаться, что будет неплохо, если взрослый, умный, добрый человек поговорит с ним, поговорит по душам, дружески. Раза два она бегала к горсовету с намерением

зайти к Максиму Евтихиевичу и попросить, чтоб он никому ни слова. Но от дверей возвращалась назад. Если б он зашел к ним в эти дни домой, то она, наверно, все переиграла бы. Пускай бы шло как идет. В любом случае позор был бы меньше, чем теперь. Послала свата...

— Вадик... пойми, пожалуйста. Я не посылала свата. У меня и в мыслях этого не было. Мне просто было очень тяжело после разговора с тобой, и я доверилась...

— Вот это меня больше всего и удивляет... Почему ты доверилась ему?

— Ну, знаешь... Как тебе объяснить? Максим Евтихиевич умный...

Вадим опять гадко усмехнулся.

— Да уж не дурак!

— Он... он друг нашей семьи. Давний и самый верный. Он еще маленькой носил меня на руках...

— А теперь случайно не носит?

Обида, причиненная человеком, которого она любит, которому готова отдать всю жизнь, была так сильна, глубока и так неожиданна, что Вера размахнулась и изо всей силы влепила любимому пощечину, такую звонкую, что Катька услышала. И тут же, оскорбленная, обиженная, испугавшись собственного поступка, упала на диван, на свертки чертежей, и разрыдалась.

Тогда Катька вскочила, забарабанила кулачками в дверь и гневно закричала.

— Не смей бить! Не смей бить! Зачем бьешь Веру? Открой мне! Открой! Я тебе покажу. Рыжий кот! Вот ты кто!

На крик прибежала из ванной, где стирала белье, Полина, силком оттащила Катьку от дверей. Девчушка упиралась и кричала на всю квартиру:

— Пусти меня! Пусти! Он ударил Верку. Послушай, Верка плачет. Как он смеет? Рыжий кот!

Матери было смешно и горько. До слез тронула Катькина защита старшей сестры. Обычно они пять раз на день ссорятся то из-за одного, то из-за другого и потом жалуются друг на друга. Встревожилась: что там произошло за закрытой дверью? Неужто в самом деле Вадим мог ударить Веру? Или малышке показалось? Если правда ударил, то это действительно ужасно. Но зайти к ним в комнату (а Катька следом) и начать выяснять взаимоотношения молодых людей — это было бы низко и некрасиво. Пускай сами разберутся.

Вадим, получив пощечину, бросился было к двери. Но Катькин крик, а потом голос Полины Николаевны остановили его. Вера тоже притихла, но лежала ничком, уткнувшись лицом в смятый чертеж, ее худенькие плечи содрогались от рыданий.

Вадиму стало ее жаль. До него наконец дошло, что то, что он сказал, — глупость и тяжелое оскорбление для девушки. Может быть, впервые он понял, что не везде можно так легко

и безответственно бросаться словами, как бросаются они, парни-студенты, в общежитии, соперничая в остроумии. С Верой так нельзя. Тем более нельзя здесь, в этом доме, в этой большой и дружной семье.

Он несмело попросил:

— Вера, прости. Я глупо пошутил.

Плечи ее затряслись сильней.

Вадим опустился у дивана на колени, прикоснулся к ее плечу, провел ладонью по голове, по беленьким мягким-мягким волосам, которые там, в деревне, где они копали картошку, всегда так славно пахли мятой. Вернулась прежняя нежность, жажда ее близости.

— Верочка, милая, прости. Ну, я дурак. Остолоп. Эгоист. Но я тебя так люблю. Потому и ревную ко всем. Конечно, нелепо, смешно. Ну, тресни меня еще раз. Пожалуйста. И давай помиримся. Хочешь, я пойду и сейчас же скажу твоей матери, что мы женимся? Хочешь?

Вера стремительно подняла голову, сверкнула красными заплаканными глазами.

— Нет! Не хочу!

VII

В Минске было много дел. Как всегда. Еще в самолете Максим расписал каждый час недолгого дня — когда куда зайти, где какие вопросы решать. Из практики знал, что план такой редко выполняется с желаемой точностью, но все же в известной степени дисциплинирует и помогает уменьшить количество пустых разговоров, ненужных переходов и переездов. Предполагал обратно лететь вечерним самолетом, но, спланировав день, увидел, что это невозможно. Хотелось встретиться со старыми друзьями-архитекторами не в институтах, а за дружеским столом. За бокалом вина можно узнать больше профессиональных новостей, чем за неделю официальных разговоров в разных учреждениях. Но самое главное — поговорить с Ветой. Разговор этот не будет похож на все прежние. Раньше всегда не хватало времени ни у него, ни у дочки. «Как живешь? Как учишься?» — «Хорошо. Что там мама?» — «Деньги нужны?» — «Папа! Ты задаешь детские вопросы. А кому они не нужны, деньги?» — «Но ты тратишь по две стипендии». — «Папа! Консерватория не институт, где готовят бухгалтеров». — «Это у вас мода — разыгрывать гениев? Могу тебя уверить, что ты еще не гений. Студент, который готовится стать бухгалтером, тратит не меньше энергии, и есть ему надо не меньше...»

Не нравилась ему Ветина уверенность в своем таланте, в своей исключительности. Огорчали подобные разговоры. И сердили. Это от матери. Надо было бы поговорить с дочерью посерьезнее. Но она хитро отделывалась от трудных проблем легкими шуточ-

ками и ссылками на занятость. Побеждала ее беззаботность. Нет, это он сдавался сам, так проще, удобней, спокойнее. Думал, одним-двумя разговорами, какие бы они ни были, все равно ничего не изменишь, характер не переделаешь. Поэтому разговаривал с дочкой будто бы и серьезно, а по сути, шутя и легко, давал денег и возвращался с сознанием, что отцовский долг выполнен.

Сегодня так быть не должно. Для сегодняшнего разговора нужны время и условия — в коридоре консерватории или в общежитии, в присутствии подружек, не поговоришь. Поэтому разговор с дочерью не укладывался в дневной план. Надо было оставаться на вечер.

Кончался год. Срывался ввод некоторых объектов. По сути, за это должно было отвечать управление капитального строительства. Но оно областное, странно, что такой горисполком не имеет своего управления. Городские власти беспокоило, что затягивалось строительство больницы, Дворца спорта, универмага.

Игнатович и Кислюк рассчитывали на пробивные способности Карнача в строительных делах, может быть, даже больше, чем на свои собственные, и при каждой его поездке в столицу давали задания, имевшие зачастую весьма косвенное отношение к обязанностям главного архитектора. Максим редко возражал, ему нравилось пробивать.

На этот раз Игнатович не вызвал к себе. От некоторых из этих поручений, не входивших в его прямые обязанности, Максим отказался, чем удивил и даже огорчил Кислюка.

Дело стройтреста — получать необходимые строительные материалы. Есть план, лимиты. Но история с керамической фасадной плиткой для Дворца спорта — завод дважды присылал не то, что нужно по проекту, — возмущала Максима, поэтому он взял это на себя.

Сила его как главного архитектора — это признавали все — была в том, что он умел добиваться, чтобы строители осуществляли проекты, а не «исправляли» их в зависимости от наличия материалов и своих возможностей. Была, правда, еще одна причина, по которой ему хотелось выбить эту злосчастную плитку. Дворец спорта проектировал Макоед, это, пожалуй, его лучшая работа. Макоед долго чернел от зависти и злости, что ему не дают монументального объекта, а держат на жилье, на типовых проектах, где творчество можно проявить разве что в «привязке», где больше думаешь не об искусстве, а о скучных функциях — как разместить кухни, туалеты. Теперь Макоед чернеет оттого, что для своего Дворца культуры Карнач добился первосортных дефицитных материалов, а для его дворца дважды присылают негодную плитку, использование которой, по сути, перечеркивает решение внешнего облика здания.

Макоед всюду говорил об этом так, словно во всем виноват

один Карнач, как будто он — и Госплан, и министр стройматериалов, и директор завода, вырабатывающего плитку.

А Карначу не меньше, чем Макоеду, хотелось, чтоб спортивный комплекс украшал одну из площадей города, а не портил ее. Напрасно Макоед считает его врагом. Кроме того, что иногда критиковал его проекты, Максим ничего плохого ему не сделал.

Да, всю жизнь он стремился быть объективным. Другое дело, что это не всегда удается. И потому, что сам он просто человек, и потому, что вокруг тоже люди, самые разные, и взаимодействие их в процессе производства никогда не выражается простым уравнением, формула взаимоотношений между людьми всегда сложна, как в высшей математике.

С незнакомыми секретаршами он давно выработал тактику, которую со смехом называл «ошеломление противника».

Вошел в приемную решительно, с толстым портфелем, где, кроме материалов, были яблоки для Веты. Шел к столу так, что секретарше, наверно, показалось: человек этот может не остановиться и опрокинуть на нее стол. У девушки сделались большие глаза. Эффект ошеломления начал действовать.

— Главный архитектор Карнач! Доложите Ивану Петровичу!

Секретарша вскочила и сразу, как испуганная мышь, нырнула за блестящую дверь кабинета министра.

В Госстрое, например, где архитекторы, безбородые и бородатые, тихие и шумные, бывают каждый день, над таким примитивным приемом посмеялась бы даже курьерша. А тут он подействовал. Архитекторы до министра стройматериалов доходят не часто. «А зря», — подумал Максим.

Министр был не один, сидели еще двое; Максим сразу отметил: свои, министерские. Увидев, что за главный архитектор так стремительно ворвался к нему, министр разочарованно крякнул — он помнил этого человека, который несколько раз на совещаниях язвительно, беспощадно критиковал стройматериалы. Но отступать было некуда.

— Я вас слушаю.

Нет, тут не подходило стыдливо-смущенное: «Я прошу вас». Тактику ошеломления надо доводить до конца. Правда, по отношению к министру она должна быть иной.

Максим опустил свой тяжелый портфель министру на стол и начал вытаскивать из него образцы плиток, какая нужна и какую прислал завод, а также цветные снимки проекта дворца, как он должен выглядеть. Случайно выкатилось два яблока. Максим не растерялся.

— Яблок хотите? Сам вырастил.

Министр засмеялся, однако нашел что ответить, пошутил:

— Это что, взятка?

— За хорошие стройматериалы не жалко и взятки.

Помощники министра засмеялись. Министр с улыбкой взял яблоко.

— Знаете, Карнач, — сказал один из работников, — вы похожи на факира.

— Дорогой коллега! Ни одному факиру в мире не сделать того, что вынужден делать главный архитектор города... В наше время... Вы думаете, он занимается творчеством? Он выбивала.

Опять смех.

— Вы хотите доказать, что мы выпускаем плохую плитку? — спросил министр, передав негодную плитку одному из помощников, от которого, очевидно, в какой-то степени зависело качество керамических материалов, потому что тот, заметил Максим, покраснел.

— Нет. Доказывать это нет нужды. Я просто хочу получить хорошую, потому что знаю, что она есть. Дело специалистов разбираться, почему наряду с хорошей...

— Вы имеете представление о технологии?

— Я был бы плохим архитектором, если б не знал строительных материалов... Но никакая технология не оправдывает брак...

— Это не брак, — сказал сотрудник, рассматривая плитку.

— Мы проектировали с расчетом на тот материал, который уже был четыре года назад, когда проект утверждался... Выходит, теперь его не стало? Куда же мы растем? Вверх, вниз?

— Выросла потребность. Вы, архитекторы, как модницы.

— А вам не кажется, что вырос художественный вкус архитекторов и проектировщиков и, что особенно радостно, народа. Потому и мода меняется.

Тактику он выбрал правильную, не просить — требовать, наступать. Не слушать жалоб на трудности, которых действительно тьма в промышленности строительных материалов. Сочувственно выслушивать такие жалобы или включаться в рассуждения о том, как с этими трудностями справиться, опасно. Размагничивает это, снижает настойчивость, возникают не те эмоциональные контакты. В таких случаях лучше не упускать инициативу и говорить о проблемах своей профессии. Больше философии и теории, больше о том новом, что рождается в архитектуре.

Так он и сделал. Сначала о том, почему они не могут изменить внешний вид дворца, как будет решаться весь ансамбль площади — он не забыл захватить снимки с генплана. Потом о тех возможностях, которые откроет цветной цемент, кстати, не только для архитектуры, но и для технологии строительных материалов. Короче говоря, от тактики ошеломления он перешел к тактике «брать измором».

Министр посмотрел на часы и сказал своим помощникам:

— Переоформите их на Войцеха.

Больше ничего не нужно было. Плитки он уже совсем незаметно забрал назад, сунул в портфель. А второе яблоко отдал работнику, имевшему отношение к плиткам.

— Отведайте. Вот качество!

Антоновка прямо светилась, налитая янтарным соком.

В Госстрое Максим вел себя совсем иначе. Со своими надо держать ухо востро. Свои не простят ни «перебора», ни «недобора», как партнеры в карточной игре. Правила жесткие, милости не жди, хотя есть тут и друзья и вечером ты с ними будешь пить коньяк и оценивать женские достоинства официантки, которая подаст вам поздний обед.

Знал он и еще одно житейское правило: можешь спорить, ссориться, чуть ли не за грудки хвататься с начальством, но у секретарш, помощников, инспекторов оставляй о себе самое лучшее впечатление, иначе все твои домогания будут напрасны, все, чего ты нервами и кровью сердца добьешься у высоких особ, эти люди, исполнители, так «исполнят», что там, у себя, в своем городе, ты получишь «рожки да ножки». Или три дня не сможешь попасть на прием к человеку, с которым когда-то сидел на одной парте и работал в одной мастерской. Не попадешь не потому, что этот руководитель не хочет тебя принять. Нет, он сам будет разыскивать тебя, но по положению своему через секретарш и помощников. А они тебя не найдут, а его время спланируют так, что вы разминетесь в одном коридоре, в одной приемной. А встретитесь, разговор будет такой:

«Максим Евтихиевич! Здоров! Где ты загулял? Целый день жду. А теперь прости. Через пятнадцать минут лекция. Давай завтра. В котором часу? В десять я на Совмине, в двенадцать коллегия... В три разве что? Давай в три».

Но он забыл, что в три заседание Комитета по Государственным премиям, на котором он не может не быть. А секретарша сделает вид, что не слышала вашего разговора, и не напомнит... И у тебя пропадет еще один день, будешь болтаться без нужды и пользы. А там тебя на работе ждет воз неотложных дел.

Совсем иначе пойдет, если «маленькие люди» учреждений, куда часто обращаешься по службе, знают тебя и любят. Любовь эта нужна не для удовлетворения собственного тщеславия, она на пользу делу.

...Обойдя отделы, где были люди, с которыми он поддерживал приятельские отношения, Карнач за какой-нибудь час не только получил полную сводку «архитектурно-строительной погоды», ее прогноз на ближайшее будущее, но и выяснил настроение каждого из руководителей, с которыми ему нужно было встретиться. А знать настроение начальства — это очень важно.

В приемную вошел как свой человек.

— Татьяна Петровна, целую ручку.

Целовать руку в официальном учреждении не обязательно, и Максим редко это делал, но почему не сказать? Женщины, особенно немолодые и особенно те, кому не часто в жизни целовали руки, любят такой безобидный комплимент. Он знал, что Татьяна Петровна — мать двоих детей и дома ей, видно, несладко приходится. Но здесь, на службе, она расцвечивает свою довольно прозаическую жизнь и нарядным платьем, и учтивостью обраще-

ния с сослуживцами, и умными разговорами, и сознанием пользы своего скромного труда.

— Отведайте новые конфеты нашей фабрики. Идут на экспорт. Куда вашей «Коммунарке» до этой кондитерской новинки! Букет!

Женщина слегка покраснела, отчасти от смущения — не привыкла к подаркам, отчасти от удовольствия и благодарности за внимание. Не впервые она тайком сравнивала этого архитектора со своим мужем и в душе вздыхала, покорная судьбе. Завидовала его жене. Везет же некоторым!

— Что вы, Максим Евтихиевич! Неудобно как-то, — но повертела небольшую, ярко оформленную коробочку в руках. — Научились у нас делать! Просто чудо! Такую невозможно не купить. Правда?

— Я не покупал. Это преподношение директора фабрики. Я им жилой дом в хорошем месте «привязал». Я беру взятки конфетами и... щенками.

Татьяна Петровна поставила коробочку на стол на видном месте: пускай все любуются и пробуют. Прятать некрасиво, в самом деле будто взятка какая-то. Пожаловалась:

— Жаль, что мне шоколада нельзя. Печень.

— У вас печень? — удивился Максим. — Откуда эта болезнь у женщины? Пускай мы, мужчины, проспиртовываем свою многострадальную печенку.

— И у вас болит?

— Болит.

Печень у него никогда не болела, но он давно приметил, что одинаковые болезни сближают людей; вообще горе, беда, боль сближают и единят крепче, чем радости.

Поделились друг с другом рецептами народных средств. Максим аккуратно записал все в книжечку, правда, на этот раз не просто так, для вида, а подумав о Витьке Шугачеве, который после зигзага в диете, что случается нередко, три дня ходит желтый.

— Здесь? — как бы между прочим кивнул на дверь, которая его сейчас интересовала больше всего.

— У себя.

— Один? Не очень занят?

Татьяна Петровна понизила голос до шепота:

— Вас примет. Стыдно ему будет вас не принять. Пойду скажу.

Заместитель председателя комитета, известный архитектор, человек вообще демократичный, веселый и общительный, даже кое в чем фантазер, не однажды удивлял контрастами своего настроения. Оба — члены правления своего творческого союза, они были, можно сказать, близки, хотя на «ты» и не перешли. Но случалось, что здесь, в комитете, Богдан Витальевич не принимал его, главного архитектора города. Это возмущало коллег. Но Максим не возмущался, обида, вспыхнувшая в приемной, быстро проходи-

ла. Он лучше, чем кто другой, знал, что такое руководящая должность, особенно для творческого человека. А Богдан так же, как и он, старался совмещать службу с творчеством. Кроме того, Максиму давно казалось, что говорун и весельчак этот таит от всех какую-то личную трагедию.

Во всяком случае, когда Татьяна Петровна пошла в кабинет, Максим не очень еще был уверен, что «богом данный начальник», как шутили насчет него коллеги, тут же, с ходу пригласит в кабинет: в отделе намекали на «грозовую облачность» на их комитетском барометре. Имели в виду, конечно, Богдана, потому что председатель болел.

Татьяна Петровна вышла с победной улыбкой.

Не очень Максима обрадовала такая «победа». Но что поделаешь... Надо продолжать обмениваться рецептами средств от существующих и выдуманных болезней. На счастье, Татьяна Петровна забыла о болезнях и перешла на другую тему — об аферах в жилищно-строительном кооперативе. О ворах и взяточниках из ЖСК вчера был напечатан фельетон в газете. Карнач за утро уже третий раз слышал о них — в самолете, в троллейбусе, когда ехал из аэропорта, и здесь, в приемной. Рассказывали по-разному, каждый из рассказчиков был чрезвычайно осведомлен и короткий фельетон развивал в целую детективную эпопею.

Богдан Витальевич не вызвал звонком, открыл дверь, пригласил:

— Прошу, Карнач.

Поздоровались у двери и сели за стол для совещаний друг против друга.

— Как жизнь? Как семья? — спросил хозяин кабинета, проведя ладонью по лицу, как бы стирая сонливость.

— Анекдот знаете?

— Ну?

— Встретились два старых друга. «Как здоровье твоей жены?» — «А что тебе до моей жены?» — «Да мне наплевать на твою жену. Это я из вежливости».

Карнач знал, что Богдан любит слушать и рассказывать анекдоты, что вообще человек он с юмором. Но тут получилась осечка. Анекдот не вызвал никаких эмоций. Даже улыбки. Пускай бы хоть обиделся на непочтительный намек. Но поразило не это. Поразил неожиданный вопрос, который никак не вытекал из анекдота:

— У вас нелады с женой?

«Неужто знает? Откуда? Каким образом?»

Выходит, сам себя поймал в сеть. Теперь надо выпутываться. Тут нужна шутка или более удачный анекдот.

— Отношения с женой в нашем возрасте хорошо выразил один драматург. Помните, что отвечает Моцкин * на вопрос, любит ли

---

* Герой комедии А. Макаёнка «Извините, пожалуйста».

он свою должность? Говорит: «Как собственную жену: немножко люблю, немножко терплю, немножко хочу другую».

И опять мимо.

У веселого, острого на язык человека даже не шевельнулись губы в скрытой улыбке.

Максим насторожился. Чем это человек так оглушен, что он вдруг потерял самый ценный дар природы? Не зря в отделе говорили о «грозовой облачности». Но и грозы не видно. Какой-то мертвый штиль. Придется отложить шутки на лучшие времена.

Безо всяких вступлений и «мостиков» Карнач стал излагать дела, с которыми приехал.

Когда-то в начале своей работы в должности главного архитектора он возмущался тем, что надо согласовывать в республиканских инстанциях мелочи — вопросы, которые, по здравой логике, целиком входили в компетенцию городских властей. Но теперь привык и научился легко проталкивать все такие вопросы.

Снос казармы на Ветряной, по сути, такая же мелочь. Но в связи с идеей Сосновского надстроить этот дом и после стычки с предисполкома вопрос этот для Максима неожиданно перерос в принципиальный. «Мелочь» зачеркивала его давний замысел, становилась помехой в решении «узлового» квартала.

Чтоб легче было воздействовать на своих, он решил начать сверху — получить разрешение Госстроя на снос дома, который занозой сидел в центре района и мешал новой планировке. Знал по опыту: решение высшей инстанции животворно действует на местных руководителей. Решение высшей архитектурной инстанции, хотя оно иной раз принимается второстепенным служащим Госстроя или Белгоспроекта, помогает лучше, чем все глубокомысленные и обоснованные аргументы местных архитекторов. Потому что для некоторых там, в городе, что такое Шугачев, которого неизменно встречают в стареньком пальто, с авоськой, где белеют бутылки молока? Попробуй доказать, что Шугачев — один из лучших специалистов в республике. Какие могут быть пророки в областном городе?!

Максим сам сочинил мотивированное письмо и приложил копию плана района, утвержденного лет восемь назад. В генплане вся старина шла на снос, с чем, кстати, Максим не соглашался с самого начала и за несколько лет сумел провести некоторые свои коррективы.

Богдан Витальевич внимательно прочитал письмо и, даже не взглянув на план, сказал:

— Ничего не выйдет. В Барановичах снесли дом в два раза меньше, и им всыпали. Рикошетом ударили и по нас.

Максим дернулся в кресле так, что оно запищало, как живое.

— Вы взгляните глазами архитектора.

— В этом кабинете я редко бываю архитектором.

Такое неожиданно откровенное признание приободрило Максима, оно как бы восстанавливало тот хороший человеческий кон-

такт, который существовал между ними при прежних встречах и которого не было почему-то сегодня.

— Я в своем служебном кабинете тоже редко бываю архитектором. Но — черт возьми! — надо же бороться, чтоб мы и здесь имели право оставаться архитекторами!

Богдан Витальевич не откликнулся на этот пламенный призыв, опять не проявил никаких эмоций.

Карнач отбросил официальность и стал горячо доказывать целесообразность скорейшего сноса этой николаевской казармы.

Руководитель комитета слушал довольно терпеливо, хотя заметил как профессионал:

— Между прочим, казармы эти иногда строили неплохие архитекторы. Не знаете, кем ваша построена? Практические задачи делали наших предшественников такими же функционалистами, какими делают нас, грешных. Только гениев не ограничивали в средствах. Эстетика дорого стоит. Растрелли, проектируя Зимний, не думал о деньгах.

Где-то Максим, должно быть, перехватил, тратя столько энергии на «мелочь», и был пойман.

— Погодите. Решение исполкома о сносе есть?

Максим смутился.

— Зачем же вам теперь наше согласие? Карнач, я знаю вашу тактику. Но когда-нибудь вы перехитрите самого себя, и вам дадут по башке.

— Если всегда бояться, что тебе дадут по башке, то невольно натянешь чугунный шлем. А это штука тяжелая, похуже, чем шоры. Не повернешь головы даже на голос собственной жены.

Впервые усмешка искривила губы чем-то очень озабоченного человека.

— Есть голоса, на которые повернете. Все мы смелые, пока нас не поставят на ковер.

В Максиме, как тесто в деже, поднималась злость: такую действительно мелочь он не пробил. А впереди проблемы потруднее. Самый крепкий орешек — жилой район Заречья. Архитектурно-планировочное задание по району он уже дважды здесь показывал. Замысел одобрили, открытым оставался вопрос об утверждении застройки как экспериментальной.

Это он, Карнач, подкинул Игнатовичу идею построить район, который воплощал бы в себе черты города будущего, коммунистического города.

Игнатович загорелся. Но осуществить такой проект, не выходя из нормативов, невозможно. Требуется разрешение высокой инстанции, наверно, Совета Министров, на индивидуальный проект и застройку, которая обойдется дороже, чем по типовому проекту таких масштабов. Но чтоб просьба города пошла в высшую инстанцию, ее должны поддержать разные организации, в первую очередь Госстрой и Госплан. Объемистая, детально аргументированная записка, над которой Карнач и Шугачев работали

чуть не месяц, полгода находится в стадии изучения. Деньги отпущены на обычное проектирование. А Шугачев работает над экспериментальным проектом. За такое своеволие могут крепко ударить и главного архитектора города, и главного архитектора проекта. Но теперь они как азартные игроки. Максима радует и восхищает смелость Шугачева, обычно осторожного, взлет его фантазии. Недаром говорят, большая цель порождает большую энергию. Виктор теперь не думает о том, разрешат им или не разрешат строить такой район. Он уже построил его в голове и с вдохновением строит на ватмане. Максиму понятно такое творческое состояние, не однажды и сам работал так же, не думая ни о стоимости, ни об отсутствии материалов, с твердым убеждением: дадут! Не могут не дать под такой проект! Должно быть, в это верит и Шугачев. Он может пока не думать о таких прозаических вещах, как деньги. В этом счастье художника. Но главный архитектор города не думать об этом не имеет права. И случилось самое страшное — у него закрались сомнения в возможность выбить эти добавочные миллионы.

Он высказал свои сомнения Игнатовичу. Но тот все еще оставался оптимистом, так завладела им идея создания района, где людям жилось бы удобно, красиво, уютно; хотелось, чтоб образ нового города действовал на психологию жителей, воспитывал бы их, помогал в формировании нового человека.

Договорились, что Игнатович побеседует об этом в Центральном Комитете.

Перед поездкой в Минск Максим позвонил Игнатовичу, спросил, был ли такой разговор, когда тот ездил на пленум.

«Говорил», — коротко ответил Игнатович.

«С кем?»

Не сказал, с кем, что разочаровало и насторожило Максима. Мало утешили слова Игнатовича:

«К нашему замыслу относятся с интересом. Советуют не отступать».

Ему хотелось все же знать конкретно, кто относится с интересом. Раньше свояк ничего от него не таил, особенно когда дело касалось строительства города. Теперь только дал наказ:

«Надо делать новый заход».

И вот он делает его, этот заход.

Порадовало, что Богдан Витальевич проявил больше интереса к району, чем к сносу дома; правда, вещи несравнимые, тут такие масштабы! Дом для него, человека, который знал город только в общих чертах и не вникал в детали планировки, мог показаться мелочью, недостойной его высокого внимания. Другое дело — экспериментальный район. Собственно говоря, порадовало не то, что руководитель проявил интерес, а то, что он хорошо помнил их записку, значит, изучал не формально.

— Насколько удорожится квадратный метр?

— Рублей на двадцать.

Богдан Витальевич свистнул.

— Значит, считай на все тридцать. Предварительные подсчеты всегда занижены. Чтоб не пугать плановиков.

Максим, увидев, что человек как-то оживился, попробовал пошутить:

— Как прикажете понимать этот художественный свист?

— Так и понимайте.

— Что Госстрой не поддержит наш проект?

— Я этого не сказал. Но... дорогой Карнач... «Закон экономии властно управляет нашими действиями и мыслями...» Помните, кто это сказал? Человек, у которого были большие возможности. Он жил не в плановом обществе.

— Но наряду с этими словами он сказал другие: «Проблема дома — это проблема эпохи». О чем мы больше думаем? О сегодняшнем дне или об эпохе? Дом живет не один день. По нашим домам потомки будут изучать эпоху... великих социальных сдвигов и таких же великих открытий. Расщепление атома... Космические корабли... И наша... простите... порой архаичная, убогая планировка, безликая архитектура и вдобавок невысокое качество строительства... Представляю, как будет ломать голову будущий историк культуры эпохи. Одно не сочетается с другим.

— Вы уверены, что изобретете «космический корабль»?

— Нет. Мы построим район, где люди будут иметь все необходимое для жизни и отдыха. Это предусмотрено съездом партии, постановлениями ЦК и правительства. Один наш коллега сказал: бороться за красивый город — значит бороться за красивых людей.

— Все правильно. Но сделайте это, не выходя из нормативов.

— Вы же архитектор и хорошо знаете, что это невозможно.

Раздражение, которое утихло было, когда Максим увидел интерес Богдана Витальевича к их району, опять начало расти.

— Черт возьми! В конце концов, мы ставим не только градостроительный эксперимент, но и социальный! Пора уже повести решительную борьбу с отчужденностью людей, живущих по соседству. В доме, в районе, как на заводе и в учреждении, должен быть коллектив. Разве такая цель не оправдывает средства?

— На социальные эксперименты архитекторам не дают денег. Вам с вами, во всяком случае.

Максим стиснул кулаки, прижал к полированному столу, смотрел на их отражение и с удивлением ощутил удары пульса в пальцах.

— Послушайте... Богдан Витальевич... Вы хорошо знаете меня, я знаю вас. В конце концов... я требую! Или скажите: «Зарой свой проект». Или дайте разрешение.

Опять удивило, что в ответ на такой его почти бестактный выпад Богдан Витальевич не проявил никаких эмоций. Снова провел ладонью по лицу и вяло промолвил:

— Добейтесь ассигнований, мы поддержим.

— Но без вашей поддержки плановики не хотят даже рассматривать. Получается заколдованный круг.

— Карнач, вы меня удивляете. Сказал бы это, например, Шугачев, дело иное. А ведь вы крот, знаете все ходы и выходы.

— Игнатович говорил в ЦК.

— Резонанс от его разговора не дошел до нас. Слабый, видно, был голос.

Показалось, что сказано это с иронией по отношению к Игнатовичу, и Максиму стало обидно за своего первого секретаря, он даже попробовал как-то защитить его:

— Пост Игнатовича вынуждает его говорить деликатно. Но я могу и пошуметь. У меня положение другое.

— Шумите. Пожалуйста, — снисходительно разрешил Богдан Витальевич.

Утверждение архитектурно-планировочных заданий, уже розданных Карначом (еще одна регламентация, против чего он когда-то протестовал), согласование титульных списков, два конфликта с УКСом *, которое, как всегда, хотело упростить конструктивные решения, корректировка типового проекта здания облисполкома, другие вопросы, более мелкие, — все это Богдан Витальевич решил положительно и быстро, чем даже удивил Карнача. Повеселев, он сделал вывод, что отказ в одном деле морально обязывает руководителя пойти навстречу в остальных, и с усмешкой подумал, что надо будет эту психологическую особенность проверить и использовать, нарочно ставя вначале неразрешимые проблемы.

Попрощавшись уже, Богдан Витальевич как бы между прочим сказал:

— Кстати, можете считать, что вопрос о химическом комбинате решен. «Привязываем» в Белом Береге.

Максима ошарашила эта новость.

— Где решен?

— У нас решен.

— Костьми лягу, а не дам посадить «химика» в этом районе.

Добрый Богдан Витальевич почему-то вдруг рассердился, хотя не он принимал это решение и вообще промышленное строительство — не его сфера.

— Ваши кости перемелют. И даже в фундамент не положат.

— Зачем же мы там сидим, если с нашим мнением не считаются? Ломаем головы, планируем, делаем прогнозы...

— Не знаю, зачем вы там сидите, — насмешливо передернул плечами хозяин кабинета, протягивая на прощание руку.

В приемной Максим попросил Татьяну Петровну заказать телефонный разговор с Игнатовичем. Он был вне себя. Вопрос о размещении химического комбината обсуждался уже больше года. Приезжавшие представители союзного министерства облю-

* Управление капитального строительства.

бовали Белый Берег. У них были чисто экономические соображения: рядом вода, железная дорога, шоссе. Планы развития города? Комбинат поможет его росту. Что химикам до того, что он перечеркнет идею Заречного района, города-сада, уничтожит уникальную дубовую рощу — нынешнее место отдыха и будущий пригородный парк, когда город разрастется. Возражали все архитекторы, кроме Макоеда. Их поддержал Игнатович, хотя ему больше, чем кому иному, хотелось получить такой выгодный объект, потому что комбинат — не только химическая продукция, которая прославит город, но и жилье, школы, дворцы.

Министерству предложили три площадки на выбор, во многих отношениях не хуже Белого Берега. Разговор о комбинате на какое-то время как будто заглох. Игнатович беспокоился. Но он, Карнач, не жалел, втайне даже не прочь был, чтоб комбинат отдали другому городу; он хорошо знал, что большая химия — это неизбежно загрязнение среды, в частности водоемов. А у них река — чудо, гордость, чище всех рек. Река дает простор для интереснейших архитектурных решений. Просто грех сажать на такой реке химию. Уверениям специалистов, что теперь очистные сооружения безукоризненны, Карнач не очень верил. Такие уверения произносились и относительно Байкала, Волги или Днепра.

И вот на тебе!

Разговор дали мгновенно. Трубку там, в их городе, взяла Галина Владимировна. Узнал ее и, странно, почувствовал, как зачастило сердце. Давно уже ничей голос так не волновал — возраст не тот.

— Галина Владимировна? Рад вас слышать.

— Максим Евтихиевич! Добрый день, — она тоже сразу узнала, и голос ее, так ему показалось, зазвучал особенно мягко.

— Есть шеф?

— Зачем вы так? — словно обиделась она за Игнатовича. — У нас это не принято. Герасим Петрович проводит совещание.

Он ревниво подумал: «Скажи, пожалуйста, какая преданность! И почтительность!»

— Где проводит?

— У себя.

— Я звоню из Минска.

— А-а, минуточку.

Некоторое время в трубке слышны были далекие чужие голоса и как бы шум ветра, словно он врывался где-то на линии.

Ветер стих, когда раздался голос Игнатовича, простой, свойский:

— Максим? Я слушаю. Что там у тебя?

— «Химик» садится в Береге. Ты об этом знаешь?

Пауза. Показалось, что прервалась связь.

— Алло, Герасим Петрович! Слышишь?

Тихий близкий голос:

— Нет, не знаю.

— Это решено или почти решено. Бей тревогу! Может, еще не поздно.

— Кто тебе сказал?

Максим назвал фамилию человека, от которого только что услышал эту новость.

— Очередная легенда. Сколько их уже было!

— Нет, это не легенда.

— Хорошо, я проверю. Без нас никто никуда не сядет.

— Слушай, Герасим Петрович. Я тут стучу во все двери насчет нашего района. Очень важно, чтоб где-нибудь отозвался голос того человека, с которым ты говорил в ЦК. Кто это? Могу я сослаться?

Опять пауза.

— Алло!

— Ладно. Я позвоню ему. Прости. У меня совещание.

Из одного крыла Дома правительства Максим перешел в другое по длинному коридору. Ему нравилось это величественное здание, построенное еще в тридцатые годы. Дом правительства и до сих пор украшает город. После войны он определил принцип застройки центральной магистрали — Ленинского проспекта. Главная ценность дома — удачное сочетание функционального назначения и архитектурной эстетики. Некоторые элементы конструктивизма, модного в то время, портят отдельные детали фасада, но заметить это может только глаз специалиста. Обыкновенный человек, турист, приехавший в Минск впервые, — Карнач много раз это проверял — принимает здание прежде всего как монументальный памятник архитектуры, не зная о его назначении, не задумываясь о его функциях. А это мечта каждого серьезного архитектора — создать нечто такое, на что люди смотрели бы как на памятник эпохи.

Финский градостроитель Сааринен сказал, что любая постройка, даже самая маленькая, должна выражать человеческую надежду, дух времени, эпоху. Дом строится не только для тех, кто в нем живет или работает, но и для тех, кто на него смотрит. Не очень давно Карнач боролся за сквозные параллели, простые линии, стекло и сталь — за универсальность и стандарт. Этого требовала строительная индустрия. Но еще года четыре назад лучший друг, Витя Шугачев, сказал ему за чаркой — трудно было понять, с одобрением или упреком, — что сам он почему-то выбирает объекты, которые по своей функции требуют иного решения. Выходит, принимая новые формы и новый стиль умом, он сердцем, чутьем художника тянулся к другому. Превратить инертный камень, а тем более сталь и стекло в создание искусства — для этого нужно нечто большее, чем инженерные расчеты и самые совершенные стандарты.

Идя по коридору Дома правительства с его неожиданными поворотами и изломами, Максим думал: как форма фасада, которая придала зданию монументальный вид, подсказала удачное раз-

мещение кабинетов и зал — разнообразное, без надоедливых повторов.

Припомнилась гостиница «Россия» — одно из уникальных строений нашего времени. Ему нравятся фасады гостиницы, действительно современные, его даже не шокирует, вроде некоторых архитекторов и искусствоведов, ее соседство с Кремлем и Василием Блаженным. Но Максим не забудет, — его испугал коридор своей длиной и скучной монотонностью. Подумал о творческой судьбе Лангбарда. Как у каждого творца, у него всяко бывало: удачи, как Дом правительства, Дом офицера, и провалы. Но в одном ему повезло: беспощадный огонь войны милостиво обошел его удачи. И теперь стоять его творениям века, это советская архитектурная классика.

Мысли об архитектуре (это часто случалось) успокоили и привели в равновесие после неудач с организационными делами.

В приемной ответственного работника Госплана он ждал около часа, в общем, с хорошим настроением. Правда, немного портила это настроение секретарша, которая, невзирая на свою молодость, оказалась на диво «железобетонной» — никакого отклика на его комплименты, ни одной улыбки на шутку. Служебная корректность, и никаких эмоций. В конце концов, на такую мелочь можно было не обращать внимания, но секретарша почему-то напоминала Дашу.

Окончательно доконал такой же вежливый, как и его секретарша, руководитель одного из отделов. Седой человек пенсионного возраста, многоопытный и по характеру службы безжалостный к любому проявлению чувств, внимательно выслушал пафосную тираду Максима о необходимости архитектурного и социального эксперимента и «убил» корректным и коротким ответом:

— Дорогой товарищ Карнач, все это интересно, но решается не на нашем с вами уровне.

«На нашем с вами» подчеркнул, чтоб у посетителя не оставалось никаких сомнений насчет того, как понимать эти слова: не на твоем уровне, дорогой товарищ. Вот так. На прощание — корректное и, возможно, искреннее, иронии, во всяком случае, не чувствовалось:

— Желаю творческих успехов.

Аудиенция продолжалась четыре минуты.

Максим посмотрел на часы, когда секретарша вежливо пригласила его, и взглянул еще раз, когда снова оказался в приемной. Сорвал злость на секретарше. Терять нечего. Раз не тот уровень, в следующий раз он может появиться здесь разве только в качестве референта «надлежащего уровня».

— Послушайте, голубушка, вы мужу своему изредка улыбаетесь?

Заставил ее посмотреть внимательно и, наверно, запомнить «такого нахала». Не случайно этот тип у Ильи Ивановича пробыл одну минуту, солидные люди по часу сидят.

— Советую вам, улыбайтесь все-таки.

— Товарищ, не мешайте работать.

«Работница, черт бы тебя побрал! Осчастливила мир своей работой».

Вышел из приемной в гневе. Не на плановика и не на секретаршу. На Дашу. Что за двадцать лет не мог в ней воспитать хотя бы толику того, чем сам обладает, — чувство юмора. И на себя. Что не добился-таки. А чего ты добился, дорогой товарищ Карнач? Что сделал за всю жизнь и... за сегодняшний день?

Остановился перед дверью с табличкой «А. С. Кулагин». Долго стоял в нерешительности. Вот это надо сделать обязательно. Но способен ли он сейчас на такой разговор? Отложил на завтра. Тут нельзя сорваться, напортить. От разговора этого зависит судьба человека, дорогого человека, кристально чистого, который только вступает в жизнь.

VIII

Душу отвел в Белгоспроекте. Там были свои. С одними поругался всласть, не выбирая выражений: «Лиза, заткни уши, я кое-что скажу этому архитектурному бюрократу». С другими наговорился всласть, нарассказал и наслушался анекдотов так, что заболели мышцы живота. Потом пошли «животы лечить». Пили в диетической столовой по-студенчески, украдкой наливая под столом принесенную с собой водку в стаканы с компотом, из которых до того выбрали разваренные фрукты и отпили половину.

Поспорив о принципах планировки, поехали на такси смотреть микрорайон Серебрянку, хотя давно уже стемнело, шел снег и в районе этом, почти еще не освещенном, можно было, в лучшем случае, разглядеть каждый дом в особицу, но никак не планировку всего комплекса.

Время, проведенное с коллегами почти по-студенчески беспечно, дало разрядку, отодвинуло неудачи на задний план, и Максим пришел в общежитие, где жила дочь, в хорошем настроении. Это радовало и в то же время тревожило. Сможет ли он сейчас начать очень нелегкий разговор с дочерью?

Сложность его заключалась не только в теме, которая поразит девушку неожиданностью, но еще и в том, что он вынужден говорить неправду: дал себе слово в разговоре с Ветой не бросать ни малейшей тени на ее мать, взять всю вину на себя. От мысли о таком самоуничижении было гадко; ненавидел всякую ложь. Было бы легче, если б жила в нем уверенность, что Вета способна прочитать подтекст, догадаться обо всем и оценить его благородство. Но такой уверенности не было: не то воспитание, увы, да и опыт не тот; понять то, что не сказано, о чем больно говорить, может только человек с определенным жизненным багажом.

Максим любил это общежитие, куда заглядывал вот уже второй год. Поднимаешься по лестнице и слышишь: на одном этаже в дальнем углу жалобно плачет скрипка, поближе — флейта, их вдруг заглушает бравурный марш на рояле — это открыли дверь в изолированную комнату для приготовления уроков. А сверху, как будто с неба, сыплет веселый ритм народного танца аккордеон, хоть пляши на лестничной площадке. И порядок нравился, благоустроенность, чистота. В годы его учебы студенты и не мечтали о таких условиях. Как незаметно, но неуклонно и хорошо богатеем!

На этот раз немного испортила настроение новая вахтерша, которая с непонятной подозрительностью, бестактно и бесцеремонно учинила допрос: кто он? К кому? Почему вечером, а не днем?

Максим попробовал пошутить:

— Неужели я похож на тех парней, которые ходят сюда к девушкам?

Вахтерша оглядела его — от теплых ботинок до ондатровой шапки — и сказала:

— Бывают и такие.

Обидело это не его лично, за девушек обиделся, за дочь.

Веты в комнате не было.

Подруга ее Леонора (имена пошли!) встретила без былой приветливости, как будто чем-то смущенная. Вторая девушка была незнакомая и сразу не понравилась Максиму: вела себя так, как будто она гений, а он ничто, на шутки его пренебрежительно кривила накрашенные губы. Странно, что она, как и секретарша в Госплане, чем-то напомнила Дашу. Везет сегодня, черт возьми!

— А Галя где? — спросил он почему-то не о дочке, а об их самой говорливой, веселой подружке.

— Вышла замуж.

— Галя вышла замуж?

— Почему это вас удивило? — с непонятным смехом спросила Леонора. — Я пойду позвоню Вете. Я знаю, где она.

Он остался с новенькой, Леной, и почувствовал неловкость, не знал, о чем говорить. Сам удивился: чтоб он не знал, о чем говорить с девушкой!

Не любил он людей слишком серьезных, особенно женщин. За чрезмерной серьезностью подчас кроются ограниченность и пустота.

К счастью, Леонора скоро вернулась и сообщила с тем же странным смешком:

— Ветка летит на крыльях.

Вета в самом деле скоро примчалась, возбужденная, радостная, с порога бросилась на шею, хотя обычно была сдержанна в проявлении своих чувств.

— Добрый вечер, папа! Как хорошо, что ты приехал! Ты так мне нужен!

Вета выдалась в отца: высокая, стройная, с цыганскими чертами — черные глаза, черные косы. На первом курсе она со смехом, но отчасти и с радостью сообщила дома, что в консерватории ее прозвали Кармен.

Еще недавно, летом, когда дочь приезжала на дачу и ходила в купальнике, она казалась Максиму девчонкой не слишком еще развитой физически. А тут вдруг он увидел перед собой вполне сформировавшуюся женщину. Возможно, эту женскую зрелость Вете придавало пальто по последней моде — чуть не до пят, отороченное внизу песцом; такого же меха воротник источал почему-то легкий запах табака.

Максим впервые увидел дочь в этом пальто. Крайностей он не любил ни в архитектуре, ни в одежде. Но Вете удивительно шло это макси-пальто. Оно делало ее еще более высокой и царственно-величавой. Однако он подумал: откуда они с матерью берут такие деньги? Пальто да еще меховая шапка — это не меньше, чем два его месячных оклада. Огорчило, что у Веты проявляются материнские черты. Еще недавно она вместе с ним, отцом, подсмеивалась над пристрастием матери к тряпкам. И вот уже сама такая. Даже пахнет от нее не так, как раньше, раньше это был свой, привычный, кажется, еще с пеленок, запах — неповторимый запах родного ребенка. А теперь почуялось что-то чужое — незнакомые духи, табак...

Когда Вета отступила, Максим оглядел ее, и у него больно сжалось сердце, сжалось оттого, что не почувствовал прежней радости от встречи с дочерью. Появились тревога и предчувствие, что он теряет и дочку.

Насторожило то, с каким вниманием следили за их встречей Леонора и Лена.

Но Вета весело щебетала, беззаботно кружила по комнате, не снимая пальто.

— Пойдемте, девушки, ужинать в «Юбилейный», — предложил Максим.

Не впервые он приглашал Вету и ее подруг обедать или ужинать. За столом люди как-то полнее раскрываются. А его всегда интересовало, чем живет молодежь, рабочая, студенческая. Интересовали ее настроения, вкусы, мода.

— Иди заказывай, папа. Мы придем.

Так уже делали: девушкам надо было переодеться, подкраситься.

Закуска и напитки давно стояли на столе.

Максим ничего не тронул. Курил и смотрел, как танцуют редкие пары. Сначала еще пытался представить, как пойдет танцевать с недотрогой Леной, как расшевелит ее, сорвет маску гениальности и увидит обыкновенную девушку, которая больше, чем о Бетховене и Шопене, думает о поклонниках.

Распускалось в тепле желе заливного языка, а Веты и ее подруг все не было.

И вдруг он понял — странно, как не догадался раньше! — что девушки не придут, придет одна Вета. Нет, не одна — с ним. Не случайно она была так возбуждена, и не случайно с таким интересом наблюдали за их встречей ее подруги.

В первую минуту им овладело любопытство: какой он? А потом появились душевная боль и грусть. Предчувствие не обмануло. Это потеря. Еще одна. Мужайся, отец, и считай, что это не потеря, а приобретение — таков закон жизни.

Максим налил коньяка (себе он заказал коньяк, девушкам — бутылку венгерского токая) и выпил залпом. Закурил новую сигарету.

Когда графинчик опустел, поспешно подошла официантка — острый у девушки глаз. Сочувственно спросила:

— Нет ваших?

— Вы верите в предчувствия, Надя?

— Верю, — серьезно ответила девушка.

— Вот и у меня оно появилось. В общежитии. Туманное. А теперь я твердо знаю. Они не придут. Нет, дочь придет. Но не с подругами. С женихом.

— Так это же хорошо, — наивно обрадовалась девушка за свою незнакомую сестру. — Разве вы не рады?

— Я? Очень. Но если мне захочется спустить будущего зятя с лестницы, не зовите милицию. Пожалейте. Я служу в высоком учреждении.

Официантка не рассмеялась, не поняла шутки, посмотрела на на него с опаской.

И тут он увидел Вету.

Она шла от лестницы через зал в длинном, то ли эстрадном, то ли свадебном платье из материи «снежинка» — на белом фоне звездочки, которые при движении, когда менялся свет, причудливо играли, казалось, срывались и летели во все стороны, как искры. Эта снежная искристость ткани хорошо контрастировала с черными, как уголь, волосами, как бы небрежно разбросанными по плечам.

На Вету смотрели все, мимо кого она проходила.

Максим на миг тоже залюбовался дочерью, подумал, что у девушки недурной вкус. Но тут же вспомнил, что такой же вкус у ее матери. И сразу перевел взгляд на него.

Он тоже одет по-свадебному: черный костюм, галстук-бабочка в синий горошек, из кармашка торчит уголок такого же платочка.

Но прежде всего поразило сходство этого парня с Вадимом Кулагиным — такой же высокий, хотя ненамного выше Веты, с длинными, по современной моде, каштановыми волосами.

Максим сперва почти испугался: неужели брат? Не любил таких, как в романах, неожиданностей в жизни.

Сходство Ветиного жениха с Кулагиным почему-то сразу вызвало на поверхность ту неприязнь, почти враждебность к нему, которая появилась в глубине души, как только мелькнула мысль, что дочка придет не с подругами — с н и м.

Неприязни в себе к людям он боялся, потому что никогда не умел скрыть своих чувств, они сразу становились видны. Сперва возникло инстинктивное желание воспитанного человека подняться им навстречу. Но неприязнь заглушила это желание, и он не тронулся с места.

Они остановились возле стола, и Вета, не смущаясь, почти весело, очевидно, чтоб скрыть волнение, представила:

— Папа, это мой жених. Полюби его так, как любишь меня.

Максим молча, проницательно смотрел на юношу. А за ним следили официантки.

Жених как будто наконец догадался, чего от него ждут. Склонил голову в поклоне, глухо, но четко назвал свое простое имя:

— Корней.

Максим громко и почти грубо, как на допросе, спросил:

— Фамилия?

— Прабабкин.

Неприязнь сразу начала оседать, как песок во взбаламученной воде.

Максим встал и протянул руку.

— Вот теперь будем считать, что познакомились. Садитесь, Корней Прабабкин.

Вета радостно засмеялась.

Надя подлетела к их столу.

— Может, еще что-нибудь надо?

У Максима явилась было мысль — заменить токай шампанским. Но он тут же передумал.

— Спасибо, Надя. Ничего не надо.

Вета, накладывая закуску, спросила с искоркой в глазах:

— Папа, тебя не смешит Карикина фамилия?

— Фамилия как фамилия.

— А мне смешно. Я останусь Карнач. Я и Карика агитирую — записывайся на мою. Корней Карнач. Здорово звучит, правда?

— Я не писатель и не актер, — сдержанно заметил Прабабкин. — Мне псевдоним не нужен.

«А кто ты?» — возникал логический вопрос, но Максим отложил его на потом, сейчас спросил о главном:

— Вы что... расписались уже? — и почему-то посмотрел на «бабочку» жениха, которая делала юношу торжественным и немножко старомодным.

— Что ты, папа! Думаешь, в наше время это просто? Везде бюрократы. Три месяца надо ждать. Нам, правда, через месяц назначили.

— Почему такая привилегия?

Вета засмеялась.

— У Карика блат.

Жених возразил против слова «блат»:

— Никакой не блат. Я работаю вместе с сыном сотрудницы загса.

— Это последний крик последней моды — выходить замуж без родительского благословения? — голос Карнача прозвучал несколько раздраженно.

Вета сделала круглые глаза.

— Боже мой! Какое старозаветное слово! Ты же передовой человек, папа!

— Для тебя я отец. Прежде всего. И... кажется, неплохой. Или я нужен только для одного?..

В душе поднималась буря. Но он боялся ее и изо всех сил старался сдержаться.

Вета знала, что может произойти, когда у отца вот так начинают блестеть его цыганские глаза, и испугалась, стала оправдываться:

— Я же звонила маме. Разве она тебе не сказала?

— Ты звонила матери?!

— Боже мой! Ты, правда, ничего не знаешь? Вы что, поссорились? Опять не разговариваете?

Тайфун вдруг изменил направление и устремился в неблизкий город, в модно обставленную квартиру, где осталась женщина, которая называет себя его женой. Теперь он не сомневался: она не сказала, что дочь выходит замуж, нарочно, чтоб насолить ему, сделать больно, знала, как он любит Вету и как ревниво относится к тому, что кто-то чужой когда-нибудь заберет ее у него. Когда раньше еще мирно беседовали о Ветином замужестве, Даша смеялась над его страхами; для нее было просто и естественно, что дочь должна выйти замуж.

Хотел было спросить у дочери, просила ли она сказать ему, но спохватился, понял, насколько нелеп такой вопрос, он раскроет его отношения с женой не только Вете, которая знает об их ссорах, но и этому чужому парню. Его беда теперь уже и их беда и может омрачить их радость. Ему, отцу, больно, обидно, душа его в гневе, но он никогда не позволит себе бросить тень на их счастье. Он ехал сюда с намерением поговорить с дочкой о своих отношениях с ее матерью, попытаться объяснить ей, что у него нет другого выхода, как развод. Теперь, конечно, надолго придется отложить этот разговор.

Чтоб успокоиться, Максим попытался даже оправдать жену: она могла думать, что Вета непременно позвонит отцу, и в своем глупом упрямстве ждала, пока первым заговорит он.

Свое неведение прикрыл безобидной ложью:

— Я вчера из Москвы. Был в командировке.

Вета, должно быть, знала, что это не так, но с облегчением вздохнула.

— А я подумала, что мама не сказала. — И, обращаясь к жениху: — Мама у нас с характером. — И опять к отцу: — Если б ты не приехал, мы приехали бы к вам. Теперь не надо... Мама тоже обещала приехать.

— Да, теперь все наоборот... Едут родители...

— Папа! Ты всегда был оригинален!

— Кстати, родительское благословение — не церковное, а общечеловеческое моральное правило, действительно старое, но не устаревшее. Будешь сама матерью, поймешь.

Вета — его дочь, с его характером, непокорная, дерзкая.

— Считай, что мы пришли за твоим благословением. Благослови, отец! — театрально склонила она голову. — Хочешь, мы станем на колени в сем современном храме, где пьют и жрут.

— Не надо так, Вета, — осторожно попросил жених, облизывая запекшиеся губы. Он давно их облизывал. И Максим еще раньше подумал: «Перепил накануне? Волнуется? Или просто хочет есть?»

Молчаливость его и скромность не очень нравились. С виду непохож на такого уж смирного, застенчивого человека. А больше всего Карнач не любил притворщиков, двуликих. Предпочитал таких, как сам, как Вета, горячих, открытых или если уж мягких, то душевных, как Поля Шугачева.

Максим знал, что Вета способна на такую выходку — станет вдруг на колени. Устроит спектакль на весь ресторан. Поэтому он переменил тему разговора. Предложил:

— Давайте, однако, выпьем, — и взял в руки бутылку. — Кто что пьет?

— А это вкусное вино? — по-детски наивно спросила Вета.

Максим понял, что это тоже маленькая хитрость: не могла она не знать токая, его часто пили дома.

— Венгры считают лучшим вином в Европе.

— Каждый свое считает лучшим, — глубокомысленно произнес жених.

Вета засмеялась. Она решила, что главная преграда взята, отец покорен, и ей стало весело.

Между тем, наливая ей вино, Максим вернулся к прежней теме.

— Может быть, я старею, дочка. Но когда я приезжаю к своей матери, к твоей бабушке Татьяне, мне каждый раз хочется стать перед ней на колени... Только глупый страх, что этого не поймут моя сестра и ее дети, удерживает меня. Хотя потом я каждый раз жалею, что не сделал этого.

Молодые притихли.

— Что вы пьете, Корней Прабабкин?

— Он ничего не пьет, — быстро ответила Вета.

— Ничего? — удивился Максим.

— Ничего, — подтвердил жених, снова облизнув губы.

— Кто же вы, Корней Прабабкин?

— Не иронизируй, папа, — обиделась Вета.

— Нисколько не иронизирую. Я, грешный, пью коньяк. Ожидая вас, я уже выпил. Каюсь.

Он налил полный фужер токая жениху, себе — полрюмки коньяку.

— Не пьют больные. Некоторые сектанты. Не все. Изредка встречаются семьи, где трезвость — традиция в целях воспитания молодого поколения. Я уважаю, если это принцип... Я люблю трезвых, но не люблю ханженства.

Вета засмеялась.

— У Карика не такая семья. Его отец полковник в отставке, мать воевала... инвалид...

— Вот за них и выпьем. За ваших родителей, Прабабкин.

— И за тебя, папа, — Вета чокнулась с ним и выпила рюмку до дна; жених только пригубил.

Максим бросил в рот ломтик лимона, пососал его, посмотрел, как едят... дети.

Дочка ела со своим обычным аппетитом — много, вкусно, красиво. Его всегда радовало, как она ест. Когда-то слишком цивилизованная мама пыталась ограничить ее рацион, чтоб Вета не пополнела, не потеряла стройности. В будние дни Даше иногда удавалось держать семью на диете. А в выходной он и Вета вырывались из дому, заглядывали на рынок, покупали там сало, баранину, лук, перец, чеснок, приглашали Шугачева с детьми, уезжали в лес, жарили на прутиках сало, шашлыки, пекли картошку и наедались так... Даша целый вечер фыркала: «Фу! Чем от вас несет! Так, верно, только от пещерных людей воняло!» Они хохотали.

Вспомнив это, Максим улыбнулся, но тут же сердце сжала грусть: теперь пианистка Виолетта, жена трезвого Прабабкина, не поедет больше с отцом в лес, не будет жарить сало...

Вместе с грустью пришло еще что-то тревожное, как бы ощущение своей вины. Перед кем? За что? Не сразу догадался. Ах, Вера Шугачева! Он вдруг понял, что ничем ей не поможет, напрасно взялся, переоценил свои возможности. Более того, только теперь, глядя на дочь и ее жениха, отчетливо увидел, что разговор с Вадимом был не нужен и даже неуместен, что он ушел после того разговора побежденным и, пожалуй, не только не помог девушке, а скорей всего напортил. Хорошо, что он не отправился сегодня к Кулагину-старшему. Смешно в наше время сватать и женить таким способом. Могло случиться, что разговор с плановиком не лучшим образом отразился бы здесь, на этой неожиданной встрече с двойником Кулагина-младшего.

Не понравилось, как он ест — словно нехотя, манерно. Не пьет, не ест...

— Кто же ты, Корней Прабабкин?

Жених поперхнулся куском заливного языка.

— Как кто? — насторожилась Вета.

— Чем занимаешься?

— А-а, — с облегчением вздохнула дочка.

— Я работаю... инструктором ДОСААФ.

— По стрельбе. Если б ты видел, как Карик стреляет. Лепит в «десятку». Это у него от матери, она снайпером была на войне...

— И учусь. Заочно, — перебив невесту, явно обрадованный Прабабкин старался в лучшем свете выставить себя перед будущим тестем; должно быть, страдал, что тот с самого начала не поинтересовался, кто же он. — В институте иностранных языков.

— На испанском! — подхватила Вета. — Ты знаешь, Карик не только снайпер, но и полиглот. У него исключительные способности к языкам. Он жил с родителями в Германии и изучил немецкий, проходил военную службу в Грузии — изучил грузинский... Он поставил себе целью: знать десять языков...

— Для чего?

— Как для чего? — не поняла Вета. — Разве плохо знать языки?

Нет, неплохо, подумал Максим, но зачем, если нет одного главного дела, для которого нужно такое многоязычие. Изучение ради изучения — это не дело, а забава.

И если этот Прабабкин (впервые, хотя и мысленно, он произнес фамилию с едкой иронией) изучает языки, чтоб удивлять людей своей показной эрудицией, то пусть не думает, что он может потрясти того, к кому набивается в зятья, и пусть не ждет от него уважения и любви.

Вета, захлебываясь, продолжала расписывать необыкновенные способности своего любимого, но Максим уже плохо слушал дочку, думал о другом.

— А твоя учеба как?

— Учусь.

— Вета! Не слышу музыки в ответе.

— Дам тебе музыку. Не бойся. Кончу я консерваторию. Чего ты беспокоишься?

— Я думал не только о том, как бы кончить институт. Я думал, что смогу сделать, когда стану архитектором.

— И что ты сделал?

— Я строю город.

— Ой, надоели мне ваши разговоры о строительстве городов. Строите-строите, а смотреть не на что. И жить многим еще негде.

Это были слова ее матери, та не раз повторяла их, иногда в шутку, а чаще всерьез, злобно, чтобы поиздеваться над ним. Поэтому то, что сказала дочь, очень больно ранило его. Опять в груди всколыхнулась притихшая было волна тревоги, смятения, горечь неудач, давних и сегодняшних. Волна невиданная, как цу-

нами. Если он не поставит ей преграды, она может многое разрушить. Что? И зачем? Не надо ничего разрушать!

Максим сжал рюмку и раздавил ее.

Вета встревожилась:

— Ой! Не поранил руку?

Ее забота погасила волну, она отхлынула, не ударив в неукрепленный берег.

— Не поранил.

Подозвал официантку.

— Надя! Я разбил рюмку. Приберите, пожалуйста.

Вета воспользовалась паузой, его разговором с подавальщицей, да и момент был подходящий — оркестр заиграл модный танец.

— Мы потанцуем, папа. Ты не возражаешь?

— Пожалуйста.

Они пошли, молодые, красивые, Вета — царственно-величавая в своем искристом вечернем платье.

Он посмотрел им вслед, тайком вздохнул.

Меняя тарелки, Надя спросила:

— Вы в первый раз видите его?

— В первый.

— Красивый.

— Красивый.

— И дочка у вас красивая.

— И дочка красивая. Спасибо, Надя.

Да, оба красивые. Молодые. Он, Максим Карнач, всегда, во всех жизненных ситуациях старался оставаться трезвым реалистом. Ему, кажется, надо бы радоваться — дочь нашла свою пристань. Возможно, для его жены, матери Веты, имеет значение, кто он, жених, — инструктор по стрельбе или великий филолог. Для него все равно, кто жених. Был бы человек. По первому знакомству нельзя сказать, что он такое. Мало ли, какие черты могут не нравиться. Важно, что Вета выбрала его, полюбила... Выпей же за их счастье, Максим Евтихиевич! За них ты так и не поднял тост. За родителей поднял. По принципу солидарности взрослых. Не гляди назад. Вперед гляди! Почему так сжимает сердце? Все сильней, все больней. Как спазм. И такое собачье настроение. Выть хочется. Нет, выходит, великой архитектуры. Но нет и великой музыки. О твоей музыке, дорогая дочка, я мог бы сказать еще покрепче, чем ты о моей архитектуре. Но архитектура не только моя, она для всех. И музыка для всех.

Что, если я все же скажу вам о финале своей пламенной любви? Оригинальный свадебный сюрприз. Совсем по-современному...

Нет! Можете танцевать спокойно. Я ничем не омрачу вашу радость. Я человек! И отец! Почему оно так болит, мое сердце?

IX

Максим кормил синиц. Его любимое занятие. Нарезал мелкими кусочками сало, положил на ладонь и, выйдя на крыльцо, отставил руку в сторону, отвернулся. Сперва на горячую руку падали холодные снежинки. Снег пошел еще ночью. Начиналась настоящая зима. До сих пор ее не было. Снег выпадал несколько раз и таял, оттаивала земля. А теперь на хорошо промерзшую землю лег сухой снег, какой-то даже голубой. Причудливые шапки одели кусты можжевельника, посаженные у крыльца. По этим шапкам можно судить, сколько выпало снега. Надо расчистить крыльцо, дорожку на улицу.

Максим радовался предстоящей работе. После всех минских забот и волнений, связанных с архитектурными делами и семьей — Ветой, женой, — работа эта даст отдых голове и сердцу, к удовольствию, которое принес снегопад, прибавит еще одно — физическую усталость.

Но сперва эта маленькая радость — эксперимент с приручением синиц. Он уже добился было победы — одна из синиц брала пищу с ладони. За несколько дней, что он отсутствовал, синицы опять отвыкли, и теперь парочка их летала над головой, они перескакивали с ветки на ветку березы и пищали громко и весело, как бы подбадривая друг друга: «Давай ты первая! Нет, давай ты!»

— Ну берите, глупенькие. Ничего плохого я вам не сделаю.

Синицы ответили дуэтом: «Не можем, не можем!»

Максим оглянулся. На пороге приоткрытой двери лежал Барон и внимательно следил за синицами.

— Ах, вот оно что! Барон, я что тебе говорил? Бандит. Живешь на полном пансионе и еще облизываешься на этих несчастных пташек. У тебя даже не феодальная — империалистическая ненависть. Брысь! И закрой дверь, разбойник!

Прогнав кота в комнату, Максим снова застыл с протянутой в сторону рукой. На ладони лежали кусочки сала. И вот порхнул мимо уха один пушистый комочек, потом второй. Победа! Не испугать их! Пускай привыкают. Хотелось, чтоб синицы ждали его возвращения, встречали и сами летели в руки, может быть, даже ели на его столе, с его тарелки. Верил, что добьется этого.

Схватив сало, синицы вспорхнули на березу.

Максим проводил их ласковым взглядом и вздохнул. Снова проснулось то, о чем и вчера вечером и особенно сегодня, когда с утра увидел, какая красота на дворе, приказал себе не думать, не вспоминать. Взял лопату, чтоб отгребать снег, но не сразу решился коснуться этой первозданной чистоты. Стоял, смотрел, как садятся снежинки одна за другой, искрятся, и даже в это хмурое утро каждая из них переливается радугой. Над головой опять пролетели синицы. Просили еще угощения. И Максим невольно подумал, что даже птица понимает доброту и ласку... Про

Дашу подумал. Со злостью, какой, кажется, не испытывал еще ни разу.

Вернувшись из Минска, он с вокзала отправился в горсовет, где за день переделал бесчисленное множество дел, накопившихся за время его отсутствия.

После работы пошел к Шугачевым. Прежде всего вела туда вина перед Верой. Как она? Ничем же он не помог, только наобещал.

Виктора не было — проводил партбюро. И Веры не было. Посидел с Полей в ее на диво уютной кухне. Рассказал про Вету. Поля поняла его отцовскую боль.

— Ой, Максим! Я сама со страхом думаю о том времени, когда придется выдавать дочек. Наверно, труднее всего первую. С сыновьями проще. Тут как бы приобретаешь, а не теряешь. Заставьте себя думать, что вы приобретаете сына, и порадуйтесь.

Тогда он, как на исповеди, рассказал Поле, что больно ему не из-за одной только этой утраты, рассказал про Дашу, хотя давно догадывался, что Шугачевы многое знают и лишь из деликатности молчат.

Поля попробовала было оправдать Дашу:

— Она звонила мне, искала вас. Но вы уже были в Минске. Мы долго говорили по телефону. Собственно, говорила Даша... Мне при детях не очень можно было...

Максим представил себе, что могла наговорить Даша. И не ошибся. После долгой беседы обо всем — об их отношениях, о Вете, ее замужестве — Поля вдруг с той прямотой, с какой это делают только умные женщины, спросила:

— Скажите откровенно, Максим, у вас кто-нибудь есть?

— Поля, клянусь. Перед тобой и Виктором мне нечего таиться, ты знаешь, как я отношусь к вам. У меня никого нет. Ты знаешь, как я любил жену! Я пять лет делал все, чтоб наладить нашу жизнь. Я шел на компромиссы, от которых самому делалось гадко, ты знаешь мою цыганскую натуру, знаешь, как мне невыносимо всякое соглашательство. Но до нее ничего не доходит. По-моему, это уже просто психоз, болезнь. Чем дальше, тем хуже. У вас с Виктором бывало, чтоб вы по три недели не разговаривали?

— Что вы! Как можно перед детьми ходить надутыми индюками... Мне даже трудно представить, что Даша такая. Нет, не подумайте, я верю вам. Тем более мне странно и горько.

Разговор шел очень откровенный, такой не часто случается. При этом хозяйка не забывала подливать гостю какой-то особенной настойки на почках малины, тополя и еще чего-то.

И нечистый потянул за язык. Захотелось за откровенность отплатить такой же откровенностью. Сказал о Вере. Когда слова уже сорвались, тогда только понял, что сделал глупость. Поля побледнела. Поднялась и заглянула в коридор: не слышат ли меньшие?

Видно было, как ошеломила мать такая новость. Выходит, не добром он заплатил, а злом. По сути, получается, что он, как злодей, ударил радушную хозяйку в сердце.

Стараясь смягчить удар, который нанес своей ненужной откровенностью, Максим начал рассказывать, как говорил с Вадимом и почему не стал беседовать с Кулагиным-старшим.

Поля перебила его:

— Максим, я вас прошу. Ни с кем не надо говорить. Ни с кем. И с Верой тоже. Я сама...

Понял, что ей больно продолжать этот разговор, и почувствовал себя отвратительно — неблагодарным, неумным, преступником перед лучшими друзьями. Предателем перед Верой. Как теперь посмотреть ей в глаза? Гнусное, страшное ощущение предательства не покидало весь вечер, когда он приехал сюда, в Волчий Лог, и долго согревал настывшую за несколько дней дачу.

Утром он стал оправдывать себя тем, что выдал Верину тайну не кому-то постороннему, а матери. Мать должна знать. Такая мать, как Поля, поможет во сто крат лучше, чем он, чужой мужчина, который в собственной семье не сумел добиться ладу. Но тут, среди нетронутой чистоты снега, под ласковый переклик доверчивых синиц, опять появилось чувство вины перед Верой. Однако несколько иное и ослабленное тем, что одновременно он впервые после встречи почувствовал себя виноватым и перед Ветой. В чем? Правда, вина эта была неосмысленная, туманная, раньше никогда ничего подобного не испытывал. Как умел, воспитывал Вету, как умел, воспитывал студентов и молодых проектировщиков, инженеров. Кажется, честно выполнял свои отцовские, общественные, профессиональные обязанности. Что еще можно требовать от человека? Как же надо было жить, чтоб от этого стало лучше и Вете, и Вере? И что значит лучше? Богаче? Проще? Чтоб у них был пример? Разве плохим примером служили Вере ее родители?

Максим сбросил куртку и начал чистить дорожки. Загребал широкой деревянной лопатой мягкий и легкий снег, откидывал в сторону.

Работа была приятная, и он не только расчистил снег вокруг своей дачи, но проложил дорожку до главной улицы поселка, которую шутники называли проспектом Аноха. Коммунальщику, как и некоторым другим ответственным работникам, свое садовое хозяйство пришлось срочно ликвидировать. Однако название осталось. Между прочим, Анох настраивал членов партбюро, чтоб потребовали и от него, Карнача, «добровольного» отказа от недвижимой собственности.

Показались первые лыжники. Когда начинается лыжный сезон, в Волчьем Логе в выходные бывает многолюдно. И зачастую останавливаются перед его домом. Любуются.

Не хотелось на людях чистить улицу, привлекать к себе внимание. Да и странно выглядела его работа, когда все еще шел

снег. Хотя, правда, не такой густой, как ночью, этот не скоро занесет дорожки.

Максим спрятал в гараж лопату. Ласково, как живое существо, погладил свой старенький «Москвич», который так выручал его сейчас, хотя в последнее время не раз и подводил.

Подумал, что теперь не выехать, пока не поймает на шоссе грейдер, чтоб расчистить дорогу. Но сегодня чистить бесполезно — идет снег. В понедельник придется обувать бурки и торить до шоссе тропку, а там голосовать, как бедному студенту.

Плита, которую он разжег, проснувшись, согрела кухню и отчасти соседнюю комнату, которую обогревал электрорадиатор.

Готовя завтрак, Максим почти весело, уже, во всяком случае, без той тяжести на душе, с которой час назад вышел на улицу, вспомнил свое знакомство с родителями Ветиного жениха — Прабабкиными.

— Прабабкины-Прадедкины, — засмеялся он, нарезая тонкими ломтиками картошку на сковородку с горячим маслом; она шипела и сердито фыркала.

Странное впечатление осталось от этой неожиданной встречи с людьми, с которыми ему, видимо, предстоит породниться.

Жених не очень нравился. Манерный какой-то, но «бесстильный» (правда, отсутствие стиля тоже стиль) — ни старомодный, ни современный, как говорится, ни рыба ни мясо.

Корней после танца не вернулся с Ветой, она подошла к столу и сказала, что жених пошел звонить своим.

Максим сразу спросил у дочери:

— Ты любишь этого человека?

Вета беззаботно рассмеялась.

— Может, я еще не знаю, что такое любовь. Но он мне понравился с самого начала. Папа, он не такой тихоня, это он перед тобой смущается.

— Давно вы знакомы?

— С весны. Он сразу познакомил меня со своими родителями...

— Он сразу... А ты когда? Не стыдно тебе?

— Прости, папа. В самом деле стыдно.

Жених вернулся и передал приглашение родителей позавтракать у них.

Он подумал тогда с невеселым юмором: «Как старосветские помещики».

Но старшие Прабабкины ему понравились. Прежде всего биография. Необычная даже для их поколения. Не такой уж юный лейтенант из сельских учителей в сорок втором женился на девушке-снайпере, слава о которой уже гремела тогда по всему Карельскому фронту.

Финский снайпер перехитрил Ганну. Целил, гад, видно, в сердце, а прострелил левую руку. В двадцать один год Галя осталась без руки, но Тимофей Прабабкин не бросил жену-инвалида, и она

не оставила его, всю войну прошла вместе с частью и немало еще сняла потом фашистских «кукушек» одной рукой. После войны родила двух детей, была с мужем в Германии, в Польше, на Дальнем Востоке. Теперь возглавляет домовый комитет.

— Командую пенсионерами. Даю раскрутку всем в жилищных отделах. А мошенников там хватает. Они меня боятся больше, чем ОБХСС, — со смехом рассказывала она за столом.

Несмотря на инвалидность, Ганна Титовна — женщина моложавая, без инея в волосах, крепкая и подвижная.

Максим хотел было помочь ей накрыть на стол, но она бесцеремонно, сразу перейдя на «ты», отклонила его помощь. Может быть, кого другого шокировала бы ее солдатская грубоватость, а ему понравилась эта женщина. Он подумал, что Вете полезно будет ее влияние, может быть, оно выбьет из нее Дашин дух.

Сам Прабабкин по характеру другой человек. Выглядел он намного старше Ганны Титовны, хотя разница между ними была всего в семь лет. Больше четверти века прослужил в армии, но пять или шесть лет преподавания перед войной оставили на нем неизгладимый след; что-то учительское в движениях, в манере говорить.

Учительские черточки будущего свата особенно понравились Максиму.

Квартира у Прабабкиных просторная, четыре комнаты (уходил на пенсию из штаба округа), но обставлена просто, без той, подчас мещанской, претензии, которой заражаются некоторые хорошо обеспеченные пенсионеры.

У Прабабкиных стояла мебель, приобретенная в разное время, в разных странах и городах в течение их кочевой жизни. Но разностильность не портила общего вида комнат; все очень подходило к биографии Прабабкиных, их характерам и нынешнему положению.

Ждали к завтраку юную пару. Но позвонил Корней и сказал, что Вету не отпускают с лекции по диалектическому материализму.

Ганна Титовна посетовала, а он, Максим, был доволен. Хорошо, что дочь подчиняется дисциплине и не решилась нарушить ее даже по такому особому случаю!

Стол был накрыт просто, опять-таки без претензий на то, чтоб удивить гостя. И еда поставлена простая: селедка с маслом, лук, жареная колбаса, вареная картошка. И водка-перцовка — так Ганна Титовна вспоминала свою неньку Украину. Стручки перца, присланного сестрой, хозяйка опускала в бутылки, и водка эта продирала до пят, а из глаз прямо искры сыпались.

Тимофей Фомич пил через одну, а хозяйка опрокидывала чарку в чарку с гостем. От этого становилась все веселее и рассказывала анекдоты, от которых муж смущался и журил жену. Ганна хохотала.

— Максим Евтихиевич! Он же у меня что дитя. Люди дивятся: как я такого вынянчила одной рукой. И сын в отца. А дочка

в меня... Поделили по закону. Людка наша поехала после десятого класса в Ленинград, экзамен сдавать в медицинский, а письмо прислала из другого города. Я, пишет, больше не Прабабкина. Хватит мне носить вашу смешную фамилию... Разве не подлая девчонка? Батькова фамилия не нравится. Я уже, говорит, Колосова. Вышла замуж за офицера подводной лодки. Доучилась, чертова девка. Отец расстроился. А я говорю ему: кто знает, где чье счастье!

Это, по сути, были единственные слова, которые имели какое-то отношение к Вете, к женитьбе их сына. Даже подвыпив, Прабабкины не заговорили о молодых, деликатно обходили эту тему. И Максим был им благодарен. Ему тоже не хотелось рассуждать с людьми, пока что ему чужими, о родной дочери. Более того, отправляясь на этот завтрак, боялся, как бы будущие сваты не начали расхваливать своего сына, доказывать, что он осчастливил своим выбором его дочь, как это подчас бывает.

Одним словом, утро было светлее, чем вечер, хотя день выдался туманный и нелетный. Пришлось ждать вечернего поезда. По служебным делам после этого завтрака не пошел, только съездил в мастерскую к скульптору. Потом ходил с Ветой по магазинам, и там опять настроение у него испортилось: встревожила Ветина жадность к вещам. И какая-то нестыдливость. Без стеснения тащила отца к лифчикам, комбинациям, штанишкам, кажется, все бы захватила. Психология матери.

Не хотелось допускать черные мысли в такой белый день. Хотелось работать. Полгода искал архитектурное решение памятника партизанам. Сосновский, бывший партизан, проявлял особый интерес к этому памятнику. Но Максима, впрочем, как и его соавтора-скульптора, ни один из трех вариантов, сделанных ими, не удовлетворял.

Скульптор, у которого Максим побывал в Минске, подбросил ему новую идею; у молодого талантливого парня идей был полон короб.

Максим поначалу не принял ее. Но сегодня ночью повернул замысел скульптора как бы другой стороной, добавил кое-что свое, и неожиданно это ему понравилось. Во всяком случае, пришел к мысли, что новый вариант стоит того, чтоб над ним поработать.

Но он никогда не садился сразу за чертежную доску. Детали должны выкристаллизоваться в мозгу. Из многолетнего опыта он знал, что лучше всего решаются архитектурные задачи, когда он занят работой, какой всю жизнь занимался его отец, — столярничает, мастерит что-нибудь нехитрое: скворечню, полочку. Он может полдня искать форму книжной полки и место для нее, но за это время в голове вырисовываются такие детали проекта, что потом сам удивляется, когда начинает набрасывать их на бумаге.

Поэтому с утра, еще в постели, он спланировал свой выходной день: после завтрака заняться переоборудованием мансарды — из-

менить интерьер; это та работа, которая ему сегодня нужна. При любом другом занятии — возне с автомашиной, ходьбе на лыжах — он опять начнет думать о своих нелегких, и ясных, и путаных, отношениях с людьми — с Дашей, Шугачевым, Ветой, Игнатовичем, Кислюком, Макоедом... Теперь еще прибавились Прабабкины...

Поднявшись наверх и включив электропечь, Максим долго переставлял стол, диван, вытер пыль с книжек, снимая их со старых полок.

Работа показалась ненужной и скучной, никакого творческого подъема не давала, наоборот, мельчила мысли. В голову лезла всякая чепуха. Так было до тех пор, пока не наладил верстак и из-под лезвия рубанка не выползла первая, еще грязноватая стружка. Покатилась по полу.

Барон прыгнул на стружку, как на живую, поймал лапами, понюхал и недовольно фыркнул.

Максима это рассмешило.

— Стареем мы с тобой, Барон. Любой котенок целый день играл бы этими стружками, а ты, собачий кот, фыркаешь. Заелся, гулена. Нет, ты понюхай, как она пахнет... Это же сказка!

Одно за другим летели янтарные кольца. Согревшаяся комната наполнилась живым, неповторимым, опьяняющим ароматом сосны. А за окном падал тихий снег.

И настроение поднималось. Столярничая, Максим весело свистел, поглядывал в окна. Сквозь одно окно видел заснеженные крыши домиков, которые в белой мгле казались маленькими, игрушечными. Сквозь второе — березы белые-белые, и оттого россыпь их на склоне взгорка превратилась в бескрайний лес, ведь за теми березами, что заглядывали в окно, была такая же белизна с черными крапинами...

Через несколько минут он строгал уже почти машинально, потому что голова была занята проектом монумента.

Сел к столу. Нарисовал полку. Одну, вторую... И тут же под ними несколькими размашистыми линиями — монумент. Собственно говоря, не весь монумент: фрагмент разрушенной стены — тема городского подполья, которую все хотели видеть в будущем памятнике, но не знали, как ее воплотить, решить архитектурно и скульптурно.

Сперва рисунок понравился. И он начал вырисовывать детали. Но вдруг пронзила страшная мысль. Представил разрушенным... свой Дворец культуры, открытый месяц назад, и похолодел. По спине будто сквозняком потянуло, потная рубашка прилипла к телу... Сунул рисунок в папку... На чистом листе нарисовал новый вариант. Но страшное видение разрушенного дворца стояло перед глазами, и Максим бросил карандаш...

Варил внизу на кухне клей, когда в дверь настойчиво постучали.

«Принес кого-то черт», — недовольно подумал Максим. Если б

был наверху, затаился бы, прикинулся, что нет дома. А тут его могли видеть через окно. Отворил дверь и... удивился. На крыльце стояла Нина Ивановна Макоед в красном лыжном костюме, облегающем ее стройную фигуру, с рюкзаком за спиной и палкой в руке. Лыжи и еще одна палка прислонены к перилам крыльца. Раскрасневшаяся на морозе да еще в розовом отсвете костюма и шапки, она, казалось, вся пылала.

Они дольше, чему нужно, смотрели друг на друга, как будто не виделись лет двадцать, с юношества, и теперь не могли узнать.

Нина Ивановна дышала глубоко и часто — только что с лыж — и, может быть, поэтому не сразу смогла произнести первые слова. Максим молчал по другой причине. Первые секунды он еще жил своими мыслями и был недоволен, что ему помешали. Потом явилось любопытство: что принесло Макоедов? Ждал, что вот-вот из-за угла появится Бронислав Адамович. Просто так, без надобности, эти люди уже к нему не наведывались. Но, кроме всего прочего, он залюбовался Ниной: хороша, чертова кукла! Ничего не скажешь. В этом костюме, со снежинками на подкрашенных бровях, разрумянившаяся, необыкновенно хороша. Прямо глазам больно смотреть на нее.

— В дом пустишь, хозяин? — первой нарушила молчание неожиданная гостья и хрипло — с мороза— засмеялась.

— Пожалуйста, — Максим отступил в сторону, и она перешагнула порог. Поздоровалась:

— Здравствуй, схимник, — и тут же потянула носом. — Что это у тебя так воняет?

На кухне горел клей.

Максим бросился туда, выключил газ и кинул банку с клеем в помойное ведро.

Нина Ивановна стояла в дверях и смеялась. Сняла рюкзак и осторожно поставила на пол.

— Все мастеришь?

— Мастерю.

— А я едва оторвала своего Макоеда от телевизора. Да разве ж ему за мной угнаться! Где-то за шоссе пыхтит. По моей лыжне. Примешь гостей?

Максим пошутил не без намека на свои отношения с Макоедом:

— С бóльшим удовольствием я принял бы одну гостью.

Она со смехом погрозила ему пальцем:

— Ну-ну, цыган! Не заглядывайся на чужих коней!

— А я не на коней заглядываюсь...

Как бы смутившись, Нина Ивановна наклонилась к рюкзаку, развязала его, достала бутылку марочного коньяка. Но еще больше удивило шампанское. И насторожило.

— По какому случаю такие траты?

Выкладывая пакеты с ветчиной, колбасой, сыром, Нина Ивановна смеялась, довольная.

— Ты знаешь скупость Макоеда. Самое большое мое удовольствие — это хоть изредка заставить его раскошелиться...

Увидев, что хозяин не подхватил ее шутки, объяснила всерьез:

— Я именинница сегодня. И мне захотелось по-особому отметить свой день рождения. Такой день! Такой снег! Я романтическая натура! Не выгонишь?

Она лгала. Понадеялась, что он не помнит дня ее рождения. Это действительно зимой, но месяцем позже. Максим запомнил дату, потому что в прошлом году они были приглашены Макоедами и на обратном пути поссорились с Дашей — та приревновала его к молодой преподавательнице института, которой он даже имени не знал.

Ложь Нины Ивановны не стал разоблачать. Но любопытство его усилилось: чего все-таки хотят от него Макоеды?

Подхватил ее игру.

— Поздравляю, — подошел, сперва пожал, потом поцеловал руку.

Женщина не покраснела от удовольствия, наоборот, вдруг побледнела, будто испугавшись, отступила от него.

— Если разрешишь, я похозяйничаю на кухне и накрою стол... пока прилетит мой чемпион по лыжам. Чистая скатерка у тебя найдется?

Максим показал, где что взять, а сам поднялся наверх. Но не затем, чтоб работать. Какая там работа! Захватил снизу костюм, бритву. Неловко все-таки принимать женщину в том виде, в котором ремонтируешь машину, топишь печь столярничаешь. От замасленной куртки пахнет соляркой, торфом, смолой.

Когда опять спустился вниз, Нина Ивановна оглядела его, казалось, хищным взглядом и сказала, как бы жалея, что он так преобразился:

— Какой ты элегантный! Все же одежда делает человека!

— В рабочем платье я не был человеком?

— Человеком для работы, не для приема гостей.

— Я не знаю, кто кого принимает. Ваш коньяк. И твои хлопоты.

За короткое время, пока он переодевался и брился, она навела на кухне порядок и чистоту. Убираться на кухне так, как это делала Даша и сделала за такое короткое время гостья, ему никогда не удавалось. Для него, человека, который умел создать исключительный интерьер, оставалось одной из тайн женского характера такое умение.

Посуда заняла свое место. Все помыто. Горят конфорки, кипит вода. Варится картошка. Даже запахло по-кухонному аппетитно.

Одно не понравилось: Нина Ивановна где-то нашла Дашин фартук, надела его; цветастый этот передник напомнил жену, и в душе снова шевельнулась злость. А он в последнее время почти убедил себя, что отношения их находятся в той стадии, когда не может уже быть ни любви, ни ненависти, ни злости, только рас-

судительность и расчет, как и когда оформить эти отношения достойно, не унижая друг друга, хотя надежды на такую рассудительность с ее стороны не было.

— Я поставила варить картошку. Ты не против? Полей мне на руки, и будем накрывать на стол, — дружески просто сказала Нина Ивановна.

Поливая ей на руки, Максим снова обратил внимание, какие они у нее холеные, ухоженные, и подумал, что модница не пожалела свежего, верно, только вчера сделанного маникюра. Во имя чего? И вдруг что-то его взволновало. Что, не мог понять. То, что она одна здесь рядом? Он давно знает эту женщину. Лет десять. Но никогда не ухаживал за ней. А потом высмеял ее диссертацию об озеленении и не сомневался, что приобрел врага, тайного и хитрого. Верил слухам, что диссертацию ей написал Макоед, это была плата за ее согласие выйти за него замуж. Макоед — посредственный архитектор, но писать умеет и любит. Никто больше него не печатается в специальных и общих изданиях. Фамилию его можно встретить даже в женском журнале, в пионерских газетах.

Диссертацию ей Макоед мог написать. Но в жизни Нина Ивановна умнее мужа. Защиту диссертации она организовала сама. И защитила с помпой. После этого Максим перестал уважать некоторых своих наставников. Склеротики! В диссертации ни одной оригинальной мысли, ни одной идеи, которая могла бы иметь практическое значение для городов Белоруссии. А он тогда как раз занял должность главного архитектора, и проблема озеленения привлекала его внимание не меньше, чем многие другие, которыми, когда работал в институте, заниматься не приходилось.

Они вместе накрывали стол и вели «интеллектуальную» беседу об архитектуре, кстати, о том же озеленении. Зная мнение Карнача о ее диссертации, Нина Ивановна, должно быть, специально подготовилась и высказала немало любопытных, стоящих внимания соображений. И при этом ловко и искусно готовила закуску, сервировала стол.

На новенькой скатерти, ни разу еще не бывшей в употреблении, торжественно возвышались бутылки коньяка и шампанского, стояли красиво нарезанные ветчина и сыр, помидоры и огурцы.

Сквозь широкое окно вливался нежный свет, такой же торжественный. Казалось, с завистью заглядывали озябшие березки.

Максим, оглядев стол, проглотил слюну — завтракал по-холостяцки.

— Ну что ж, только роз не хватает. Летом я построю теплицу и выращу розы... к твоему дню рождения, — сказал с иронией, но Нина Ивановна, кажется, не поняла.

— Я сделаю салат. Хочешь?

— Не надо. Я рвусь к столу. Где твой Макоед? Ты где его бросила? Может, пойдем навстречу?

Нина Ивановна отошла от стола, прислонилась к стене, сняла

через голову фартук, бросила его в угол на пол. Сказала спокойно, без кокетства, почти жестко:

— Макоеда не будет. Я соврала. Я пришла одна. Выгонишь?

Он оглядел ее так, как будто видел впервые.

Полгода он не знал женщины. Мысль об этом и о том, что он может наставить рога самоуверенному, спесивому и завистливому Макоеду, рассмешила.

Он пошел вокруг стола — неслышно, как Барон.

Нина закрыла глаза, словно девочка, которой вдруг стало страшно.

X

Максим не сомневался, что Шугачев приехал в такой снежный день из-за Веры. Поля, конечно, все рассказала мужу. Приехал в отчаянии. Невеселый ему предстоит разговор. Ничего себе денек выдался. Всего хватило. Мысль о Вере опять отозвалась в сердце болью. Кажется, Вету, родную дочь, ему не было бы так жаль, как эту добрую, тихую, ласковую свою крестницу.

Но Виктор Шугачев совсем не был похож на убитого неожиданным горем отца.

— Спал, что ли?

— Спал.

— Ну, живе-ешь! Среди бела дня дрыхнешь!

Войдя в комнату и увидев стол, Шугачев насторожился.

— Кто у тебя был?

— Никого не было.

— Ты один так обедаешь?

— Один.

— Проклятый буржуй! Гурман! Транжира! Марочный коньяк! Скатерть белее сегодняшнего снега. Поля раз в год, на большой праздник, постилает такую скатерть, — и тут же налил себе коньяка. — Не облизывайся. Тебе не налью. Эгоист несчастный! Две трети вылакал один. Пьянчуга! Будь здоров!

Выпил маленькими глоточками, смакуя.

— Вкуснотища какая! Живут же люди!

Максиму стало весело. Он с трудом сдерживал смех. Прикинулся сиротой:

— Дай хоть каплю. Голова трещит. Я «медведя» пил.

— «Медведя»?! — Шугачев, кажется, искренне возмутился. — Невежда! Дикарь! Снежный человек! Какой это дурак мешает такой божественный коньяк с вульгарным шампанским? У меня от шампанского икота. И печень болит. За одно это варварство лишаю тебя коньяка. Ладно. Десять капель, не больше. Как лекарство. Голову твою жалею. Она все же кое-что стоит.

Налил понемножку, но поровну.

— У меня правда болит голова. Пойдем погуляем. Помесим снег.

— Я помесил его до твоего собачьего Лога — во как. Вся спина мокрая.

— Виктор! Во имя дружбы и не такие подвиги совершали! А ты прошел три километра и хнычешь.

— Во имя дружбы совершали подвиги, когда человечество было в детском возрасте.

— Ты делаешься скептиком. Плохая примета. Стареем, Витя.

— Открыл Америку! Стареем! Я иной раз чувствую на своих плечах тяжесть сотни лет. Представь, что ты прожил сто лет и сто лет строил города. Сколько течений, школ, стилей! Сколько нервов, пота и крови! И все это на тебе или в тебе. В сердце. В мозгу. С таким ощущением ты остался бы оптимистом?

— Мы с тобой всегда были оптимистами. Разве не так? Давай останемся ими. Не деликатничай, допивай коньяк, и пошли. В такой день грех сидеть в комнате.

Шугачев сдался.

— Ладно, пошли. Я всегда шел за тобой.

— Виктор! Это свинство — выяснять, кто когда за кем шел. Я дорожу твоей дружбой. И благодарен тебе, Поле...

— Меня всегда смущали признания в любви. Даже Полины.

Максима и раньше забавляло и даже немного смешило, как Виктор одевался: натягивал пальто, как ребенок — высоко подняв руки над головой, сразу влезая в оба рукава. Но сейчас это не рассмешило — увидел аккуратные заплаты на подкладке у рукавов. Растрогало его старенькое демисезонное пальто. А человек этот любит красивые вещи и знает в них толк.

На крыльце Виктор залюбовался лыжами Нины Ивановны.

— Послушай, где ты купил такие?

— В Минске.

— Как ты сводишь концы с концами? Мои давно мечтают о таких лыжах. Но, во-первых, где их достать? А во-вторых, кусаются, наверно...

— Я подарю своим крестникам такие лыжи.

Виктор смутился.

— Ну, что ты... Пускай сами заработают, — и оглянулся на лыжи. — Не боишься оставлять здесь? Украдет кто-нибудь.

— Ничего еще не крали.

— Не идеализируй, разочаруешься. Поля была такой идеалисткой, пока у нее не вытащили кошелек с моей месячной зарплатой. Вот ахала!

Они шли по поселку, по дорожке, которую засыпало мягким снегом. Шли один за другим: Шугачев впереди, он, Максим, за ним, ступая след в след.

Максим думал о том, что Виктор странно возбужден, как будто история с дочерью не огорчила, а только взбудоражила. Настороженно ждал, когда же он начнет говорить о Вере.

— Слушай, что ты там городил Поле насчет... — остановился Шугачев и повернулся к нему.

«Ну вот, начинается», — подумал Максим.

— ...Заречного района? Она поняла так, что из оптимиста ты превратился в пессимиста после поездки в Минск. Что, поставили крест на нашем эксперименте?

Максим с облегчением вздохнул: значит, о Вере Поля ничего не сказала.

— Не поставили. Но могут поставить.

Шугачев взял его за воротник куртки, притянул к себе, как будто хотел хорошенько тряхнуть.

— Максим! Не дадут экспериментальный район, я взбунтуюсь. Один раз в жизни, черт возьми! Я был дисциплинированным! Самым дисциплинированным! Всегда, везде. Но я художник. Ты веришь, что я художник?

— Когда-нибудь я усомнился в этом?

— Я хочу совершить хоть один подвиг как художник. Как гражданин я подвиг совершил. Двадцать лет я проектировал так, чтобы экономить на каждом метре, на каждой лестничной площадке, на коммуникациях, на пожарной лестнице, на кустах во дворе. Я наступал на горло собственной песне. Жертвовал талантом, творческим престижем. Отказался от собственного имени. Где кто прочитает, что это построено по проекту Шугачева? Да и не хочу я, чтобы на домах по Московской стояло мое имя. Не нужно! Но мне пошел шестой десяток... И я не потерял надежды построить нечто такое, чем бы люди любовались. Да нет, не просто любовались! Где людям было бы удобно, хорошо жить. Я специализировался на жилье, и я хочу строить жилье. Но такое, за которое не стыдно было бы через пятьдесят, сто лет. Мы много говорим о городах будущего, о коммунистических городах. И не можем построить одного района, в котором были бы черты будущего: простор, свет, зелень, комфорт, высокий быт, культура. Одним словом, все для людей и особенно для детей. Не можем потому, что у стройбанка существует только один бог — цена квадратного метра! Как же мне осуществить свою мечту? Как? Ты пообещал мне экспериментальный район. Вот и отвечай! Как мне осуществить то, что я вижу во сне? И не только во сне. Что существует уже на многих листах...

Максим смотрел на друга с удивлением. Только «под мухой» Виктор Шугачев становился многословным. Но, пожалуй, никогда еще не говорил с такой горячностью о своей работе, о своей мечте. О мечте вообще не говорил. И даже слушать не любил споры коллег об архитектуре, которая могла бы стать памятником искусства, как творчество великих предшественников. Максима иногда даже тревожило и огорчало, что, пожалуй, лучший в городе архитектор так покорно и безотказно проектирует самые ординарные жилые дома и районы.

То, что услышал сейчас от Виктора, обрадовало: здорово, черт возьми, что в нем живет такой огонь! Но и испугало. А чем он, друг, главный архитектор, который подал идею, может ему по-

мочь после того, как ему еще раз дали понять силу бога, имя которому — экономия? Бога, мудро созданного людьми, но, как многие боги, превращенного в идола — в закостенелый эталон во всех сферах деятельности. В иных это на пользу, а в других польза лишь кажущаяся, однодневная, без мысли о будущем и об аспектах не только материальных, но и духовных, эстетических, что для зодчих неразрывно связано между собой. Но, к сожалению, немногие плановики, экономисты, финансисты это понимают. Некоторые считают, что архитекторы витают в облаках и лишь усложняют ясные, как божий день, задачи.

Шугачев прошел несколько шагов и снова остановился.

— Слушай! Если Заречный район режут как экспериментальный, я отказываюсь от его проектирования. Решительно. Хватит. Что ты так смотришь? Не веришь? Знаю, что мне дадут по шее: секретарь партбюро разводит анархию! Но я не могу... Не хочу и органически не способен проектировать еще одни Романовичи, еще один «Третий район»... Этому даже названия человеческого не придумали. «Третий»! Будет четвертый, пятый. По одному шаблону. К черту! Лучше общественные уборные буду проектировать. Вы, городские власти, наконец вспомнили, что их мало в городе.

Так у Виктора почти всегда: от серьезного, возвышенного может вдруг неожиданно перескочить на мелкое, обыденное, смешное.

Внимание Максима привлекла фигура в красном, мелькнувшая на взгорке меж берез. Шугачев тоже увидел ее. Равнодушно спросил:

— Что там за стоп-сигнал?

Максим засмеялся.

Незаметно, ничего не говоря, он повернул назад, к даче. Шугачев оказался сзади. И снова сменил шутку на серьезный тон:

— Ты что там сопишь, гений? Не можешь толком сказать, с чем приехал?

— Ни с чем.

— Как ни с чем? Значит — крест?

— Сам не пойму. Ты надеялся на меня, я — на Игнатовича... На кого Игнатович, не знаю. Не говорит. Где-то произошло короткое замыкание.

— А Сосновский?

— Сосновский никогда не проявлял особого внимания к архитектуре, полагается на Игнатовича.

— Что же мне делать? — спросил Шугачев, и в вопросе этом Максим прочитал страх человека, который не отличался смелостью, когда надо было принять решение вроде того, какое он так пламенно и убежденно только что высказал. Этот человек был смел в мечтах, в творчестве — в том творчестве, которое никто не может ограничить.

— Будь художником!

— Где? На чем? — закричал Шугачев с возмущением. — У меня одна, очевидно, последняя возможность — Заречный район. Нет, я не откажусь от него. Я откажусь от проектирования типового района, каких тысячи. Меня либо выгонят из института, либо запишут выговор. Но я буду работать над своим проектом. Ночами. Дома. Пускай без надежды, что он будет когда-либо осуществлен. Мне хочется, чтоб меня поняли дети. Теперь они все, даже Катька, живут этим проектом. Верят в него. Помогают мне. Младшие надеются, что будут жить в этом необыкновенном районе со спортивными площадками и бассейнами. Я не могу разрушить их веру. Они должны жить в таком районе. К этому идем.

— Ты кого агитируешь? Меня?

— Я не агитирую.

— Ты говоришь, как на пленуме Союза архитекторов, где присутствуют руководители Госплана и Госстроя.

— Я скажу и на пленуме.

— Ты скажешь. А я говорил.

— И что?

— Я сам у себя спрашиваю: и что?

Максим считал, что так, мешая правду с шуткой, он еще больше раззадорит товарища. Пускай Виктор заведется, это будет на пользу.

Но Шугачев вдруг умолк. Максим обернулся к нему.

— Ты что?

— Что — что?

— Замолчал.

— А что говорить? Я тебя ругал за твой самоотвод, хотя в душе восхищался тобой. Я на такое не способен. Меня всегда радовала твоя смелость. Но теперь вижу: восхищался я зря и правильно ругал. Ты теряешь уверенность в себе. Раньше у тебя не было таких сомнений. Ты не отступал. Дрался до последнего. Знаешь почему? У тебя были обеспеченные тылы. И крепкие союзники. Это всем нам шло на пользу. Даже Макоеду. Хотя он, идиот, не понимал.

— А что изменилось?

— Не знаю, что изменилось. Однако изменилось.

Максим зашагал дальше, ничего не ответив. Его задело, что Виктор высказал то, что сам он, может быть, даже не вполне осознанно почувствовал после разговора с Игнатовичем.

Виктор тактично молчал. Он всегда тонко чувствовал настроение близких людей. Решил, что надо подбодрить друга.

— Ничего, Максим... Как бы нам ни было трудно, не будем забывать, что у нас замечательная профессия. Поблагодарим судьбу.

Вот так у них всегда — неожиданные переходы от самых крепких слов к доброй мужской нежности.

За столом они говорили о многом другом, как это всегда бывает в беседе близких друзей. И когда заговорили про дела в инсти-

туте, где учится Вера, Шугачев со смехом сказал, что Нина Макоед боится притязаний его, Карнача, на ее кафедру.

— Броник очень назойливо допытывался о причине твоего самоотвода. Зная, чего они боятся, я нарочно сказал, что ты собираешься переходить в институт.

Максим никогда об этом не думал, и такое сообщение ошеломило его. Приезд Нины, неожиданная связь с ней, после которой и так было нехорошо на душе, приобрели совсем другой смысл. Разлетелась всякая романтика. Осталась одна грязь. Неужели женщина приехала только затем, чтобы таким образом выбить соперника из седла? Пробовал отогнать эту мысль, но она прилипла крепко. Чем больше думал, тем больше убеждался, что это так. Недаром говорят, что хитрей бабы черта нет. Если бы это случилось не с ним, можно было бы посмеяться и похвалить ее за прыть. Ай да Нина! Таким манером, кажется, еще никто не выбивал конкурента. Но не до смеха, когда чувствуешь, что тебя облили помоями.

Максим пришел на городскую квартиру часов в одиннадцать, когда, знал, Даша на работе в салоне-магазине. Встречаться с женой не хотелось, хотя надо было бы поговорить о Вете.

Принял ванну, надел халат, сел за рабочий стол, достал давно сделанные эскизы партизанского мемориала. И как бы чудодейственно преобразился. Будто бы смыл все водой и мылом. Исчезли тревога, угрызения совести, беспокойство, недовольство собой. Словно вдруг все, что сорвано было ураганом, после бурного кружения в воздухе вернулось на свое место. Даже квартира, которая в последнее время казалась ему ненавистной, снова стала уютной, своей, необходимой для работы и отдыха.

Не рассчитывал, что Даша может прийти в такое время: обед в магазине позднее, чем в других учреждениях. Но Даша неожиданно явилась. Тоже веселая. Отворяя дверь, напевала мотив модной песенки. Однако, увидев на вешалке его пальто, умолкла. И после этого нигде ни шороха, ходила, должно быть, в чулках, сбросив сапожки, шмыгала где-то по коридору, кухне, как мышь.

Это удивило Максима. Непохоже на Дашу. Не разговаривая с ним по неделе и больше, она в это время устраивала в квартире немало шуму: хлопала дверьми, что-то била, бросала, включала до сумасшедшего грохота телевизор и «Спидолу».

Он ждал, каким громом окончится это затишье. Ждать пришлось долго.

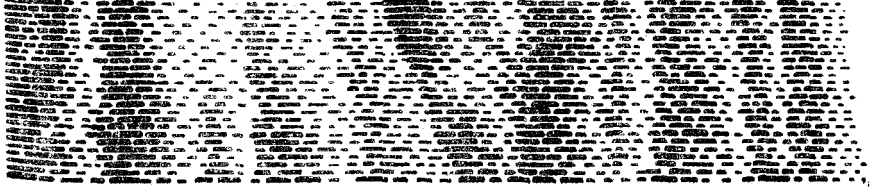
Наконец Даша неслышно подошла к двери, стремительно открыла и, увидев его, сделала вид, что удивилась. Спросила с сарказмом:

— Явился, блудный... муж?

Максим вежливо поздоровался:

— Добрый день, Дарья Макаровна.

Его отчужденная вежливость сбила ее с толку, даже немножко



испугала. Во всяком случае, женщина не знала, что ответить и как себя вести — молчать или ссориться.

— Для кого добрый...

Когда-то самая маленькая комната в квартире была его кабинетом. Но когда подросла Вета, его оттуда незаметно вытеснили. Тогда он заказал мебель для большой комнаты по своему проекту, совместив в ней столовую и кабинет. Стол был большой, складной, универсальный — выполнял множество функций. Сейчас он был рабочим столом архитектора.

Даша придвинула жесткий стул и села по другую сторону стола, лицом к лицу. Вперила взгляд, осуждающий, вопросительный, грозный, хотя, показалось Максиму, и чуть испуганный, виноватый, просящий сочувствия и пощады. Он выдержал ее взгляд спокойно, ровно, не давая воли никаким чувствам.

— Ну что? — все еще верная давно усвоенному тону разговора с мужем, спросила Даша.

— Что — что?

— Что ты надумал, дорогой супруг?

— Супруг распряг себя. Наконец-то, — с улыбкой ответил Максим. — Думаю, сестра твоя сказала тебе, что я надумал...

Вскочила, схватила со стола керамическую пепельницу, бахнула ее об пол. Закричала по-бабьи:

— Почему я должна узнавать об этом от сестры? Почему? Изверг ты! — шарила взглядом по столу, что бы еще разбить.

«Если она разорвет проект, я ее побью, — со страхом за себя подумал Максим, чувствуя, что наливается гневом. — А мне нужно спокойствие. Теперь, сейчас, как никогда раньше...»

Взгляд его упал на дорогую хрустальную вазу на книжной полке, вазу эту Даша раздобыла по блату из-под прилавка.

Максим встал, взял вазу и вручил ей, ошарашив этим неожиданным поступком.

— На. Бей.

Даша держала вазу, как бомбу. Лицо ее перекосилось от злости, стало некрасивым. Максим отступил и напрягся, опасаясь, что она может швырнуть тяжелую вазу в него.

— Бей. Все можешь бить. Ломать. Но зачем? Уверяю тебя, это уже ничего не изменит. Ты знаешь мой характер. Во всяком случае, знаешь, что у меня он есть, характер! И никто и ничто не заставит меня отказаться от моего решения.

Она осторожно поставила вазу на стол. Сказала сквозь зубы, с ненавистью, с презрением:

— Какой подонок! Нет, ты не распрягся, ты распоясался. Ты не только потерял моральный облик партийца...

— Пожалуйста, партийность мою не трогай.

— Ах, боишься? Карьерист! Не думай, что своим хитрым ходом ты затуманил людям глаза. Раскусят тебя, миленького! Уже раскусили! Не рассчитывай, что легко отделаешься от меня. Развода я тебе не дам!

— Ну что ж, подожду. Дело не в формальности, дело в сути.

Его вид в купальном халате, спокойствие и самообладание выводили ее из себя больше, чем перспектива остаться соломенной вдовой.

— Боже мой! — застонала она. — Двадцать лет я жила с таким людоедом.

— Ты неплохо жила, и неизвестно, кто кого ел.

Даша зарыдала. На этот раз, кажется, искренне. И Максим дал ей возможность выплакаться. Мягко ступая, кружил по ковру. Ждал. На какой-то миг почувствовал, что ему все еще жаль эту женщину. При всей своей напористости, проворстве и хитрости, в жизни она довольно беспомощный человек, потому что живет не естественной жизнью, а играет. Играет плохо, по-глупому, и это всем видно, но до сих пор ей прощали эту игру из уважения к нему, к его авторитету. Когда останется одна, почувствует, как все изменится вокруг, и ей будет нелегко. А не поздно ли учить ее таким жестоким способом? Снова вспомнились слова, которые прочел где-то: «Распад брака обнажает самые дурные черты обоих супругов». Имеет ли он право винить одну Дашу?

Но он решительно отбросил мгновенное сомнение, свою минутную слабость.

«Нет, не поздно! В сорок лет еще можно начать жить сначала, более разумно. Себя я наказываю не меньше, потому что должен начать новую жизнь в сорок семь. Но я не боюсь. Мне в самом деле жаль тебя, Даша. Однако отступать уже некуда. Все».

— Ты знаешь, что Вета выходит замуж?

Даша подняла заплаканные глаза.

— Ты говоришь о дочке? Не смей!

— Почему мне не сметь? Пока ты играла в молчанку, я познакомился с женихом, с его родителями...

— Теперь я знаю, зачем ты каждую неделю летал в Минск! Это ты просватал Вилю, чтоб оторвать ее от меня. Не выйдет! Не допущу!

— Ну и глупая же ты! Ей-богу, я был о тебе лучшего мнения, несмотря ни на что. Чего ты не допустишь? Кто тебе мешал поехать в Минск? Ты обязана поехать! Будущая сватья просила. Надо договориться о свадьбе.

— Не поеду. Ей нужно, пускай сама приезжает. Сватают девушку, а не парня. Надо иметь гордость, которой у тебя нет.

— Допустим, что это так. Но от нашей с тобой амбиции мало что изменится. Вета поставила нас перед фактом. Придется ехать...

Его рассудительный тон и тема разговора немного успокоили Дашу. Она встала, прошла взад-вперед по комнате, заглянула в стекло серванта, чтоб увидеть, не размазала ли слезами краску с ресниц. Ее тянуло к зеркалу — в коридор или спальню. Но от двери вернулась, остановилась перед мужем. Какое-то время они стояли молча и разглядывали друг друга внимательно и странно: он — с интересом, как бы желая наконец увидеть, что же она за

человек; она — с ненавистью и презрением, даже закусила нижнюю губу, слизала с нее помаду, губа стала синей. Ему показалось, что и сама она посинела от злости. Подумал почти со страхом: «Сколько злобы в этой женщине!»

XI

Кислюк, как бы между прочим, среди самых незначительных дел, сунул Карначу проект постановления о переселении геологоразведочного управления и реконструкции дома на Ветряной — надстройке двух этажей.

Максим удивился. По двум причинам. Такие дела решаются месяцами, а иной раз растягиваются на годы, потому что легче бывает построить целый новый район, чем перестроить старый дом, даже когда необходимость реконструкции очевидна. А тут вдруг такая поспешность. Непонятная. У кого горит?

Еще больше удивило, что Кислюк протянул бумажку с таким видом, как будто у них уже есть полная договоренность и ему, Карначу, надо только завизировать — расписаться в левом углу.

— Павел Павлович, за два года совместной работы вы плохо изучили мой характер. Вы думаете, для красного словца я сказал, что надстроить эту казарму могут только через труп главного архитектора? Но даже и после того, как я вылечу из своего довольно-таки неуютного кабинета, я все равно буду шуметь. Не ломайте генплана!

— В каждый план жизнь вносит коррективы.

— Жизнь вносит разумные коррективы. Во всяком случае, только разумные поправки мы должны принимать.

— Выходит, я действительно вас плохо знаю. Зачем вам лезть в бутылку из-за мелочи, когда впереди более серьезные проблемы?

Перед этим они говорили о Заречном районе, и Кислюк поддержал Карнача, обещал повоевать за проект Шугачева.

Кроме них двоих, в кабинете председателя по другую сторону стола сидел Григорий Анох. Обсуждали вопрос о месте под новое кладбище, и Карнач тоже возражал против предложения коммунального отдела. Его возмущало, не впервые уже, что, кроме разве Игнатовича, никто не умеет заглянуть дальше, чем на пять-семь лет вперед, никто не пытается представить город через двадцать, тридцать, пятьдесят лет.

Анох взял положенную на стол Карначом бумажку, прочитал, хмыкнул.

— Карнач, ты так заботишься о будущем города, как будто собираешься прожить сто лет.

Вот она, вся философия мещанина! Что на нее ответить?

— Знаешь, Анох, больше всего я боюсь умереть, пока ты заведуешь коммунальным отделом. Говорят, в похоронном бюро берут взятки за место на кладбище. А я не накопил еще на свои похороны...

Толстый, краснолицый, на вид флегматичный коммунальщик подскочил, как мяч.

— Не повторяй бабских сплетен! Болтуны безответственные! Павел Павлович! Я попрошу Марушову, чтоб она притянула за поклеп...

— Куда? На кладбище? — мрачно и зло пошутил Максим.

Кислюк усмехнулся, усмешкой своей посадил Аноха на место.

— Не горячись, Григорий Антонович. Я не в первый раз слышу эту сплетню. Нет дыма без огня. Проверь. Ведь, если что, полетят наши с тобой головы.

— Да проверял, Павел Павлович. Предупреждал...

— ...чтоб брали более осторожно, — язвительно подсказал Максим.

— Ты что это, — сделал страшные глаза Анох. — Так ты и обо мне?.. Да я тебя!..

— Пожалей, дяденька, — издевательски взмолился Максим. А сам подумал: «Ну зачем тебе задираться еще с Анохом?»

Председатель был в хорошем настроении. Моложе их по возрасту, он, может быть, впервые почувствовал себя старше, умнее или, во всяком случае, рассудительнее.

— Перестаньте, пожалуйста, — попросил он. — Ей-богу, как петухи.

— Павел Павлович, я такого оскорбления не прощу. Я сегодня же напишу в партбюро. Что у нас за атмосфера!

— Если мы из-за каждого замечания начнем писать...

— Какое ж это замечание? Какое замечание? — тонким, плаксивым голосом воскликнул Анох и в самом деле достал носовой платок, высморкался.

Максим едва удерживался от смеха. Кислюк мигнул ему, чтоб он молчал. Может быть, Анох заметил это перемигивание, потому что вдруг встал с оскорбленным видом и, ничего не сказав, направился к двери.

Кислюк спросил так же, как минуту назад сам Максим у себя:

— На черта вам задираться с Анохом? Мало вам градостроительных стычек с ним?

— А надо ли нам быть такими добренькими? Что, если посмотреть под другим углом? Может быть, мы с вами спасаем его, старого дурака? В городе давно ходят такие разговоры. Стыдно слушать. Поручили бы вы органам проверить.

— Это называется капать на самого себя.

— Иногда бывает полезно капнуть и на себя. Это как душ.

— Чтоб застраховаться?

— Даже такая цель не всегда низка. Но главное — чтоб помочь людям. И делу. Самая большая беда, что перед тем, как принять решение по сложному вопросу, мы подчас мало думаем о последствиях, пускай и далеких, для других, для общества, и много думаем о том, не повредит ли это сегодня нашей карьере. Вы читали постановление ЦК о застройке второго диаметра Минска?

— Читал, разумеется, — удивился Кислюк; почему вдруг такой переход?

— Скажите Игнатовичу, что сносом казармы, которая для вас мелочь, реконструкцией Ветряной я спасаю его и вас от подобного постановления, пускай не такого громкого по резонансу, масштабы не те, но все же...

Кислюк нахмурился.

— Больно вы самоуверенны, Карнач. — И сунул незавизированный проект постановления в папку с надписью «На исполком».

О разговоре своем с Карначом Кислюк в тот же день рассказал Игнатовичу. Думал, что того возмутит упорство архитектора. И был изумлен, когда Игнатович довольно потер руки и весело воскликнул:

— Ай да Карнач! Ай да чертов сын!

Но, увидев, что председатель не обрадовался его реакции, Игнатович успокоил:

— Не делай, Павел Павлович, проблемы из такой вот, с ноготок, задачки. Неужто у нас не хватит сил переубедить Карнача?

Если б Кислюк знал все тонкости довольно сложного теперь отношения Игнатовича к свояку, то, наверно, понял бы, что тот выдал суть этого отношения. Хотя, пожалуй, любой вывод здесь был бы упрощенным.

Восклицание вырвалось у Игнатовича искренне, потому что он в душе был на стороне главного архитектора относительно реконструкции Ветряной. Однако дом этот в самом деле мелочь. Сносили целые кварталы, надстраивали десятки старых домов, строили сотни новых. Новый город построили! За Игнатовичем установилась слава руководителя, который неплохо разбирается в градостроительных проблемах. Ему не раз удавалось переубедить Сосновского в вопросах кардинальных, существенных. Так стоит ли из-за мелочи, из-за какого-то одного дома ткнуть секретарю обкома в нос, что он подкинул архитектурно сомнительную идею — «потребительскую однодневку»? Особенно сейчас, когда Сосновский недоволен. И недоволен из-за него, Карнача. Дураком надо быть, чтобы в такой ситуации поддерживать безответственного анархиста, который выкинул уже не один номер, и вместе с ним начать доказывать, что секретарь обкома ошибается. Во-первых, может быть, не так уж и ошибается. Сам Карнач говорил, что у десяти архитекторов может быть десять решений застройки одной и той же площадки и каждое из них можно принять. Так почему решение Сосновского не может быть одиннадцатым? И, в принципе, не хуже тех десяти. Во всяком случае, более дешевым, экономически выгодным. Мы еще не так богаты, чтоб выбрасывать на свалку целый дом. Недаром принято соответствующее постановление правительства. Правильно, что Карнач думает об эстетике. Тут мы, наверно, делаем ошибку. Но есть еще экономика и эконо-

мия. И есть задачи, решение которых нельзя откладывать. Диалектическая сложность жизненных узлов не дает возможности разрубать их одним махом.

Игнатович рассуждал на четко настроенной волне, без помех, в твердом убеждении, что мысли его ни в чем не грешат ни против партийной этики, ни против собственной совести. В конце концов, только дурак не прибегает к тактике и дипломатии. Настоящий руководитель должен быть зорким стратегом и гибким тактиком.

Улавливал суть других дел, о которых говорил Кислюк: новая газовая станция, новые ясли, новое кладбище... Все новое.

— Насчет кладбища поддержите Карнача на исполкоме, а не Аноха. Карнач смотрит вперед и видит будущее города, перспективу его роста. Пускай Анох не льет слезы по родственникам умерших. Никто из них не натрет мозолей, потому что никто теперь пешком не ходит, даже на кладбище.

— Герасим Петрович, поговорили бы вы с Карначом про Ветряную... Зачем мне на заседании раскрывать карты?.. А у него аргументы убедительные, и он не постесняется... знаете, какой он полемист.

Естественная просьба, а испортила настроение. Сбила ход мыслей, как настройку приемника, поднялась сумятица чувств.

Сказал как будто весело:

— Нет, дорогой Павел Павлович, он твой кадр, ты с ним и говори.

Кажется, ничего особенного. Обыкновенный разговор. Слышал Кислюк слова более резкие, осуждающие. Но странно, как сразу изменился взгляд Герасима Петровича — стал жестким и холодным.

Подумал:

«Какая кошка между ними пробежала? Неужели не может простить Карначу самоотвода?»

Через несколько дней Игнатович пошел к Сосновскому и среди других дел как бы между прочим сказал о том, что главный архитектор возражает против надстройки казармы, не визирует проект постановления.

Сосновский в это время, как всегда, весело, с шутками, с юмором комментировал один документ, ставя на полях восклицательные и вопросительные знаки. Услышав о казарме (возможно, Игнатовича подвело это карначовское слово «казарма»), Сосновский поднял голову, но широкое доброе лицо его не светилось, как несколько минут назад, на него будто упала тень грозовой тучи. Покраснела лысина, чуть прикрытая редкими мягкими, как у ребенка, которого еще ни разу не стригли, поседевшими волосами. Эти волосы больше, чем что бы то ни было, выдавали возраст секретаря обкома.

— Послушай, Герасим, — спокойно и даже как будто по-прежнему весело начал Леонид Минович, но Игнатович хорошо изучил все интонации его голоса и услышал, что веселье не то;

а еще это Герасим, так Сосновский обращается только в определенном настроении, и такая его фамильярность хуже брани. — Послушай, Герасим, — как бы нарочно повторил он. — Скажи откровенно, чему ты радуешься?

Игнатович растерялся.

— Что вы, Леонид Минович! Чему мне радоваться?

— Нет. Ты сказал про казарму с радостью. И вот я хочу понять, что тебя радует. Что старый лопух Сосновский дал идею, над которой специалисты смеются? Да? Или, наоборот, радуешься возможности подвести под монастырь свояка? За что? Выкладывай тайные мысли! Как на исповеди. Я твой поп.

— Никаких тайных мыслей у меня нет, — не скрывая раздражения, однако с достоинством ответил Игнатович.

Сосновский некоторое время смотрел на него, потом опустил голову, углубился в чтение документа.

Через минуту, не поднимая глаз, спросил:

— Что у него с женой?

— Худо. Семья, можно считать, распалась.

— Кто из них виноват?

Хотя не раз говорил жене, что сестра ее мещанка и дура, но после разговора с Максимом и Дашиных слез не сомневался — виноват Максим. Однако тут, видя настроение Сосновского, почувствовал, что от категорического приговора в такой ситуации лучше воздержаться.

— Черт их разберет, Леонид Минович.

— У него есть другая женщина?

— Не знаю.

Сосновский быстро поднял голову, посмотрел с удивлением.

— Ты не говорил с Адаркой?

— Говорил.

— Что она?

— Жена или муж обычно узнают о таких вещах последними.

— Это верно. А кто, по-твоему, должен узнавать о таких вещах первым?

Что ответить на такой вопрос?

— Не партийная же организация?

Сосновский поморщился и поскреб за ухом, взъерошив свой седой пух. И сделал заход с другой стороны. Спросил серьезно:

— Герасим Петрович, ты считаешь Карнача своим другом?

— Считал.

Сосновский на миг будто застыл — смотрел пристально, в упор. Словно нехотя согласился:

— Ладно. Считал. Прости, скажу, может, не очень для тебя приятное... Ты даже подчеркивал эту дружбу. Как бы в пример другим. И знаешь?.. Мне это нравилось. Во всяком случае, польза для тебя от этой дружбы была явная: ты лучше, чем многие из нас, грешных, научился разбираться в вопросах градостроительства. Однако, по моему разумению, дружба — это нечто большее...

всеобъемлющее... широкий круг взаимоотношений людей... интимных отношений. Ваша дружба к тому же подкреплялась родством. И если ты узнаешь о неладах в семье друга, когда дело дошло до разрыва... скажу тебе откровенно, мне, старому зубру, кажется, стоило бы тебя поставить на этот ковер рядом с Карначом.

— Воля ваша.

— Не превращайся в чиновника! Я тебе не губернатор. «Воля ваша». Дело не в моей воле. Я записал бы в наш партийный моральный кодекс: наказывать за дружбу половинчатую, однобокую...

— А как же это сочетать с партийной принципиальностью?

— А принципиальность должна включать в себя искренность, душевность. И наоборот. Настоящая дружба — это прежде всего принципиальность.

«Добренький ты становишься перед пенсией», — неприязненно подумал Игнатович, хотя в душе не мог не отдать должное проницательности Сосновского. В чем-то, в чем именно, сразу не разобрался, секретарь обкома помог ему; во всяком случае, задача со многими неизвестными, которую задал ему Карнач, както вдруг упростилась. От этого стало легче, несмотря на проборку, которую он получил.

Между прочим, так бывало уже не раз: после разговора в этом просторном, строго обставленном кабинете многие узлы развязывались проще.

Обычно при жене или в узком кругу очень близких людей, к которым, между прочим, принадлежал и Карнач, Герасим Петрович незлобиво подсмеивался над Сосновским: работник старой формации, работает методами довоенного времени или первых послевоенных лет. Мол, с такой склонностью к юмору, к постоянному веселью ему надо было пойти в актеры или в фельетонисты. Хотя шутит Сосновский метко.

Но всегда ли к месту он шутит, всегда ли соответственно своему положению? Нередко шутки Сосновского шокировали Игнатовича. Разве к лицу, например, секретарю обкома бросить такой призыв работникам города, пускай и на узком совещании: «Урбанисты, давайте прогуляемся по области. Протрясем пуза, проветрим штаны. А то некоторые забыли, откуда у коровы молоко течет»? Многие смеялись, пересказывали слова эти как анекдот. А ему, Игнатовичу, было стыдно, он даже собирался как-нибудь при случае сказать Сосновскому, что так нельзя, не те времена, не тот стиль. Но случай не выпадал.

Вместе с тем Герасима Петровича восхищала неутомимость Сосновского. Человеку шестьдесят, а он что юноша! Завидовал его энергии — нам бы такую в его годы! — и старался не отставать от своего партийного руководителя: стыдно отставать, когда тебе на четырнадцать лет меньше. А еще изумляла в Сосновском та внешняя легкость, с которой он разрешал сложнейшие вопросы. Случалось, месяц-два стучишься в какое-нибудь министерство, и никаких результатов. Обращаешься к Сосновскому.

Тот берет трубку. Шутка, анекдот, библейская притча в его, Сосновского, интерпретации, и, глядишь, руководитель республиканского учреждения, которое столько времени мариновало поставленный городом вопрос, становится на диво оперативным.

Сосновского любили. Кому-нибудь другому не простили бы такого сарказма. Ему все прощали.

«Слушай, Иван, сын Архипа из Батурич, скажи ты мне, браток, солнце у вас над Терешковичами светит? Что ты говоришь? Неужто светит? А я думал, оно только тут, в городе, плавит асфальт, не выпускает нас из кабинетов. Постановления ты пишешь? Какие постановления? Как? Ты не знаешь, какие постановления должен писать? Ах, пишешь? Не взвешивал, сколько их заготовил? Чего?.. Постановлений. Что ты там, бутерброд не проглотишь? Чайком запей. Ага, вот теперь голос прорезался. Как думаешь, прокормим скот постановлениями? Гляди, строчи их побольше! Весной пригодятся».

И трубку на рычаг. Никаких цифр, никаких заданий. Пускай переваривает секретарь райкома вот такое предупреждение за то, что отстают с заготовкой кормов.

Однако не с каждым он так говорит. Знает, с кем как надо. К любому у него есть ключик. Психолог.

Игнатовича не просто удивляла — потрясала память Сосновского на людей. Сколько он их знает! Тысячи фамилий, имен, отчеств. Как имя жены, где учатся дети... Доярки, заведующие фермами, геологи, лесники, монтажники на строительстве ГЭС... Когда успевает встречаться с ними? Игнатович попробовал последовать его примеру, не получилось, почувствовал, что множество встреч распыляет его внимание, мешает другим, более важным и неотложным делам. Тогда он поставил под сомнение целесообразность тех принципов руководства, которых придерживается Сосновский. Необыкновенная память и актерские способности совсем не обязательны для руководителя нового типа, который должен пользоваться научными методами и новейшей техникой.

Сосновский, конечно, явление уникальное, но такая универсальность — рудимент. Все это выработано определенными условиями, когда это было необходимо, и, разумеется, огромным опытом: сорок лет человек на комсомольской и партийной работе. Отведал бы ты, Леонид Минович, производства, с которого начинал он, инженер Игнатович. Там психология — дело второстепенное. Ходя к рабочим на именины, производительность труда не поднимешь. Да и должность председателя горисполкома, которую он раньше занимал, вырабатывает совсем другую форму мышления. Правда, партийная работа имеет свои особенности. Он не отрицает: да, учился у Сосновского и многому научился. Но разве это не закономерно, что ученик должен подняться на ступеньку выше, не копировать, не подражать, иметь свой стиль и метод?

Игнатович был убежден, что, как руководитель нового типа, он безусловно выше Сосновского. Но, не сомневаясь в своей объ-

ективности, по-прежнему восхищался отдельными чертами характера и организаторским опытом секретаря обкома.

Вот хотя бы его проницательность — умение разгадать, чем дышит посетитель, и уловить смысл самых тонких интонаций и оттенков голоса...

«Впрочем, какая там проницательность! Просто субъективные чувства. Вдруг ему показалось, что я с удовольствием сообщаю о несогласии Карнача с его идеей надстройки дома. Чепуха. Почему это должно меня радовать? Мелкий эпизод».

Все эти мысли беспорядочно кружились в голове Игнатовича, пока он возвращался из обкома в горком.

Сосновский не отвел ни одного городского дела, каждым занялся серьезно, на этот раз даже без своих юмористических замечаний. Это было приятно. Таков стиль работы горкома — с мелочами наверх не лезем. Внес некоторую ясность, в самом деле как будто упростил одну из нелегких задач разговор с Сосновским об отношениях Карнача с женой. А вот его слова о дружбе не понравились: книжные сентенции, абстрактный гуманизм.

С такими противоречивыми чувствами и мыслями он открыл дверь в приемную и... смешался от неожиданности.

У стола, слишком близко от Галины Владимировны, сидел Карнач, сразу видно, веселый, довольный, еще более обычного элегантный; элегантность придавал модный широкий яркий галстук; галстуки эти нравились Герасиму Петровичу, но он считал, что носить такой партийному работнику не подобает.

Галина Владимировна — пунцовая, явно чем-то взволнованная. Увидев в дверях Игнатовича, вскочила со стула, будто пойманная на чем-то недозволенном, и еще больше разгорелась, чего с ней никогда не бывало, — всегда спокойная, ровная, аккуратная, одинаково вежливая со всеми.

Герасима Петровича как током пронзила мысль: неужто она? Упаси боже. Это был бы удар, фиаско. Что скажет Сосновский, если узнает, что женщина, из-за которой Карнач бросает жену, его секретарша? Ужас. Страшно подумать. «Плохо мы работаем с кадрами, Герасим». Тогда невольно придется признать, что действительно плохо не мы — он, Игнатович, работает с кадрами. Возможная близость Максима и Галины Владимировны задела его больше, чем даже мысль о том, что скажет об этом Сосновский, еще по одной причине, совершенно тайной. Даже самому себе он не решался признаться, что Галина Владимировна нравится ему не только как хороший работник, но и как женщина. Никогда ни одним жестом он не выдал своих чувств. И никогда не выдаст. Однако это так, она ему нравится. В конце концов, твердо придерживаясь в жизни и работе морального кодекса, имеет он право хоть на одну тайную слабость? Он человек, как все люди. А делает больше многих других. Так почему же такому безответственному ветрогону, как Карнач, все можно — выпить, погулять, завести любовницу, — а ему нельзя позволить себе даже маленькой

тайкой радости: подумать с нежностью о красивых руках женщины, которая изо дня в день работает рядом, мысленно поцеловать эти руки?! Лишь мысленно! А думать о том, что не только руки ее целует этот пижонистый нахал, какая уж тут радость!

«Если правда, что она, уволю немедленно», — мгновенно, тут же на пороге решил Герасим Петрович, потому что всегда придерживался принципа: в партийных органах могут работать только морально устойчивые люди.

Стремительно, не скрывая удивления, вошел в приемную, поздоровался. Спросил без тени шутки:

— Обольщаешь Галину Владимировну?

Кровь отхлынула от лица женщины, она побледнела и ответила сурово, с укором:

— Герасим Петрович! Я уже вышла из того возраста, когда меня можно обольщать.

— Приглашаю в театр, — просто объяснил Максим. — На открытие гастролей МХАТа. У меня есть билеты. Но ты тут установил монастырские правила. Боится Галина Владимировна. Что скажет Герасим Петрович?

— Правильно не соглашается! — одобрил Игнатович, испытывая облегчение. — У тебя есть с кем ходить в театр. С женой.

Сказал и ушел в кабинет, не взглянув, как подействовали его слова.

А Галина Владимировна увидела, что Максим переменился в лице. Попросила:

— Не надо.

Но он двинулся в кабинет следом за Игнатовичем.

Тот раздевался возле двери, вешал пальто в шкаф.

Максим, закрыв внутреннюю дверь и упершись в нее спиной, как бы для того, чтобы не дать войти Галине Владимировне, сказал тихо, но с гневным нажимом — интонацией, которую свояк хорошо знал:

— Слушай. Я тебе о жене все сказал. У меня нет жены! Я не ханжа! И не коли ты мне глаза этим! Хватит!

Герасим Петрович, повесив пальто, повернулся к Максиму, пригладил волосы, приветливо улыбнулся. Появилась уверенность, что Галина Владимировна — не та женщина, из-за которой распадается семья Карнача, и настроение его поднялось.

— Не горячись. Чего ты хочешь от меня? Чтоб я благословил ваш развод?

— Мне не нужно твоего благословения.

— Ты забываешь, что, во-первых, Даша не чужой мне человек, она сестра моей жены, во-вторых, положение мое...

— Ты можешь вызвать меня на бюро горкома и записать что хочешь. Но не лезь со своей поповской моралью мне в душу!

— Ну, знаешь... — возмутился Игнатович, повернулся, пошел к столу. — После этого нам не о чем говорить, — сказал с обидой, вспомнив слова Сосновского о дружбе.

— Со своими чувствами я сам разберусь...

— Ты пришел пригласить Галину Владимировну в театр? Выполняй свою миссию. У меня дела.

— Нет, я пришел к тебе. Принес копию моего письма в Совет Министров с протестом против посадки химкомбината в Белом Береге.

— С протестом? — Игнатович хмыкнул. — Тебе не кажется, что ты уподобляешься Дон-Кихоту? Но тот воевал с мельницами. А ты с кем вознамерился? Максим Евтихиевич! Долгое время я был уверен, ты из тех людей, кто рассуждает реалистически, не отрывается от земли. Что мне думать теперь?

— Полгода назад ты согласился со мной насчет «привязки» химика.

— Твои архитектурные планы, рассчитанные на пятьдесят лет, я готов поддержать и сейчас. Но есть и другие соображения. Экономические. И политические! Да, и политические. Они диктуются сегодняшним днем. Мы превратимся в бесплодных фантазеров, если будем забывать, игнорировать тот факт, что люди должны иметь работу, жилье, хлеб и мясо, а для этого нужны удобрения для полей сегодня.

— Неужели в Озерище комбинат давал бы меньше продукции?

— А ты не пробовал узнать, во сколько добавочных миллионов влетит государству посадка на месте, которое предлагаешь ты?

— А кто-нибудь подсчитал, во что обойдется государству и людям этот подарок, когда через двадцать лет, после того, как «химик» уничтожит естественный зеленый пояс, город начнет задыхаться? Или после нас хоть потоп? Так? Есть, наконец, закон об охране природы! Как мы умеем обходить его, прикрываясь самыми высокими материями!

— Химики гарантируют полную очистку.

— Какие химики? Я тоже говорил с химиками, — Максим показал на тоненькую папку, которую держал в руке. — Я учитываю заключение химиков.

— Заключение, данное за столиком в кафе или ресторане? Максим Евтихиевич! Ты же серьезный человек! — Игнатович подошел к сейфу, открыл его, достал зеленую толстую папку. — А вот тут точные расчеты двух институтов, — посмотрел на часы. — Жаль, что я должен ехать на завод, а то мог бы познакомить тебя...

— Читал я эти бумажки.

— Есть новые документы. Вот так, товарищ Карнач. К твоему сведению, принято решение горкома... Ты выступаешь против решения...

— Хочешь испугать?

— Нет. Я знаю, что ты не из пугливых. Копию письма своего оставь. Пускай хранится в архиве. Будущим биографам твоим легче будет найти. Еще один факт твоей высокой принципиальности.

Максим шагнул к столу, осторожно, как стеклянную, положил

папку перед Игнатовичем. Вообще двигался очень осторожно, словно опасаясь, как бы что-то не оборвалось в нем или не соскочил «предохранитель с чеки», потому что последние слова Игнатовича завели его. Как хотелось ответить на них! И как бы он мог ответить! Но, понимал, это значило бы в щепу разнести все то, что они вместе строили много лет. Нелепо, неумно из-за такой мелочи — из-за неприятно задевших слов. Медленно отошел от стола.

— Будь здоров, Герасим Петрович.

— Всего доброго, Максим Евтихиевич.

Максим вышел в приемную. Тихо, без стука закрыл дверь. Но остановился тут же с видом человека, который что-то забыл.

Галина Владимировна смотрела на него с тревогой. Она боялась, что между ним и Игнатовичем произойдет нелегкий разговор. У нее даже мелькнула мысль как-нибудь помешать им. Но не решилась. Сама была под впечатлением неожиданного предложения архитектора. Хотя ничего особенного не произошло. Максим Евтихиевич сказал Герасиму Петровичу правду: он просто пригласил ее в театр на открытие гастролей МХАТа. Но если б кто-нибудь представлял, что это значило для нее. После смерти мужа ни один мужчина не приглашал ее в театр. Три года уже. А если б и пригласил, не пошла бы, может быть, даже оскорбилась бы. Но тут пригласил человек, о котором она — боже мой, слабая, наивная женщина! — изредка, только изредка и совсем втайне, стыдясь собственных мыслей, думала немножко иначе, чем обо всех остальных, с кем встречалась по службе.

Нет, не само приглашение ее так взбудоражило, не от этого она пылала как в лихорадке, когда неожиданно появился Герасим Петрович.

Взволновал разговор, который произошел между ними. Конечно, она очень удивилась такому приглашению.

— Что вы! Что станут говорить! У вас ведь жена...

— У меня нет жены.

— Как это нет? — еще больше удивилась она, хорошо зная, что жена Карнача — свояченица Герасима Петровича.

— В ближайшее время я оформлю развод.

Вот отчего бросилась кровь в голову, в лицо так, что зазвенело в ушах и перед глазами поплыли розовые круги. Она обыкновенная женщина. А у кого из ее сестер даже после трагедии, пережитого горя не вспыхивает вдруг, в один миг огонь надежды на то, что не все кончено, что еще раз может прийти счастье?

От приглашения она решительно отказалась.

— Тем более мне нельзя... Как вы не понимаете? В какое положение я поставлю себя перед... — она показала глазами на дверь кабинета.

В этот момент и вошел Герасим Петрович.

Но после его бестактных, прямо-таки обидных слов у нее появилось желание назло всем и всему пойти.

Теперь она зарделась от мысли, как сказать об этом Максиму Евтихиевичу. Поймет ли он такой неожиданный поворот? К тому же ситуация усложнялась тем, что в приемной были посетители — вызванные раньше работники Дома партийного просвещения. При них не станешь объяснять, что и почему.

И очень встревожило, почти испугало, как Максим застыл у двери. Конечно же, ему теперь не до нее. Сделал жест обыкновенной мужской галантности — не согласилась, стыдливая дура, будь здорова.

Но он почувствовал ее взгляд, полный страха и ожидания. Забавно тряхнул головой, как после ныряния вытряхивают из ушей воду, мягко улыбнулся ей, сказал:

— Думаю, теперь вам стоило бы согласиться на мое предложение.

Она кивнула головой.

— Я согласна, — лицо ее засветилось и сердце затрепетало, как у девушки, которой назначили первое свидание.

Когда Максим вышел, Игнатович долго сидел неподвижно, пока Галина Владимировна не доложила о пропагандистах.

Овладело чувство усталости и еще, кажется, потери. Чего? Снова услышал слова Сосновского о дружбе. Какая там, к черту, дружба после всего, что произошло и происходит! Вспыхнула злость... против Сосновского. Старый моралист. Одно знает — «поговорить по душам». Но я тебе не доярка, исповеди которых ты любишь выслушивать... Ладно, признаю, сельское хозяйство ты знаешь и умеешь им руководить. А в промышленности дилетант, хотя и гордишься своим опытом. Перегнала тебя промышленность, Леня, — мстил за «Герасима». Научно-технический прогресс шагает быстрее, чем ты. Семьдесят процентов промышленности области на моих плечах. Умей ценить это, попрекал он Сосновского, хотя тот о руководстве промышленностью сегодня и слова не сказал. Но Игнатович знал ахиллесову пяту секретаря обкома и безжалостно целил туда. Вот тебе! За твой намек о моей неверности в дружбе.

Но через минуту спохватился — испугала собственная злость. Ого, куда занесло! Никогда он не давал воли таким чувствам. Так можно распуститься до анархизма, сравняться с Карначом в отрицании авторитетов. А он всегда был дисциплинирован, сдержан, если иногда и критиковал кого-нибудь из тех, кто стоял выше него, то всегда делал это принципиально и уважительно.

Сосновский выдвигал его, воспитывал как руководителя. Он не «безродный Иван» и благодарен за это. Он любит Леонида Миновича. Смешно упрекать за то, что, не имея инженерной подготовки, тот не всегда может разобраться в специфических процессах современного промышленного производства. В наше время, будь ты хоть гений и пройди три технических вуза, все равно

не в состоянии будешь все охватить. У Сосновского есть более важное качество — талант партийного организатора и особое чутье на людей, умение распознать, кто на что способен.

Эти мысли успокоили и приободрили, все-таки он объективный человек!

Сказал секретарше, чтоб партпросветовцы подождали.

Набрал номер секретаря обкома.

— Леонид Минович? Я. Еще раз. Прошу простить, что беспокою.

— Не делай длинной преампулы. — Сосновский шутил: один работник любил умные слова, но говорил, пока ему не растолковали, вместо «преамбула» — «преампула»; это стало местным анекдотом.

— Не знаю, каким вам покажется мой голос на этот раз, веселым или грустным. Но считаю своим долгом сообщить... Карнач только что передал мне копию своего письма в Совет Министров с протестом против посадки «химика» в Белом Береге.

Слышались далекие чужие голоса — из-за индукции или в кабинете у Сосновского были люди. Леонид Минович молчал. Игнатович подул в трубку.

— Алло!

— Не дуй мне в ухо. Оно и так горит... Что я тебе скажу, Герасим? — Игнатович сморщился, как от боли. — Голос твой на этот раз совсем невеселый. Загробный прямо-таки голос...

«Не может человек без своего неуместного юмора», — недовольно подумал Игнатович.

— Но почему ты звонишь мне? Страхуешься?

— Думаю, в первую очередь спросят у вас.

— Предусмотрительно с твоей стороны. Но чем я могу утешить тебя, Герасим Петрович? Устав партии и наша советская демократия разрешают Карначу обращаться в любую инстанцию. Что же касается нас с тобой, то при любом варианте накостыляют нам. Готовься.

Черт возьми, невозможно понять, когда этот человек говорит серьезно, а когда шутит. Его шарады и ребусы прямо-таки сбивают с толку. Он, Игнатович, научился не только понимать людей с полуслова, но, как говорится, видеть каждого насквозь — и руководителя и подчиненного. Сосновский же не «просвечивается», слишком густо замешан.

XII

У Галины Владимировны эти четыре дня были, пожалуй, самые трудные с тех пор, как погиб Сергей. Три года не знала таких душевных мук.

Она всегда отличалась тактом и деликатностью, но не обладала той решительностью, которая свойственна другим женщинам, особенно в сердечных делах.

Уже через несколько минут после того, как главный архитектор вышел из приемной, она усомнилась в своем праве идти с ним в театр. А потом опять убеждала себя: вот нарочно пойдет, назло всем, и в первую очередь Игнатовичу. За его бестактный вопрос.

И так все четыре дня чередовались сомнения с решимостью, желание со страхом — идти или не идти?

Если б все не было так запутано, если б пригласил кто-нибудь другой, не Карнач, она, наверно, посоветовалась бы с Герасимом Петровичем, простив ему грубую шутку. Галина Владимировна уважала секретаря за его стиль работы, за решительность действий и высказываний, чего так не хватало ей. С ним хорошо работалось. Игнатович тоже, она знала, был доволен ею, благодарил товарища, который после смерти Гордеичева порекомендовал вдову пилота, молодую коммунистку, в горком партии.

В день открытия гастролей она нарочно оделась проще и скромнее, чем обычно, не по-театральному. Правда, повертела в руках новые туфли, но не взяла их. На работе в ящике стола она держала довольно хорошие еще, но старые и уже немодные туфли, удобные, чтоб ходить в них целый день.

Не уверенная, что в последнюю минуту не передумает, Галина Владимировна решила нарочно задержаться на службе, чтоб не осталось времени съездить домой переодеться.

Но часа в четыре позвонил он, тот, о ком она думала все эти дни.

В приемной были люди, и Галина Владимировна попросила вежливо, но официально позвонить через пятнадцать минут. Скоро у Игнатовича начнется совещание и приемная опустеет. Но не на это она надеялась в тот момент, на другое — он обидится и больше не позвонит.

А он позвонил точно. В приемной было пусто. Она попыталась отказаться:

— У Герасима Петровича совещание. Я не могу уйти, пока оно не кончится. А потом я не успею переодеться.

— Плюньте на все совещания. Один раз. Я отвезу вас на машине. Домой. И назад. Ровно в половине шестого буду у вас.

Она задохнулась от страха и... радости. Шепотом попросила:

— Не поднимайтесь, пожалуйста. Я сама выйду.

Зимний день короток. Было уже темно. Но на тихой улице под голыми каштанами горели яркие фонари.

Максим знал, что Галина Владимировна будет озираться, как новичок преступник, и поставил свой «Москвич» подальше от здания горкома. Встретил ее пешком, как бы случайно.

В машине она села на заднее сиденье. Он улыбнулся этой наивной уловке — в театр пойти отважилась, а в машине садится подальше — и повернул зеркальце так, чтоб видеть ее лицо, включил свет — посмотреть на нее.

Вид у женщины был невеселый. Максиму стало жаль ее.

Впервые явилась мысль отказаться от своей довольно-таки авантюрной затеи.

На открытие гастролей придут многие работники областных и городских организаций, даже те, кто годами не бывает в театре. И многим из них, главное, женам — силе очень страшной — он бросит вызов, почти такой же, какой бросил своим самоотводом. Но он шел на это сознательно, чтоб одним махом перечеркнуть все условности. Пускай узнают все сразу. Пускай поговорят. Через все это надо когда-нибудь пройти.

Он не чувствовал за собой вины и потому не видел необходимости делать из развода тайну. Но зачем ему впутывать в свою трагикомедию эту постороннюю женщину, с которой он, по сути, еще и мало знаком?

Военный городок, где она жила, находился на ближней окраине, у реки. Чтоб проехать туда, надо было выписывать пропуск. Долго. Он остался с машиной у ворот, а она побежала. Дом от проходной был недалеко, метров четыреста. Но, может быть, от мороза, который к вечеру усилился, у нее так перехватило дыхание, что она, вбежав в теплую квартиру, совсем задохнулась.

Пятилетний Толик кинулся ей на шею.

— Мама пришла!

Дочка-четвероклассница, хозяйка и нянька, смотрела на мать удивленно, догадываясь, что случилось что-то необычное.

Галина Владимировна, отдышавшись, сказала:

— Дети, я иду в театр. Поиграйте сами.

Постаралась сказать это самым будничным тоном, как будто поход в театр — дело обычное, ходит она туда, по меньшей мере, каждую неделю.

— И я с тобой, мамочка! — захныкал Толик.

Таня не сказала ни слова, повернулась и пошла на кухню. Оттуда спросила тоном свекрухи:

— Есть будешь? Подогреть?

Галина Владимировна зажала рот руками, чтобы не закричать, не завыть по-бабьи от своего вдовьего горя. Там, в горкоме, она почему-то не подумала, что ей придется пройти еще и через такое испытание.

Да, надо пройти. Надо победить! Не сдаться. Переступить некую невидимую грань. Она и так жила три года только для детей.

Бросилась в комнату. Торопливо скинула свою простенькую юбку, кофточку.

Толик — молодец, мужчина. Сказала ему, что детей вечером в театр не пускают, что она поведет его в воскресенье, и он отстал, уже где-то на кухне ведет в атаку свой воображаемый отряд десантников.

Открыла шкаф, чтоб выбрать платье получше, и вздрогнула — еще одно испытание! Вдруг поняла, что ни одного из тех платьев, которые покупал Сергей, в которых она ходила с ним, надеть не может. На работу наденет, в театр — нет. Вынула шерстяной ко-

стюм, который купила прошлым летом и в котором теперь, в зимнее время, почти каждый день ходит на работу.

Когда причесывалась, в зеркале увидела, как из другой комнаты наблюдает за ней дочка. Какие у нее глаза! В них грусть, боль, разочарование, укор! Застыла с поднятым гребешком, с распущенными волосами. Боялась шевельнуться.

Таня, должно быть, поняла, что мать заметила ее, спряталась за стену. Тогда она позвала ее неожиданно для себя твердо, будто приказывая:

— Таня!

Дочка появилась в дверях.

— Что, мама? — как всегда, послушная, вежливая.

Классная руководительница как-то сказала, что Таня могла бы учиться лучше. Она, мать, ни разу не решилась передать дочке эти слова, зная, какой груз она взвалила на худенькие детские плечики; хорошо, что учится на четверки.

Галина Владимировна повернулась и, глядя на дочку, стала быстро, по-домашнему скручивать волосы в привычный узел, в зубах она держала шпильку.

— Что, мама? — повторила девочка.

Мать вынула изо рта шпильку, воткнула в волосы.

— Ты... не хочешь, чтоб я шла в театр?

Таня потупилась и не ответила.

Мать шагнула к ней, но не дошла, как будто сил не хватило, опустилась на кровать.

— Я три года нигде не бывала. Ни в театре. Ни в гостях... Таня... Танечка... Мне тридцать четвертый год. Мне хочется еще жить...

И не выдержала, заплакала. Даже не закрыла лица, не упала на подушки. Только согнулась, как от сильной боли в животе, и затряслась от рыданий. Наверно, при одной Тане заплакала бы вслух, но подумала о сыне, как бы не привлечь его внимания. А Таня вдруг упала перед ней на колени, обняла, уткнулась головой в подол.

— Мама! Мамочка! Не надо! Не плачь. Прошу тебя. Ну конечно же, иди в театр. Я за Толиком присмотрю. Не волнуйся...

От дочкиной сердечности и ласки еще сильней хотелось плакать. Она целовала ее мягкие волосы и орошала их слезами.

— Мама... — прошептала Таня, — если он хороший... я буду его любить. Клянусь тебе, мамочка.

Вмиг высохли слезы.

Она сжала ладонями Танину голову, посмотрела в глаза.

— О чем это ты говоришь? — и засмеялась. — Глупенькая моя и маленькая! Кто мне нужен... Никто мне не нужен! Никто! Кроме вас с Толиком!

И сама поверила, что никто ей не нужен, что человек, который ждет ее в машине, абсолютно ничего для нее не значит; просто так, случайное приглашение.

И успокоилась. Почти весело с помощью Тани закончила сборы. Без колебаний надела шубу, которую Сергей когда-то привез из одной дружественной страны, где обучал товарищей летному делу. Поцеловала детей. Без спешки, не торопясь, чтоб не обращать на себя внимания соседок — жен летчиков, вернулась к машине. Села на переднее сиденье.

Максим с некоторым удивлением оглядел ее дорогую шубу, от которой еще пахло шкафом.

— А я, застывши на морозе, подумал уже, что вы не придете.

— Что вы! Грех отказываться от такой возможности. Когда-то в институте я играла в народном театре.

— О-о!..

— Вас это удивило?

— Почему-то удивило. Может быть, потому, что в жизни, мне кажется, вы совсем не актриса. Никогда не играете. Между прочим, за это вас любит весь городской актив.

Она не ответила. Некоторое время вообще молчала.

Максим подумал: окунулась в минувшее или улетела в будущее? Но он ошибся, она думала о сегодняшнем дне. Слова его про актив почему-то напомнили, что жена архитектора — сестра жены Игнатовича и что шефу — во второй раз назвала его так, с оттенком иронии, — безусловно, не понравится ее нынешний поступок.

Она спросила почти шепотом:

— А жены... вашей... не будет?

Максим резко затормозил машину. Остановился. Посмотрел на нее. Черт возьми, как он не подумал, что Даша может прийти с Игнатовичами? Наверно, придет, потому что любит показать на людях свою причастность к искусству. Неплохо окончательно дать ей понять, что от их союза ничего не осталось, что он открыто, без ханжества готов пойти на сближение с другой женщиной. Но смолчит ли она? Скорее всего учинит скандал. На ее стороне формальное преимущество: никто не знает, как они живут, но все знают, что они муж и жена. Поддержат ее. Права свои, писаные и неписаные, Даша усвоила отлично.

— Назад? — опять-таки шепотом спросила Галина Владимировна.

— Назад? Нет! Только вперед! После такой подготовки — и отступать? С Дарьи Макаровны, пожалуй, станется учинить скандал, но мы не дадим ей этой возможности. Мы сядем врозь.

Она нервно рассмеялась.

— Вы предусмотрительны. Но зачем вам такая партнерша?

Максим поставил машину не на площади, а в проулке за театром. Галина Владимировна спросила озабоченно:

— Не уведут?

— Ее уже три раза крали. Но возвращали обратно. Один наглец даже письмо оставил с благодарностью. Я хочу, чтоб украли совсем. Может быть, тогда мне, как потерпевшему, продали бы без очереди новую. А то эту больше латаю, чем езжу на ней.

У театрального подъезда она смущенно попросила:

— Дайте мне билет.

Максим достал билеты, один оторвал ей.

— Так рядом же, — испуганно сказала она.

— Не волнуйтесь. Вы будете сидеть далеко от меня.

Когда передавал билет, почувствовал, как дрожит ее рука — женщину трясло. Грустно подумал:

«Проклятые условности. Сколько надо пережить, чтоб пойти с человеком в театр. Первобытные нравы!»

Галина Владимировна быстро взбежала по ступенькам. Театралов у входа было много, несмотря на мороз. Слышались вопросы: «Лишнего билетика нет?»

Максим увидел Лизу Игнатович. Она стояла за колонной и кого-то ждала. Вряд ли Игнатовича. Скорее Дашу. По тому, как Лиза посмотрела на него, понял: видела, с кем он вышел из переулка. Но это не испугало, наоборот, развеселило. Лиза не в пример сестре неглупа, обтесалась на комсомольской и профсоюзной работе. Интересно, как она себя поведет?

Когда Максим спустился в гардероб, Галина Владимировна уже разделась, сменила сапоги на туфли, шубу и сумку с обувью держала в руках. Не хотела, боялась, чтоб он проявлял к ней излишнее внимание. Но в гардеробе никого знакомых не было. Актив раздевался в кабинете директора театра.

Он предоставил ей самой сдать вещи, но, стоя рядом, пошутил:

— У меня слабые навыки конспиратора. Идите за мной. Я покажу вам место.

Он покупал билеты для себя и для Шугачевых. Лучшие — тогда еще не знал, кого пригласит — отдал Шугачевым. Запомнил ряд, места.

Максима немного смущала процедура знакомства Галины Владимировны с Шугачевыми. Боялся не за Полю, а за Виктора. Тот по простоте своей может ляпнуть что-нибудь не к месту. Но Шугачевых еще не было. Добравшись до ряда, Максим тихо сказал:

— Шестнадцатое — ваше.

Она удивленно посмотрела на него и молча стала пробираться к месту, которое он показал.

Максим пошел обратно в фойе, чтоб встретить и предупредить Шугачевых. Наконец увидел Полю и с облегчением вздохнул, пошел навстречу. Был уже второй звонок. Но где же Виктор?

Еще одна нелегкая задача! Виктор остался дома. В театр пришла с матерью Вера. Как ей объяснить?

— Вера, дитя мое, выполни мою просьбу, садись со мной.

— Почему? — девушка передернула худыми плечиками.

— Твое место занял человек, который не мог со мной сесть...

Вера нервно засмеялась.

— Тетя Даша?.. Какая это чудная вещь — семейная жизнь! Пока дошли до театра...

Поля с укором взглянула на дочь.

— Вера!

— Нет, правда. Это прелестно — семья, на которую ты, мама, молишься...

Они оба, мать и он, понимали, что это крик юной души, болезненный крик. Он полоснул их по сердцу. Но никто из них не мог унять эту боль. Максим увидел, как побледнело розовое с мороза лицо Поли.

Дали третий звонок.

Пускай Вера пока считает, что на ее месте сидит Даша. Так, кажется, подумала и Поля. Ей надо объяснить. Она, конечно, корректно будет молчать. Но именно это молчание окажется для Галины Владимировны самой страшной карой, радость от посещения театра превратится в муку.

Чуть отстав от Веры, он прошептал Поле:

— Там не Даша. Но, поверь мне, это очень хороший человек. И несчастный. Клянусь тебе, Поля, тут ничего такого...

Она сжала его руку. Он не понял, что Поля хотела выразить — согласие, осуждение? Сказала не шепотом, обычным голосом с укором:

— Ах, Максим, Максим! Вы — как мальчишка!

Садясь рядом, Поля кивнула Галине Владимировне, как знакомой, с которой уже сегодня виделась, и улыбнулась по-матерински снисходительно, так улыбаются взрослые женщины своим молодым подругам. Но с первого взгляда женщина не понравилась Поле — слишком красивая. В молодости она завидовала красивым, потом стала относиться к ним недоверчиво и даже немножко жалела их — редко они бывают счастливы. Этот эстет Максим выбирает только красивых, но немного счастья дала ему его красавица.

Люстры погасли, но занавес долго не поднимался. Поля почувствовала, что соседка вся сжалась, напряглась, кажется, затаила дыхание. Нет, это не в предчувствии радости от спектакля. Это от страха.

Поля вспомнила слова Максима. Боже мой, какое она, в конце концов, имеет право кого-то осуждать? В жизни все так сложно. У самой у нее камень на сердце после того, что она узнала про дочку. Прошло столько дней, а она все еще не отважилась поговорить с Верой. Была какая-то неопределенная надежда, что их совместный поход в театр поможет начать этот разговор. Пришлось выдержать войну с Виктором, который кричал, что дети могли бы постоять в очереди и взять билеты и себе и даже им, родителям, а не рассчитывать на старого отца.

Поля легонько сжала локоть соседки, прошептала:

— Познакомимся. Меня зовут Полина Николаевна.

— Галина Владимировна, — шепотом ответила та, и из груди ее вырвался вздох облегчения.

Мать села в седьмом ряду, а они с дядей Максимом — в восемнадцатом. Вера сразу со спины, по прическе узнала, что рядом с матерью не Даша, а другая, незнакомая женщина. Это ее поразило. Она, наверно, смолчала бы, во всяком случае, подождала бы объяснений дяди Максима, ведь она доверила ему и не такую тайну, но вдруг увидела Дашу. Та встала с крайнего у прохода кресла, оглядела зал, как бы ища кого-то. Увидела ее, Веру, кивнула головой, здороваясь, но погрозила пальцем.

Вере стало жарко. Кровь кинулась в лицо. Хорошо, что в это время погас свет. Немного придя в себя, девушка спросила решительным шепотом:

— Что это за женщина рядом с мамой?

Максим тоже видел, как Даша погрозила пальцем, и понял: это потрясло девичью чистую, во многом еще наивную душу Веры.

— Обещаю все тебе объяснить. Поверь на слово, эта женщина не имеет никакого отношения к тому, о чем ты подумала, — шептал Максим, стараясь говорить как можно убедительнее.

Вера умолкла, сидела с застывшим лицом.

Прожектором осветили провинциальный ярко-красный плюшевый занавес. Со сцены прозвучали слова:

— Отчего вы всегда ходите в черном?

И вдруг такой же юный голос рядом:

— Мне не хочется слушать объяснения. Я хочу встать и уйти.

— Пожалуйста, не делай этого, Вера. Я прошу... Пожалей маму.

И опять со сцены:

— Это траур по моей жизни. Я несчастна.

— Хорошо. Я не уйду. Смешно. Чем я-то лучше? Какая разница, кто обманщик, кто обманутый...

— Вера. Не говори глупостей. Ты добрый, хороший человек. Ей-богу, и я неплохой. И женщина эта. Она несчастна. У нее двое детей. А муж погиб. Летчик.

На них зашикали соседи.

Они умолкли, стали вслушиваться в то, что говорят актеры. Но, когда через некоторое время Максим тайком взглянул на Веру, он увидел, что мысли ее далеки от того, что происходит на сцене.

В антракте он предложил Вере пройтись по фойе. Она отказалась. Хотел было пригласить Полю и предупредить ее, в каком настроении дочка. Но Поля разговаривала с Галиной Владимировной. Это обрадовало его, и он не стал им мешать. Вышел один.

В фойе гуляли Сосновский, Игнатович, секретарь обкома Петрова, смотрели выставку местных художников.

Максим остановился поодаль от этой группы.

Сосновский увидел его, позвал:

— Карнач, давай сюда.

Поздоровался за руку, прищурился, оглядел так, будто не видел много лет, со смешинкой в глазах спросил:

— Воюем, зодчий?

— Воюем, Леонид Минович.

— Валяй. Шуми. Не давай нам, бюрократам, закиснуть.

— А я сам уже давно бюрократ.

— Э-э, брат, да ты худо о нас думаешь. Я понимаю это слово в его первородном значении: бюрократы — члены коллегиального органа, имеющего власть. А ты как понимаешь?

Вокруг засмеялись. Хорошо знали остроумие Сосновского, его склонность к парадоксам.

Сосновский позаботился о том, чтоб на гастрольные спектакли пригласили лучших людей колхозов и совхозов. Он никогда и нигде не забывал о хлеборобах. Треть мест была отдана зрителям из села.

Три колхозницы в одинаковых шерстяных костюмах появились в фойе. Сосновский окликнул их. Поздоровался. Представил — всех знал. Спросил у одной, со Звездочкой Героя:

— Как, Галя, отдыхалось в Сочи?

— А, Минович, не поеду я больше никуда. Лучше, как дома, нигде нет. Попринимала эту мацесту — сердцу плохо стало. Никогда не болело оно у меня. Провалялась неделю... Во страху набралась! Но больше всего одного боялась: помру, думаю, дети сберкнижку не найдут, так далеко запрятала.

Тут даже Игнатович не сдержал смеха и подумал: «Ай да молодчина!»

Но хороший смех испортила другая женщина, Петрова. Спросила:

— А сколько у вас на книжке?

Галя опустила глаза.

— Есть немного.

У Сосновского передернулась щека. Он хмуро пошутил:

— Сперва, Марья Архиповна, свою книжечку положи на стол, тогда и в наши заглядывай.

Петрова вспыхнула полымем, поняв свою бестактность.

Подошла Даша в новом платье из модной ткани — на черном фоне серебряные молнии. Казалось, платье шумело, как листья березы, на все фойе и рассыпало молнии вокруг. Даша сделала элегантный реверанс Сосновскому и взяла Максима под руку.

— Леонид Минович, разрешите на минутку забрать свою дорогую половину.

— Пожалуйста.

Максим послушно пошел за женой: интересно, что она скажет?

Сосновский посмотрел на Игнатовича: как это понимать? Тот пожал плечами: черт их разберет!

Максим видел, что Даша решила продемонстрировать перед всеми мир и согласие в семье. Ему было тошно от этого притворства. Но он молчал, даже не спрашивал, что ей нужно. Она крепко держала его руку и прижималась плечом, явно показывая, какая ласковая, хорошая она жена.

— Слишком молодую партнершу ты выбрал для театра. Не поверят, подумают, дочь. Девушку можешь скомпрометировать. У нее есть жених. А тут много студентов из их института.

Максим молчал.

— Я была в Минске.

Это его заинтересовало, и он взглянул на нее, чтоб уже загодя по выражению лица понять, какое впечатление произвели на нее Ветин жених и будущие сваты. Увидел, не очень они понравились ей, как он и ожидал.

— Ну?

— Парень, может быть, и ничего, хотя, по-моему, тюфяк. Но эти Прабабкины твои... Действительно прабабкины. Вот где форма соответствует содержанию. Они словно вчера вернулись с фронта. Тридцать лет послевоенной жизни прошло мимо них. Это уникальный случай. Прогресс не затронул их, особенно ее. Экземпляр — хоть в музей.

— Какой прогресс? — хмуро спросил Максим.

— Как какой прогресс? По-твоему, ничего не изменилось со времени войны?

— А мне понравились Прабабкины. Они из тех людей, что всегда на фронте, на передовой.

Даша произнесла с сарказмом:

— Что ж... пускай будут Прабабкины. Мне с ними не жить... В наше время не родители выбирают женихов. Чтоб подготовить Вилю к свадьбе, нужны деньги...

«Ах, вот оно что...»

— Сколько?

— Рублей... ну, хотя бы четыреста.

— Зачем столько?

— Милый мой, у тебя одна дочь. Ты никогда не интересовался нашими женскими нуждами. Мы дорогие.

— Это правда. Вы очень дорогие. Хорошо. Я займу.

Она засмеялась, довольная, и опять потерлась плечом о его плечо, попробовала перекинуть новый мостик.

— Тебе не кажется странным, что для того, чтоб поговорить о самом дорогом — о дочери, мы должны случайно встретиться в театре?

— Я приходил домой, чтоб поговорить о дочке.

— Ты не о дочке говорил, — от голоса ее снова повеяло холодом.

Навстречу шла, как видно, из буфета Нина Ивановна Макоед с преподавательницами своей кафедры. Бросила сотрудниц, подлетела к ним, поцеловалась с Дашей, громко засмеялась, привлекая к себе внимание.

— Даша, Максима разрешишь поцеловать?

Чмокнула в щеку, со значением сжала локоть. Так же громко упрекнула:

— Маэстро! Дешевый одеколон употребляешь. Неужели у

главного архитектора не хватает на лучший? Даша! Выкинь этот его вонючий одеколон.

Ведь хорошо знала, какие у них отношения и где он живет, и била Дашу под вздох, безжалостно, злорадно, с сознанием своего превосходства и своей победы.

Вернувшись в зал после третьего звонка, когда все уже сидели на своих местах, Максим увидел, что Веры нет. Разволновался. Не мог себе простить: зачем оставил девушку одну в антракте? Надо было остаться, поговорить по душам и все объяснить. Но на его приглашение погулять по фойе она сказала, что пойдет к матери.

Поля сидела на своем месте и разговаривала с Галиной Владимировной так, как будто женщины были давно и хорошо знакомы. Действительно, за пятнадцать минут антракта они почти подружились. Достаточно было грустного признания Галины Владимировны: «Я три года не была в театре. После того как погиб муж», — и Шугачева потянулась душой к соседке и простила ей ее «вину». А рассказ о детях, о том, как приняла Таня сборы матери в театр, растрогал Полю до слез.

Поля понадеялась на Максима, что он будет опекать Веру. Оглянулась, когда погас свет, и ее бросило в дрожь. Свойственная ей деликатность не позволила побеспокоить соседей — встать и пойти догонять дочку.

Галина Владимировна сразу почувствовала, что соседка чем-то расстроена, что она смотрит на сцену и ничего не видит, ничего не слышит. Ей самой знакомо это состояние душевной тревоги и смятения. Но что могло так внезапно взволновать Полину Николаевну?

А Поле уже представлялись всякие ужасы. Всю жизнь она дрожала за детей. Провожала в школу и боялась, как бы кто-нибудь из них, шаля, не попал под машину. Страх за Веру уже давно прошел, с класса седьмого или восьмого. И вот появился вновь. Ударил в сердце так, что облилась холодным потом.

То, что услышала от Максима несколько дней назад, когда он сидел с ней на кухне, попивая настойку, почти не было неожиданностью. Ведь она была заботливой и внимательной матерью. И слишком красноречиво было Верино настроение, ставшее переменчивым, как осенняя погода: неожиданные, совершенно не свойственные ей переходы от бурного нервического веселья к черной тоске.

Странно, что догадка, которая постепенно становилась уверенностью, почти не испугала. Странно потому, что всю жизнь она признавала нормой материнство только в замужестве и семья для нее — святыня. А тут как-то очень быстро свыклась с мыслью: если красавец этот Вадим и не женится, бог с ним, пусть это останется на его совести. Иметь ребенка — для женщины всегда счастье.

Пугало одно — молчание дочери. Нет ли у нее дурного на уме? На это она, мать, никогда не согласится. Раза два сидела в очереди к участковому гинекологу, чтоб предупредить врача на случай, если Вера обратится к ней за направлением... Но каждый раз удерживало сомнение: а что, если она ошибается? Возведет поклеп на дочь.

Больно ранил ее Максим. Не Максим, ему она была благодарна. То, что дочь доверила свою тайну чужому мужчине, а не ей, матери. О, как ей стало обидно и больно в тот момент! Даже Максим, немножко уже подвыпивший, растревоженный своими нелегкими проблемами, увидел, как она изменилась в лице. Стал успокаивать.

По обыкновенной житейской логике, она должна была бы в тот же вечер поговорить с дочкой. Но не может начать этот разговор вот уже десять дней. И отцу не сказала, боялась, что Виктор сразу разбушуется. А самое опасное и неразумное — делать из этого трагедию. Хорошо понимала, что откладывать разговор нельзя, чем раньше, тем лучше, однако, может быть, впервые в жизни ее сковывала странная нерешительность, страх, неуверенность, что она сумеет заставить и дочь и мужа посмотреть на это так, как смотрит сама.

Одно все-таки она сделала — наведалась к участковому гинекологу, предупредила, чтоб та не давала направления. Но это были мучительные дни — появился страх за дочку, которого она давно уже не знала. Страх этот поднял ее посреди действия.

— Вам дурно? Вас проводить? — испуганно и громко спросила Галина Владимировна.

— Нет, нет... Не надо.

Слова Галины Владимировны подействовали на соседей, Полю вежливо пропустили, никто не зашикал. У дверей догнали слова Нины:

— Перед отъездом дайте мне две минуты, умоляю вас...

Максим вышел следом за ней. Не уговаривал остаться.

Поля призналась:

— Ах, Максим! Я до сих пор не решилась поговорить с ней. Сегодня же поговорю, — и грустно улыбнулась. — Наделает шума Виктор.

— Я подвезу тебя.

— Нет. Нет. Я поеду автобусом, — она как будто испугалась, возможно, подумала, что он собирается поехать и остаться у них, чтоб успокоить Виктора. А ей не хотелось никаких, даже самых доверенных свидетелей. Максим это понимал. — Придумайте что-нибудь для Галины Владимировны насчет Веры и меня. Почему мы ушли.

— Придумаю.

Он проводил ее до дверей. Поля заботливо предупредила:

— Не выходите. Простудитесь, — и вздохнула: — Ах, Максим, как это трудно — быть матерью взрослых детей.

XIII

Виктор Шугачев переживал нелегкие дни. Ему, человеку нерешительному, привыкшему к дисциплине и безотказному подчинению, предстояло совершить шаг, принять решение, которое, безусловно, многих удивит, а его, в лучшем случае, лишит звания главного инженера проекта.

Максиму он сказал с необыкновенной легкостью, что, если не будет разрешения на эксперимент, на район, который сложился у него в голове после двух лет поисков и раздумий, он откажется возглавлять группу по проектированию Заречного.

Там, на даче, под заснеженными березами, его обрадовало, что Максим принял и одобрил его намерение так же легко. А потом, дома уже, Виктор подумал, что именно легкость Максимова одобрения, его немногословие — не слишком охотно он обсуждал эту проблему — говорят о том, что друг и автор АПЗ* принял его высокий порыв с недоверием, скептически, как юношескую мечту, которую люди опытные, взрослые считают бесплодной фантазией, но поддерживают, хвалят в педагогических целях.

Возможность такого отношения к его намерению обижала и злила, но придавала еще больше решимости. С кем воевать в такой ситуации, когда нет конкретного противника? Кто возражает против того, чтобы Заречный район был самым лучшим, уникальным по архитектурно-планировочному решению? Сосновский? Игнатович? Карнач? Исполком? Госстрой? Все — за. Но никто не может увеличить ассигнований. Однако же увеличивают в других городах — в Москве, в Вильнюсе, в Таллине. Значит, есть люди, которые берут на себя такую ответственность. Где найти такого человека? Шугачев, который никогда не занимал административных должностей и плохо знал структуру органов, составляющих и утверждающих планы и дающих деньги и материалы, надеялся на одного конкретного и близкого человека — на Карнача. Но в последнее время у Максима как будто пропала его прежняя уверенность и ослабела пробивная сила. Неужели из-за этой глупой бабы? Шугачев теперь прямо-таки ненавидел Дашу: мало того, что испортила жизнь другу, так еще вредит делу.

Сомнения разъедали, как рак. Ну хорошо, откажется он от проектирования района по существующим нормам... Что от этого изменится? Руководителем проекта сделают Макоеда или Леонову, и в результате появится еще один типовой район без малейшего признака индивидуальности. А его, седого человека, заслуженного архитектора, посадят вместе с Зотовой на проектирование защитного парапета над обрывом в парке. Да еще чуть не в два раза снизят оклад. И никуда не денешься. Не поедешь искать счастья в другом месте. С его семьей не очень-то сорвешься

---

* Архитектурно-планировочное задание.

с насиженного гнезда. Попробуй заикнись Поле о такой перспективе — сумасшедшим назовет.

Обо всем и всегда он советовался с женой, без ее указания бутылки молока не покупал. А вот об этом, таком существенном для него, о намерении своем и сомнениях никак не решался заговорить, потому что не знал, как Поля отнесется. Более решительная, она неожиданно может поддержать его дерзкий замысел. Но может и высмеять, категорически возразить против такого юношеского запала. Не удивительно: мать прежде всего подумает о детях — как их кормить, одевать, учить.

Теперь есть хоть эти мучения, которые возбуждают творческую мысль, заставляют работать с утроенной энергией, чтоб было что показать архитектурному совету, любому представителю любого органа, любой комиссии, когда возникнет в этом надобность. А если Поля наложит вето, что у него останется? Пустота в голове, в сердце. И пустая биография. Типовая.

Однако хорошо знал, что, не посоветовавшись с женой, не пристанет ни к одному берегу.

Неделю назад, когда Максим предложил билеты на открытие гастролей МХАТа, Виктор наметил: с женой поговорит, возвращаясь из театра, когда можно не спешить и пройтись пешком.

Но Поля решила по-своему — в театр пойдет Вера. Он побунтовал немножко: дети грабят его и материально, и духовно. Но Поля была добрая, только улыбалась над его возмущением, давая наказы детям и никаких поручений ему. Сиди, Витя, смотри телевизор, отдыхай.

Проект Заречья — тот, который, возможно, не будет никогда осуществлен, Виктор делал дома. Поля не любила, когда он работал вечерами — не те годы. Но тут он прикинул, что будет свободна Верина комната, ее стол и доска, можно закрыться от младших и хорошо, в охотку поработать, сделать эскиз нового варианта торгового комплекса.

Разрешив ребячьи проблемы, Виктор потребовал от детей тишины и закрылся в комнате. Но только успел очинить карандаш, как неожиданно вернулась из театра Вера. Виктор удивился:

— Что случилось?

— У меня болит голова.

Вид у нее действительно был кислый, на головную боль она в последнее время часто жаловалась.

— Сходила бы в поликлинику.

Вера посмотрела на отца с кривой улыбкой, послушно пообещала:

— Схожу.

Он не задумался над ее ухмылкой. Взял доску с приколотым к ней ватманом, карандаши и пошел на кухню, где частенько работал. Но минут через двадцать пришла Поля, явно взволнованная. Спросила у Тани, которая выскочила ей навстречу:

— Вера дома?

Такое преждевременное возвращение жены вслед за дочкой уже не удивило, а встревожило. Он выглянул в коридор, где Поля снимала пальто.

— Что вас сорвало из театра, Поля? — спокойно и мягко спросил Виктор, желая вызвать жену на откровенность.

— У меня болит голова.

Это его разозлило.

— Угорели вы, что ли, что у вас у обеих заболела голова?

— Может быть, и угорели, — явно с подтекстом, грустно вздохнув, сказала Поля.

Виктор подошел, взял жену за локоть, заглянул в глаза.

— Поля, ты что-то хочешь от меня скрыть. Не стыдно тебе?

— Ах, Витя. Не спеши, пожалуйста. Я все скажу.

— Я сама скажу! — послышался сзади громкий Верин голос, она стояла в дверях общей комнаты, одетая уже в свой старый ситцевый халатик, в котором выглядела совсем девчонкой, более щуплая, чем ее младшая сестра. — Я сама скажу. Только, пожалуйста, закрой, мама, ребят в спальне.

Катя, которая больше, чем все, обрадовалась раннему возвращению матери, решительно запротестовала:

— Не хочу в спальню! Не хочу! — и бросилась к Вере.

Вера, не обращая внимания на сестренку, пошла к себе, уверенная, что Катьку мать утихомирит и, конечно, запрет в спальне, потому что иначе та не даст поговорить, будет стоять под дверью.

Вера храбрилась. Решила быть смелой, независимой, если надо, даже грубой и циничной в разговоре с родителями. Но не так она была воспитана и не такой у нее характер. На деле она сгорала от стыда, немела от страха, даже глаза застилало зеленое пламя. И обида на Вадима, злость на него вспыхнули с такой силой, что хотелось упасть на пол, кататься и выть раненой волчицей.

Отец вошел первый, растерянный и встревоженный, сел у стола и нетерпеливо поглядывал на дверь, как бы боясь, что Вера начнет говорить о чем-то тайном и страшном без матери. А Поля все еще уговаривала Катю, не хотела применять насильственных мер, а то наделает малая шуму.

Виктор боялся смотреть на дочь и уставился в журнал «Архитектура СССР», красным карандашом отмечая детали одного проекта, которые ему не нравились.

Вера тоже не решалась взглянуть на отца. Стояла, прижавшись спиной к стене, к карте мира, потупясь.

Мать вошла, неторопливо села на диван, сложила на груди руки, спокойная, величавая, как верховный судья. Молчала. Ждала.

Вера с трудом оторвалась от стены, прошла между отцом и матерью к окну, уперлась руками в стол, смяв угол своего чертежа, и, не замечая этого, сказала с игривой легкостью:

— Дорогие предки. Я должна сообщить вам пренеприятное известие: у меня будет ребенок.

Она сказала это так быстро и как будто несерьезно, что Виктор не сразу сообразил, о чем это она, его Верочка, которую он все еще считал маленькой.

— Какой ребенок? У кого?

— У меня. У меня бу-дет ре-бе-нок, — отчетливо повторила она.

— Откуда?

— Папа! Неужели ты забыл, откуда берутся дети?

Шутка эта, такая неуместная и грубая в устах Верочки, обожгла огнем и в то же время мгновенно осветила все, потрясла, испугала: перед ним не Верочка! Произошло что-то, что отняло у него ту Верочку, которую он восемнадцать лет так любил. И Шугачев обхватил руками голову, застонал:

— Зарезала! Зарезала! Беда одна не ходит...

Но прозвучал суровый голос верховного судьи:

— Чем это она тебя зарезала? И какая еще у тебя беда? Проект не утвердили? Зарезала! Заголосил, как баба. Старый дурень!

Поля никогда так не бранила мужа при детях, и это поразило его. Виктор обессиленно опустил руки и уставился на жену, веря, как верил всю жизнь, что только она может спасти, пробудить от этого кошмара.

Поля улыбнулась мужу и неожиданно попросила:

— Прости, Витя.

Они смотрели друг на друга, как бы забыв о Вере, о том, что услышали от нее, будто ища слова, чтоб еще раз попросить друг у друга прощения, и, не находя их, виновато улыбались, молчали.

Вера не выдержала, крикнула, уже откровенно, без игры, прося пощады:

— Почему вы молчите? Объявляйте ваш приговор! Карайте! Вот я какая!..

Мать повернула к ней голову, улыбнулась ласково, чуть укоризненно.

— Какой тебе приговор? Ты сама объявила его. У тебя будет ребенок. А у нас с отцом будет внук. У нас будет радость, — и убежденно, горячо, протягивая руки и словно подавая ей эту радость: — Верочка! В дом войдет радость!

Вера оторвалась от стола, шагнула к матери и вдруг упала перед ней на колени, как маленькая, уткнулась в ее подол, залилась слезами. Только чуть слышно прошептала:

— Мамочка, миленькая....

Виктор высмеивал такие сцены в кино, но, когда смотрел их, всегда утирал глаза — был сентиментален. И сейчас слезы сыпались, крупные, как горох...

Лиза Игнатович сидела в третьем ряду, смотрела на сцену, но слов актеров не слышала, не понимала их смысла — другим была занята голова. Лиза кипела от гнева. Она видела, как Карнач пришел в театр с секретаршей ее мужа, как замаскировал свой поступок — посадил любовницу с Шугачевой. Какая наглость! Какой вызов обществу!

Лиза была всего на два года старше Даши, но всегда, с детства, отличалась рассудительностью, практичностью, хозяйственностью и после смерти матери забрала Дашу к себе в город, помогла поступить в институт, позаботилась о ее замужестве. Когда по ее совету Игнатович познакомил Дашу с бывшим товарищем по институту, Лиза, тогда комсомольский работник, собрала о Карначе все сведения и характеристики. Отзывы из проектного института были самые лучшие: талантливый молодой архитектор, общественно активный, человек с веселым характером, душа коллектива; правда, в этом Лиза видела и отрицательную сторону, опасную — слишком много девушек кружилось вокруг него, и невозможно было поверить, что до двадцати семи лет он не знал женщин.

Лиза считала, что своего Игнатовича на его двадцать втором году жизни она получила чистеньким и наивным, прямо из пеленок. Герасим в то время в разговоре с девушкой не мог связать двух слов, заикался, бледнел и потел.

Лиза была убеждена, что только благодаря ей Игнатович стал тем, что он есть — руководителем такого масштаба, выдающимся оратором, организатором.

Когда Герасим сказал ей про разлад у Карначей, она, считавшая себя весьма проницательной, вместе с удивлением, разочарованием в своей способности все предвидеть, вместе со злостью на Дашу и почти материнской тревогой за ее судьбу почувствовала гордость за мужа: к нему первому пришел Карнач по такому случаю; сестра к ней не пришла, а он пошел к секретарю горкома. Но тогда же подумала: вот они, его грехи молодости, которых она боялась еще до замужества Даши; человек, вкусивший запретного плода, когда-нибудь соблазнится снова.

За много лет работы в комсомольских и профсоюзных органах у Лизы выработался определенный склад мышления, характерный для женщин такого типа. Она не допускала, что личные чувства могут в каком бы то ни было случае взять верх над общественными интересами. (Между прочим, у нее самой личные чувства иной раз все же брали верх, но она была не в счет, себе она разрешала отступать от этого принципа.) И еще она верила, что хороший пастух каждую отбившуюся овечку вернет в стадо. А если не себя, то своего Игнатовича Лиза считала пастухом, который легко может вправить мозги и вернуть в стадо даже такого анархиста, как Карнач.

Лиза знала, что у ее сестры характер нелегкий. Да, Даше не хватает того, что есть у нее, — здравого смысла. Однако никогда

она не поверит, что в происшедшем у Карначей после двадцати одного года совместной жизни разладе виновата Даша. Нет, нет! Только он, этот цыган, юбочник, которому готовы кинуться на шею все женщины, потому что он всех умеет заворожить. Когда-то в молодости даже ее, самую верную из всех верных жен, заворожил так, что кружилась голова и по ночам являлись грешные мысли.

Когда Даша сказала сестре, что она готова согласиться на развод, Лиза чуть в обморок не упала от отчаяния. Задело не столько то, что рушится счастье сестры, сколько то, что из-за Дашиного безволия так легко могут пошатнуться ее, Лизины, убеждения и уверенность в своей силе, в том, что Карнача можно заставить считаться с общепринятыми нормами и моралью.

«Забудь думать про развод! — решительно заявила она сестре. — Борись за свое счастье. Мы с Герасимом поможем!»

«Да не хочу я, чтоб он жил со мной по приказу партбюро», — закапризничала Даша.

«Ты плохо знаешь мужчин. Не понимаешь, что им в таком возрасте дороже всего? Служба. Не станет он портить карьеру. Получит предупреждение — вернется в семью. Но и ты не должна быть такой дурой. Брось свои капризы. Не девочка. Дочь замуж выдаешь. О себе подумай. Что у тебя будет за жизнь после развода? Не надейся, что в твои годы легко снова выйти замуж. Разве что за пенсионера или пьянчугу».

Появление Максима в театре с женщиной, почти демонстративное, во всяком случае, весьма примитивно для таких ворон, как Даша, замаскированное, прямо-таки ошеломило Лизу и чрезвычайно, по ее представлению, усложнило обстановку. Особенно потрясло то, что женщина эта — секретарша ее мужа. Лиза вспомнила, как Герасим хвалил ее — клад, а не работница: аккуратная, вежливая, скромная, — и кровь ударила ей в голову. Не раз она в шутку прибавляла: «И красивая». — «И красивая», — серьезно соглашался Герасим. «Скромная!» — хотелось ей тут, в театре, злобно расхохотаться в лицо товарищу Игнатовичу.

Лиза не была ревнива, но бдительности никогда не теряла, считала, что лучше предупредить болезнь, чем лечить потом.

Игнатович почувствовал, что у жены дурное настроение, как только вошел в зал и сел рядом. Почувствовал по тому, как она отодвинула руку, когда локти их на подлокотнике привычно соприкоснулись, как она игнорировала его замечания, шутки, когда разговаривала с Дашей, со знакомыми, сидевшими вокруг. Это его испугало и сбило с толку. Последнее время он оберегал свой душевный покой. Собственно говоря, она же, Лиза, первая начала ограждать его от всяких волнений, читала целые лекции о том, что умный руководитель должен сдерживать свои эмоции, беречь нервы, избегать стрессовых ситуаций, которые являются главной причиной сердечных заболеваний. Сперва он шутил: «Это в профсоюзе можно так работать, в партийных органах немыслимо».

Но ее настойчивость возымела действие: постепенно он научился владеть собой и сохранять спокойствие, равновесие в такие моменты, в таких острых ситуациях, когда любой другой, даже внешне флегматичный юморист Сосновский, взрывался так, что щепки летели.

Игнатовичу казалось, что он приобрел качества, которые выделяли его среди других руководителей и за которые его еще больше стали уважать.

Одним словом, Лиза уже давно не вела себя так. Поэтому Герасиму Петровичу было не до переживаний Нины Заречной. Ломал голову: что могло случиться?

В антракте Лиза отказалась пройтись по фойе, хотя, подобно сестре, любила покрасоваться, чувствуя свое превосходство над женами других общественных работников — не домашняя хозяйка, деятель областного масштаба, поэтому у нее было о чем поговорить и с секретарем обкома, и с директорами заводов.

После второго антракта Игнатович понял: Лизу взволновало что-то такое, что происходит здесь, в театре. Но что? Голова разболелась от догадок.

Герасим Петрович едва дождался конца спектакля и постарался одеться поскорей, чтоб выйти раньше товарищей, с которыми жил в одном доме.

Крепко морозило. Под ногами звенел снег. Лиза спрятала лицо в воротник и, может быть, поэтому дышала тяжело, как астматик.

— Лиза! Какая муха тебя укусила?

— Та самая.

— Ничего не понимаю.

Лиза остановилась, откинула воротник. От света витрины лицо ее было зеленым и казалось очень злым и некрасивым, такой некрасивой он не видел Лизу никогда.

— Не понимаешь? Ах, какой ангел святой! Секретарша твоя хваленая-перехваленая. Несчастная вдова, кроме работы и детей, ничего не знает.

— Лиза, как не стыдно! В нашем возрасте...

— Седина в бороду, бес в ребро. И ты не лучше других. Здорово подбираешь кадры, товарищ Игнатович! Не забывай, на этом очень многие погорели.

— Ты очумела, я тебя не узнаю. Что ты мелешь? — раздраженно сказал Герасим Петрович, оглядываясь. — Горячка у тебя, что ли?

Прошел сотню шагов молча, боясь трогать Лизу, а то еще, пожалуй, опять остановится и начнет выдавать при Сосновском, который шагал где-то сзади. В порыве ревности женщина на все способна.

Но Лиза еще не потеряла головы. Желая продолжить разговор теперь же, она свернула в безлюдный переулок. Однако молчала, явно ждала, что он скажет, оправдываясь. Он спросил примирительно, мягко:

— О чем, собственно, речь?

— Что? Царапнуло по сердцу? Они вместе приехали в театр. Она и Максим. Шли и озирались, как преступники. Какая наглость! При живой жене! Тоже твой кадр! И дружок! Воспитывали друг друга. Хватило, правда, совести не сесть рядом напоказ людям, жене! Посадил ее с Шугачевой. Но даже Шугачева возмутилась и покинула зал... Несчастная Даша, слепой котенок. До чего дожили! Позор! Имей в виду, пятно ляжет и на тебя. Распустил этого доморощенного гения, теперь пожинай, что посеял.

Хотел сказать, что сама она больше, чем кто-либо, увлекалась в свое время Карначовыми архитектурными идеями. Но не сказал. Странное чувство овладело Герасимом Петровичем.

Снова, как тогда, в кабинете, когда он, вернувшись из обкома, застал в приемной Максима, наступила душевная депрессия, ничего не хотелось — ни оправдываться, ни ссориться с женой, ни выяснять детали. Тогда это длилось недолго. Трезво рассудив, он объяснил поведение Максима как обыкновенную, присущую ему галантность. В самом деле, если бы между ним и Галиной Владимировной что-нибудь было, Карнач, верно, не объявил бы так просто о своем приглашении.

Теперь он подумал, что Карнач хитер, как сто чертей, и поверил жене. От этого стало горько.

Вслед за душевным спадом накатил холодный вал злости на Максима, недоброй злости, такой не было ни тогда, когда Карнач поставил его в неловкое положение своим самоотводом, ни после двух очень нелегких разговоров в его кабинете. Тогда были вспышки раздражительности, недовольства недавним другом и свояком. Теперь же холодная волна злости как бы застыла, крепко и надолго.

«Черт возьми, мало того, что он свою семью разбивает... Лиза права, тень падает и на меня... Так он еще может внести разлад и в мою семью своим донжуанством, пренебрежением моральными нормами... С этим надо кончать! Надо дать по рукам!»

Лиза поверила мужу, когда он разразился гневной тирадой против Максима, и несколько смягчилась, потому что поняла: человек, которого она в этот вечер возненавидела, получит по заслугам.

Но этого ей было мало. Лиза потребовала, чтоб он уволил Галину Владимировну.

Игнатович возмутился:

— Черт возьми! В какое положение ты меня ставишь? За что я уволю вдову с двумя детьми на руках? Думай, что ты говоришь!

— Такая не помрет, — попробовала огрызнуться Лиза.

— Постыдись! Не помрет... В наше время никто не помрет. Но что она подумает о нашей справедливости!

Лиза поняла, что хватила через край.

Озябшие до дрожи, они пили в теплой уютной кухне горячий чай и тихо, почти шепотом — Марина спала — уже мирно беседовали. Сперва о спектакле, потом опять о Максиме.

Игнатович между прочим сказал:

— Современный мещанин. Мне не понравилось, когда он купил машину. А потом это его увлечение дачей, ее строительством. Как куркуль какой-то, частник, день и ночь строгал и пилил. На собрания не являлся. И так сползал все ниже и ниже... Я предупреждал его... Но для него не существует авторитетов.

Не сразу увидели, что в дверях стоит Марина в цветастой пижаме, слушает. Когда родители заметили ее, спросила:

— Это вы про дядю Максима?

— Ты почему не спишь? — строго сказал Герасим Петрович.

Марина вошла в кухню, села за стол напротив отца.

— Папа! Объясни мне, что такое современный мещанин.

— Человек, который свои личные интересы ставит выше общественных.

— Я не знаю интересов нашего класса, но знаю, что свои интересы я ставлю выше классных.

— Значит, и ты мещанка, — раздраженно ответил Герасим Петрович.

— А ты кто? — в упор глядя на отца, спросила Марина.

— Марина! — возмутилась мать. — Спать немедленно! Уроки сделала?

Герасим Петрович встал из-за стола, подошел к раковине, сам сполоснул чашку, из которой пил чай. Всегда делал это при дочери — для примера, потому что только по принуждению она мыла посуду. Сказал вроде в шутку, спокойно, однако с явной ноткой обиды:

— Поросенок ты, Марина, вот что я тебе скажу.

Марина тоже поднялась, потянулась, достала рукой абажур (мать не доставала, а она в неполные пятнадцать лет вон как вымахала; словно черт за уши тянет, смеялась Лиза), ударила по нему; она часто раскачивала кухонный абажур, люстру в столовой, зная, что это раздражает родителей.

— Вот что, дорогие предки. Если дядя Максим мещанин, то я не знаю, кто же не мещанин. А я хочу знать. Мне надо знать. Я вступаю в жизнь, как вы говорите. И вы обязаны все мне объяснить.

XIV

Есть люди, которые умеют прожить тихо, ни с кем не конфликтуя. Максим всю жизнь конфликтовал. В институте. На работе. Даже в армии. С коллегами. Друзьями. Начальством. Теперь и с женой. А в должности главного архитектора — сразу со многими

организациями и людьми: с заказчиками и строителями, Госстроем и Белгоспроектом, с руководством и отделами исполкома, с коммунальниками, художниками, транспортниками.

Те, кто любил город и свое дело, понимали его, поддерживали, оставались друзьями, дураки и приспособленцы обижались на его непримиримость и становились врагами.

«Председатель соглашается, ты не соглашаешься. Тебе больше всех нужно?»

«Больше».

«Тебе земли жалко? Государственная. Не твоя».

«Потому и жалко, что государственная».

«Дорогой мой. Так в Москве и Минске строят. А мы город N, как писали классики».

«И в городе N мы не будем строить по старым шаблонам».

«Проект одобрен Госстроем».

«В Госстрое сидят не самые лучшие архитекторы».

«Ой, открутят тебе, Карнач, голову».

«Но прежде чем открутят мне, я хочу открутить некоторым бракоделам».

Знал, кое-кто его смелость объясняет родством и дружбой с Игнатовичем. Мол, имея такую руку, можно высказывать любые мнения и критиковать любого работника.

Но сложная жизнь столкнула и с Игнатовичем.

Было больно, что человек, в объективность которого всегда верил, теперь, в такой нелегкий для него час, не хочет или не может понять его поступков и переживаний. Даже самоотвода не понял, не понял, что, не о себе думая, а о нем, Игнатовиче, не желая поставить его в неловкое положение из-за своего семейного разлада, он поднялся на трибуну конференции с заявлением, которое одних озадачило, других возмутило. Игнатовича возмутило. И выходит, что одно это чувство определило весь строй и направление его мыслей. На чем же держалась их дружба? Неужели Игнатовичу не приходит в голову, как нелегко ему, Карначу, было пройти эти десять-пятнадцать шагов, которые отделяли ряд, где он сидел, от высокой трибуны?!

Максим не знал, как к его самоотводу отнесся Сосновский. Никто ему не передал, что сказал на этот счет секретарь обкома. И вот жизнь вздумала столкнуть его и с этим человеком, которого он уважал и любил, который был для него высоким авторитетом.

Столкнуться предстояло из-за прямо-таки нелепого случая. Банального и мелкого.

— Мелкого? Для кого мелкого? Для Гали Даниловой? Для ее двойни? — Сидел у себя в кабинете один, но произнес эти слова вслух. — Нет! Не мелкого.

Встал, возбужденный, злой и глубоко озабоченный, в задумчивости прошелся по узкой и длинной комнате — «гробу», которую ему выделили как бы в насмешку; правда, расставив мебель,

развесив проекты на стенах, он сделал уютным это совсем «не архитектурное» помещение.

Черт возьми! У него собственных проблем больше, чем нужно. Что ему до какой-то малознакомой семьи? Есть руководители треста, руководители управления, это их люди, пускай они и ломают головы, как им устроить Галю Данилову и ее близнецов.

Попытался заняться служебными делами, чтоб переключить внимание. Нет, близнята эти, младенцы за занавеской из простынь и одеял в комнате общежития, где жили еще пять девушек, не выходили из головы. Какое счастливое лицо было у матери, когда он приехал в общежитие во второй раз и сообщил Даниловым, что до Нового года они получат квартиру, даже адрес дал, чтоб посмотрели дом. Радовалась не только мать, но и те девушки-штукатуры, которые жили с Даниловыми. Что они теперь подумают о нем? Что подумают — это мелочь в сравнении с тем, как семья будет жить в старом общежитии с такими малютками.

Заведующий жилищным отделом Семен Ворчик, который вышел десять минут назад, приходил не только для того, чтобы предупредить, что квартира, предназначенная Даниловым, будет отдана другим. Нарочно пришел посмотреть, как он будет реагировать. Конечно, история эта известна не только в жилищном отделе, но и во многих других, все с интересом ждут, как же поведет себя главный архитектор. Как покажет здесь свою смелость и принципиальность?

Максим набрал номер Кислюка. Но, услышав голос председателя, нажал на рычаг. Нет. Не телефонный разговор. Хотя с глазу на глаз он может оказаться еще тяжелее.

Снова походил по комнате. Нервно хмыкнул. Странно получается в жизни. Лучший порыв твоей души — желание сделать людям добро — может обернуться тебе же во вред. Совсем ни к чему ему сейчас еще и этот конфликт.

Поразмыслив, пришел к выводу, что с Сосновским столкнуться не придется, что Сосновскому, безусловно, не сказали, кому предназначалась квартира. Узнав это, секретарь обкома, вне сомнения, все поломает. И выдаст Кислюку за подхалимство. Значит, поссориться придется со своим непосредственным начальником, что тоже совсем нежелательно.

Максим мысленно выругал руководителя стройтреста Алейника, веселого хитрюгу, который очень ловко умеет свои заботы сваливать на других. Со строителями главному архитектору приходится цапаться очень часто. С Алейником Максим иной раз разговаривал в таком тоне, что со стороны казалось: после этого они не подадут друг другу руки. Но Алейник был незлопамятен и по-прежнему прекрасно относился к своему безжалостному критику. Максим даже не мог понять, отчего это — от чрезмерной доброты Алейника, от уверенности в себе как руководителе, от нового стиля работы, который еще не распространился повсеместно, или от сугубой хитрости? Во всяком случае, нередкие стыч-

ки на объектах не сделали их врагами, наоборот, почти сдружили.

В тот день Максим вызвал Алейника на строительство музыкальной школы, где бессовестно нарушался проект — технология изоляции стен между классами, — строили, как обыкновенную школу.

Главный архитектор показал брак руководителю треста. Тот налетел на прораба. Прораб, стараясь перед начальством, стал ругать рабочих, которые тоже были виноваты — гнали норму, игнорируя технологию, за которой должны следить инженеры.

Руководство тактично отошло, спустившись на нижний этаж: пускай, мол, прораб разбирается сам. Но их догнал молодой рабочий, возбужденный, красный, протянул мятый листок бумаги.

— Вот! Все! Хватит! Давайте расчет! На черта мне такая работа! Что я за нее имею?

Алейник взял заявление, сунул в карман.

— Приходи, Данилов, ко мне в конце дня. Поговорим.

— Пять раз говорили.

— Не пять, а три. Поговорим в четвертый раз. Глядишь, и договоримся.

На улице у машины Алейник, как бы обрадованный чем-то, весело спросил у Карпача:

— Слышал? Видал?

— Слышал.

— А знаешь, сколько у меня не хватает рабочих?

— Опять-таки слышал от тебя.

— А ты говоришь! Ты меня сейчас ткнул носом в стенки. Я тебя тоже ткну. В людей. Как депутата горсовета. Поехали!

Алейник привез Максима в рабочее общежитие, довольно мрачный «сундук» еще довоенной постройки, плод конструктивизма. Максим не раз думал, что война, разрушив две трети города, действительно настоящие памятники, словно в насмешку над историей архитектуры пощадила это общежитие и еще кой-какие ему подобные «шедевры». Хотя теперь общежитие само вошло в историю: люди, которым оно дало приют после войны, построили новый город.

По деревянной лестнице, ступени которой были выбиты до ям — только отполированные гвозди торчат (и никто их не забьет), — они поднялись на второй этаж, вошли в широкий коридор с таким же выбитым полом. Одно хорошо в этих довоенных общежитиях — просторные коридоры, которые служат жителям клубом. Постучали в дверь, которая почему-то одна среди двух десятков других, коричневых, замусоленных, была недавно и хорошо покрашена белой краской и выглядела нарядно, как невеста.

Молодой женский голос недовольно крикнул:

— Кто там?

Алейник открыл дверь, и они вошли в комнату, где разместилось пять девичьих постелей с вышитыми накидочками на подушках. На стенах над кроватями фотографии и открытки: крестьянки

в платочках и парни, как правило, в военной форме уютно располагались между модными киноактерами. От других комнат общежития эта отличалась тем, что правый угол ее — от окна до половины стены — был отгорожен простынями и одеялами. Да еще запахом. Благоухание дешевых духов, свойственное девичьим общежитиям, забивал острый запах детских пеленок и детской кухни. Откинув головой одеяло, выглянула молодая женщина в прямо-таки удивительном виде: оголенная полная белая грудь и два запеленатых младенца на руках.

Увидев чужих мужчин, женщина стыдливо ойкнула и спряталась за занавеску. Сразу заплакали дети. Оба. Возмущались. Оторвали их от груди.

Максим с удивлением отметил, что у детей разные голоса: один кричит басовито, с паузами, кажется, крикнет и ждет, возьмут ли его, другой заливается так голосисто, что даже боязно — зайдется от крика.

Женщина вышла из своего укрытия, застегивая блузку. Поздоровалась с Алейником:

— Здравствуйте, Виктор Антонович!

Максиму даже не кивнула. Он мало ее интересовал. Знала, что это главный архитектор, не раз видела на стройках. И еще знала, что архитекторы проектируют квартиры, но не дают их. Вот если б председатель горсовета приехал!

— Вот, Галя, — сказал Алейник, показывая на Максима, — если этот человек тебе не поможет, прокукуем мы с тобой тут до весны.

Галя оглядела архитектора внимательнее, и губы ее скептически скривились.

— Это наш депутат. Помнишь? Мы за него голосовали.

— Была я у депутата.

— Ты высоко взяла. Бери ниже — оно ближе, — Алейник смеялся, неведомо чем довольный. Самим собой, своей хитростью?

Максиму было не до смеха. Он понял намерение руководителя треста. Тот знал, что остаться равнодушным Карнач не сможет, загорится и попробует помочь этой семье, а пробивная сила у него немалая. В самом деле, нельзя ли помочь? Но как?

— Ладно, Галя, иди корми своих строителей. Депутату все ясно. Слов не надо. А тем более слез.

Галины глаза постепенно наливались слезами.

В тот же день Максим говорил с Кислюком. Знал, что разговор будет нелегким. Человек вообще внимательный к людям, Кислюк из сотни дел, которыми приходится заниматься председателю горсовета, больше всего не любил дела квартирные, прямо-таки ненавидел их и боялся. Зная, что восемьдесят процентов из тех, кто записывается на прием, будут просить квартиры, он всячески хитрил, находил неотложные дела, чтоб не вести самому прием, посылал заместителей. Об этом знали в горсовете, подсмеивались над ним. Дошло до горкома. Игнатович на заседании

бюро упрекнул Кислюка, что он редко сам принимает трудящихся.

Работников других отделов исполкома, кроме жилищного, Кислюк при всей своей вежливости просто выгонял из кабинета, если они приходили ходатайствовать о квартирах. Злые языки даже сплетничали в коридорах, что Павел Павлович каждого сотрудника, который приходит к нему по квартирным делам, берет под подозрение: нет ли здесь сделки с просителем? Шутили: хочешь попасть в «черный список», иди попроси для кого-нибудь квартиру.

Максим не боялся, что Кислюк выгонит его из кабинета или не станет слушать. Однако решил зайти издалека.

— Павел Павлович, вы интересовались статистикой рождаемости в городе?

— Ну...

— Падает рождаемость.

Кислюк поднял голову от бумаг, насторожился.

— Почему это тревожит архитектора? Уж не боишься ли, что не для кого будет строить?

— Этого я не боюсь. Но принадлежу к числу тех людей, которые ищут причины такого явления. Достаток растет, а детей... один, два... Трое считается много. Разве это нормально для здорового общества?

— На этот счет мнения расходятся. Может быть, это для развитого общества и естественно. Научно-техническая революция сокращает потребность в людях...

— Производство без людей? Для чего? Для кого?

— Не впадайте в крайности. Будут люди.

— Тема для долгой дискуссии. Я хочу сказать о другом. Рождение ребенка всегда было событием, праздником для семьи. В практике советских органов давно повелось приветствовать рождение ребенка. Рождение тройни уже чрезвычайное событие для города, сельсовета. Думаю, в наше время не только тройня, но и двойня...

Максим не закончил фразы, потому что увидел, как председатель — это уже знакомо — покраснел: догадался, куда ведет архитектор.

— Это вас Алейник настроил? (Чертов Алейник! Не признался, что уже говорил с Кислюком.) Хитре-ец! Свои квартиры раздал и назанимал на целый годовой фонд. Погорит он на этом! Погорит! Почему они раньше не подумали об этой семье?

— Они же не знали, что там двойня родится.

— Не знали! А я знал? Исполком — бог святой?

— Исполком должен уметь сделать то, чего не может бог. На то мы с вами, Павел Павлович, Советская власть. Семье этой надо найти квартиру. И безотлагательно!

Кислюк даже подскочил.

— Где найти? Где она валяется? Максим Евтихиевич! Вы же

работник исполкома! Кто-кто, а вы должны знать, что все расписано до последнего метра. Да и роздано уже. Конец года. Хитрец этот план по жилью не выполняет, а квартиры ему давай. У нас очередь продвигается на тридцать-сорок человек, а в ней полторы тысячи...

— Вам Алейник говорил, как живет эта семья?

— Говорил.

— Не желаете ли посмотреть?

— Нет.

— Напрасно.

— Чего вы от меня хотите?

— Квартиру. Не для себя. Для детей, которых сегодня впервые увидел.

Кислюк выдернул из ящика стола толстую папку.

— Вот вам списки тех, кто получит квартиры до конца года, если ваш Алейник не подведет. Нате. Садитесь. И вычеркните своей рукой. Кого хотите. Того, чей дом вы сносите. Инвалида. Только сами пойдите и растолкуйте. Сами!

Максим знал, что Кислюка можно взять не спором, не криком, а уверенным спокойствием — метод испытанный.

— Павел Павлович, ей-богу, это несерьезно для председателя исполкома. Я знаю вас, вы знаете меня. И если я пришел к убеждению, что квартиру Даниловым дать надо, я не остановлюсь на разговоре с вами. Мы потратим много энергии, которая нужна нам на другие дела.

Председатель смягчился, однако ничего не обещал. А в конце дня позвонил сам, сообщил:

— Добрые соседи выявили одного жулика, который подсунул справку, что у него туберкулез, открытая форма, а он, кроме как насморком да корью в детстве, никогда ничем не болел. Прокуратура займется тем, как из тубдиспансера выплывают такие справки. Ловкача этого квартиры лишаем. Вашим двойняшкам повезло.

— Двойняшки не мои, Павел Павлович. У них есть отец, — засмеялся Максим.

Кислюк тоже захохотал, чувствовалось, доволен, рад, что нашлась возможность устроить семью Даниловых.

В общежитии девчата, обрадованные не меньше, чем Галя, которая даже расплакалась, вмиг (откуда только взялась!) выставили бутылку портвейна и заставили Максима выпить за детей, за их счастье. Пригласили в крестные отцы. Одна хохотунья сказала, что ей очень нравится такой кум, она тайком от родителей-комсомольцев повезет детей крестить. Не побоится он поехать с ней?

Максим считал, что сделал доброе дело, и скоро забыл о нем, хватало других забот.

И вот история эта снова всплыла и обернулась другой стороной, довольно неприглядной.

С ходу, не дойдя до стола, на середине кабинета Максим спросил Кислюка:

— Что с квартирой для Даниловых?

Председатель, взглянув, кто вошел, снова углубился в бумаги и на заданный в упор вопрос даже не поднял головы.

— Поставили в список на заселение в следующем году. Решим по результатам первого квартала...

— Даниловым предназначалась квартира в доме, который сдается до Нового года.

— Товарищ Карнач! Никому ничего не предназначается, пока нет решения исполкома. Было такое решение? Голосовали вы за него?

— А ваше слово?

— Кому я давал слово?

— Мне.

— Я сказал о возможном варианте. Не получилось. Сколько у вас бывает вариантов?..

— Павел Павлович. Я все знаю.

— Что вы знаете? — перелистывая бумаги и по-прежнему не поднимая головы, на удивление спокойно для разговора о квартире спросил Кислюк.

— Кому отдается квартира...

Председатель выдал свое раздражение, повысив голос:

— Какая квартира? Номер?

— Павел Павлович. Я не с улицы пришел. Я работаю в горсовете.

— Ну и что? — снова будто бы равнодушно и даже чуть наивно, как бы забавляясь, спросил Кислюк.

— Мы с вами в одной партийной организации.

— Ну и что?

Максим кипел. Огромным напряжением воли сдерживал себя, зная, что если сорвется, то скажет такое, после чего вместе работать станет невозможно, придется тут же подавать заявление об уходе. А это будет обидно, потому что с Кислюком при всех его человеческих слабостях (у кого их нет!) можно работать.

Однако все же голос его угрожающе зазвенел:

— А то, что, может быть, на ваш взгляд, вы приняли мудрое решение. А я считаю это, мягко говоря, непорядочным. И скажу на партийном собрании. И еще кое-где...

Кислюк наконец оторвался от бумаг, поднял голову, откинулся на спинку кресла, как бы ища опоры. Нашел ее и посмотрел на Максима удивленно, но не растерянно, уверенно, смело, без того чувства неловкости, которое явно заметно было, когда он боялся поднять глаза от бумаг.

— Скажите, Карнач, вам надоела ваша должность?

Этот вопрос будто перерезал бикфордов шнур, который уже дымился под динамитом. Максим ответил почти весело:

— Уж не испугать ли вы меня хотите, Павел Павлович?

Но вы, видно, забыли, что я не Анох. К тому же у меня профессия, которая сейчас очень нужна стране.

Кислюк вздохнул, должно быть, вспомнив, что перед ним в самом деле не Анох. Что этот человек умеет не только возглавлять отдел или управление исполкома. И снова наклонился над бумагами, однако сказал твердо:

— Это вы хотели меня напугать. Но я не боюсь. И дискуссию о распределении квартир вести с вами не желаю! Выступайте где хотите!

«Вот как! — подумал Максим. — Значит, крепко на тебя нажали. Кто?»

Максим жалел, что потерял такого друга и советчика, как Игнатович. Он не считал Игнатовича мудрецом — обыкновенный человек, как все мы, грешные. Знал его слабости. Знал, что он осторожен. Но его осторожность, рассудительность, умение семь раз отмерить, прежде чем отрезать, хорошо уравновешивали его, Максима, взрывчатость и размашистость, стремление рубить любой узел. Игнатович узлы терпеливо развязывал. Наверно, он сумел бы развязать и этот, с квартирой для Даниловых.

Но Максим пойти к Игнатовичу не мог. Вышел от Кислюка с решением немедленно обратиться к самому Сосновскому. Не звонить — попроситься на прием. Но вдруг почувствовал, что диалог с Сосновским не получается (мысленно). Сосновский — не Кислюк. Находчивый и остроумный, он одним словом может разрушить любую логическую конструкцию и поставить собеседника в смешное положение.

Максим боялся показаться смешным. Не хватало еще, чтоб его благородное негодование кто-то высмеял! Несчастный идеалист! До седых волос дожил и не уразумел, что ж это за штука такая — жизнь. Куда лезешь со своими студенческими протестами?

Но скоро понял, что снова, как до разговора с Кислюком, пытается найти оправдание тому, чтоб не заниматься этим делом. Стало стыдно. Мысленно ругал в раздражении всех, кто имел отношение к этой квартире, кроме Гали с детьми. Даже ее мужа корил: «Женятся, черт бы их взял, а где жить будут, не думают». Но безжалостнее всего ругал самого себя.

«Все! Сдавайся! Хенде хох! Спускайся до среднего уровня. Не трепыхайся, как рыба. Приспосабливайся, спокойней будет жить. А правда, на кой мне лезть в каждую щель? Хитрец этот и ловкач Алейник свалил свою заботу на меня и теперь хихикает в кулак. В исполкоме все навострили уши: что сделает Карнач в такой ситуации? Не ждите сенсаций, спектакля! Ничего я не сделаю! Ничего! Я сыт по горло своими заботами. Дай мне бог помочь самому себе».

Надеялся, что пройдет день, другой и эмоции его притупятся, эпизод этот заслонят другие дела, более масштабные и близкие

по профессии и службе, а дел таких всегда хватает, в конце года особенно.

Но и на третий, и на четвертый день он по-прежнему, может быть, даже с большей силой, чувствовал себя обманщиком, вралем, болтуном перед Галей и девушками из общежития, а главное, от чего в особенности гнусно становилось на душе, трусом перед начальством. Никогда, кажется, не был им.

XV

Вера пела. Чертила у себя в комнате и пела.

Шугачев вернулся с работы, отпер дверь своим ключом, из коридора услышал, что дочка поет, удивился. Не снимая пальто, заглянул на кухню, где жена звенела кастрюлями.

— Ты слышишь?

— Что?

— Она поет.

Поля, раскрасневшаяся, в цветастом переднике, как в кольчуге, стала в воинственную позу и окинула мужа таким взглядом, что он сразу почувствовал себя перед ней маленьким.

— А тебе хочется, чтоб она плакала?

— Не хочется. Но...

— Радуйся, что она поет. Девочка вернулась к жизни.

Виктор рассердился.

— Черт вас, баб, поймет. Живу я с тобой чуть не тридцать лет и каждый день разгадываю новую загадку.

Поля сразу смягчилась, сказала со смехом:

— Так это ж хорошо, Витя. Значит, тебе не скучно со мной.

— Что верно, то верно, с тобой не соскучишься. Со всеми вами, — все еще хмуро проворчал хозяин, расстегивая пальто.

— Дай я тебе помогу раздеться. Не болит рука? Я пчелиного яду купила. На ночь натру.

Поля понесла его пальто в коридор на вешалку. Он размотал шарф. Приложил ладони к горячей кастрюле. Тепло, как доброе вино, разлилось внутри, дошло до ног. Он почувствовал, что весь как бы оттаивает. На дворе было морозно и ветрено, а он втиснулся в автобус, который не довез до дома на добрый километр. За десять-пятнадцать минут ветер пробрал до костей.

Вслушался в Верину песню, мотнул головой и тихо засмеялся.

Поля тайком из коридора наблюдала за мужем, по движениям, по смеху его поняла, что настроение его изменилось. Но она не улыбнулась, думала о другом: у мужа старое пальто, оно плохо греет, надо как-то выгадать на новое, это ее забота. Подошла, сняла с его головы сильно поношенную ондатровую шапку.

— Холодно?

— Холодно.

— Выпей рюмку настойки.

— Вот это идея! Только не полынной. На сосновых почках. От нее весной пахнет.

А Вера пела. Вера действительно вернулась к жизни. Как после тяжелой болезни. Ожила и душевно преобразилась за несколько дней после того вечернего разговора, когда она и мать с середины спектакля ушли из театра.

Вера с детства считала, что ее мать самая добрая, самая умная. Но то, что сказала, как приняла мама ее отчаянное признание в беременности, этому нет названия, еще не придумали люди. Мама в один миг беду, несчастье превратила в радость, в ту радость, о которой, наверно, мечтает каждая женщина.

До сих пор Вера со страхом ходила в институт. Казалось, что все в группе и на курсе смотрят на нее с повышенным интересом, любопытством, подозрительностью и готовы ткнуть пальцем: вот она какая! И хотя ничего еще не было видно — прошло всего три месяца, — она надевала свободные платья, которые не облегали бы ее худенькую, гибкую фигурку. Не со страхом — с ужасом, от которого холодело все тело и, казалось, останавливалось сердце, думала она о том дне, когда все обнаружится. Что будет? Дома? Здесь, в институте? Жить с этим ужасом дальше не хватало силы. Что будет, то будет. Первыми пускай узнают мать и отец!

И вот как все повернула мама. Милая, родная! Я целовала твои руки в тот вечер. Я всю жизнь будут молиться на тебя!

На следующий день после того вечернего разговора Вера пришла в институт такая, какой была на первом курсе: жизнерадостная, веселая, добрая ко всем, немножко ироничная, хотя больше по отношению к себе, чем к другим.

Вадима, который, после того как она его выгнала, разыгрывал обиженного и не подходил, не разговаривал с ней, очень удивила такая перемена Вериного настроения. Сперва он обрадовался. Может быть, как-то все обошлось? Нет, не похоже. На Веру не похоже. Да и все ее поведение... Между прочим, после оплеухи, хотя он и делал вид, что оскорблен, у него зародилось какое-то новое чувство к ней — какое-то особенное уважение и особенная нежность, не такие, как там, в деревне, когда они жарко целовались в сосняке. Если б как-нибудь удалось помириться, он совсем иначе вел бы себя и любил бы ее иначе — серьезно, глубоко. Ведь она ему нравится давно, пожалуй, с того дня, когда он, второкурсник, увидел ее, новенькую, в институтском коридоре и, чтоб познакомиться, сказал: «Вы что, Дюймовочка из сказки?» А она дерзко ответила: «А вы пират из «Острова сокровищ»?»

Верино поведение, несколько нервно-оживленное в первый день, как бы напоказ, становилось все естественнее, спокойнее. И казалась она теперь как будто старше, опытнее, как жена художника Новицкого с его, Вадимова, курса; Новицкой тридцать лет, у нее двое детей, муж выпивает, а она всегда веселая и к девчатам своей группы относится по-матерински.

Вера становилась похожа на Новицкую. Это открытие потрясло Вадима. Прежде всего оно окончательно развеяло его надежду, что каким-то чудом все обошлось. Нет, ничего не обошлось. Вера не такой человек, чтоб пойти на аборт.

Сознание, что ребенок, его ребенок, появится на свет уже весной, встревожило Вадима и испугало. Когда Вера впервые сказала ему об этом, он относился ко всему легко; она хочет, чтоб он женился, — пожалуйста. Теперь женитьба представлялась делом совсем не таким простым. Не только потому, что мать его чуть в обморок не упала и глотала валерьянку, когда он сказал ей о своем намерении. Мать с отцовской помощью можно переубедить. А как переубедить Веру, как загладить свою вину перед ней? Он ведь не подлец какой-нибудь. Разве не учил его отец: «Главное — прожить жизнь честным человеком».

То, что Вера вдруг так изменилась, повзрослела, заставило Вадима задуматься над всем этим и как-то сразу, так же внезапно, как изменилось Верино настроение, почувствовать ответственность перед ней, перед тем человеком, который вскоре появится на свет, и перед всеми людьми.

Вадим искал случая помириться с Верой. Он нарочно ходил по коридору, где в перерыве толпились студенты ее группы.

Вера стояла с подругами и рассказывала что-то веселое. У нее был талант — она умела подражать голосам знакомых. Девчата заливались смехом.

Увидев Вадима, Вера поманила его пальцем, а сказала голосом Ваньковича, преподавателя истории русской и белорусской архитектуры, который именно так вызывал студента для опроса:

— Поди-ка сюда, драгоценный мой, миленький, родненький. К этим священным руинам.

Уже это рассмешило девушек.

Однако Вадим послушно подошел.

— Девчата! — обратилась Вера к подругам серьезно и, как показалось Вадиму, даже грустно, но именно это настроило студентов на смешливый лад. Они ждали новой шутки. — Помните, как этот верный рыцарь ухаживал за мной? О, какие серенады он мне пел! Вы бы только слышали! — Однако никто не засмеялся, слушателям вроде даже неловко стало. — А что мы имеем на сегодняшний день? — спросила Вера опять голосом другого преподавателя, но и это не вызвало смеха.

Вадим похолодел: неужто она может прямо вот так сказать о ребенке? У него был растерянный, вызывающий жалость вид. Вера посмотрела ему в глаза и, должно быть, поняла, чего он испугался. Сказала весело, с едкой иронией, которую понял только он:

— А теперь мой верный рыцарь поет серенады под другими окнами.

Верин однокурсник Саша Ткачук, к которому Вадим когда-то ревновал ее, подбежал откуда-то сбоку, потребовал с пафосом:

— Вера, скажи, кто она, и мы побьем эти окна.

— Нет, Сашка. Слишком хлопотно носить передачи, когда тебя посадят на пятнадцать суток.

— А мы сделаем так, чтоб посадили Кулагина.

Вадима выручил звонок на лекцию.

Было это позавчера. А сегодня Вадим, посиневший от морозного ветра, ждал ее на автобусной остановке на их улице. Вера увидела из автобуса, как он прыгал с ноги на ногу, спрятавшись от ветра за газетным киоском. Пижон, ходит без шапки, и снегу намело в его каштановую шевелюру так, что, казалось, голова вдруг поседела. На миг ей стало жалко его, но она отогнала эту жалость, сердито подумав: «Глупая! Он тебя не жалеет, а ты... Кто его заставляет ходить без шапки?»

Сделала вид, что не заметила его, и, заслонившись меховым воротничком, хотела прошмыгнуть мимо. Но Вадим догнал ее, пошел рядом. Вера как будто удивилась:

— Ты?

Однако невольно замедлила шаг — до дому было двести метров. То ли от холода, то ли от волнения, но Вадим не знал, с чего начать разговор.

Вера помогла ему:

— Ты хотел что-то сказать?

— П-по-чему т-ты т-такая? — никогда раньше он не заикался, совсем замерз, бедняга, у нее опять затеплилась почти материнская жалость.

— Какая?

— В-ве-с-селая.

Она остановилась, стала против него, глаза ее гневно блеснули. Передразнила со злостью:

— В-ве-с-селая. А тебе хотелось бы, чтоб я в петлю полезла? Нет, не дождешься! Не те времена! Я радуюсь. Да, радуюсь, что у меня будет ребенок! Сын или дочка!

Вера почти крикнула это. Женщина, проходившая мимо, услышала ее слова и с любопытством оглянулась. Но Веру уже ничто не тревожило после разговора с родителями, после того, что сказала мать.

— Огорчает разве только одно, что его отец ты.

— В-вера! Зачем ты?.. — посиневшие губы его дрожали так, что казалось, он вот-вот заплачет, как маленький. — Х-хочешь, завтра пойдем в з-загс?

— Нет, не хочу! Не хочу! Не желаю иметь такого мужа!

И побежала дальше. У своего дома оглянулась. Вадим шел следом. Спросила почти спокойно:

— Ты хочешь идти к нам?

Он кивнул.

— И не думай!

— В-вера!

— И не думай!

Нырнула в подъезд. Но через минуту чуть приоткрыла дверь, глянула, что делает Вадим. Ссутулившись, как старик, седой от снега, он медленно шел назад по улице. Ах, как ей хотелось окликнуть его, вернуть, повести в их теплую уютную квартиру, сказать матери, что завтра они пойдут в загс! Сесть вместе пить горячий чай с малиновым вареньем — от простуды. Должно быть, иней растаял на ресницах, и влага эта ела глаза. Она отворила дверь настежь. Чувствовала, что, если Вадим обернется, увидит ее и кинется назад, она не выдержит и побежит навстречу. Но когда он остановился, как будто в раздумье, она снова спряталась в подъезд.

Когда вспоминала дома, в тепле, за подготовкой задания по типологии общественных зданий, как Вадим пошел один, без шапки по такому холоду, хотелось плакать от жалости к нему. Но тут же всплывала радость. Радость оттого, что выдержала характер.

И Вера пела.

Поля радовалась, когда за столом собиралась вся семья. В последние годы это редко случалось. Даже завтракали врозь, потому что в разное время уходили в школу, в институт, на работу. Обедали вместе разве что в выходные и праздничные дни, но тоже не всегда. Порядок нарушал Игорь. К ужину он тоже редко являлся. И нельзя его было упрекать: двадцать шестой год парню, самостоятельный человек, молодой архитектор, у него свои интересы, друзья, девушка. В тот вечер к радости матери, что Вера повеселела, прибавилась еще эта, пускай небольшая, радость — к ужину собрались все. По этому случаю Поля накрыла стол в комнате, ужин приготовила почти как в праздник, даже бутылку самодельного вина поставила для мужчин. Младших привело в восторг такое застолье, особенно Катьку, которая уселась на почетное место — у торца стола рядом с отцом.

Раньше Вера часто подтрунивала над затянувшимся ухаживанием брата за молодой докторицей, девушкой красивой, но капризной (эта черта невесты сына огорчала Полю). Последние месяц-полтора Вера избегала разговоров на эту тему.

И вот она снова шутливо спросила, обрадовав этим мать:

— Гарик, что-то медички твоей я давно не вижу. Уж не поссорились ли вы?

Игорь легонько щелкнул сестру по носу, насмешив младших.

— Во-первых, я тебе, кнопка, не Гарик, а Игорь Викторович. Дипломированный архитектор. Заруби себе на курносом носу. А во-вторых, если родители считают, что тебе не рано знать о таких вещах, то разъясняю: такой собачий холод остужает все чувства.

— Раньше было наоборот, — улыбнулась мать, раскладывая по тарелкам душистые и румяные, поджаренные с луком шкварки.

— Когда это было наоборот, мама? — засмеялся Игорь. — И что было наоборот?

— Зимой собирались на вечерки.

— Хе, вспомнила доисторические времена! А где нам собираться? Чем больше мы строим, тем теснее нам жить. Парадокс. Верно, отец?

Виктор не откликнулся. Ему не хотелось затевать бесплодный спор с сыном. Довольно уже было таких споров. А Игорю сегодня охота было порассуждать. Он цыкнул на Катьку, которой вдруг захотелось поменяться с Таней вилками; но школьница придерживалась педагогического принципа: не уступать баловнице, все, мол, уступают ей, и она скоро сядет им на голову.

— Катерина Великая! Не шуми. Слушай мудрые речи, а то посажу под стол.

— Ты Игорь Викторович! — девчушка произнесла имя брата, как кличку. — Сам полезешь под стол.

— Пробовали мы, мама, наладить вечеринки. Но, во-первых, больше двух-трех пар ни одна семья не выдерживает. Музыку наши высокоинтеллектуальные любимые заводят такую, что даже у меня, закаленного по части шума, начинает болеть живот. И сразу же со всех сторон — сверху, снизу — аккомпанемент. В виде угрожающего стука. Так мы с тобой, отец, строим.

— Не мы строим, — возразила Вера.

— Милая моя! На втором курсе пора уже знать роль архитектора в строительстве. Хотя я готов согласиться с тобой, сестра. Не мы строим, — и посмотрел на отца, явно желая втянуть его в спор; знал, что с таким утверждением старший Шугачев не может согласиться. Но тот снова промолчал. И сын продолжал свои рассуждения о том, где и как проводит время молодежь.

— Было одно приличное место — кафе «Космос». Там можно было согреть нутро кое-чем и разогреть душу танцами. Но теперь и там запретили даже сухое вино. Воюем с пьянством! Что ж осталось делать? Пить целый вечер дрянной кофе? Нэ можем. Нэ приучены к такому деликатному напитку.

Катька засмеялась над его «нэ».

— Ты часто начал согревать нутро, — недовольно бросил Виктор.

— Отец! Неточную имеешь информацию, а потому неправильный делаешь вывод. На мой заработок не очень-то разгонишься, если б и хотел. Половину я отдаю матери.

Поля сказала:

— Женился бы ты, Гарик.

— На ком? На Жанне? Куда же нам деться? Жить где?

— Нашлось бы место. В тесноте...

— О нет, мама! Зная Жанну, никогда не приведу ее сюда. Тебя жалею. Испортит она тебе жизнь.

— Зачем же любить такую цацу? — сурово, осуждая брата, спросила десятилетняя Таня.

Поля грустно улыбнулась — ей давно не нравился излишний, действительно недетский рационализм девочки.

Игорь весело похвалил сестру:

— Ты мудрец, Танюша! Философ! Но, дражайшая моя сестрица, в жизни не все так просто, как тебе кажется. И Жанна не только «цаца», как ты говоришь. Жанна — загадочное создание не менее загадочной природы. А все загадочное нас притягивает. Как магнит гвозди. Видела?

Виктору не нравилось, что этот разговор ведется при младших детях. Даже Катька и та навострила уши. Довольно того, что телевизор открывает детям больше, чем им следовало бы знать в их возрасте. Да и Вера, поначалу веселая, когда заговорили о женитьбе брата, насторожилась и словно замкнулась, не поддержала ни мать, ни Игоря. Вера, пожалуй, лучше, чем все, знает эту Жанну, и для нее было бы почти трагедией появление в доме невестки, да еще такой «форсистой», по определению Максима. Максим, между прочим, познакомившись с Жанной, сказал Виктору: «Не стремись, чтоб сын женился на этой принцессе. Она — копия моей Даши».

Странно, что Поля не подумала о Вере, советуя сыну жениться.

Чтоб перевести разговор на другую тему, Виктор сказал сыну:

— Был в вашей мастерской. Смотрел проекты застройки Московской. Что вы делаете? Ни одного оригинального решения. Все типовое в худшем смысле этого слова.

— Отец! Осторожно! Типовое стало словом положительным. Живем в век стандартов. А еще великий Корбюзье сказал: архитектура оперирует стандартами.

— Ты нахватался цитат, а до смысла их не доходишь. Архитектура оперирует стандартными материалами, этого потребовало индустриальное строительство, но сама архитектура не может... она никогда не должна быть стандартной.

— Это иллюзии, отец. Она давно уже стала такой, твоя дорогая архитектура. Скажу больше, типовое строительство уменьшило потребность общества в архитекторах... Они не нужны.

— Ну, загнул! — засмеялась Вера. — Нас везде не хватает.

— Кого не хватает? — удивился Игорь. — Я говорю об архитекторах-художниках, каким воображает себя наш отец...

— Игорь! — матери давно не нравилось ироническое отношение сына к отцу. Но Виктор снисходительно улыбнулся: мол, пускай болтает, я не обижаюсь.

Игорь наступал на сестру:

— Ты заглядываешь в специальные журналы?

— Читаю их больше, чем ты.

— Читаешь, но не думаешь. Слышала про ЦНИИЭП?

— В нашем доме о нем Катька знает.

— Слава богу. Я там был. Это грандиозное учреждение. Там

все на уровне сегодняшней проектной техники. ЭВМ, АСУ и так далее. Иначе нельзя. Отстанем. По проектам этого института строятся почти все театры, кинотеатры, клубы, административные здания, спортивные комплексы. Все, что формирует эстетический облик городов. Зачем же при такой системе десять... двадцать тысяч зодчих? Их достаточно сотни.

— Вы с Макоедом самый гениальный проект посадите так, что вырастет конюшня, — как бы между прочим обронил Шугачев-старший, все еще не желая ввязываться в гущу спора, потому что не раз выходил из него с занозами в душе.

— Отец, не переходи на личности! Недозволенный прием! Но я ловлю тебя на слове. Ты согласился... почти согласился, что зодчий в классическом понимании в наше время не главная фигура. Во всяком случае, в таком городе, как наш. Архитектор-планировщик. Архитектор-организатор... Вот кого не хватает, дорогая сестра! Их нужна армия при наших масштабах. Планировщика просит каждый колхоз. А проекты домов им пришлют, какие они захотят. Московские. Минские. Чешские. Польские. Индустриализация строительства ведет к интернационализации архитектуры. Национальная архитектура в прошлом. В памятниках.

— Это же неправда! — горячо возразила Вера. — Неужели ты не видишь разницы в проектах наших и армянских архитекторов? Литовских и узбекских?

— Это последние потуги. Провинциализм. Централизация проектирования покончит с этим анахронизмом, который вы, традиционисты, поднимаете как знамя.

— Сын мой, — с торжественной иронией, но с глубокой грустью в душе, потому что чувствовал в словах Игоря долю правды, сказал Шугачев-старший, — мы с тобой провинциальные архитекторы. Что же останется на нашу долю?

— Я сказал что — планировка и организация. Это, между прочим, давно понял твой друг Карнач...

— Опять неправда! — весело и победоносно крикнула Вера. — По проектам дяди Максима возведены самые интересные здания. Лучший Дворец культуры...

— Ну, не все его считают лучшим. Многие наши коллеги ни в грош не ставят этот дворец.

— А ты как считаешь? — спросил отец настойчиво и сурово.

— Я? — Игорь на миг смешался.

— И он за ними, — сказала Вера с обидой и горечью из-за того, что член их семьи, ее брат так пренебрежительно относится к своему учителю. В том, что Игорь и она пошли в архитектуру, заслуга дяди Максима, может быть, не меньше, чем отца.

— Я пока приглядываюсь.

— Приглядываешься? К чему? Или прислушиваешься к Макоеду?

— И прислушиваюсь. Чтоб знать истину...

— Ты меньше разносил бы макоедовские сплетни! Это занятие для бездарностей.

Почуяв, что отец начинает сердиться, Игорь попытался обернуть все в шутку.

— Мама! — как маленький, крикнул он матери, которая вошла в комнату с тарелкой аппетитных блинчиков с творогом, обильно политых топленым маслом. — Мне хотят заткнуть рот!

Дисциплинированная Таня и Толя, который считал себя совсем взрослым, всегда с интересом слушали споры архитекторов. Мать, в любых других вопросах высший авторитет, никогда не вмешивалась в профессиональные разговоры мужа и детей, разве только когда уж слишком разгорались страсти и дело доходило до ссоры или когда Игорь разрешал себе неуважительно подсмеиваться над отцом. Полю радовало, что они собираются вместе и так горячо спорят.

Слова Игоря, что ему хотят заткнуть рот, рассмешили Катьку. Девочка, представив, как и чем это можно сделать — заткнуть рот, — так и закатилась смехом.

— Мама! Игорю заткнули рот.

— Чем? — улыбнулась Поля, ставя тарелку с блинчиками на середину стола.

— Игорь! Чем тебе заткнули рот?

— Словами, дорогая Катерина.

— Разве словами можно заткнуть? — удивилась Катя.

Детская непосредственность всех рассмешила.

— Можно, Катька. Такой кляп вставят, что не пикнешь.

— Не плети чепуху ребенку, — сказала мать. — Кто тебе вставлял кляп?

— Никто как будто бы. А между тем я почему-то стал мудрым. Иной раз хочется на совещании, на собрании сказать то, что думаю. Но включается какой-то автоматический тормоз. Иногда тормозит намертво: не лучше ли помолчать? А иногда спускаюсь тихо, ровно, как хороший шофер с горы, говорю то, что нравится...

— Начальству? — презрительно спросила Вера.

— Нет, сестра. Говорю то, что нравится большинству. Играю, как посредственный актер, на публику.

— Зачем? — серьезно, даже встревоженно спросила Поля.

— Черт его знает. Пользы от этого в большинстве случаев мне никакой.

— Он как Катька, — сказала Вера. — Хоть глупость сказать, только бы обратить на себя внимание.

— Ты сама глупая! — закричала обиженная Катька.

Вера отмахнулась от сестренки.

— А скорее всего, это от Жанны. Она любит показать себя. С кем поведешься...

— ...от того блох наберешься, — помог сестре Толя без улыбки и, кажется, без особого интереса к их разговору; он прикиды-

вал, хватит ли на всех еще по блинчику. Толя был самый справедливый и самый простодушный в семье, все всегда делил на всех, любую мелочь, и презирал всякие условности, которые, по его мнению, усложняют человеку жизнь; например, вилкой он брал только то, что нельзя взять пальцами, а блинчик не ковырять вилкой, а взять пятерней — одно удовольствие.

Мать слышит каждое слово, видит каждый жест и взгляд.

— Бери, бери, Толя, не считай. На кухне еще есть. Таня! Ты одного блинчика не можешь осилить?

— Мамочка! Так ужинали купцы.

— Грамотные вы все!

Надо было ответить Игорю, который, пока она разговаривала с младшими, сказал Вере, продолжая диалог:

— А я думаю, это от отца. Наследственность. Наконец ее перестали отрицать у нас.

Распустился Игорь, никакого уважения к отцу.

Но Виктор не обиделся на слова сына, с молодой улыбкой ответил:

— Нет, врешь, брат. И на собраниях я выступал редко. И на публику никогда не играл. Это болезнь твоего поколения. Нам было не до того.

— Отец, не переноси мою болезнь на все поколение. Сам ты говоришь, мы разные. И вы разные. Карнач и ты, например. Хоть вы и друзья.

— У нас разные характеры. Но у нас одни идеалы.

— Только ты борешься за них как идеалист, а Карнач — как реалист. Он строит дворцы... Их могут ругать. Но о них напишут монографии. Теперь он захватил себе монумент партизанам...

Игорь осекся. Он вдруг увидел, как отец положил вилку — очень уж осторожно — и как побагровело его лицо.

— Сын мой, — угрожающе тихо и хрипло обратился Виктор к Игорю. — Я понимаю так: ты хочешь сказать, что я непрактичный дурак, потому всю жизнь проектирую жилые дома? Верно?

Игорь не отвечал.

Шугачев-старший поднялся из-за стола, и голос его зазвенел:

— Да. Я проектирую жилье. И скажу тебе, что ни один дворец, ни один монументальный комплекс не дал бы мне той радости, какую дает работа над жилым домом, районом...

— Громкие слова, отец. Кто про них сказал доброе слово, про твои дома?

— Игорь! — возмутилась мать.

— Ничего, Поля. Это хорошо, что сын откровенен, хотя и грустно, что он так думает. Любовь к славе движет творчество, но часто и губит художника... Я тоже думал о ней, о славе. Раньше больше, теперь меньше. Но если можешь, прошу поверить... Это не громкие слова. Работал я не ради нее, не ради

монографий. Проектируя, я думал о людях... о детях... о тебе, о Тане, чтоб вам было тепло, уютно... просторно...

Игорь хмыкнул.

— Я тебя понимаю. Думаешь, у меня не болела душа, когда я проектировал лестничные клетки, по которым нельзя было внести мебель, совмещенные санузлы и два с половиной метра от пола до потолка? Но что лучше — такая квартира или ничего? Теперь мы стали богаче. Переросли эти габариты. От многого отказались. Теперь мы можем думать о городе, районе, который удовлетворил бы потребности людей завтрашнего дня... Твои потребности... Катькины... Даже потребности твоей Жанны. — Шугачев усмехнулся, обошел стол, остановился перед сыном и дочерью и торжественно заявил: — И я сделаю такой район! Он уже построен! Здесь! — он хлопнул ладонью по лбу, повернулся и сказал жене тише и не так уверенно: — Я построю такой район в Заречье. Несмотря ни на что, — и сел на свое место, улыбнулся обессиленно, как будто окончил тяжелый труд, потом виновато, как бы извиняясь, что не все сделано так, как им, детям, хочется, попытался пошутить: — Ты еще напишешь монографию про мой район.

— Браво, папа! — с искренней радостью воскликнула Вера.

— Браво! — захлопала в ладоши Катька.

В Полиных глазах затаилась тревога, она одна почувствовала, что у Виктора неспокойно на душе. Впервые ее не обрадовало то, что он говорит с детьми так серьезно, такими высокими словами и будто превозносит себя. Значительно проще было его понять, когда он посмеивался над теориями Игоря или сердился, кричал. В таких случаях она с улыбкой думала: «Пускай хоть в семье человек проявит свою власть».

Игорь смотрел на отца без обычной иронической усмешки, серьезно и пытливо, как будто увидел вдруг совсем другого человека.

— А ты знаешь, старик? Эта твоя уверенность мне понравилась. У тебя никогда не хватало уверенности. Каждый свой проект ты ставил под сомнение. Только все карначовское хвалил.

— Карнача не трогай. Он выдающийся архитектор.

— Он тебя вырастил, свинтус ты, — с обидой за Максима бросила брату Вера.

Поля мыла тарелки, когда Виктор вошел в кухню. Остановился у нее за спиной. По шагам, по молчанию, даже, кажется, по тому, как он дышит, она почувствовала, что он хочет поговорить с глазу на глаз.

— Опять сама моешь? — недовольство явно деланное. — Мало у тебя помощников? Тарелки не могут помыть!

— Витя! У каждого из них свои дела. Столько уроков!

— Растишь белоручек.

— Витя, у нас неплохие дети, — Поля старалась говорить мягко, осторожно, чтоб не задеть больное место, а где оно, никак не могла догадаться.

Виктор отошел и сел на табуретку у стола. Помолчал.

— Поля!

— Что, Витя?

— Я сказал им неправду. Детям.

Она поставила тарелку на тумбочку и повернулась от раковины, сняла с плеча полотенце и закутала им покрасневшие от горячей воды руки, точно застеснявшись, что они такие красные, мокрые.

— Самое странное, что именно сегодня я хотел сказать вам правду. Но этот чертов сын Игорь так повел разговор, что я не мог иначе. Пойми...

— Нет, не понимаю, — чуть шевельнула она губами.

Шугачев на миг закрыл лицо ладонями, но тут же протер пальцами глаза, словно в них попала пыль, стер эту пыль со щек и сказал решительно:

— Заречного района не будет. Нет, район будет, но не по моему проекту.

Подождал, что она ответит. Поля молчала. Он вскочил и, расхаживая по тесной кухне — три шага вперед, три назад, — стал горячо и многословно убеждать:

— Думаешь, мне легко слушать попреки родного сына? Ты думаешь, я дурак, не понимаю, что он говорит правду? Да, большинство моих домов устарело. При моей жизни. Это трагедия для архитектора. Ведь мы все мечтаем творить на века. Мне пятьдесят четыре года. У меня есть опыт... Я могу... и я хочу построить район, который выразил бы нашу эпоху. Не люблю громких слов! Скажу тебе проще. Комплекс этот выразил бы нашу с тобой радость жизни, радость наших детей. А мое восприятие мира, я уверен, дало бы радость и людям, которые бы там жили. Разве для этого не стоит потрудиться? Я понимаю безжалостный закон экономии. Я проектировал самые экономичные дома. Но больше не могу. Верно, не пришло еще время для постройки того, что спроектировано у меня в голове. Но почему можно другим — в Москве, в Вильнюсе? Почему нельзя мне?

О нормативах Поля наслышалась и от мужа, и от сына, и от их коллег, молодых и старых. В экономических расчетах проектов она разбиралась получше иного архитектора. И между прочим, будучи бережливой хозяйкой, зная цену деньгам, которых постоянно не хватало, она не всегда одобряла их недовольство нормативами, тем, что нельзя тратить государственные деньги без ограничений. Но никогда и никому не высказывала своего мнения. И считала, что ее Виктор, не в пример молодым, самый разумный: он иногда тоже ворчал, однако всегда заботился о стоимости каждого проектируемого им дома. Даже Максима попрекнул. Правда, за глаза. Когда они осматривали Дворец культуры, ска-

зал: «Замечательное, конечно, здание. Но триста тысяч сверх сметы...» — почмокал и покачал головой.

Что же вдруг случилось?

Виктор умолк. Неужто ждет от нее ответа, почему ему нельзя спроектировать такой район, какие строят в других городах? Как будто она председатель Госстроя, не меньше. Смешной ты, Витя.

Она сказала:

— Ты же сделал половину работы. Год сидишь.

— Но эту работу никто не утвердит. Я не укладываюсь в нормативы.

Поля вздохнула.

Опасаясь, что она будет против того, что он намерен сделать, Виктор снова стал убеждать:

— Я должен отказаться, Поля. Я больше не могу совершать насилие над своим талантом. Есть же у меня характер!

«Характер есть, воли нет», — подумала Поля, но промолчала.

Виктор спросил:

— Ты знаешь, чем это для меня может кончиться?

Поля раскутала руки, взяла тарелку и начала осторожно вытирать, бережно, как очень ценную вещь, хотя тарелка была самая дешевая; дети немало били посуды, и она покупала что подешевле. Этими осторожными движениями она как будто отвечала мужу, что хорошо понимает, как может отразиться на благосостоянии семьи его непродуманный шаг.

Голос Виктора упал, но он все еще оправдывал себя:

— Хороший архитектор не нуждается в должности. Но главный архитектор проекта — это не должность. Это признание.

Поля отвернулась к раковине и открыла горячий кран.

Виктор разозлился.

— Почему ты молчишь? Почему я один должен решать, что делать? Все я! Все я!

На деле без ее совета он не решал ни одной мелочи: какую надеть рубашку, идти гулять или не идти, что купить на ужин. Потому и нервничал сейчас, что жена ведет себя так, как будто его работа ее не интересует.

Поля понимала это. Но что ему посоветовать? Всю жизнь она старалась помочь ему в работе всем, чем могла, и боялась только одного — помешать. Поля вытерла руки и села на табуретку у двери по-деревенски, на краешек. Виктор приблизился к ней, сморщился, как от боли, сказал шепотом, показывая на дверь:

— Потянуло меня за язык... Ну, что я мог ответить, когда он, поганец, попрекнул, что я всю жизнь сижу на жилье? Болтун. Да, не вовремя все это. «Я построю район, о котором тебе захочется написать монографию». А завтра он узнает...

Полю это тронуло, даже обрадовало: отцу так важно, что подумают о нем дети!

— Витя, дети тебя поймут.

Он смотрел в окно на улицу, на дом напротив, кстати, его дом, который всегда мозолил глаза, потому что был этот дом, пожалуй, самый неудачный. Мало утешало, что внешний вид его испортили строители, что они больше виноваты. Максиму дворец никто не испортил, потому что он дрался из-за каждого пилястра, за каждый канелюр, глаз не спускал...

Выходит, Поля одобряет его намерение? Так просто? Так легко? Шугачев почувствовал разочарование. Не понимает, значит, чем это грозит. Стоя у окна, сказал нарочно громко, пускай слышат дети:

— Меня пугает не то, что из моего отказа могут сделать, знаешь, какие выводы... Я сам сделал бы. Руководитель мастерской отказывается от задания! Какой же ты руководитель? Освобождай место. Не подводи институт. Если хочешь, могут даже записать в карточку — тридцать лет чистая... Когда меня после этого сделают главным архитектором проекта? Искать под старость счастья в другой республике? — он нарочно сказал это, не сомневаясь, что Поля запротестует самым решительным образом. Странно, что она промолчала. Непонятно она себя ведет сегодня. Глаза у нее стали грустные и лицо как будто побледнело. Сделалось жалко ее, и он успокоил: — Никуда я не уеду. Я белорус. С этим городом связан пуповиной. Мне ничего не страшно! Я могу работать рядовым проектировщиком. Нам будет нелегко. Но я знаю, ты не упрекнешь меня. Ведь нет?

Поля кивнула головой: нет, не упрекну.

Он обнял ее за плечи, поднял с табурета.

— Ты самая умная из всех жен.

Они с Полей рядом прошли по кухне и присели у стола. Он сел напротив, лицом к лицу, и признался:

— Я одного боюсь, Поля. Что ничего этого не будет. Ни разбора. Ни выговора. Ни снятия с должности. Просто отдадут проект Макоеду. И он все испоганит. Такой район!

Виктор смотрел на жену в упор, ожидая, что она, как всегда, скажет что-нибудь такое, от чего вся его проблема станет простой и ясной. Как с Верой. Ему казалось — трагедия, а Поля разрешила все так мудро.

Наконец она спросила:

— Ты с Максимом советовался?

Он почему-то рассердился.

— Не хочу я с ним советоваться! Он дал АПЗ, уверял, что они с Игнатовичем добьются разрешения на экспериментальный район. Я надеялся на них. На кого мне больше надеяться? А теперь у них разлад. Из-за глупой бабы он готов загубить такое дело!

— Не брани его, Витя. Ему нелегко.

— А мне легко?

Она сказала удивительно просто и уверенно:

— Витя, ты сделаешь этот проект.

— Так ты меня понимаешь и поддерживаешь? Спасибо!

— Тебя совесть замучает, если ты откажешься.

Он закричал на всю квартиру:

— Совесть! Из-за этой идиотской совести...

— Не кричи, Витя. Дети. Ты и по этим нормативам спроектируешь не хуже.

Он вдруг обмяк, обессиленно опустился на табурет. Он капитулировал перед обезоруживающей непоколебимой уверенностью жены. Устав от душевной борьбы, он в глубине души рад был Полиному решению. Он не обманул детей. Сказал им правду! Заречный район будет. Его, шугачевский!

XVI

Шугачев не знал, что Макоед предпринимает шаги, чтоб перехватить у него проект Заречья.

У Макоеда был необыкновенный талант — все узнавать, обо всем пронюхивать раньше других. О самых высоких совещаниях и постановлениях он по секрету рассказывал до того, как появлялись официальные сообщения или публикации этих постановлений. Всегда хорошо был осведомлен о взаимоотношениях людей интересовавшего его круга. Первым узнавал, кого повышают, кого понижают, куда кого переводят, кто заработал выговор, а кто благодарность и награду. Только с самоотводом Карнача сел в лужу. Это была неожиданность, которая его ошеломила. Но еще больше сбило его с толку и причинило прямо-таки душевные муки то, что он долго не мог выяснить причину такого непонятного, странного и, казалось ему, совсем несвойственного Карначу поступка. Он всегда считал и тайком убеждал всех знакомых, весь Союз архитекторов, что Карнач по характеру своему карьерист.

Еще большее разочарование Бронислав Адамович испытал, когда узнал о причине Максимова самоотвода. Сперва даже не поверил. Ерунда. Еще одна карначовская мистификация. Но когда убедился, что это так, когда об этом загудел весь филиал Белгоспроекта, не мог простить себе такой слепоты и глухоты. Постарел, что ли? Как он, такой жох, мог не знать о семейных отношениях человека, за которым с самого института следит пристальнее, чем за кем бы то ни было? И более ревниво. Сам себе признавался в этом. Да, ревниво. Что ж тут такого? Они ведь однокурсники. И только они двое из всего курса получили за дипломные проекты пятерки. Оба их проекта, у него — жилого дома, у Максима — районного универмага, были приняты для строительства объектов. Для выпускников это наивысшая оценка, потому что большинство дипломных проектов никакого практического значения не имело. Тогда он от всей души клялся Максиму в

дружбе. «Через десять-пятнадцать лет мы с тобой будем ведущими архитекторами республики». Максим скептически улыбался. Почему? От сознания своего превосходства? От неверия в его, Макоеда, способности? Эта улыбка не понравилась Брониславу уже тогда, на выпускном вечере. И зависть уже тогда была: Карнача оставили в Минске, его послали в областной центр.

А потом... Карначу все удавалось. Карнача хвалили. На него, Макоеда, наводили критику. Он сам чувствовал, что у него не получается так, как хотелось бы. Считал, что его талант губит провинция. Но Карнач сам приехал в их город и сразу оказался в центре не только архитектурной жизни. Тогда Макоед сделал вывод: надо уметь жить. Даже жениться надо уметь. Он забыл о том, что, когда Карнач женился на свояченице Игнатовича, сам Игнатович был всего лишь инструктором горкома комсомола.

Макоеду всю сознательную жизнь хотелось добиться руководящего поста. Но он, уже изрядно облысев, добрался только до должности руководителя мастерской. Как ему хотелось стать главным архитектором города! Но дорогу перебил Карнач. Черт его принес из столицы!

И вот Карнач покачнулся. Перед Макоедом засветил маячок. Ах, если б ему вырвать из-под Карнача кресло... Используя свой и карначовский опыт, он сумел бы показать себя. В конце концов, много значит быть каждый день на глазах у начальства, самому планировать застройку и первому узнавать, что планируется сверху. В таком положении легко и для себя получить выигрышный проектик, вроде карначовского Дворца культуры, которому городские и областные власти дали самую высокую оценку и теперь показывают как достопримечательность города каждой делегации.

Сперва его немного разочаровало, что Карнач споткнулся на семейных ухабах. Лучше было бы, если б он поскользнулся на работе, на архитектурном поприще. Но, рассудив, продумав детально, Макоед пришел к выводу, что вряд ли спустят это главному архитектору города. Надо иметь в виду, чья сестра Даша. А родство — большая сила. Пока ты свояк первого секретаря горкома, ты на коне. Разорвешь родство, неведомо где можешь оказаться.

Зная, что Игнатович архитекторов, художников принимает без очереди, Макоед записался на прием на третий день после конференции, когда еще не выяснил причину самоотвода Карнача. Он сгорал от любопытства и надеялся, что в разговоре с Игнатовичем сумеет если не выяснить причину, то нащупать хотя бы тоненькую ниточку, которая помогла бы распутать клубок.

Раньше по этому делу он не рисковал обращаться в горком, потому что не сомневался: Игнатович поддержит Карнача, — главный архитектор не давал разрешения на место, где ректорат института и молодые архитекторы из его, макоедовской, мастерской хотели посадить общежитие. Как архитектор Макоед в душе

соглашался с аргументами Карнача. Но дурак он был бы, если б стал поддерживать коллегу. Тем более что, кроме всего прочего, Нина просила помочь институту, — ей надо еще пройти конкурс, чтоб закрепить за собой кафедру.

Результат приема окрылил его. Во-первых, Игнатович хотя и дал понять, что дело мелкое и горком не будет подменять архитектурное управление, но не возражал против посадки общежития там, где просил институт. Во-вторых, и это для Макоеда было главной радостью, пока они были у секретаря, Карнач, который раньше заходил в этот кабинет без стука, вынужден был ждать в приемной.

В такой ситуации очень важно почаще показываться Игнатовичу на глаза. Но с чем? Не полезешь же опять с общежитием или другой подобной мелочью. Надо подбросить такую архитектурную идею, которая могла бы заинтересовать секретаря горкома. Какую? Подкинь, когда в голове пусто.

Но вдруг озарило... Заречный район... Знал, как интересуется Игнатович будущей застройкой этого района. Хочет сделать экспериментальным. Разработка проекта поручена мастерской Шугачева. Не без стараний Карнача. А Шугачеву Макоед завидовал не меньше, чем Карначу. Кому он не завидовал! Но вместе с тем он умел лучше, чем кто бы то ни было, анализировать происходящее, соотносить большое и малое. Состоялся Пленум Центрального Комитета партии. Генеральный секретарь говорил о недопустимом распылении средств в капитальном строительстве, о неоправданном удорожании многих строек, призывал к экономии. Экспериментальный район, на который Шугачев разевал рот и с идеей которого носится как курица с яйцом, требует дополнительных ассигнований. Черта с два вы получите их теперь! Кто это после Пленума выделит лишние миллионы для какого-то областного города? Надо перечеркнуть идею Шугачева, его проект проектом более экономичным.

К удивлению Нины Ивановны, Броник дней десять не открывал свой бар, точно ключи потерял, и до поздней ночи сидел не у телевизора, а над чертежной доской.

— Что за срочная работа такая? — спросила она.

— Конкурс.

— Ты — как студент, который собирается жениться и у которого одна надежда на конкурсную премию. На что конкурс?

— Секрет. Хочу сделать тебе сюрприз.

Когда чертежи определились, Нина Ивановна выразила недоумение:

— Конкурс на планировку района? И ты хочешь за это получить премию? Мура какая-то. Студенческий черновик.

Он подскочил:

— Все, что я делаю, для тебя мура!

Они поссорились. И Броник в тот вечер выцедил почти недельную норму, которую он, работая, сэкономил.

Игнатовичу его идея не понравилась, хотя рассматривал эскизы секретарь долго и внимательно. Замечаний не делал. Вежливо сказал:

— Простите, Бронислав Адамович. Но, знаете, знакомо все. Как бы сказать? Вторично. Районов-близнецов у нас хватает. Хотелось бы получить новое, оригинальное решение. Поработайте, поищите. Я знаю, это не сразу приходит... Творчество!

Макоед понял, что свой проект ему не протолкнуть. Но не пал духом. То, что Игнатович ничего не сказал о шугачевской идее, которую давно, год назад, одобрил, и просит его, Макоеда, поискать новое решение застройки Заречья, обрадовало его. Значит, произошел поворот. Авторитет Карнача явно покачнулся. Похоже, что Игнатович ищет себе нового консультанта по архитектурным проблемам. В таком разе черт с ним, с Заречьем. Разумеется, было бы неплохо столкнуть Шугачева под откос. Удар по Шугачеву — удар по Карначу. Но пускай работает на здоровье, он, Макоед, добрый. Шугачевская идея требует сверхнормативных ассигнований, которых никто не даст. И будешь ты, Витя, проектировать район обыкновенный, типовой, славы на котором не наживешь, только крови тебе попортят при утверждении.

А ему важен не район, ему главное показать себя, свою глубокую заинтересованность в вопросах архитектурного облика города, о чем так заботится Игнатович. Поэтому он обещал, что будет работать, будет искать.

Нина как-то без него прочитала планировочный эскиз более внимательно, узнала район. Вечером сказала:

— Кому ты готовишься подложить этим свинью? Шугачеву или Карначу?

— Почему ты не хочешь увидеть здесь здоровое соперничество двух зодчих?

— Это ты зодчий? Не смеши меня.

В последнее время она слишком часто и зло насмехалась над его способностями архитектурными и... мужскими. Это не только оскорбляло Бронислава Адамовича, это пугало. Он всегда боялся, что Нина может его бросить. Теперь эта опасность как будто приблизилась. Что их связывает? Детей нет. А она такая красивая. В институте столько мужчин. Мучился от ревности, подозревая сразу трех преподавателей. И ошибался.

Хотя жили они, как кошка с собакой, но — недаром говорят в народе: муж и жена одна сатана — не могли не влиять друг на друга. Неприязнь Броника к Карначу постепенно передалась ей. Правда, она иногда дразнила мужа, что Максим ей нравится. На деле же считала, что из-за него Макоеду нет хода в большую архитектуру и это отражается на их достатке, хотя зарабатывали они в три раза больше, чем двое архитекторов Шугачевых — старший и младший.

Когда Броник позвонил ей, что Карнач нацелился на ее мес-

то в институте, она испугалась (ей так хотелось заведовать кафедрой!) и возненавидела этого человека, который мало того, что всю жизнь оттирает ее мужа, теперь еще становится на ее пути. Но через несколько дней в архитектурных кругах бомбой взорвалась новость — Карнач разводится с женой. Тогда в ее душе произошло что-то странное: боясь Максима и почти ненавидя, она в то же время почувствовала, что неведомая, страшная и притягательная сила влечет ее к этому человеку, такому непохожему на мужа. Что это — холодное женское любопытство или пожар, разгоревшийся из той маленькой искорки, которая когда-то давно, при первом знакомстве, затеплилась и тлела под пеплом неприязни — им изо дня в день засыпал ее Макоед?

Так что не из одной женской хитрости — чтоб поставить в неловкое положение возможного конкурента на конкурсе — пошла она на поступок, нелегкий даже для нее.

Сближение дало радость, какой она никогда не знала. Подтверждалась истина из старых романов: от ненависти до любви — один шаг. С Макоедом она после этого долго не могла лечь в постель, выдумывая самые невероятные отговорки. И издевалась над ним так, что подчас самой делалось стыдно и гадко. Днем и ночью она думала о Максиме. Если б он только пальцем ее поманил, сказал одно слово, она туг же, в тот же миг, презирая все сплетни, которые, как круги по воде, разошлись бы по городу, рискуя даже кафедрой, ушла бы к нему в Волчий Лог, в заснеженную пустыню.

Но на ее настойчивые звонки Максим отвечал любезной, веселой, однако бездумной, без подтекста и намеков болтовней, анекдотиками и сказочками. И всячески увиливал от предложения встретиться: то у него командировка в Минск, то лекция в дальнем райцентре, то скульптор приехал, с которым вместе они работают над монументом.

Это ее не просто огорчало — беспокоило, заставляло злиться на весь мир. Даже на него. Но она гасила это чувство рассудительностью: не надо торопить события, надо ждать, понять его осторожность, зачем давать Даше козырь, чтобы она могла оплевать на суде его, а заодно и ее. Но иногда ей становилось не по себе. А может быть, он и в самом деле хочет идти в институт на ее место? Из-за положения человек может отказаться даже от любви, в особенности в таком возрасте, далеко не юношеском. От этой мысли ее кидало в дрожь. Она придумывала страшные кары, которые обрушит на его голову. Одним словом, она жила в смятении чувств — с внезапными переходами от розовых грез о будущем к страху и гневу.

Макоед пронюхал, что городские власти недовольны протестом Карнача против «привязки» химического комбината в Белом Береге. Чего он лезет? Хочет себя показать? Размещение таких объектов решается не на его уровне.

Макоед вернулся в тот день с таким видом, будто выиграл

за тридцать копеек «Жигули». За обеденным столом, попивая аперитивчик, потирал руки.

— Нинуля! Как это римляне говорили? Кого Юпитер хочет покарать, лишает разума? Так?

— Кого это он лишил разума, твой громовержец?

— Карнача. Такой стратег и тактик был. Такой ловкач. Так вознесся. И вот... закружилась у человека голова. Что ни сделает, то, прости, в лужу...

— А что он сделал?

— Мало? Самоотвод... Протест в Совмин против строительства комбината.

— Он думает о будущем города.

— Хе. В том-то и беда, что он думает, будто один он думает.

Диалог шел на расстоянии: он — в комнате, она на кухне, готовила салат. Вошла в комнату с салатницей в руках, увидела, как Макоед сияет, как потирает руки, и... остановилась, не дойдя до стола.

Это злорадство, над которым она раньше подсмеивалась, дразня и подзадоривая Макоеда, теперь стало нестерпимым, оскорбляло ее.

Она гадливо сморщилась, как будто наступила на жабу.

— Да ты ногтя его не стоишь, слизняк лысый!

Макоед давно научился различать, когда Нина дразнит, издевается над ним, и, хотя это обижало, сохранял относительное спокойствие, иногда, в хорошем настроении, даже подыгрывал ей. Но на этот раз было непохоже на насмешку, на игру — только б позлить его. И слов таких она никогда еще не говорила. Такой обиды нельзя простить! Надо хоть раз показать ей свой характер!

Бронислав Адамович вскочил со стула.

— А ну, повтори... повтори, что ты сказала!

— Повторю! Сто раз повторю! — уже закричала в полный голос Нина Ивановна и бросила салатницу на пол.

Зазвенели, разлетаясь, фаянсовые черепки, жирное бело-коричневое месиво заляпало половину дорогого ковра.

Бронислав Адамович, ошеломленный таким поведением жены, испуганно отступил от стола. Много она ему крови испортила, но до такого не доходило ни разу. С ума сошла баба. Что она несет? Что она несет! Ужас!

— Не смей говорить гадости про Карнача! Я люблю этого человека!

Он застонал.

— Нина...

— Хочешь знать больше? Я его любовница.

И ушла в спальню, гордая своей отвагой. Там открыла шкаф, выкинула из него на кровать несколько платьев на плечиках. Первый порыв был — собрать чемодан и уйти отсюда навсегда. Теперь, когда сделала такое признание, разве можно оставаться?

Но уже следующие плечики — с шубой — застыли в руках и словно сами потянулись назад в шкаф.

Только в кино так просто уходят жены от мужей, осознав их никчемность и свою ошибку. В жизни все гораздо сложнее. Куда она пойдет из этого теплого гнезда? К кому? Кто ее ждет? И вещей у нее не на один чемодан (только пальто и шуб штук семь) — на добрую машину. Волна отхлынула. Обнажилось дно — весь этот быт, комфорт, они держат, привязывают. Смешно в наше время бросать квартиру, на которую имеешь не меньше прав, чем он. В последние годы, после защиты диссертации, она получала в иные месяцы, когда у Макоеда не шли статьи, больше его и все деньги тратила на себя и убранство квартиры. Богатую компенсацию получил бы Макоед за потерю жены!

Нет, в Волчий Лог она пойдет, но тогда, когда ее попросят, на руках понесут. А теперь пока что надо бить отбой.

Прислушалась, что делает Макоед. Ни звука. Точно умер. Это ее даже немного испугало. Но так бесшумно не умирают. Ошарашен, что ли? Вспомнила, какие глаза у него стали — что у коровы, которую ведут на убой.

Нина Ивановна усмехнулась. Интересно, однако, что он делает, в какой позе сидит. Не выдержала, как девчонка, заглянула в замочную скважину. Броника было не видно. Пожалела, что вместо легких застекленных дверей они поставили эти, дубовые. На черта им двоим такая изоляция. Скрывают они друг от друга мысли, а не слова. Слова могут быть любые, даже такие, какие она только что сказала. У других после таких слов была бы трагедия. У них будет фарс. Еще один. Она не сомневалась: ей удастся убедить Броника, что все это неправда, что она просто шутила, хотела подразнить его.

Наконец услышала, как заскрипел стул, как тяжело вздохнул оскорбленный муж.

Жив курилка.

А когда забулькал коньяк (в фужер наливает) и Макоед, забыв о своем горе, привычно крякнул, Нине Ивановне захотелось расхохотаться.

Потом слушала, как он, пыхтя и покряхтывая, подбирал черепки и салат, вытирал ковер. Конечно, жаль такую дорогую вещь. На кухне полилась вода в пластмассовое ведро.

«Хочет замывать. Переложит порошка, и химия съест краску».

Она посмотрела на себя в трюмо, нашла подходящую улыбку и с ней вышла из спальни.

Бронислав Адамович разогнулся, удивленный ее появлением. С мокрой тряпки текла мыльная вода. Остатки потных волос, которыми он обычно умело прикрывал лысину, прилипли ко лбу, воротник расстегнут, галстук сбился набок и висел поверх пижамной куртки.

В ней снова шевельнулся червяк гадливости, но она тут же растоптала его.

— Ах, какой ты молодчина, Броник. Разве можно найти лучшего мужа?

Из коровьих глаз его брызнули пьяные слезы. Хотя она знала его сентиментальность, чувствительность, но слезы эти на миг тронули ее.

— Ты по-ве-рил? — растягивая слова, наивно удивилась она.

Бронислав Адамович швырнул тряпку на ковер, мыльные брызги даже на стол полетели. И на нее. Одна-две попали на лицо.

— Ну, дорогой мой. Не знала я, что ты такого мнения о своей жене. Если ты мне поверил, то что было б, если б ты услышал такую несусветную сплетню от кого-нибудь другого?

В ответ он, как раненый бык, покрутил головой и угрожающе замычал, хотя чувствовал, что уже обессилел и не способен на месть.

Нина Ивановна осторожно приблизилась к мужу.

— Успокойся. Я хотела проверить, осталась ли у тебя хоть ревность. Мне давно казалось, что ты даже ревновать перестал. Я и теперь сомневаюсь, — она вдруг перешла в наступление. — Если эта тряпка под ногами, — пристукнула каблучком по ковру, — тебе дороже жены... если ты прежде всего подумал о том, чтоб пятна не осталось... Ты бойся пятен на совести!.. Ты, как попугай, повторяешь слова о любви. А где она? Я не чувствую ее. А я хочу любить! Я хочу любить! — она притворно всхлипнула. — Поэтому я и выдумываю черт знает что, только бы сделать тебе больно. Неужели ты, называющий себя психологом, не можешь своим куриным умом дойти до этого? Не можешь понять меня?

Бронислав Адамович перешел в оборону, потом сдался, даже просил прощения.

XVII

Свадьба была, как все свадьбы, в ресторане. Они похожи друг на друга, как военные парады. Никакой инициативы. Это Максима всегда удивляло. Если свадьба, городская свадьба, празднуется дома, бывают еще какие-то выдумки, попытки возродить старые добрые традиции. В ресторане от всего свадебного обряда остается одно «Горько!», которое кричат часто и слишком громко. А новое — длинные и скучные тосты. Еще счастье, если попадется хоть один шутник, который может подкинуть что-нибудь веселое, посмешить, а большинство ведет себя как на производственном совещании, где юмор считается легкомыслием.

Максиму сперва было скучно. Не просто скучно — горько, но не в том смысле, в каком здесь звучало это слово. И ничто не могло подсластить этой горечи — ни поцелуи дочери и зятя, ни

потуги одного из Ветиных коллег, волосатого музыканта, рассмешить почтенное общество старыми свадебными анекдотами.

Долго не мог понять причину такого настроения. Кажется, все хорошо. Прабабкины ему нравились все больше. Даже жених начал нравиться. И гости как гости. С его стороны их немного. Родные не приехали. Игнатовичи тоже не приехали, хотя не он их приглашал, приглашали Вета и Даша. Вете обещали, что будут. Выдерживает Герасим дистанцию — подальше от такого друга. Из их города приехал один Виктор Шугачев. Без Поли. Захворала Катька. Максим пригласил человек шесть своих минских коллег. Архитекторы сидели все вместе справа, пили почему-то мало (это Максима беспокоило — почему?) и горячо обсуждали какую-то свою архитектурную проблему, кажется, все спорили с одним Шугачевым, но по физиономии было видно: Виктору нравились возражения противников. Максим догадался: друг проверяет на столичных коллегах свой проект застройки Заречья. Весело подмигнул Шугачеву, подумал: «Кажется, неорганизованный человек, не любит профессиональных разговоров, а между тем не тратит зря времени — и здесь проверяет себя».

Очень хотелось перебраться туда, к своим, и за доброй свадебной чаркой поворошить «архитектурные сплетни». Но вынужден был сидеть в «президиуме» — рядом с молодыми и с Дашей. Нельзя омрачать Вете радость. Приходится притворяться, играть роль счастливого отца и мужа. Может быть, от этой раздвоенности и настроение такое собачье? Да. Вете надо было все сказать. Теперь он жалеет, что не сделал этого до свадьбы. Хотя вряд ли одно Дашино соседство, ее лицемерие, показное внимание и ласковость («Максим, хочешь заливного? Ты пьешь и не закусываешь. Опьянеешь, мой дорогой») могли так царапать душу. Есть другая какая-то причина. Не нравятся ему Ветины друзья — слишком шумные. Что у них, слабеют барабанные перепонки от музыки, что ли? Собственно говоря, не нравилась не крикливость их внешнего вида и поведения, пускай красятся и шумят как хотят и сколько хотят, никакое модничание его не шокирует, он знает, что форма не всегда соответствует содержанию даже у людей солидных, что уж говорить о таких юношах и девушках, считающих себя к тому же великими артистами. Не нравились их неуважительность, обидное равнодушие к гостям, приглашенным родителями жениха.

Их гости — военные друзья, офицеры-отставники, инвалиды, у каждого по нескольку орденских планок на широких лацканах вышедших из моды костюмов. Один полковник пришел в военной форме со всеми орденами. Сватья, Ганна Титовна, тоже пришла в гимнастерке с орденами, пустой левый рукав засунут за пояс. Это тронуло Максима до слез. Да, иначе она не могла прийти на свадьбу сына. Это не игра. А он слышал, как вначале, пока гости еще не познакомились, кто-то из молодых подсмеивался:

— А та тетка из какого спектакля?

Даша тоже прошептала:

— Что это она так нарядилась, наша сватья? Как на маскарад.

Боже мой! Какая душевная глухота! Для одних — спектакль, для других — маскарад. Неужто так трудно понять эту женщину?

Ветины друзья выслушивали тосты своих коллег, не очень внимательно слушали архитекторов и почти совсем не слушали пожилых седых людей с орденскими планками на груди и в широких брюках. Конечно, они говорили не так остроумно и не так утонченно, как профессор Ромашевич, историк архитектуры, который еще двадцать пять лет назад на лекциях завораживал его, студента Карнача, когда он сидел в аудитории в такой же гимнастерке, только более поношенной и не так чисто отстиранной. Отставники говорили по-разному: одни коротко и просто, другие, особенно когда уже подвыпили, вспоминали, как женились на войне. Полковник рассказал, как поженились Прабабкины:

— Мы, офицеры, готовили свадебный ужин, а невеста со снайперской винтовкой сидела на ели. И сняла в тот вечер фашистского офицера.

Ганну Титовну называли просто Галей. Говорили о ней много и прочувствованно, забывая порой о молодых — о сыне ее, о невесте. Говорили так, будто отмечали ее юбилей. Максим видел, что ни одна из офицерских жен не поморщилась, как это часто бывает, когда оказывают внимание другой женщине. Кривилась одна Даша.

Он спросил у нее:

— Тебе нравятся Ветины друзья?

— Вилины? А что? Теперь вся молодежь такая. Ты хочешь, чтоб они сидели, как на поминках. Как ты. Чем ты недоволен?

— Я всем доволен.

Он поднялся и на правах одного из хозяев стола предложил:

— Знаете что? Пошли танцевать.

Молодежь радостно поддержала. Прабабкиным, кажется, такая узурпация власти не понравилась, они и их гости остались за столом. Сидели в банкетном зале ресторана «Юбилейный», оркестр играл в большом зале, где в этот субботний вечер было полно народу.

Максим старался танцевать с Ветиными подругами, чтоб поближе познакомиться. Не выходило. Одни почему-то замыкались, как бы разгадав его намерение, другие глупо кокетничали и мололи чепуху. Это его еще больше расстроило. Расхотелось танцевать.

Подлетела Даша, румяная, запыхавшаяся.

— Мы давно с тобой не танцевали...

— Не хочу.

Она показала ему язык и подхватила спортсмена.

Максиму стало противно смотреть, как Даша выламывается в модном танце.

Он вернулся к столу, но не во главу, а подсел к своим коллегам — к Ромашевичу, к Витьке Шугачеву, который никогда не танцевал, а выпить и закусить при случае был не прочь.

Шугачев уже успел профессору испортить настроение, раскритиковав его последние работы по теории архитектуры советского периода. Не соглашался с его оценкой жилых домов, строившихся до войны. Ромашевич, лекции которого лились как песня, писал тяжело: мысль есть, а читаешь, будто камни ворочаешь. Когда-то, в молодости, когда Максим был еще студентом, Ромашевич сам с иронией говорил им об этом. Но теперь, познав вкус славы, критику своих трудов принимал вежливо, как надлежит интеллигенту, однако не слишком благосклонно.

Максим понимал, что́ Шугачев мог наговорить, и постарался «пролить елей» на раны старика. Немного осталось друзей, которых ему захотелось пригласить на свадьбу дочери. Зачем же им тут цапаться между собой? У профессора есть недостатки, но работает он как вол: на факультете, в Союзе архитекторов, дома, за письменным столом, в разных секциях, комиссиях и редколлегиях. Такого человека нельзя не уважать.

Максиму захотелось выпить со своими. Там, рядом с Дашей, ничего не шло в горло. Кому действительно было горько, так это ему.

— Давайте, зодчие, выпьем.

— За твою дочку, Максим.

— Нет. За Владимира Осиповича. За ваш труд, профессор.

— За какой? — спросил Ромашевич, недружелюбно взглянув на Шугачева.

— За весь труд. Большой и многогранный. Вы наш крестный отец.

— Функциональная целенаправленность диктуется уровнем общественных потребностей. Предшественники наши понимали это лучше, чем мы, — упорно продолжал свою мысль опьяневший Шугачев.

— Бесспорная истина, Шугачев, — профессору хотелось с честью выйти из баталии, он рад был, что появился Карнач, который на банкетах умел примирить самые полярные мнения. Ромашевич, как и Максим, не любил профессиональных дискуссий в нетрезвом состоянии.

— Хвали́те, хвали́те друг друга, — угрюмо откликнулся пьяный гость Прабабкиных, полный мужчина, сидевший против архитекторов, хотя до этого никто никого не хвалил, наоборот, спорили. — А вас надо, — он энергично махнул рукой, точно отрубил, — кри-ти-ко-вать!

— Мы ждем не дождемся такой критики, — пошутил Максим.

— Да? Ждете? — смягчаясь, усомнился гость, но, поняв, что

над ним смеются, вспылил: — Ты, светило! Как ты строишь? Я не могу своего дома найти.

— Сегодня это и в самом деле трудно. Туман.

Архитекторы засмеялись.

— Ржете? Да? А надо плакать. Туман? А кто напустил тумана?

Ганна Титовна, должно быть, знала характер этого гостя или услышала, как он разговаривает с отцом невесты и его друзьями. Позвала:

— Антон Иванович!

Толстяк сразу встал.

— Галя! Одну тебя люблю. А они... — и махнул рукой так, словно хотел смести всю компанию архитекторов.

Не смеялся только Шугачев. Вдруг помрачневший, что с ним редко случалось, лишь когда выпивал, Виктор хотел одного: продолжать затеянный им серьезный спор. Может быть, в подпитии ему казалось, что если он всем докажет, что нельзя строить по существующим нормам, то, хотя нормативы от этого не изменятся, ему легче будет работать над своим Заречьем, сознавая, что все его поддерживают и понимают. Его разозлило и огорчило, что теоретик, профессор, автор книг, по которым учился Игорь и учится Вера, убежденно доказывал, что архитекторы в наше время имеют такие возможности, о каких зодчие прошлого не могли и мечтать. А серость объясняется просто массовостью. Масштабы строительства потребовали целого корпуса архитекторов, которых быстро и плохо учили и которые не накопили еще опыта.

Профессор сыпал цитатами:

— «Юность и здоровье гарантируют возможность творить много, но потребуются десятки лет, чтобы творить хорошо». Кто это сказал? «Проблема дома — проблема эпохи».

— Сто раз слышал, но никогда не соглашался. Начетчики вы и талмудисты! Красиво умеете говорить.

Они смеялись над «критиком», который не может найти своего дома. Шугачев оборвал шутки коллег:

— Он здорово сказал. Напускаем тумана. В тумане этом друг друга не видим. А нас не видят люди, у которых есть власть решать наши проблемы. Один Ромашевич может накоптить столько, что света белого не увидишь.

Архитекторы притихли в предчувствии скандала.

Максим возмутился:

— Витя! Ты портишь мне праздник. Проси прощения у Владимира Осиповича.

— Зачем прощения? Творческая дискуссия. У нас и не такое можно услышать, — сказал профессор с улыбкой, чтоб замять неловкость, но, видно, обиделся.

Опять их выручила Ганна Титовна. Как она зорко следила за всеми гостями! И как ей хотелось, чтоб свадьба была веселая!

Подошла незаметно из-за спины Максима, положила ему руку на плечо.

— Не надоели вам, друзья, серьезные разговоры? Идемте танцевать. Кто хочет со мной станцевать вальс?

Максим увидел, как смешались его друзья, сидевшие напротив через стол.

— Я неплохо танцевала, — упавшим голосом сказала женщина.

Максим вскочил.

— Я, Ганна Титовна!

Все потянулись за ними в общий зал, чтоб посмотреть, как будет танцевать эта необыкновенная женщина в солдатской гимнастерке с орденами и медалями, с пустым рукавом. Даже Шугачев, которого до этих пор, казалось, ничто не интересовало, кроме его архитектурных проблем и желания доказать профессору, что от теоретиков в немалой степени зависит, когда советская архитектура сделает новый качественный скачок, тоже пошел, хотя никогда не танцевал и не любил танцев в ресторане.

В зале танцевали под модную песенку, совсем невеселую, минорную. Шугачева и это разозлило, потому что танец как бы подтверждал его несогласие с Ромашевичем. Выходит, даже под траурный марш Шопена можно выламываться так, как выламываются эти парни и Максимова Даша. А значит, и под любую «архитектурную музыку» — теорию — можно «танцевать» как кому вздумается. Ему, традиционалисту Шугачеву, воспитанному на образцах классической архитектуры, трудно принять этот разрыв между теорией, богатой и стройной, и практикой, в которой очень часто от красивых профессорских рассуждений остаются лишь рожки да ножки. Странно, что профессор считает это закономерным. Идет великий эксперимент, говорит он, во всех видах и жанрах искусства. Пишем серьезную музыку, а танцуем вот так...

Ганна Титовна сама подошла к оркестрантам и заказала вальс. Те долго советовались между собой, листали ноты.

Шугачев почему-то со страхом подумал: «Неужто не умеют?» Странно, ему, обычно равнодушному к танцам и к музыке вообще, вдруг очень захотелось, чтоб заиграли вальс, тот, старый и знакомый, под который танцевал когда-то и он. Нет, не с Полей. В Берлине, на площади, в День Победы. С незнакомыми девушками-солдатами. Его желание исполнилось. Правда, заиграли не тот вальс, о котором он думал, но тоже знакомый, военный — «Осенний сон».

Ромашевич пригласил Дашу. Но они не успели начать, потому что в круг вышли Ганна Титовна и Максим. И тогда они остановились. Очевидно, многие, кто подошел, чтоб танцевать вальс, тоже остановились среди зрителей. А потом начали подходить любопытные из глубины зала. И все смотрели на эту необычную пару, на поседевшую женщину, которая как бы пришла оттуда, с войны, с передовой. И, будто для контраста, кружились и те, мо-

лодые и красивые, которые родились после войны и имели счастливую возможность танцевать так часто, что довели свое умение до виртуозности. Но смотрели не на них. Смотрели на Ганну Титовну, которая явно давно уже не танцевала, да и непривычно ей и неудобно было вальсировать с одной рукой. Даже оркестрантов что-то задело за живое — мастерство ли молодых или душевный взлет этой женщины, — и они играли не по-ресторанному, с подъемом.

Собралась целая толпа, как на танцплощадке в санатории.

Шугачев, которому спор с профессором испортил настроение, вдруг почувствовал, что ему хорошо — грустно, но и радостно. От умиления, восторга от того, что жизнь побеждает, по щекам текли слезы и он не стыдился их, вытирал ладонью, забыв о носовом платке.

Все вокруг как бы расцветилось радугой. Ведь все хорошо на этом свете. И работа его. И теория Ромашевича, напрасно обидел старика. Надо извиниться. И эта молодежь. Их танцы — это же излучение энергии и радости, которые иногда переходят в детское озорство. Разве не такой же веселый и жизнерадостный район построил он в своем воображении? И построит в Заречье! Обязательно построит.

В начале вальса Ганна Титовна опять сказала, будто оправдываясь:

— Я хорошо танцевала, — и, пройдя полкруга, добавила: — Молодая.

Максим с грустью подумал: сколько у нее было той молодости? В восемнадцать лет на фронт. Что ей ответить?

— У меня в молодости не хватало времени на танцы. Научила жена. Она не могла жить без танцев.

— У вас интересная жена.

— О-о! Очень интересная.

— Но сегодня она почему-то нервничает.

— Правда? Да нет... Она всегда такая.

Ганна Титовна ответила не сразу:

— Всегда такой быть нельзя.

— Она может.

Тут, в углу у оркестра, сумрачно, цветная подсветка, но Максим увидел, как сватья старается заглянуть ему в глаза, прочитать настроение и мысли.

«Проницательная женщина. Догадывается о наших отношениях».

— Старый хирург, который отрезал мне руку, чуть в обморок не упал, когда увидел, как я через две недели после операции вальсирую в коридоре госпиталя под музыку по радио.

От спазма в горле перехватило дыхание, и Максим сбился с такта.

Первыми сошли с круга молодые. Знали себе цену, как хорошие актеры, и боялись переиграть. Артистически закончили.

И, наверно, были разочарованы. Их будто и не заметили. Но оркестр, видно, старался для молодых виртуозов и отомстил за невнимание к ним — оборвал игру неожиданно, вразнобой.

Все равно Ганне Титовне и Максиму захлопали. Только тогда женщина увидела, как много собралось вокруг людей, сконфузилась.

Даша встретила его на лестнице. Максим спускался вниз. Она поднималась наверх, подкрашенная, но все равно бледная, поблекшая какая-то, усталая; пока не увидела его, поднималась, понурив голову, тяжело опираясь на перила. Нельзя столько пить и танцевать в ее возрасте. Давно ведь жаловалась на сердце. Впервые за много месяцев Максим подумал о ней с заботой, как о близком человеке, пожалел даже. «Нервничает», — вспомнил наблюдение сватьи. Да, все это выламывание ее с молодыми — от отчаяния.

Увидела его, оживилась, кажется, даже обрадовалась.

— Ты!

Как будто они не сидели только что рядом за свадебным столом. А собственно говоря, и не сидели, потому что далеко они были друг от друга.

Максим хотел пройти мимо, но подумал, что, может быть, ей и в самом деле худо, потому и обрадовалась, что он рядом, может поддержать, помочь.

Нет, засмеялась Даша невесело, но не как пьяная и не как человек, которому вот-вот станет дурно.

— Ты!.. М-м-ой благо-верный...

— Не кривляйся, пожалуйста.

Тогда она спросила серьезно, кивнув наверх:

— Тебе нравится этот маскарад?

— Почему маскарад?

Она помолчала, подумала — почему?

Объяснила неожиданно:

— Не такого мужа я хотела для Вили. И не таких свояков для себя.

Сочувствие к ней сразу потонуло, бултыхнулось, как камень в прорубь. Даже круги не пошли. Появился спасительный сарказм, который всегда выручал его и крепко бил того, кто его вызвал.

— Желанных для тебя родственников шуганули в семнадцатом.

Она брезгливо поморщилась.

— Ах, как остроумно! Ха-ха-ха-ха! Я хотела, чтоб Виля вошла в музыкальную семью. А не в семью домоуправов.

— В каждой семье своя музыка.

— О да! — вдруг серьезно согласилась Даша.

В зале заиграл оркестр. Она подняла голову, прислушалась, в глазах ее мелькнул нездоровый блеск.

— Не танцуй больше, — доброжелательно посоветовал Максим. — Ты плохо выглядишь.

Даша всхлипнула, как будто хотела заплакать, но не заплакала, наоборот, засмеялась.

Максим спустился на ступеньку, но она задержала его.

— У тебя есть деньги?

— Деньги? Да.

— Сватья сказала, что не хватает, чтоб рассчитаться за эту пьянку. Требует двести рублей.

Максиму стало как-то неловко и неприятно. Он сам говорил с Прабабкиным и о расходах на свадьбу. Поскольку с их, карначовской, стороны гостей меньше, Ганна Титовна просто, по-деловому, назвала сумму, которую они должны внести, что-то около трети всех расходов. И Максим так же просто отдал ей деньги. Что ж, выходит, передумали сваты? Стало неприятно. Но лишь на один миг. Тут же с веселым цинизмом рассудил: «А почему не передумать? Почему не сорвать калым? За жениха в наше время надо хорошо платить. К тому же люди, далекие от моей профессии, полагают, что архитекторы гребут деньги лопатой».

Деньги у него были. Занятые. У Поли. Поля сама навязала их. Когда они с Виктором собрались ехать сюда, в Минск, спросила, сколько у него денег. Денег у него было немного. Поля сказала, что с такими деньгами отцу невесты ехать на свадьбу нельзя, мало ли что может случиться. И предложила одолжить. Дала триста рублей мелкими купюрами — десятки, пятерки, трешки. Сразу видно, долго собирала. На обновы детям. Или, может быть, тоже на свадьбу — думала о женитьбе Игоря, о Верином замужестве.

Максим никогда не жалел денег, они не задерживались у него в кармане, сколько ни зарабатывал. А тут этих занятых пятерок и трешек, что толстой пачкой лежали в кармане, ему было жаль. Даже противно стало. На что жалеет? На свадьбу дочери? Не оправдывайся, что жалеешь потому, что это Полины деньги, так нелегко собранные ею. Какая Поле разница, куда ты их потратишь и какими купюрами вернешь — сотней трешек или тремя бледно-розовыми бумажками?

Он торопливо сунул руку во внутренний карман, отделил несколько бумажек (на билет домой), вытащил пачку, протянул Даше. В лицо ей не смотрел, не хотел видеть, что на нем отразилось. Через две ступеньки побежал вниз.

Только в умывальнике перед зеркалом подумал, что было бы логичнее и правильнее самому предложить эти деньги Ганне Титовне. Как бы она обосновала свое требование?

Отмахнулся от мысли о деньгах: глупости. Есть о чем думать! Но настроение еще больше испортилось.

Свадьба шумела веселей. Гости перезнакомились, подвыпили, Шугачев и Ромашевич помирились и, как студенты, пили на бру-

дершафт. Архитекторы целовались с отставным полковником, который не мог узнать свой дом.

Максим поймал себя на том, что ему хочется напиться до такого же состояния, чтоб не узнать своего дома. Дурная примета! Постарался удержаться. Вернулся к молодым, сел рядом с Виолеттой.

Дочь за один этот торжественный день изменилась до неузнаваемости. Еще вчера она была совсем другой, какой знал ее с малых лет, ко всему, что делалось для подготовки свадебного торжества, относилась с веселым легкомыслием, как к детской игре. Это беспокоило отца: уж не модная ли игра для нее и замужество? А сегодня, на свадьбе, она... нет, не грустная, но уже не бездумно-беззаботная, серьезна, как перед вступительным экзаменом.

Удивило хозяйское ее внимание.

— Карик, по-моему, на том конце нечего пить... Передай рыбу на левое крыло. Нам тут понаставили, будто мы из голодного края.

Когда кричали «Горько!», поднималась первая и первая целовала мужа без смущения, застенчивости, как на серебряной свадьбе, разве что слишком долго.

Раньше огорчало Ветино легкомыслие. Но и эта ее зрелая практичность не порадовала. Материнские контрасты. Даше всегда не хватало чувства меры. Чего доброго, такая Вета, какой она показала себя сегодня за столом, через неделю захочет командовать Ганной Титовной. Надо с Ветой поговорить. Конечно, не сейчас и не здесь.

Она и о нем проявила заботу:

— Устал, папа?

— А ты?

Улыбнулась.

— Невеста не имеет права уставать. Как считаешь, ничего?

— Все хорошо.

Вот так, он здесь в гостях.

— Ганна Титовна заказала еще водки. Напрасно.

«Отчего это — от скупости или из боязни, что перепьются? Как я плохо знаю свою дочь».

— Я задам тебе один банальный вопрос.

— Счастлива ли я?

— Семейное счастье — понятие, для проверки которого требуется время. И немалое.

— У тебя было время для проверки. Ты счастлив?

— Родителям таких вопросов не задают.

— Почему? Мама вчера сказала, что она несчастна.

— Ты знаешь свою мать. Настроение — ее хозяин. Я не хотел бы, чтоб ты была похожа на мать... в семье.

— Вот ты и ответил на мой вопрос. Скажи, можно всю жизнь любить человека?

— Можно. Это как раз то, что называется счастьем.

Корней, который разговаривал с одним из своих подвыпивших товарищей, повернулся к ним, чтоб послушать, о чем говорят отец и дочь.

— Давай свой банальный вопрос. Ответим вместе с Корнеем, — она положила руку на руку мужа.

Когда они остались вдвоем в шумном зале впервые за весь суматошный день, у него появилось странное желание спросить у дочери... хочет ли она иметь ребенка? Вопрос этот не был банальным. О банальности он сказал, чтобы придать ему шутливый оттенок. Обо всем остальном они так или иначе говорили раньше. Этот же вопрос до ее замужества не мог возникнуть. Возможно, что и сейчас он неуместен и в какой-то степени бестактен. Но ему хотелось знать, как дочь относится к тому, что стало началом их разлада с Дашей. Знал, Вета удивится. Знал, ответит, что надо окончить консерваторию. Однако по тому, как она удивится и как скажет об учебе, можно будет понять, сопоставить кое-что и сравнить. Но теперь в разговоре участвовал третий — ее муж. И Максим почти обрадовался, что Корней помешал ему задать этот вопрос, все-таки слишком тонкая и деликатная тема для беседы отца с дочерью.

— Я хотел спросить... любишь ли ты меня?

— Папа! — Вета засмеялась, обняла его и три раза поцеловала в щеку.

После Ветиного вопроса «Устал, папа?» и разговора с ней он действительно почувствовал усталость. Едва дождался, пока гости начали расходиться. С ним прощались как с хозяином. А он ушел, ни с кем не простившись. С дочкой, зятем и его родителями завтра встретится.

Но в фойе его ждала Даша. Взяла под руку. Максима даже передернуло. Меньше всего хотелось сейчас выслушивать ее, разгадывать очередную хитрость, а без хитрости, направленной к собственной выгоде, эта женщина и слова не вымолвит.

Почти грубо высвободил руку.

— Что, опять не хватило денег?

Даша сделала вид, что обиделась.

— Ты можешь без грубости? Не хочу идти ночевать к ним. Ненавижу твоих Прабабкиных. Возьми меня в гостиницу.

Что это, надежда на примирение? Поздно. Надо ответить ей решительным «нет». Но не ответил. Задумался. Она ждала, искательно заглядывая ему в лицо. Максим думал не о ней и не об их отношениях. Все решено, и не может быть ни возврата, ни компромисса, слишком часто он шел на компромиссы, хватит. Он подумал о дочери и о сватах. Как они к этому отнесутся? Не хотелось, чтоб все открылось сегодня.

Максим угрюмо направился к вешалке, нашаривая в кармане номерок. Даша шла следом, притихшая, покорная, но на губах ее блуждала лукаво-торжествующая ухмылочка.

В вестибюле гостиницы возле администратора толпились люди, хотя перевалило за полночь. Мест не было, однако командированные, как верующие у святыни, надеялись на чудо или на милость немолодой «богини» с крашеными волосами и заштукатуренными пудрой морщинами, которая сидела за священной загородкой, равнодушная к любым самым высоким словам и молениям, кроме единственного — броня.

На лифте они поднялись на пятый этаж, где у Максима был номер на одного.

Дежурная по этажу была новая, не та, которой Максим отдал ключ днем. На вид простая женщина, однако явно недовольная то ли своим ночным дежурством, то ли жизнью вообще.

Когда Максим назвал свой номер, подозрительно осмотрела его и Дашу и спросила недоверчиво:

— Вы у нас живете? Как ваша фамилия?

Фамилия убедила женщину, что этот человек действительно живет здесь, но теперь подозрительное внимание ее целиком переключилось на Дашу.

— А вы?

Даша не обиделась, засмеялась. Расстегнула шубу, открыв свое искрящееся вечернее платье, и села в мягкое кресло против дежурной, как бы предчувствуя, что объясняться Максиму придется долго.

— Это моя жена. Мы были на свадьбе. Вышла замуж дочь. Она здесь учится, в консерватории. Жена ночевала у родителей жениха. Но сейчас, когда там молодые... другие гости... знаете, тесно, квартира небольшая...

Сдерживая раздражение, он старался говорить мягко и убедительно, надеялся, что такое событие, как свадьба, не может оставить равнодушной молодую женщину. Один на один он уговорил бы любого сухаря, любой синий чулок. Но мешала Даша. Ее явно забавляла создавшаяся ситуация: он должен доказывать, что она его жена. Она едва сдерживала смех. Положила ногу на ногу, выше, чем надо, неприлично для ее возраста подтянула платье. Более того, принялась подкалывать:

— Это вы так следите за нашими мужьями? Класс! Напрасно мы боимся отпускать их в командировки. От имени жен приношу вам глубокую благодарность.

Видом своим и поведением Даша сводила на нет все его попытки. Максим старался настроиться на юмористический лад. Но юмор, который спасал в более трудных обстоятельствах, тут из легкой и блестящей субстанции превращался в тяжелые черные камни. Если бы он хотя бы один такой «юмористический» камень швырнул в Дашу, она не осталась бы сидеть в этой неуместной позе. И ночевать ей здесь не пришлось бы. Но, пылая злостью на обеих этих баб с их странной логикой, он вынужден был сдерживать все эмоции, кроме веселой почтительности к де-

журной. Но та ни на какую наживку не клевала, ничто на нее не действовало.

— Паспорт у вас есть? — спросила она у Даши.

— Паспорт у тебя есть? — нетерпеливо шагнул к Даше Максим. Черт возьми, с этого надо было начинать. Зачем столько слов, когда есть бумажка! Верят бумажке — не человеку.

Даша заглянула в сумочку.

— Паспорта я не взяла.

Дежурная как будто обрадовалась, что заподозрила Дашу, и голос ее, до тех пор сонный и флегматичный, зазвучал удивленно и саркастически:

— И паспорта у вас нет? Милая моя!

— Зачем мне паспорт, когда у меня есть муж, — раздраженно сказала Даша.

Очевидно, слова эти или Дашино раздражение подействовали на дежурную больше, чем уговоры. Она начала как бы оправдываться, но не перед Дашей, перед ним, хозяином номера:

— Не могу я пропустить вас обоих в такое время.

— У вас просто монастырь! Святоши! — Даша начала злиться.

— Обратитесь к дежурному администратору...

Лифт не работал, поздно, и Максим поднимался по лестнице тяжело и долго, как на эшафот.

Даша давно уже была в номере. Разделась. Даже постелила. У шкафа стояли ее сапоги. На спинке стула висело платье. Сама она находилась в ванной. Журчала вода.

Максим стал снимать пальто и вдруг застыл. На столе лежала ее перламутровая сумочка. Видно, она брала из нее расческу или помаду и забыла закрыть. Максим увидел пачку денег, которые два часа назад дал ей, — трешки и пятерки, нелегко собранные Полей.

Никому Даша денег этих не отдала, потому что никто и не просил их. Нагло обманула. Только бы вырвать у него. Так всю жизнь — ни слова правды, одна хитрость и обман. Во всем. Стало тошно. Даже горечь почувствовал во рту. Чуть не вырвало. Опять закружилась голова.

Бросил пальто в мягкое кресло, сел на него, закрыл глаза. Комната качалась, как каюта корабля во время шторма. Лилась вода. Казалось, водяной вал катится на него и вот-вот захлестнет. А он ожидал без страха, с нетерпением: скорее бы потонуть! Но когда вода перестала литься, вернулся к действительности. Протянул руку и со злостью хлопнул по сумочке. Щелкнул замочек. Чтоб не выслушивать еще одной лжи.

Даша вышла из ванны в розовой прозрачной комбинации, в туфлях на высоких каблуках, в которых танцевала.

Максим снова закрыл глаза.

Она постояла перед ним.

— Ты не заснул?

Он не ответил.

Она нырнула под одеяло.

— Я приняла душ. И озябла. Вода чуть теплая. Но зато смыла всю свадьбу, — она засмеялась. — Ты хотел бы жениться еще раз? Чтоб была такая свадьба?

Он не отвечал.

Она долго молчала, раза три громко вздохнула.

— Ты решил провести ночь в кресле? Выдерживаешь принцип?

— Я многому от тебя научился.

Она сперва засмеялась, потом всхлипнула.

— Я слабая женщина. И я люблю тебя, упрямого дурака.

Он попросил тихо, почти ласково:

— Даша, не надо. Поздно. Мы все сказали друг другу.

— А я люблю тебя! — гневно и требовательно крикнула она и заплакала навзрыд, по-настоящему, вправду.

— Ты пьяна. Спи.

Боялся, что она учинит скандал. Начнут стучать соседи. Позвонят дежурной. Только этого ему не хватало после такого вселения.

Нет, на этот раз она повела себя разумно. Минут десять всхлипывала. И вдруг ровно засопела носом — уснула, как дитя.

Максим почувствовал облегчение, хотя его качало и снова появились симптомы «морской болезни». На рассвете, когда Даша беззаботно спала, он тихо вышел из гостиницы и первым самолетом вылетел домой. От себя уже позвонил сватам, сказал, что его срочно вызвали. Было воскресенье, Ганна Титовна с обидой и удивлением сказала:

— В выходной день? — не поверила, но не спросила, чем же он недоволен.

XVIII

Игнатовичу позвонил работник Совмина Кришталев. Когда-то они вместе работали в комсомоле. Как будто бы дружили, ходили друг к другу в гости, вместе отмечали праздники, общие и семейные. Но, пожалуй, ни разу не поговорили серьезно, всегда, и на работе и дома, с иронией, со смешком, со шпильками. Так складывается либо между людьми очень близкими, чего здесь не было, либо в тех нередких жизненных ситуациях, когда люди стремятся к одному результату, но не очень верят, что достигнут его. Как иной раз спортсмены на соревнованиях. Выйдя на дорожку, поглядывают друг на друга с ревностью, хотя отлично знают, что ни один из них чемпионом не станет, чемпионом станет третий, чужой, не из их команды. Потому и перекидываются иронические словцами.

Вырвался ли кто-нибудь из них вперед? Игнатович не испытывал ревности к Кришталеву, хотя тот занял должность, которая позволяла ему звонить сверху вниз и подписывать указания, которые он, Игнатович, должен выполнять, несмотря на то, что формально бумаги эти не ему направлены. Теперь на «соревнованиях» они выступают как бы в разных видах, или, может быть, правильнее, в разных весовых категориях, а потому не являются соперниками. Но у Кришталева осталась все та же комсомольская ирония по отношению к другу, что не слишком нравилось Игнатовичу. Тем более что свою иронию он неизвестно когда и где утерял. И это как бы давало Кришталеву перевес.

Игнатовичу давно начало казаться, что тот нарочно лезет на его «дорожку» — звонит чаще, чем надо. Не по адресу. Его обязанность звонить в советские органы — председателям исполкомов. Но не пошлешь же его к дьяволу, не скажешь: звони Кислюку.

Близкий, как бы из соседнего кабинета, знакомый голос, который Игнатович узнал бы из тысячи других — этакое ленивое, насмешливое мурлыканье:

— Герасим сын Петров? От меня тебе нижайшее... От всей комсомольской гвардии тоже. В добром здравии?

— А как же иначе, если вся гвардия за меня молится день и ночь.

— Очко. Снег идет?

— Вьюга. Все улицы замело. А снегоочистителей не хватает.

— Не плачь. Не помогу. Не моя епархия.

«По твоей тоже не чувствую помощи», — подумал, но не сказал, иронии не получилось, слишком выглядело серьезно. А серьезно нельзя. Вот ему, Васе Кришталеву, выходит, можно и так и этак.

Сказал с оттенком обиды:

— Ладно, не помогай. Но не режь того, что нам положено.

Кришталев закричал уже без иронии:

— Я тебя режу? Нахал ты, Герасим! Это ты нас режешь.

— Я?

— У тебя не хватает силы призвать к порядку своего архитектора? Или это ход конем?

— Какой ход?

— Люди становятся изобретательны, когда хотят спокойной жизни... без лишних хлопот.

— Василий! Отрываешься от низов. Какой это дурак станет отказываться от такого объекта?

— То-то и оно. Любой город за такой комбинатик сказал бы спасибо. А ваши ничего умнее не придумали, как сунуть палку в колеса. Подготовленный проект... Завизированный всеми заинтересованными организациями. Погоди, — в трубке зашелестела бумага. — Да и твой автограф здесь, в левом углу снизу.

— Каждый имеет право высказать свое частное мнение. В любой инстанции...

— Частное? Насколько я помню, этот Мохнач или Лихач — твой свояк, — засмеялся Кришталев, довольный собственным словотворчеством.

У Игнатовича перехватило дыхание. Это тот случай, когда надо подумать, что ответить. Сказал осторожно:

— Надо знать этого свояка.

Но осторожность обернулась против него.

— Не хватает духу дать ему по мягкому месту? — уже не с иронией, с сарказмом спросил Кришталев. — Гляди, за него получишь ты.

— Василий! Не стращай. И так дрожу как лист осиновый. От слов твоих.

Наконец ирония равного. Не зря там, в Минске, начиненный «ироническим динамитом» Кришталев не сразу нашел плитку с зажженным шнуром, чтоб бросить ее сюда, ирония его дала осечку.

— Зачем мне тебя стращать? Это сделают другие. Знай, у нас недовольны. Назначили комиссию. Тебе не хватает комиссий? Будь готов принять еще одну.

— Всегда готов! — ответил Игнатович по-пионерски весело.

Но когда положил трубку, почувствовал, что от этого веселого разговора у него взмокли спина, лоб. И участился пульс. Хотя пока что волноваться нечего. Он вел себя совершенно естественно. И ничего еще не произошло. Продолжаются поиски оптимального решения. Творческая дискуссия, совершенно нормальная в эпоху научно-технической революции. И однако... все ли будут рассуждать так, как он, а не так, как Кришталев? Свинья все-таки этот Кришталев! Лучший друг! Словечка не вымолвит без своей идиотской подначки. Ведь он докладывал руководству о письме Карнача. Можно представить, как доложил. Разумеется, не преминул сказать о его родстве с Карначом и о том, что он, Игнатович, поначалу тоже выступал против посадки «химика» в Белом Береге. Мог и про жажду спокойной жизни сказать. Наверно, сказал.

Но вдруг с Кришталева злость его перекинулась на Карнача. Все из-за него, из-за этого упрямого черта, из-за его безответственности, зазнайства.

Положение Игнатовича требовало от него умения соблюдать объективность всегда, чтоб его личные эмоции, чувства, неприязнь или любовь к тому или иному человеку не определяли места этого работника в коллективе, в обществе, отношения к нему со стороны официальных органов. Он почти гордился, что в весьма сложных сплетениях обстоятельств ему удается сохранить объективность. Вот и с Карначом. Кто-нибудь другой за подобные выходки уже давно распрощался бы с таким свояком. А он заглушил свой гнев настолько, что, когда Даша и Виолетта при-

гласили на свадьбу, готов был поехать. Лиза не посоветовала. Лиза молодчина. Дав волю своей злости тогда, на улице, после театра, она на другой день успокоилась, к ней вернулась обычная рассудительность. Больше она не настраивала мужа против Максима, не требовала кары на его голову, партийного воздействия. Приглашение они обсуждали долго, целый вечер. Сперва решили, что поедет одна Лиза. Но перед самой поездкой Лиза загрипповала. И опять-таки он был благодарен ей, что она не поехала одна, без него. Однако племянницу не забыла. Верная традиции, послала Виле телеграмму и щедрый подарок.

Он радовался своей снисходительности, объективности. Пусть не думает Карнач, который, как каждый человек с нечистой совестью, становится подозрителен, что Игнатович ему враг. Может быть, не друг уже, каким был, но и не враг. Хорошо работай, строй город, и нам нечего с тобой делить. Только знай, партийными принципами Игнатович никогда не поступится. За развод с женой, за связь с Галиной Владимировной накажем со всей строгостью.

Таково примерно в общих чертах было его отношение к Максиму до разговора с Кришталевым. Разговор все перевернул.

Не ирония комсомольского друга, не страх перед комиссией и не напоминание о его позиции при выборе места под комбинат, а именно этот неожиданный, как рецидив, гнев против Максима, когда вдруг все всплыло на поверхность и захлестнуло, как грязевой поток, выбил его из рабочего ритма, испортил настроение, отвлекал весь день от дел. Даже с Галиной Владимировной он говорил сугубо официально, кратко, подчеркнуто вежливо.

Пришел домой, и там первые слова, которые услышал от жены, — о Максиме. Куда девалась Лизина сдержанность. Она опять кипела.

— Я уговорила Дашу сделать все, чтоб сохранить семью. И она согласилась. После свадьбы пошла к нему в гостиницу, просила, умоляла, унижалась. Он оскорбил ее самым подлым образом! Даша приехала зеленая. Хоть в петлю бедняге лезть. Теперь уже никакой надежды. Наивна я была! Верила, что неглупый человек, опомнится как-нибудь. Куда там! Такая, как твоя секретарша, любого с ума сведет. Не удивлюсь, если завтра ты...

Измученный за день тяжелыми мыслями, Герасим Петрович шел домой, надеясь, что поговорит с женой, выскажет свои тревоги и сомнения и ему станет легче, как случалось не раз. Лиза со своей женской мудростью умеет все поставить на место и истолковать наилучшим образом в его пользу. И вот тебе на! Все мы объективны, пока не заденут нас. Из-за сестры она готова оплевать не одного Карнача...

Герасим Петрович не выдержал, взорвался:

— Поплачь над несчастной судьбой своей сестрички! Позеленела... Отчего она позеленела? От глупости своей! Дура она, твоя Даша, набитая гнилой соломой! Удивляюсь, как Карнач столь-

ко лет жил с ней. И ты из-за сестры не натравливай меня на людей! Мне работать с ними! Я не желаю валить все в одну кучу.

Лиза обычно хорошо улавливала душевное состояние мужа. Поняла, что кто-то испортил ему настроение и что это каким-то образом связано с Карначом. А Герасиму хочется сохранить свою высокую принципиальность. В таких случаях — Лиза знала из многолетнего опыта — лобовая атака не подходит. Нужен другой маневр — спокойствие, ласка, затяжная осада и постоянное «капание на мозги». Не стоит трещать сорокой. Лучше куковать кукушкой. Мало есть мужей, которых умная жена не заворожила бы своим кукованием.

Кроме того, сестра сестрой, но, если у Герасима действительно неприятности на работе, тут надо не бередить рану, а узнать, отчего она, и лечить самыми целительными средствами.

Игнатовича насторожило, что Сосновский не отправил комиссию в горком и даже не поручил секретарю обкома по промышленности заняться этим, уже, по сути, решенным на высшем уровне делом, а взялся за него сам. Созвал широкое совещание. Сам позвонил Игнатовичу, обязал его присутствовать и обеспечить явку ответственных работников горкома, горсовета, архитекторов Карнача, Макоеда, Шугачева... Такая поспешность и такой широкий форум говорили о том, что Сосновскому тоже кто-то звонил и что в простой истории с «привязкой» комбината появились какие-то новые аспекты. Какие? Почему Сосновский ничего не сказал ему, Игнатовичу? В конце концов, он больше, чем кто бы то ни было, занимался комбинатом — выбивал его и вел дискуссию с министерством о месте посадки, до обкома прежние баталии доходили лишь в виде его информации.

Но тревожило даже не то, что дело, таким образом, перешло в высшую инстанцию, а его, Игнатовича, оттерли. После письма, которое сочинил этот анархист, и не такого еще можно было ждать. Беспокоило другое. Раньше он поддерживал Карнача в споре о месте. А потом отступил. Но отступил после того, как министерство пригрозило, что будет просить площадку в другом городе и даже в другой республике. Тот же Сосновский, да еще многие голову бы ему снесли, если б такой комбинат — на сотни миллионов рублей! — был упущен из-за мелочи — недоговоренности, где его посадить.

Но как Сосновский отнесется к его тактическому отступлению? У Леонида Миновича свои принципы, иногда совсем неожиданные, немного старомодные. Вспомнились его слова о дружбе. Смешно, разумеется, соотносить решение больших, можно считать, глобальных вопросов политики и экономики с переживаниями отдельных людей, с тем, что у них нелады в семье или дала трещину дружба. Однако же ему, Игнатовичу, на его нелегком посту приходится учитывать и это, особенно когда живешь и работаешь

под зорким оком такого человека, как Сосновский. Упаси боже заронить в нем сомнение в твоих познаниях, компетентности, принципиальности — во всем том, что включает в себя емкое слово п р е с т и ж.

Народу собралось много.

«Зачем столько? — подумал Игнатович. — Любит дед разводить демократию».

Карнач и Шугачев примостились в конце длинного стола.

Максим волновался, как перед экзаменом. Странно. Давно уже так не волновался на более ответственных собраниях, при обсуждении его собственной работы. А тут ведь ничто ему не грозит. Ему нет. Но городу, людям... А город этот стал близким и дорогим, и ему небезразлично, как он будет застраиваться. Даже после его смерти, при внуках и правнуках. Куда будет расти и что сохранит из того, что сейчас мило ему, главному архитектору. Нет, даже не архитектору, просто гражданину этого города. За дубраву в Белом Береге он костьми ляжет.

Сосновский, который обычно каждого встречал шуткой, сидел хмурый, словно недовольный, что его оторвали от дел более насущных: снижаются надои молока, и он уже много дней ломает голову над причиной. Что случилось? Сенажа заготовили больше, а молока получают меньше.

На Карнача Сосновский и не глянул, хотя кому-то тут, на их конце стола, заговорщицки подмигнул. Максим оглядел своих соседей. Кому? Неужто Макоеду? Дело дрянь, если Макоед стал у Сосновского консультантом по архитектуре.

— Кто у нас докладчик сегодня? Или без доклада будем?

Поднялся начальник архитектурного управления облисполкома Голубович.

Максим даже крякнул. Кто поручил это Голубовичу? Дядя он ничего. Но никакой не архитектор, по образованию землеустроитель, межевик. Занимал разные должности, руководил и сельским хозяйством, и народным просвещением до того, как судьба привела его в архитектуру. Что такой человек может сказать в защиту Белого Берега? *Да еще в своем предпенсионном возрасте.* В таком положении люди становятся весьма осторожны.

Максим не раз шутил: как бы поднялся уровень работы, если б на пенсию выходили по жребию, а не ожидали ее, как приговора или праздника.

Голубович приятно удивил Максима. Он начал с генерального плана развития города, застройки и реконструкции его. С указкой, как старый учитель, рассказывал подробно, в деталях, несколько даже приподнято, словно радуясь, что и сам он имеет некоторое отношение к этому плану.

Сосновский сперва слушал как бы невнимательно, потом — долгое время — с удивлением и интересом.

Остановил Голубовича:

— Ты что, вздумал убаюкать нас лекцией о генплане?

Начальник управления не растерялся:

— Леонид Минович, без ознакомления с планом нельзя представить перспективу роста города. Куда ему лучше расти.

— Спелись вы с Карначом, — сказал Сосновский, но, судя по интонации, скорей с одобрением, чем с укором.

— Мы на этой спевке друг друга за чубы трясли.

— Это вы на людях хватаетесь за чубы. Чтоб поднять цену на свой товар.

Присутствующие засмеялись.

— Сколько еще вам надо времени?

— Пять минут.

Голубович говорил больше пяти, и Сосновский не остановил его, только, когда тот кончил, неопределенно протянул:

— М-да-а... Хитро ты подвел. Но считай, что не все тут догадливые. Где же нам сажать комбинат?

— В Озерище.

Представитель министерства, молодой человек с бакенбардами, в новом, с иголочки, костюме и модном галстуке, больше похожий на артиста, чем на химика, не выдержал, подал голос:

— Леонид Минович! Прошу простить за внеочередное заявление. Но если нас пригласили сюда, чтоб навязать площадку, от которой министерство отказалось с самого начала, то, простите, мне нечего здесь делать, — и задернул «молнию» на своей ярко-зеленой модной папке, как бы собираясь покинуть совещание.

Сосновскому такая демонстрация не понравилась, и он сказал вежливо, но язвительно:

— Министерство выбирает место. Но, насколько мне известно, не министерство окончательно решает, где строить такой объект. Давайте, товарищ Платков, выслушаем и другие мнения. У нас демократический централизм. Кто рвется в бой?

Представитель покраснел, как опороченная невеста, съежился, и как-то сразу все на нем поблекло, даже яркий галстук, а баки показались нелепыми, будто приклеенными.

Виктор Шугачев сжал Максиму колено.

— Молодчина, — одобрил он Сосновского.

Выступил ответственный работник Госстроя республики, известный архитектор, увешанный званиями и лауреатскими медалями.

Человек это был энергичный, гибкий руководитель, с острым чувством нового. Должно быть, эти качества помогали ему, никто не мог сказать, что он бездействующий архитектор, что карьера загубила его талант. Максиму, правда, далеко не все нравилось в его работах, и вообще отношение к Александру Адамовичу у него было двойственное. Но вместе с тем на своем посту главного архитектора он во многом следовал шефу, учился у него.

Говорить Александр Адамович мастер. Артист.

— Дорогие товарищи! Прежде всего я хочу поблагодарить об-

ком и лично Леонида Миновича за то, что он так оперативно собрал представительное совещание. Это, товарищи, симптоматично. Такое внимание к архитектуре мы сейчас чувствуем со стороны всех партийных и государственных органов, широкой общественности. Такое внимание поможет нам, советским зодчим, еще лучше, с меньшими накладками и ошибками решать сложные задачи, поставленные перед нами партией и народом. По сути дела, которое собрало нас здесь. Скажу откровенно, нам в Госстрое понравилась записка Максима Евтихиевича. Мы можем гордиться, что у нас такие главные архитекторы. И выступление товарища Голубовича. Это же здорово, товарищи, когда архитектурные управления, областные и городские, так борются за осуществление генплана развития города. Но, дорогие товарищи... Да, но... Первое. Как давно уже сказано людьми, которых мы можем назвать нашими учителями, план — не догма. Максим Евтихиевич, не качай головой. У всех нас, архитекторов, есть одна болезнь... Старая инерция — боязнь промышленного комплекса в городской структуре, боязнь, что он не впишется в ансамбль будущего района. А между тем это неоправданная боязнь. Не только в масштабах Союза, но и в республике мы уже давно доказали, что промышленные комплексы могут активно влиять на архитектуру городов. Именно промышленные комплексы с яркой объемно-планировочной структурой, с выразительной композицией в сочетании с общественными и жилыми зданиями могут создать действительно современный архитектурный ансамбль... Я убежден, это единственно правильный путь советской архитектуры. Мы не можем и не будем строить городов-спален на манер шведских городов-спутников. Такие города отчуждают людей, разъединяют...

Максим не выдержал:

— Александр Адамович! Не по этой линии наши основные возражения, хотя я не верю, что такой комбинат может украсить район. Но не это главное. Главное в том, о чем мы теперь очень часто говорим и пишем. Как сохранить живую среду. Белый Берег с его дубравой — драгоценнейший дар природы. Легкие города. Неужели непременно надо отравить их?..

Сосновский слегка постучал карандашом по столу, пошутил без улыбки:

— Не перебивай начальство, Карнач, а то оно тебе припомнит.

Александр Адамович рассмеялся.

— Да нет, ничего, Леонид Минович. Мы с Максимом Евтихиевичем лет двадцать уже как спорим. Истина рождается в споре.

После руководителя Госстроя сразу попросил слова Макоед. Он, пожалуй, один подготовился к совещанию так же тщательно, как Максим. И разбивал его письмо в Совмин по пунктам, по каждому абзацу.

Максим сперва удивился: кто ему дал прочитать письмо? Но разве трудно догадаться? Игнатович. Копия только у него.

Не разозлился. Наоборот, пожалел бывшего друга. «Кого ты берешь в консультанты? Опомнись, Герасим!»

Платков, представитель министерства, лучше, чем кто бы то ни было из местных работников, вооружился экономическими расчетами. Сыпал цифрами, как горохом. Хотя, подумал Максим, совсем не нужно столько цифр, которые все равно не запоминаются, чтоб доказать простую вещь, очевидную — строительство комбината в Озерище обойдется дороже. Платков уточнил: на восемь процентов. И с пафосом воскликнул:

— Товарищи! А вы представляете, что такое восемь процентов при таком объеме капиталовложений? Кто нам разрешит выбрасывать миллионы народных денег? Мы пустим миллионы на ветер. Современные очистные системы практически гарантируют полную очистку отработанной воды и газовых выбросов.

Максим попросил слова после Платкова.

Сосновский сказал, невозможно было понять, всерьез или в шутку:

— Вы же все написали.

— Не все. Я хочу добавить.

Сосновский посмотрел на стенные часы, как бы предупреждая: говори, но недолго.

— Я хочу начать не с сегодняшнего дня, не с сегодняшних нужд. Я хочу попросить вас заглянуть лет на двадцать вперед и пройтись по городу где-то в конце нашего века. У кого хватает фантазии. А без фантазии мы не можем строить. Мир преображают фантазеры. Голубович хорошо защищал генплан реконструкции и строительства города. Но лично я, Александр Адамомич, уже вижу, что у нас с вами не хватило фантазии или, вернее сказать, мы боялись дать ей простор, мы все время надевали на нее узду. Однако сама жизнь подсказывает, что город с этого крутого безлесного берега, где он построен семь веков назад как крепость, рвется туда, за реку, на луг, ближе к лесному массиву, к природе... Мы не задумываемся над тем, что это становится органической потребностью людей. А все решают люди. Они создают планы, подают заявки на места застройки. Кто-нибудь интересовался этими заявками? Семьдесят процентов рвутся в Белый Берег. Естественно, что и химики туда же. Я их понимаю. Но, к сожалению, никто серьезно не задумывается, какой там может вырасти город, если мы с такой легкостью, Александр Адамович, начнем вписывать в ансамбль промышленные корпуса, пускай с самой совершенной объемно-планировочной структурой и композицией. К тому же, Александр Адамович, вписать можно часовой завод или завод электрических машин, хотя, как вы знаете, я никогда не считал удачным решением посадку полиграфкомбината и завода ЭВМ в центре города (это был удар по своему руководителю: Александр Адамович — один из авторов Ленинского проспекта в Минске). Химический же комбинат требует обязательного и резкого разделения функциональных зон — производ-

ственной и жилой. Вписывать его в жилой комплекс — это абсурд, за это судить нас надо!

Максим нарисовал картину района, застроенного химическими предприятиями, через два десятилетия.

Представитель Госстроя возразил:

— Вы нас пугаете, Максим Евтихиевич, это из романов ужасов, которые пишутся на Западе.

А Сосновский шутливо подбодрил:

— Пугай дальше. У нас нервы крепкие.

— Нет, теперь я поведу вас по городу, который будет застроен разумно, где всем хватит простора и кислорода. Для этого достаточно согласиться с тем, что район Белого Берега — основной жилой район, что там, как нигде, есть все для того, чтоб с наименьшими затратами, с наилучшим использованием ландшафта и всего, что подарила природа, построить город-сад. Архитектор Шугачев захватил эскизы планировки такого района, он покажет вам на листах.

Максим рассказывал о городе, который ему, архитектору, видится через двадцать — двадцать пять лет, о городе, который вырастет на том, луговом берегу реки. Должен вырасти, если строить разумно.

— Комбинат погубит дубраву — это мое твердое убеждение. Так неужели же надо уничтожать то, что уже есть, а потом сажать новые парки с огромными затратами средств и ждать сто лет, пока они вырастут?

— Комбинат сохранит вам этот парк! Поможет сохранить! — раздраженно крикнул Платков.

— Посмотрим, так ли это, — спокойно возразил Максим и раскрыл свой толстый блокнот. — Вот у меня несколько выписок...

И тоже начал бомбить цифрами: сколько комбинаты такого типа выбрасывают в воздух газов и сажи, что происходит там с окружающей средой. В Западной Германии, в Англии...

Платков громко хмыкнул, как бы обрадованный, и обратился к Сосновскому:

— Леонид Минович! По-моему, товарищ архитектор путает социальные системы. Там же капитализм, дорогой товарищ. Не забывайте!

— Насколько мне известно, социальная система не так уж влияет на технологический процесс, как вам это кажется.

— Нет, влияет, дорогой товарищ! И крепко влияет! Мы в первую очередь думаем о человеке, о людях!

— Правильно! И я думаю о людях. Только вашей заботы хватает ненадолго...

— Карнач! — предупредил Сосновский, постучав карандашом по столу.

— Понимаю, Леонид Минович, — покорно согласился Максим. — Но поскольку меня обвинили в политической неграмот-

ности, я должен защищаться. Тут у меня выписаны цифры по двум нашим комбинатам.

Максим назвал комбинаты, формулы химических соединений, которые выбрасываются в атмосферу, количество гари, оседающей вокруг, и показал, что стало с растительностью возле одного из таких комбинатов.

Платков спросил испуганным шепотом:

— Вы откуда взяли эти данные?

В зале засмеялись.

Сосновский затаил хитрую усмешку, рад был, что его люди не лыком шиты, иному столичному очко вперед дадут.

— Вы не читаете своих журналов, дорогой товарищ, — убил Максим оппонента. — Пожалуйста, запишите номер и страницу...

— Ну-ну, — погрозил карандашом Сосновский.

— Тогда два слова о стоимости строительства. Да, в Озерище строительство обойдется дороже. Но это опять-таки узкий подсчет, ведомственный, не государственный...

— Вы договоритесь до того, что мы — частная фирма.

— Нет, до этого я не договорюсь, товарищ Платков. Но только один пример. Уже самое начало строительства создаст у нас серьезную транспортную проблему. Наш единственный, построенный после войны мост не пропустит того потока грузов, которые понадобятся стройке. Придется безотлагательно, скорее, чем все остальное, строить новый мост. Но в министерстве, очевидно, считают, что это не их забота, это действительно дело городского Совета. Если полагать, что мы черпаем не из одной копилки, тогда и в самом деле спорить не о чем.

— А нельзя ли без иронии? — хмуро и сурово, совсем иначе, чем Сосновский, сказал Игнатович.

— А без иронии я спорить не умею, Герасим Петрович. Так уж воспитан, — опять-таки с иронией отвечал Максим.

Сосновский, ничего не говоря, постучал по столу. Александр Адамович укоризненно покачал головой: «Ох, налетишь ты, Карнач!»

Максим посоветовал Шугачеву захватить с собой листы, чтоб попробовать убить двух зайцев: защищая Белый Берег, показать эскизы планировки Заречья, которое станет началом застройки всего этого большого и интересного района, подбросить Сосновскому, Александру Адамовичу и другим мысль, что первооснова этой застройки — Заречье — требует совершенно нового решения, а значит, сверхнормативных затрат.

Но, должно быть, Игнатович разгадал их хитрый ход, потому что, как только Шугачев вынул из-под стола приколотый лист с планировкой Заречного района, Герасим Петрович решительно возразил.

Шугачев, который редко выступал на таких форумах и вообще боялся начальства, растерялся и обиделся, что секретарь горкома обратился не к нему, а к Карначу, по сути, игнорируя его как ар-

хитектора, как личность. Оттого говорил невыразительно и путано и, пожалуй, не столько помог Максиму, сколько навредил.

В последнее время у Виктора частенько сжимало сердце. Теперь тоже стиснуло. И он больше вслушивался в удары сердца и боль в нем, чем в замечания присутствующих, их реакцию на его выступление. Сел разбитый и обессиленный, как будто по нему пробежал табун лошадей. И никого уже не слушал. Шумело в голове — подскочило давление. Только еще одно выступление Макоеда расшевелило Виктора. На удивление самому себе, он не выдержал и крикнул:

— А кто тебе дал право говорить от имени всех архитекторов? Ты у нас спрашивал?

Сосновский погрозил ему карандашом, но с доброй улыбкой. И, странно, эта улыбка секретаря обкома... нет, не сама улыбка — человеческое внимание его сняло боль в сердце. Виктор глубоко вздохнул, проверяя. Нет, не болит. Пропал страх. И вернулся интерес к тому, о чем тут говорили.

Максима поддержал профессор пединститута, биолог, который говорил о роще с умилением; страшно стало, когда он обрисовал, чего может стоить городу потеря такого массива. Неожиданно поддержал начальник ГАИ, присутствие которого здесь сперва удивило. Полковник развил замечание Карнача о том, что строительство такого объекта в Заречном районе создаст для города серьезную транспортную проблему.

Игнатович не просил слова. Сосновский предложил, не хочет ли он выступить.

Герасим Петрович сказал, что комбинат — большой подарок и они, представители городской власти, должны сделать и сделают все, чтоб комбинат строился в их городе, от такого строительства зависят его рост, будущее.

Выступление было довольно прозрачным ответом Карначу, даже таило где-то в глубине нотки угрозы, хотя Игнатович не только не назвал фамилии главного архитектора, но и словом не обмолвился о споре по поводу выбора места под комбинат, как будто вопрос этот был настолько мелкий, что и говорить о нем не стоило.

А Сосновский вроде бы поддержал Максима. Он сказал:

— Ну что ж, можно считать, что обмен мнениями был полезен, хотя, правда, не все подготовились к разговору так основательно, как товарищ Карнач.

Своего мнения, где же посадить комбинат, Сосновский не высказал.

— Девушки наши, — как бы выражая им благодарность, кивнул он в сторону стенографисток, — все записали до последней запятой, это они умеют здорово делать. Никто пускай не боится, что в его речи что-нибудь пропущено. Все эти материалы, — сказал он почему-то Игнатовичу, — мы представим в инстанции, которым надлежит принять окончательное решение о месте строи-

тельства. Не беспокойтесь, решение будет принято правильное. — В зале засмеялись. — Спасибо за участие. Всего хорошего, — и поднялся энергично, по-молодому, с поспешностью человека, который дорожит каждой минутой.

Однако все равно его задержали. Один. Второй. Максим тоже подошел и попросил, чтоб Сосновский принял его — на две минуты.

— По этому вопросу? Не принимаю. Никаких секретных переговоров. Все надо было сказать здесь.

— Нет, не по этому.

— Тогда подожди, пока я попрощаюсь с гостями. Гости, брат, есть гости. Они у нас всегда нежданные, но желанные, и принимать их надо без очереди. Иначе уроним марку.

Когда из зала почти все уже вышли, Максим вспомнил про Шугачева. Замысел их с показом проектов Игнатович сорвал. Шугачев — поэт и романтик, несмотря на свой внешний рационализм, он легко загорается. Он, очевидно, предполагал, что проект его, как говорится, произведет фурор, что все внимание Сосновского, представителя Госстроя, архитекторов, строителей переключится с комбината на его микрорайон. Но не произошло ничего даже близкого к его ожиданиям.

Максим знал, Шугачев будет расстроен. Но не думал, что для него это почти трагедия. И дал промашку, сказав:

— Виктор, подожди. Я загляну к Сосновскому и потом помогу тебе довезти твои картинки.

Обычная их терминология: «ничего картиночка», «картинка для букваря» и т. д. Но Шугачева, который считал, что последняя его надежда на экспериментальный район рухнула, привычное слово это обожгло, как самое изощренное оскорбление. Он бросился на Максима, будто разъяренный бык, ткнул в лицо трубкой ватмана.

— Для тебя это «картинки»! А для меня жизнь! Провокатор ты! Тебе лишь бы себя показать. Пусть скандал, только бы покрасоваться, только бы побыть на виду! Позер!

Максима ошарашил наскок Виктора. И не столько слова его, несправедливые, оскорбительные, сколько это тыкание свертком проектов.

Он сказал почти шепотом:

— Дурак ты, Витя.

Виктор закричал:

— Конечно, я дурак! Один ты умный!

Настроение было испорчено.

У Сосновского сидел Игнатович и, по всему видно было, не собирался уходить, когда пригласили Максима. Может быть, секретари договорились, что примут главного архитектора вдвоем. Возможно, думали, что у него, как всегда, архитектурные вопросы.

Максиму не понравилось присутствие свояка, но что поделаешь. Должен был сесть напротив, через столик, приставленный к большому письменному столу, за которым Сосновский что-то быстро записывал в толстый блокнот-дневник, знакомый всему партактиву; про блокнот этот шутили: «Попадешь в Лёнин синодик».

Игнатович чуть снисходительно, как младшему, но, в общем, дружелюбно улыбнулся Максиму и спросил:

— Ну что, борец, намерен воевать за Берег?

— До последнего вздоха.

Сосновский оторвался от блокнота и хохотнул.

— Э-э, если пошли такие высокие слова, химики могут спать спокойно. Белый Берег у них в кармане.

Игнатович сказал серьезно, явно желая оправдать свою позицию на совещании:

— Думаешь, мы не разделяем твоей озабоченности? Но мы еще больше озабочены тем, что потеряем, если комбинат передадут в другой город. Что для нас дороже?

— Не агитируй его, Герасим Петрович. Скажи спасибо, что своей позицией архитектор не дает тебе впасть в спячку.

Максим увидел, как у Игнатовича передернулась щека, одна, потом другая, словно он катал во рту горькую пилюлю и никак не мог проглотить.

— Однако с этим вопросом все. Как договорились, — Сосновский слегка хлопнул ладонями по столу и обратился к Максиму официально, с заметным нетерпением занятого человека: — Что у вас?

Максим начал рассказывать о молодых строителях, у которых родилась двойня.

Сосновский сразу понял, что разговор пойдет о квартире, и вздохнул. Вопрос трудный, больше всего заявлений, жалоб из-за квартир, и бюро обкома давно решило, что первый секретарь будет заниматься квартирными делами только в исключительных случаях, самых сложных. Тут случай действительно необычный. Но вот сидит секретарь горкома. Ему, как говорится, и карты в руки.

— Послушайте, Карнач, а почему вам не нажать на своего председателя?

— На Кислюка? Нажал.

— И что?

— Договорились, что... будет выделена квартира в доме речников из процентов горсовета.

— Так вы пришли мне сообщить эту радостную весть? — иронически спросил Сосновский.

— Потом я узнал, что квартира передается другому...

— Кому?

Максим набрал воздуха, взглянул на Игнатовича, присутствие которого было сейчас совершенно нежелательно.

— Вашему сыну.

Игнатович смущенно опустил глаза, как будто это относилось к нему.

А Сосновский некоторое время с любопытством смотрел на человека, который попросился на прием, чтоб сказать ему такую вещь. Максим не выдержал, отвел взгляд. Потом жалел: не успел разглядеть, что было в глазах у Леонида Миновича. Потому что через минуту Сосновский наклонился над столом, будто собираясь боднуть кого-то. Сквозь мягкие, как у ребенка, седые и уже сильно поредевшие волосы видно было, как наливается кровью темя.

Наступила неловкая пауза.

Наконец Игнатович поднял на Максима глаза и взглядом выразил осуждение: «Дурень ты бестактный. Ты что, не мог прийти ко мне?»

Максим подумал: «А в самом деле, почему я не пошел к Герасиму? Почему даже мысли не явилось рассказать об этом ему? Двадцать лет дружили!» — и ему стало грустно и больно, и донкихотство это показалось неуместным. Стало неловко перед Сосновским, которого он искренне уважает. Однако же не попросишь прощения. Смешно было бы.

Леонид Минович провел ладонью по лицу, как бы стер все, что там осталось от слов Карнача. И в самом деле, когда поднял голову и взглянул, лицо его было спокойно, со всегдашней смешинкой в глазах, разве только резче, чем минуту назад, проступила усталость человека, который рано начал свой рабочий день и напряженно работал.

— Послушай, Карнач, будь откровенным до конца. Допустим, я не поломаю этого. Что будешь делать? — неожиданно весело и на «ты» спросил Сосновский.

— Ничего. Просто меня постигнет еще одно разочарование.

Сосновский откинулся на спинку кресла, лукаво прищурился и снова оглядел Максима с нескрываемым любопытством.

— Вот ты какой! — и неожиданно упруго встал.

Максим тоже поднялся, несколько растерянный, не зная, как распрощаться после того, что он здесь сказал. Сосновский выручил его, протянул через стол руку.

— Спасибо за откровенность.

Когда за Карначом закрылась дверь, Сосновский быстро прошел к этой же двери и даже какой-то миг постоял перед ней. Потом вернулся к столу. Остановился перед Игнатовичем, который все еще прятал глаза, оттянул резинки подтяжек, будто намереваясь щелкнуть себя по груди.

— Ты видел, какой шип!

— Трудно с ним работать, — пожаловался Игнатович.

— Нелегко, — согласился Сосновский, возвращаясь на свое место, и тут же сказал уже другим голосом: — Пришли ко мне своего умненького мэра. Я с него, чертова сына, стружку сниму.

Оставшись один, Леонид Минович попросил секретаршу нико-

го к нему не пускать и долго ходил по просторному кабинету, останавливаясь то перед книжными шкафами, разглядывая книги, то перед окном, наблюдая за людьми и машинами. Нельзя сказать, что он очень уж разволновался или возмутился. Нет, человеческие слабости были ему хорошо известны, и если что тревожило, так это то, что слабостей этих не становится меньше. Да, не очень приятно, когда тебе в глаза бросают такой упрек. Разумеется, Кислюк — дурак. Но Леонид Минович не искал виновных. Виноват он сам. Не первый раз его слабость, которую называют добротой, подводит.

Невестка будто и ничего женщина, но тоже со слабинкой. У нее начали проявляться обывательские наклонности, и она стала не лучшим образом влиять на своего мужа — их сына, человека мягкого и доброго, раньше, до женитьбы, ничуть не зараженного бациллой собственничества. Валентину Андреевну, жену Сосновского, учительницу, строгую и педантичную, это встревожило. Между свекровью и невесткой начались глухие, глубоко затаенные конфликты.

Постепенно в них втянулся сын — на стороне жены; дочь-студентка была на стороне матери. Создалось два лагеря. Только он, хозяин, оставался вне этого. Его уважали и не вмешивали в свои споры, никогда не обращались к нему как к арбитру.

Он кое-что видел, но считал, что тут играет роль обычная материнская ревность, и защищал невестку по доброте своей.

Валентина года два доказывала, что молодым лучше жить отдельно, чтоб они узнали цену заработанным деньгам, вещам, умели планировать свой бюджет, а не рассчитывали на готовое, не пользовались благами, которые заслужил своей работой отец, но далеко еще не заслужили они.

Леонид Минович отбивался:

— Слушай, Валя, за сорок лет работы в комсомоле, в Советах, в партийных органах я не помню ни одного случая, чтоб человек пришел и сказал: «Я хочу вырвать у государства кусок побольше и повкуснее». Все начинают с таких мотивов, с такой философии, что слушаешь, разинув рот, и ахаешь. Медицина, педагогика, социология, политика — все пускается в ход. Вот как ты, например...

Жена обижалась.

— С тобой нельзя серьезно поговорить.

Ему и в самом деле не хотелось говорить на эту тему. Когда появился внук, которого он полюбил, наверно, сильнее, чем мать и отец малыша, он с огорчением думал, что ребенка могут увезти из дому. Как ему найти время навещать внука где-нибудь в другом конце города?

Но попросил сын, чтоб он помог им получить квартиру. Видно было, что сыну просить нелегко.

— Тебя уговорила мать?

— Нет. Но я не хочу так жить дальше.

В словах сына звучала горечь, это насторожило. Леонид Минович присмотрелся, прислушался, и до него докатились глухие взрывы тайной войны. Это его очень расстроило: свои, родные люди ни в чем не терпят недостатка и, однако же, воюют. Чего им не хватает? И он сдался. Есть такая затрепанная ходячая фраза: пошел по линии наименьшего сопротивления. И вот результат — получил оплеуху. Вежливую, но ничего, щека горит.

Сосновский позвонил домой. Трубку взяла жена.

— Слушай, бабуся... Мебель купила?

— Нет. А что, пришла мебель? — обрадовалась Валентина Андреевна.

— Жаль, что не успели притащить.

Тут она поняла, что надежды ее, недели две назад как будто бы ставшие реальностью, рушатся, и затаила дыхание, слушая, как гремит саркастический голос мужа:

— Мне захотелось посмотреть, как бы вы распродавали ее. По частям или оптом? С аукциона. Во дворе можно было бы устроить аукцион. Вот зрелище! Сосновский торгует мебелью!

— Что случилось, Леня? — голос ее задрожал.

У него были в запасе более ядовитые слова, но он пожалел жену: легко ли ей в школе, достаточно портят нервы маленькие разбойники! А тут еще свое...

— Вам что, не хватает санитарной нормы?

— Леня, при чем тут норма?

— У вас по две нормы! Ужиться не можете? Стыдно! Научитесь жить в общежитии по-коммунистически. Все для этого у вас есть. Скажите, чего не хватает? Дружбы, мира? Обещаю тебе установить в своей семье и мир, и дружбу! Вот так, дорогая Валентина Андреевна, мой прославленный товарищ педагог! — и положил трубку.

XIX

Экзамен Максим назначил на ранний час — на половину восьмого, надеясь часам к двенадцати освободиться: были неотложные дела в управлении. Но студенты отвечали плохо. Чтобы выяснить, что же усвоено из теории архитектурной композиции, приходилось изрядно-таки погонять студента.

Часа через два экзаменатор уже был измучен и расстроен. Вспоминал, с каким интересом когда-то он и его товарищи, полуголодные в первые послевоенные годы, в заплатанных гимнастерках, без учебников, вгрызались в каждый предмет, который раскрывал перед ними тайны архитектурного творчества. А тут приходили модно одетые юноши с длинными волосами, девушки с шиньонами, многие из которых не представляют себе завтрака без масла и обеда без отбивной, и удивляли своим невежеством, непониманием элементарных основ, средств гармонизации про-

странственных форм. Одна не могла толком ответить, что такое симметрия и асимметрия. Другой не знал архитектурных ордеров, хотя по истории архитектуры, которую сдал год назад, у него стояла четверка.

Максим, всегда относившийся к себе критически, начал уже думать, что, может быть, виноват он сам — не сумел заинтересовать студентов этим важным, необходимым в практической работе и, по его мнению, живым, творческим предметом. Обычно Максим читал типологию зданий культурного назначения. Но в областном городе, в новом институте не хватало квалифицированных преподавателей, и его попросили прочитать курс композиции.

Лекции его хорошо посещались. Слушали эти волосатые модники как будто внимательно, с интересом. Почему же такой результат? Кого мы набираем и какую смену готовим?

Но три человека, и притом один за другим — случайно подобрались, или друзья, может быть, ребята, живущие вместе в общежитии, — отвечали отлично, приятно было слушать. После этой троицы Максим перестал укорять себя и на тех студентов, которые «плавали», стал смотреть как на безответственных лодырей, язвительно подсмеивался и сыпал двойки.

По тому, как затих веселый шум в коридоре, понял, что среди студентов переполох. Видно, группу считали неплохой, и такой провал — катастрофа не только для студентов, но и для факультетского, а может быть, даже и для институтского начальства; ведь здесь, как и в школах, борются за высокий процент успеваемости, молчаливо соревнуясь, у кого процент этот будет ближе к ста.

Часов в одиннадцать, когда оставалось еще полгруппы, хотя экзаменатор и начал гнать скорее — не «вытягивал» дополнительными вопросами, явилась Нина Ивановна. Учтиво попросила разрешения присутствовать на экзамене. Села сбоку стола.

Максим сперва подумал, что студенты пожаловались в деканат, там тоже подняли тревогу — горим! — и прислали контролера. Нет. Скорее всего Нина сама выразила желание пойти повлиять на безжалостного Карнача.

«Ну что ж, поглядим, что ты будешь предпринимать...» — с веселой иронией подумал Максим. Но через несколько минут беспокойно заерзал на стуле, потому что почувствовал, что присутствие этой женщины раздражает.

Нина Ивановна не сводила с него глаз и, казалось, совсем не слушала ответы студентов.

«Уж не думаешь ли ты растопить мое сердце своими женскими чарами?»

Этот пристальный взгляд не только раздражал, но и приводил в замешательство, отвлекал от дела.

Была у них встреча два дня назад, в воскресенье, опять там же, в Волчьем Логе. Странная встреча.

День выдался морозный и ясный. Сосняк стоял убранный в сказочный иней, сверкающий и переливающийся на солнце.

С утра Максим бродил в лесу на лыжах, хотя для прогулки было, пожалуй, слишком холодно. Перед обедом поднялся наверх поработать на верстаке. Немного погодя глянул в протаявший от дыхания глазок и сразу же увидел ее, все в том же ярко-красном лыжном костюме.

Сперва захотелось запереть дверь и спрятаться, затаиться. Но потом решил, что это не по-мужски. Она не раз звонила, нескромно, настойчиво напрашивалась на встречу. Он уклонялся, выдумывал разные предлоги.

Но нельзя же без конца уклоняться. Надо наконец сказать правду. Они не юнцы и никаких обязательств друг перед другом не имеют, пусть она считает происшедшее пикантным эпизодом, своей победой над его слабостью.

Он накинул кожушок и вышел ей навстречу. Она увидела его и быстро подбежала, запыхавшись. Хватала воздух, как при удушье. Но щеки у нее были не розовые, а белые.

Вместо приветствия он сказал:

— Ты обморозила щеки.

Она испуганно ойкнула.

Он набрал в пригоршню колючего снега, грубовато зажал ее голову левой рукой и начал растирать ей щеки.

Она сперва засмеялась, потом запротестовала:

— Ой, больно! Медведь! Ты свернешь мне голову.

И вдруг, бросив на снег красные перчатки, поймала его мокрую от растаявшего снега руку и прижалась к ней губами.

Такая неожиданная нежность привела его в смущение. Он отпустил гостью и отступил в сторону. Она сказала:

— Идем.

— Куда?

— К тебе, — и засмеялась. — На этот раз за мной действительно гонится Макоед. Но отстал на добрый час. Куда ему до меня! Пентюх с проспиртованным сердцем.

— Нина! За кого ты меня принимаешь?

Она смутилась, съежилась, растертые щеки ее запылали; она прошептала, как девочка, которую хотят бросить:

— Ты не хочешь подарить мне нисколечко радости?

Он направился к даче. Она шла следом. Под его валенками снег звенел, под ее лыжами — жалобно плакал. Он сказал, не поворачиваясь:

— Я, кажется, подарю тебе большую неприятность. Я собираюсь перейти в институт и претендую на кафедру, которой ты пока что заведуешь.

Он очень хотел бы увидеть, что отразилось на ее лице! Во всяком случае, был уверен, что услышит нечто вовсе противоположное проявленным ею сейчас чувствам. Недаром Виктор Шугачев, неплохой психолог, говорил, что из-за карьеры Нина продаст

не только Макоеда, но и собственную душу. Но того, что ожидал, не услышал. Ничего не услышал в первую минуту. Перестали голосить лыжи. Она остановилась.

И он остановился, все еще не поворачиваясь, боясь, что она прочтет на его лице, как он доволен, что так ошарашил ее своими словами. И вдруг услышал то, что ошарашило его самого. Она сказала горячим шепотом:

— Максим, я люблю тебя.

Он круто повернулся. Она стояла на лыжах, вяло опустив руки с палками; от ее импозантности ничего не осталось: обыкновенная женщина, которую бросает муж или любовник, — растерянная, но еще надеющаяся вернуть его, уговорить. Виноватая усмешка искривила ее побелевшие губы.

Максим на миг почувствовал нечто похожее на сочувствие. Но преодолел свою слабость. Заговорил о другом:

— Много чести Макоеду, чтоб я его встречал. Но черт с ним! Живой человек. А то еще замерзнет в поле. А у нас так мало архитекторов. Ты иди оттирай щеки, а я встречу. — И пошел надевать лыжи.

Макоеда встретил скоро — минут через десять: тот был не так уж измучен, во всяком случае, не задыхался, как его жена.

Возбужденный и веселый поначалу, Макоед, пока накрывали на стол, ходил следом за Максимом и рассказывал о прочитанной вчера статье — в ней историк и врач доказывал, что Сальери не отравил Моцарта, не мог отравить, что Моцарт умер от ревматического порока сердца. Рассказывал подробно, в деталях, хорошо запомнив схему доказательств.

— Это уже лет полтораста доказывают, — сказал Максим.

Нина засмеялась.

— Почему это тебя так увлекло? Не собираешься ли отравить кого-нибудь?

— Неумные у тебя шутки.

Максим стеганул Макоеда за его позицию на совещании у Сосновского.

— Никто из архитекторов не поддержал посадку «химика» в Белом Береге. Один ты. Кто же ты? Гений или...

— ...дурак, — подсказала Нина, хотя Максим хотел сказать «невежда», слово не менее крепкое, но более культурное.

Макоед с удивительной убежденностью начал доказывать, что это действительно тот случай, когда все они, профессионалы-архитекторы, увлеченные модной идеей охраны живой среды, не видят положительных аспектов размещения комбината в Заречном районе. Он приводил аргументы, цитаты и обвинял их всех, выставляя таким образом себя как самого прогрессивного, самого современного планировщика.

— Еще Корбюзье сказал, что, несмотря на все разговоры о функциональности, творчество архитекторов не так уж отличается от творчества представителей других искусств. У нас все

еще на первом плане эстетика, хотя в эпоху индустриального строительства функция стала решающей. Она диктует и закон экономии. Мы только тешим себя тем, что научились сочетать эти два главных слагаемых архитектуры. Нет, не научились. В масштабе одного сооружения еще думаем о таком сочетании, потому что этого требуют проектное задание, нормативы. А в масштабе города, страны? Кто из нас учитывает так, как Игнатович, все экономические показатели развития города?

Позицию он занял выгодную. И прочную. Такие аргументы, такая самокритичность понравятся не одному Игнатовичу, а, пожалуй, всем хозяйственникам.

Даже Нина без всякой иронии удивилась:

— Скажи пожалуйста! До сих пор не знала, что мой муж — такой эрудит!

Максим давно уже уклонялся от серьезных дискуссий с Макоедом. Зря только тратить время и энергию. Макоед умел сделать предметом спора абсолютно бесспорную вещь. Стоит Карначу сказать, что это белое, как Бронислав Адамович тут же возразит. Нет, он не скажет, что черное или красное, но будет доказывать, что это, во всяком случае, не белое. Какое хочешь, только не белое.

Поэтому Максим не стал оспаривать Макоеда — не дал ему щегольнуть заранее подготовленными аргументами. Перебил новым анекдотом, над которым очень смеялась Нина Ивановна.

От обиды Макоед выпил лишнее и почему-то опять вспомнил Моцарта. Сказал, будто хвастаясь:

— А я... я никогда не верил, что Сальери мог отравить...

— А я верю, — Максим сказал это нарочно, хотя до сих пор помнил, что когда-то в студенческом общежитии в споре на эту тему остался в единственном числе, высказав сомнение в исторической правде пушкинской трагедии. — Мог отравить. Такой завистник...

— Как ты, — опять безжалостно кольнула мужа Нина.

Кончилось тем, что Макоед расплакался. Самым натуральным образом. Хныкал, как маленький:

— Почему вы меня не любите? Я вас люблю, всех люблю, а вы не... не... любите...

Было противно, неприятно, но в то же время и смешно. Обидели несчастного. Всю жизнь делал другим гадости, а теперь требует любви.

Нину Ивановну встревожили и даже испугали слезы мужа; она, как бы чувствуя свою вину, мигом превратилась в добрую и заботливую супругу и поспешила поскорей вывести мужа на мороз, чтоб протрезвел.

...Когда вошла очередная четверка студентов и, вытащив билеты, углубилась в подготовку — теперь уже ничто не могло привлечь их внимания, — Максим тихонько спросил у Нины Ивановны:

— Ты пришла проверять меня?

Она нежно улыбнулась и покачала головой: нет.

Но его все еще раздражала мысль, что кто-то решил проверить, как он принимает экзамены, и выбрал для этой цели Нину Ивановну. А тут еще среди студентов, вытащивших билеты, оказался Вадим Кулагин.

Нина Ивановна взяла чистый лист бумаги и зеленым фламастером крупным красивым почерком написала: «Я пришла побыть с тобой. Посмотреть на тебя».

Он придвинул эту бумагу и шариковой ручкой нарочно криво, неразборчиво и размашисто, на полстранички, набросал: «Не мели сентиментальной чепухи. Я не студент, и ты не студентка. «Пришла посмотреть...» Курам на смех...»

Девушка, одна среди трех парней, сказала, что она готова к ответу. Максим обрадовался, что кончилась пауза и не надо продолжать эту нелепую, действительно студенческую игру в записочки. Вот еще современные Китти и Левин!

Безжалостная природа обидела девушку: не дала привлекательности, но зато наградила памятью, которая, наверно, удивляла преподавателей. Студентка отвечала почти слово в слово так, как читал он, Карнач, в тех же выражениях, с теми же примерами, которые приводил он. Максиму не понравилось: зазубрила стенограмму. Дал ей проект современного театра, построенного в парке, по его мнению, неудачно, и попросил рассказать о взаимосвязи масштаба здания с окружающим пространством. Студентка говорила об этой взаимосвязи детально и теоретически правильно. Но в одном ошиблась: посчитала, что в предложенном проекте найдено наилучшее масштабное решение. Максим понял: у девушки нет фантазии. А какой же это будет архитектор — без фантазии? Обладая такой памятью, изучала бы лучше иностранные языки или библиотечное дело.

Поставил четверку.

Как многие некрасивые женщины, девушка была сердитая и решительная, знала, что придется пробиваться в жизни. Лицо ее не покраснело от гнева или смущения, а как-то странно, почти страшно, посинело. Голосом глухим и холодным она попросила объяснить, почему ей поставлена четверка. В своих знаниях она была уверена.

Максим терпеливо растолковал ее ошибку.

Студенты оторвались от записок и вытащенных из рукавов шпаргалок, на которые он, экзаменатор, обычно не обращал внимания — по шпаргалкам такой предмет не сдашь, — и внимательно слушали.

Во взгляде Нины Ивановны появилась настороженность.

Выслушав, студентка спросила:

— А у вас не было таких ошибок?

— Были.

Она хмыкнула.

— Но мне не ставили отметок. Просто отклоняли проект. А это уже не четверка, а двойка или даже единица. Получить ее, имея диплом, — трагедия посерьезнее, чем провалиться на экзамене. Помните это.

Девушка была неглупая и, видно, поняла, что к чему, потому что неожиданно поблагодарила, хотя голос ее звучал тускло.

Нина написала на том же листе, но мельче и не так красиво: «Ты безжалостный».

О чем это она — об его ответе на ее слова или об оценке студентки?

Не дожидаясь, пока она протянет ему бумагу, Максим взял листок и наискосок по написанному Ниной раньше будто резолюцию наложил: «Я безжалостный! К кому?!»

Она улыбнулась, забрала листок и, закрыв ладонью, начала писать, как школьница, которую это забавляет и трогает.

Он спросил у студентов, кто готов отвечать. Но напуганные историей со своей коллегой студенты не спешили. С явным намеком Максим посмотрел на часы и заглянул в зачетные книжки — кого вызвать? Но тут Нина Ивановна опять передала свое послание.

Он прочитал: «Максим! Не иронизируй и не злись. Знай: я люблю тебя. Я отдам тебе кафедру. Отдам все за счастье быть всегда рядом с тобой».

Странно, как скептически и сердито он ни был настроен, слова эти его взволновали. Он взглянул на студентов — не наблюдает ли кто за ними? Взволновала не откровенность признания — загадочность этой женщины. На интригу это не похоже. Тут тайна женской души — одна из тех тайн, о которых написаны горы книг.

Хотел было разорвать бумажку и закончить таким образом неуместную игру, пока студенты не учуяли суть их переписки, а то разнесут не только по институту — по всему городу. Но подумал, что, разорвав листок, обидит Нину Ивановну. А зачем обижать? Он вдруг подобрел, смягчился, сразу схлынуло раздражение. Сложил листок вчетверо, сунул во внутренний карман.

Нина Ивановна, пристально, жаркими глазами следившая за каждым его жестом и выражением лица, затаенно и радостно вздохнула.

Максим вызвал:

— Кулагин.

Вадим нехотя поднялся, нехотя подошел к столу. Он был уверен, что Карнач на экзамене из мести придерется к нему — за Веру, за разговор. Боялся этого и по-своему храбрился. Чтоб не выдать своей боязни ни перед однокурсниками, ни даже перед самим собой, готовился к предмету не больше, чем другие. А студент он средний, особенной глубиной знаний не отличался. Правда, недурно владел карандашом и кистью, что давало ему пре-

имущество перед «теоретиками», которые все предметы сдавали на пятерки, но не умели нарисовать классической колонны — не чувствовали перспективы, объема, масштаба.

То, что Карнач вызвал его первым, по мнению студента, служило доказательством необъективности преподавателя. «Почему меня, а не Бугаева?»

На самом же деле Максим вызвал Кулагина потому, что был в этот момент в наилучшем настроении — добрый, снисходительный. Еще когда Вадим вошел в аудиторию, Карнач, несмотря на раздражение, вызванное плохими ответами студентов и появлением Нины Ивановны, приказал себе: с этим парнем быть объективным и мягким.

Максим знал от Поли, когда и как Вера открылась им. Как испугался, запаниковал Виктор. И что сказала она. И как это обрадовало Веру, вернуло к жизни. С того дня все изменилось в ее отношениях с этим красавчиком. Теперь она ведет себя уверенно, независимо, а он виновато и скромно.

Вера рассказала матери (теперь она все рассказывает), как поговорила с отцом своего ребенка. Потом Вадим, робкий и смущенный, приходил к ним. И каждый раз Вера чуть ли не издевалась над ним и едва не выгоняла из дому.

Мать боялась, что Вера переигрывает и может совсем оттолкнуть парня. Сказала об этом дочери.

«Мама, — отвечала Вера, — я пережила такое унижение, такой страх! Из-за него».

Максим понимал Веру и одобрял: за унижение надо отомстить. Но не мог не согласиться с опытной и рассудительной матерью, что все хорошо в меру, нельзя перехватывать — ни в нежности, ни в злости. Парень, видно, не пустой, если не только не отвернулся совсем, узнав о Верином намерении родить ребенка, а, наоборот, льнет к ней и хочет жениться, несмотря на запрещение отца.

Поля просила, чтоб Максим при случае повлиял и на Веру, и на Вадима.

Он пообещал, хотя и пошутил невесело: «А ты не думаешь, что я теперь не гожусь в сваты?»

И вот у него сейчас есть возможность показать настороженному юноше свою доброжелательность — он, мол, зачеркнул тот неприятный разговор, и никто ему, Вадиму, не будет колоть глаза старыми ошибками. У кого их не было, ошибок! Люди в два раза старше, уже, казалось бы, знающие жизнь, делают глупости и почище.

Отвечал Кулагин посредственно, как-то очень куцо, хотя и правильно. Наверно, по шпаргалкам, но, видно, потому и встал нехотя, что не успел использовать все шпаргалки.

Максим слушал терпеливо, не перебивая, не поправляя. Впервые вмешалась в экзамен Нина Ивановна, будто почувствовав, что парня надо вытянуть хотя бы на четверку. Задала вопрос-подсказку по организации открытых пространств: тема эта связана

с ее диссертацией. Подсказки Вадим ловил, как говорится, на лету, из чего Максим сделал заключение: парень способный, но лодырь, даже конспекты и учебники прочитал не очень внимательно.

По тектонике ордерных систем совсем «плавал».

Надо было ставить ему тройку. Но Максиму очень хотелось вытянуть Кулагина на четверку: в зачетной книжке, которую он просмотрел, у студента были хорошие отметки.

Спросил о «функции Жолтовского». Кулагин слышал звон, но не знал, где он, — имел об этом представление весьма смутное.

Максим мягко попросил его начертить ритмический ряд, образуемый сочетанием метрических рядов. Самое элементарно-простое во всем курсе композиции.

Кулагин повернулся к доске, взял мел и застыл. То ли он вообще пропустил главу о ритме, то ли схемы ритмических рядов перепутались у него в голове.

Максим удивился:

— Вы не можете начертить такой пустяк? Постыдитесь, Кулагин.

Вадим с перекошенным лицом круто повернулся от доски, сжав зубы, прошипел:

— Вы придираетесь ко мне. Я знаю, отчего вы...

Максим сказал ласково, мирно:

— Ну и дурень же ты, брат.

Кулагин завизжал, как будто его укусили:

— А вот за оскорбление я буду жаловаться! Вы слышали, Нина Ивановна, как он?.. Я к ректору пойду!

Максим встал так, что стул отлетел к доске, и грохнул на всю аудиторию:

— Пошел вон, щенок!

* * *

Вера вернулась из института в слезах. Сразу же, не сняв пальто, пришла на кухню и расплакалась.

— Какой дурак! Какой дурак! Боже мой, зачем я полюбила такого дурака?

Поля следила теперь за дочкой, за ее настроением особенно внимательно. Раньше не нравилось ее уныние, теперь иной раз не нравится ее чрезмерная веселость, потому что за ней часто таится тревога, страх. Эти слезы и в особенности детски-наивный возглас: «Зачем я полюбила такого дурака?» — обрадовали мать. Значит, ничто не поколебало ее любви. Любит по-прежнему. Значит, все еще может наладиться. Только надо проследить, чтоб она и в самом деле какой-нибудь непродуманно-резкой выходкой не оттолкнула парня. Поля совсем успокоилась, когда узнала, что случилось в институте. Вадим нагрубил Максиму Евтихиевичу на экзамене, и тот выгнал его из аудитории. Вадим, вместо того что-

бы, успокоившись, извиниться, бегал к декану жаловаться. И вот этого Вера не может простить. Вера даже и мысли не допускает, что дядя Максим способен поступить несправедливо.

Поля успокоилась, но подумала с легкой обидой на Максима: «Зачем ему сейчас цепляться к этому парню, когда все так неопределенно? Неужели не понимает, что это может не лучшим образом отразиться на отношениях Вадима и Веры? Ведь она вон какая: за своего кумира готова с кулаками кинуться на любого».

Может быть, и не возникло бы это чувство, если бы не обида Виктора на Максима. Несколько дней назад Виктор вернулся с совещания в обкоме возбужденный и взволнованный, без обычного уважения к своему труду закинул проекты на шкаф. Поля сразу поняла, что случилось недоброе, что мужа обидели, наверно, осудили его идею застройки Заречья. Но знала, что сразу у Виктора лучше ничего не спрашивать: раскричится, наговорит глупостей и потом будет еще больше расстраиваться. Пускай оттает, смягчится. Заряда злости, обиды, гнева у него хватает ненадолго.

В самом деле, после ужина и неплохого фильма, который он смотрел по телевизору, настроение у Виктора заметно улучшилось. И Поля решилась спросить так, чтоб не слышали дети, что же случилось в обкоме.

Он помрачнел, попробовал уклониться.

— Ничего не случилось.

— Если это партийная тайна, можешь не говорить. Но настроения своего ты от меня не скроешь, как ни старайся. Много соли мы с тобой вместе съели, Витя, чтобы не понимать друг друга.

Тогда он рассказал, кто и чем обидел его.

Поля удивилась. Знала, что можно смертельно обидеть человека одним словом, самым простым, не бранью, не обвинением. Все зависит от того, когда, где, как, в каком контексте и под какое настроение сказать это слово. Но из того, что рассказал Виктор, она не почувствовала, чтоб «картинки», как назвал его листы Максим, было словом, которое могло так больно ранить взрослого, не лишенного чувства юмора человека. Она всегда боялась проявления мелочности, мнительности у детей, мужа, у себя. Ржавчина эта появляется неприметно, а разъедает характер быстро и сильно.

Поля тогда никак не могла понять, за что же обиделся Виктор на Максима. Даже, можно сказать, страдала: так, кажется, знает она своего мужа, а выходит, что и в его душе есть еще тайны, которые требуют разгадки.

А вот теперь, слушая, как Вера во всем обвиняет Вадима, она вспомнила слова мужа: «Он точно производит психологический эксперимент. Над всеми, кто его окружает». Кажется, она в чем-то поняла Виктора. И мысленно укоряла или просила Максима: «Нам не нужны никакие эксперименты. Пускай они, молодые, сами разберутся. Тут я больше верю в мудрость их сердец, чем в ваш разум».

Вера сама за ужином рассказала отцу о происшествии в институте, правда, без слез уже и без особенного возмущения Вадимом.

Виктор сказал с иронией или одобрением — нельзя было понять:

— Наполеон.

— Почему Наполеон? — удивилась Вера.

Отец не ответил.

Теперь, когда прошло несколько дней и было время спокойно подумать, Шугачев понял, что его обидели не слова — не такой он мелочный. Там, в обкоме, он почувствовал, что целый год жил в воображаемом мире, оторвавшись от действительности. А кто его, такого земного, вознес в небеса? Максим. Он зажег надежду, что они получат разрешение на экспериментальную застройку Заречья. И подбрасывал в огонь сухой хворост. Надежда превратилась в уверенность, и он, Шугачев, как наивный дипломант, целый год создавал на бумаге, в мыслях новый район по своим нормативам.

Почему там, на совещании по совсем другому вопросу, вдруг — как от взрыва — стала рушиться его надежда, он объяснить не мог. Странно, что почувствовал это именно тогда, когда Максим со своей дурацкой иронией назвал его проекты картинками. Да, красивые картинки, которые невозможно материализовать — перевести в бетон, стекло, асфальт, в зеленые аллеи.

Поля по-женски хитро подбодрила, сказав, что он спроектирует и по существующим нормативам самый лучший район. Это удержало его от глупости — отказаться от проекта. Но это не помогло переработать проект. Попытался — не вышло.

Опять три ночи просидел над листами. Хотел уничтожить все, что явно превышало нормативы. И не мог зачеркнуть ни одного эскиза. Жаль было до сердечной боли. Вспомнил, как легко рвал и жег свои эскизы Максим — чтоб не мозолили глаза и не мешали искать другое решение. Завидовал такому мужеству и щедрости. Видно, это примета истинного таланта. А вот он так не может. Особенно с проектами Заречья. Очень дорога для него эта работа. Она давала ту радость, без которой жизнь становится бедна и скучна.

Как же сочетать безжалостный закон экономии с неудержимым полетом воображения?

Видно, поздно ему летать. Не тот возраст, не то положение, не то место. Не в областном городе затевать такой эксперимент. Молодой скептик, его сын, прав. Надо опускать крылья. Поздно распростер их во всю силу. Надо по-прежнему тихо и незаметно проектировать обыкновенное жилье, придерживаясь инструкций и ценников. И добиваться премиальных. Для себя. Мастерской. Филиала института. И все будут довольны. Портрет его по-прежнему будет висеть на доске передовиков.

Чертов Карнач! Как он взбудоражил его спокойную жизнь! А теперь ведет себя так, будто Заречье — мелкий эпизод в его широкой деятельности. Вот откуда обида.

XX

Галина Владимировна неслышно вошла в кабинет, так же неслышно подошла к столу, положила сбоку пачку бумаг.

— Почта, — сказала коротко.

— Спасибо, — ответил Игнатович, как всегда, приветливо, но от бумаги, которую читал, не оторвался. После неприятного и тяжелого разговора с женой о Галине Владимировне он не то боялся, не то стеснялся смотреть на секретаршу и доверительно беседовать с ней.

Такая загадочная перемена в отношении к ней Герасима Петровича удивляла и беспокоила Галину Владимировну.

Она повторила:

— Почта.

Раньше он часто весело спрашивал: «Что самое интересное в нынешней почте? Где тут гвоздь?» Письма были самые разные, иной раз трагические, иногда анекдотичные. Такие письма они обсуждали. Игнатовичу интересно было перед тем, как принять решение по тому или иному письму, услышать мнение этой спокойной и рассудительной женщины. По жалобам и личным просьбам она деликатно и почтительно, как бы между прочим, давала иной раз умные и дельные советы.

По тому, что она повторила слово «почта» дважды, он понял, что есть в этой почте «гвоздь», но опять-таки не поднял головы, лишь поблагодарил сердечней и теплей:

— Спасибо вам, Галина Владимировна.

Какой-то миг она постояла возле его стола, потом неслышно вышла. На работе она носила какие-то бесшумные туфли, которые не стучали даже на звонком паркете. Это ему нравилось. Вообще нравилось ее умение одеваться красиво и скромно, ничто не бьет в глаза.

Он посмотрел ей вслед и тут же со злостью одернул себя, потому что посмотрел любуясь. А на это он не имеет права! Пускай Лиза выдумывает, что хочет. Главное, что перед самим собой, перед своей совестью он был чист даже в самых потаенных мыслях. Он гордился своей моральной чистотой: никогда лишнего не выпил, не пожелал чужой жены, не лгал, строго держался линии, не взял ничего сверх положенного, не делал приписок и даже никогда не старался утаить свои ошибки в работе.

Закрылась дверь за Галиной Владимировной. Герасим Петрович взглянул на почту, которую она принесла. И сразу кровь ударила в лицо. Первым лежало Дашино заявление в горком, ее жалоба на Максима и просьба «призвать его к порядку, потому что

коммунист Карнач потерял не только партийную, но и человеческую совесть».

Он одним взглядом выхватил эти слова. Торопливо, почти со страхом искал другое имя — Галины Владимировны. Не нашел, вздохнул с облегчением. Но все-таки было неприятно, что Галина Владимировна читала это письмо. Ишь, положила первым, поверх всех других писем, безусловно, более важных! Как будто нарочно. И дважды повторила «почта», желая обратить его внимание, поговорить.

Игнатович все еще не хотел верить, что отношения Галины Владимировны и Максима зашли так далеко, как говорит Лиза. Но он сам был свидетелем их разговора, видел, какая красная была Галина Владимировна. Ее румянец, между прочим, показывал, что это еще только начало, но ясно, что они тянутся друг к другу. Игнатовичу было не только неприятно, но почему-то обидно и больно, как будто его, честного человека, бессовестно обманули.

Разозлился на Лизу. Это она подговорила сестру. Она как-то обмолвилась, что, если примирение не состоится, Даше придется написать в горком. Лиза упомянула об этом в такой момент, когда он не мог ей возражать. А теперь разозлился. На кой черт она подсовывает ему эти бабьи, да еще родственные, проблемы?! Мало у него дел по руководству городом? Он вообще не любил, когда поступали такие жалобы. И жен таких презирал. Что это за женщина, которая хочет удержать мужа при помощи партбюро, райкома или горкома? Это ж надо совершенно потерять женскую гордость, не уважать самое себя.

Однако положение не разрешало ему официально высказать то, что он думал об этих женщинах. Официально он обязан серьезно разбираться в семейных конфликтах.

Да, Дашиному письму придется дать ход, обратно его не отправишь. Зарегистрировано... Прочитано... Опять стало неприятно от мысли, что прочитано письмо не только им. Должно быть, весь аппарат уже знает. И ждет, как Герасим Петрович поступит со своим другом и свояком. Чертовы бабы! Если уж надумали писать, неужто не могли передать ему лично? Впрочем, что бы это изменило? Ничего. Все равно пришлось бы разбираться. Может быть, даже хуже самому принести такое письмо в горком.

Злость на Лизу понемногу остывала: у жены хватило ума или хитрости не втягивать в эту некрасивую историю его секретаршу и не создавать еще одной проблемы.

И тогда весь его гнев и раздражение обратились против Максима. Двадцать лет он считал Карнача разумным человеком, когда-то, когда был моложе, просто влюблен был в свояка-архитектора за ум его, талант, остроумие, веселость. Неужели же он, Герасим Петрович, такой проницательный и тонкий знаток человеческой психологии, двадцать лет ошибался? Что же произошло? Что изменилось? Или кто изменился?

Ему хотелось быть предельно объективным. А может быть, он

сам в чем-то изменился, что-то утратил? Нет. Абсурд. У Карнача не только нелады в семье. Целая цепь поступков, за каждый из которых любой другой работник, даже занимающий должность повыше Карнача, давно, как говорится, стоял бы вот на этом красном ковре. Это он оберегал Карнача от партийного и общественного суда. Но дальше оберегать невозможно. А то сам потеряешь принципиальность и увязнешь в обывательском болоте. Работать с ним вместе больше нельзя. Как он разговаривал в последнее время! Этот его анархизм в архитектурных вопросах... Письма о «химике» и Заречном микрорайоне... Попробовал бы подобным образом высказать свое частное мнение даже главный архитектор столицы, Минска, посмотрел бы я, что бы от него осталось. Карнач прямо-таки переходит все границы. А кто виноват? Он, Игнатович. Давал поблажки, приучил решать важнейшие градостроительные проблемы в дружеской обстановке, за чашкой кофе или даже рюмкой коньяку. Нет, всегда надо выдерживать дистанцию на таком посту. Не только со свояком — с отцом, с сыном, с женой. Люди слабы. И от любого попустительства, неправильно понятой демократии теряют чувство ответственности, такт, меру дозволенного.

Мысль о том, что Карнача надо наказать, как-то испугала Герасима Петровича. Собственно говоря, испугала не самая мысль, а то, что это должен сделать он, кроме него, никто этим не будет заниматься. Парторганизация исполкома? Карнач там заместитель секретаря партбюро и играет в бюро первую скрипку. Нет, не то бюро, которому можно поручить такое дело. И, наконец, заявление поступило не куда-нибудь, а персонально на его, Игнатовича, имя. Было бы беспринципностью и недостойной трусостью шмыгнуть в кусты, поручив разбираться кому-то другому. Этого, не в пример некоторым руководителям, он никогда не делал. Всегда считал, единственно правильная позиция руководителя — любые вопросы решать без скидки на дружбу, родство, кумовство.

Но тут Герасима Петровича охватила грусть, как будто он потерял что-то дорогое, похоронил близкого человека. Не сразу даже понял, откуда такое чувство. Но почему-то вспомнились слова Сосновского о дружбе. Ах, вот что, жаль двадцатилетней дружбы! Да, жаль, он не скрывает, что это так. Может признаться в этом Лизе, Даше, самому Карначу... Даже Сосновскому. Между тем слова Сосновского выплывали, как в магнитофонной записи: «И если ты узнаёшь о неладах в семье друга тогда, когда дело дошло до разрыва... я тебя поставил бы на этот ковер рядом с Карначом...»

Опять разозлился на Сосновского. «Старый моралист. Хотел бы я посмотреть, как ты вертелся бы, если б что-нибудь подобное отмочил твой партизанский дружок Гречаник. Своих партизан ты всегда выгораживаешь... Для всех у тебя одна мерка, для партизан — другая».

Герасим Петрович поднялся, подошел к окну. На улице была оттепель. Груды сметенного к тротуарам снега почернели. Посреди улицы чирикала и дралась стая воробьев. Что они там нашли? Какая пожива могла оказаться посреди городской улицы? Потом вспомнил. Один партизан из отряда Сосновского, председатель недалекого колхоза Иван Музыка (фамилия как нарочно для него придумана!), и до сих пор часто приезжает зимой в город на лошади. Расписной возок. Добрый жеребец. И хозяин в кожухе. Едет не спеша по центральной улице, задерживает транспорт, собирает ребят.

Как-то Игнатович сказал Сосновскому, что следовало бы Музыке запретить это цирковое представление. Но Сосновский посмотрел на него с удивлением и спросил язвительно: «А что тебе еще хочется запретить? Выкладывай всю программу-максимум».

Вчера был пленум обкома, и Музыка опять приехал на лошади. Там, где танцуют воробьи, стоял возок, и распряженный конь хрупал клевер. А после пленума вместе с Музыкой вышел Сосновский и, как цыган, долго осматривал действительно красивого молодого жеребца. Когда Музыка запряг, Сосновский сел с ним в возок, и они поехали по пустынным вечерним улицам к реке. Правил Сосновский. Актеры. Игнатович никогда не поверит, что в наше время у старых пополневших людей, имеющих персональные машины, есть душевная потребность проехаться на лошади. Все игра в селян. Музыке этому часа три надо трястись на лошади, если не больше, а на «Волге» доехал бы в полчаса.

Неплохо было бы придумать какой-нибудь анекдот о вчерашней прогулке Сосновского. Могли, к примеру, они перевернуться, съезжая к реке? Нет, плоско. Не мастер он на выдумки. Да и не к лицу ему пускать «утки». Сочинителей легенд и анекдотов хватает и без него.

Однако все-таки воспоминание, вызванное воробьиной стаей, развеселило, во всяком случае, отвлекло от нелегких мыслей, привело в некоторое равновесие. В конце концов, Дашино заявление — мелкий эпизод в его большой и многоплановой работе. Подумаешь, еще одно письмо от жены, не умеющей удержать мужа!

Герасим Петрович вернулся к столу, взял с подставки ручку-«ракету», нацелился ею на Дашино письмо, чтоб написать резолюцию. Но «ракета» повисла в воздухе.

Выносить на бюро одно это заявление мелковато. Конечно, можно создать персональное дело и из неверности жене. Но в случае с Карначом могут по-разному к этому подойти. Какой-нибудь Кислюк разведет либеральную демагогию. А половинчатого решения быть не должно. Да и вообще он, Игнатович, всегда верен принципу: любой вопрос решается комплексно. Только при таком решении можно избежать ошибок.

Герасим Петрович набрал номер телефона и вызвал к себе заведующего отделом Языкевича.

Тот явился через минуту, не успел секретарь прочитать и одно письмо.

Игнатович гордился своим аппаратом. Работает, как хорошо отлаженные часы. Заведующие отделами, инструкторы, техперсонал — люди образованные, энергичные, преимущественно молодые. Тех, кто хотел спокойно, без лишних эмоциональных нагрузок доработать до пенсии, он переместил в другие учреждения на более высокие должности. Никто как будто не обижен, а делу на пользу. В конце концов, весь ритм жизни в городе зависит от работы горкома.

— Как идет проверка седьмого треста? — спросил Игнатович у заведующего отделом.

— Работаем день и ночь, Герасим Петрович.

— Ночью надо спать, а не работать.

— Да это так говорится. Однако вечера прихватываем. Там у них чем дальше в лес, тем больше дров. Завалы.

— Что, Буховец погорит?

— Боюсь, что погорит. Приписки выявляем. Премии незаконные.

Игнатович тяжело вздохнул. Он действительно огорчался. Буховец долгое время считался лучшим руководителем стройтреста, пока не поступил от рабочих сигнал. Рабочий класс теперь — политики, экономисты, они видят глубже, чем некоторые руководители.

— Скажи, Арсений Николаевич, почему некоторых людей тянет на махинации? Неплохой же человек этот Буховец.

— Соблазны.

— Какие соблазны?

— Разные. А человек слаб по своей натуре

— Философию человеческой слабости выкинь на свалку. Не наша философия. В период нэпа могли кивать на соблазны, о которых ты думаешь.

— А я не о тех думаю. Главный соблази теперь для таких, как Буховец, всегда быть впереди, на виду. А в строительстве это очень непросто... при нашем материально-техническом обеспечении.

— «...при нашем...». Мрачные у вас мысли, товарищ Языкевич.

— Да нет, я оптимист, Герасим Петрович. Но и реалист.

— Ну вот что, оптимистический реалист, считаю, что нам следует вопросы градостроительства рассмотреть в комплексе. Надо проверить работу архитектурного управления.

— Понятно, — Языкевич уже знал о письме жены главного архитектора и мигом связал одно с другим. А Игнатовича неприятно поразило и заставило насторожиться это его «понятно», обычно Языкевич любил порассуждать и пожаловаться на перегруженность.

— Что — понятно?

— Что надо проверить. Будет сделано.

— Кто проверит?

— Мы проверим. Отдел.

— У вас есть архитекторы?

Языкевич не мог скрыть своего удивления:

— Будем создавать комиссию?

Комиссия создавалась тогда, когда заранее знали, что по учреждению, на которое поступили сигналы, придется делать самые серьезные выводы. Архитектурным обликом новых районов города его патриоты гордились: строим, мол, не хуже, чем в Москве и в Минске. Больше всех гордился сам Игнатович. Но Языкевич хорошо знал, что там, где работа определяется не процентом вала, количеством станков, пар чулок или метров ткани, а представляет собой многостороннюю, иногда незаметную организационную деятельность, контроль за работой других, там всегда можно найти ошибки и недочеты. А если это еще происходит в сфере искусства, можно смело записать, что хочешь, никто не сможет оспорить. Очевидно, архитектурное управление нужно «сечь под корень» — под Карнача. Но не ударит ли это рикошетом по нас, Герасим Петрович, по вас лично, ведь никто столько не занимался архитектурой, сколько вы? Как же тогда сочетать одно с другим? Не бросят ли нам: куда ж вы раньше смотрели?

У Языкевича, которому задание сперва показалось простым, возникли сомнения, ведь ему придется ориентировать комиссию. Какую задачу он поставит?

А между тем Герасим Петрович, кажется, считает, что разговор окончен, начал читать письма.

Языкевич повернулся на стуле так, что он натужно заскрипел.

— Кого из архитекторов включить в комиссию? Шугачева?

Герасим Петрович разгадал тонкую хитрость Языкевича и покраснел от гнева. Этот парень из молодых, да ранний, ему пальца в рот не клади. Ловко умеет застраховать себя от ошибок. Старательный, аккуратный, но ни одного вопроса не двинет с места, пока не узнает мнения начальства. Ишь как хитро подъехал! Но в данном случае Игнатовичу нет нужды загадывать загадки.

— Нет. Шугачев — не та кандидатура. Это тень Карнача. Пригласите Макоеда.

Языкевич вскочил со стула, вот теперь ему действительно все понятно. Пошел к двери, но Герасим Петрович его остановил:

— Подготовьте справку о том, как выполняется постановление горкома о наведении порядка в садово-огородных кооперативах.

Языкевич сообразил, зачем это и что нужно подчеркнуть в такой справке, и почувствовал своего рода восхищение своим руководителем: вот это в самом деле комплексное разрешение вопроса!

Выйдя в приемную, он достал платок и вытер лоб, точно в кабинете ему было жарко. Сказал Галине Владимировне, смотревшей на него вопросительно:

— Неисповедимы пути господни.

Она не поняла. А ей очень хотелось знать, как Герасим Петрович реагировал на письмо жены Карнача. Но в приемной были

посторонние люди, и она не удержалась, вышла вслед за Языкевичем в коридор. Окликнула:

— Арсений Николаевич.

Он галантно повернулся, поправил галстук.

— Дорогая Галина Владимировна. Всегда к вашим услугам...

Ему нравилась эта красивая молодая вдова, чрезвычайно услужливая, хороший товарищ: что ни попросишь, всегда сделает, даже если это и не входит в ее прямые обязанности.

— Он поручил это вам?

— Что?

— Разобраться с жалобой жены главного архитектора?

Арсений пожал плечами.

— Ни о какой жалобе он ничего не говорил.

— Не говорил? — она удивилась.

Языкевич подошел ближе, вгляделся в ее лицо, увидел, что она взволнована, и в нем разгорелось любопытство: кажется, здесь можно нащупать романтический узелок. Гляди, правду говорят, в тихом омуте черти водятся. Такая недотрога...

— А почему вас так встревожила эта жалоба? Уж не закрутили ли вы роман с Карначом?

— Ну что вы! — она испуганно оглянулась: не слышал ли кто?

Языкевич засмеялся.

— Ах, женщины! Как легко вы себя выдаете! Что ж, Карнач — мужчина, достойный женского внимания. Староват, правда. Я ваш ровесник, а вы не замечаете моих чувств, Галина Владимировна. Потерпев поражение, посыпаю голову пеплом. И славлю победителя!

Он галантно склонил перед ней голову с густыми, красиво причесанными, цвета спелой соломы волосами; горкомовские сотрудники посмеивались, что Языкевич каждое утро, как модница, делает прическу в парикмахерской.

Галине Владимировне давно не нравились ухаживания Языкевича, она даже боялась, как бы он своим поведением и пустой болтовней не бросил тени на ее безупречную репутацию. Теперь она испугалась, что выдала себя перед человеком, который не очень умеет держать язык за зубами. Надо было его слова обернуть в шутку. Но ничего не могла придумать. Не кинуться же просто так назад в приемную, как смущенная школьница. Между тем Языкевич подумал, что откровенность ему не повредит, тем более что никакого секрета нет. Через Галину Владимировну больше проходит секретов. И он ответил тихо и серьезно:

— Нет, заявления он не показывал. Но поручил проверить архитектурное управление.

— Спасибо, Арсений Николаевич.

— Не за что, Галина Владимировна.

Она вернулась в приемную. А Языкевич, может быть, впервые забыл о своей прическе и взъерошил ее пятерней. Но тут же дал

себе джентльменский наказ: никому ни слова о том, о чем он догадался. К тем, кого уважал, он умел относиться серьезно.

А для Галины Владимировны начались душевные муки. Она так часто в последнее время думала о Максиме Евтихиевиче, что чувствовала: если не сообщит ему о нависшей над ним угрозе, будет переживать это как измену. Не измену любимому. Боже мой, какой там он любимый! Об этом она и думать боялась. Измену хорошему человеку, другу. Смелости и в мыслях у нее хватало лишь на то, чтоб надеяться на его дружбу. При всей своей общительности и доброте, самых лучших отношениях со многими товарищами по работе, за стенами своего учреждения она жила уединенно, нелюдимо. Соседки, жены летчиков, изредка наведывались, помогали присмотреть за детьми, но душевного контакта, такого, как при жизни мужа, с ними не получалось. И вот явился человек, и будто вспыхнул маяк в ее одинокой жизни. Она шла на этот маяк с надеждой и страхом. Но если б она узнала, что из-за нее произошел разлад в другой семье, она пережила бы это как еще один страшный удар судьбы, и у нее хватило бы силы заставить себя даже не думать об этом человеке. Когда Таня, дочка, маленькая глупышка, задала тот безмолвный вопрос, как она испугалась! А какой страх пережила сегодня, когда из общего отдела ей передали письмо его жены. Если б в письме было хоть одно слово о ней, она, наверно, тут же без объяснений оставила работу и никогда больше не появилась бы здесь. Нет, ничего о ней не могло быть. Нет у нее никаких дурных намерений. Только хорошие, дружеские — помочь ему, предупредить...

Но это вроде бы выдать служебную тайну и... изменить другому человеку — Герасиму Петровичу, которого она глубоко уважает. Он взял ее на работу в очень трудное для нее время. Работать с ним хорошо, несмотря на его требовательность. Некоторых работников он, случается, отчитывает, без крика, без шума, но так, что вылетают они из кабинета, как из хорошей парилки. С ней Герасим Петрович всегда добр, приветлив, внимателен, заботлив. Заболел Толик, потребовал, чтоб она уехала домой ухаживать за малышом. Ей Герасим Петрович никогда не приказывает — просит: «Галина Владимировна, пожалуйста... Когда вы можете это сделать? Сегодня же? Можно и завтра. Спасибо».

И она старается ни в чем не подвести его. У нее всегда хватает такта без предупреждения понять, о чем можно говорить, о чем нельзя, что является тайной этой высокой организации и ее руководителя.

Галине Владимировне сразу не понравилось, что письмо жены Карнача вскрыли в общем отделе и довольно болтливая работница экспедиций прочитала его. Так что напрасно Герасим Петрович держит письмо в секрете... Секрета уже нет. И она не выдаст никакой тайны, если позвонит.

Позвонить или не позвонить?.. Рассказать или не рассказывать?

Набрала номер его телефона, но на последней цифре спохватилась. Разве можно говорить отсюда, из приемной?

Вышла в коридор, открыла кабинет болеющего сейчас работника (все ключи лежали в приемной), заперлась там и с решимостью пловца, который кидается в холодную воду, чтоб спасти утопающего, набрала номер телефона.

Раздался его недовольный, раздраженный голос:

— Слушаю.

От волнения выдохнула нелепое «алло».

— Кто говорит?

— Я... — как девочка, пискнула Галина Владимировна.

— Кто я? — он явно сердился, и волнение ее перешло в страх.

— Галина Владимировна, — назвалась она шепотом, словно стесняясь своего имени.

— Кто? Ах, вы?! Минуточку...

Как видно, он плотно зажал трубку рукой, но все-таки прорывался его возбужденный голос, он кому-то выговаривал.

Забывшись, снял с микрофона руку. Послышался другой голос:

— Ты ответишь за свои слова.

— Отвечу, Анох, отвечу. Я никогда не уклонялся от ответственности.

Стукнула дверь. Тогда он сказал приветливо и весело:

— Мне приятно слышать ваш голос, Галина Владимировна. Как вам живется? Хочу вас видеть. Но где? Стал придерживаться мудрого правила: не ходи туда, куда тебя не зовут, где тебя не ждут...

— Раньше вы часто приходили к нам.

— Ах, зачем вспоминать, что было! Не те времена, и мы уже не те, — он говорил шутливо, довольный, что она позвонила. Галина Владимировна почувствовала это, и тем труднее было сказать то, ради чего она отважилась на звонок. Сказать — сразу зачеркнуть ту маленькую радость, которую давал этот легкий, ни о чем разговор.

Она вздохнула.

— Максим Евтихиевич... Ваша жена написала заявление...

Он умолк на полуслове, ничего не ответил. Только кашлянул, как бы подавая знак, что трубки не положил.

— Вас будет проверять комиссия.

Тогда он воскликнул, как показалось, весело:

— Хо! Дорогая Галина Владимировна! Меня проверяли сто раз. Пускай проверяют сто первый. Веселей будет работать.

Не понравилось, как он обратился: «Дорогая Галина Владимировна», — это как-то сразу отдаляло и отчуждало их. Поняла, что благодарности за это сообщение он не испытывает, и потому тихо, не попрощавшись, положила трубку.

Раньше двухнедельные Дашины молчанки казались минами замедленного действия. Как такие мины мешали работе! Ее заявление в горком — новая мина. Видишь, а как обезвредить, не знаешь. Вот так и живешь — на минах.

Зная Дашу и ее сестру, Максим не сомневался, что финал будет именно таким. Он думал об этом еще тогда, когда отвел свою кандидатуру в горком. Чего еще он мог ждать от жены? Благородства? Интеллигентности? Куда там! Она жаждет одного — отомстить любыми средствами. А средств у нее немного, фантазии не хватает. Да, он ждал этого... Однако, когда Галина Владимировна сказала о заявлении, ему будто жабу кинули за пазуху. «Вытряхивая жабу», не мог слова вымолвить. А только «вытряхнул» — предупреждение о проверке. Он сразу понял, какой заход делает Игнатович. Страхуется. Поэтому в самом деле стало весело, злорадно-весело. Давай, Герасим Петрович, проверяй! Я покажу тебе все прорехи, допущенные под твоим руководством!

Услышав короткие гудки, Максим выругал себя. Обо всех подумал в этот миг. О себе. О Даше. Об Игнатовиче. Только о женщине, которая, волнуясь (по голосу слышно было), с искренней добротой и сочувствием предупредила его, о ней забыл.

Набрал номер. Мужской голос ответил, что Галины Владимировны нет, вышла. Конечно, не могла она говорить из приемной. Возможно, из автомата звонила.

Весело начался день, ничего не скажешь! Попробуй после этого думать об архитектуре!

С утра был у предисполкома. Кислюк вызвал. Встретил, что туча грозовая. Раскричался: почему архитектурное управление не визирует проекта постановления о надстройке дома на Ветряной?

— Полтора месяца маринуете. Бюрократы! Я вас научу работать!

Максим догадывался о причине его гнева и спокойно ответил:

— Павел Павлович! Вы дурно обо мне думаете. Тогда, полтора месяца назад, я высказался насчет этой надстройки совершенно определенно. И не старайтесь меня напугать. Если вы еще не убедились, что я не из пугливых, я дам вам возможность в этом убедиться. Я считал, что вы давно уже приняли постановление без моего согласия. Почему вы нажимаете на меня? Почему вы хотите, чтоб я сам, своей рукой перечеркнул свой творческий замысел? Перечеркивайте вы. Я еще хочу уважать себя как архитектора, даже будучи главным архитектором.

— Вы только себя и уважаете.

— Вот это неверно. Вас я тоже уважаю. Но это совсем не значит, что мы должны целоваться.

Кислюк, наверно, понял, что Карнач догадывается о причине его раздражения, и ему стало неловко. После недолгого разговора о разных других делах Кислюк, как бы между прочим, сообщил:

— Вчера ваши близнецы получили ордер.

Максим поблагодарил.

Кислюк смутился от благодарности. Потом сказал с укором:

— Здорово вы меня подвели.

Максим тайком усмехнулся, представив разговор Кислюка с разгневанным Сосновским. Но вместе с тем и жаль было — не Кислюка, своих добрых отношений с ним. Теперь они могут испортиться. А он отлично знает, как это важно — не для личной выгоды, для дела — быть с людьми, с которыми вместе работаешь, в хороших отношениях. У него же один за другим такие конфликты! Игнатович, Кислюк, Анох...

Аноха в один ряд с Игнатовичем и Кислюком ставить нельзя. Насчет Аноха он вчера высказал свое мнение на партбюро в связи с раскрытием аферы в похоронном бюро. Аноху передали, и он только что приходил требовать объяснений.

...Еще раз набрал ее номер. Ответила коротко, четко:

— Приемная.

— Это я, Галина Владимировна.

Затаилась. Не дохнет.

— Спасибо вам. И прошу простить за неучтивость. У меня сегодня трудный день.

Если б он знал, как ее тронуло его извинение и особенно признание, что ему трудно! Как ей хотелось ему помочь! Но что она могла сказать, когда в приемной были люди?

— Я позвоню вам, Максим Евтихиевич.

А ему не надо было никаких других слов, кроме этого обещания. Раньше мечтал оставить этот узкий кабинет и сбежать от суеты в Волчий Лог, в лес, который так хорошо успокаивает. А теперь захотелось работать. И он работал до конца дня весело и с подъемом, ожидая ее звонка.

XXI

Пришел Виктор Шугачев. Они не виделись недели две после совещания в обкоме. Максим почувствовал тогда, что Виктор обиделся за «картинки», и не навязывался, пускай остынет. У него хватит благоразумия и рассудительности, чтоб побороть обиду. Но в последнюю неделю произошли такие события, о которых очень хотелось поговорить, посоветоваться с близким человеком. А теперь у него один такой человек — Виктор, разве еще Поля. Вот почему появление друга очень обрадовало.

Но Виктор сразу после сдержанного приветствия сказал: Даша передала по телефону, что звонила сестра Максима — заболела мать.

У Максима тревожно екнуло сердце. Последние годы мать нередко хворала, об этом ему рассказывали, когда он приезжал ее проведать, сообщали в письмах. Но никогда еще не бывало, чтоб сестра звонила по телефону из соседней области, из далекой

глубинной деревни. Взорвало, что Даша передала даже такое известие вон каким окольным путем — через Шугачевых.

— Она что, сама не могла позвонить? — он сказал это так, как будто во всем виноват был Шугачев. Тот разозлился.

— Что ты кричишь на меня? Твоя жена, ты и разбирайся. Черт вас знает, что у вас за отношения. Нечеловеческие какие-то.

Да, действительно нечеловеческие.

Максим набрал номер салона-магазина.

— Карнач попросите, — его передернуло, что он должен называть собственную фамилию, чтоб вызвать человека, к которому испытывает сейчас не просто неприязнь — вражду. Заявление ее в горком не вызвало таких чувств, как то, что она не позвонила о болезни матери.

Даша взяла трубку.

— Карнач слушает.

— Что говорила Рая?

Даша помолчала. Неужто думала, отвечать или не отвечать?

— Плохо было слышно. Я одно разобрала — заболела мать...

— Ты не могла позвонить мне утром? Полдня прошло.

Она не ответила, и он положил трубку.

Шугачев сказал с обидой:

— На нее ты не кричишь.

Ах, Витя, даже ты не способен понять, почему я не могу повысить на нее голос. В отчаянии кричат на близких людей, а не на чужих.

— Надо ехать.

— Разумеется, надо ехать, — подтвердил Шугачев. — Мать у нас одна. Мою похоронили в войну, когда я был на фронте.

Максим застыл на месте и посмотрел на друга так, что тот испугался.

Сердце, мозг обожгла страшная догадка: потому Даша и позвонила не ему, а Шугачеву...

— Витя, если ты что-то знаешь, говори! Я не ребенок и не слабонервная дама.

Нет, Шугачев ничего больше не знал.

В самолете, взволнованный, возбужденный всем, что пережил, и усталый от поспешных сборов — нелегко было достать билет на самолет и попасть к рейсу на Минск, — Максим, думая о матери, старался успокоить себя: не впервые мать болеет, старость. Но спокойствие не приходило. Чем больше думал, вспоминал, тем сильнее охватывало чувство вины перед матерью. Вспомнил, как пять лет назад он забрал ее к себе в город. Навсегда забрал. Мать ехала, довольная таким вниманием сына, и всю дорогу твердила: «Ты не бойся, сынок, с Дашей я уживусь. Я с каждым могу ужиться. Ты ведь знаешь, я ни с кем из соседей за всю жизнь не посварилась».

Да, мать у них такая. Отец был другим человеком, у Евтихия натура цыганская; Максим и внешностью и характером был в отца, иной раз жалел, что ему не хватает материнской мягкости.

В первый же день Даша странно отнеслась к матери, хотя дала согласие на ее приезд. Нет, она не надулась. Она была сверхпредупредительна. Но ничто так не стесняет, как сверхпредупредительность. Максим случайно услышал, что Даша учит мать, как пользоваться туалетом. Это его просто потрясло. Конечно, мать, умную, с богатым житейским опытом, к тому же по-деревенски стыдливую, не могло не обидеть недоверие невестки к ее сообразительности и опрятности.

Он возмутился:

«Что ты делаешь?!»

«А что? — наивно удивилась Даша. — Она же из деревни».

«А ты откуда?»

Обиделась. Тогда только начиналось упорное ее молчание. Оно тревожило, и Максим надеялся, что его добрая, общительная мать хорошо повлияет на невестку. Может быть, Даше будет стыдно перед такой свекровью проявлять не самые привлекательные черты своего бабьего, в худшем смысле этого слова, характера.

Даша оставалась с матерью предупредительной и ласковой, как будто бы и в самом деле старалась показать себя с лучшей стороны. Но Максим скоро увидел, как нелегко старой крестьянке от этой ласковости. Ей хотелось угодить невестке, и она не знала, где сесть, где разуться, куда положить свою косынку, чулки; как поставить стулья, чтоб было хорошо. А еще мучилась, что нет привычной работы. Всю долгую жизнь работать от темна до темна и вдруг оказаться совсем без дела да еще в одиночестве.

Целый месяц маялась мать в их модерно обставленной квартире. И у него, у сына, который видел эту маету, иной раз появлялось бешеное желание сломать, разбить в щепу эту стильную мебель.

Наконец мать не выдержала. Со страхом, что он рассердится, взмолилась:

«Сыночек, родненький, отвези ты меня назад, к Рае. Пусть уж я помру на родной земле. Не могу я здесь, истомлюсь. Словом не с кем перемолвиться. Это ж хуже, чем в лесу».

Это был укор всем им: ему, вечно занятому, сверхвежливой невестке, внучке, которая, вернувшись из школы, оглушала бабушку непонятной и неинтересной музыкой, а потом мчалась на каток. Может быть, плохо, что он привез ее зимой, может быть, летом она сошлась бы с другими стариками, которые кучками собираются во дворе. Нет, летом ей, наверно, было бы еще тяжелей. Летом она не выдержала бы без работы, без огорода, где ползала на коленях и опалывала каждый стебелек лука, огурцов, кукурузы, укропа, подсолнечника. И как все росло от прикосновения ее рук, потресканных, скрюченных от тяжелого труда! Каж-

дый раз, когда он приезжал в гости и смотрел на эти руки, ему в самом деле хотелось поцеловать их. Но боялся, что смутит этим мать.

. . . . . .

Встретила его Рая, сестра. Выскочила из хаты в одной кофточке, как только услыхала, что у двора остановилась машина.

Максим, которого при приближении к родной деревне снова охватили страх и тяжелые предчувствия, взглянул на сестру и успокоился: не похоже, что случилось самое страшное.

— Как мама?

— А плохо, Максим. После гриппа воспаление легких. Слабенькая совсем. Боимся, потому тебе и позвонили.

Они даже забыли поздороваться.

Заснеженный двор был завален бревнами и досками. Дохнуло тем родным запахом, какой всегда был на их подворье, когда еще жил отец — плотник, столяр, бондарь, — ароматом свежего дерева, стружек, опилок.

Зять, колхозный шофер, развернул строительство: к длинной хате пристроил почти такой же длины трехстенку. Богатеют люди. Но, окинув постройку глазом архитектора, Максим подумал, как безвкусно и нерационально производится это расширение.

Мать лежала в темной боковушке за печью на самодельной деревянной кровати.

Рая включила свет. И Максим ужаснулся, как мать изменилась с лета, когда он видел ее в последний раз! Совсем высохла, казалось, под одеялом нет тела, видна лишь седая голова. И лицо изменилось, стало маленьким, худеньким, как у больного ребенка, серым, как пепел, как ее волосы.

На свет мать открыла глаза. Но не остановила взгляда на сыне, смотрела куда-то мимо, в пространство, может быть, в какую-то таинственную бездну, которую видит только тяжелобольной.

Максим опустился перед кроватью на колени.

— Мама, это я.

Всхлипнула Рая.

Мать молча выпростала из-под одеяла руку, с трудом подняла ее и положила легкую прозрачную ладонь на его голову, будто так, на ощупь, пыталась узнать сына.

Наверно, спазм радости или, может быть, боли сжал ей горло, и она долго не могла ничего сказать. А потом спросила тихо, но в полном сознании:

— Ты без Даши?

— Один, мама.

— И без Ветки?

— Вета вышла замуж, мама.

— Когда получили твое письмо, ей так захотелось повидать Вету. Собиралась, когда поправится, поехать, — сказала Рая, стоявшая за его спиной.

Это Максима растрогало больше всего; он опустил голову, бо-

ясь, что мать увидит его слезы и они могут ее испугать, потому что, верно, она и забыла уже, когда ее Максим плакал, с ним это и в детстве редко случалось, таким его вырастил отец, который не любил, высмеивал слезы, даже детские, а мужчину, который плакал, за мужчину не считал.

Рая вышла из боковушки.

Тогда мать открыто призналась:

— Больно мне, сынок. Все тело болит. Может, от уколов. Пусть бы они не кололи меня.

Он посмотрел на табуретку рядом, где стояли лекарства: пузырьки пенициллина и стрептомицина, таблетки этазола, коробочка с кардиамином в ампулах, валокордин и какие-то незнакомые большие красные таблетки, видно тоже сердечные. Лекарства эти встревожили даже больше, чем вид больной. Значит, доктора боятся за сердце. Сдает сердце. Да как ему не сдавать, когда оно пережило столько горя, боли, утрат!

И тут он услышал шепот матери:

— Спаси меня, сынок.

О, как резнул по сердцу этот шепот, эти слова, эта мольба о спасении, в которой звучали страх смерти, жажда жизни! Да, ей хочется жить, хочется видеть счастье внуков. Еще несколько лет назад мать сказала здесь, в этой хате, за праздничным по случаю его приезда столом:

«Вот когда жизнь начинается!»

Но что он может сделать? Ей очень худо, если она так попросила. Никогда мать ничего у детей не просила. Им отдавала все — любовь, силы, труд. Что ей сказать? Как успокоить, чтоб не думала о смерти? Не нашлось у него таких слов. А говорить обычные, банальные не мог.

Рая бренчала тарелками, собирала на стол, чтоб накормить брата.

В светлой комнате, куда Максим вышел, за полгода многое изменилось: вместо старого малоэкранного телевизора стоял новый «Горизонт», у другого простенка сверкал белизной холодильник. Быстро богатели в этой хате. Даже стол новый, круглый, большой, стоит посреди комнаты, что для крестьянской хаты непривычно. Раньше там, в углу, стоял старый стол, сделанный еще отцом. Куда они его девали? Неужто сожгли? Стало до боли жалко того стола и еще чего-то, что ушло из хаты под натиском нового достатка.

От завтрака отказался. Ходил вокруг стола угрюмый, задумчивый. Рая робко следила за ним. Она с детства и любила и боялась старшего брата. В войну, пока не ушел в армию, он был за хозяина в доме, даже мать слушалась его.

Нет, не новые вещи его раздражали. Контраст между боковушкой, где лежала мать, и этой торжественно убранной, светлой комнатой, с фикусами, с тюлевыми занавесками на окнах и вышитыми дорожками на диване и на телевизоре. Боковушка отгорожена для матери. Что старухе нужно? Теплая постель, печь?

Так она там, у нее, только из ее каморки можно забраться на печь. Окно? Так она же весь день на дворе. Весь мир перед ней.

Но теперь, когда мать захворала? По сути, она лежит на кухне, рядом варят и парят не только для семьи — для свиней и коровы. К тому же больная могла еще больше простудиться. Сеней нет. Разобрали. Трехстенка пока без окон и дверей, по ней гуляют сквозняки, они задувают в хату, как только открывается дверь. Он почуял это дыхание холода, когда стоял возле матери, а Рая вышла за чем-то из хаты. Да, наконец, такому больному нужен дневной свет, сияние снега, нужна жизнь!

«Спаси меня, сынок».

Неужто ни у кого — ни у Раи, ни у Петра, ни у племянниц — не хватило соображения?

— Вам что, негде ее положить? — спросил тихо, но так, что сестра вспыхнула от сознания вины и стыда.

— Так ведь она сама не хочет, Максим. Можно у нас в спальне.

Он резко распахнул дверь в другую боковушку, светлую, которая называлась спальней. Там стояли железная кровать и рядом детская, деревянная.

Максим перекинул гору подушек с большой кровати на детскую.

Рая испуганно суетилась рядом.

— Постели!

Но тут же подумал, что он несправедлив и жесток с сестрой. В конце концов, ни он, ни младший брат Анатолий, инженер-железнодорожник, не дали матери тепла, которое грело бы ее старость. Не захотелось ей жить ни у него, ни у Толика, холодно ей было в их городских квартирах. А Рая, ее дети, давали это тепло, эту полноту жизни, только тут матери было хорошо и уютно, хотя Максим знал, с Раей мать не всегда ладила, Рая грубовата, криклива. На зятя мать жаловалась — пьет Петро, при детях и при ней, старухе, ругается. Но все здесь было свое, родное. Не Дашина вежливость, от которой, наверно, стыла кровь.

Он сам перенес мать из темной боковушки в светлую спальню. Как ребенка, завернув в одеяло. То, что он впервые взял мать на руки, почему-то смутило и испугало. Испугало, очевидно, потому, что мать была очень уж легкая, для его мужских рук почти невесомая, пятилетний ребенок тяжелее. А что смутило, понять не мог.

Дневной свет ослепил мать, но и обрадовал. Она зажмурилась и болезненно улыбнулась. Как будто удивилась:

— Снег идет?

— Замело так, что едва проехал.

— Сретение. Зима встречается с весной. Последнее подметает.

О весне она сказала, с надеждой взглянув в глаза сына.

Чтоб совсем не обидеть Раю, согласился позавтракать. Поковырял вилкой картошку, яичницу, выпил чай, пахнувший дымом. Спросил, кто мать лечит. Сестра хвалила их докторку: молодая,

всего второй год работает, но очень внимательная, все ею довольны, к матери два раза на день приходит, хотя полдеревни гриппует.

Для Раи старательность, внимание доктора — это все, что нужно. Но он знает, что одной старательности мало в любом деле, а в лечении человека особенно. Нужны умение, опыт. Вряд ли есть он у молодого врача. Надо вызвать доктора из районной или областной больницы. Но как это сделать? На беду, так замело, что санитарная машина не пройдет, пока не расчистят дороги. А снег все еще сыплет, хотя метель утихла.

Вернулась от соседей племянница, шестилетняя Люда. Громко что-то рассказывала матери там, за дверью, в пристройке. Вошла в комнату застенчиво, но, очевидно, наученная матерью, подбежала, поздоровалась:

— Здравствуйте, дядя Максим, — и обняла за шею холодными ручками, холодными губами поцеловала в горячую щеку.

Выполнила обязанность и сразу к бабушке. За перегородкой звенел ее веселый голосок:

— Баба, а я тебе принесла яблоко. Тетка Фекла дала. Гляди, какое! Подмерз только один бочок, — и засмеялась тому, что у яблока подмерз бочок.

И бабушка тоже что-то ответила ей, но так тихо, что нельзя было расслышать.

Малышка не думает о том, о чем думают они, взрослые, чего боятся и, ничего не делая, ждут. Ребенок верит, что бабушка всегда будет с ней.

Мысль эта подняла Максима с дивана. Сорвал с лосиных рогов пальто, оделся.

Вошла Рая. Удивилась:

— Куда ты, Максим?

А он удивился ее вопросу.

— Надо же что-то делать.

— Что ты сделаешь? У Клименковых целый год старик лежит.

Вот оно, покорное ожидание: чему быть, того не миновать; под старика, мол, руки не подложишь.

На голос матери выбежала из спальни Люда. Девочка кашляла, бухала, как из бочки. Максим подумал, что если б так кашляла маленькая Вета, какую бы тревогу подняли они, сколько врачей мобилизовали бы!

— Что это она у вас так кашляет?

— А снег ест, глупая.

Люда весело скалила зубки, будто речь шла о каком-то подвиге. Узнав, куда дядя собирается идти, тут же предложила свои услуги довести его до больницы.

В приемной медпункта сидело много больных. Женщин постарше Максим знал в лицо, хотя имена некоторых и позабылись, больше помнил уличные клички — Здариха, Сойка, Бурбалка. Его узнали все.

— Как там матка, Евтихиевич?

— Это ж мы одногодки с Татьяной.

— А как твое здоровье, Максимка? Как семейка?

Сочувствие, обращение к нему, как к маленькому — Максимка, — растрогали. Ему радушно уступали очередь:

— Иди, иди, поговори с докторкой. Мы подождем.

Только молодка одна, должно быть, чужая, глядела неприветливо, явно недовольная, что его пропускают вперед.

Первой, как мышка, прошмыгнула к врачу Люда, мимо тракториста, который вышел из кабинета. Люда успела представить его.

Врач сперва не понравилась. Высокая, худощавая, с грубоватыми мужскими чертами лица, не освещенного ни девичьей улыбкой, ни женской добротой. Что солдат в белом халате. Но, присев напротив, вглядевшись в нее, Максим увидел красивые голубые глаза, в которых светились ум и сердце. Такие женщины не порхают, как мотыльки, профессию выбирают по призванию и работают с душой. Таким не всегда везет в личной жизни, но если уж повезет, то жены и матери из них, как правило, образцовые, верные, самоотверженные.

Положив большие, как у мужчины, руки на стол, сплетя пальцы, Вера Ивановна серьезно и подробно, словно докладывая консилиуму, но популярно, не употребляя непонятных медицинских терминов, рассказывала Максиму о болезни матери. Не утешала, не таила ничего, из слов ее следовало: положение тяжелое.

Он перебил ее:

— Что ж, выходит, нет никакой надежды?

Она ответила не сразу:

— Я этого не сказала. Но возраст. Семьдесят четыре...

Максим печально усмехнулся.

— Значит, пожила бабушка, имей совесть?

Врач, спокойная и уверенная, как старый профессор, вдруг совсем по-девичьи вспыхнула, лицо ее болезненно передернулось. Сказала с укором:

— Зачем вы так, Максим Евтихиевич? Врач никогда так не думает.

— В больницу вы могли ее положить?

Вера Ивановна вздохнула.

— Вы не знаете, что у нас творится сейчас в больницах. Все коридоры заполнены больными. Кроме того, боюсь, что теперь мы ее не довезем.

Значит, действительно безнадежность, никто и ничем уже не может помочь. Что ж это такое? Он в панике окинул взглядом врачебный кабинет. Сколько лекарств в стеклянном шкафу! Сотни названий. И среди них нет ни одного, которое могло бы спасти мать? Неужели нет? А может быть, она, молодой врач, просто не знает такого лекарства?

— Вы простите. Но я бы хотел, чтоб мать посмотрел более опытный врач. Не обижайтесь.

— Я понимаю.

— Как организовать такую консультацию?

— Организовать можно. Но кто в районной больнице может сойти за профессора? — она сказала это серьезно и раздумчиво, однако Максим уловил в ее голосе иронию — скепсис молодого по отношению к старшим коллегам. — Я одному нашему врачу верю. Главврачу Христицкой больницы Бохуну. О, это талант! — в глазах ее блеснула зависть. — Однако официально его не пригласишь. Не поедет. Главный районный и так его не любит. У кого слава, тех не любят. Председателя нашего знаете? Юрия Ивановича? Они друзья. Только он может привезти Бохуна.

С председателем колхоза, тогда новым человеком в деревне, Максим познакомился года три назад. Больше встречаться не пришлось, да и не хотелось: председатель не проявил к архитектору никакого внимания, его нисколько не заинтересовал горожанин, который раз в год приезжает навестить мать. Но за это время молодой агроном прославил колхоз. От Раи, Петра и от старой матери он только и слышал, когда заезжал сюда, как повезло их колхозу, какой разумный руководитель Юрий Иванович.

«Справедливый мужик!» — подвыпив, Петро особенно хвалил председателя; это почему-то не укрепляло веру Максима в его высокие качества, ведь сам Петро — хитрюга и ловкач, из тех, кому обычно легче живется при руководителях другого типа.

В новой конторе правления председателя не было. Но людей набралось много. В кабинетах работали женщины — бухгалтеры, плановики, лаборанты. А в зале заседаний сидели мужчины. Курили. Играли в шашки. Зимой всем работы не хватало, а работать хотелось — заработок хороший, поэтому колхозники отирались в конторе, как на бирже, ближе к председателю, агроному, механику: иногда возникало неожиданное дело, естественно, что направляли тех, кто был под рукой.

К Максиму пристал друг детства, бывший одноклассник, небритый, под хмельком мужик.

— Ты, Евтихиевич, во! — большой палец кверху. — А Яшка Копылов— во, мизинец вниз. — Но ты не задавайся. Не задавайся, что ты — во. Яшка тоже может быть — во-о! Никто не ведает, какой во мне талант пропадает. Думаешь, у одного тебя талант? На, съешь, — и ткнул Максиму дулю. На него возмущенно зашикали старики. Яшка матюгнулся: — А идите вы... Ни хрена вы не знаете, какие мы с Евтихиевичем номера откалывали. Пошли выпьем за старое.

Но Максиму было не до пьяной болтовни, а тем более не до выпивки. Где найти председателя? Секретарь-машинистка — по лицу из их, карначовского, рода, но чья, Максим не мог припомнить, эти уже родились и выросли без него — разыскивала своего шефа по телефону, вызывала по полевой рации. Из третьей брига-

ды ответили, что Юрий Иванович поехал в район. Она удивилась, что он не сообщил в контору, обычно сообщает.

Максим попросил машину. Ему нельзя ждать, ему надо найти председателя как можно скорее.

С разрешения механика машинистка позвонила на строительство свинооткормочного комплекса и вызвала в контору Петра с его пятитонкой.

Петро явился через час, не раньше, мучительный для Максима час, потому что он не знал, куда себя девать, как отцепиться от Яшки Копылова, который купил бутылку «чернил» и требовал, чтоб друг юности выпил с ним.

Петро, который поначалу встретил шурина с искренней радостью, выслушав, зачем тому так срочно понадобился председатель, помрачнел и отправился сам проверять, разрешает ли механик ехать. Максим понимал, о чем он думал: выходит, мы с Раей мало сделали для матери, а ты, приехав раз за год, показываешь на людях, какой ты заботливый. Но бог с ним, пускай думает что хочет. Взаимоотношения свои они выяснят потом. Теперь не до самолюбия.

В дороге Петро охал:

— Ох, даст нам Юрий Иванович всем, что сорвали такую машину. Это для вас, Евтихиевич, механик разрешил. А так у него снега не допросишься. Холера б его...

Но из разговора Максим понял, что Петро не столько боится председателя, сколько жалеет об оставленной работе. Его машина отдана в распоряжение начальника управления Межколхозстроя, который возводит для них комплекс, и Петро, кроме законного заработка, имеет еще кой-какую «халтуру». Потому так не хочется отрываться. За председателем можно дотемна гонять машину.

Максим возмутился. Мать в таком состоянии, а у зятя одна забота — заработок. Однако не упрекнешь его. Трое детей, о них думает. Разве сам он не старается, чтоб у Веты было все?

В хлопотах, в разговорах с людьми отошло предчувствие беды. А поговорил с Петром, и опять оно появилось. Более того, начал сомневаться, что какой-то там сельский врач обладает чудодейственной силой. Он, Максим, сейчас напоминал тех интеллигентных людей, которые в поисках спасения для себя или близких едут за тысячи километров к неграмотным знахарям. Должно быть, он тоже поехал бы к такому знахарю. Не верил бы, а ехал. Но лучше верить. Лучше верить! Неверие, сомнение страшнее всего.

Энергичный, напористый там, в амбулатории, в правлении, здесь, в кабине машины, он обмяк, почувствовал страшную усталость. Убаюканный шумом мотора, теплом, пахнущим соляркой и металлом, белизной поля, кружением снежинок и мельканием «дворников» перед глазами, он проваливался в сон и тут же заставлял себя проснуться, чтоб Петро не подумал: на людях показывает заботу, а в машине спит, как сытый кот.

Объехали все районные учреждения и случайно перехватили председательский «газик» возле станции. Юрий Иванович сам остановился, увидев колхозную машину, которой не надлежало в тот день быть в райцентре. Выскочил, побледнев, и сразу Петру:

— Ты почему здесь?

— Да вот Максим Евтихиевич вас ищет.

Председатель узнал архитектора и поздоровался приветливо, заинтересованный, во всяком случае, не такой безразличный, как при первом знакомстве.

Выслушав просьбу, удивился:

— Вера Ивановна такого мнения о Бохуне? Чудеса! Бохуна признают больные, которых он спас от смерти, но не очень-то жалуют коллеги.

Посмотрел на часы, подумал, спланировал время.

— Ладно. Вы можете ехать домой. Я его привезу. Я верю этому врачу больше, чем кому бы то ни было.

Мать лежала с открытыми глазами, смотрела в потолок и как бы к чему-то чутко прислушивалась.

— Как ты себя чувствуешь, мама?

Никчемный вопрос. Но с чего начать разговор?

Глаз на сына она не перевела, но ответила сознательно, только очень тихо, одними губами:

— Ничего, сынок.

— Тебе трудно говорить?

— Нет, не трудно.

Но Максима испугало, как она смотрит. Утром этого не было. Будто и взгляд, и мысли ее были где-то далеко. Далеко, в другом мире. Как умирают люди, Максим видел только на войне. Но когда это было! И умирали там молодые. Умирали совсем иначе, чаще всего мгновенно. На смертельно раненных некогда было смотреть. Отец умер без него, в госпитале инвалидов в сорок шестом; Максим служил еще в Германии. Вот уже четверть века он не видел смерти и редко думал о ней, разве только в почетном карауле возле покойника. И каждый раз, когда думал, как умирают люди, вспоминал смерть князя Андрея: «Оно вошло и оно есть смерть». Собственные воспоминания потрясали меньше. И теперь он вспоминал сон князя Андрея. «Что-то нечеловеческое — смерть — ломится в дверь, и надо удержать ее». Да, надо удержать ее. А как?

— Мама, скоро приедет доктор из района. Все его хвалят.

Мать перевела взгляд на него, посмотрела, не сознавая, о чем это он.

В большой комнате он сел на диван и словно провалился в яму. Сильно шумело в голове. А по ногам ползли мурашки, как будто ноги окоченели и теперь в тепле отходят.

И вдруг вскинулся от громкого стука. Тюкал топор, а молоток

весело, чертовски весело забивал гвозди. Он испуганно поднялся, не сразу сообразив, откуда эти звуки. Потом вспомнил, когда выходил, видел, что в пристройке настилают пол. Впервые в жизни его вывела из себя работа людей.

Рая собирала на стол, Петро приехал, чтоб вместе пообедать. Сказал Рае зло, с раздражением:

— Вам что, жить негде, что вы так спешите с этой пристройкой?

Сестра удивилась его непрактичности.

— Максим! Плотники теперь свободны. Весна придет, никого не найдешь.

Он подошел к ней, прошептал:

— Мать при смерти, а ты...

Рая испуганно кинулась за дверь. Стучать перестали. Но Петро привел плотников обедать. Мужчины разговаривали в полный голос, весело.

Петро налил по стакану водки.

Рая сказала мужу:

— Гляди же, сам не пей. Машина стоит.

— А, черт ее не возьмет, машину. В кюветах полно снега. Мягко, — и засмеялся. И плотники засмеялись.

Рая, конечно, рассказала Петру и про боковушку, и о том, как Максима рассердил стук, потому что, выпив, зять тут же, при людях, повел разговор о матери:

— Ты, Евтихиевич, не думай, матка у нас жила не в обиде. Никуда от нас не хотела ехать. Летом Толя предлагал забрать — ни в какую. Пускай, говорит, хоть золотые они, твои Уральские горы, не нужны они мне. Вот как! И золотые горы ей не нужны были. Я, может, когда шумел, пьяный...

— Пьяный ты — что борона, — уколола Рая.

— Не борона, а коленчатый вал. Имеешь дело с техникой. Но скажи, обидел я мать хоть раз? — допытывался Петро у жены. — И дети ее любили. Людочка заснуть без бабы не может. А работать — так что сама хотела, что по силе было. Без работы она не могла сидеть. Я даже сердился на нее за это. Посиди, матка, наработалась за свой век.

— Я ничего не думаю. — Максиму было неприятно, что Петро говорит это на людях.

Он хорошо знает, что лучше, чем тут, матери нигде не жилось бы. Упрекнуть может только себя. А сестру и зятя разве что за сегодняшний день. Дайте свет и тишину! Почему-то убежден, что сейчас, как ничто другое, матери нужна тишина, а не этот пьяный шум, от которого, наверно, у нее здоровой не раз болела голова.

Бохун — мужчина лет сорока, коренастый, полный, с круглым, как луна, румяным лицом. Казалось, лицо это и веселые хитрые глаза излучают радость. Сразу видно, что человек любит вкусно

поесть, выпить и посмеяться. Максима оглядел с бесцеремонным любопытством, так в гостях глазеют на знаменитых актеров. Кстати, в движениях, в манерах Бохуна, даже в том, как, помыв, вытирал руки, была какая-то театральность.

Такой весельчак и позер не показался Максиму серьезным врачом. Только присутствие вдумчивого, озабоченного делами председателя, который, видно было, боготворил друга, сглаживало неприятное впечатление и оставляло какую-то надежду.

Но выслушивал мать Бохун долго. Ему помогала Рая.

Максим и Юрий Иванович сидели за круглым столом друг против друга, уставившись в искусные узоры богато расшитой скатерти. Молчали, напряженно прислушивались, точно там, за тонкой перегородкой, шла сложная операция, от которой зависела жизнь. Раза два мать тихо застонала, ей больно было от каждого движения.

Когда Бохун заговорил, стал расспрашивать больную и Раю, Юрий Иванович сказал почти шепотом:

— Он вылечил моего сына. Куда я только с ним не ездил. Профессора диагноз поставить не могли. А он вылечил. Талант. Я ему говорю: иди, Андрей, в науку. Не хочет. «Разве, — говорит, — защитив диссертацию, я буду лучше лечить?»

В боковушке затихло, и они умолкли.

Потом председатель показал на новый телевизор.

— Богато живут колхозники.

Не выдержал, похвастался, потому что в том, что люди так живут, есть и его заслуга.

— Богато, — согласился Максим и не удержался, добавил: — Да строятся бестолково, — кивнул в сторону пристройки.

— Свой же архитектор, — мягко пошутил председатель.

— Думаете, легко ломать вековые традиции?

— А знаете, легко. Теперь легко. Дали бы мне материалы. И архитектора. Я построил бы новое село за счет колхозников. Не умеем мы взять деньги у людей. А деньги есть!

Вышел из боковушки Бохун, и Максим с удивлением увидел, как изменился доктор: пропала веселая подвижность, будто, пока выслушивал, осматривал больную, делал укол, страшно устал.

Встревоженный Максим поднялся, подошел к нему, несмело, по-деревенски, как женщины, спросил:

— Что, доктор?

Бохун вновь преобразился: блеснул глазами, достал из кармана гребешок, причесал красивую шевелюру, отвернувшись, подул на расческу; сделал это так, будто играл на сцене сельского модника, лихого парня.

Ответил бодро:

— Будем лечить, дорогой Максим...

— Евтихиевич, — подсказал председатель.

— Будем лечить. Вот сейчас поедем, найдем Веру Ивановну,

скажем ей, что делать. Сегодня мы с ней столкуемся. Сегодня она добрая, если посоветовала вам обратиться ко мне. Раньше мы ломали копья. Помнишь, Юрий Иванович?

Как легко успокоить человека! Уметь надо, что ли? Два уверенно сказанных доктором слова «будем лечить», и у Максима пропало предчувствие близкой трагедии, которое на протяжении дня возникало так часто. Может быть, это успокоение ненадолго. Но покамест оно прочное. Это подняло дух, вернуло интерес к жизни, которой живут здесь мать, сестра, Петро, дети и вообще вся деревня. Наезжая сюда, он всегда любил послушать, как подвыпивший Петро незлобиво, но остроумно рассказывал о соседях, родичах.

Ушли председатель и доктор, и он спросил у Раи про Колю, ее старшего сына, студента пединститута. Как он там, в городе? Как учится? Рая сразу почувствовала перемену в настроении брата, обрадовалась. Торопливо стала рассказывать и про Колю, и про восьмиклассницу Надю, что так и не показалась дяде на глаза, пообедала и опять в школу на кружок, и про маленькую озорницу Люду, которая вертелась тут же и на жалобы матери: «Угомона на нее нет», весело смеялась и хитро подмигивала, словно призывая дядю вступить с ней в сговор и вместе выкинуть коленце.

Когда уже стемнело, еще раз приехал председатель — приглашать к себе в гости.

Не хотелось. Какие тут гости, когда о н о ломится в дверь?

Но Юрий Иванович и особенно Рая и Петро смотрели на все проще, более оптимистично. Уговаривали: «Ну что тебе сидеть с нами целый вечер?» Своих он понимал: им льстило, что его приглашает председатель, им хотелось, чтоб он сошелся с ним ближе, подружился. Отказаться — проявить неблагодарность, невнимание к ним и эгоизм: что мне, мол, до ваших отношений, живите как хотите. Более того, получится, что он хочет показать, вот, дескать, как я внимателен к матери! О здоровой и больной о ней заботилась Рая, а он приехал по сигналу тревоги и как бы выказывает сестре недоверие. Да и Юрию Ивановичу он обязан за Бохуна, выполнил его просьбу. Отказаться от приглашения — обидеть. Ох эти условности! И без них нельзя, и придерживаться их — что цепями себя опутать.

У председателя уже был накрыт по-деревенски богатый стол. Горы закуски: капуста, огурцы, грибы маринованные, соленые, жареные, красные ломти ветчины, которые еще пахли ольховым дымком, и снежно-белое сало. Того, что на столе, хватило бы на добрую пирушку. Но хозяйка, колхозный плановик, как представил ее муж, женщина проворная и радушная, все еще «планировала» — что-то жарила, наполняя три комнаты финского дома аппетитными запахами.

Бохун и председатель сельсовета Адам Стешанок, односельчанин, но моложе Максима лет на десять, поэтому Максим его плохо помнил, в ожидании хозяина и гостя смотрели по телевизору хок-

кей. Хотя по-настоящему, не отрываясь, смотрели только Стешанок и хозяйский сын, первоклассник. Бохун ходил вокруг стола, комментируя одновременно и закуску и игру. Он, кажется, успел уже «снять пробу», потому что еще больше раскраснелся и глаза его возбужденно блестели. Врач и мальчишка соревновались, кто лучше знает игроков, их фамилии, имена, хоккейные заслуги.

Максим послушал их, пока Юрий Иванович помогал на кухне жене, и подумал, что по сравнению с этими деревенскими он дикарь, в этом сезоне не видел ни одной передачи, хотя любит хоккей. Не мог забрать телевизор на дачу, потому что знал, Даша поднимет скандал.

Воспоминание о Даше навеяло грусть. Впервые (даже у Шугачевых этого не испытывал) он позавидовал такому вот простому уюту, когда всей семьей смотрят телевизор, а из кухни тепло и вкусно пахнет едой.

Не обращая внимания на протесты сына, Юрий Иванович приглушил в телевизоре звук.

— Саша, не шуми, а то совсем выключу. Зачем тебе комментатор? Ты сам отличный комментатор.

Сели за стол. Хозяин наполнил рюмки. Но не успел предложить тост, опередил Стешанок:

— За здоровье вашей матери, Евтихиевич. Тетка Татьяна — это человек, я вам скажу. Такие люди должны вечно жить.

Максим увидел, как Бохун сверкнул глазами на председателя сельсовета, будто говоря: «Хоть ты и власть, но не лезь поперед батьки». И не чокнулся ни с кем Бохун. Молча, как-то небрежно, словно выдил под стол, выплеснул водку в рот и даже не глотнул, — жгучая жидкость точно сама пошла по пищеводу, как по шлангу. Не понравилась эта докторова ухватка, молчание его в ответ на такой тост не понравилось. Снова кольнуло в сердце недоброе предчувствие. Отпил чуть-чуть.

Стешанок запротестовал:

— Э-э, Евтихиевич, у нас так не пойдет. До нас еще постановление не дошло, на волах его везут.

Но хозяин и хозяйка не заставляли пить, предложили рыжиков: сами собирали и сами солили. О грибах и пошел разговор, потому что все, кроме председателя сельсовета, были заядлые грибники. Раньше стол начинался с рыбы и за столом всегда находились рыбаки. Теперь — грибники. И в деревне, и в городе. Современный транспорт приблизил лес ко всем. Бохун, правда, вскоре занялся хоккеем, завел спор с Сашей о только что забитом голе.

С урожая грибов перешли на урожай зерна и картофеля. Прошлогодний. И о прогнозах на этот год поговорили.

Шла неторопливая и спокойная застольная беседа людей, которые еще только знакомились и приглядывались друг к другу. Собственно говоря, приглядывался к Максиму хозяин. Стешанок принимал его как своего. А веселый на вид Бохун чем больше пил (пили они со Стешанком крепко), тем больше мрачнел. Дразнил

мальчишку будто бы в шутку, но так, что Саша начал бунтовать.

— Хоть ты и крестник мой, но в хоккее ничего не смыслишь.

— Я не крестник! Меня не крестили! — протестовал Саша.

— Нет, врешь, брат. Это твои родители скрывают, а я сам возил тебя к попу. И он окунул тебя в ушат с водой. А ты здоровый уже был. Брыкался, как жеребенок.

— Неправда! Неправда! Мама, скажи ему, что это неправда, что меня не крестили! — У первоклассника дрожали губы.

Мать успокаивала:

— Конечно, неправда. Дядя Андрей, как всегда, шутит.

Получив поддержку матери, мальчик перешел в наступление:

— А вы разве верите в бога?

— Верю.

— А как же вы лечите людей?

— Молитвами.

— А я в райком напишу, что вы молитесь.

Это всех рассмешило. Бохуна в особенности. Мрачный, даже когда шутил с мальчиком, тут он расхохотался.

— Ты хорошо знаешь, куда обратиться, чтоб меня сделали убежденным атеистом.

Смех сближает людей, а удачная шутка — лучший зачин для серьезного разговора. Хозяин, отсмеявшись, обратился к Максиму:

— Вы простите, Максим Евтихиевич. И не посчитайте, что мы такие хитрецы — пригласили в гости, чтобы обротать. Не сегодня явилась эта идея. Люди подсказали, земляки ваши. Из нашего села два генерала, трое ученых, архитектор, художник, министр. Министр, между прочим, кое в чем помог. И решили колхозники обратиться к другим своим известным землякам. К вам первому.

Максим насторожился и почувствовал себя немножко неловко от того особого внимания, которое проявили к нему все, даже подвыпивший Бохун. Чего от него хотят? К нему, случалось, обращались с просьбами, которые вынуждали поступаться своими моральными принципами и убеждениями. Бывали раньше, когда работал в Минске, просьбы от земляков, которые требовали хождения по высоким инстанциям. Люди по наивности считали, что если он архитектор и живет в столице, то все может. Однако при всей своей, еще молодой тогда, энергии выбить машину или шифер он никак не мог. Невыполненные просьбы как бы отдаляли его от земляков, потому что в следующий приезд он избегал тех, кто мог подкинуть такие хлопоты и с ними угрызения совести: сделать не в силах и не сделать ничего нехорошо.

Что подбросит ему новый председатель, которого колхозники хвалят и у которого в самом деле, кажется, есть голова на плечах?

— Надо нам начинать перестраивать село. Надо на практике, а не на словах приближать его к городу. А то скоро останемся без людей. А с чего начинать? — Юрий Иванович подождал, может быть, гость ответит на его вопрос. Но Максим воздержался от со-

вета, с чего начать такое большое дело. — Конечно, с материалами еще нелегко. И в план строительных работ включиться — надо походить дай бог. И вот мы поразмыслили, рассудили и думаем: а не легче ли будет пробиваться во все планы, если будем иметь архитектурный проект? Соседу придется еще заказывать, а у нас вот он, готовенький, сделанный известным архитектором, рассмотренный и утвержденный на общем собрании колхозников. Это хороший козырь.

Максим почувствовал, как учащенно забилось сердце. Когда-то в юности, когда еще учился, он иногда мечтал о такой работе — перестроить родное село. Но приезжал домой, видел, как жили люди, о чем думали — не об архитектуре, о хлебе насущном, — и мечты его гасли. А когда стали богаче, когда заговорили о перестройке села, были приняты партийные и государственные постановления, он постарел, действительно отдалился, родным для него стал город, который строил, а не это село. Хватало проблем и забот там. Кроме того, за всю его практику ему ни разу не приходилось заниматься сельским строительством. Никакого опыта.

— И вот наша просьба, Максим Евтихиевич. Сделайте проект нового села... родного вашего села. Для начала хотя бы центра его... общественно-культурных зданий. Ну и планировку перспективную...

Председатель высказал просьбу не очень уверенно, может быть, боялся, что архитектор посмеется над таким кустарничеством.

Карнач не спешил с ответом, казалось, целиком был занят разглядыванием красивой этикетки на бутылке венгерского вина.

Никому из присутствующих не могло прийти в голову, что Максим уже видел на маленькой этикетке образ села. Он возник мгновенно, словно до этого были годы поисков и раздумий.

Предложение взволновало так, что Максим не сразу нашел нужные слова. Он как бы проверял самого себя: а что у него есть в душе, в творческом запаснике? Хоть какая-нибудь идея есть? Но чтоб своя, оригинальная. Есть. И она сразу обрела архитектурные формы. Пускай пока еще и неясные. Так всегда. Потом, когда сядешь с карандашом над ватманом, все понемногу начнет проступать, как на фотобумаге, опущенной в проявитель. Композиция, ритм, стиль, детали.

— Мы заплатим... — подкрепил свою просьбу растерянный председатель.

Максим встрепенулся. Вот до чего довело молчание!

— Юрий Иванович, зачем же так... Вы меня обижаете. Я же здесь не заезжий шабашник.

— Простите.

— Я сделаю вам проект.

— Молодец, архитектор! Вот это по-моему! — обрадованно похвалил Бохун. — А то иной как вырвется в город, мать родную забывает.

Застолье сразу приняло другой характер. Исчезли натянутость

и та церемонность, от которой чувствуют себя неловко и хозяин, и гости. Все стало просто и естественно, потому что речь шла о том, что интересовало всех.

Максим думал, что Бохун уже пьян. Нет, мысли у него толковые и к месту, интерес к теме не меньший, чем у всех, хотя жил он в двадцати километрах и здесь был гостем. Только высказывался Бохун более шумно и категорично.

Забыв о еде и выпивке, они обсуждали проектное задание — что построить в первую очередь, где посадить. Максим тут же на обложке журнала «Беларусь» с березами набросал схему планировки, возможный вариант.

Ему это было легко, он знал каждый взгорок, каждую петлю ручья, который протекал через село.

Но тут без стука отворилась дверь, и Максим увидел Раю в распахнутом кожухе, в накинутом на голову, незавязанном платке. Почувствовал, что у него отнялись ноги, и испуганно подумал, что ему не подняться. Больше не чувствовал ничего. Ни боли в сердце, ни даже стыда за то, что т о страшное, чего он боялся со вчерашнего дня, случилось тогда, когда он ушел и за обильным столом, за разговором о проекте на какое-то время забыл о нем, хотя жил с ощущением, что весь день держал дверь, чтоб о н о не ворвалось. Он отпустил дверь. Нет, раскаяния не было, он знал, удержать невозможно, о н о сильнее его, сильнее всех.

Все повернулись к Рае, и она громко, по-сиротски заплакала. Испугала Сашу. Мальчик отскочил от телевизора и смотрел то на тетку-доярку, то на отца широко раскрытыми глазами: чего это она? Может, на ферме беда какая-нибудь?

Максим взглянул на Бохуна. Тот опустил глаза, точно виноватый, но тут же протянул руку за бутылкой и налил одному себе, не в рюмку — в стакан, где оставалось немного воды.

Что ж, ты неплохой врач, Бохун. Ты понял, что э т о случится скоро. Уж не по твоей ли инициативе меня пригласили сюда? Чтоб я не видел, как о н о придет. Но теперь все равно уже. Зачем спрашивать об этом у тебя или у кого-нибудь другого?

Бохун осушил стакан и не нашел других слов (да и есть ли они на такой случай?), кроме банального:

— Все мы смертны.

Да, все мы смертны. Но это мало утешало. Наоборот, отдалось болью в сердце. Теперь отдалось от слов утешения... «Таким людям надо вечно жить». Кто это сказал?

Боль в сердце вернула силу ногам. Он быстро встал.

Сапоги вязли в растоптанной за день снежной каше, ноги скользили. Ветер бил в лицо снежными космами, мокрыми уже. Максим шел быстро. Но было ощущение как во сне: бежишь — и все на том же месте. Так и тут казалось, что ноги скользят на одном пятачке обледенелой, засыпанной снегом дороги.

Сзади то тише, то громче плакала Рая. Вот она оказалась рядом, и он услышал ее голос:

— Как жила тихо, так и померла. Не крикнула, не застонала. Не позвала никого. Я молоко ей понесла... а ее... ее нету уже... И ручки сложила на груди.

Его поразило больше всего: «А ее нету уже». Нет... Только что был человек, родной, близкий. И уже нет... Неужели нет? Самое трудное — принять эту безжалостную истину: ее нет больше. Мамы нет. Мамы!

Рыдания перехватили горло. И он почувствовал себя одиноким и беззащитным.

Окна их хаты сверкали ярче, чем у соседей. Под застрехой горел самодельный фонарь, шоферский — лампочка с автомобильным рефлектором; он был направлен так, что бросал на двор яркий сноп света. Открыта калитка. На дорожке от калитки до проема дверей трехстенки накиданы еловые лапы. Это Максима поразило. Где и когда успели нарубить елок? Ах, Петро на машине работает в лесу... Но зачем ему понадобилось столько еловых веток? Неужто готовился? Мысль, что кто-то готовился к смерти матери, показалась страшной. Хотя что тут такого? Сама мать тоже готовилась. Давно.

Другое, что поразило, — в хате было много народу, не только соседи, но и родичи, которые, он знал, жили на другом конце большого села. Выходит, Рая прибежала за ним не сразу. Как будто все были в сговоре, чтоб оберечь его, как больного, не дать ему увидеть этого. Обижаться на них за это или благодарить?

Остановился за спинами стариков, боясь взглянуть, что там, впереди, куда смотрят все. Не раз он хоронил людей, стоял в почетном карауле, говорил речи над гробом и могилой.

Но там были хотя, случалось, и близкие люди, но все же чужие. А тут мать. И ему показалось, что он сейчас увидит что-то страшное.

Заметив его, люди почтительно расступились, и он увидел покойницу и поразился, как все обыкновенно и просто. И ничего страшного с ним не произошло. Даже холодная боль в сердце, что обожгла там, у председателя, и не стихла на улице, вдруг начала оттаивать и разлилась по всей груди. От этого стало трудно дышать, не хватало воздуха. Хотелось вздохнуть полной грудью, но боялся, как бы не сочли этот вздох неприличным.

Одетая в лучшее платье, покойница, маленькая, как ребенок, выглядела неуместно, ненужно торжественно. В сухонькие и белые-белые, какими они никогда не были при жизни, руки, которые спокойно, устало лежали на груди, вложены белый платочек и зажженная свечка. И лицо спокойное, без следов страдания, вокруг головы венок из бумажных цветов и желтая бумажная лента на лбу с надписью старославянскими буквами.

«Ее нет», — вспомнились Раины слова. Да, матери нет. Сердце болит по той, что ушла навеки. А эта, которая лежит здесь, показалась чужой и далекой.

Рядом плакали старые женщины. Ему плакать не хотелось.

И стоять тут не хотелось. Увидел, что на полу тоже разбросана елка, и здесь, в хате, она пахла смертью. Не хотелось вдыхать смерть. Он оглянулся, не зная, что делать, где ему положено быть. Одна из его теток, как маленькому, сказала сурово и поучительно:

— Поцелуй мать.

Он подошел, собираясь поцеловать в лоб, но наклонился и поцеловал руки, которые столько раз хотел поцеловать при жизни матери и ни разу не решился. Увидел, что на белой подушке вокруг головы покойницы зерна ржи. Именно эта рожь, которую мать сеяла и жала столько лет, нет, не рожь — воспоминание о том, как ее сеяли, особенно растрогало и умилило. И он заплакал. Он не стыдился своих слез и был благодарен всем, кто плакал вместе с ним.

Во дворе Петро и мужчины курили и серьезно, деловито обсуждали, как и где делать гроб, кто пойдет копать могилу. Предложили ему:

— Закури, Евтихиевич. Легче на сердце станет.

Тут, на дворе, и елка под ногами, и влажный снег, и даже табачный дым пахли весной, жизнью.

Вышла Рая. Без слез уже сказала Максиму:

— Мать просила, чтоб ее отпевали.

— Мало что она просила, — возразил Петро. — А что нам с Максимом скажут?

— Сделайте все, как она просила. Больше, чем в бога, она верила в людей. Всю жизнь.

— Это правда. Людям она верила, — откликнулся кто-то из мужчин, нестарый еще.

— И люди ей верили, — сказал другой, постарше.

«Певчие», как называли их тут, женщины, которые заменили верующим попа, появились быстро, как будто были предупреждены и ожидали в этот поздний вечер в полном сборе.

Максима удивляла и казалась даже немного оскорбительной быстрота и точность, с которой делалось все, связанное с похоронным обрядом. Так быстро обмыли и убрали покойницу и созвали родичей со всего села... И эти загодя привезенные елки... Они не выходили из головы.

Максим любил веселого, работящего, смекалистого Петра. Но елок этих почему-то не мог простить. И в нем так же, как утром, когда приехал и увидел, где лежит мать, начало расти раздражение. Теперь не только против зятя и сестры, но и против себя. Понимал, что в такой момент, перед лицом смерти, возле покойницы, нехорошо испытывать это чувство, надо быть добрым, душевно спокойным, примириться со всеми и всем, что было при жизни матери.

«Певчих» было четверо, три старые женщины и одна дебелая краснолицая молодайка. Петро и мужчины там, во дворе, когда Рая отошла, отозвались о них неуважительно, с насмешкой:

— Эти святые на поминках водку глушат, каждая за трех добрых мужиков.

— Манька у Тимошковых так напилась, едва до дому довели, все рвалась в лавку, мало ей было. Старый Сидор матюгами свою святую крестил. Во спектакль был.

Мужчины приглушенно смеялись.

Вышла из хаты тетка Ульяна, старшая сестра Максимова отца, ей было за восемьдесят, но она сохранила на диво ясный ум. Сурово упрекнула мужчин:

— А вы и тут уже зубы скалите, безбожники. Ничего у вас святого нет.

Стало стыдно. В самом деле, там мать, а он деревенские анекдоты слушает.

«Певчие» сперва молились. Максиму их бормотание показалось ненужным и нелепым. К противоречивым чувствам и переживаниям прибавилось еще одно — ощущение, что он в этот день делал и делает не то, что нужно, не так, как следует. Вот и с этими бабами. Петро был прав. Зачем это?

Но потом женщины начали петь псалмы. У одной был приятный голос, он выделялся на фоне нестройного пения остальных.

Максим сидел на табурете в углу у двери, одинокий среди людей, как бы забытый всеми, слушал монотонное, протяжное пение, и, странная вещь, постепенно его раздражение против «певчих» таяло.

Белый стих на смеси церковнославянского и современного языка понять было невозможно, но он создавал настроение. Острая боль утраты переходила в утешительное спокойствие, в раздумье о вечности жизни и неизбежности смерти. Вина перед матерью сменилась такой глубокой благодарностью ей за ее материнский подвиг, что он тихо плакал. От этого становилось легче. И наступили наконец минуты неосознанного умиления и гордости за мать, которая прожила такую жизнь. И за всех этих теток, родных и соседей, которые пришли почтить память той, что долго жила рядом с ними и была какой-то частью их собственной жизни. Мать умела давать людям радость.

А потом в какой-то момент им овладело новое, незнакомое, самое тяжкое и страшное чувство — чувство сиротства. Не стало матери... Возможно, занятый работой и семейными заботами, он не часто думал о ней, не так часто, как надо думать о матери, но все равно он всегда ощущал ее присутствие. Она была с ним. И вот ее нет. И еще один человек раньше всегда был рядом. И ее нет... Кто же остался? Вета? Но и дочь отдала свою любовь некоему Корнею Прабабкину, о существовании которого еще совсем недавно никто из них не знал.

В другом углу на диване, упершись ладонями в колени, в перепачканном мазутом ватнике сидел Петро и... тоже плакал. И это необычайно тронуло Максима и как-то сблизило с зятем, породнило не формально, как было до сих пор, — душевно.

За полночь, когда в хате остались лишь самые близкие люди, Максим почувствовал благодарность к четырем женщинам, которые добросовестно выполняли свою обязанность — пели над покойницей малопонятные псалмы. Припомнил: давно, когда он еще работал в Минске, погиб при автомобильной аварии инженер их отдела, молодой человек. Гроб с телом покойника по желанию семьи поставили у него дома. Поздно вечером собравшиеся стали расходиться. Вдова попросила Максима, чтоб он не уходил. Они остались вдвоем с товарищем. И в тяжком молчании, преодолевая сон, просидели до утра. Это была мучительная ночь.

Часа в три Рая и двоюродная сестра Тамара уговорили Максима пойти к Тамаре немного отдохнуть.

Думал, что уснуть не удастся. Но уснул. Когда проснулся, был уже день, на дворе шел снег. Ни души. Пустота и тишина. Стало стыдно, что он долго проспал и так спокойно, даже не снилось ничего. И не слышал, когда встали хозяева.

Быстро оделся, вышел на улицу. Снег шел мокрый и густой.

В хате было полно народа, не протиснуться. Возле покойницы в голос плакала внучка, маленькая Люда:

— А бабочка моя, а родненькая моя! Зачем ты померла? Как же я теперь буду без тебя?

Девочка обливалась слезами, поняв, что бабушки, которая всегда была с ней как самый верный друг и советчик, не стало и никогда не будет. Вчера Люде ничего не сказали, она смотрела телевизор у соседей, и мать устроила так, что она осталась там ночевать. Малышку поразила смерть в их доме, она, как почти все дети, еще верила в бессмертие близких, в ее представлении умирать имели право лишь чужие.

Плач Людочки взволновал всех. А Максима крик ее резанул по сердцу. Зачем еще она здесь?

Он протиснулся вперед, сурово сказал Рае, которая плакала тут же:

— Убери ребенка!

Но Люда зло блеснула на него глазенками и закричала:

— Не хочу! Не хочу! Все вы гадкие! Вы все не любили ее! — и схватилась за мертвые бабушкины руки.

Мать едва оторвала ее.

Максим почувствовал, что у него горит лицо, как будто девчушка ударила его. Да, она бросила им тяжкий упрек. Всем взрослым. Однако ему, пожалуй, больше, чем другим.

Слушать плач женщин не мог. Вышел на улицу и пошел в поле. Встречные провожали его удивленными взглядами: куда это он в такое время? Кладбище в другой стороне.

Хотя и поспал, но голова была тяжелая и болела. Часто билось сердце. В ушах звенел Людин голос: «Вы все не любили ее».

Нет, дитя мое, я любил мать. Не попрекай меня. Мне и так тяжко.

Его догнал запыхавшийся и словно испуганный Петро.

— Ты куда?

— Никуда. Знаешь, что такое дорога в никуда?

Петро грустно усмехнулся.

— Надо сегодня хоронить. Толи не дождемся. Не прилетит он с Урала. Радио передает, всюду метели. А поездом — трое суток.

Максим встрепенулся, будто увидел выход из мучительного положения. Да, похоронить сегодня. Скорее. Теперь уже матери ничего не нужно. Все это условности.

Но Рая сказала, что надо подождать Колю. Максим совсем забыл о старшем племяннике. Однако Коля так и не приехал. В какой-то момент, пока ожидали, Максим разозлился на него: щенок, что ему до бабушки, которая вырастила его? Но тут же подумал, что Вета такая же внучка, а он ей даже телеграммы не дал, потому что знал, не приедет. Слабеют и рвутся нити, которые связывали род. В наше время внуки не ездят на похороны дедов и бабушек. От этих мыслей стало еще более грустно и больно. И как-то пусто на душе.

XXII

Нет, это не душевная депрессия. Не то, что было, когда он шел за гробом и на бестолковых поминках, на которых «певчие» действительно напились. Тогда он испугался своего состояния и, обидев Раю и Петра, в тот же вечер уехал домой. Странно, где его дом? Здесь, в Волчьем Логе?

В дороге он простудился. Душил кашель. Болела грудь. Поэтому не ездил на работу. Пил липовый чай. Варил картошку. Сперва, укрывшись полотенцем, вдыхал над кастрюлей пар, потом ел сам и кормил изголодавшегося Барона. И мучился бессонницей.

Боль утраты не утихла, не притупилась, она как бы приобрела новое качество: все время думалось о матери, образ ее стоял перед глазами, и голос слышался в космической тишине дачи, где в безветренную ночь не раздастся ни один звук.

Лежал, слушал тишину и вспоминал каждый эпизод далекого детства, голодной военной юности и недавних встреч с матерью, каждое ее слово, каждый жест и каждую морщинку на лице, на руках. На живом лице, на живых руках. Мертвую не вспоминал.

На третью, должно быть, ночь понял, что образ матери не может оставаться только в памяти. Мать должна продолжить свою жизнь в его творчестве. Поэт, верно, создал бы стихотворение или поэму. Живописец написал бы родное лицо на полотне. А как воплотить образ человека в архитектуре? Великие зодчие это умели, в их творениях оставались жить на века они сами и образы близких, их дух, их идеалы. Он этого не умеет. Пока не умеет. Всегда старался выразить свою эпоху. Такая сверхзадача стоит перед каждым зодчим. Но, по сути, это абстракция, нечто необъятное. Тысячи архитекторов, проектировщиков, инженеров — все вместе, может быть, они и могут отразить эпоху. Один... один мо-

жет разве что гений. Высочайшее достижение художника — образ человека определенной эпохи. Но в синтетическом искусстве зодчества человек не выступает так, как в романе, фильме, скульптуре. Не духовный облик, а материальные потребности диктуют функциональную целесообразность зданий, районов, городов. На этом принципе держится вся современная архитектура. Гостиницы, небоскребы строят во всем мире не для того, чтоб человек мог зайти туда подумать в одиночестве, вознестись духом.

Максим завидовал писателям, художникам. Но и у него есть еще одно умение, которое он называет своим хобби. Он увлекался резьбой в детстве, когда пас коров. Даже на вереях ворот своего двора вырезал искусные узоры, так что каждый останавливался полюбоваться. И он, малыш, гордился этим. Вереи эти в войну сгорели. В институте он пробовал усовершенствоваться в этом искусстве, ходил в мастерскую известного скульптора, и тот убеждал Максима, что его призвание — скульптура, но не переубедил, архитектура держала крепче, он остался верен избранной профессии.

После долгого перерыва он вернулся к своему увлечению, когда строил дачу. И потом, когда жил здесь, отдыхал; лучший отдых — резьба. Тогда же привез из лесничества толстые липовые и березовые кругляки — заготовки. Гости удивлялись этим круглякам, спрашивали, зачем ему. «Выйду на пенсию, займусь резьбой». До пенсионного возраста оставалось всего... тринадцать лет. Игнатович как-то сказал: «Струхлявеют твои кругляки до пенсии». Но тот же Игнатович привез ему в подарок из заграничной командировки набор замечательных резцов, таких у нас не делают; один — для грубой обработки — даже электрический.

...Василий был призван в армию в сороковом году, когда Максим учился в девятом классе. В начале войны в армию ушел отец, бригадир колхозных строителей, член партии, отступил с последней воинской частью, которая недели две держала рубеж в их районе. В оккупации мать не ожидала отца, хотя, когда появились в окрестных лесах партизаны, Максим как раз считал более вероятным, что отец мог остаться в этих знакомых ему лесах. Говорил об этом матери. Но для нее Евтихий был на войне, и она стала ждать его лишь тогда, когда на востоке снова загремела канонада. Совсем иначе она ждала сына. Всю войну. Может быть, с того самого дня, как в село вернулся первый окруженец. Ждала напряженно, чутко. Вскакивала ночью на каждый шорох, на шаги за окном.

Пришло освобождение, отец написал из госпиталя.

От Василия не было никаких вестей.

Призвали в армию Максима. Немного раньше, недели за две, забрали старших, всех, кто должен был взять оружие в сорок первом. Многие из них полегли здесь, недалеко, на переправе через Сож. Некоторых хоронили дома. В сожженной деревне, где тор-

чали одни трубы, все было видно из края в край, все слышно — плач, стенания. Да мать и сама не пропускала ни одних похорон. В беде все село жило одной семьей.

Он боялся, что мать будет очень горевать, провожая его в армию, будет голосить, как по покойнику. А это страшно, он слышал, как голосили, провожая, некоторые бабы. Мать не плакала. Ни одной слезинки. И не провожала далеко. Только вывела из бывшего двора за обгорелые вереи. Но как она глядела. Перекрестила и сказала: «Иди, сынок. Теперь я двоих вас буду ждать. Василия и тебя».

В первые послевоенные годы в каждый его приезд домой мать тайком, чтобы не слышали другие, робко спрашивала,

«Максимка, а может, живет где наш Василек? Может, в плену держат? А может, оженился где на такой, что к своим не пускает? Бывают же такие женки».

Бывают, мама, бывают. Все бывает. Да с Василием этого не могло быть. Но зачем разрушать твою материнскую веру? Он проглатывал соленый комок и молчал.

Рая рассказывала на поминках, лет двадцать мать заказывала молитвы во здравие Василия. Лишь недавно, лет восемь назад, составляя для соседки, которая ехала в далекую церковь, списочек, за кого помолиться, впервые имя Василия поставила рядом с отцом, которого сама хоронила и за которого уже в день похорон молилась: «*Прими, господи, душу раба твоего, воина Евтихия*».

...Липа за несколько лет высохла так, что казалась крепче, чем те дубовые вереи, на которых он вырезал узоры. Или, может, слабее стали руки? Они в самом деле утром дрожали, но это от волнения, от нетерпеливой жажды поскорее взяться за работу — необычную, святую.

Стамеской не пользовался для первичной обработки, только резцами. Чтоб не испортить замечательный материал. Осторожно и медленно, как кладоискатель, разыскивающий драгоценное сокровище, пробирался сквозь толщу пока еще мертвого дерева к живым чертам родного лица. До них еще далеко, много дней, недель, а может быть, и месяцев труда, но уже теперь не должно быть ни одной неправильной линии, ни одного ненужного желобка, оставленного холодным резцом. Металл холоден, да. А дерево теплое. Нет, не мертвое оно, живое, оно оживает от каждого его движения, будто он вдыхает в него свою душу, свою боль и радость. Давно уже, пожалуй, не было такой радости, как от этой работы. Радовало все. Ощущение, что он словно оправился от недолгой, но тяжелой болезни, что творчество, новое, непривычное, то, по которому порой тосковал, так захватило.

Радовал день. Он тоже был необычный, торжественный. После недели непогоды, когда зима встречалась с весной, первый по-настоящему весенний день. На небе ни облачка. Сияло солнце

огромное на небосводе. И сверкали мириады маленьких солнц на снегу. И все это широкое море снежного света залило мансарду. Ах, такое бы освещение тогда, когда начнется самая тонкая работа, когда надо видеть каждое волоконце на дереве, каждую линию резца и каждую черточку образа, каждую морщинку на лице! Ничего, света тут всегда хватает. Не будет снежного, будет зеленый от берез, которые теперь сияют белизной ствола и розовым румянцем тонких веточек и почек.

С крыши со звоном осыпались сосульки. Этот звон, грохот пугали Барона. Позднее, в середине дня, застучала капель. Барон уснул в кресле на солнце, сладко мурлыча. Старый и ленивый. Котенок играл бы со стружками. А Барон осторожно потрогал лапой одну большую, понюхал, недовольно фыркнул и больше ими не интересовался. Работа хозяина его не занимала, этот человек часто строгает, пилит, стучит молотком.

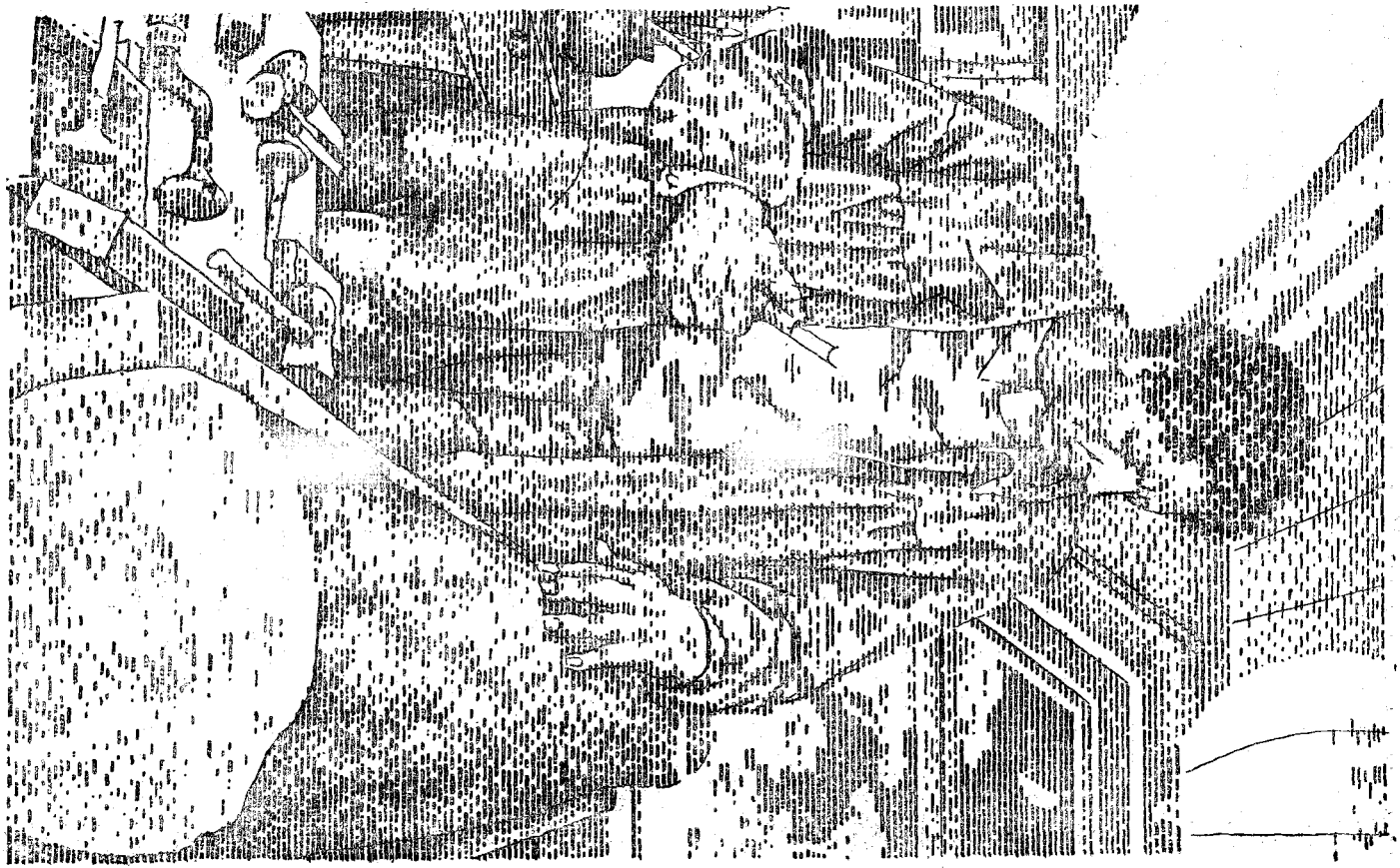
Максим жалел время на то, чтобы приготовить обед. Понимал, что спешить некуда. Но все равно оторваться от работы не мог. Была та одержимость, которой давно уже не испытывал, с тех пор как работал над первыми самостоятельными проектами. Но тогда была Даша, она могла оторвать. Теперь никто не мог — ни Даша, ни Кислюк, ни Игнатович. В ощущении такой свободы были горечь и сладость, радость и грусть.

От непривычной работы он натер кровавые мозоли на руке Они болели. Но даже физическая боль эта была приятна, она своеобразно дополняла сложную гамму его ощущений и чувств сливавшихся все в ту же радость труда.

Солнце нагрело мансарду, и стало душно. Но Максим боялся снять теплую куртку, кашель не слабел, наоборот, участился. Иной раз были такие приступы, что ему становилось трудно дышать. С этим кашлем следовало бы полежать в теплой постели. Но не было уже силы, которая могла бы оторвать от начатой работы. Пока он может стоять на ногах.

Вечером он принял аспирин, напился липового чаю с медом и рано лег спать. Читать не хотелось. Даже слушать музыку не хотелось. Он будто боялся, что чужая музыка разрушит ту, которая звучала в душе и не была похожа ни на что в мире, ни на что когда-либо слышанное им. И чужих образов боялся. Вдруг он прочитает что-нибудь такое, что может ослабить, заслонить его образ.

Заснуть долго не удавалось. Он продолжал работать, доводил скульптуру до завершения и опять начинал сначала, резал иначе, по-новому — шел другим путем, чтоб прийти к той же цели. Завершенный образ не менялся, он не мог стать иным не только от метода или приемов работы, но и от замены материала. Но другим материалам он отдавал предпочтение в архитектуре. Для образа матери других материалов не существовало. Мрамор, гранит, глина, бронза — все холодно. Только дерево теплое. В деревянной хате она прожила всю жизнь. В деревянный гроб...



Во сне он тоже работал. И у него болели руки.

Бывает, оказывается, и такое счастье. Ныло сердце от боли утраты. Раздирал грудь кашель. По утрам он едва сползал с постели, усталый, разбитый, с головной болью. Но поспешно умывался, торопливо завтракал и поднимался по крутой лестнице с таким чувством, будто возносился на небо. Шел как на большой праздник. И там, в залитой утренним светом мастерской, у липового кругляка, который постепенно приобретал формы человека, забывал обо всех невзгодах и болях.

Судьба его не обидела, в его жизни было немало счастливых дней. Не только дней — месяцев, лет. Но эти дни он не променял бы на те годы. Теперь казалось наивным, что он считал когда-то великим счастьем свою женитьбу, свою любовь к Даше. Выходит, она была выдуманной, лишь в его воображении. Во всяком случае, далеко не столь долгой, как казалось.

Он думал о том, что все радости жизни коротки, все скоро проходят, кроме одной — радости труда. Ей не мешают даже муки, и, между прочим, она никогда не повторяется, она всегда первозданна, всегда по-новому захватывает, волнует.

С такой трудной радостью Максим прожил три дня.

В понедельник приехал его заместитель, инженер Рогачевский. В среду их слушает бюро горкома.

Максима несколько удивила такая поспешность. С ним даже не поговорили как следует. От разговора с Макоедом он сам уклонился, а Языкевич пришел, рассказал несколько веселых городских историй, анекдотов, между прочим поинтересовался кадрами управления и на этом свою миссию закончил. Однако раз проверяли, значит, должны были слушать рано или поздно. Удивляться нечему. Его даже забавляла тревога Рогачевского. Знал, что заместитель его, отличный работник, неутомимый организатор, всегда боялся проверок и вызовов к начальству. Нетрудно догадаться, как Рогачевский рассуждает: мол, с Карнача с его связями и положением известного архитектора что с гуся вода, а все шишки достанутся ему, тем более что на нем лежит контроль за осуществлением строителями архитектурных проектов. А как они осуществляются, известно: на каждом объекте сто недоделок. Любую стройку проверь, и можно выдать «на полную катушку» и строителям и архитектурному управлению, и никакие объективные причины тебя не спасут.

Максим посмеялся над страхами Рогачевского, сказал, что на этот раз все шишки достанутся ему, главному. Но Рогачевского это мало успокоило. Услышав, как Карнач кашляет, он, обрадовавшись поводу оттянуть рассмотрение, предложил:

— Послушай, ты же и правда болен. Я скажу, что ты захворал, и пришлю врача, чтоб оформить бюллетень.

— Нет, я приеду!

Хотелось, чтоб все, что ему предстоит, произошло как можно скорей. Рассмотрение на бюро тоже.

Когда уехал Рогачевский, он поднялся наверх и сразу почувствовал, как все изменилось за время их недолгого разговора. Будто солнце зашло за черную тучу и сразу поблекли все краски. Но солнце светит по-прежнему. И все на месте. Так же тепло, как живые, пахнут стружки. А радости, с которой работал до сих пор, нет. И вдохновения нет. Оно убито. Чем? Кем? Он увидел кем, как только начал резать. Все это время перед ним стоял один образ — матери. А теперь рядом с ней.... Нет, даже не рядом, а впереди, заслоняя мать, появилась она, Даша, красивая и отвратительная — отвратительная в своей злобе, в глупом упорстве.

«Какой ты художник! Ты ремесленник!»

Сколько раз она этим отрывала его от проектов. И теперь оторвала от самого дорогого, что давало утешение, помогало забыть обо всех бедах.

Резец словно затупился и оставлял на дереве заусеницы. Так работать нельзя. Так можно все испортить.

Максим спустился вниз и стал готовить обед, чтоб чем-нибудь заняться, первый настоящий обед за четыре дня.

Подумал было о том, что, может, в самом деле не ехать на бюро. Пускай рассматривают без него. Если Игнатович так спешит, пускай попробуют заслушать управление в его отсутствие. Слишком издалека он заходит. Зачем? Когда все можно решить проще. Нет, у Игнатовича будет лишний козырь против него, и члены бюро, конечно, возмутятся и могут записать такое... Да разве это так важно, что ему запишут, с эпитетом или без эпитета? Но тут же подумал, что может быть принято более широкое постановление — об архитектуре города. Он понимал силу такого постановления, его значение. Основываться оно может на выводах специалиста-архитектора. А в комиссии такой специалист — Макоед. И Карнач отлично представляет, что может натворить Макоед, добравшись до такого серьезного документа. Он может поломать многое из того, что составляло смысл всей его, Карнача, работы здесь, в этом городе. Макоед может подкинуть такие идеи, которые испоганят даже генеральный план. Заречный район он, наверно, зарежет в том виде, как он заложен в плане. Ему легко будет это сделать, потому что сам Игнатович явно отступился от этого района. Почему? Вот что непонятно. Разве могут личные симпатии или антипатии влиять на работу, на решение таких серьезных вопросов, как перспективное строительство? У Максима нет оснований обвинять Игнатовича в равнодушии к городским проблемам. Нет, Игнатович живет городом. Но Макоед им не живет и никогда не жил. Макоед живет только собой. И он, Карнач, не может, не должен допустить, чтоб архитектурно малограмотные макоедовские идеи разрушили то, чему не только он, но и Шугачев, Сернов, Бабич, Кротова, другие их коллеги отдали столько энергии и сил.

Он начал обдумывать свой доклад на бюро. Доклад получился безжалостно самокритичный, но и саркастически язвительный по отношению ко всем, кто связан со строительством города. Ему, ко-

нечно, всыплют за такой доклад, но кое-кто из тех, кто будет решать его судьбу, крепко почешется.

Доклад — тоже творчество. Оно захватило. Он радовался, как дитя, тем емким и острым словесным находкам, которые украшали будущее выступление. Но за обедом почувствовал, что его опять, как это с ним часто случается, занесло. Не сделает он такого доклада на бюро горкома, потому что глубоко уважает этот представительный партийный орган. Такой доклад можно бы сделать в Союзе архитекторов, не потому, что он не уважает свой союз, а потому, что там другие нормы и нравы, там любят острое словцо, хотя на этой любви часто наживают дешевый авторитет демагоги. Осознав эту истину, он и в союзе уже давно так не выступал. «Принципиальные» и «леваки» вычеркнули его из своего актива, говорили, что должность главного архитектора испортила Карнача, сделала чиновником и карьеристом.

Построить доклад, сбалансированный и уравновешенный, — дело мучительное, скучное. Такие доклады легко сочиняют помощники, потому что им не надо выступать. Рогачевский мог бы написать неплохой доклад. Однако Карнач никогда и нигде не выступал по написанному.

Но не доклад его мучил. «Присутствие» Даши. Ее не было на кухне, пока он мыл тарелки. Она «явилась», как только он поднялся в мансарду и взял в руки резец. Стояла у окна, заслоняя свет и... мать, и ухмылялась язвительно, скептически.

«Ты пришла, чтоб отнять последнюю мою радость?» — спросил он тихо и вежливо. Она победоносно засмеялась.

Испуганный этим видением, он спустился вниз и пошел по поселку. Под вечер небо заволокло тучами и поднялся ветер. Сосны словно стонали, а ветви берез издавали свист. Стало неуютно и очень одиноко. Хотелось в город, к людям. Но куда он пойдет? К кому?

Всю ночь он то ссорился с Дашей, то просил у нее помощи. Назавтра почувствовал себя совсем плохо. Явно поднялась температура, кашель становился все более удушливым. Но у него не было градусника. Тревожила мысль, что он может совсем расхвораться, а там посчитают, что он испугался и симулирует болезнь. Очень не хотелось, чтоб Игнатович подумал, будто он боится.

В среду утром, обрадованный тем, что держится на ногах, он с трудом завел свой «Москвич» и поехал в город.

XXIII

Заседание уже шло. Сколько займет времени обсуждение того или иного вопроса, определить не мог даже Игнатович с его исключительной точностью и аккуратностью. Поэтому тех, кого должны были заслушать, приглашали с запасом времени. Да и сами работники, особенно те, кто шел «на ковер», на проборку, ста-

рались прийти пораньше, чтобы, упаси боже, не опоздать и не дать лишнего повода для нареканий.

В приемной народу собралось много. Но из тех, кто имел отношение к архитектуре, еще никто не явился. Максиму было неприятно, что он пришел первым. Не хотелось быть похожим на директора кондитерской фабрики, который уже в приемной тяжело вздыхал, красный, мокрый, как загнанная лошадь, то и дело вытирал платком лысину. Одни смотрели на него с сочувствием, другие с осуждением. Из-за нарушения техники безопасности на фабрике произошла авария, погиб человек; директору угрожала суровая кара, а снятие с должности — наверняка.

Его, Карнача, тоже, видно, ждет такая участь. Но чтоб он из-за этого хоть раз вздохнул! Такого унижения не простил бы себе. Хотя по дороге сюда думал, что, если его будут осуждать не за Дашу, а за работу, мириться с этим нельзя. Надо будет защищаться, протестовать. Дело не в его личном престиже, будет брошена тень на работу большого коллектива, и даже не одного. Но не чувствовал в себе сил для такой защиты. Физических сил. Кружилась голова, ноги были точно ватные. Пересохло во рту. Все казалось мелким и безразличным. И хотелось только одного — чтоб все скорее кончилось. Чтоб скорей уехать назад в Волчий Лог.

Бросив «добрый день» всем, кто был в приемной, он прошел в дальний угол и сел на свободный стул почти рядом с директором кондитерской фабрики, потому и подумал о его деле. Но тут же почувствовал на себе взгляд Галины Владимировны. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, удивленно и даже как будто испуганно. Одним словом, смотрела так, как, пожалуй, не имела права по своей должности смотреть ни на кого из тех, кого сюда вызвали. А по своему положению вдовы никогда раньше не решалась бы так смотреть ни на одного мужчину, да еще в присутствии доброго десятка посторонних людей, которые, в свою очередь, не спускают с нее глаз. Одни любуются красивой женщиной, другие прислушиваются к телефонным разговорам — нельзя ли выудить какую-нибудь новость? Сюда, в горком, как в военный штаб, стекаются новости со всего города.

Ее взгляд обдал Максима добрым, ласковым теплом, как луч солнца человека, вышедшего из подземелья. От этого тепла у него еще сильнее закружилась голова. Но уже иначе, не болезненно, а так, как кружится от стремительного танца.

Он улыбнулся Галине Владимировне. И она улыбнулась, но не просто улыбнулась, позвала к себе. Он понял это и, обрадованный неожиданным приглашением, забыв обо всех, кто наблюдал за ними и, возможно, разгадал их улыбки, поднялся и пошел к столу. Наклонился, заглядывая в листок с порядком дня.

— Когда там меня, грешного, призовут в чистилище?

Сзади засмеялись.

— Не спеши. Дождешься.

Галина Владимировна без улыбки объяснила:

— Затягивается второй вопрос, о работе парторганизации железнодорожного узла.

— Хвалят или разносят?

— По заключению комиссии, должны одобрить опыт...

— А зря! — откликнулся директор деревообделочного комбината Овсянников. — Никто так не срывает планы, как они. Вагоны выбиваем с боем.

— Хвалят всегда более многословно, — сказал Максим.

Присутствующие стали давать свою оценку работе железнодорожников. А Максим смотрел на Галину Владимировну: зачем позвала? Она указала взглядом на стул, стоявший у самого стола слева от нее. Он сел и положил руку на полированный стол, в который можно было глядеться, как в зеркало. Она увидела кровавые пузыри на пальцах. Тихо спросила:

— Что у вас с рукой?

— Ах, это? — повернул ладонь со стертыми, смазанными йодом мозолями. — Это от работы.

— От вашей работы? — удивилась она.

— Моего хобби.

Она подождала, что он объяснит, какое это хобби оставляет такие мозоли. Он не объяснил, и она не решилась спросить.

Овсянников сердито сказал директору кондитерской фабрики:

— Болотько, не пыхти ты, как паровоз. Нагоняешь тоску.

— Легко тебе говорить.

— Кому теперь легко? У меня под угрозой квартальный план.

— Плохо работаешь, — сказал начальник областного статистического управления.

Директор сорвался с места.

— Я плохо работаю? Просто тебе, несчастный статистик, оценивать работу других. Тебе что! Собирай готовые сведения. А у меня модернизация оборудования. Новые машины. Все разворочено, все меняем, а план давай.

Они сцепились и забыли, где находятся. До сих пор говорили приглушенными голосами — за дверью заседает бюро. А тут раскричались, как на ярмарке.

Галине Владимировне следовало вежливо попросить промышленных тузов соблюдать тишину. Но она этого не сделала.

Затеяв спор, присутствующие перестали обращать внимание на нее и Карнача. А ей так хотелось сказать ему какие-то особенные слова, потому что, внимательная к людям, особо чуткая к нему, увидела, почувствовала, в каком настроении пришел он сюда.

Сказала:

— У вас усталый вид.

— Неделю назад я похоронил мать.

— У вас умерла мать? — Галина Владимировна даже вздрогнула.

Максима тронуло, что ее так взволновало его горе, но он не понял, что именно ее потрясло. Вздохнул.

— К сожалению, даже матери умирают.

Забыв о присутствующих, Галина Владимировна схватила его за руку.

— Я скажу Герасиму Петровичу!

Тогда ему стало понятно ее удивление. Она подумала: неужели Герасим Петрович не знает о его горе, вызвал в такое время на бюро, чтоб сурово осудить? Но Игнатович действительно не знает, потому что не знает Даша, он не позвонил ей, не мог позвонить... Вернувшись с похорон, он даже не побывал у Шугачевых.

И хорошо, что Игнатович не знает!

Он тоже схватил Галину Владимировну за руку, потому что она уже поднялась, чтобы идти в кабинет.

— Нет! Не надо! Не хочу! Не хочу никаких поблажек! Можете вы это понять?

Теперь на них смотрели с любопытством, недоуменно, а кое-кто с язвительной ухмылочкой — те, кто прослышал о письме жены главного архитектора. Ухмылялись, считая, что сделали сенсационное открытие: вот где узелок — в приемной Игнатовича, и очень может быть, что первый об этом не знает, не догадывается.

Галина Владимировна, заметив, как на них смотрят, отняла руку, села, уткнулась взглядом в список вызванных на бюро. Размашисто написала синим карандашом на красной папке:

«Вас будут бить».

Максим нарочно, чтоб выручить ее, засмеялся и громко сказал:

— За одного битого двух небитых дают.

Овсянников, который ни о чем не догадывался и даже не знал, по какому вопросу вызывают главного архитектора, возразил:

— Устарела, брат Карнач, твоя поговорка. Теперь за битого ни черта не дают. Его просто выбрасывают. — И вдруг с удивлением спросил: — Что? И тебя будут бить? За что?

— За что! — хмыкнул в усы худой статистик. — Архитекторов нужно каждый день сечь на площади. Всенародно. Да еще писателей. Дармоеды.

Нельзя было понять, то ли человек шутит, то ли настроен против тех, чей труд не поддается статистическому учету.

Всем даже неловко стало от этих слов. Один Овсянников не растерялся, отплатил за «плохо работаешь».

— Кого б я сек, так это статистиков и плановиков, — сказал он. — Путаники. Плановики двенадцать раз в год план меняют.

— Широко размахнулся, — угрожающе сказал статистик. — Гляди, от такого размаха не устоишь на ногах.

Максим подумал: вот так, архитекторов и писателей надо сечь на площади, а плановиков... Упаси бог сказать о них слово критики. Крамола. Даже горячий Овсянников счел, что лучше не связываться со статистиком, который шутку перевел на слишком серьезную почву.

В приемную вошел Макоед, раскрасневшийся, запыхавший-

ся — слишком быстро поднялся на третий этаж; остатки редких и длинных бесцветно-рыжих волос, которыми Броник обычно прикрывал плешь, прилипли ко лбу. В руках модный чемоданчик, непрактично плоский, в такой не положишь буханку хлеба и бутылку молока.

Макоед поздоровался за руку с Галиной Владимировной и с Карначом. Остальным кивнул головой. Поздоровался с серьезным видом, сдержанно, но Максим отметил, что физиономия его сияет и в глазах скачут веселые чертики. И Максим вдруг почувствовал, что ненавидит этого человека, его самодовольную рожу, неряшливо прилипшие волосы, эту его претенциозность, за которой кроется бездарность. Ненависть раньше не возникала даже тогда, когда Макоед делал явные гадости. Вспыхивала порой злость, а обычно относился к Макоеду с насмешливым пренебрежением, чаще снисходительным, изредка раздраженным.

Он вообще не помнит, чтоб кого-нибудь из тех, с кем работал и жил, действительно ненавидел. Не было этого. Ему везло, его окружали хорошие люди. И он любил людей, хотя и высмеивал их слабости.

Теперь он ненавидит когда-то самого близкого человека — Дашу. Хватит с него одной этой ненависти. На черта ему еще Макоед! Этот тип просто не стоит того, чтоб тратить на него столько эмоциональной энергии. Но успокоиться уже не мог. Заводился все больше и больше. Почему Макоед сияет? Надеется свалить его и занять кресло главного архитектора?

«Свалить меня ты можешь. Теперь это легко. Но чтоб ты на мое место? Никогда этого не будет. Бронислав Адамович! У меня хватит силы повоевать против твоего назначения. Любой мальчишка, вчерашний студент! Но только не ты! Слишком много я вложил души в этот город, чтоб отдать его тебе на разор».

Макоед поставил чемоданчик на свободный стул, а сам ходил по приемной. Чемоданчик его подвергся обсуждению:

— Вроде акушерского...

— Да нет, акушерский не такой. Это как у взломщиков сейфов. С набором инструментов.

Максим усмехнулся. Остроумный человек директор деревообделочного, взломщик — это метко.

Макоед словно не слышал шуток или, может быть, действительно не слышал. Обдумывает выступление? Радуется победе? Волнуется? В самом деле, сквозь бетонную маску уверенности и самодовольства пробивается, как тонкий стебелек сквозь толщу асфальта, волнение. Даже тревога. Что тебя тревожит, Бронислав Адамович? Неужто совесть? Как же она живуча, если сохранилась даже у тебя!

Макоед остановился возле стола перед Максимом, ему хотелось наладить хоть какой-нибудь контакт. Чтоб не было отчуждения и враждебности. Как многие люди его склада, он боялся нажить

врагов. Любые подлости старался прикрыть интересами дела и сохранять если не дружеские, то хотя бы официальные отношения. Вражды Карнача он особенно боялся. Карнача можно уволить со всех должностей, все равно он останется известным в республике *архитектором, у него не отнимешь таланта, острого глаза, ума.* На ближайшем пленуме или съезде архитекторов Карнач может от его творчества камня на камне не оставить. Этого Бронислав Адамович всегда опасался. Пока его бог миловал. Монографий, правда, о нем не писали и в докладах ему не посвящали страниц и абзацев, обычно он попадал в «поминальник» — длинный список тех, кто что-то сделал за отчетный период. Это его устраивало. А славы ему хватало, его имя часто появлялось под разными статьями. Кстати, в статьях своих он почти никогда не задевал известных и подвергал критике только молодых. И добился удобного положения: его побаивались и старые и молодые. На кой черт с таким связываться! Умеет писать, вхож в редакции.

Макоед почти обрадовался, когда вспомнил, с чего можно начать разговор:

— Что с матерью? Грипп? Я звонил Даше...

Максима передернуло, он втянул голову в плечи, как в ожидании удара. Зазвенело в ушах.

Галина Владимировна смотрела на него испуганными глазами. Он взглядом успокоил ее: не бойтесь, я не сорвусь.

— Ты мог бы ознакомить меня со своими выводами... Или это секрет?

— Никакого секрета, — доброжелательно уверил Макоед. — Но ведь ты исчез. Завидую твоей уверенности. Работает комиссия горкома, а тебе трын-трава. На неделю исчезаешь. Вольности у вас... Если б я исчез, в институте сделали б из этого чепе.

Галина Владимировна коснулась лица руками, ей так хотелось сказать им всем: «Оставьте вы в покое человека! Разве не видите, что ему не до дел, ни до своих, ни до ваших?»

— Ты будешь выступать первым?

— После тебя.

— После меня?

— А как же. Ведь ты отчитываешься.

Максима качнуло как на палубе. Кровь отлила от головы, утих звон в ушах. Но слабость в ногах усилилась. Он со страхом подумал, сможет ли выстоять долгий отчет.

Пришли начальник областного управления Голубович и Рогачевский. У Рогачевского был еще более испуганный вид, чем когда он приезжал в Волчий Лог. Макоеду он не протянул руки, видно, во время проверки они поцапались. Максима развеселил вид Рогачевского.

— Борис Нахимович, не бойтесь. Снимать будут меня, не вас.

— Вот этого я и боюсь, — отвечал Рогачевский, бросив красноречивый взгляд в сторону Макоеда.

— Видишь, как весело люди идут «за столик», — сказал Ов-

сянников директору кондитерской фабрики. — А ты все еще потеешь. Пропахнешь потом, носы отвернут от тебя члены бюро.

— Легко тебе шутить...

— А мне все легко. Кроме плана.

Игнатович некоторое время просматривал бумаги, давая возможность тем, кто вошел, сесть и перевести дух. Потом оглядел присутствующих — все ли в сборе — и сказал вежливо, неофициально:

— Просим, Максим Евтихиевич.

Его вежливость почему-то задела Максима больнее, чем грубость. Он с трудом поднялся и пошел к столику, который стоял против длинного стола, как бы отпиленный от него, такой же конфигурации. Над «трибуной» этой подсмеивались, вместе с выражением «попасть на ковер» было в ходу «попасть за столик», но Игнатович упорно не менял интерьера.

Увидев, как смотрят на него члены бюро, люди, с которыми он столько лет вместе работал, с некоторыми даже играл в преферанс, Максим и смутился, и взбунтовался. Странно смотрят, необычно, отчужденно. Почему? Или, может быть, ему только кажется? Не все же так. Кислюк, например, смотрит с укором и жалостью. Но опять же почему? Что им сказать? Зачем им тот доклад, который он мысленно подготовил, — с перечислением объектов, с цифрами, с проблемами, решенными и нерешенными? Если он выступает в этом кабинете последний раз, то должен сказать о чем-то существенном, самом главном. А что главное? Что главное? В той застройке, которая будет вестись без него. Заречный район. Да, он должен сказать об этом. Сидят же умные люди. Может быть, зерна, которые он рассыплет в последний раз, прорастут и кто-нибудь когда-нибудь поддержит Шугачева, которому здесь работать и работать.

Без вступлений и оговорок он стал докладывать о своей и шугачевской идее застройки Заречного района.

Сперва слушали с недоуменным любопытством, потом члены бюро начали перешептываться и поглядывать на Игнатовича. Но Герасим Петрович не перебивал, он и Кислюк слушали серьезно, вдумчиво.

Явное нежелание членов бюро слушать объяснения его архитектурных замыслов взволновало и взбунтовало еще сильнее. Максим сам чувствовал, что говорит действительно слишком профессионально, академично, без того пафоса, с которым раньше отстаивал свои идеи, и даже путано, не с этого надо было начинать. Напрасно он понадеялся на себя, на свою память. Это тот, может быть, единственный случай, когда надо было все загодя продумать и написать.

Забилось сердце, кровь застучала в висках, сильней закружилась голова. На какой-то миг длинный стол и люди за ним качнулись, наклонились и скользнули вниз.

Максим умолк на полуслове.

С минуту ждали, что он продолжит.

— У вас все? — удивленно спросил второй секретарь Довжик.

Прокурор Матвейчик скептически хмыкнул:

— Небогато.

— А что еще нужно?

— Ваш доклад о работе...

— Зачем?

— Как зачем?! — сказал Игнатович тоном учителя, предупреждающего непослушного, упрямого ученика.

Голова кружилась. Максим испугался, не упасть бы. Осторожно прошел к своему стулу, сел под возмущенными взглядами большинства членов бюро. Оттуда сказал:

— У вас есть заявление моей жены. С него и начинайте. Какое отношение имеет архитектура к моим семейным делам?

Игнатович встал, его чуть сутулая фигура сразу приобрела официальную строгость.

— Товарищ Карнач! Решает горком, кого, когда и о чем слушать. До ваших отношений в семье мы дойдем, не беспокойтесь. Между прочим, не вам надо объяснять, что в жизни все взаимосвязано. Ваша бытовая распущенность не могла не отразиться на работе... — но тут же понял, что перехватил с распущенностью, что нельзя так, особенно учитывая характер Карнача, и потому смягчил, посоветовал почти доброжелательно: — Не усложняй своего положения, Максим Евтихиевич. Кто докладывает от комиссии?

Поднялись Языкевич и Макоед.

Игнатович кивнул Макоеду: «Давайте вы».

Бронислав Адамович по пути к столику достал из папки стопку бумаг, протер платком очки, пригладил и без того прилипшие к лысине редкие пряди.

Игнатовича раздражала макоедовская медлительность. Гневная вспышка против Карнача, которую он напряжением воли погасил, как бы отняла душевную энергию, и он почувствовал усталость — заседали уже четыре часа.

Тревожило, что злость на Карнача не проходит, нельзя решать судьбу человека в ожесточении, в любой ситуации он обязан быть объективным.

Герасим Петрович думал о своих отношениях с этим человеком и о том, какую позицию он должен занять. Собственно говоря, позиция может быть только одна. Нельзя не согласиться с Лизой, которая упрекнула, что, мол, все карначовские выходки от его либерализма и примиренчества. Не может он ждать, пока такой же упрек ему бросит Сосновский или еще кто-нибудь сверху.

Лиза требовала самой жестокой кары Карначу. Но Игнатович не любил, чтоб партийные дела решались за домашним обеденным столом или тем паче в постели. И чем больше жена нажимала на него, тем больше он внутренне сопротивлялся и искал другое ре-

шение, не такое, какое подсказывала разъяренная Лиза. Пускай это будет последнее проявление его либерализма. Карнач этого, конечно, не оценит, но его совесть будет чиста. У него были все основания и возможность крепко ударить бывшего друга за хамство. Но он не делает этого по доброте своей. Решил строгого выговора, как требует Лиза, не записывать. Члены бюро согласятся, что освобождение от должности — наказание немалое, для когонибудь другого самое тяжкое. Но Игнатович знает, что для такого архитектора, как Карнач, это не трагедия. А учитывая его отношения с Дашей, это будет для Максима наилучший выход. Освобожденный от работы, но с чистой учетной карточкой, он, разумеется, сразу уедет в Минск или другой город, может быть, даже за пределы республики, потому что ничто его здесь не держит, и дело будет закрыто. Навсегда. Для него, Игнатовича, будет закрыто. Он избавится от Карначовых фортелей, от проблем, которые тот без конца создает своими действиями, своим беспокойным характером.

Надежда Лизы, что строгий выговор может вернуть Даше мужа, наивна. Женская логика. Да и на черта ему брать на себя эти поповские или судейские функции — возвращать «заблудшего мужа в лоно семьи». Пускай разбираются сами. Если б Даша была умнее, то не рассчитывала бы на сестру и секретаря горкома. Да, решение его правильно...

Справившись со своими чувствами, обуздав их, Игнатович прислушался к тому, что говорил Макоед.

Вчера вечером Бронислав Адамович поссорился с Ниной. Она просмотрела тезисы его доклада и назвала его подонком. В отчаянии крикнула: «Как я живу с таким человеком!» Утром он смягчил доклад. Рассудил, что, если Карнач падает, ему нет необходимости подталкивать его, это сделают другие. Но, добравшись до заветного столика в качестве обвинителя, почуяв внимание, с каким его начали слушать, Макоед опьянел от возможности хоть раз в такой удобной и выгодной ситуации лягнуть Карнача. Он вернулся к прежним тезисам и прямо захлебывался, даже слова глотал, торопясь высказать все.

Когда до Игнатовича дошел смысл его слов, Макоед с несвойственным ему сарказмом разносил застройку южного сектора Набережной. Полностью разрушенный во время войны, район долго не восстанавливался, бывшие руководители города ждали лучших времен и лучших архитектурных решений. Видно, тут был свой резон. Но Игнатович решил поправить предшественников и свою деятельность председателя исполкома начал с застройки этого района. Когда пришел Карнач, многое было сделано, и сделано, к сожалению, не слишком хорошо. Он, Игнатович, должен был согласиться с Карначом, что надо менять принцип застройки городского «фасада», потому что оттуда, из низового Заречного района, это действительно был фасад, он создавал силуэт города. Но застройка последних лет уже по плану, разработанному Кар-

начом, в сочетании с тем, что строилось раньше, внесла эклектику, разнобой стилей. Если раньше горожане не обращали внимания, как строится — строится, и ладно! — то теперь в самых разных кругах идет дискуссия о застройке Набережной. Школьники и те спорят. Игнатовичу следовало вынести такую серьезную архитектурную проблему на широкое обсуждение. Но он этого не делал. Он был согласен с Карначом, который оставался оптимистом и доказывал, что, когда проект будет полностью осуществлен, общий вид изменится и всем станет ясно, что это в целом хорошо, хотя прежняя застройка несколько и портит. Без нее было бы лучше.

Кто-то сказал: «Врачи прячут свои ошибки в землю, архитекторы прикрывают плющом».

Игнатовичу хотелось, чтоб ошибки его хозяйственной молодости прикрыли чем-нибудь более прочным, чем плющ. Карнач делал это умело.

Игнатович знал, что некоторые члены бюро могут поддержать Макоеда, потому что высказывались раньше почти так же. Но если Карнач вдруг станет оспаривать Макоеда, то, конечно, припомнит историю застройки Набережной и назовет первых авторов. И рот ему не заткнешь. Придется проглотить горькую пилюлю.

Вот почему Игнатовичу не понравилось, что Макоед так долго топчется на этой теме. И тон не понравился — захлебывается, брызжет слюной. Стало противно.

Подумал: «Услужливый дурак опаснее врага».

Посоветовал пока доброжелательно:

— Спокойнее, товарищ Макоед.

Но и такое предупреждение сбило Броника.

Дальше, по мнению Игнатовича, Макоед говорил о мелочах — обвинял Карнача в посадке жилого дома железнодорожников на привокзальной площади. Когда-то, правда, уже досталось главному архитектору за то, что он так легко сдался железнодорожникам. Но удалось управлению железной дороги добиться такого места — их счастье. Не брал же за это Карнач взятки. Все организации стараются получить площадку в центре города. Таких обвинений можно набрать десятки: почему тот или иной объект посажен тут, а не там? Другой архитектор, наверно, решил бы иначе. Но попробуй доказать, какой вариант лучше.

А Максима как раз больше возмутил неожиданный наскок Макоеда на этот дом. Несравненно более обоснованный и серьезный разнос Набережной он слушал спокойно, даже не очень внимательно, со скептической улыбкой. Это было не ново.

А дом... Тут Макоед действовал по принципу: попробуй, мол, доказать, что это не черное, а белое, попробуй снять тень. А тень брошена не только на него, главного архитектора. Это дом Шугачева, один из лучших его проектов. Максим действительно постарался, чтоб хоть один дом архитектора, который всю жизнь проектирует жилье, был построен в центре города, на видном месте. Чтоб от его дома «танцевали» те, кто будет организовывать пло-

щадь. Может быть, кто-нибудь и будет ругать Шугачева. Но все вынуждены будут считаться с его архитектурным решением.

Макоед это понимал. И его зависть и злоба не только против Карнача, но и против его друга вылились даже здесь, на бюро.

Затем Макоед раскритиковал «привязку» музыкальной школы на шумном перекрестке центральной улицы. Когда-то Карнач сам признал это своей ошибкой. Признание дошло до Макоеда и стало теперь его козырем. Но и тут он бил мимо. Музшкола — тот случай, нередкий в практике, когда архитектор-планировщик сам признает «привязку» неудачной, а горожане, в том числе Игнатович, Кислюк, никакой ошибки не видят, наоборот, считают, что школа «села» именно на свое место и в архитектурном плане украшает этот участок главной магистрали.

Школа членам бюро показалась проблемой, на которую не стоит тратить дорогое время. Чисто профессиональный спор архитекторов. Пускай разбираются у себя. На часы взглянул Довжик, за ним Матвейчик. Но Макоед так увлекся, что до него ничто не доходило, никакие сигналы. Токовал, как тетерев.

— Позиция, которую занял главный архитектор в вопросе о строительстве химического комбината в нашем городе...

Это не школа. Это вопрос номер один, не только и не столько архитектурный... В комбинате были заинтересованы все, даже прокурор, хотя и знал, что такая стройка подбавит ему работы. Но где работа, там слава. Естественно, что, когда зашла речь о строительстве комбината и позиции главного архитектора, сразу прекратились усталые зевки. Все повернули головы к Макоеду. И удивились, что Игнатович прервал оратора в такой момент и прервал раздраженно:

— Товарищ Макоед, вы говорите уже двадцать две минуты...

Макоед, который только что был на седьмом небе, растерялся, покраснел, начал быстро перелистывать свои заметки.

— Три минуты... три минуты... Герасим Петрович...

Максим тоже удивился. Макоедовскую «песню» о школе он почти не слушал. У него опять закружилась голова, и он думал, что ему следовало бы встать и уйти, пока не поздно. Разумеется, это будет принято как демонстрация и возмутит членов бюро. Но теперь уже все равно, что о нем подумают. Наконец, он может признаться Галине Владимировне (только ей он может это сказать), что ему плохо, и она, конечно, тут же передаст это Игнатовичу.

Но намерение оратора рассказать о его позиции в деле «привязки» комбината остановило и даже как-то странно взбодрило. Он едва удержался, чтоб не крикнуть: «Давай, Броник! Высыпай весь мешок!»

Неожиданная раздражительность Игнатовича была загадкой и для Максима. У него даже радостно екнуло сердце: поддержана его идея! Но почему же в таком случае Игнатович злится? Только бы дали комбинат городу! А если бы не дали, Игнатович не на Макоеда злился бы.

Загадка простая, потому и разгадать ее трудно.

Если отбросить семейную историю, комбинат был, по сути, единственным серьезным деловым основанием конфликта. Игнатович холодел от мысли, что упрямство Карнача, его протест против строительства комбината в Белом Береге могут привести к тому, что такой выгодный во всех отношениях объект передадут другому городу, химики грозились это сделать.

Вместе с тем Игнатович, хоть и не архитектор, понимал заботу Карнача о будущем города и в душе уважал его принципиальность. Ни перед чем человек не остановился: ни перед угрозой увольнения, выговора, ни перед разрывом дружбы. Более того, Игнатович тайком завидовал такой смелости и принципиальности. Сам он чаще останавливается и отступает, оправдывая это тем, что на его месте иначе нельзя.

На совещании в обкоме он одобрил выступление Макоеда. Когда решалось, быть или не быть комбинату, уместна была и определенная дипломатия. Но когда решается судьба человека, твоего товарища, и ты хочешь вылить на его голову даже то, что при других обстоятельствах было бы его заслугой, тогда прости, товарищ Макоед. Если ты в самом деле не понимаешь тревоги и озабоченности Карнача, то ты как архитектор ничтожество. Если же ты делаешь это, выбрав подходящий момент, чтоб угодить начальству, выдвинуться самому и утопить коллегу, то ты подлец и вступать с тобой в союз ему, Игнатовичу, не пристало. Во всяком случае, совершенно нежелательно, чтобы Карнач или еще кто-нибудь подумал, что выступаешь ты по нашей режиссуре.

Растерянный оратор, который вначале говорил увлеченно, с подъемом, не знал, чем кончить, и упавшим, вдруг охрипшим голосом промямлил что-то невнятное и чересчур общее о тех задачах, которые поставлены перед архитектурой в «историческое время, когда народ создает материально-техническую базу коммунизма». Макоеду хотелось, чтоб заключительный аккорд прозвучал на высокой ноте. Он потерял ощущение трибуны и аудитории, где пафос к месту, а где некстати.

В кабинет вошла Галина Владимировна. Положила перед Игнатовичем лист бумаги. Повернувшись, чтоб выйти, взглянула на Максима и смутилась, виновато опустила глаза. Максим понял, не выдержала-таки, сообщила о смерти матери. И у него вырвалось нечто среднее между вздохом и стоном: «Ах, зачем ты это сделала?! Меньше всего мне сейчас нужна жалость». Этот его вздох испугал Галину Владимировну; обычно неторопливая, она почти выбежала из кабинета.

Максим не ошибся. Игнатович прочитал написанное мелким женским почерком: «Герасим Петрович, Карнач только что вернулся с похорон матери».

Сделала она это не только потому, что хотела помочь Максиму, но, рассудив, сочла это своей служебной обязанностью. Герасим Петрович, наверно, будет недоволен, если выяснится, что она зна-

ла, но промолчала. Однажды уже было так. Слушали на бюро театр, резко критиковали главного режиссера, у которого жена была в больнице в тяжелом состоянии. Герасим Петрович потом очень сердился и на отдел пропаганды — обязаны были знать! — и на директора театра, секретаря партбюро — почему не сказали?

Если б Галина Владимировна знала, какие чувства вызовет у Игнатовича ее сообщение, она, несомненно, смолчала бы.

А чувства были весьма сложные. Сперва растерянность. Что в таком случае делать? Остановить обсуждение? Выразить соболезнование? Возможно, Карнач ждет этого. Посмотрел на него. Взгляды их встретились. Но в глазах у Карнача не было просьбы об участии. Только усталость и грусть. Можно было подумать, что разговор идет не о нем и он с нетерпением ждет, когда все кончится. Игнатович вдруг разозлился. Вот так получается: жене не сказал о смерти матери, потому что если б Даша знала, то знала бы и Лиза, знал бы и он; а этой женщине сказал. Что она ему? Как далеко зашли их отношения? Взбудоражила и возмутила мысль, что он, человек, который знает, кажется, все, что делается в городе, во всяком случае, обязан знать, оказывается, не знает, что происходит в его приемной.

Злость обратилась на Галину Владимировну. Скажи, пожалуйста, как сговорились растрогать его смертью матери! В какой момент! Пожалейте, мол, пятидесятилетнего сироту! Постыдились бы! Но тут же устыдился сам, опять подумал, что злость — плохой советчик, что его пост обязывает сохранять самую высокую объективность при любых обстоятельствах. Выдержка — ценное качество.

И Герасим Петрович затоптал злость, как окурок, от которого может возникнуть пожар. Но от этого не стало легче. Вдруг и он, как Карнач, почувствовал усталость и желание поскорей покончить с этим неприятным вопросом. А еще появилось странное ощущение: он как бы что-то потерял или в чем-то потерпел поражение от неведомого противника. В самом деле странно. Что он мог потерять? Кто и в чем одержал над ним верх?

Языкевич говорил мягко и уважительно. В архитектуру не лез, пускай разбираются специалисты. Главными недостатками считал запущенность делопроизводства, несвоевременное рассмотрение жалоб и заявлений трудящихся. За это здесь, на бюро, досталось уже не одному руководителю. Языкевич подчеркнул то, чему Герасим Петрович уделял особое внимание и за что карал безжалостно.

Не согласиться с Языкевичем Максим не мог. Бумаги действительно залеживаются, и порядка в них мало. Увлеченный творчеством, он не любил бюрократической работы, надеялся на Рогачевского. Но у заместителя тоже не тот характер, чтобы копаться в бумагах. Было обидно, что работники управления, вообще хорошие люди, не лодыри, подвели в такой мелочи. Кстати, не в первый раз. Максим сразу понял, почему Языкевич выдвигает на первый план заявления и жалобы. Год назад их проверяла комиссия

народного контроля и записала это же; Языкевич сразу увидел, за что можно зацепиться.

В общем масштабе своей работы Максим мог считать «бумажные дела» второстепенными и перепоручать их заместителям и помощникам. Однако он отлично понимал, что здесь, на бюро, жалобам и заявлениям могут придать больше значения, чем всем архитектурным просчетам. «Привязка» дома или музыкальной школы, даже застройка Набережной, а тем более посадка «химика» — вещи сложные и спорные. Не каждый член бюро отважится забраться в такие архитектурные дебри. А заявления и жалобы трудящихся — это так понятно и так актуально после известного постановления ЦК.

Вопросов по архитектурным делам не было. Но Матвейчику не терпелось, и он, опережая события, спросил:

— Скажите, Карнач, откровенно, кто та женщина, из-за которой вы собираетесь бросить жену?

Игнатович съежился и в душе выругал прокурора. Со страхом смотрел, как после минутного раздумья поднялся Максим. Что будет, если он назовет Галину Владимировну?

— Неужели вы не знаете? — как будто удивленно и наивно спросил Максим.

— К сожалению, не знаю.

— Плохо работают ваши детективы.

Кто-то засмеялся. Остальные опустили головы, пряча улыбки.

Игнатович мысленно похвалил Карнача: «Молодчина».

Гневно покраснев, Матвейчик сурово сказал:

— Я бы на вашем месте, Карнач, не шутил. Не забывайте, где вы находитесь.

— Я не забываю.

Игнатович боялся, что еще один-два таких неуместных вопроса, и порядок обсуждения, детально продуманный им, будет сорван. Правда, Карнач сам требовал, чтоб начинали с заявления его жены. Но как сделать те выводы, которые необходимо сделать, на основе одного этого заявления? Нет, широкое обсуждение необходимо.

— Кто желает выступить?

— У меня вопрос, — сказал Довжик. — Скажите, Карнач, почему вы не выполнили постановления обкома и облисполкома о нарушениях в садово-огородных кооперативах?

— Что вы имеете в виду?

Максим больше не вставал, у него опять кружилась голова, стало жарко, даже трудно было дышать.

— Я имею в виду вашу дачу.

— Могу ее сжечь. Разрешаете?

Матвейчик прямо подскочил.

— Как он себя держит! Герасим Петрович, я не могу не выразить своего возмущения! Главный архитектор просто распоясался...

— Я уже не главный...

XXIV

В предвесенние дни на город навалилась эпидемия гриппа. У Шугачевых захворало сразу трое: сам хозяин, Толя и Катька.

Поля, которая уже много лет не знала, что такое отдых, хотя никогда не жаловалась, теперь со страхом думала, что долго не выдержит — день и ночь на ногах, и очень боялась, как бы болезнь не свалила ее тоже.

Шугачев, обычно добрый и мягкий, становился нервным, злым, придирчивым, когда заболевал. Иногда даже обижал Полю, а потом сам страдал, каялся. Жадный к работе, он не мог примириться с тем, что какой-то нелепый грипп на много дней отрывает от мастерской, от проекта. Считал, что и без того у него крадут рабочие дни. Плохая организация, заседания, семья. А работы много. И такое ощущение, что еще только начинаешь ее. То, что делал до сих пор, было лишь учебой, подготовкой, вступлением. Все лучшее, что ты способен сделать, впереди. Жалко было каждого дня, потерянного для работы, раньше никогда так не было жалко. Это молодые могут пускать на ветер не только дни — месяцы и годы. В институте молодежь с нетерпением ждет конца рабочего дня. А ему восемь часов кажутся коротки, если б не строгое Полино требование, он оставался бы в мастерской до поздней ночи.

Захворав, он всегда ругал медицину и докторов. Как никто ни в одной области науки и практики, медики расписывают свои достижения, а банальный грипп не могут одолеть.

На этот раз Виктор был особенно раздражителен. Но, видимо, не столько из-за болезни, сколько по другой причине. Поля сразу поняла, когда Виктор вернулся домой с температурой, что, кроме болезни, есть еще что-то, что его так растревожило. Прямо почернел. И все его выводило из себя — любой вопрос, любой совет, любое лекарство, которое она ему предлагала.

Раньше, когда он ругал докторов, это было снисходительным, несколько ироническим, безобидным ворчанием. Так он иногда ворчал на детей. Теперь в его тоне чувствовалась злость. Даже капризы больной Катьки, любимицы, его раздражали. На Полин вопрос, что случилось, ответил сердито:

— Ты не видишь, что случилось? Грипп! Чтоб он провалился вместе с врачами, на которых ты молишься.

Но когда она поставила ему горчичники и села рядом, Виктор, лежа на животе, покряхтев и побрюзжав, что, мол, только средства, изобретенные тысячу лет назад, и выручают эскулапов с диссертациями, вдруг начал громко ругаться:

— Идиот! Допрыгался, дурень! Сколько раз я предупреждал его! Доиграешься! Цацкаться с тобой не будут...

Поля встревожилась: уж не Игорь ли что-нибудь натворил?

— О ком ты?

— О ком! Любимчике вашем!

Виктор приподнял голову, стукнул кулаками подушку,

чтоб взбить ее повыше. Увидев, что Поля не понимает, крикнул:

— О цыгане! — уткнулся носом в подушку и засопел. — Авантюрист несчастный!

— Витя!

— Что Витя? Что Витя? У Вити душа болит за город. А цыгану твоему на все наплевать! Демагог! Клялся в любви к городу! Что ему до него? Приехал, думал, что ему дадут совершить переворот в архитектуре. А ему дали коленкой под зад. Не лезь куда не надо! Нашелся гений! Таких гениев...

— Ты несправедлив, Витя.

— А как же! Я всегда несправедлив, потому что я ишак. Я работаю.

— А Максим не работал?

Виктор подскочил на постели, сбросил с себя одеяло.

— А кому теперь польза от его работы? Сядет какой-нибудь Макоед на его место, и все Карначовы идеи, все его начинания разлетятся, как пух по ветру. Об этом он думал? Ни черта он не думал! Если б думал, не лез бы на рожон. Не заедался бы...

— Есть же у него принципы.

— А если есть принципы, так умей их защищать с умом.

— Каждый защищает свои принципы по-своему. И притом я думаю, что сняли его не за работу. За Дашу.

— Много ты понимаешь! Его прожекты у Игнатовича уже поперек горла стоят.

Однако задумался. Помолчал. Посопел.

— Вот когда они начали жечь, твои горчичники. А Даша... Неужели можно так перегрызться с собственной женой, чтоб другого выхода не было? Мы с тобой могли бы так поссориться?

Поля тайком улыбнулась.

— Мы не могли бы. А другие могут. Сам ты доказывал когда-то — психологическая несовместимость...

Виктор хмыкнул.

— Двадцать лет совмещались, а теперь не совмещаются? Человек сорвался с тормозов, вот что. Знаешь, есть такие моральные тормоза. Иной раз человек срывается с них. А жизнь — крутая гора... Можешь представить, как и куда полетишь без тормозов. Цыган твой считал, что ему все можно. А дурак. Такое было положение! Свояк и друг...

— Витя! — удивилась и возмутилась Поля. — Что ты говоришь? Хорошо, что дети не слышат. Неужто ради того, чтоб не лишиться такого свояка, надо все терпеть? Зная Дашу, я не осуждаю Максима.

Виктору стало неловко, потому что говорил он это не по убеждению, от раздражительности, злости и на болезнь, и на Максима. Он вовсе не хотел, чтоб друг шел на унижение, чтоб он ломал свой характер. Но уже со времени партийной конференции считал, что Максим ведет себя глупо, непрактично, по-мальчишески. Черт с то-

бой, разводись, женись, но делай это так, чтоб твои выкрутасы не отражались на работе!

Шугачев был в том возрасте и в том состоянии одержимости, когда считают, что все мелочь, кроме дела, которому ты служишь. Да еще разве детей, из них надо вырастить достойную смену.

Вере, когда та вернулась и пришла в спальню проведать больного отца, он сообщил с некоторым злорадством (это неприятно поразило Полю), что «Карначу дали по шее».

Вера расстроилась чуть не до слез, упрекнула отца:

— Ты, папа, говоришь об этом так, будто радуешься. Тебе же будет хуже.

Разозлился:

— Почему это мне будет хуже? Я до Карнача проектировал жилые дома. И при нем не перешел на монументы. Я рабочая лошадь с громкой кличкой — архитектор. Тащил и буду тащить свой воз. Насколько хватит сил и умения.

Нехорошо, что больной человек разволновался, но Полю это волнение успокоило: значит, злорадство деланное, а в самом деле он крепко расстроен.

Сыну эту новость Виктор сообщил в тот же вечер совсем иначе, с болью и горечью:

— Бюро горкома сняло Карнача.

— Ну и что?

— Как что?

— Никому от этого ни холодно ни жарко. Подумаешь, должность! Что он решал?

Виктор раскричался так, что испуганная Поля прибежала из кухни.

— Много ты понимаешь, молокосос! Лепите с Макоедом бездарные сундуки...

— Сундуки мы одинаковые лепим. Твои не лучше.

Поля поспешила выставить сына из спальни.

— Как не стыдно! Отец болен, расстроен, а тебе непременно надо наперекор... Чтоб не смел больше попрекать его проектами! Слышишь? Распустился. Поработай ты столько...

— Мама, ты глушишь творческую дискуссию.

— Не нужна мне такая дискуссия. Мне нужен мир в доме.

На другой день, когда упала температура, а с ней и возбуждение, наступила гриппозная слабость. Виктор больше не ругал Максима, а как бы жаловался на него каждый раз, когда Поля входила в спальню. Внимание его отвлекала только Катька: ее не отпускал жар, она попросилась к отцу, и Виктор читал ей сказки вслух.

Раскипятился только раз, когда Поля сказала, что Максим, верно, меньше расстроен из-за своего увольнения, чем он.

— Что ему расстраиваться! Вольный казак. Ни жены, ни детей. Собрал чемодан и поехал искать счастья в Минск, Москву, Киев. Куда хочешь. Страна большая. И архитектора такого везде

примут с дорогой душой. Я так не сорвусь. Я связан не только работой... Как ты не понимаешь... У меня был друг, советчик. Я надеялся, что с его пробивной силой мы добьемся чего-нибудь в Заречном районе. А что я сделаю без него? Ты знаешь, какой я пробивала.

— Может быть, он никуда не уедет... — попыталась утешить мужа Поля. Виктор саркастически хмыкнул — какая наивность!

— А что, пойдет в мастерскую к Макоеду?

На третий день Виктор примолк. Его угрюмая задумчивость не понравилась Поле, это признак не только физической слабости, но и душевной депрессии, чего Поля всегда боялась больше гриппа, ангины, воспаления легких. Когда она кормила свой «лазарет» обедом, Виктор сказал:

— Слушай, почему он не заходит?

— Максим?

— Максим. Может, тоже захворал? Валяется в Волчьем Логе один...

Полю растрогала, задела за сердце и... обрадовала забота мужа о друге. Но сама она через несколько минут, моя посуду, уже почти с такой же тревогой, как о детях и о Викторе, думала о Максиме.

Не утерпела, пошла будто бы в магазин, из автомата позвонила Даше, спросила, где Максим.

В ответ услышала холодный, враждебный голос:

— Это я должна у вас спросить, где он собакам сено косит. Вы его опекаете, вы его наставляете. Добренькие... Да на что хорошее наставили? Семью разбили...

Ошеломленная Поля повесила трубку. Выходит, Даша обвиняет в своей беде их, Шугачевых. Это так обидело и взволновало, что Поля даже не решилась сразу рассказать Виктору. Только сказала:

— Его действительно нет в городе. Я звонила Даше.

А еще через полчаса не выдержала:

— Я поеду, Витя. Мне все равно надо взять малиновое варенье, поить вас. Я там в погребе оставила баночку.

Он потом не мог разобрать, где был сон, а где бред. Помнил только, что реальные события, голоса живых людей перемежались невероятными, фантастическими картинами, разговорами с теми, кого уже нет. Хоронил мать с той же доподлинностью, как это и было, и тут же мать приходила живая. И он, помня, что она умерла, не удивлялся, ему было хорошо с ней, но иногда становилось тревожно и страшно — не за себя, за нее. Вдруг начинало казаться, что из-за него мать куда-то опаздывает. Но тут же думал: куда она может опоздать, если она умерла? Да и при жизни она никогда никуда не спешила и никогда никуда не опаздывала. Он об этом, между прочим, тоже думал в своем сне-бреду. Иногда собы-

тия развивались с той логической последовательностью, с какой происходили. Даже с большей. На бюро горкома ему надо было выступить с обширной речью. Эта мысль жила где-то в подсознании. И он выступал. Говорил долго и очень убедительно, с необычайным красноречием. Защищал город. Свой город. Тот, о котором они мечтали вместе с Шугачевым. И показывал проект, которого не существовало. И сам восхищался сказочной неповторимостью города, который будто бы уже строится. Удивился, что Игнатович не понимает этой красоты и неповторимости. Игнатович всегда так хорошо его понимал. Что случилось? Ах, Даша. Все запутала Даша. И сразу после такого реального воспроизведения событий — кошмар. Он бросается в реку, чтобы спасти девушку. Хватает ее и — о ужас! — видит, что держит Вету. Нет, не Вету, только половину ее тела, без головы.

А потом появлялась Даша. Она появлялась много раз. То они мирно купали маленького ребенка, Максим только не знал, девочка это или мальчик. В другой раз вели не менее логический, чем его выступление на бюро, диалог об их отношениях. Он даже удивился, что Даша может говорить так спокойно, рассудительно, разумно. А потом она вдруг со страшной злобой, отвратительно исказившей ее лицо, замахнулась на него, но ударила по большому зеркалу, оно разлетелось вдребезги. Зеркало было не одно, их было много — анфилада зеркальных дверей, конца и края нет. И он не видел живой Даши, он видел ее отражение, и в каждом зеркале она была другая — добрая и злая, красивая и уродливая, плачущая и смеющаяся. Потом зеркала начали разлетаться со звоном, с зелеными брызгами стекла. С портального крана сорвалась железобетонная балка. Он подумал, что где-то там Даша, ведь, если он видел ее отражения, значит, и сама она где-то там. И он бросился ее спасать, пробирался сквозь невероятное нагромождение покореженного металла, обломков бетона и стекла. Тогда он, будто проснувшись, подумал, что разбились не зеркала, которые он видел во сне, а разрушен его город, тот, реальный, неповторимый, который спроектировали они с Витей Шугачевым. Стало больно и жутко, потому что он вдруг догадался, кто разрушил его город. И ему захотелось поговорить с этим человеком — президентом далекой страны. Он рвался в его кабинет, а его не пускала Галина Владимировна. Не пускала странно и смешно — пыталась обнять. Ему тоже захотелось обнять ее. Но он отлично понимал, что если обнимет эту женщину, то уже не выполнит своей высокой миссии, от которой зависит судьба других городов. Он все-таки прорвался к президенту и был возмущен, увидев в президентском кресле Макоеда. Грубо, по-матросски плюнул на устланный пластиком пол. Макоед хлопнул в ладоши, как шах, и выскочила стража — какие-то фантастические существа, словно пришельцы из других миров, в блестящих касках пожарников. Они больно скрутили ему руки, бросили на пол и потащили по очень скользким и очень холодным мраморным плитам. Через минуту «марсиане» исчезли, и

он сам скользил, вставал и падал на реальных плитах — в центральной аллее Купаловского сквера в Минске. Автор этих необыкновенных «дорожек» стоял сбоку, показывая на него пальцем, и хохотал над тем, как Карнач отбивает себе зад. Потом снова пришла мать, вся в белом, точно подвенечном. Пощупала его лоб и грустно сказала: «Ты захворал, сынок. Идем со мной». Он хотел подняться и пойти за ней, но не смог.

Только под утро, когда, должно быть, упала температура, он уснул глубоким сном.

Проснулся от солнечных лучей. Новый день начинался весенним солнцем и глубокой синевой неба, глядевшего в незашторенное окно. Но солнце не обрадовало — с ним вместе вернулся мороз, и легкое строение остыло, хотя и был включен всю ночь масляный электрорадиатор.

Кот сидел на кресле у постели и смотрел на хозяина недоуменно и несколько испуганно; может быть, он во сне кричал и этим напугал кота.

— Что, Барон?.. Будем собираться в дальний путь?..

Кот жалостно мяукнул, как будто понял смысл слов и высказал свое огорчение.

Максим имел в виду, что засиживаться ему тут нечего, надо куда-нибудь уезжать, устраиваться на работу. Но вспомнился сон, как звала его мать, и слова приобрели другой смысл, смысл последнего пути, о котором думает каждый старик или тот, кто в силу каких-то обстоятельств подвел определенную черту подо всем, что им сделано за его долгую или недолгую жизнь. У него таких обстоятельств было не одно, несколько за очень короткое время, и каждое действительно заставляло подводить итог: любви, семейной жизни, творчеству, трудовой и общественной деятельности. Что же осталось?

Не будучи мистиком, он сперва подумал об этом пути с юмором, хотя и невеселым. Но тут же почувствовал, как сердце пронзила боль — боль обиды, отчаяния. И страх. Страх от этого жуткого вопроса — что же осталось?

После потери жены, матери, дочки (снова подумал, что дочку он тоже потерял), друга оставалось у него одно — работа и город, который он полюбил и которому отдавал свой талант. Теперь отняли и это. За что?

Душевная боль перешла в физическую — нехорошо сжало сердце.

— Нет, не хочу уезжать! Хочу жить и работать, как раньше. Очевидно, наступил тот возраст, когда менять жизнь — задача нелегкая. Нелегко вообще начинать с начала, с нуля. Однако придется. Но почему надо все начинать сначала, буквально все? Можно полюбить другую женщину; очевидно, несложно завести новых друзей... Но, чувствовал, самое трудное для него теперь — полюбить другой город. Потому что его любовь не потребительская: была бы квартира да хороший гастроном недалеко. Его любовь — лю-

бовь творца, зодчего, строителя. Даже плохо оформленная витрина его раздражает. А плохо спроектированный и построенный дом надолго портит настроение, бездарно спланированный район причиняет боль — больно за авторов, за архитектуру, за городские власти, которые недоглядели от непонимания или равнодушия. Возможно, он этот город любил еще и за то, что здесь руководители не были равнодушны к архитектуре. Иногда не до конца понимали, как в истории с комбинатом. Но тут случай исключительный. Не каждому дано увидеть завтрашнюю архитектуру, завтрашний день.

А почему ты считаешь, что ты видишь его? Теоретики всего мира не одно десятилетие спорят о том, каким он будет, город будущего. А для тебя все так просто? Нет, я тоже не знаю, какими будут города через сто-двести лет. Скорее всего, самые разные. Но я вижу, куда растет мой город, каким он станет через двадцать лет. Твой город? Со вчерашнего дня у тебя нет города. Ничего у тебя нет. А моя голова, руки? Мой талант? Мой опыт?

Мучительные мысли. Наверно, они были бы менее мучительны, если б он не был прикован к постели, ходил бы, ездил, встречался с людьми, и мозг не был разгорячен болезнью.

С большим трудом вылез из-под теплого одеяла, оделся, сходил за дровами. Надо протопить печь и хотя бы выпить чаю.

Принес охапку дров — задохнулся, закашлялся. Долго сидел на табурете, отдыхал, по-старчески сгорбившись, упершись руками в колени онемевших ног. Растопил печку, сделанную в виде камина, весьма декоративного, — использовал старые, восемнадцатого века, изразцовые плитки от печей снесенного дома, строители эти плитки выбросили в мусор. С горечью подумал, что если б Довжик побывал здесь и видел эту экзотику, то вчера, наверно, обвинил бы его в использовании служебного положения. А так фактов не имел. Странно, что Игнатович ему не подсказал и вообще держался непонятно.

Попробовал представить, как бы он вел себя, если б они с Игнатовичем поменялись местами. В чем обвинил бы главного архитектора? Да уж совсем не в том, в чем обвиняли его! Даже Макоед не увидел, дурак, подлинных промашек в работе управления, тех, которые целиком зависели от него, от Рогачевского, от других работников. Одну из них откопал Языкевич.

Мысли потекли по новому руслу, более широкому, а потому уже так не бурлили. Успокоил огонь, на который он смотрел, и приятная теплота от него. Даже Барон повеселел, ласково терся о ноги, по-домашнему уютно мурлыкал, ожидая угощения.

Когда напился чаю и еще больше согрелся, захотелось спать. Проспал до обеда. Проснулся обрадованный, что спал спокойно. Но к вечеру опять подскочила температура, и опять была тяжелая ночь, правда, без бреда, но с короткими отрезками сна и долгими горькими мыслями.

Он сперва не удивился, когда пришла Поля. Это так естествен-

но, что пришла Поля. Кто же еще мог прийти сюда, в Волчий Лог, в такое время? Но когда Поля, увидев его в постели, воскликнула: «Существует-таки, видно, предчувствие! Виктор сегодня говорит: боюсь, не захворал ли он там. О вас, Максим. Виктор сам лежит с гриппом. И Катька. И Толя. Лазарет в доме», — только тогда Максим понял, что Поля приехала специально проведать его, бросив своих больных, и в горле словно застряла горячая картофелина, никак не мог проглотить ее и ответить Поле, поблагодарить. Да и потом, когда проглотил комок, слов таких не нашел. Устроил трагедию из того, что он все потерял, в том числе и друга (в лице Игнатовича), а ни разу не подумал о том, что у него осталось такое сокровище, как верная дружба Шугачевых. Но и об этом не скажешь Поле — стыдно! Может быть, он когда-нибудь расскажет обо всем, что передумал за эти два дня болезни и одиночества, Виктору. А теперь просто стало хорошо, что приехала Поля.

Поля и минуты не посидела. Только взглянула на таблетки, которые он принимает, и взялась за работу.

Осмотрев его запасы, Поля удивилась:

— Вы болеете на одном хлебе?

— До сегодняшнего дня было масло, есть сахар.

Она тихо вздохнула, но он все равно услышал.

— Ты меня не жалей, а то я расплачусь.

— Я не жалею. Так вам и надо.

— Вот это правильно.

— Но те, кто так часто приезжал сюда летом...

— Я ведь больше не главный архитектор.

Она заглянула в дверь спаленки, раскрасневшаяся от плиты, с тряпкой в руке — вытирала пыль. Спросила, ему показалось, со страхом:

— Вы так обо всех них думаете?

Да, эту женщину могла испугать мысль, что он во всех и во всем разочаровался.

Успокоил ее:

— Нет. Я так не думаю. Многие не знают, где я зализываю раны. Другим не приходит в голову, что я мог захворать. А приезжать с соболезнованиями...

Позже он спросил весело:

— Виктор меня ругает?

Она ответила коротко:

— Ругает. Честит, как только может. Уши прожужжал за три дня.

Максим представил, как Шугачев это делает, за что и какими словами его честит, и от Викторовой брани ему тоже стало хорошо и весело. Жаль, что Виктор заболел и выпускает пары заочно. Был бы здоров, конечно, еще вчера отвел бы душу здесь, где не надо остерегаться, что услышат дети или еще кто-нибудь. Тут он крыл бы его так!..

Когда он сидел на кровати, закутанный в одеяло, и ел необыкновенно вкусный бульон, Поля присела в углу на лавку и пристально посмотрела на него, так пристально, что он смутился, подумал, что, небритый, он, наверно, ужасно выглядит.

— Что ты так смотришь на меня?

— Не нравится мне ваш вид, Максим. За три дня гриппа так измениться...

— Хватило и до гриппа...

— Вы больно переживаете это... свое увольнение?

— Откровенно? Очень. А тут еще все сразу. Даша... Смерть матери...

— У вас умерла мать?! Максим! — Больше Поля ничего не сказала, ни о чем не спросила, но в том, как произнесла его имя, он услышал упрек и обиду — обиду на то, что они, Шугачевы, узнают о его горе так поздно.

Когда Поля собралась уходить, уже одетая пришла попрощаться, Максим признался, считая, что это лучшая благодарность:

— Мне было тяжело, Поля. Я хочу, чтоб ты знала... И Виктору передай, насколько мне стало легче. Я просто ожил.

Она поправила на нем одеяло.

— Не храбритесь. И не раскрывайтесь. И не вздумайте выходить на двор. Пейте настой, который я сварила.

Поля понимала, как нелегко будет направить врача в Волчий Лог. Вообще нелегко. А тут еще такая дорога, по которой обычная «скорая помощь» не пройдет. Нужна специальная машина. В каком медицинском учреждении есть такая? Разве что в областной больнице. Но как договориться? Кто ее послушает? Был бы хоть на ногах Виктор. Позвонить Даше? Нет, Даше она звонить больше не будет! Даша в своей слепой злобе может ответить невесть что. Как же направить сюда врача? И вдруг вспомнила женщину, с которой сидела в театре.

XXV

Поля позвонила без четверти девять, когда Галина Владимировна только вошла в приемную, сняла пальто и переобувалась — сменяла тесные сапоги на туфли.

Она слушала Шугачеву затаив дыхание, так что Поля несколько раз повторяла «алло!» и спрашивала: «Вы слушаете?»

Она слушала далекий глухой голос и удары собственного сердца, которые с каждой минутой все учащались, радуя и пугая.

Она горячо уверила Шугачеву:

— Да, да, я все сделаю, я все сделаю. Не беспокойтесь, пожалуйста.

А положив трубку, долго стояла неподвижно, забыв, что на одной ноге сапог, на другой туфля.

Но что она сделает? Как? Через кого?

Никогда она не использовала авторитет учреждения, в котором работала. Никогда не позволяла себе и не может позволить позвонить кому-нибудь от имени секретаря. Значит, надо просить Игнатовича. Вздрогнула. Испуганно оглянулась, сделала шаг и почувствовала, что на ногах разная обувь.

В коридоре послышались голоса сотрудников. Она засуетилась, словно ее захватили за чем-то предосудительным.

Но, причесываясь перед зеркальцем, укрепленным на внутренней стороне дверцы шкафа, она как будто вдруг увидела не отражение своего растерянного лица, а его, больного, одинокого, и почувствовала, как не чувствовала еще никогда, насколько дорог ей этот человек. Для него она готова на все. Какое теперь имеет значение, что подумает Игнатович? Пусть что хочет думает... Она даже не скажет, что это просьба Шугачевых! Это ее просьба!

И сразу успокоилась, теперь уже веря, что она действительно, как пообещала Шугачевой, сделает все, даже если Игнатович... Нет, нет. Не может быть! Ей не хотелось дурно думать о Герасиме Петровиче. Ее вера в людей, в их доброту и чуткость здесь, на работе, все укреплялась.

Она разбирала почту, когда вошел Игнатович. Как всегда, поздоровался за руку. Ее порадовало, что Герасим Петрович нынче веселее, чем в последние три дня.

— Что у нас сегодня, Галина Владимировна?

— В десять исполком.

— Помню. Ох эти заседания! Все заседаем. А работать когда? Когда работать будем? Почта большая?

— Нет. Лично вам несколько бумаг.

Она зарегистрировала эти бумаги, положила в папку «Для доклада», вошла в кабинет.

Герасим Петрович уже работал — читал записку и проект постановления исполкома по коммунальному хозяйству. Факты возмутительные. Он почти с удовольствием подумал, что Аноха придется снимать с бóльшим треском, чем Карнача. Этим он как бы оправдывался перед Карначом, который спокойно говорить не мог о коммунальном хозяйстве города, Аноха считал жуликом, кажется, не без оснований.

Галина Владимировна положила папку и осталась стоять у стола. Ждала. Он сперва бросил на нее быстрый взгляд и сказал «спасибо», вспомнив, что забыл поблагодарить сразу. Подумал, что она ждет этого привычного «спасибо», которое одновременно означало: вы свободны. Но она не уходила. Ему показалось, что она дышит громче обычного. Волнуется, что ли?

Герасим Петрович оттолкнулся локтями от стола, приник спиной к спинке кресла и с любопытством посмотрел на свою аккуратную и сдержанную секретаршу. Увидел, как она спазматически проглотила что-то. Она проглотила его имя, потому что он

услышал только «...Петрович». Но дальше она заговорила ровно, отчетливо:

— Заболел Максим Евтихиевич. Лежит на даче. Один. Нужен врач. Но туда не каждая машина пройдет... от шоссе... Вы же знаете... Только вы можете помочь. Позвоните, пожалуйста.

Он с натугой оторвался от спинки кресла и снова склонился над столом, над проектом постановления. Галина Владимировна увидела, как покраснел пятак его проплешины.

Да, он разозлился. Что они лезут к нему со всякой мелочью? Нянька он, что ли, диспетчер «Скорой помощи»? Есть поликлиники в городе, амбулатории на селе. И у каждого есть право на лечение. Вызывайте любого врача. Больному не откажут.

Но тут же опомнился. Так ответить было бы бездушным бюрократизмом, а он никогда не был бюрократом, особенно если дело шло о судьбе или здоровье людей. Он может наказать, но может и помочь. В такой ситуации обязательно должен помочь! Снова откинулся на спинку кресла, взглянул на Галину Владимировну с усмешкой, сказал без иронии, без осуждения, почти шутливо:

— Далеко вы с Карначом зашли... В Волчий Лог.

— Эх, Герасим Петрович! — Она так блеснула глазами и так произнесла эти слова, что показалось, дала пощечину, и он сразу съежился, смутился, как не смущался уже давно, во всяком случае, перед подчиненными. Выкинул вперед длинную руку, сорвал листок настольного календаря, написал на нем: «Карнач — Коляда». Писать он стал, чтобы спрятать лицо. Потом схватил маленькую телефонную книжку и, отыскивая номер, торопливо, будто очень спеша, заверил:

— Да-да. Я позвоню, позвоню. Врач будет. Не волнуйтесь.

И повернулся к столику с телефонами.

Она попросила тихо, вежливо, но (он потом вспомнил) совсем не так застенчиво, как просила о чем-нибудь раньше, например, отпрашиваясь с работы, когда болели дети:

— Я хочу туда поехать сама. Разрешите?

— Да. Конечно... Пожалуйста, — так же торопливо согласился он, только бы она скорей ушла, отстала. Не мог он говорить с этой женщиной так, как говорил с другими работниками аппарата. Любая другая сотрудница должна была бы дать подробное объяснение.

Когда она поблагодарила и вышла, рука его застыла на телефонном аппарате. И весь он застыл, словно прислушиваясь к чему-то. К себе. Опять появилось чувство, которое пережил на бюро, как будто он потерпел поражение. В чем? В борьбе с кем? Из-за чего? Глупости. Нервы. Но чем больше он думал о Галине Владимировне и Максиме, тем сильнее овладевало им это чувство.

Максим почти испугался, когда вместе с врачом вошла Галина Владимировна.

«А она тут зачем?» Меньше всего ему хотелось, чтоб в таком состоянии его увидела она. Даже во сне она ни разу не приснилась. И не подумал о ней ни разу, не пожелал, чтобы она пришла.

Врач с мужской галантностью, а может быть, и с умыслом пропустил ее вперед. Она первая переступила порог и первая должна была поздороваться.

— Здравствуйте, Максим Евтихиевич. Как вы тут?

— Ничего. Спасибо.

И оба смутились, как подростки.

Врач был мужчина лет тридцати пяти. Способный, поэтому самоуверенный. Знал себе цену. Держался как старый профессор.

Когда заведующая отделением сказала ему, что поедет человек из горкома, он разозлился:

— Это еще зачем? Для контроля?

Контроля он никакого не боялся, но сразу подумал, что горкомовцу придется уступить место рядом с шофером в кабине, а самому лезть в кузов санитарной машины на носилки, где удобно лежать, но неудобно сидеть. Но когда увидел Галину Владимировну, настроение его сразу поднялось. Заходил вокруг нее петухом. Всю дорогу через оконце рассказывал ей медицинские анекдоты, даже спел арию — похвастал своей музыкальностью и голосом. И пытался что-то плести о любви с первого взгляда.

Между прочим спросил:

— Вам поручено проведать архитектора?

— Да.

— А какой черт его туда занес?

— Не знаю.

— Оригинальничают. Классиков разыгрывают. Типа этого я знаю. Подумаешь, Растрелли!

Сообразив, что женщина приехала не по поручению горкома, а по велению сердца, доктор весело свистнул и заговорщицки подмигнул Максиму: мол, все понимаю и молчу, ибо сам грешен.

Максиму не понравилась его бесцеремонность и то, что он догадался об их отношениях. Но тут же подумал: какие отношения? Один на один они оставались несколько минут в приемной да в машине, когда он пригласил ее в театр. Он был недоволен, что она приехала. И что доктор приехал. Зачем? Он чувствует себя лучше. Это все Поля. «Что-нибудь придумаем». Придумала!

Галина Владимировна почувствовала недовольство Максима и совсем растерялась, не знала, где сесть, где стать, что делать.

Максиму не хотелось раздеваться при ней, под теплой пижамной курткой было просоленное потом белье. Он взглядом попросил ее выйти. Она обрадовалась этой возможности.

Очень она разволновалась. Как девочка. Однако не жалела, что приехала. С любопытством разглядывала уникальную дачку. Сразу поняла, что все тут сделано его руками. Удивилась порядку,

такой не мог навести мужчина, да еще больной. Ревниво подумала: кто-то тут был. Кто? Вспомнила: Шугачева, и успокоилась. Прислушалась, что говорит врач.

— Что вас сюда занесло? Строите город, а своего угла нет?

— Нет.

— Парадокс.

— Разве их мало, парадоксов?

— Это верно. Дышите глубже. Еще. Так. Не дышите. Сердце не тревожит? Сколько вам лет?

Галина Владимировна не услышала, сколько ему лет. В самом деле, сколько? Даже этого она не знает. Из того, что говорил Максим Евтихиевич, она многого не слышала, словно он нарочно говорил тихо. Гремел один доктор. Крикнул, как, наверно, привык кричать сестрам:

— Галина Владимировна! Ложку!

Она кинулась в миниатюрную кухоньку, где, однако, не было тесно, и в стенном шкафчике сразу нашла ложку.

Посмотрев горло, доктор задумался, но серьезности у него хватило ненадолго. Тут же бросил игривый взгляд на Галину Владимировну.

— Могу забрать в больницу. Карета есть. Но если за вами будут ухаживать такие женщины, не как врач, как человек, не советую. В больнице вам не будет лучше.

— Я останусь здесь. Не люблю шума. Предпочитаю одиночество.

Доктор хмыкнул.

— Такое одиночество и я предпочитаю.

Максим подумал: «Нахал. Бестактный тип».

Делая назначения, доктор обращался к Галине Владимировне:

— Поставьте ему горчичники. Горячее молоко с боржомом. Хотя боржом труднее достать, чем коньяк до повышения цен, но вы достанете. Малиновый чай. С медом. Только мед не кладите в чай, а лижите с ложечки, — это он сказал больному. — По таблетке этазола четыре раза в день. На ночь — две аспирина...

— Аспирин принимаю. Средство старое. Каждому известное.

— Не все старое худо. Скорее наоборот.

Одеваясь, доктор спросил у Галины Владимировны:

— Вы поедете? — В хитрых глазах его блеснули смешинки.

У нее и мысли не было остаться. Конечно, она собиралась тут же вернуться назад. Но, наверно, из-за этих смешинок ответила резко и решительно:

— Нет. Я остаюсь. Выполню ваши назначения.

Максим удивленно посмотрел на нее. Она отвернулась. Проводить доктора не вышла. Стояла у окна и смотрела, как отъезжает машина, буксуя в размякшем снегу. Как машет рукой галантный доктор. А Максим не сводил с нее глаз. И что-то очень теплое, очень приятное разливалось в груди. Нежность? Благодарность?

Умиление? Нет, что-то более глубокое, что трудно выразить словами.

Когда машина отошла, она повернулась к нему, растерянная и даже как будто испуганная своей дерзостью, с виноватой улыбкой сказала:

— Мне надо было ехать. В аптеку. И в гастроном... Я приехала, как гостья, с пустыми руками, — совсем по-детски показала ладони. Этот жест ее как-то особенно понравился и обрадовал. Никогда не думал, что такая мелочь может обрадовать, так поднять настроение.

— Ничего не надо. У меня все есть, кроме разве боржома. Вчера привезла Поля Шугачева. Это она вам позвонила?

— Да.

Галина Владимировна вспомнила, что Герасим Петрович не сказал, на сколько времени отпускает ее. Будет сердиться, что ее так долго нет. Но тут же подумала по-девичьи дерзко: «Ну и пускай! Так ему и надо», — и засмеялась своей независимости и бесстрашию. Она уважала Герасима Петровича, но и боялась его. А вот сегодня не боится. Как это хорошо — никого не бояться!

Максим не догадывался, чему она смеется. Подумал, ее рассмешил его вид.

— Простите, что я с такой бородой.

— Так это ж теперь модно, — и она опять рассмеялась.

Обыкновенные, почти пустые слова, но каждый из них читал в этих словах другой, глубокий смысл, тот, который так был им нужен.

— Нет, для вас я побреюсь.

— Не надо, прошу вас. Вы похожи на ассирийца из учебника истории...

— Да, из истории...

— Не вспоминайте о грустном. — Она вдруг приблизилась и провела мягкой горячей ладонью по его колючей, с блестками серебра щеке. Он взял двумя руками ее маленькую руку, согнул пальцы в кулачок и прижал этот кулачок не к губам, к виску, и она почувствовала на его виске пульс — частый-частый.

XXVI

Сосновский возвращался из поездки по области. Четыре дня месил колесами вездехода весеннюю грязь. Объехал все западные районы, проверял подготовку к весеннему севу. Картина открылась неровная, пестрая. Одни хозяйства вызвали радостное удовлетворение, другие — разочарование. Особенно неприятно, когда подводят те, на кого надеешься. Попадались и такие. Правда, зазнайки эти будут долго помнить его приезд. Распекал он их не за закрытыми дверьми. Там, где не требовались оргвыводы, «подтянул» председателей колхозов и директоров совхозов перед

общими собраниями колхозников и рабочих. Собрания эти, не сомневался, запомнят не только руководители хозяйств, но и районное начальство.

Обдумывая результаты своей поездки, пришел к выводу, что уровень подготовки к севу, безусловно, выше, чем в прошлые годы, — больше порядка, точности, лучше отремонтированы машины, больше на полях удобрений. Значит, залог урожая налицо. Так почему ж не порадоваться? Почему не отдаться весеннему настроению? Сосновский, как все здоровые, жизнерадостные люди, умел приводить себя в доброе настроение даже после крупных неприятностей. А эта поездка дала удовлетворение. Везет целый воз фактов для доклада на пленуме. Это совсем другое дело — свои собственные факты, не то что представленные инструкторами отдела.

Зашлепанный грязью «газик» мчался по подсохшему шоссе. Весеннее солнце под вечер остыло и уже не жгло, а ласково грело щеку сквозь открытое окно. Леонид Минович снял шляпу, подставил солнцу лысину.

Шофер, не одобряя, глянул на секретаря и закрыл окно со своей стороны. Посоветовал:

— Наденьте шапку. Продует. Поросль у вас негустая.

— О небо! Это ты, чертов сын, так говоришь о моей голове?

Шофер засмеялся.

— Не о голове. О лесозащитной полосе.

— Микола! Удивляюсь, как я тебя терплю так долго? Ты без конца намекаешь на наши промашки. Я знаю, какие ты полосы имеешь в виду. Лучше спой.

Случалось, в далекой дороге, когда было скучно и хотелось спать, Микола начинал импровизировать — пел, как тунгус, обо всем, что видел перед собой или увидел за время поездки; своеобразно рисовал людей и события и мог даже пройтись — считал, что в песне все дозволено, — насчет самого Сосновского, показать, к примеру, как тот «промывал» белые косточки «князя Липского», «славного боярина» колхоза «Восход», или «рыцаря железного» «Сельхозтехники», короля неотремонтированных тракторов.

Леониду Миновичу очень нравились эти импровизации. Слушая их, он хохотал. Но по заказу Микола никогда не пел. Для этого ему нужно было особое настроение.

А если нет песни, анекдота, доброй беседы, думаешь о делах. Куда от них денешься?

Подъезжали к городу, отходили заботы деревенские, подступали городские. Думал о завтрашнем заседании бюро обкома. Очень серьезный вопрос — о перестройке руководства промышленностью, о создании производственных объединений. Работает комиссия во главе с Игнатовичем. Герасим, конечно, наметит существенные мероприятия. Человек аккуратный. Сверхаккуратный. И считает себя лучшим знатоком промышленности, города, руково-

дителем новой формации. Сосновский хорошо знает, что секретарь горкома думает о нем. Ничего дурного. Но признает его компетенцию лишь в вопросах сельского хозяйства. Да еще, безусловно, думает, что, мол, постарел Леня, едет на старом методе. Постарел — это правда. Но не устарел. А что касается методов, то он, Сосновский, считает, что в их работе ни новых, ни старых методов нет, партийная работа — не свод правил и инструкций, старых и новых, а неустанное творчество, ежедневное и ежечасное. Можно применить и ЭВМ. Но если вот эта, полученная от родителей ЭВМ работает не на уровне требований времени, тогда, как говорится, слазь с крыши, не порти гонта.

Вот так, Герасим. Парень ты хороший, современный. Но был бы еще лучше, если б тебе немножко меньше самоуверенности и немножко больше самокритики. И еще одно: если б в дела твои не вмешивалась твоя слишком умная жена.

Сосновский все знал о своих сотрудниках. Не собирал эти сведения специально. Просто в нем жило естественное внимание к каждому человеку, к жизни любого работника. Может быть, поэтому он редко ошибался в подборе кадров, когда подбирал сам, никто не навязывал.

О Елизавете Игнатович, активной профсоюзной деятельнице, подумал с юмором. Но тут же вспомнил другого человека — Карнача. Без юмора уже. Серьезно. Карнач был на его совести. Это было одно из тех дел, которые он считал незавершенными, к которым собирался вернуться.

Разумеется, с формальной стороны постановление горкома — комар носа не подточит. Все пригнано по-игнатовичски. Карначу можно было дать по шее не только за все вместе, но и по каждому пункту в отдельности. Можно за жену — стоим на страже морали и семьи. Можно за архитектуру — там сам черт ногу сломит, это область, где легче всего белое сделать черным и наоборот. Можно стукнуть за позицию в «привязке» химкомбината — не лезь поперед батьки! Можно даже за казарму, как он называет дом на Ветряной. Секретарь обкома дает указание надстроить, а он, упрямый черт, не визирует постановления исполкома. Можно за дачу — воюем с частнособственническими тенденциями! Можно... если забыть о главном и рассматривать все с высоты своей амбиции или под нажимом разгневанной жены. Он, Сосновский, никогда так не решал судьбу человека. Допустим, для Карнача не такая уж трагедия увольнение. Но улучшится ли от этого архитектура города? Уверен ли ты в этом, Герасим Петрович? Конечно, право горкома заслушать любого работника. Но по всему видно, что решение о главном архитекторе возникло не в процессе обсуждения. Вот это и насторожило, когда Игнатович пришел и сообщил, что бюро горкома освободило Карнача от должности. Все правильно, дорогой Герасим Петрович. Но обычно, будучи человеком осторожным, ты в подобных ситуациях не ставил меня перед фактом, а советовался загодя. Между прочим, это совсем не плохое каче-

ство — умение посоветоваться, если, разумеется, качество это не перерастает в обыкновенную перестраховку.

С Карначом Игнатович проявил подозрительную поспешность. Сосновский сразу же подумал об этом и решил лично поинтересоваться некоторыми деталями этого дела. Покуда неофициально. За две недели о многом узнал. Как, например, шло обсуждение работы архитектурного управления. Как кто себя вел на бюро. Объяснить поведение Карнача можно по-разному: как анархический взбрык, что с ним случалось, и как реакцию человека, который заранее знал свой приговор, знал, что его выступление ничего не изменит, поэтому нечего зря тратить энергию. Тем более что был он, очевидно, нездоров, так как сразу же после бюро свалился — грипп.

Странно вел себя Игнатович. Не по-игнатовички. Явно неуверенно. Понять его нетрудно.

Заслуживает особого внимания позиция председателя горисполкома Кислюка, который один долго и упорно, как ни нажимали на него, не соглашался — и не согласился! — с предложением об освобождении Карнача от должности. А Игнатовичу очень хотелось, чтоб решение было единогласным. Независимо от того, прав был Кислюк или не прав, он как бы реабилитировал себя перед Сосновским, потому что после истории с квартирой мнение Леонида Миновича о председателе было не из лучших, считал, что выдвижение Кислюка на этот пост — одна из их ошибок. Кислюк как бы подтвердил старую истину: каждый человек загадка, и разгадать ее сразу нелегко.

Он, Сосновский, совсем не хочет бросить тень на других членов бюро, дело сложное и деликатное. Но, может быть, один Кислюк понял, что из-за второстепенного, личного кое-кто забывает о более важном, существенном — интересах города. Конечно, это пока его субъективные соображения и догадки. Их следует проверить. Каким образом? Несомненно одно: сделать надо так, чтоб не дать повода заподозрить его в недоверии к серьезному коллегиальному органу.

— Микола, знаешь, где Волчий Лог?

— Деревня?

— Деревня на шоссе. Садовый кооператив нашего актива.

— У меня у самого там участок.

— У тебя? — Сосновский удивился и разочарованно крякнул. «Вот тебе и знаю людей! Три года езжу с шофером и ни разу до сих пор не слышал ни от него, ни от кого другого о такой немаловажной стороне его жизни».

— Сверни. Посмотрим ваш хутор.

Шофер глянул настороженно: что это секретарю пришло в голову?

Леонид Минович решил слегка пугнуть его за то, что тот так долго скрывал свою частную собственность.

— А что, если мы прикроем эту лавочку?

Микола тяжело вздохнул.

— Помрут некоторые.

Сосновский едва удержался, чтоб не захохотать.

— Да ну? Что ты говоришь?

— Моя теща первая отдаст концы. Она только и живет здесь, на земле. В городе на пятом этаже чахнет. Прямо жалко старуху.

Сказал Микола о теще так серьезно, что шутить на этот счет показалось неуместным. Леонид Минович хорошо знал и понимал эту «земельную ностальгию».

Максим услышал шум машины и сверху увидел Сосновского. Подумал с недоумением: «А ему что надобно?» Понаблюдал, как секретарь осматривает его «храмок». Спуститься или не стоит? Решил, не стоит. Если Сосновский приехал к нему, пускай поднимается сюда, в мастерскую. Если же заглянул, чтоб убедиться в нарушении инструкции о садово-огородных кооперативах (нарисует потом сатирическую картинку в очередном докладе), тем более нечего ему показываться на глаза, а то еще, чего доброго, подумает, что он выскочил навстречу в качестве просителя... милости.

После болезни Максим работал так, как в молодости по окончании института, когда верил, что станет великим зодчим. Великим не стал, однако прожил не без пользы, а потому всегда работал с подъемом и радостью, хотя, конечно, не с тем уже молодым пылом, не по пятнадцати часов в сутки. А эту неделю — именно так. Резал портрет матери... Но, еще лежа в постели, в одиночестве, мысленно завершая портрет, он почувствовал, что скульптура получается неплохой, но это не то, что виделось ему поначалу. Чтоб создать такой скульптурный памятник матери, какой она заслужила своей жизнью, у него не хватит ни умения, ни опыта. Памятник он может создать только архитектурный. И, может быть, как раз в ту минуту, когда мать испускала последний вздох, ему подсказали тему такого памятника. Новое родное село!

В тот день, когда он твердо решил, какой построить матери памятник, и, лежа в постели, начал набрасывать проект, за один день создал общий облик новой Карначовки, у него даже подскочила температура. Это напугало Галину Владимировну, которая приехала навестить больного после работы. Милая и мужественная женщина! Ты очаровала меня и вернула к жизни. Но я тебя боюсь. Боюсь, потому что не уверен, что смогу дать тебе то счастье, какого ты заслуживаешь и которого тебе по-женски так хочется.

Галина — единственное, что тревожило в последние две недели. А больше ничего, потому что все осталось позади, за высоким и трудным перевалом. Впереди солнечная долина, и там величайшая и не имеющая конца радость — работа, которую он любит, которой посвятил жизнь.

Сосновский крикнул снизу:

— Есть тут живая душа?

— Есть! Милости прошу.

— Где ты там? На небеси?

Поднимался по крутой и узкой лестнице тяжело, даже бренчали стекла в легкотипной мансарде. Ворчал что-то. Остановился, явно пораженный необыкновенной комнатой, залитой вечерним солнцем, засыпанной мелкой стружкой, с листами проектов на столе, на стене, на рамах, на стульях и даже на полу. А может быть, и хозяин его поразил, который в ожидании гостя стоял возле витража. Максим отрастил бороду, густую и черную. С такой бородой, в парусиновой робе и в сапогах, он являл собой классический образ цыгана. В руке резец, как нож. Только кнута не хватало.

Оглядев мансарду с неподдельным удивлением, Сосновский посмотрел на хозяина с веселой, доброй улыбкой.

— А вы и впрямь на небе. Что бог Саваоф. Теперь буду знать, как выглядит мастерская бога.

Пожал руку, спросил, кивнув на незавершенную скульптуру:

— Мать?

И, сняв шляпу, минуту постоял, склонив голову.

Максима тронуло, что Сосновский знает о смерти матери и так тактично, без слов выразил и свое уважение к ней, и сочувствие ему.

Потом, осторожно ступая, словно боясь что-нибудь сломать, разрушить, Леонид Минович обошел скульптуру и осмотрел уже как произведение искусства, внимательно, с интересом, что тоже понравилось Максиму. Он давно уже открыл, что при внешней грубоватости Сосновский — душевно деликатный человек, куда более тонкий, чем некоторые внешне лощенные люди.

— Что ж вы скрывали свой талант скульптора?

— Потому что я не скульптор. Может быть, мог бы им стать, если б не продал душу неблагодарной музе...

Сосновский посмотрел на хозяина, хитро и озорно прищурившись. Но вспомнил, что пережил Карнач, и сказал серьезно:

— Не такая уж она неблагодарная, ваша муза.

— Архитектура? Что неверная жена. Мучаешься, ревнуешь, бранишь, а все равно любишь.

Сосновский засмеялся.

Но подумал, что Карнач сразу вызывает его на разговор обо всех своих грехах, а он ехал сюда совсем не с такой целью — напомнить человеку о них еще раз, — довольно, что ему поставили в счет все, что надо и что, может, не надо, на бюро горкома.

Сосновский повернулся к листам проекта. Посмотрел один на стене, другой на столе, и Максим увидел, что секретарь вдруг насторожился, как боевой конь, заслышав звуки горна. Быстро пробежал глазами эскизы на стене, перебрал листы, висевшие на стуле, и с ватманом в руке резко обернулся к Максиму, без околичностей, ревниво и почти сердито спросил:

— Для кого?

— Для души.

— Не морочь голову. Такой проект для души не делают. Кто заказал?

— Добрые люди.

Сосновский сердито бросил лист с планировкой колхозного центра обратно на стул. Сказал не шутя:

— Напрасно вам бюро горкома не записало строгача. Работаете у нас...

— Я не работаю у вас!

Вырвалось это с болью — крик души. Но сказал и похолодел, ведь он решил никуда не уезжать, просить работу в институте. Однако после такого заявления секретарю обкома...

Сосновский тоже почувствовал неловкость: нельзя сейчас кидать такой упрек. Это что соль на свежую рану. Сказал примирительно:

— Насчет выговора я пошутил. Не обращай внимания.

Максим тоже осторожно дал задний ход:

— Это деревня, где я родился. Там похоронены мои родители...

Сосновский снова начал разглядывать листы. Расспрашивал о подробностях. О материале. Прикидывал стоимость. И вдруг стал критиковать довольно строго, отбросив ту щепетильность, с какой говорил о скульптуре.

Максим это сперва воспринял как неожиданный щелчок в нос. Он даже разозлился: «Все великие знатоки. Все лезут в критики».

Но, прислушавшись к замечаниям более внимательно, понял, что Сосновский куда лучше его знает современную деревню, ее нужды, перспективы развития фабрик хлеба, мяса и молока, что он делает очень интересные экономические и демографические прогнозы.

— Не нужна будет вашей деревне такая школа. Поверьте мне, Максим Евтихиевич. По количеству мест. И тип школы у вас старый. Он теперь уже не удовлетворяет. Условия производства, научно-техническая революция требуют совсем другой школы, особенно на селе.

Спорили о жилых домах. Максим стоял за одноквартирные, типа коттеджей. Деревня, мол, есть деревня, и хотя экономически, может быть, выгодно, но абсурдно строить стоквартирные дома. Какой архитектурный облик будет иметь такой поселок? Два-три дома в чистом поле?

Сосновский придерживался другого мнения. Стоквартирных не нужно, но и разбрасывать деревню на километры, растягивать коммуникации непрактично и невыгодно. Если у сельских рабочих исчезнет потребность держать свиней и кур, людям захочется жить в большем коллективе.

— Но большой дом — это не коллектив. Практика говорит

о другом. Наиболее коммуникабельны люди в деревне. И меньше всего — в стоквартирном доме, даже когда жители его работают на одном предприятии.

Долго спорили. Максим забыл, что перед ним секретарь обкома. Перед ним был такой же, как и он, горячий полемист, который высказывался без оглядки на свое положение.

Сосновский все больше и больше раскрывался как глубокий и увлеченный знаток новой деревни. Рассказывал о том, о чем Максим и представления не имел; стало даже стыдно, что, увлекшись идеей, он, опытный архитектор, так по-дилетантски, на одних эмоциях взялся за осуществление столь ответственного заказа. Показалось, что проектировать село проще, чем город. А вот выходит, что нет, не легче, а труднее, многое надо будет изучать специально.

Он взял карандаш и отдельные эскизы стал перечеркивать, над другими ставил вопросительные знаки и тут же на ватмане записывал те замечания Сосновского, с которыми согласился или над которыми следовало подумать.

Солнце позолотило набухшие почки берез, росших под окном. От белых берез на проекты упали красные тени. Должно быть, увидев эти тени, Сосновский взглянул на часы. Проговорили часа два.

— Знаешь, я сегодня не обедал. Как позавтракал в Займище...

Максим смутился.

— У меня нечем вас попотчевать.

— Неужто и хлеба нет? — озабоченно удивился Леонид Минович.

— Хлеб есть. Сало... Лук...

— Ха! А ты говоришь, нечем! Зажирели мы с тобой. Да если к такой закуси прибавить бутылку водки, которая есть у моего Миколы, так можем пировать до утра.

За столом все еще продолжали разговор о проекте села. Но Максим уже не спорил с Сосновским, как наверху, в мастерской, а больше соглашался. Здесь, за столом, он как бы вошел в новую роль — хозяина. Да и дистанцию вдруг почувствовал, неведомо почему. А Сосновскому явно не нравилась эта его покорная учтивость, и он цеплялся, как мальчишка-задира. Начал критиковать дачу, которой обычно все гости восхищались. Критиковал дельно: за несоответствие внешней формы внутреннему содержанию жилья. Тут, внутри, все функционально целесообразно, просто, практично, красиво. А извне — конфетка, сказочный домик. Максим не мог объяснить, что строил он для Веты, которой было тогда четырнадцать лет. И для Даши, которая любит все яркое, необычное. А интерьер делал для себя, для работы. Даже кухню оборудовал на свой вкус.

Максима порадовало, что Сосновский говорит о даче не как об атрибуте окулачивания и перерождения, а как о серьезном архитектурном эксперименте, хвалит то, что стоило бы ввести в прак-

тику строительства зон отдыха, и не одобряет того, что делалось для удовлетворения вкуса одного или двух человек. Но такое, казалось бы, далекое, весьма косвенное и ненамеренное напоминание гостя о Вете и Даше почему-то ранило больнее, чем когда он в одиночестве сам думал о них: с любовью — о дочери, с гневом и почти ненавистью — о жене... Чтоб отвязаться от этих мыслей, стал внимательнее слушать гостя, любовался, как хорошо, по-деревенски вкусно Сосновский ест черствый хлеб, лук и сало.

Потом, как и на бюро, Максим подумал, что ему следует воспользоваться случаем, чтобы помочь Виктору Шугачеву. Рассказал Сосновскому о шугачевской идее Заречного района и о тех трудностях, которые встали перед архитектором.

— Шугачев — выдающийся архитектор, а его затюкали, свели до ординарного. Примите его, Леонид Минович, послушайте... Посмотрите эскизы.

Сосновский слушал внимательно, серьезно, но несколько настороженно. Не сказав ничего насчет Шугачева, вдруг спросил:

— Максим Евтихиевич, вы могли бы остаться на прежней должности?

Максим почувствовал, как непривычно екнуло сердце. Радостно. Никогда не думал, что для него это столь важно — такая реабилитация. Без проборки, без наставлений. И очень тактично: может ли он остаться на должности главного архитектора? Не спросил, хочет ли. Именно, может ли? А в самом деле, может ли он? Ни разу не подумал об этом, считая, что никто не станет возвращать его, а сам он никогда просить не будет — гордость не позволит. Что же ответить на такой совершенно неожиданный и, конечно, непростой вопрос?

— А что скажет Игнатович? Он перестал меня понимать.

— А вы его?

— Да. Это, пожалуй, правильнее, я перестал его понимать. А он всерьез занимается архитектурой.

— Не иронизируйте над нашим братом. Мы не универсалы. И не боги. Мы люди, и каждый из нас может ошибиться.

— Я не иронизирую.

— По нашему самолюбию и гордости бьют иной раз и похлеще.

— Я знаю.

— Тогда должны понять.

«Что же ему ответить? — лихорадочно думал Максим. — Сразу согласиться?»

Нет, не мог. Но и отказаться боялся.

А Сосновский как бы спохватился, что превысил свои полномочия.

— Поразмышляй на досуге. Но не считай, что архиепископ Сосновский отпускает тебе все твои грехи, грехи свои будешь замали-

вать сам, — и, засмеявшись, поднял рюмку. — Давай по последней. А остальное на компрессы оставь. Бороду сбрей, на кой тебе это помело?

У Игнатовича был трудный день. Не по работе. В этом смысле легких дней не бывает. Работы всегда достаточно.

Он правил свой доклад для конференции изобретателей и рационализаторов, которая начиналась через час. В кабинет, как всегда неслышно, вошла Галина Владимировна. Его обрадовало, что ее присутствие опять не мешает ему. Было короткое время, когда оно его раздражало. После того как она попросила разрешения съездить к Карначу. Несколько дней он настораживался, когда она входила, отрывался от работы, опасаясь, что опять услышит от нее что-нибудь неожиданное. Но Галина Владимировна работала, как раньше, ровно и спокойно. И он пришел к решению, что молодая вдова имеет право на интимную жизнь и теперь, когда Карнач уже отрезанный ломоть, он может себе позволить не обращать внимания на ее отношения с бывшим главным архитектором. Только не надо ничего говорить Лизе.

Галина Владимировна сказала:

— К вам хочет зайти директор школы Бондаренко.

Не сразу дошло, что это директор той школы, где учится Марина, и он, не отрываясь от доклада, вздохнув, сказал:

— Ох, сколько людей хочет ко мне зайти! Назначьте ему на пятницу.

— Он насчет вашей дочки.

Герасима Петровича словно током ударило. Он несмело поднял голову. Галина Владимировна чуть заметно улыбнулась, как всегда, а ему показалось, что она что-то знает и улыбка у нее недобрая, злорадная.

Он прямо испугался, потому что знал, что самый злой враг не может его так скомпрометировать, как собственная дочь. От Марины можно ждать чего угодно. Не ребенок, а чертенок.

— Позвоните, что я сам зайду в школу.

На конференции он выступал без того подъема, какого требовал такой первостепенной важности вопрос, как научно-технический прогресс и задачи изобретателей. Невнимательно слушал ораторов.

В обеденный перерыв поехал в школу.

У директора была молодая учительница, и Бондаренко попросил его минутку подождать. Это царапнуло по самолюбию, тем более что ждать надо было в учительской, где сидели несколько педагогов; они, конечно, знали, кто он, потому и поглядывали с любопытством.

Выскочила из кабинета учительница, вся красная, и он, не ожидая приглашения, вошел, чуть не столкнувшись в дверях с немолодым, но энергичным, стремительным директором. Бондаренко закрыл за его спиной дверь, и он нетерпеливо спросил:

— Что случилось?

Но заслуженный педагог не спешил с ответом.

— Садитесь, Герасим Петрович. Вы у нас редко бываете, — кольнул-таки. — Помните, вам не нравилась наша обстановка? Ну, как теперь? — развел руками, приглашая посмотреть интерьер его кабинета.

— Теперь хорошо. — Герасиму Петровичу было не до мебели. — Что натворила Марина?

— Я хотел бы, чтобы вы посмотрели наши лаборатории. Мы неплохо оборудовали кабинеты. Не хуже, чем в шестнадцатой показательной, где постоянно сидит все гороно. Если б гороно свое внимание делило поровну...

«Он что, издевается, этот хитрец? Таким способом зазвал меня осматривать кабинеты?» — Все больше настораживали независимость и какая-то чрезмерная уверенность Бондаренко.

— Что с Мариной?

— А что с Мариной? Ничего с Мариной. Марина — дитя нашего времени. Умная. Развитая. Бывает, поленивается. Бывает. Но кто из них не ленится, Герасим Петрович? Если б все старались, то нам, педагогам, нечего было б делать. Марина — остроумная девочка. С юмором. Но юмор — это же драгоценнейшее качество. По мне, так я просто не обратил бы внимания. Мало ли что могут написать дети. Но преподавательница молодая, неопытная, у нее не хватило такта. Она показала сочинение своим коллегам. Устроили коллективное чтение. Поэтому, знаете, я вынужден был вас побеспокоить... Марина не должна так писать... При вашем положении...

Говоря это, директор явно нарочно долго копался в стопке бумаг и тетрадей, искал Маринину тетрадку, обернутую знакомой цветной бумагой.

Герасим Петрович (потом неприятно было вспоминать этот свой жест) почти выхватил тетрадь из его рук.

Прочитал сочинение и втайне с облегчением вздохнул: слава богу, не самое худшее.

Марина с юмором, с недетским юмором описала, как ее дома воспитывают. Ничего такого, что бы могло его скомпрометировать, но все же в живом рассказе все они — он, мать, брат и сама Марина — выглядят довольно забавно. Раза два он не сдержал улыбки, хотя чувствовал, что директор не сводит с него внимательных хитрых глаз.

— Ну, это ерунда, — сказал Игнатович, дочитав сочинение. Сказал даже как бы с укором: мол, из-за этого можно было бы и не беспокоить.

— Так я и говорю, что ерунда. Но я счел своей обязанностью... Знаете, Марине не следовало бы забывать, кто ее отец. Это единственное, что от нее требуется... Если вы согласны...

— Да, разумеется... Спасибо вам.

— А юмор — драгоценнейшее качество. Юмор, пожалуйста, не глушите... Кабинеты посмотрим, Герасим Петрович?

— Нет, к сожалению, не могу. У меня конференция.

— Жаль. Признаться, хотел высказать одну просьбу... Но потом, потом... У вас веселая семья.

— Да, веселая.

— Я вам завидую. У моих детей нет чувства юмора. А как сказал старый одессит: пускай меня ограбят, но с юмором. Будет легче.

На вечернем заседании, вспомнив эти слова директора, Игнатович подумал, что Маринины шуточки насчет воспитания совсем небезобидны, они вовсе не детские, это идет от чужих взрослых и недоброжелательных людей. И он настроился против дочки: хватит ей потакать, совсем распустилась девчонка.

Вечером вместе с Лизой он учинил над Мариной суд.

Марина знала, что за сочинение ей достанется либо в школе, либо дома, а скорее всего и там и там. В классе ей сочинение пока что не вернули, учительница сделала вид, что тетради — ее и еще одной ученицы — забыла дома, даже поахала над своей рассеянностью. Наивные люди эти учителя, да и родители тоже, думают, что она ничего не смыслит и так легко поверит их нехитрой выдумке.

По отцовскому виду Марина сразу поняла, откуда ждать грозы, и подготовилась соответствующим образом. Когда «верховные судьи», отец и мать, вызвали ее на допрос, у нее уже была выработана тактика.

— Марина, я прошу серьезно выслушать то, что мы тебе скажем.

— Я всегда серьезна, мамочка, — послушно ответила дочка и даже реверансик сделала; потом ругала себя, что перехватила и испортила интересный спектакль, потому что отца, очевидно, взорвал этот реверансик и он заговорил строго, без предисловий:

— Ты что написала?

Она попробовала продолжить игру:

— О чем ты?

— Ты не знаешь о чем?

— Каюсь, папочка, первый раз написала записочку. Все девочки давно пишут.

— Какую записочку?

— Толику Баранову. Любовную.

— О боже, — простонала Лиза.

Но Герасима Петровича любовная записочка мало волновала, он отгадал дочкину хитрость, его не обманула ее притворная покорность, не так она обычно разговаривала с ними.

— Не прикидывайся дурочкой. И не заговаривай мне зубы. Я говорю о сочинении...

— А-а... А я ломаю голову, почему эта бестолковая Тамара не отдала мне тетрадку. Она показала ее Ивану, а Иван принес тебе. Не стыдно им из-за таких мелочей беспокоить секретаря горкома? Я на твоем месте...

Не выдержала мать, гневно закричала:

— Марина! Гадкая девчонка! Как ты говоришь об учителях?!

— А как о них надо говорить?

Герасим Петрович ходил вокруг стола, едва сдерживая гнев.

Лиза и Марина сидели за столом друг против друга, и дочка улыбалась так, будто жалела мать.

— Ты чересчур грамотная!

— А как же, папа! Меня ведь учат. Дома... В школе...

— Брось кривляться, чертово семя!

— Если вы хотите, чтоб я молчала, я буду молчать. Я послушная. И я чертова, а не ваша...

— Нет, ты полюбуйся, какую цацу ты вырастила!

— Я вырастила? Вместе растили.

Не хватает еще поссориться с женой!

Герасим Петрович промолчал, походил, заложив руки за спину.

— Нет, ты хоть понимаешь, что ты написала?

Марина изменила тактику и перешла в наступление:

— А что, разве неправду?

— Ты компрометируешь меня и мать!

— Что ты, папа! Я просто хотела показать, какую глупую тему нам дали: «Я и мои родители».

— Чем же она глупая? — спросила Лиза.

— Пускай бы они лучше дали: «Я и мои учителя». Вот бы я им написала! Они бы там в обморок все попадали в учительской. Во главе с заслуженным... Лежали бы без чувств.

Герасим Петрович схватился за голову. Крикнул жене:

— Нет, ты послушай, что она говорит! Ты вдумайся!

Не впервые Герасим Петрович с горечью сознавал, что он, которого слушаются взрослые, серьезные люди, кто своей железной, как говорит Довжик, логикой может убедить любого и словом своим поднять на большие дела тысячи, не может справиться с одной девчонкой, собственной дочерью, и часто чувствует себя перед ней безоружным и беспомощным. Какой метод воспитания применить? Дедовский ремень! Но попробуй ударить такую чертовку! Она и правда может пожаловаться Сосновскому. Ведь угрожала! И даст Лене пищу для его неуместных шуток.

Тут Герасим Петрович увидел, что Марина достает из кармана фартучка вату и засовывает себе в уши.

— Ты что делаешь?! — крикнул он так, что Лиза испуганно подскочила, не сразу сообразив, что его так взорвало.

— Затыкаю уши, — спокойно ответила Марина. — Боюсь за перепонки.

Терпение лопнуло, и он, наверно, дал бы дочке добрую оплеуху впервые в жизни, но его остановил резкий телефонный звонок.

Он на мгновение замер, но, когда к телефону двинулась Лиза, бросился сам, понимая, что это спасение от позорного поступка. В трубку крикнул сердито:

— Слушаю!

— Что так грозно? — раздался насмешливый голос Сосновского.

— Простите, Леонид Минович.

— Почему запыхался? Оторвал от приятного дела?

Как, может быть, никогда, Игнатовичу хотелось крикнуть: «Пошел ты... со своими шуточками!»

— Да нет, ничего. Смотрю телевизор.

— Счастливый человек. Что нового?

— Да, кажется, ничего такого...

— А я только что из районов. Заехал в обком и узнал новость. Есть постановление Совета Министров о строительстве комбината в Озерище.

— Я знаю.

— А я хотел тебя обрадовать. Карнач проявил высокую принципиальность, написав письмо. В то время как многие из нас «хенде хох» перед министерством. Будем честны и скажем ему спасибо. Карначу. Это тот вариант, когда и волки сыты, и овцы целы.

Холодный пот залил спину. И ноги — как чужие. Не находил нужных слов. Что ответить на это? Пауза затянулась, и Сосновский окликнул:

— Алло!

Наконец, кажется, пришло то, что надо сказать:

— Карнача освободили не из-за комбината.

— Однако, признайся, ставили и это лыко в строку. Грехи подбирать мы умеем. Слушай, ты уверен, что мы с тобой в данном вопросе оказались Соломонами?

Игнатович разозлился. Опять «мы с тобой»...

— Людей надо воспитывать. Особенно таких...

«Какой глупый ответ. Что это со мной? А толстяк уже обрадовался...»

— Золотые твои слова, Герасим, — весело прогудел Сосновский. — Но, надеюсь, ты не считаешь, что выбросить человека — это лучший метод воспитания. Ведь не считаешь?

Герасим Петрович вытер плешь. И Сосновский точно увидел этот его жест.

— Нелегко, Герасим, нам с тобой. Понимаю. Но давай подумаем, как самим исправить сделанное. Мы, конечно, можем поправить вас официально. Но зачем это вам? Это уже, как говорится, щелчок в нос. А вы люди взрослые, серьезные, ответственные... Сами умеете исправлять свои ошибки. Поговори с членами бюро... А потом съезди к Карначу, пока его не переманил кто-нибудь из добрых соседей. Такие кадры на земле не валяются. Он у себя на даче. Кстати, знаешь, что он хворал? Конечно, знаешь. Попроси его вернуться...

— Попросить? — прошептал Игнатович и сам испугался, что так нелепо выдает себя и так нерешительно, как школьник, держится. Нет, он будет спорить, не соглашаться! Пускай возвращают Карнача, но без него! Он не пойдет на такое унижение!

В голосе Сосновского послышался смех, этот старый зубр и по телефону видит каждый его жест, выражение лица.

— Ладно. Разрешаю. Попроси от моего имени. Так тебе будет легче. Договорились? Алло! Ты слышишь?

— Я слушаю, Леонид Минович.

— Значит, договорились. С умным человеком легко говорить. Ну, будь здоров. Смотри телевизор. Алло, алло! Между прочим, насколько мне известно, коровы у него на даче нет. И самогонного аппарата тоже. Учти это, когда поедешь.

Игнатович опустил трубку и какое-то время смотрел на нее.

Лиза, которая внимательно следила за мужем, по его коротким репликам поняла, о ком идет речь, догадалась, в каком духе, и, взволнованная не меньше его, нетерпеливо спросила:

— Что он сказал?

Герасим Петрович бросил трубку на рычаг и крикнул:

— Сказал, что ты и твоя сестра... — но увидел дочку и осекся.

А Марина поднялась, собираясь уйти к себе в комнату, и с язвительной улыбкой сказала:

— Говори смело, папа. У меня заткнуты уши.

Герасим Петрович испугался сам себя. Выскочил в коридор, схватил с вешалки плащ, забыв шляпу, и выбежал на площадку; перепрыгивая через четыре ступеньки, слетел вниз. На улице жадно, словно вырвался из чадного помещения, полной грудью вдохнул влажный — с реки — воздух.

Вечер был чудесный. Весна. Можно и погулять. Полюбоваться городом.

1970—1974

СНЕЖНЫЕ ЗИМЫ

РОМАН

I

Зубр стоял под старыми елями, комли которых обросли седым мхом. В этом глухом углу пуща вся первобытно-замшелая: ели выглядят, будто простояли тысячу лет, старые пни — под толстым слоем мха, а внутри все превратилось в труху. Редкие выворотни напоминают доисторических животных.

Потому, должно быть, властитель пущи показался Антонюку еще одним выворотнем. За день скитанья по лесу попалось их немало, самых диковинных. А может, потому, что он глубоко задумался? В лесу всегда хорошо думается. Лес успокаивает, разгоняет тревогу, волнения. Не раз уже случалось, что неприятности, вчера еще казавшиеся чуть ли не трагедией, после такой вот прогулки по лесу и раздумий под шум деревьев или под шелест опавших листьев под ногами оказывались мелкими, не стоящими серьезных огорчений. Перед величием леса, его древней мощью человеческие конфликты, горести, заботы, особенно нынешние — мирного времени, — представали совсем в другом свете. Так было полтора года назад, когда он приехал сюда после того, как его, крепкого, здорового, спровадили на пенсию. Тогда он был в отчаянии. А побродил по пуще — и назавтра почувствовал, что может посмеяться над свалившимся «горем», перестал сочинять филиппики против своих недругов и тех, кто смущенно молчал, хотя и понимал, что вся его, Антонюка, вина лишь в том, что он говорил то, что думал.

Сейчас никаких неприятностей не было. Он приехал сюда просто отдохнуть. Никаких серьезных раздумий. Разве что о детях. Всегдашняя его забота — дети. И однако же чуть не поцеловался с царем пущи. Застыл в нескольких шагах, когда зубр медленно повернул голову. Теперь они смотрели друг на друга, человек и зверь.

Неприятный холодок пробежал по спине. А что, если зубр бросится? Что делать? Стрелять? Не имеешь права. Да и заряд не на такого зверя. Утром отказался от охоты на дикого кабана, на которую приглашал директор заповедника. Заряд у него на тетерева. Удирать? Представил, как он, старый человек, будет бежать, петляя между деревьями, продираясь сквозь молодой колючий ельник, чтоб спрятаться. С иронией подумал: «Никогда ты, Иван, не бежал ни от каких «зубров». Отступать — отступал. Перед более сильным, перед врагом... да еще иной раз обходил стороной дураков».

День — по-осеннему хмурый, под шатром елей почти вечерний полумрак, и невозможно разглядеть глаза зубра: что они выража-

ют? Рассказывали егеря: такие быки, отбившиеся от стада, ведут себя, как шальные, — кидаются ни с того ни с сего. Особенно обиженные матерым самцом. Но этот, кажется, немолод. Шерсть на высоком хребте безобразно всклокоченная, грязно-бурая, под выгнутой шеей висит клочьями, как бывает весной, когда зверь линяет. Однако рога по-молодому острые. Такой рог проткнет насквозь.

Глаз не сводит — следит. Стоит удивительно неподвижно, хоть бы хвостом мотнул, шевельнулся, переступил ногами. Нет. Будто замер. К чему готовится? Напасть? Отступить?

Человека все-таки понять проще, чем зверя. Потому и легче защищаться, если тот нападает открыто, а не бьет в спину, врасплох. Беда, что часто удар наносят, когда его совсем не ждешь.

Иван Васильевич подумал, что зубры, которых егеря кормят, за которыми присматривают, привыкли к человеческому голосу, и ласково спросил:

— И долго мы с тобой так стоять будем?

Зубр в ответ вздрогнул и закрыл глаза.

Нет, агрессивных намерений он, кажется, не имеет.

Может быть, зверь захворал? И нарочно забился в эту гущу, чтобы умереть в одиночестве?

«Надо запомнить место и сказать егерям. — И тут же подумал о своем, человеческом: — Но если ты в самом деле забрался сюда, чтобы помереть, я тебя понимаю и, если хочешь знать, даже завидую. Я тоже хотел бы так... Здесь. И один. И чтоб до последней минуты на ногах».

Недалеко, квартала за два, неожиданно подала голос гончая: взяла след зверя. И сразу же выстрелы — один, второй...

Тогда зубр вскинул голову, фыркнул и взрыл копытом мох.

Антонюк сам потом дивился своей прыти. Кинулся за первое дерево. Оттуда нырнул под молоденькие приземистые елки, цепляясь за ветви ружьем, обдирая лицо, руки. Настоящий кросс! Когда остановился, прислушался, то услышал топот не одного зубра, а, казалось, целого стада. Не сразу понял, что это сердце, так оно стучало; кровь била в голову, даже звенело в ушах.

Зубра же не слыхать. Пугнул надоевшего человека, а сам скорее всего остался стоять в своем величавом одиночестве.

«Ну вот, не хвались, что ни от одного зубра не удирал. Пришлось, — с невеселой иронией подумал Иван Васильевич. — Когда ж его, дьявола, охраняет закон, так что тут поделаешь?! Приходится удирать... От закона. Однако сердце... Что ж это ты, дорогое?»

Сердце встревожило. Так задохнуться, пробежав сотню метров, — этого еще не бывало. Прошлым летом на курорте в горы пошел, так из большой группы только трое, которым вместе было чуть больше лет, чем ему одному, не отстали. Но двое из них потом к ужину не могли приползти. А он, «папаша», — так звали его желторотики — хоть бы что, танцевать на площадку отправился.

«Почему же ты так заколотилось? Да не просто частишь, а троишь, как мотор, в котором подгорела одна свеча. Какая там свеча подгорела? Испугался зубра? Да нет, как будто не очень. И не с такими встречались».

Зубру захотелось одиночества. Ему, Антонюку, тоже вчера хотелось одиночества. Хотелось послушать осенний лес — как падают последние листья, как шуршат под ногами... Послушать самого себя. Только в лесу это удается. И с утра весь отдался лесу, его грустному настроению. С ним говорил. С лесом. С людьми — ни с кем. Отдалились все те, с кем когда-то спорил, ссорился, кому доказывал свое. Спорил в кабинетах, в залах и здесь, в лесу, мысленно, блуждая один, как тот зубр.

Теперь полная ясность и полный покой. Но это мало утешает. Понимал: подходит осень. «Отговорила роща золотая». Да, видно, отговорила. Что ж, Иван, ты неплохо пошумел. Во всяком случае, перед детьми не стыдно. Перед детьми...

Еще несколько минут назад хотелось поглубже забраться в пущу, где-нибудь на первобытной полянке между вековых сосен разложить небольшой костер и до вечера сидеть, чтоб надолго насытить жажду одиночества, чтобы месяцы — до следующего «приступа» — носить в себе шум леса и дыхание осени.

А тут вдруг — после встречи с зубром, что ли? — захотелось к людям. Раньше это не приходило так скоро. Переход в новую стадию старости, очевидно?

Иван Васильевич догадался, кто стрелял. В пуще стрелять можно только по разрешению, а разрешение такое не каждому дается. Еще вчера с вечера знал, кто приехал сюда на короткий отдых. Директор заповедника предлагал присоединиться к гостям.

— А то там одни теоретики, разговорщики, как наш друг Будыка. Без тебя да без меня, — а у меня завтра дела, — они ноги собьют, а кабана не убьют.

— Нет, брат, не тот уровень, — он ответил просто так, чтоб не поддаться охотничьему соблазну и побыть в лесу одному. А директор, наверное, решил, что сказал он это с горечью, из-за своего положения, и деликатно перевел разговор на другую тему.

Сейчас он не думал ни о каких уровнях и спешил туда, где звучали выстрелы, чтобы оказаться среди людей.

Как вчера хотелось одиночества, так сейчас неведомо почему потянуло в компанию, где будут новости из «высоких кругов», шутки, хороший обед.

Необычайная способность ориентироваться в лесу — товарищи по охоте называли ее «собачьим нюхом» — вывела точно, как по азимуту. Вышел на просеку и увидел их, веселых, возбужденных удачей.

Будыка углядел его издалека, удивился, спросил сперва будто и не слишком приветливо:

— О, и ты тут? — И вдруг обрадовался, вскочил, пошел навстречу, прихрамывая, — натер ногу. — Товарищи! Старейшина

нашей охотничьей корпорации — Иван Васильевич. Он должен зарегистрировать ваш рекорд, Сергей Петрович. Прошу знакомиться. Мой партизанский командир. Нет, ты погляди, какого мы кабана ухайдакали. А свалил Сергей Петрович! Охотничье счастье, оно как деньги — есть так есть, а нет так нет. У Сергея Петровича оно есть. Нет, ты посмотри, какой зверь! А-а? Что? Завидуешь? Глядите, как у Антонюка блестят глаза!

Будыка поздоровался и, не выпуская руки, потянул Ивана Васильевича к компании, как будто тот упирался и не хотел идти.

Гости, видно, здорово обезножели, потому что все до одного сидели или лежали на сырой и холодной уже земле вокруг убитого кабана — как дикари, что застывают в нетерпеливом ожидании, когда старейший начнет делить добычу. Никто не спешил отозваться на предложение Будыки знакомиться, только лениво повернули головы. Свои, Сиротка и Клепнев, заулыбались. Гости оценивали нового человека: верно, определяли, что за птица, какого ранга. Партизанский командир — через двадцать лет это уже мало что говорит.

А другого титула Будыка не назвал.

Иван Васильевич подумал:

«Не рассчитывайте, что я пойду по кругу и буду знакомиться с вами, лежащими, буду первый протягивать руку. Не дождетесь, уважаемые».

И поскольку Будыка тащил его к охотничьему трофею и, по сути, приглашал в первую очередь познакомиться с ним, Антонюк так и сделал — отдал все внимание убитому зверю.

Кабан лежал под дубом, ощерив желтые клыки, изо рта сочилась струйка еще свежей крови. Но убит он был не здесь, сюда его подтащили; туша прочертила широкий след-стежку, раздвинув листья, раздавив желуди, содрав мох с корней, оставив узенькую полоску крови, уже не красной, а рыжей, как ржавчина.

— Признавайся, завидуешь? Скажи правду! Сергей Петрович, завидует! Посмотрите на него! А если завидует такой стрелок, как Антонюк... — Будыка хлопал кабана по боку. — Нет, ты оцени. С двух выстрелов свалить такого слона! И не близко. Показался в тех кустах, а Сергей Петрович за тем дубом. Вон там. Сколько метров? Прикинь!

Антонюк прикинул. Всё. Одним взглядом опытного охотника и еще более — искушенного человека, который все видел, сам бывал при разных обстоятельствах и хозяином и гостем. Удивить его чем-нибудь трудно. Но подивился — ловкости и умению друга своего.

Видывал Антонюк организованные охоты, в которых загодя расписывался каждый выстрел — где, когда, с какого расстояния — и зверя чуть ли не привязывали. Потому подумал, что многие из тех охот, в организации которых и он иной раз участвовал, были, мягко говоря, бездарны по сравнению с этой. Там все было белыми нитками шито, и сами организаторы потом рассказывали

об этом анекдоты. Об этой же охоте анекдотов, пожалуй, не расскажешь. Однако Иван Васильевич не удержался, спросил:

— Сколько егерей гнало?

Будыка засмеялся.

— Ох и зануда же ты, Иван! Один. Змитрок. Пошел звонить, чтобы пришли машины.

Да, черт возьми, это надо уметь — предоставить гостю все сто охотничьих мук и радостей! Поводить его с рассвета так, что он шевельнуться не может, а потом, под вечер уже, выгнать дурака кабана точно на него, на гостя, а не на кого другого. Такой азартный охотник, как Сиротка, не удержался бы, как с ним ни договаривайся, бьет он без промаху. Так нет же — единственный настоящий охотник не мог даже выстрелить, был блокирован. Недаром лежит такой мрачный.

Антонюк повернулся к гостю:

— Поздравляю.

Человек, которому тоже давно уже перевалило за полсотни, министр, засиял от счастья, как ребенок. (Все мы на охоте, на рыбной ловле — дети.) Сразу встал. Крепко пожал руку Антонюку, задержал дольше, чем требует вежливость, внимательно вглядываясь в лицо умными карими глазами, давно научившимися распознавать людей, читать их мысли. Антонюк поздравлял искренне — выстрел отличный. Сергей Петрович увидел это и почувствовал к нему симпатию.

— А мы с вами встречались, — сказал Иван Васильевич.

— Да, да... — подтвердил гость, но не вспомнил, когда, где, — сколько перед ним проходит людей! — и, чтоб не выдать себя, отступил в сторону, давая дорогу помощнику, который ждал своей очереди познакомиться с Антонюком. (Не мог он лежать, когда поднялся начальник!)

Сергей Петрович шутливо заохал:

— Ой, ой, мои бедные ноги. Натер до кровавых мозолей.

Будыка довольно захохотал.

— Однако ж вы, Сергей Петрович, сбили не только ноги. Вот, — он все еще гладил кабана и захлопал обеими ладонями по стегну, выбивая веселую дробь, — за такой трофей не жаль заплатить и мозолью! Верно, Марьян? — обратился он к Сиротке; тот не ответил, и Будыка опять засмеялся, закричал: — Вот, видите? Сиротка совсем сиротка. От неудачи. А у Ивана глаза горят. Завидуешь? Признавайся?

— Завидую, — подыграл Антонюк.

Толстый Клепнев, перевалившись с боку на бок, сказал:

— Зависть — частнособственнический пережиток. Учитесь у меня. Я завидую только тому, кто жрет сейчас колбасу из такого хряка. И глотаю слюнки. Скорей бы приезжал Змитрок.

— Может, и вправду товарищи расстроились? — озабоченно спросил гость. — Но я так понимаю: вместе охотились... охота на такого зверя — дело коллективное.

— Да что вы словно оправдываетесь, — отозвался молчаливый Сиротка. — Разве впервые? Мы — старые зубры. Один Валентин Адамович не понимает охотничьей этики.

— Я? — закричал Будыка, непритворно взволнованный и притворно возмущенный.

— Ты. Дилетант! — насмешливо бросил Антонюк. Неведомо почему холодной волной ударила в сердце злость на Будыку.

«Что ты суетишься? Кто-кто, а я тебя насквозь вижу. Все мы принимали гостей и подхалимничали иной раз перед теми, кто над нами стоит. Но мы — грешные чиновники, а ты — ученый».

Антонюк боялся таких неожиданных перемен в себе самом. Подошел к компании в расположении добром, мягком и вдруг — без видимой причины — резкий поворот. Зачем это ему? Испортить людям настроение?

— Я? Я — дилетант? — сделал удивленный вид Валентин Адамович и тут же засмеялся: — Юпитер, ты сердишься, потому что не убил кабана. А мы убили. — И, как бы испугавшись, что Антонюк не поймет шутки, закричал, подняв руки: — Сдаюсь, сдаюсь... В постижении охотничьих тайн я вечный первокурсник.

— Не только в этом. — Но холодная волна так же неожиданно отхлынула, снова вернулось добродушие, покой, пришедшие после дня скитаний по лесу, и Антонюк сказал это просто так, не придавая словам особого значения, чтобы разговор не иссяк.

— Сергей Петрович! Если мой лучший друг начнет убеждать, что и в машиностроении я этот самый... первокурсник — знайте: такова наша дружба. Умеем «поддержать» товарища при случае.

Это, кажется, уже обида? Или хитрость? Еще одно, с заходом с тыла, напоминание начальству о своих заслугах?

— Как директор института ты — гений, Валентин. Могу засвидетельствовать перед министром.

— Видите, Сергей Петрович, с какой язвой я жил в одной землянке?

Антонюк перевел разговор на другое:

— Вырежьте железу. А то испортит мясо.

— А егерь посоветовал смалить. Кабан молодой, лётышек. Время раннее.

Понятно: гостя хотят попотчевать еще одним экзотическим зрелищем.

Клеппев ребячился, разжигал аппетит.

— Мы его сразу на сковороду. Колбаса — это вещь. Нету лучше в мире птицы, чем свиная колбаса. Мудрейший афоризм! Вершина житейской философии. У вас не верещит в ушах верещака? У меня явно начались галлюцинации. Какая верещака у нас будет! Не зря я захватил гречневой муки. На блины. Ни один повар не сготовит такой верещаки, как я.

Он перевернулся на другой бок, алчно застонал, зачмокал толстыми запекшимися губами.

— Где ты ее достаешь, гречневую муку? — удивился Сиротка. — Кто в наше время мелет гречу? Крупы и то нет.

— Не веришь ты, Марьян свет Максимович, в успехи нашего сельского хозяйства! Отстал от жизни. Давно выведен гречишно-кукурузный гибрид. Только надо уметь отделить гречиху от кукурузы. Я умею.

— Не мели, Эдуард, — остановил своего подчиненного Будыка: он не любил подобных намеков.

Клепнев Антонюка давно интересует: человек без принципов, но и не трус, бесцеремонный — через полчаса с самим богом запанибрата. С патроном своим Будыкой разговаривает на диво независимо, иногда довольно едко язвит. И однако тот держит человека без специальности, какого-то бывшего кинооператора, на должности научного сотрудника. И всюду таскает за собой. Ни шагу без него. Конечно, Клепнев — пролаза, доставала, рекламщик. В рассуждениях — циник. Но в мутной его болтовне иной раз блеснет и разумная мысль.

Невдалеке засигналили машины. Одна басовито, с хрипотцой, словно простуженная, за ней другая, голосисто, как девушка.

Клепнев приподнялся, вскинул ружье, выпалил в пожелтевшую листву дуба. Сбитые веточки стремительно падали, одинокие листья кружили в воздухе. Усталая гончая, что лежала под дубом, смешно подскочила и стала бегать по кругу, нюхая влажную землю, которая пахла старыми грибами и свежим желудем.

Сиротка поманил собаку:

— Чомбе! Чомбе!

— Чомбе? — удивился Антонюк. — Кто придумал такую обидную кличку?

— Я купил ее у Лапицкого.

— Если б собака понимала, откусила бы его шляхетский нос. Политик!

Гончая послушно подбежала к хозяину и, высунув красный язык, смотрела умными глазами, казалось, даже с укором: какому, мол, дураку вздумалось без нужды стрелять?

Хриплый сигнал послышался ближе. Клепнев опять хотел ответить выстрелом. Но Сиротка остановил:

— Зачем палить? Никуда с просеки не свернут. Дорога одна.

Медленно покачиваясь на корневищах дубов, поодаль, где проходила квартальная просека, показались машины: черный, как огромный жук, ЗИМ и светло-голубая, веселая, и вправду как девушка, «Волга».

Кабана хотели затащить в багажник ЗИМа, но Сиротка высказал опасение, что туша может пропахнуть бензином. Набросали на пол задней кабины еловых веток и положили туда.

Будыка пригласил Сергея Петровича в «Волгу». Потом позвал Антонюка. Когда двинулись, сказал:

— Надо захватить егеря. Пускай пропустит чарку.

Но не заехали. Забыли. Заговорились.

Министр и Будыка заняли деревянный особняк — охотничий домик. Все остальные помещались в гостинице, стоявшей в сосняке на склоне холма, где совсем недавно был построен дачный комплекс. Будыка неожиданно пригласил Антонюка в их дом — комнат хватает!

Комендант, хотя и старый знакомый, без особого энтузиазма встретил нового гостя — не тот ранг! — и поместил Антонюка внизу у входа, в комнатке, где при высоком начальстве поселяли охранника или порученца. Ивана Васильевича это нисколько не задело: слишком хорошо он знал «табель о рангах» и людей, которых назначали комендантами.

Умывшись и переодевшись, министр и Будыка вышли посмотреть, как под шумным руководством Клепнева (сам он ничего не делал, но всем давал советы) смалят кабана.

Сквозь дверь Иван Васильевич услышал их разговор.

— Кто он, этот... колючий, который присоединился к нам? Знакомое лицо.

— Бывший... — Будыка назвал недавнюю должность Антонюка.

— А-а... Вспомнил. А теперь где?

— Персональный...

— За что его так? Ему же, должно быть, и шестидесяти нет...

— Принципиальный идеалист. Выступил против новаторства в сельском хозяйстве. Консерватор. Держался за травы. А трава — опора ненадежная. — Будыка засмеялся, довольный своей шуткой.

Уже на крыльце (слышно было сквозь открытую форточку) министр спросил:

— Валентин Адамович, ты, кажется, крестьянский сын?

— Все мы — дети земли.

— Как ты считаешь: мудро то, что мы делаем сейчас в колхозах?

— У меня другая сфера, Сергей Петрович.

— Да, да... У нас — другая сфера. Наша хата с краю. — Гость как бы спешил окончить случайный разговор, но в голосе его Антонюк услышал разочарование и боль — ту самую боль, что щемит и его сердце. Это подбодрило. Так когда-то подбодрили горечь и боль, не услышанные — увиденные в глазах человека, который, председательствуя на высоком заседании, вынужден был ставить на голосование предложение «принципиальных» людей «об освобождении Антонюка от обязанностей... за ошибки, допущенные в работе».

Предложил эту мягкую формулировку он, председательствующий. А некоторые из тех, с кем Антонюк съел пуд соли, кто не раз клялся в дружбе, подкидывали и такое: за несогласие с поли-

тикой партии... Привыкли мнение одного человека, подчас довольно спорное, выдавать за политику партии!..

Условились: пока не будет приготовлено хоть одно блюдо из кабана — за обед не садиться. Но охотники основательно перекусили в лесу, а Антонюк с утра натощак. И так засосало, что не выдержал — пошел на кухню раздобыть бутерброд. Повар пожаловался на Клепнева: не таких людей он кормил и никто так не лез в его хозяйство и работу.

Иван Васильевич решил не идти туда, где смалили кабана. Столпились, как дети. Но Клепнев неведомо как разнюхал, что здесь есть и такая вещь, как солома, — для экзотики. Известно, что от соломы совсем другой дух и вкус.

Разоблаченный комендант должен был выдать два тяжелых снопа золотистого житовья. И после того как половина туши была осмалена паяльной лампой, стали досмаливать соломой. Тут уж Иван Васильевич не выдержал. Позвала душа селянина, поэта.

Смеркалось. Лес вокруг. По-осеннему глухо шумят сосны. Слетелись к жилью вороны. Перелетают с вершины на вершину, ненавойливо каркают. Ярко горит солома. Искры гаснут в темных ветвях сосен. Силуэты людей. Их тени. И своеобразный, ни с чем не сравнимый, знакомый сызмалу запах соломенной гари, щетины, прихваченной огнем свежины. Отойти, оторваться от этого зрелища не в силах тот, в ком это живет как незабываемое впечатление детства.

Смалили Сиротка и комендант. А Клепнев прыгал вокруг, раскрасневшийся, в расстегнутой куртке, и давал советы, кричал человеку, который на этом зубы съел, что он ни черта не умеет, все сало испортит и всю шкуру сожжет.

— Вахлак! Недотепа! Гляди, как потрескалась и покрылась пузырями!

Клепнев языком умел сделать все, руками — мало что. Антонюк не выдержал, прикрикнул — нарочно, как на мальчишку:

— Не путайся под ногами. Лучше сбегай по воду.

Годы, прежнее служебное положение Ивана Васильевича и его тон на миг смутили развязного толстяка. Но только на миг. Он тут же вспомнил, что Антонюк теперь всего-навсего пенсионер, и весело рассмеялся. Послал по воду шофера. И предложил послушать анекдот про пенсионера. Однако министр, чтоб не допустить этой бестактной мести, перебил Клепнева: стал рассказывать об охоте на медведя где-то в Сибири.

Слушали внимательно — Будыка, почему-то притихший, да шофер министра, который ни к чему не прикасался. Антонюк приметил, что даже машину шофер вел в перчатках; грузили кабана — министр тащил вместе со всеми, а шофер стоял в сторонке, молчаливый, важный, одетый в модный плащ, будто ему идти на бал, а не вести машину сотни километров.

Остальные суетились вокруг кабана. Антонюк вооружился ножом, засучил рукава пиджака и скоблил осмаленную тушу, тер

мокрым клоком соломы. Работа захватила. Так же захватила она и Сиротку, тот даже кряхтел от удовольствия и, втягивая носом вкусные запахи, вытирал лицо и нос рукавом, по-деревенски, счастливо улыбался и был совершенно равнодушен к клепневской болтовне и его небезобидным наскокам.

Иван Васильевич понимал своего старого соратника по охоте. Простая, знакомая с голоштанного детства работа давала наслаждение, удивительно хорошо настраивала, делала добрым, покладистым, веселым. Он пожалел министра, который — по всему видать — человек городской и не чувствует своеобразной поэзии этого смаления, да еще в такой час — в сумерки, когда ярче полыхает огонь, становятся летучими звездами искры, обостряются запахи... На охоте такое вот первобытное чародейство над добычей, пожалуй, самое приятное. Неужто же Будыка, крестьянский сын, партизан, навсегда утратил ощущение этой поэзии? Смотрит в рот министру...

«Валька, черт! Ты же доктор наук... Держись с достоинством! Чего тебе не хватает?»

Осмаленную, выскобленную и отмытую тушу на носилках, устланных чистой соломой, торжественно — с соблюдением всего дедовского ритуала — отнесли в погреб под гостиницей — в разделочную.

Антонюк не любил свежевать. Это разбивает то настроение, которое создается при осмаливании. Все, что приходится делать потом, превращает человека в мясника, в потребителя, который в охоте не умеет видеть красоты.

Гулять по лесу больше не хотелось. Устал все-таки товарищ пенсионер. Полежать бы до ужина, ведь он, конечно, затянется — разгуляются казаки, Клепнев умеет пирушку наладить, расшевелит любого аскета. А тут, видно, собрались не дураки и выпить и закусить. Ему в его годы не стоит перехватывать.

Но что-то тянет его сегодня к людям.

Увидел в ярко освещенных окнах бильярдной силуэты гостя и Будыки — пошел к ним.

Партия кончалась. Министр выигрывал.

— На «выброс», — сказал с порога Антонюк и стал смотреть на последние удары. Нет, тут Валентин Адамович не подыгрывал гостю, не организовывал ему еще одну радость на отдыхе. Играл Будыка слабо. Мазал даже подставки. После одного такого удара Иван Васильевич пошутил:

— Валя, бильярдист-дилетант — высшая для тебя аттестация. Мазило Мазилович — вот ты кто.

— Когда смотришь со стороны, то кажется — любой шар легко положить, так это просто: удар — и там. Погляжу, как ты будешь забивать с кием в руках.

Сколько лет они дружат, а играть вместе им ни разу не пришлось, разве очень давно, сразу после войны, когда и он был таким

же начинающим любителем, каким остался до седых волос Будыка.

«Однако все совершенствуется, дорогой Валя. Ты стал доктором наук, я — недурным бильярдистом, особенно за последний год, когда у меня столько свободного времени, а рядом с моим домом — одна творческая организация, где можно с утра до вечера гонять шары».

У гостя набита рука, удар есть, как говорится, стихийный, без теории. А любая практика должна быть подкреплена теорией. «Элементарную истину эту следует знать, товарищ министр». Антонюк решил немножко поразвлечься. Сбросил пиджак, готовясь к бою, остался в простой, в клеточку, фланелевой рубашке. Худощавый, низкий рядом с дородным гостем, но пружинистый, стройный, со спины — юношеская стать. Прикинул на вес один кий, другой; тот, что выбрал, проверил — ровный ли; не спеша натирал мелом кожаную наклейку.

Министр разбил шары осторожно — отколол от левого угла два, и они стали перед лузой один за другим — почти подставка. Иван Васильевич хотел их не бить, а щедро, как делают неумелые новички, рассыпать по столу уже чуть стронутую пирамидку: пускай забивает гость на радость Будыке. Но Валентин пустил первую шпильку.

— Посмотрим, умеешь ли ты хоть подставки брать. — И — черт бы его взял! — сразу задел азартную струнку.

Иван Васильевич со спокойствием уверенного в себе игрока, не целясь, сильно ударил и... промазал. Шар поцеловал борт, пошел к другому, противоположному, потерял инерцию, осторожно остановился у нарушенного, но не разбитого треугольника. А «свой» стал у лузы — верная подставка.

Будыка язвительно засмеялся.

— Вот это удар! Прямо-таки классический! Иван! Не позорься!

Всю жизнь Иван Васильевич приучал себя не злиться, не терять спокойствия из-за мелочей. И в результате научился отлично держаться в самых сложных ситуациях. А вот такая ерунда — промазанный шар — и такой вот смех могут испортить настроение. Он понимал юмор и любил его, но злой насмешки не прощал.

Сергей Петрович, как деликатный гость, даже улыбкой не поддержал Будыку: мол, хорошим игрокам известно, что в игре всякое бывает. Серьезно и аккуратно положил шар. А потом, уверенный, что перед ним игрок не сильнее Будыки, сделал то, что намеревался сделать Иван Васильевич, — вторым ударом разогнал шары по столу: на, забивай, какой хочешь, веселей игра пойдет.

Антонюк обошел вокруг стола — какой выбрать? Долго целился, но так, чтоб нарочно промазать.

— Ну, ну! Покажи класс! — зубоскалил Будыка.

— Куда мне! Мой удар что твой автомат: грохота много, а дела...

Валентин Адамович поперхнулся. Удар был действительно с грохотом, но мимо.

Будыка хихикнул.

— Сергей Петрович! Поглядите на этого человека! Я считаю его лучшим другом вот уже почти четверть века. А думаете, слышал от него хоть одно доброе слово? Черта с два! Все он разносит... хотя не раз уже горел за свое критиканство...

— Не волнуйся: за критику твоих автоматов пенсии меня не лишат.

— Что ты в них смыслишь? Это ведь тебе не травы!

«Валька, ты глупеешь. Или становишься слишком самоуверенным. Не лезь пальцем в рану, а то раздразнишь тигра. Покуда я добрый. Я просто хочу спустить тебя с неба, куда ты вознесся, на грешную землю. Ты мог бы умнее парировать мой легкий удар — сам бы спустился, посмеялся бы вместе. Твой министр способен многое понять. Слышишь, что он говорит?»

— Валентин Адамович, может, не будем считать со своей технической колокольни, что травы — вещь второстепенная? — сказал гость мягко, деликатно, с явным намерением направить беседу в шутливое русло.

Иван Васильевич опять долго прицеливался и опять нарочно не положил, хотя шар мог и пойти.

— Как активный пенсионер я работаю в группе партконтроля горкома. Встречаюсь с людьми, которые кое-что смыслят и в твоих автоматах. Хочешь послушать, что сказал о вашей последней линии Калейник, главный инженер?..

Будыка стремительно оторвался от подоконника, где было примостился, загородил Ивану Васильевичу дорогу вокруг стола. Лицо его недобро передернулось. Нет, он не хотел слушать то, что сказал Калейник.

— Твой Калейник погорел уже на своих ревизионистских прожектах. — И повернулся к гостю: — Не нравится ему, видите ли, наша система руководства промышленностью...

— А вы считаете, что она совершенна? — спросил министр.

«О, дядька с головой! А ты, Валька, дурак! Все. Точка. Больше я не трогаю твоих автоматов, а то ты нагородишь чепухи перед министром. А я тебе не враг».

Отворилась дверь, и на пороге бильярдной показался Клепнев, кругленький, румяненький, как ангелочек, с бутылкой коньяку в одной руке, с подносом — на нем рюмочки, тарелки с напудренными ломтиками лимона — в другой.

— Пока там... верещака-натощака, мочанка, кровянка и колбасы, до которых я ласый... для подкрепления сил духовных и физических... как сказал поэт, для расширения сосудов, как говорят доктора... Прошу! — и движением опытного официанта бросил поднос на столик, поставил бутылку. — Валентин Адамович, наливай. — И тут же Антонюку: — Иван Всильевич, хочу что-то спросить по секрету.

Антонюк вышел за ним следом.

Клепнев притворил дверь и зашептал, дыша в лицо коньяком:

— Слушай! Что ты там городишь? Балда! Я слышал через дверь. Да эти автоматы выдвинуты на Ленинскую премию. А Сергей Петрович член комитета и главный эксперт. Твой Калейник сам хотел примазаться... Здорово ты поддерживаешь друга! Вот так мы и топим один другого! Идиоты!

«Ах, лакейская твоя душа! Давно ли ты ходил передо мной на задних лапках? А теперь — «ты», «балда»? Дать по морде, что ли, за такое хамство? Не хочется руки марать».

— Ясно.

— Гляди же.

— Гляжу.

Сергей Петрович и Будыка ждали их с налитыми рюмками.

— Против кого заговор? — спросил Будыка.

— Против тебя. — Ивана Васильевича предупреждение Клепнева страшно разозлило, и он вошел в бильярдную с твердым намерением продолжить разговор об автоматических линиях уже не шутя, а рассказать, какие отзывы слышал от специалистов. Но Валентин смотрел на него такими добрыми глазами и улыбался... Нет, совсем не заискивающе — спокойно, дружески, по-хорошему, так, что Антонюку стало неловко за то, что хотел насолить другу.

«Старый петух! Мало тебя жена пилила, что из-за своего характера ты растерял друзей. И горел. Не однажды. Но что Вальку за две минуты так преобразило? Слова министра? Какие? Дядька как будто не из тех, кто раздает обещания. Догадался, о чем говорил Клепнев? Ну, черт с вами! На кой мне, досрочному пенсионеру, заедаться?»

Сергей Петрович сказал, обращаясь к Антонюку и Будыке:

— За вашу дружбу, — и лукаво улыбнулся.

— За нашу дружбу! — расширил Клепнев и объявил, паясничая: — Зануда повар пообещал через полчаса «дать первый выход блюд». Наконец-то! Разленился, стерва. А коньяк хлещет, как верблюд. Бутылку вылакал — подобрел. Я не спускаю с него глаз.

Будыка засмеялся, видно, довольный, что у него такой помощник. Чокнулся с гостем еще раз.

— Сергей Петрович, я человек не красноречивый и тостов говорить не умею. Но не могу не поблагодарить вас за помощь... от имени института...

— Я еще ничего для института не сделал.

— Самый ваш приезд... — подхватил Клепнев.

— Поехали, — прервал их гость и, плеснув коньяк в рот, бросил туда ломтик лимона. Сморщился. Спросил у Антонюка: — Чей удар?

— Мой.

Клепнев налил еще по одной, выпил свою и помчался нажимать на повара.

— Надо нам как-нибудь добить до ужина.

— Подкрепив силы духовные и физические, как сказал великий комбинатор Клепнев, мы не можем играть по-давешнему. Не имеем права. Нет, не можем.

Зайдя с другой стороны стола, Антонюк, недолго целясь, положил весьма нелегкий шар.

— О-о! Это работа! Ничего не скажешь, — похвалил министр, вынимая шар из лузы.

— Что значит добрый коньячок! Дает остроту глазу, твердость руке. Ай-яй-яй. Гляди ты! Совсем не тот удар!

Антонюк дурачился. Второй шар с треском лег в ту же лузу.

У Будыки вытянулось лицо. Гость нахмурился, поняв, что этот невысокий живой человек с острым языком разыгрывал его, как мальчишку.

Сергей Петрович, человек спокойный и рассудительный, был равнодушен и к проявлениям подхалимства, и к той задиристой неуважительности, которую иногда выказывал кое-кто из способных молодых специалистов: нам, мол, наплевать на то, что ты министр. Но такое отношение обидело, даже оскорбило. Как ни старался он быть простым и объективным, многолетнее пребывание его у власти и все то, что власть дает, сделали министра чувствительным к тому, как его принимают. Не в смысле внешнего ритуала. Можно посмеяться над глупой и умной угодливостью, над любым подхалимством, над бравадой молодых. Но и в том и в другом случае, хотя это вещи как будто противоположные, нельзя, имея голову на плечах, не видеть, что все происходит оттого, что принимают тебя с высокой серьезностью, с пониманием твоих прав, власти, возможностей.

А этот тип, который сам был «наверху» и дожил до седых волос, принимает его не всерьез, дурачится. Издевается, конечно, над охотой и над игрой этой. Над ужином, который так торжественно готовят в его честь. Но соблюдает при этом такт и этикет. Это открытие сперва крепко задело гостя. Он попробовал успокоить себя мыслью, что Антонюк просто мстит за свою обиду и потому лучше не обращать на него внимания, ведь такие обиженные только унижают этим самих себя. Но уменье разбираться в людях подсказывало, что Антонюк глубже и умнее многих из тех, кого по разным причинам, правильно и неправильно, спустили с высоких должностей на более низкие или до времени отправили на пенсию. Краткое знакомство, информация, за что он «погорел», заставляли думать, что это не тот человек, на которого можно не обращать внимания и назавтра забыть о встрече.

«Так почему ж он не принял меня всерьез?»

Эта мысль портила настроение.

Министр начал насвистывать арию тореадора.

Будыке рассказывали работники Комитета, что, когда Сергей Петрович не в духе, недоволен, сердит, он всегда насвистывает эту

бодро-воинственную мелодию. Валентин Адамович встревожился и уже не просто злился на Антонюка — пылал гневом: «Погоди, я тебе все это припомню!»

Но потом успокоился, потому что рассудил, что ему, пожалуй, выгодно, если гость настроится против Антонюка, поймет, что за птица перед ним; тогда он вряд ли обратит внимание на его слова об автоматах. Мало ли что мог такой паяц болтать за игрой на бильярде! Но через несколько минут министр напугал Валентина Адамовича. Когда партия кончилась, гость согласился на предложение Антонюка сыграть еще раз и, ставя шары, весело сказал Ивану Васильевичу:

— Я взял бы вас своим заместителем.

Антонюк засмеялся:

— По бильярду?

Министр ответил серьезно:

— Разумеется, если б вы были специалистом в нашей области.

Будыка ничего не мог понять и с напряженной подозрительностью следил за каждым ударом, как будто бы в них был заключен определенный смысл, чутко ловил каждое слово игроков.

Наконец, довольный самим собой, Клепнев, совсем уже тепленький, пригласил в столовую.

О такой трапезе обычно говорят: стол царский. Нет, этот стол нельзя было назвать царским, тут хорошо, с выдумкой, позаботились, чтоб он был деревенский, белорусский. Предложены были, разумеется, и деликатесы — икра, крабы. Но бросалось в глаза, разжигало аппетит не это, а яства натуральные: белые грибки, один в один, маленькие, твердые, маслянисто отливали янтарем; соленые рыжики прямо горели в салатницах; отборные огурчики, казалось, сами просились в рот; посреди стола, в огромной глиняной миске, дышала пахучим паром белоснежная рассыпчатая картошка, а рядом на сковороде еще шкварчала кровянка, стреляя пузырями жира; в сверкающей кастрюле еще булькал особый охотничий кулеш из кабаньих потрохов, рецепт приготовления которого знали только Сиротка и Антонюк. Иван Васильевич даже приревновал, не выдал ли Сиротка по простоте своей рецепт повару, который чаще готовит не для настоящих охотников, а для таких вот организаторов, как Будыка, и таких стрелков, как сегодняшний гость.

Оглядев придирчивым глазом стол (были приглашены все — шоферы, комендант, повар), Антонюк сказал себе в тарелку, ни к кому не обращаясь:

— Не вижу главного охотника — егеря.

Всем стало неловко, даже пьяненький Клепнев растерялся. Будыка всполошился не на шутку: черт его принес, этого обозленного отставника, испортит всю обедню; если еще выпьет — не оберешься беды.

Но Иван Васильевич пил очень сдержанно, был мягок, никому

настроения больше не портил, наоборот — веселил охотничьими рассказами.

Обедню испортил Клепнев — под конец ужина сполз под стол и залаял по-собачьи.

II

Иван Васильевич понимал тревоги и заботы жены. Всю замужнюю жизнь она огорчалась, даже страдала оттого, что муж мало бывал дома — с ней, с детьми, часто задерживался вечерами, часто уезжал в командировки, а в выходные, праздничные дни — на охоту.

Теперь же ей кажется, что он слишком много сидит дома, слишком много думает, читает. А она считает, что для него вредно и то и другое. О чем он может думать? Конечно же, о том, что его обидели, преждевременно превратили в старика. А такие мысли, как утверждает медицина, вызывают вредные эмоции. (Ольга Устиновна аккуратно читает журнал «Здоровье».) Эмоции эти в его возрасте могут привести к тяжелым изменениям сердечно-сосудистой системы. Много читать — не те глаза, давно уже жаловался, что от чтения болит голова.

Ольга, начитавшись «Здоровья», считала, что для людей их возраста главное — деятельность. Недаром сама после продолжительного перерыва — растила детей — пошла на работу.

Иван Васильевич видел, что жена очень страдает из-за того, что он, еще совсем здоровый мужчина, должен был превратиться в пенсионера. Два года живет без коллектива. А ведь раньше и дня без людей не мог прожить. Ольга убеждена, что в старости человеку даже больше, чем в молодости, нужны люди.

Ивана Васильевича удивляло до умиления и в то же время смешило, что Ольга, женщина практичная, очень земная, под старость становится такой книжно-правильной.

Иногда и его пугало, что он входит в эту роль — пенсионера. Как приступы боли от камня в печени, так же внезапно, без осознанной причины, приходили иной раз страх и отчаяние. Но, к счастью, ненадолго — на минуты. А так обычно он относился с иронией и к своему новому положению, и к волнениям жены. И если сидел подолгу дома в одиночестве, то вовсе не оттого, что сковывали тяжкие раздумья над собственной судьбой. Нет. Иногда он бездумно отдыхал после многих лет напряженной работы, иногда углублялся в воспоминания, а чаще всего просто играл роль, выдуманную Ольгой, забавлялся, чтоб еще больше встревожить ее и заставить ухаживать за ним, как за ребенком. Он не считал это жестоким по отношению к жене, потому что ни злости, ни обиды не испытывал и ее преувеличенное внимание к его переживаниям не раздражало. Он понимал: это в первую очередь нужно ей самой, без таких забот и волнений жизнь ее обеднела бы. Одно не понравилось ему, и он выразил своеобразный протест. С полгода

назад он начал тайком, по ночам записывать свои партизанские воспоминания. Ольга также тайком стала читать каждую запись. Отыскивала рукопись, где бы он ни спрятал, у себя в квартире она все могла найти.

Иван Васильевич разозлился и бросил писать. Зачем? Немало таких воспоминаний написано и без него, и немало неправды. Без намеренья напечатать, без цензуры — женихой, читательской, — без необходимости таиться он, может быть, и мог бы написать что-нибудь стоящее. А так — нет.

Неделю назад, когда высокого «врага трав» попросили выйти на почетную пенсию, так же как некогда его, Антонюка, Ольга, обрадованная, сказала:

— Ваня, может быть, теперь тебя вернут на работу?

— А я не хочу! Мне хорошо пенсионером!

Он сам не понимал, почему рассердился, и, сказав неправду, напугал и огорчил жену.

Странно: отставка человека, с которым он, Антонюк, во многом не был согласен и из-за субъективного прожектерства которого несправедливо наказан, не обрадовала. Только напомнила боль, что испытал он в те дни, когда решалась его собственная судьба. Сейчас жена волновалась не без оснований: последние дни он и правда жил в тяжких раздумьях. В тревоге, в надежде. Снова спорил со своими противниками, действительными и воображаемыми, — с людьми, которые руководили им, с бывшими товарищами и — весьма возможно — с завтрашними сотрудниками. Но больше всего — с сыном...

«Ах, дети, дети! Я жил для вас, работал для вас. И мне хочется одного: чтоб хоть кто-нибудь из вас понял это и сказал спасибо. Не за то, что я вас родил, вырастил, вывел в люди. За работу, которую я делал. Для всех детей».

Иван Васильевич ласково положил руку на головку внука, на его мягкие-мягкие, как пушок, золотисто-белые волосенки. Трехлетний мальчик недовольно мотнул головой, чтобы сбросить тяжелую руку деда: увлеченный сказкой, он не хотел никаких нежностей. Мужчина!

Они сидели перед телевизором. Малый и старый. Смотрели «Снежную королеву». Антонюк давно заметил, что с наибольшим интересом он смотрит мультфильмы-сказки — по народным, по Пушкину, по Андерсену. Все здесь правда. И Снежная королева и тролль. И превращение маленького Кая. И настойчивые поиски Герды. Сказочные приключения детей волнуют до замирания сердца, до слез умиления и восторга. А вот многие фильмы для взрослых кажутся ему надуманными, неинтересными, потому что якобы глубокие проблемы, поднятые авторами, по сути воображаемые, жизнь героев упрощена. Вот, например, фильм о колхозе, который он недавно смотрел. Его возмутила видимость смелости и видимость правды, подчиненные одному условному тезису и единственному желанию авторов фильма — угодить автору тезиса. Он от-

лично знает председателя, с которого написан герой, не однажды по работе сталкивался с этим дьявольски сложным характером. В фильме взяты внешние черты этого характера и внешние приемы работы живого председателя. Когда Иван Васильевич попробовал это высказать, люди, что десяток лет назад сочли бы такой фильм крамолой и что сейчас глубокомысленно, выдавая за собственные, повторяют его, Антонюка, слова, эти люди тогда смотрели на него, как на отставного чудака, которому уже терять нечего: получил персональную — может молоть что хочет.

Звучал телевизор чуть слышно: в спальне Лада готовилась к семинару по квантовой механике. В доме никто не смел повысить голос, когда она садилась за свои теории. Чудо, что она хоть так разрешила им смотреть телевизор.

Иван Васильевич много раз говорил и в шутку, и всерьез, что Лада — эгоистка и деспот в доме. Но любил младшую дочку и все ей прощал — за ее способности: рос выдающийся физик, дитя своего времени. Не какая-нибудь посредственность, как... Как кто — он боялся говорить, потому что, когда однажды сказал это при жене, назвал старшую дочь Майю, Ольга обиделась и целый день плакала: для матери — все дети равны.

Лада вошла в комнату. Зная, что она сразу начнет делать замечания о том, что происходит на экране, Стасик быстренько соскочил со стула и крутнул регулятор на полную громкость.

Ивану Васильевичу тоже не нравилось, когда Лада едко-насмешливыми словами разрушала настроение, создаваемое сказкой. Но на этот раз Лада смолчала. Присела к столу и молча смотрела заключительные сцены мультфильма.

Кай и Герда прощались с оленем и лапландкой. Неизвестно, как малого, а старого зрителя больше всего растрогал этот удивительный, умный олень.

Иван Васильевич даже вытер тайком слезинку.

Лада вздохнула.

— Счастливые дети из счастливых сказок! Все чудеса им так легко давались! Но мне их жаль. Осколочки того зеркала тролля все еще летают. И людей мне жаль. Они много говорят, а мало знают. О, если б они знали все формулы тонкой структуры атома водорода! Все релятивистские эффекты!

— А зачем это всем знать? — улыбнулся Иван Васильевич.

— Действительно — зачем? А зачем мне это знать?! О боже! — простонала Лада, но Иван Васильевич привык, что дочь редко говорит серьезно. — Я вся набита формулами, как бочка сельдью. Я сквозь формулы гляжу на мир, на людей. Страшно! — Тут уже Иван Васильевич насторожился, слова дочки звучали не шуткой — криком души. — Мне бывает страшно! Я так много знаю, что иной раз кажется — ничего не знаю. Все постулаты, уравнения, формулы сливаются в кошмарную муть. Кажется, что мысли мои, сама я — та же бесспиновая частица в кулоновском поле. Однако ядро... Что ядро? Кто ядро? «Постоянная тонкой

структуры омега стремится к нулю, поскольку в ее выражении скорость света является ее знаменателем». И я... я в этом полете мыслей прихожу к нулю. Я — нуль, нуль, нуль! Я ничего не знаю, ничего не открою! Я набиваю себя чужими формулами.

На экране молоденькая артистка пела:

Вновь я грущу над заветным письмом,
Мой синеглазый друг.

Лада хмыкнула:

— Ах, какие страсти! Но для меня — или лирика, или физика. — И, стремительно обойдя кресло, в котором сидел отец, выключила телевизор.

Трехлетний зритель, которому, очевидно, понравилась песенка о любви, заверещал на весь дом и, вскочив, стал колотить Ладу кулачками по спине:

— Ладка-оладка, гадкая! Включи!

— Вот как надо воевать... за свое право на эстетическое наслаждение. А что уж говорить о борьбе за место в жизни! Мой дорогой племянничек крикун и мазилка! Ты знаешь уравнение Клейна — Гордона?

— Включи!

В дверях появилась Ольга Устиновна.

— Стасюлька! Идем на кухню. Я тебе сказку расскажу.

— Не хочу сказку! Хочу тевизол!

— О, несчастье на мою голову! Я сегодня же предъявлю ультиматум его родителям! Кукушки! Подкинули плод своей холодной любви!..

— Включи! Ладка-оладка!

— Как не стыдно, Лада. Ты деспот в доме. Из-за своей физики готова всех нас выгнать.

— И выгоню!

— Иван! Слышишь, как она разговаривает! А ты молчишь, потворствуешь.

— Включи!

— На́ тебе твой тевизол. Но тихо! А то получишь уравнение Дирака.

— Сама ди-лака.

На экране танцевала балетная пара.

— О, это уже нечто серьезное. Мама, ведь ты же уверена, что я гений. — И снова обернулась к отцу, как бы продолжая прерванный разговор: — А если я ничто? Пожизненная лаборантка? Так на какого дьявола мне такие муки? «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты...» — это я запоминаю легче, чем моя дорогая сестра, словесник. И когда написано, помню, а она давно уже забыла. Я все помню. И для этого мне не нужно жечь свой мозг, свивать извилины такими петлями, что когда-нибудь сам черт там ногу сломит, у меня в мозгу. Нет! Всё! К черту физику!

Выхожу замуж! За того черного, Джозефа, что был у нас на вечере. Помнишь, мама? Недурен, правда? Уговорю его бросить университет, вернуться домой, в Африку. Он как будто сын вождя какого-то племени. Пускай устроит переворот, сбросит папашу, садится на трон. Я такой организую порядочек — мир удивится! А тебя, папа, приглашу обучать негров агрономии. Хочешь, мы сделаем тебя президентом? Чего ты улыбаешься? Был же белорус президентом на Гавайских островах. Почему бы тебе не быть? Ты человек справедливый, не деспот, не тиран... Истый интернационалист.

— Лада, не болтай чепухи.

— Мамочка, ты считаешь, что это чепуха? Ох, дорогая моя мамуля, плохо ты знаешь свою дочь.

Нет, мать хорошо знала характер младшей дочери и уже тогда, на том вечере, очень испугалась, когда увидела, как Лада танцует со студентом-негром какой-то африканский танец, который показался ей чудовищным.

— Иван, скажи, чтоб она не играла на моих нервах.

— Ты не хочешь, чтоб я вышла за негра?

— Выкинь из головы дурацкие мысли!

— Ах, вот как! А ты знаешь, дорогая мама, что это называется расизмом?

— Называй как хочешь.

— Вот, товарищ марксист, как вы воспитали свою жену. Любуйтесь!

Иван Васильевич захохотал.

— С тобой, Лада, не соскучишься.

— Потакай, потакай, она тебе такое выкинет коленце, за голову схватишься потом, — обиделась на мужа Ольга Устиновна.

— Да ну вас, — отмахнулся Антонюк, вставая с кресла.

— Всё. Оттаскивай, мама, внука от тевизола. Антракт окончен. Действие второе. Подготовка к практикуму: «Измерение энергии аннигиляционных гамма-квантов». О, моя бедная голова! Дорогие родители! К вашему сведению: явление аннигиляции заключается в том, что при встрече частицы с античастицей обе перестают существовать, превращаются в другие частицы. Хитро́? А какая при этом выделяется энергия? Вот потому прошу полной тишины!

Но тишина царила недолго. Сперва жена шепотом просила повлиять на Ладу, чтоб она не увлекалась негром, «а то при ее шалом характере недалеко и до беды».

Ивана Васильевича это развеселило.

— Ты отсталый элемент, Ольга. Надо крепить международные связи.

— А ты старый дурень, — рассердилась Ольга Устиновна, увидев, что муж смеется над ней.

Но сердиться она не умела и через минуту стала с наивной хитростью уговаривать, чтоб он сходил к кому-нибудь из старых друзей, по-прежнему занимавших высокое положение.

— Такие перемены. Неужто тебе не интересно узнать, что там думают?

— Нет, не интересно... Что думает — не каждый скажет. А что каждый из них скажет, это я знаю наперед.

— Иван, ты губишь себя.

— Гублю.

— Ты замуровываешь себя в четырех стенах.

— Замуровываю.

Она трагически застонала:

— О, если бы кто-нибудь знал, как ты играешь на моих нервах. От тебя переняла и Лада... Два тирана!

Густые, поседевшие брови его сошлись над переносицей, резче стали морщины под глазами и у рта. Глубоко вдохнул и задержал воздух. Обидели слова жены. Однако перемог обиду. Спросил с болью, ласково, шепотом:

— Я тиранил тебя, Оля?

Жена приблизилась, положила руку ему на голову, на волосы, которые всегда казались ей жесткими, потому что он коротко стригся — под бокс. Но когда-то они были черные, как вороново крыло, а теперь, хотя и не очень еще поседели, как будто выцвели. «И, кажется, помягчели», — подумала она. Сказала:

— Тиранят дети. Они эгоисты. И ты. Ты стал, как маленький.

— Я — пенсионер.

— Иван!

— У тебя что-то горит на кухне!..

Потом Иван Васильевич задремал. Больше всего его пугала такая внезапная дремота. Чаще, чем что другое, она напоминала о приближении старости, о вынужденном бездействии. Раньше он мог работать двое суток без сна, без отдыха и не помнит, чтоб хоть раз уснул за рабочим столом, в кресле.

Разбудил крик Лады и Стасика. Понял, что пришли зять и старшая дочка. Лада протестовала против их раннего прихода: завтра ей надо измерять энергию гамма-квантов.

Голоса Майи не слыхать. Ее голоса никогда не слышно. Она добивается своего молчанием и слезами. На мать это действует вернее, чем Ладин крик.

Звучит солидный басок зятя. Все трое наступают на Ладу, как всегда обвиняя ее во всех смертных грехах: эгоизме, истеричности и так далее.

Бедная девочка! При нечеловеческом напряжении ума, которое требуется, чтоб познать тайны всех этих нуклонов и антинуклонов, позитронов и мезонов, ей приходится тратить поистине ядерную энергию, чтоб организовать тишину. Наверху скачет соседский сын так, что звенит посуда в серванте, за стеной без конца бренчит пианино, за другой стеной плачет ребенок. И это в добротном старом доме, жильцам которого завидуют. А как можно изучать атомную теорию или писать стихи в тех «гармониках», которые стали строить в микрорайонах?

Зять вошел, не постучавшись. Поздоровался, будто милость оказал:

— Добрый день, Иван Васильевич.

— Добрый день, отроче Геннадиус, сын Филиппов.

Зять хохотнул над этой новой формой обращения к нему. Весело, но с ноткой этакого снисходительного превосходства: мол, давай, давай, чуди, старый хрыч, больше тебе нечем заниматься. Со стола, из-под носа Ивана Васильевича, сгреб все газеты.

— Есть «Недель ка»? Надо взять почитать.

Надо взять — и никаких гвоздей, не попросит, не осведомится: а прочитал ли эту «Недельку» сам хозяин?

Такая бесцеремонность уже не трогала. Раньше когда-то возмущался. Зять, когда жил здесь, с ними, так же лазил по книжным шкафам, не стеснялся заглянуть и в ящик стола, если Иван Васильевич забывал запереть его на ключ. Мог без стука зайти даже в спальню ночью, чтобы спросить, где сегодняшняя «Комсомольская правда» или в каком году умер Плеханов.

Несколько раз Иван Васильевич взрывался — выдавал «на высоких нотах» и ему, Геннадию, и Майе, и доброй теще, которая дрожала, как бы, упаси бог, не обидеть дорогого зятька. Постепенно выработался некий иммунитет: научился не только сдерживать возмущение, но тушить его в самом зародыше. А вот удивляться не перестал. Прямо поражала необыкновенная способность этого человека — их зятя — не усваивать самых простых, элементарных правил культурного поведения.

Иван Васильевич при всем своем богатом опыте никак не мог понять — почему это? Не дурак же парень. Безусловно хитер. Женился, верно, по расчету. Однако нельзя сказать, что так уж надеялся на положение тестя. За то, что, работая слесарем в гараже, учился на вечернем отделении института и пускай посредственно, но без единого провала сдавал все экзамены, Иван Васильевич прощал ему все. И после своих срывов казнил себя и просил прощения — не у зятя! — у жены, потому что с Геннадия «как с гуся вода». А Ольга плакала после мужниных вспышек.

Но вот уже два года, как Геннадий — инженер, начальник участка на автозаводе. Не без его, Антонюка, помощи получил квартиру, однокомнатную, но отдельную и в хорошем районе. Спасибо за это, как и за многое другое, Иван Васильевич от него, конечно, не услышал. Более того, зять вел себя так, как будто его обманули и не отдают обещанного. Претензий он, правда, никаких не высказывал, — это была, пожалуй, единственная пр[illegible]ета его культуры, однако брать не стеснялся; явно под его влиянием и Майя становилась по-кулацки жадной. Когда у них на новоселье, среди множества вещей, совершенно ненужных молодым людям в маленькой квартирке, Иван Васильевич увидел и халат, который ему подарили узбеки, то это так его развеселило, что он, подвыпив, весь вечер хохотал, на удивление своим и гостям. Ольга Устиновна только дома узнала причину его веселья, когда он стал

допытываться: «Нет, ты скажи мне, пожалуйста, а халат... халат узбекский им на что?» Но и это Иван Васильевич умел понять и простить. В зяте сильна крестьянская психология, правда — не народная, естественная, а извращенная, изуродованная городом и далеко не лучшими личными качествами.

Таких людей он видел немало, особенно в той сфере, где долго работал, — в органах, руководивших сельским хозяйством.

Одного не мог простить зятю: как тот встретил его выход на пенсию. Сказать ничего не сказал. Но во всем его поведении как бы чувствовался укор: подвел ты меня. Это как-то не укладывалось в голове у Ивана Васильевича. На что еще человек рассчитывал? На должность, на карьеру? Но ведь совсем другая область! Что мог ему предложить Иван Васильевич — место инженера РТС? Так ведь ни у него, ни у дочки и в мыслях нет уехать из Минска. Куда там! Работой своей довольны и она и он.

А потом это обидное сверху вниз: что с тебя возьмешь, с пенсионера! И родственное утешение: не горюй, старик, как-нибудь проживем. Уже раза два пытался похлопать по плечу.

Выработанный иммунитет помогал Ивану Васильевичу все стерпеть. Хотелось лишь одного: до конца понять этого человека, своего зятя. Правда, иной раз, особенно теперь, когда столько свободного времени для раздумий, становилось горько. Жил, работал ради детей, а своих собственных не очень-то сумел воспитать, одна Лада радовала. А зятя за три года жизни бок о бок не только не смог перевоспитать, передать свое отношение к вещам, к людям, да хотя бы просто отшлифовать, но даже разобраться в нем как следует не сумел. Не преувеличил ли ты, Иван, свои силы и возможности? Может быть, так и во всем? Нет, согласиться с этим не может. Да и жизнь не однажды подтверждала, что, несмотря на ошибки и слабости, он верно служил идее и правде.

Геннадий стоя просматривал газеты. Вдруг довольно хохотнул:

— Ни одного слова о нем. Как корова языком слизала. А мои ребята все еще пьют, его поминая.

— И ты с ними?

— А я себя не отделяю от народа!

— Ого!

— Что — ого? — настороженно, почти с вызовом спросил зять.

Иван Васильевич не ответил. Рассуждения Геннадия о политике удивляли наивной примитивностью и путаностью. Раньше Антонюку не раз становилось стыдно, что человек, живущий под одной с ним крышей, студент, мелет порой такую чушь. Потом он научился пропускать мимо ушей политические благоглупости зятя, не обращать на них внимания.

Последние события Ивану Васильевичу почему-то не хотелось ни с кем обсуждать, тем более с таким «политиком», как этот самодовольный инженер, приехавший с единственной целью —

съесть вкусный обед, приготовленный тещей. Так давай, брат, про обед и говорить будем!

— Не был бы ты скупердяй, так захватил бы по пути бутылочку. Глядишь, веселее обедалось бы.

Геннадий хохотнул уже совсем иначе. Но в этом хохотке Иван Васильевич уловил смущение — все-таки ему неловко приходить каждый раз на тестеву чарку.

— Деньги у Майи. Попробуйте выпросить у нее.

— Кто ж это ее перевоспитал?

Зять не понял.

— Майя была щедрой девушкой.

— Легко быть щедрой за отцовский счет!

Иван Васильевич усмехнулся:

— Дорогой зять! Ты высказал мудрейший афоризм. За него — с меня чарка! На Новый год.

— Кабы сегодня, — разочарованно протянул зять, не уловив иронии. Но тут же весело хохотнул и полез в книжный шкаф, где стояли тома энциклопедии.

— Поспорил с одним на коньяк. Когда царствовала Елизавета?

Геннадий листал том, повернувшись спиной. Иван Васильевич разглядывал эту широкую спину, толстую шею, которую тот по старой моде, по-крестьянски брил. После окончания института зять как-то сразу раздался вширь. Иван Васильевич с иронией подумал, что парень прогадал на этом. Раньше донашивал его костюмы, чуть потертые, но из дорогого материала. Теперь его костюмы не налезают, из меньшего не сделаешь большего. И Геннадий должен покупать сам. Однако на дорогие, видно, Майя денег не дает. Носит самые дешевые — «не отделяет себя от народа».

— Во гад, он выиграл. А я думал... — Геннадий озабоченно поскреб затылок. — Ведь я по истории имел пятерку.

Вот эта его наивность тоже удивляла: если он по какому-нибудь предмету еще в школе имел пятерку, то ему казалось, что лучше его этот предмет никто не знает и не может знать. Как-то он совершенно серьезно сказал:

— А что они знают, эти академики! Только деньги гребут.

Иван Васильевич давно приметил, что Ольга стала побаиваться оставлять их один на один, тестя и зятя. Может быть, поэтому позвала:

— Лада разрешила включить телевизор. Пожалуйста, прошу вас, товарищи мужчины.

Лада сидела в кресле, равнодушная ко всей бытовой суете. Отца подчас пугала это способность младшей дочери «выключаться». Только что была земная, веселая, шаловливая и вдруг — будто поднялась в космос, гамма-частицей в бесконечные просторы вселенной.

На экране два известных актера из кожи лезли вон, стараясь насмешить телезрителей. Но шутки их скроены из бородатых анекдотов, которые Иван Васильевич слышал еще в молодости.

Смеялись Ольга Устиновна и Геннадий. Вдохновленный передачей, зять начал рассказывать свой анекдот.

— Иван Васильевич, про пенсионеров — слыхали? Два старичка сидят в сквере. Поднялись... А тут ветер подул. Закачались, схватились друг за друга, чтоб удержаться на ногах. Потом один спрашивает: «А что завтра будем делать?» — «Если не будет ветра, к девочкам пойдем», — отвечает второй. К девочкам! Го-го!..

Ольга Устиновна смотрела на мужа со страхом: ее обидела бестактность Геннадия, однако пробрать его не решалась. Чтоб успокоить жену, Иван Васильевич заставил себя засмеяться. Анекдот он слышал сто раз, сам рассказывал, зятя своего хорошо знал, а потому это его не задело. Но на хамство надо иногда тоже отвечать хамством.

— Молодые, муж и жена, такие вот, как вы с Майей, долго думали, что подарить матери на именины. И наконец придумали: «Подарим ей самое дорогое, что у нас есть, — нашего первенца. Пусть бабушка тешится!»

Зять хохотнул. Майя вспыхнула и вышла из комнаты. Ольга Устиновна укоризненно покачала головой:

— Хоть бы детей не трогали в своих глупых анекдотах.

А Лада простонала:

— О, бог мой, какое убожество!

И хотя сказала она, вероятно, о том, что шло по телевизору, потому что тут же в сердцах выключила, но Ивану Васильевичу подумалось, что это — о них, и Ладины слова больно обожгли. Верно, убожество! Это преждевременное положение пенсионера помимо воли делает его мелочным, засасывает в трясину быта, семейных проблем, не стоящих иногда и выеденного яйца. Вместо того чтобы каждое утро узнавать, как идут работы по осушению Полесья, он должен интересоваться, был ли «желудочек» у Стася, перед тем как отвести его в детский сад.

Настроение испортилось.

Жена, безотказный семейный сейсмограф, сразу же почувствовала толчки его души. Насторожилась, как испуганная птица.

Хорошо, что в доме есть Лада. Недаром ей дали такое имя. Правда, и она часто портит настроение и делает это вполне по-современному, с использованием новейших достижений физики. Но, по сути, только она одна и может поднять настроение отца.

Лада стояла у окна и читала стихи.

В песне любой
Отстоялась любовь.
В каждой звезде
Отстоялось
Время везде.

Всех заставила слушать с бо́льшим вниманием, чем слушали телепередачу. Даже Геннадия, который считал стишки детской забавой, а писателей — вралями.

«Разве они пишут правду? Выдумывают все».

Майя остановилась в дверях.

Мать сидела у стола, по-крестьянски, по-старушечьи подперев кулаком щеку.

А каждый вздох возник
Сперва
Как крик.

— Госпожа литераторша, кто это? — спросила Лада старшую сестру.

Майя пожала плечами.

— Евтушенко, — уверенно ответил Геннадий.

Ивану Васильевичу спазм сжал горло. Он смотрел в пол, не хотел, чтоб кто-нибудь увидел его глаза, влажные от умиления и гордости.

Дитя мое! Сколько вмещает твоя маленькая головка! Зачем тебе еще эти стихи?

— Гарсиа Лорка, — сказала Лада и предложила: — Давайте, интеллигенты, обедать!

После обеда пришли гости. Нежданные. Без приглашения. Валентин Будыка с женой. Давно они уже не заходили просто так, на огонек. Ольга Устиновна не жаловала теперь Валентина, который когда-то, в первые послевоенные годы, чуть не каждый день заглядывал и в которого она тогда была даже немножко влюблена, разумеется, абсолютно тайно (у какой женщины не бывает таких тайн!). И хотя Будыка, не в пример другим друзьям, не отвернулся, не забыл, но заходил запросто все реже и реже. Это обижало Ольгу, горько было разочаровываться в близких людях.

Но сейчас гостям обрадовалась. От души. За мужа. Они что ласточка, которая весны не делает, но является самой верной ее приметой. Может, наступит еще весна и у Ивана в жизни? Будыка — проныра, он первым доведывается обо всех переменах. Он на «ты» с министрами.

Захотелось, чтобы мужчины по-старому хорошо посидели, побеседовали. Расчетливо вела она в последнее время хозяйство, но тут расщедрилась — послала зятя купить коньяка и шампанского. А когда тот принес, в надежде что и сам угостится, Ольга Устиновна тайком попросила Майю увести мужа в кино, чтобы не помешать беседе. Приказ жены — высший закон, и Геннадий должен был покориться.

Мужчины сидели в кабинете. Милана Феликсовна помогала хозяйке варить кофе, готовить закуски. Ольга Устиновна не спешила, чтоб дать мужчинам поговорить с глазу на глаз. Гостья тоже не торопила, хотела побыть на кухне, чтоб все осмотреть, потому что кухня красноречивей, чем парадный стол, расскажет,

как живет сейчас семья, какой у нее достаток. В то же время гостья показывала себя, свои наряды.

— Олечка, дай мне фартучек, а то не пострадала бы моя обнова. Ну, как мой костюм? Ты что-то молчишь?

Костюм был сшит отлично. И материал исключительный. Манжетки и воротничок из соболя. Жена Будыки одевалась с большим вкусом, на зависть многим женщинам. И вообще следила за собой. Пятьдесят лет, а как девушка — по фигуре, конечно, не по лицу: тут скрыть годы не могла никакая косметика, наоборот, казалось, чем больше ее, тем явственней проступает возраст.

Ольга Устиновна от души похвалила костюм:

— Научились у нас шить наконец.

— У нас?! Что ты! В Вильнюсе шила. Клепнев устроил. Он знает всех лучших портных во всем Союзе. Бандит, но полезен. Хочешь, я тебя туда свезу? Будыка даст машину...

— Что ты, Миля! Куда мне в Вильнюс! В ателье напротив дома сходить некогда. Да и деньги! На мой заработок да Иванову пенсию...

— Будыка говорит, что Ивана вернут на работу. Мой же всегда все учует, да еще имея такую гончую, как Клепнев... Я часто говорю Вале: «Твоей бы прыти хоть немножко сыну...» Ум отцов, а ухватка... Особенно с девушками... Мой в молодости черт был... А сын...

«Черт» этот, Валентин Адамович, красивый и монументальный, в черной тройке, сшитой не хуже, чем костюм его жены, засунув большие пальцы в кармашки жилета, расхаживал по комнате перед хозяином, который с ногами забрался на широкую тахту и казался там, в тени — горел один торшер у стола, — мальчиком.

— Слышал, что сказал Дуглас Хьюм в своем последнем интервью о наших переменах?

— Не имел счастья присутствовать на его пресс-конференции.

— О, типично английский юмор! Говорит: парадоксально, как все в двадцатом веке: самый речистый деятель сошел со сцены, не сказав ни слова.

— Аккуратно ты слушаешь некоторых брехунов, — не без язвительности бросил Антонюк.

Будыка раскатисто захохотал, словно гром прокатился, постепенно затихая. Иван Васильевич подумал, что зять его хохочет слишком коротко, а этот ученый муж слишком долго. По рангу.

— Мне присылают бюллетень зарубежной информации.

— Хорошее у тебя настроение сегодня.

— А почему бы ему быть плохим? Все, что делается, делается к лучшему. Послушай людей, от которых ты оторвался.

«Еще один из тех, кто «не отделяет себя от народа», как мой зять».

— Где мне слушать! На «инфарктштрассе», где прогуливаются пенсионеры?

— А что ты скажешь на такое сообщение: есть мысль вернуть тебя на работу?

Антонюк почувствовал, как забилось сердце, кровь ударила в виски. Но вслед за мгновенной радостью — злость.

— А я не хочу. Мне хорошо в пенсионерах.

— Понравилось сидеть в кустах? Не ври, Иван. Скажи кому другому, но не мне. Я тебя знаю как облупленного. Насквозь вижу. Твоя партийная совесть, твоя энергия...

— Люди меняются, дорогой Валентин Адамович. У тебя давно уже не было охоты заглянуть мне в душу... А я теперь не тот...

— Не попрекай. Ты знаешь, как я был занят это время. Представляешь, что значит докторская?! Из всех твоих качеств я знаю два, которые причинили немало хлопот и тебе и другим, — упрямство и гордость, прямо-таки шляхетская, как у моей жены...

— У меня еще всегда было собственное мнение. Не забывай, пожалуйста, об этом.

— Из упрямства и гордости ты можешь отказаться. Ну и дурак будешь! Через год-два о тебе забудут. А ты мог бы еще поработать с пользой... для народа.

— Ты уговариваешь так, будто к себе сватаешь.

— О, если б мне тебя отдали, я нашел бы для тебя должность, хотя ты и не техник!

— Клепнева заменить не могу.

— Что ты мне колешь глаза этим Клепневым! Ты держал возле себя Кацара, я — Клепнева. Когда по уши загружен работой, наукой, общественной деятельностью, необходимо, чтоб тебе помогал такой вот организатор... Иначе запаришься.

— Мне обидно за Кацара, что ты равняешь его с Клепневым. Кацар был специалист, светлая голова, лучший референт по экономике. Человек сгорел на работе.

— О покойниках говорят только хорошее. Знаю. А ты скажи обо мне, живом, доброе слово. И даже о Клепневе. О таком, каков он есть, со всеми его грехами. А я скажу о тебе. В этом суть товарищеской взаимопомощи.

— А как же с критикой? — прищурился Антонюк, с интересом разглядывая дородную фигуру друга.

Будыка захохотал, опять так же — длинно, раскатисто.

— А тебя, Иван, с твоих принципиальных позиций ничем не собьешь. — И, прервав смех, сказал серьезно: — За это я тебя люблю. За чистоту твоих намерений.

— Спасибо. Давно уже не слышал я признаний в любви.

— Не иронизируй, Иван, над самым святым — над дружбой. Имей в виду, ирония портит человека. Можешь стать скептиком и циником. Сам себе перестанешь верить.

— Не волнуйся. Моя вера в себя весьма прочна.

— Только в себя?

— И в добрых людей.

— А меня к каким причисляешь?

— Тебя? К средненьким.

Будыга не загремел хохотом, а неожиданно рассыпал незнакомый мелкий смешок, недолгий — словно горсть бус уронил на пол.

— Благодарю. Могу надеяться в будущем на более высокую аттестацию?

— Постарайся.

— Ох, Иван, Иван... Представляю, каково Ольге с тобой. С таким характером...

— Захотелось поплакать над ее судьбой? — Антонюк одним махом, с акробатической ловкостью, спустил ноги, сунул их в тапки, вскочил, готовый, казалось, к драке. — Плакальщик! — И выругался.

Валентин Адамович стоял посреди комнаты спокойный, добрый, с высоты своего роста смотрел на друга и улыбался ласково, почти с умилением, как бы говорил: «И такого я тебя люблю!»

— Ты, Иван, меня удивляешь и восхищаешь. В партизанах при всей энергии ты иногда казался флегматиком. Самый рассудительный командир!.. А под старость становишься холериком... И холерой! — И засмеялся, не захохотал, а засмеялся естественно.

Смех этот, знакомый еще с тех времен, когда они спали в одной землянке, удивительным образом подействовал на Ивана Васильевича: как свежий ветерок, вмиг сдул раздражение, злость. Захотелось броситься на этого монументально-величавого богатыря, повалить на пол, испачкать, измять его добротный костюм.

«Валька, черт, я тебя тоже люблю, хотя ты и свинья!» Хотелось крикнуть, засмеяться. Однако не крикнул. Только ткнул Будыку кулаком в мягкий живот. Сказал радушно:

— Пошли, пузан, коньяк пить.

За столом сиделось хорошо. Весело. Вспоминали разные приятные пустяки из прошлых встреч, из совместных поездок на курорты. Шутили. Женщины цедили шампанское. Мужчины помаленьку глотали «медведя». Но беседу их неожиданно прервали. Сперва — телефонным звонком. Попросили Будыку. Он минутку послушал, сказал:

— Ладно. Заходи.

— Кто это? — спросил Иван Васильевич.

— Клепнев.

— Клепнев?!

— Он едет сегодня в командировку в Москву. Надо подписать одно письмо.

Что ж, надо так надо, у ответственного работника нет покоя ни в выходной, ни в гостях. Антонюк это знал по своей работе.

Клепнев заглянул из коридора, увидел накрытый стол, сделал вид, что смутился, долго и многословно извинялся перед хозяйкой. Ангел, а не человек. Воплощение высокой этики.

Иван Васильевич сразу отметил: Клепнев с ним снова на

«вы» — уважительно, не так, как на последней охоте в Беловеже.

«Ишь, барометр, собачий сын!» Но в то же время было и приятно.

Еще раз извинившись, Клепнев сказал, что раздеваться не будет, так как очень спешит — до поезда всего три часа, а у него еще не собран чемодан.

Будыка, не читая, подписал какие-то два документа и, возвращая их Клепневу, спросил:

— Так, может, примешь с нами на дорогу?

Эдик проглотил слюну и облизал толстые губы.

— Если хозяева разрешат...

— Пожалуйста, пожалуйста, — от души пригласила добрая Ольга Устиновна, которая в тот вечер готова была принять хоть сотню гостей.

Клепнев вышел в коридор, снял свое шикарное, короткое — по последней моде — и легкое, на поролоне, пальто и вернулся назад... с бутылкой кубинского рома. Одна Ольга Устиновна, которая улавливала каждое душевное движение мужа, видела, как Ивана передернуло, как он изменился в лице. Испугалась. Взглядом просила, умоляла, чтоб молчал. Зачем портить такой вечер?

Когда Клепнев выпил рюмку, другую и вошел в свою привычную роль всезнайки и болтуна, Иван Васильевич вдруг тихонько охнул и схватился за сердце.

— Ваня! Что с тобой? — Жена не на шутку испугалась.

— Все то же. Спазм. Дай валокордин.

— Может, вызвать врача?

— Нет, не надо. Я полежу. О, о, как сжало!

Будыка и Клепнев осторожно, под руки, отвели его в кабинет и уложили на диван.

Ольга Устиновна дрожащими руками накапала лекарство.

— Я вызову «неотложку».

— Да погоди ты. Знаешь же, что я не люблю этих эскулапов. Сразу колоть начнут.

Потом слышал сквозь дверь: где-то в коридоре озабоченно шептались Ольга и Будыка. А Клепнев тряс над фужером кубинский ром: выдумали такую замысловатую пробку, что приходится основательно потрясти, чтоб налить. И пил залпом. Слишком дорогая штука, не бросать же. Вот свинья!

Валентин Адамович вошел на носках, чтоб не скрипели ботинки.

— Ну, как ты?

— Ничего. Немного лучше. Прости, что испортил обедню.

— Что ты, чудак. Ты прости, что мы ворвались. Однако не думал, что и у тебя моторчик начал сдавать... Подкосили они тебя, эти два года... отдыха. Ну, лежи. Мы пойдем. Будь здоров.

На прощание Клепнев из-за двери, приглушенным голосом, провозгласил тост:

— За ваше здоровье, Иван Васильевич, — и дважды потряс бутылку.

Проводив гостей, Ольга Устиновна на цыпочках, в одних чулках, вошла и встревоженно спросила:

— Как ты, Ваня?

В ответ Ваня подкинул чуть не до потолка ноги, скатился на пол и пошел... на руках. Перед женой перекувыркнулся через голову и встал на ноги.

— А вот так!

Ошеломленная женщина сперва испугалась, потом засмеялась, наконец беззлобно упрекнула:

— Как тебе не стыдно! Так напугать! А я думаю: что «все то же»? Какие спазмы? И валокордин одна я пью.

— Прости, Ольга. Но когда я подумал, что придется три часа слушать болтовню этого проходимца... да я теперь и не верю, что он сегодня едет в Москву... мне и вправду чуть не стало дурно... Сидел и ломал голову: что придумать?

— Да уж придумал! А хочешь, и я тебя удивлю. Милана сватала Ладу... за Феликса... Говорит, он признался, что Лада ему нравится.

— Ну и ну! Что ж ты ответила?

— Ничего не ответила. Но подумала, что, может, и неплохо бы... Свои люди...

Иван Васильевич нахмурился.

— Свои! По мне, так пусть лучше она уезжает в Африку. Не люблю обывательских сговоров. Не хватало Ладе искать богатого жениха!

Ольга Устиновна тяжело вздохнула.

III

Заведующий сектором вышел из-за стола навстречу. Жал руку с такой приветливой улыбкой, что Ивану Васильевичу тоже хотелось засмеяться. И потому, что отлично знал все приемы официальной обходительности, и потому, что в самом деле было хорошо. Настроение почти праздничное. Многое радовало...

За широким окном кружились снежинки. Первый снег. Первый день зимы. Светлеет земля, светлеет душа человека. Выпала добрая пороша. А через два дня начинается охотничий сезон. Тут уже не только посветлеет душа старого охотника, а запоет на все лады.

Радовало, что наконец позвали сюда, в этот высокий дом. Ничуть не задевает самолюбие, наоборот — даже приятно, что первым принимает его его же выученик, бывший сотрудник того учреждения, которым он, Антонюк, долго руководил. Растут люди. Когда-то был тощий нескладный паренек, который первое время боялся начальства и всегда ходил в неглаженых брюках с пузыря-

ми на коленях. А теперь вон какой красавчик! Высокий, подтянутый, как хороший спортсмен, костюм — с иголочки. Это Антонюку, пожалуй, не очень нравится. Слишком уж шикарно и модно одевается молодое поколение ответственных работников. Что твои дипломаты. Ивану Васильевичу кажется, что такое внимание к своему внешнему виду отнимает много времени, а главное — появляются черты женской психологии: вместо того, чтоб почитать серьезную книжку, мужчина начинает рассматривать журналы мод и завидовать тому из своих коллег, кому удалось достать самый модный плащ или шляпу.

Леонид Мартынович не вернулся за свой полированный стол, а пригласил Ивана Васильевича к простому, за которым проводятся короткие рабочие совещания. Сам сел напротив. Снова приветливо улыбнулся.

— Как здоровье, Иван Васильевич?

— Спасибо. Не жалуюсь.

— Хотя что я спрашиваю! Вчера там, — Леонид Мартынович показал пальцем на потолок, — кто-то вот так спросил: а как его здоровье, Антонюка? А Петр Федорович говорит: да он же неизменный король наших охотников. Король! — засмеялся вчерашней шутке руководителя. — Как видишь, разговор о тебе шел на высоком уровне.

— Спасибо.

— Как охотничье счастье? Что сбил, кроме ног?

Человеку хотелось пошутить. Но Антонюка вдруг словно что-то сковало. Что — и сам не мог понять. Нетерпеливое ожидание, что́ ему предложат, или это «король»? Или, может быть, то, что молодой человек этот, по возрасту в сыновья ему годится, так вот начал разговор, слишком уж запанибратски?

— А знаешь, я был в Чехословакии. И нас повезли на охоту. Так они там в самом деле выбирают короля. И этот удивительнейший ритуал, я тебе скажу, интереснее самой охоты. Они еще судью выбирают и прокурора. Целый спектакль разыгрывают. Стоило бы нашим перенять...

— Мы выбираем председателя... по рекомендации Комитета по охране природы, — без улыбки сказал Антонюк. Но Леонид Мартынович принял это за остроумную шутку.

— Председателя и то по рекомендации! Ох, это мы умеем — засушить живое дело!

Тут уж и Антонюк улыбнулся, но совсем по другой причине: над молодым человеком, который считает себя на такой высоте, с которой разрешается уже обобщенная самокритика: «умеем засушить...» Захотелось по-отечески посоветовать: «Мальчик, не повторяй слова тех, кто стоит над тобой. Не все они мудрецы, афоризмы которых надо заучивать. Оставайся самим собою».

Надо бы ему сказать. Да как ты скажешь при такой ситуации! Не поймет, обидится.

Между тем Леонид Мартынович как будто прочитал мысли

Антонюка. Подобрался вдруг, стал серьезным по чину. И тут же заговорил о деле.

— Иван Васильевич, я думаю, ты догадываешься, зачем тебя пригласили? Мне поручили передать: есть мнение, что надо тебе вернуться на работу. Отдохнул малость — хватит. Нам надо, засучив рукава, всерьез заняться сельским хозяйством. От слов перейти к делу. По-научному взяться. Волюнтаризм много навредил...

«Какие емкие определения мы находим, когда надо что-нибудь осудить. И удобные. Главное — удобные». Иван Васильевич вздохнул.

Леонид Мартынович понял его вздох по-своему.

— Я понимаю: нелегко после такого перерыва взвалить на себя этот груз. Но нужно, Иван Васильевич. Тебе предлагают интересный отдел...

— Я вернусь только на прежнее место.

У заведующего сектором вытянулось лицо. Он растерялся, потому что никак не ожидал, что этот отставник может выдвинуть такое требование. Да и сам Антонюк, идучи сюда, не думал о должности. Если бы предложили еще более низкую — обыкновенным рядовым служащим, — он, наверное, согласился бы. Не будь такого вступления — о волюнтаризме и прочем... После же такого разговора стало ясно: умные люди хотят его реабилитировать. Однако почему же только наполовину? Уступка его бывшим противникам? Теперь эти люди молчат, прячутся за удобным словом. Почему же он сам должен дать им основания думать, что они, пускай хоть на половину, на четверть, были тогда правы, поступали принципиально?! Нет, дорогие мои! На такие компромиссы Антонюк никогда не шел! Или — или!.. «Мне не место важно, а признание моей правоты, ваших ошибок. Признание не на словах — на деле. Слов я слышал много. Они потеряли для меня цену».

— Иван Васильевич, не мне, разумеется, учить вас житейской мудрости, — совсем иначе, проще, уже без панибратства, без похлопывания по плечу сказал Леонид Мартынович. — Вы хорошо знаете, как это делается. И я уверен, понимаете, что, во-первых, у нас нет оснований освобождать сейчас Андрея Петровича... Руководил он...

— Плохо руководил.

— Ну, это ваше частное мнение. Мы же придерживаемся другого... А потом... неужто вы думаете, что все так легко признают, что они тогда, выступая против вас, ошибались?

— О нет! Только наивный юнец мог бы так думать. Но именно потому, что я этих людей знаю, я не могу согласиться с таким, простите, половинчатым решением. Мне не толстый портфель нужен и не высокое кресло... Я сорок лет служу партии! И вы можете по анкете увидеть — не на теплых местах... А как солдат. Куда партия приказывала, туда шел.

— А теперь решили поставить ультиматум?

— Нет. Не сам я попросился на пенсию. Меня послали... И я могу остаться на этой «должности».

— Я понимаю вас, Иван Васильевич. Однако советую и вам хорошенько поразмыслить... Вас поддерживают очень серьезные и ответственные люди. Но разжигать им из-за вас страсти... в такое время... когда нужна консолидация всех сил...

— Каких сил? Лично я всегда считал позорным консолидироваться с перестраховщиками.

Леонид Мартынович покраснел. Ему было трудно. Трудно говорить с этим многоопытным человеком. А главное — тревожила мысль, что он, молодой руководитель, не справился с миссией, порученной ему и казавшейся сперва такой простой: перекинется словечком о погоде, охоте, потом скажет о деле, Антонюк поблагодарит, обрадованный и предложением и тем, что заведующий сектором с ним держится вот так дружески... Однако нет, не так просто!

— Ах, Иван Васильевич! Утратили вы ощущение реальности... Не хотелось мне говорить вам о неприятном... Но должен подкрепить один свой тезис примером... Не успели мы подумать о вашем назначении, как тут же — кто-то палку в колесо. Нет, лично я считаю, что это случайное совпадение. Но некоторые товарищи думают иначе... Поверьте, мы совсем не хотели придавать этому значения... Не хотели даже говорить вам. Не такие ваши годы, чтоб разбирать, пробирать, воспитывать... За кем не водятся грехи молодости!

Антонюку сперва хотелось резко спросить: «А нельзя ли без подушки?» Но тут вдруг догадался, о чем речь, и съежился, замер, готовый к любому удару. Черт с ним, пускай подстилает соломку, подушки, что хочет. Пускай тянет. Но смотреть в глаза этому молодому человеку прямо, открыто, как смотрел в течение всего разговора, больше не мог. А тот вытаращился, прямо сверлит взглядом, хочет заглянуть в душу. Может быть, потому и тянет. Не бьет сразу.

— И все же... Иван Васильевич! Все же... Лет двадцать назад вас могли разобрать, могли записать. После собрания — посмеяться. Но тогда смех был бы совсем другой. Известно — мужская психология. Многие сказали бы: не промах! А представьте теперь. Пенсионер... Жена, взрослые дети, кажется, внуки есть... Так? Сенсация! Иван Васильевич! Сенсация! Нездоровое смакование... Вот почему есть мнение: не давать письму хода... Но попросить вас...

— Анонимка? — коротко спросил Антонюк, сверкнув глазами.

— Пишет, видимо, директор школы, где работает, — Леонид Мартынович взглянул на бумажки, лежавшие сбоку, — Надежда Петровна. Вот почему я считаю, что это случайное совпадение. Как директор сельской школы мог узнать?.. Вы с ним знакомы?

«Нет, это не совпадение, дорогой Леонид Мартынович. Я был

знаком с директором школы. Тот директор никогда ничего не написал бы. Но я был там в последний раз семь лет назад. За это время мог смениться не один директор. Если скажу, ты, наверное, поверишь, потому что для тебя главное — получить подтверждение того, что́ ты будто бы отрицаешь. Правда, тебе страшно хочется еще и другого: чтоб я признался, рассказал о своей интимной жизни. Ты прямо руки потираешь от вожделения. И пронизываешь меня взглядом, как рентгеновскими лучами. Но ничего ты не увидишь! И ничего я тебе не скажу. Не надейся. Не потому, что это глубокая тайна наших с ней сердец. А потому, что это для меня свято. И больно. Ты ждешь, что я попрошу дать прочесть письмо? Ты приготовил его в надежде, что я начну оспаривать или оправдываться. Нет. Письмо меня не интересует, потому что я знаю, что в нем. Там правда факта. Можете ему верить, факту. Но не ждите от меня исповеди!»

Антонюк встал, открыто посмотрел Леониду Мартыновичу в лицо, усмехнулся.

— Письмо это можете хоть в газете публиковать. Есть такая возрастная граница, когда все, что за ней, уже не трогает, оно уже не твое, а того, кто остался там, за этой границей... Тот Антонюк, которого ты хотел испугать, — там. Да и он был не из пугливых, как ты знаешь...

Заведующий сектором, такой самоуверенный, важный в начале разговора, растерялся, как школьник. Покраснел. Вскочил с кресла.

— Иван Васильевич! Иван Васильевич! Вы меня не так поняли... Да разве я хотел... Я ведь просто... Если что — простите. Но прошу вас, подумайте о нашем предложении. Не торопитесь.

Кружились снежинки. Печальные старые липы в сквере одевались белым цветом и потому, казалось, молодели. Вот только вороны, старые, черные, никогда не молодеют, зловеще каркают. Вороны навевают невеселые мысли. Но можно посидеть на запорошенной снегом скамейке, поглядеть на молодежь, на долговязых парней, что всегда, в дождь и снег, ходят без шапок, на девушек в пальто и ярко-пестрых шапочках или косынках, говорливых, возбужденных, как Лада; подумать о дочери, о сыне, который, верно, дежурит где-нибудь у экранов локатора, охраняет небо, и успокоиться. Мысли о детях, чужих и своих, нельзя сказать, чтобы всегда успокаивали, но могут вернуть хорошее настроение.

Из служебного входа театра по одному выходят актеры, усталые после репетиции, поднимают воротники, прячутся от снежинок. Старшие — всё знакомые, даже друзья. Антонюк любит их талант. Но сегодня ни с кем встречаться не хочется. Выслушивать жалобы на директора или режиссера. О нет! Сегодня для него это что соль на свежую рану.

Лучше подальше куда-нибудь. Если б можно было сейчас очу-

титься в лесу. В тихой, печальной пуще, где слышно, как шуршат по ветвям снежинки. И нет ворон. В лесу их нет. В зимнем лесу.

Кружат снежинки.

Мелькают ярко-красные, голубые, зеленые, желтые шапочки, платочки. Спешите, дети. Хотя, может быть, и не стоит так уж спешить. Но нельзя и отставать, а то выбьешься из общего течения, занесет тебя в тихую заводь и затянет илом. Самое страшное — преждевременная пенсия.

«Кому нужна эта моя амбиция, мои «принципы»? Надо было соглашаться на то, что предлагают. Нет. Теперь подумают, что я испугался. Дорогой Леонид Мартынович, я не стыжусь ни перед партией, ни перед семьей своих слабостей. Я человек. Я жил. И жил во времена дьявольски сложные. Стыжусь только одной слабости... Прости, Надя. Не видеть тебя шесть лет, писать только по праздникам короткие открытки с пожеланием счастья — какого счастья?! — это предательство. А я никогда не предавал. Никого! Нет, не успокаивай меня. Я знаю, что ты скажешь. У меня есть тысяча оправданий. Да, это дань годам, покою, моему, твоему, Ольгиному, Витиному... А так ли уж он нужен, этот покой?»

Не сидится сегодня.

Как, однако, торопятся люди! Куда? На тротуаре уже скользко. Накатаны ледяные дорожки. Молодежь на крутом спуске съезжает. Бегут для разгона, готовы сбить с ног. Им весело. Радует первый снег. Радует молодость. Может быть, даже то, что удалось пораньше вырваться с лекции, из лаборатории, из конторы...

Я хочу радоваться вместе с вами! Не объезжайте меня, не обгоняйте, так вы невзначай можете сбить меня с ног. А я хочу идти с вами плечом к плечу. Я хочу прокатиться и упасть сам, как вон та девушка в красном шарфе. Не ушиблась ли ты, дитя? Ничего. Все заживет и тут же забудется, потому что гляди, как заботливо он подхватил тебя, поднял с земли. Я знаю: если б не люди вокруг, если б не условности, которые так связывают нас, он взял бы тебя на руки и понес в эту белую круговерть...

Как странно плывет, как покачивается в ней, стекая ниже и ниже, черный ручей человеческих фигур!

Когда-то я мечтал стать поэтом. Пытался писать стихи, когда учился на рабфаке. У меня не хватает образного мышления. Я всегда мыслил конкретно. Может быть, потому иногда узко. Только теперь я понял, что можно безгранично расширить горизонты своих мыслей и чувств. Это дает новую радость, возвышает и освобождает от многих условностей — тех, что тяжкими путами сковывают сердце. О нет! Я не стал анархистом! Я за дисциплину, но за дисциплину сознательную. Такую, которая никогда не принизит человека, не оскорбит его лучшие порывы, стремления, его гордость и даже слабости, обыкновенные человеческие слабо-

сти, без которых, наверное, невозможна жизнь, такая, как она есть, — расцвеченная всеми красками весны, лета, осени и зимы. Да, даже зимы. Вот такой, когда поздно светает и рано темнеет. Когда в четвертом часу цирк зажигает свою рекламу, самую яркую во всем городе. Снежинки и люди окрашиваются в удивительные цвета в этом неоновом свете. Как в сказке. Как в цирке.

Раньше я ходил сюда, чтоб посмеяться. Потом познакомился с актером-комиком, он был глубоко несчастлив. Я не перестал любить цирк, но редко там смеялся. Больше думал. Под музыку, когда смотришь на воздушных гимнастов, что летают под куполом, хорошо думается. Нет, о самых серьезных проблемах жизни лучше всего думается, когда выступают клоуны.

Кто-то сказал: города как люди. Да. Один растет, подымается и обгоняет на тысячу лет старшего брата своего, а другой приходит в упадок, превращается в захудалое местечко, как Заславль или Туров. А реки? Боян пел в «Слове»:

«Немизѣ кровави брезѣ не бологомъ бяхуть
посѣяни, посѣяни костьми рускихъ сыновъ».

Не верится как-то, что она была известна в те давние времена, Немига, от которой теперь ничего не осталось. А Свислочь? Какой же тогда была Свислочь? Неужто и реки как люди: одни мелеют, затягиваются илом и песком, а другие становятся глубже, прорезают новые русла?

Падает снег. Тает на ладонях, на щеках, розовых и бледных. И на черной воде, от которой подымается нездоровый пар. Будто снежинки горячие. Нет, наоборот, — это вода теплая, большой город выплескивает в речку горячие отходы своей кипучей жизнедеятельности. Да, деятельность кипучая, и город большой. Но не оправдывай тех безответственных людей, которые это делают и которых ты несколько месяцев назад, работая в рейдовой группе партийно-государственного контроля, клеймил позором. Они хищники, живущие сегодняшним днем и своими эгоистическими нуждами, хотя и прикрываются высокими словами. Отцы, которые не думают о детях. Обо всех детях — будущем общества, родины и человечества.

Снежинки падают в огонь. Голубой язык пламени взлетает у заснеженного монумента, колышется на ветру, ложится на решетку и, кажется, вот-вот погаснет. Нет, не гаснет. Не может погаснуть. Он вечный, этот огонь над символической могилой. Он должен быть вечным — огонь над могилой моего брата, моих товарищей... Я хотел бы, Павел, чтобы ты лежал здесь и я не раз в год, а каждый день приходил бы сюда и вот так стоял над твоей могилой. Странно, что я никогда не стоял тут один, как сейчас. Только на людях. В почетном карауле этим летом, когда праздновали двадцатилетие освобождения нашего города. Да еще когда открывали памятник. Теперь уже никто не спорит о его художественной ценности, потому что для людей, для всех тех, кто пе-

режил войну, потерял близких, изведал страдания, он стал Великим и Святым Символом.

Монумент Славы и Мира. Но я и до сих пор не могу примириться с тем, что памятник построили здесь, в яме, а не на самом высоком месте, где он был бы виден и из Масюковщины, и из Уручья, из Тростенца — с братских могил.

Людской поток плывет по тротуарам и в снежной мгле кажется далеким. А тут — точно остров. Тут почти тихо. Как в лесу. Пожалуй, можно было бы услышать шорох снежинок, если б не гудел огонь. Но пускай гудит огонь! Это как шум бора. Далекий шум.

«Отпусти меня, Иван, в отряд Каткова».

«Почему? Паша! Что случилось?»

«Не могу я у тебя...»

«Нет, ты объясни, что случилось?»

«Не могу — и все».

«Что за глупости! Детские капризы! Ты — солдат! Никуда я тебя не отпущу».

«Я уйду сам».

«Будешь считаться дезертиром. А ты знаешь, как поступают с дезертирами на войне».

«А мне все равно».

«Гляди, Валентин, спятил хлопец. Перепил, что ли?»

«Неизвестно, кто из нас перепил».

«Как разговариваешь с командиром? Какой пример подаешь? Имей в виду, я не посмотрю, что ты мне брат! Иди проспись. Ты устал после разведки».

«Он любит ее», — это сказал Будыка, когда Павел угрюмо вышел.

«Кого?»

«Надю».

«Надю? Ты что? Серьезно? Почему же ты раньше не сказал?»

«Я думал, знаешь сам».

«Ты за кого меня считаешь? Гад ты! Ведь я — человек. Я могу упасть. Могу оступиться. Ты стоишь рядом со мной, сам попросился ко мне в помощники. И ты обязан был поправить меня, поддержать, подставить плечо. А ты знал и хихикал в кулак... Ждал, когда братья столкнутся лбами? Интриган! Убить тебя мало».

«Не горячись, Иван. Не горячись. Не забывай: тебя здесь оставила партия. И за все, что делаешь, ты несешь ответственность перед партией».

Я не должен был отпускать тебя, Павел. Я смалодушничал. Прости меня, брат. И не обвиняй. Ее не обвиняй, Надю. Конечно, война есть война. И я тебя не оберегал. Ты ходил на самые ответственные операции. И все могло случиться и в моем отряде, у меня на глазах. Говорят — судьба. Я не верю в судьбу. Но я верю в разум. Он и на войне может спасти, если все делать рассуди-

тельно, с головой. Но ведь ты же не кинулся просто под пули. Случайная засада. Многое происходило случайно. И вот тебя нет. А ты мог бы жить. Тебе было двадцать один. Ладе и Василию в марте будет по двадцать три. А тебе было всего двадцать один...

— Греемся?

Иван Васильевич обернулся. Милиционер, видно, был уверен, что это юноша — со спины щуплый, небольшого роста. А увидел пожилого человека — немножко смутился.

— А что?

— Нельзя тут... так долго.

— Кто вам сказал? У вас есть такая инструкция?

— Нет... Но... Тут, знаете, некоторые огольцы руки греют...

— У вас погиб кто-нибудь на войне?

— У меня? Отец не вернулся.

— Давайте, сержант, постоим минутку молча.

Милиционер еще больше растерялся.

Козырнул.

— Простите. Служба.

Да, пока у нас служба, мы иной раз забываем о самом святом или не можем выбрать времени постоять вот так и подумать.

Тогда тоже шел снег. Но не такой ласковый, тихий. Гуляла метель. Выла. Свистела. Лес гудел и трещал. Даже там, в пуще, в самой еловой гущине, на нашей маленькой полянке чуть не сбивало с ног. А что творилось в поле!

Да, ее привезли в ту памятную метель. Нет, кажется, метель началась позднее, когда мы вернулись из рейда. Нет, когда Вася поехал за Буммель, ночь была звездная. Да разве одна она была, такая вьюга? В начале той зимы снег шел чуть не каждый день. К декабрю намело — ни пройти ни проехать. И настроение у меня было собачье. Иногда хотелось завыть, как воют голодные волки, что подходят ночью к лагерю. О, если бы это было только со мной одним — еще полбеды. Уныние овладело многими. Один, кажется, Вася Шуганович, комиссар мой, не поддавался отчаянию.

Теперь партизанские командиры все пишут воспоминания. И создается впечатление, что все было просто с начала до конца. Безусловно, были трудности, нехватки, потери, но, мол, никто из них, великих стратегов, ни на минуту не усомнился в мощи Красной Армии, в героизме народа, в мудрости партии, и эта их вера передавалась каждому партизану.

Я грешен.

Я тоже верил в партию и в народ. Но я видел отступление армии. Я слушал радио. В отряде было два приемника. И, на мою беду, Валька Будыка владел немецким языком. Если бы в те дни наши немножко шире сообщали пускай даже самые тяжелые новости! Но Москва передавала бодрую музыку и скупые сводки

Совинформбюро о жестоких или местных боях в направлении тех городов, которые давно уже — это мы точно знали — остались в тылу немецкой армии.

А в пуще была завируха. Замело дороги. Трещали морозы. Семьдесят человек ходили в разведку или сидели в землянках, прокуренных, тесных, откуда тепло раскаленной докрасна «железки» могло выдуть ветром за три минуты — только отвори дверь. Семьдесят человек. Немало для того времени. Но вооружены кто чем, с жалким боезапасом. Без опытного командира. Откуда у меня, заведующего райсельхозотделом, мог быть боевой опыт? Хорошо, что в сентябре к нам присоединился инженер-кадровик Будыка с группой саперов.

Вы были мудрыми, нынешние мемуаристы. А я даже не знал тогда, как раздобывать пропитание для семидесяти человек. Проблема эта и в дальнейшем, когда мы приобрели опыт, в любое время могли связаться с партийным центром и многому научились, не теряла своей остроты в нашей партизанской политике, потому что задевала интересы населения. Сын крестьянина, агроном, я думал об этой политике с самого начала. Видел уже — воевать не один год. Не одну зиму сидеть в пуще и думать, где достать хлеб, патроны и железную бочку, из которой можно сделать печь вместо той, что прогорела. Чтоб воевать долго, упорно с таким безжалостным врагом, надо беречь людей. Надо накормить их и согреть. Теперь я думаю: фашистские стратеги поумнели после того, как получили добрый пинок в самое больное место. Никто из них не догадывался, во что может вырасти небольшой отряд «лесных бандитов», о котором они знали, упоминали в реляциях. Если бы такие блокады, как в сорок третьем, они организовали тогда, зимой сорок первого, нам пришлось бы туго.

В те дни я особенно боялся немецкой атаки. Доходил до отчаяния, которого, однако, я не имел права никому показать.

Мы знали: шла великая битва за Москву. От того, как она кончится, чьей победой, очень многое зависит. Хотелось помочь своим в этой борьбе. Мы отлично понимали, какая помощь самая действенная. Эшелоны, которые шли на фронт. Чем меньше их дойдет, тем легче будет нашим.

У нас был уже опыт. Но не хватало взрывчатки. Добывали ее по-разному. Один способ самый верный, но и самый опасный. Километров за двадцать, на бывшем нашем аэродроме ребята обнаружили склад авиабомб. От каждой из этих бомб, как мрачно шутили партизаны, можно было погибнуть шесть раз: на аэродроме, в трех деревнях, через которые надо провезти смертельный груз и в двух из которых находились полицейские гарнизоны, при разборке детонатора бомбы, при выплавке тола и — я добавил седьмой — при сборке мины. Но этого седьмого в отряде не признавали, потому что тут уже дело имели не с бомбой. К тому же нам повезло: был свой инженер, Будыка, он конструировал и собирал мины. Некоторое время отряд владел монополией на мины.

Даже вели торговлю: у Каткова выменивали на мины хлеб и сало, у Косача — лошадей, он вывел в лес конезавод.

Осенью, по бездорожью, когда гарнизоны нельзя было объехать — речки, мосты, — нам удалось раза три провезти бомбы: под дровами, под мукой с мельницы, а однажды — в свадебном кортеже: «жених» и «невеста» сидели на бомбах. А тут, когда замерзли речки, выпал снег, и неглубокий еще, хлопцы засыпались. Везли сено. Почему не пришло никому в голову, что со времен, когда появился тут первый человек, сено возили в другую сторону — с болот туда, в безлесный район, где находился аэродром, а не наоборот? Почему я, командир, крестьянский сын, не подумал об этом? А вы, мемуаристы, пишете, что все умели предвидеть. Я не умел, потому что все предвидеть невозможно.

Хлопцев повесили. На станции. Троих. Четвертый — Федя Кучик — успел швырнуть гранату, и его располосовали автоматной очередью.

Потом мне пришлось схоронить сотни людей, своих, партизан. Пережить не одну неудачу, блокады, голод.

При прорыве блокады весной сорок третьего бригада потеряла почти половину людей. Это была тяжелая трагедия. Я нес через болота уполномоченную ЦК комсомола Галину Берзнер, ее изрешетило миной. Я плакал. От боли, от злости, от отчаяния. Над ней, над всеми теми, кто остался там, у Днепра, на поле боя, кто потонул в болоте. Я не сразу заметил, что несу мертвую. Мы штыками копали ей могилу на болотном островке. А смерть Васи Шугановича! А гибель братьев Казюр, Володи и Пети!

Дети, дети, я хотел бы всех вас заслонить своей грудью! Если б это было возможно!

Но разве только смерть Павла я переживал так тяжело, как гибель тех хлопцев — Юрки Козела, Саши Ляшкевича и Кузьмы Валёнка. Если б они погибли, как Федя — в бою, может быть, это бы не ранило так больно. Но их повесили. Двое из них пришли в лес вместе со мной, в августе. Мы спали в одном шалаше, ведь нас было всего одиннадцать.

Сперва меня отговаривали. Шуганович, Будыка. Потом собрали партийную группу и запретили. Записали решение: «Не разрешается командиру отряда зря рисковать...» И все равно я пошел. Поехал на станцию... Так же падал снег. Начиналась метель. Ветер раскачивал их тела. Хлопцев повесили на балке сгоревшего пакгауза. Черные, закоптелые стены, широкий проем сгоревших дверей, и там — они. Босые, в одних нижних сорочках. Смотрели мы издалека, но я слышал, как стукались о косяк их окостеневшие ноги и звенели, как струны, натянутые и замерзшие веревки. И должен был торговать салом. Оно не лишнее в отряде, а я отдавал его фашистам, тем, что повесили моих хлопцев, моих детей. Ох, как мне хотелось достать из тайника под санями гранату и швырнуть ее в них. «Жена», помогавшая мне торговать, наша отрядная хозяйка, бывший председатель сельсовета Люба Роща,

шептала: «Держись, командир. Сам полез. Тебя не пускали». Один из часовых показал на виселицу и погрозил: «Партизанен?» Обвел пальцем петлю вокруг шеи: мол, если и ты партизан, то и тебе то же будет. Надо было улыбаться. Надо было улыбаться! «О, не, пан, я староста из Пригар. Вот документ. Я — староста». Кто из вас пережил такую боль, такие муки, такой гнев и бессилие, как я за тот час, пока мы стояли с санями в ста шагах от повешенных?! Да, того заряда ненависти, что накопился за этот час, мне хватило на всю войну.

Бить их, бить, бить! Но как бить? Чем? Кто-то из них дал за сало спирт. По дороге назад я пытался залить им огонь в душе. А уже разгулялась завируха. Стонал бор — единственный наш друг, защитник. Трудно и ему.

Лагерь — несколько занесенных снегом землянок. Пусто — ни души. Один застывший часовой. С такими силами мы хотим одолеть тех, что приехали в эшелонах, пока мы стояли на станции? Их танки, их пушки?

Приказал Будыке:

«Включи радио».

«Садятся батареи».

«Включи. Послушаем Берлин».

Включил.

«Что они передают?»

«Репортаж с фронта. Журналист вчера разглядывал в бинокль Кремль».

Это было первое услышанное нами такое сообщение. Я вскочил.

«Врешь!»

«Не я вру. Фашист».

Он, Валька Будыка, военный инженер, танкист, окруженец, который драпал пехтурой из-под Белостока, не поверил. Или, может быть, сделал вид, что не верит. А я поверил. Впервые поверил фашистскому радио. Нет, они не передают для своих, на весь мир, что взяли Москву. Такую брехню они стряпали только для наших людей, уже месяц назад. А мы слушали парад на Красной площади, выступление Сталина и размножали листовки. Своим они солидно — слышно по голосу диктора — сообщают, как выглядит Кремль, если смотреть на него в бинокль с расстояния...

«Инженер! Откуда они смотрят? С какого места? За сколько верст?»

«Ниоткуда они не смотрят! Врут!»

«Нет, смотрят, Валя. Смотрят! Иди попроси у Любы спирта».

«Не даст она мне».

«Для меня. Для командира».

«И для тебя не даст. Слышал я, как она с тобой разговаривала. Распустил ты их тут. Развели демократию. Никакой дисциплины!»

«Нет! Врешь! Есть дисциплина! Самая высшая. Ты думаешь, хлопцев не мучили? Не вывертывали руки? Не жгли железом?

Но если б хоть один выдал отряд, согласился проводить их сюда, нам всем давно была бы хана. Для тебя дисциплина — уменье вытянуться, козырнуть. А для меня — в верности. Партии. Народу. Товарищам по отряду».

Нет, вряд ли я сказал все эти слова в тот вечер. Может быть, говорил их раньше, наверняка — позднее, потому что мы неоднократно спорили о сущности дисциплины, о том, нужна ли такая, какую вводил перед войной нарком.

Рядовой Федя Кучик драпал из-под Бреста так же, как ты, инженер Будыка. Только он прибежал быстрей и раньше пришел в отряд. И умер героем. А как помрем мы с тобой, Валентин Адамович?

Была вьюга. А я лежал или сидел в землянке в компании молчаливого Шугановича, который совсем не пил, и говорливого, уже захмелевшего Будыки и думал: как я умру? Убедил себя тогда, что из лесу живым мне не выйти. Мысли о смерти не страшили, но волю сковывали. Без тола, без мин, с одними винтовками, двумя пулеметами, к которым не так много патронов, я не знал, что делать, как бить врага, который уже разглядывает в бинокль Москву.

Помереть в партизанах — тысяча возможностей. Я выбирал самую трудную, такую, которая могла бы принести наибольшую пользу отряду, моим товарищам, которые записали: «Не разрешается командиру отряда зря рисковать...» Не разрешается... Кто может разрешить или не разрешить умереть?

Комиссар сказал:

«Люди считают, командир, что ты много пьешь».

Я вскипел:

«Кто считает? Ты считаешь? Монах! Книжник! Фарисей! Прочь с глаз моих!»

Он не обиделся, мой добрый, тихий Вася, завуч школы, поэт, который в первую партизанскую весну ночами просиживал над рекой и слушал соловьев. Он дважды спас меня от смерти: первый раз от немцев, второй — от своих, от командира спецотряда, который хотел расстрелять за то, что я отказался дать ему половину своих людей. Он не обиделся, Вася, нет, но ночевать пошел в другую землянку, к партизанам. Обиделся я. Не на него. На себя. Оглянулся на себя и... распек, назвал последним слюнтяем. Будыка хохотал над внезапной моей самокритикой. Веселый человек! Но не понимал ты, что у меня на душе.

Если б знать, что там делается, под Москвой! Если б знать верно! Конечно, наши стоят насмерть. Но умереть — не значит победить. Есть ли кому стать на место тех, кто навеки ложится в землю?

Хотелось узнать, что делается на фронте не из передач по радио. Не из крикливых немецких репортажей. Не из скупых сводок Совинформбюро. От живых свидетелей, которые наверняка скажут больше! От этого, может быть, зависела моя жизнь. Как у каждого смертника, жила надежда, глубокая, тайная: вот-вот

что-то должно измениться, придет какая-то новая сила... Раньше верили в силу божью. Всю сознательную жизнь я верил в силу народа и партии.

Приказ мой был как разрыв бомбы: «Захватить «языка» с санитарного поезда».

«Безумие, абсурд, пьяная горячка! — так назвал этот приказ мой тихий комиссар. — Ты посылаешь людей на верную смерть, — говорил он. — Родного брата посылаешь! Кому нужен твой «язык»? Зачем?»

Меня возмутило, что комиссар не хочет узнать больше, чем можно услышать по радио, о самом главном, от чего зависели наша жизнь, борьба.

Разведчикам, Павлу задание понравилось. Необычное. Будыка улыбался, наблюдая баталию мою с Шугановичем. Будыка считал, что на войне, как и в природе, ничего невозможного нет. Такая у него философия. Что невозможно сегодня — становится возможным завтра. Что невозможно для одного — легко осуществляется другим.

Я не отступал. Сдался Вася. Но как!

«Ладно, будет тебе «язык»! Но я сам пойду с разведчиками».

Меня заело.

«Пойдет инженер!»

«Я? — побелел Будыка. — Почему я?»

«Боишься, технократ?»

«Боюсь. Много смертей пришлось видеть».

«И все-таки пойдешь! Ты один в отряде говоришь по-немецки».

Перестал улыбаться, вытянулся по-военному: «Слушаю, командир».

Я никогда не мог понять тебя до конца, Валька Будыка. И теперь не понимаю. Кто ты? Что за человек? Я раскусывал людей за один день, разбирал их по детальках и тут же легко собирал. Ты — машина более мудреная, чем твои станки. Кибернетическая. С очень сложным программированием, до смысла которого могут дойти разве что такие умы, как моя Лада. А иногда мне кажется: ты как «матрешка» — простенький, но двойной или тройной и каждый особым образом закамуфлированный.

Разведчики не возвращались три дня. О, эти три дня! Я их никогда не забуду. До смерти. Выла вьюга. Стихла. Снова началась.

Я сидел один. Шуганович в землянку не заходил, жил с партизанами, занимался делами отряда. Я боялся выйти к людям. Впервые боялся людей. И кого? Тех, кто верил мне, кто по своей воле стал под мое командование, вручил, по сути, свою жизнь, свою судьбу. Но они же должны и судить меня. Если разведчики не вернутся, я сам попрошу, чтоб меня судили. Всем отрядом... Пускай расстреляют перед строем. Нет, такой смерти я не хотел! Такой смерти не будет!

Никто меня не станет судить! Но я осужу себя сам, если не вернутся Павел, Будыка, старый буденновец Ермолай Кравченко.

Я боялся даже попросить у Рощихи спирта. И она тоже, чертова душа, добрая, когда не надо. А тут не заходила даже проверить, как обычно, тепло ли в командирской землянке. Было холодно. Тепло любил Будыка и топил «самовар» — чугунную печку — без конца.

Нет страшнее одиночества, чем когда рядом люди, друзья, а ты один. Как узник, как отщепенец.

В приемник, казалось, врывается вьюга всего семисоткилометрового простора, что лежал между нашим лесом и Москвой. Едва слышный — о, какой далекий! — мотив «Священной войны». Поэтому он казался скорбным. Ближе — немецкий лай. Но без Будыки я его не понимал. На кой черт мне этот «язык», если они уже в Москве! В самом деле, на что мне понадобился «язык»?

Шуганович только на третий день догадался, в каком я состоянии. Хотелось дать ему по морде, а потом расцеловать. Золотой ты был человек, Вася, но иногда простые истины до тебя доходили, как до жирафа простуда — на третий день. Даже спирту принес. И сам выпил. Тревожно было и у него на душе.

«Ты понимаешь, зачем мне «язык»?»

«Понимаю. Но это от страха».

«Выходит — я трус?»

«Нет. Но у тебя душевная паника. Ты не знаешь, что делать. Поэтому мечешься. То тебе захотелось посмотреть на повешенных, то... А что твой «язык» может сказать, будь он хоть генерал?»

«Нет, ты не понимаешь! Я должен увидеть хоть одного из них оттуда, с фронта. Какие они теперь?»

Разведчики-таки добыли «языка», но взяли не на той лесной станции, где повесили хлопцев, где была водокачка и останавливались для заправки водой поезда, а в городе, в нашем райцентре, за сорок километров. Обмороженный байбак, обрадовавшись, что отъехал так далеко от фронта, вылез вчера в метель из санитарного эшелона, чтоб попытаться купить шнапс. А Кравченко сорок лет прожил на одной из улочек у самой станции.

Ошалевший от страха, от боли — раза три за дорогу ему затыкали рот, запихивали под солому и три человека садились на него, как на куль, — от холода, фриц не сразу заговорил, хотя его отогрели и накормили. Потом как с цепи сорвался. Выкрикивал фашистские лозунги, ярился: «Сталин капут! Москау капут! Аллес капут! Аллес капут!»

«Нет, врешь, щенок! Гитлеру капут! Тебе капут», — сказал я и вытащил из кобуры пистолет.

Он упал на колени. Сорвал с лица повязку. Вместо носа — гнойный струп. Размазывал сопли и слезы. Тыкал нам забинтованные пальцы и все хотел показать обмороженный половой член, несмотря на присутствие женщины — Рощихи.

Наверное, думал, что обморожение такого деликатного места сильнее разжалобит нас.

Люба плевалась. Будыка смеялся, он был веселый, как никогда: вернуться с такой операции! Едва ввалившись в землянку, заявил:

«Не так страшен черт, как его малюют!»

Мне тоже хотелось смеяться. Глядя на этого вояку, на этого «победителя», я как будто оттаивал, словно внезапно и чудесно выздоравливал от тяжелой болезни, хотя ничего о том, главном, о чем я так жаждал узнать, пленный не сказал. Тупой сопляк. Не помнил даже названий городов, через которые прошел. Из подмосковных пунктов, знакомых Будыке и мне, назвал одну Истру. Истра недалеко, однако и не так близко от Москвы, чтоб можно было увидеть Кремль. Сколько километров до Москвы от того места, где он обморозился? Не знал. Обещали ему московскую теплую квартиру? Раньше, когда было еще тепло, обещали. Сколько убитых, раненых? Обмороженных? После одного боя, недели две назад, осталось в строю меньше половины. А потом — вьюга, мороз. Он обморозился в ночном переходе. «О, это была страшная ночь!»

Допрашивали долго, весь вечер. Допрашивали весело, а потом весело ужинали. На этот раз по инициативе Будыки. Разгулялся инженер. Кажется, это единственный случай, когда я хорошо понимал Будыку — его возбужденное настроение, веселость.

Утром Шуганович спросил, что делать с немцем.

«Покажи его партизанам. Поставь перед строем. Потом будем судить. Назначаю трибунал. Пятерку. Ты, я, Роща, Кравченко, дед Михей».

У деда, который пригнал к нам в лес оставшихся колхозных лошадей — их хотели присвоить полицаи, — сожгли хату, замучили невестку и внука.

Первой высказалась Люба Роща. Самые безжалостные мстители — женщины, в этом я убеждался не раз.

«Что тут долго разводить антимонии! Расстрелять!»

Хмуро сидел Кравченко, свесив седые буденновские усы. Кожа на лице, что у старого слона, такая же твердая на вид и с такими же морщинами. Его слова ждали долго. «Пленный есть пленный. Но куда нам его девать?»

Вася Шуганович, взволнованный, раскрасневшийся, казалось, спешил ответить на вопрос буденновца:

«Сын аптекаря. Мелкий буржуа. Из таких Гитлер набирал свои штурмовые отряды. А этот не стал эсэсовцем, гестаповцем. Простой солдат. Может, попытаться прочистить ему мозги? Если увидим, что фашист, гад, тогда уж...»

«Добренький ты, комиссар. Чтоб я кормила немчуру, волка, который все будет в лес глядеть!.. — возмутилась Люба. — Что тебе скажут партизаны?»

Вася растерялся. Он не подготовлен был к выбору одного из

двух возможных решений, по сути своей противоположных, — расстрелять или отпустить.

Я знал с самого начала, что третьего решения нет. Но готов ли был я сам выбрать? Вчера я расстрелял бы его без разговоров. От отчаянья. От сознания своего бессилия перед их мощью, — они разглядывают в бинокль Москву. Наконец, мстя за хлопцев. Сегодня все переменилось. Я — командир, я осуществляю Советскую власть в захваченном врагами районе. Военные законы суровы. Борьба насмерть. Но и в этих законах должны быть отражены высшая мудрость, гуманность и справедливость моего народа. В чем же они? Что тебе скажут партизаны? Может быть, стоило спросить у отряда? Но где много людей — там иной раз бушует стихия. А тут нужны спокойствие и размышление.

«Михей Селиванович, твое слово».

Вздохнул дед.

«Отпустите его, детки, с богом. Мы — не они. Доктор говорит: пальцы ему придется отрезать. Калека. Больше воевать не пойдет».

Люба сказала:

«Ну, дед, удивил ты меня!»

Я долго не мог произнести ни слова. Прислушивался, как оттаивало в сердце что-то, что застыло, замерзло, зачерствело в последние дни и что могло превратить сердце в камень. Спасибо тебе, дед. Ты — наша совесть.

— Пиши, комиссар. «Трибунал отряда «Смерть фашизму» постановляет: рядового немецкой армии... как его... взятого в плен, отпустить. Раненых не расстреливаем!»

Я сам отвез его на железную дорогу. Развязал глаза. Иди. До станции километров десять. Дойдешь — твое счастье. У тебя, кажется, начинается лихорадка. Иди, но не забывай, что смерть подстерегает тебя на нашей земле повсюду! И другим об этом скажи!

В самом лучшем настроении объезжал я до вечера дальние дозоры. Заехал в Пригары к нашему старосте. Обдумали с ним, как намолоть муки, зерно у нас было закопано. На мельницу надо везти не десять пудов, а две-три тонны. Чтоб хватило отряду на зиму. Для кого молоть? Под чьей маркой? Чтоб не возникло подозрений. А то и хлеб потеряешь, и людей. Вернулся — Будыка за ужином ухмыляется во всю морду.

«А тебе известно, что мы не только «языка» привезли?»

«А кого еще?»

«О, не знаешь? Чудо! Мадонну. Да еще, кажется, с младенцем».

«Какую мадонну? Что ты несешь?»

«Правда. Учительницу. Ночевали в одном селе, она пришла, на колени перед Павлом упала. Они знакомы. «Или, говорит, возьмите с собой, или убейте. Не могу больше». У нее муж в полиции. «Лучше, говорит, умереть, чем быть женой изменника».

Меня будто ветром сорвало.

«Вы что, с ума сошли? Ты за кого там был? Начальник штаба отряда! Окруженская тряпка!»

Потом Валентин признавался, что никогда не видел меня таким разъяренным. Стоял, побледневший, навытяжку. Оправдывался, как мальчишка:

«Брат твой ее знает. И Шуганович».

«Ты когда мне об этом докладываешь? Кто здесь командир? Вы что — уже меня похоронили?»

«Комиссар нас встретил, я думал — он сказал...»

«Кто тут командир? — кричал я на Шугановича и Павла. — Почему я на вторые сутки узнаю, что в отряде появился новый человек? Кто разрешил?»

«Я привез!»

«Ты думаешь, если ты мой брат, то можешь тащить в лагерь, кого захочешь? Кто она?»

«Жена Свояцкого».

От удивления даже гнев мой потух. Я давно знал, что мой коллега по райисполкому — заведующий дорожным отделом — стал заместителем начальника районной полиции. А должен был быть с нами. Присутствовал на совещании, которое проводил секретарь обкома, был зачислен в отряд. Отвечал за продуктовые склады. Хорошо, что не за оружие. В лес, когда пришли немцы, не явился, как, между прочим, не явился и тот человек, которого обком назначил нашим командиром. Но тот исчез бесследно. А этот вынырнул. На месте складов мы нашли пустые ямы. У нас, одиннадцати, кто сразу пришел в лес (теперь уже осталось девять), с этим человеком были свои счеты. Мы твердо решили спросить у него как-нибудь, куда девались продукты и одежда.

И вот жена его здесь, в лагере. Он жил не в райцентре, а километров за восемь — в Хобылях, и жену его я встречал редко, однако помнил. Свояцкий женился года два назад. Как-то вскоре после свадьбы мы с председателем исполкома заглянули к ним — поздравить молодых. Ей-богу, я растерялся после Павлова сообщения. Может быть, воспользоваться женой, как приманкой для Свояцкого? А что, если она приманка на нас, если это хитрый ход полиции?

«При первом же подозрении я расстреляю не только ее, но и вас. Всех троих. Кто из вас даст гарантию, что она не шпионка?

«Какая шпионка?! Она, может, через неделю или две родит».

Ну и ну! Умеют хлопцы удивить! Тут уже я снова, как говорится, взвился.

«Родит? Да вы что — ошалели?! Что у нас тут — роддом? Детские ясли? Чтоб до утра духа ее не было! Завязать глаза — и на все четыре! В любую деревню! Только не к нашим связным!»

«Немца ты пожалел! — вдруг, разозлившись, закричал Павел. — А своего человека — на мороз, в завируху. Такую... А куда она пойдет? Сирота. И не здешняя. С Витебщины. Мы ей в

техникуме всем курсом помогали. Она говорит: лучше повешусь, чем назад к полицаю...»

Что она повесится, меня мало трогало. А вот что брат мой, оказывается, вместе с ней учился, а значит, хорошо знает, немного успокоило. И Шуганович знает. И тоже — за нее. Ишь как сморщился, когда я приказал вывезти из лагеря. Один Будыка наблюдает со стороны, как будто его это не касается, с ухмылочкой своей дурацкой: рад, верно, что вина падает не на него.

Черт с вами! Довольно у меня забот без вашей бабы!

«Только пеленок вам и не хватает! Вояки! Юбочники! — И Павлу: — А немцем меня не попрекай! Гуманист сопливый!»

А потом, в тот же вечер, опять душевная депрессия. Какие мизерные дела! Взяли немца и того отпустили. Поссорились из-за бабы. А завтра что? Опять будем сидеть по землянкам и слушать, как воет вьюга? Идет гигантская битва. Умирают миллионы. Решается судьба Родины. Что сделать, чтоб помочь Москве?

Досталось в тот вечер и Будыке за его усмешечки. Долго он потом так не усмехался.

Распек Рощиху за непропеченный хлеб. Да с той что с гуся вода.

«А ты мне печь человеческую построил, что кричишь, как на женку?»

Я должен строить ей печь! Скоро потребуют — подавай нам пеленки! Ох, довели они меня в тот вечер до белого каления, соратники мои!

Но в конце концов все заслоняла одна мысль — что делать? Не можем пускать под откос эшелоны. Не имеем сил, чтоб вести бой с гарнизонами оккупантов. Неужто нет больше дел? Нет, есть! Смерть тем, кто продался фашистам! Кобики и Своякие должны почувствовать, что измена не остается безнаказанной, что есть суд народа. И что хозяева в районе не они, а мы, партизаны!

В то утро опять мела метель. Я не помню дня в том декабре, когда не шел бы снег. Недаром декабрь у нас называют — снежень! Все, что двадцать три года держится в памяти, — все происходило в метель.

Мы ехали утром по полю, и глаза нам и лошадям больно сек морозный снег. Не такой мягкий, не такой ласковый, как сегодня. Но и этот славно сыплет. Завтра будет такая же зима, как тогда. Надо возвращаться. Я далеко зашел. Ничто не мешает теперь думать дома, грея спину у радиатора.

IV

Из-за поворота безлюдной улицы вынырнула машина. Ударила в глаза снопом света — ослепила, просигналила.

Антонюк отступил к штакетному забору: дорога и тротуар скользкие.

«Волга» пролетела мимо и вдруг резко затормозила. Пассажир с переднего сиденья окликнул:

— Иван Васильевич!

Машина тихо пятилась назад. Его, Антонюка, преемник, Андрей Петрович, о котором сегодня шла речь.

— Ты куда на ночь глядя?

— Гуляю.

— Вот сила воли у человека! Пускай камни с неба падают — он будет гулять. Сто лет проживешь. Садись — подвезу. Не догуляешь — не беда.

«Почему такое внимание? Знает, что я отказался, или, наоборот, уверен, что я соглашусь вернуться в качестве его подначального?»

Мальчик лет четырнадцати вежливо поздоровался, когда Антонюк сел рядом с ним.

Андрей Петрович повернулся всем телом, лицо к лицу...

— А мы с сыном совершили первую вылазку на подледный... На море наше синее. Слабо. Десяток окуньков.

«Мне завидуешь, что гуляю, а сам в рабочий день ловишь рыбу».

Сын сказал:

— Где ж ты хотел поймать — у берега? Ты же боялся дальше пойти.

— Лед еще слабый. Но посидеть приятно. Тишина.

— Клевало хорошо. Если б за остров пошли...

— Ну, там никогда не брала.

— Что ты, папа! Забыл? А помнишь, в прошлом году... Не успевали вытаскивать.

— Так разве за островом? Это ж в затоке у Сёмкова...

— У Сёмкова к весне, а то зимой, на каникулах. Когда Володька Кузьмин с нами ездил. И дядя Василь.

Отец и сын спорили по поводу прошлогоднего лова и прошлогоднего снега и мороза. У Ивана Васильевича защемило сердце. Острой болью кольнула тоска по сыну. И появилось чувство вины перед ним. Странно, такое чувство не в первый раз уже приходит. Непонятно — почему? Раньше или позже Василь должен был выполнить святой долг гражданина. Он, отец, счел, что парню будет на пользу, если он выполнит этот долг пораньше, пройдет самую суровую школу, где не нежат, не гладят по головке. И однако... Что он сделал для того, чтоб сын избежал тех заскоков, той путаницы в голове, за которые пришлось наказывать? Работал, не жалея себя, это так. Но неправда, что совсем не оставалось времени заняться детьми. Поехать на охоту время находил.

Пробовал брать с собой сына. Мальчику не понравилось. Больше не поехал — жалел убитых зверей. Мать растрогала такая чувствительность сына. Ах какой ребенок! Какое сердце! Ольга вообще против охоты. Даже теперь. Как же можно было приблизить его, как повлиять?

Нет, чувство вины не оттого, что сорвал с учебы, из университета: армия тоже университет. Чувство вины оттого, что, по сути, не за что было наказывать парня. Ректор это понимал. А он, отец, неожиданно проявил сверхпринципиальность. Обидели, оскорбили слова сына: «Ты сам закоренелый сталинист!» Теперь все это кажется наивным.

Было время, когда дети обвиняли нас во всех прошлых грехах, наших и чужих, в тех, которые при объективном подходе можно было отнести за счет ошибок роста, становления, и в тех, что творились по воле, злой или больной, одного или нескольких человек. Но мы, отцы, так же огульно, как огульно нас обвиняли, отметали всё, цеплялись за прошлое и невольно пристегивали себя к тому, к чему не имели отношения, что отрицали всей своей жизнью, работой и борьбой за осуществление идеалов, завещанных Ильичем. Мы так же огульно, без разбору, обвиняли и еще сейчас обвиняем детей, что они не такие, как мы, что, мол, куда им до нас, мудрых, непогрешимых, закаленных в боях. А по сути, всем нам, и отцам и детям, нужно немножко больше объективности, самокритики — той самой, о которой так много говорится.

Нам не следует думать, что дети хуже нас, а детям — что они всегда умнее. Лада проникает в тайны материи и даже антиматерии, но она никогда не узнает того, что знает он, ее отец, что приобретено богатым опытом нелегкой жизни.

Каждому человеку — свое. И каждому поколению — свое. И ничего нельзя зачеркнуть из того, что было. Дети должны учиться не только на наших героических делах, но и на ошибках прошлого, чтобы их не повторить.

Истины общеизвестные, почти банальные. Их легко провозглашать. Но нелегко осуществить.

Когда дети были маленькие, он изредка рассказывал им о своих партизанских делах, конечно, о самых героических. Они слушали с восторгом. Подросли — начали скептически улыбаться: не верили, что он такой герой. Видели обыкновенного человека, которому ничто человеческое не чуждо. А его обидело, что они равнодушны к его прошлому. Отдалился. Только теперь вот сблизился с дочкой, стал понимать. А сын далеко. Как найти путь к сыну? Что сделать, чтоб они поняли друг друга?

Андрей Петрович все-таки спросил на прощанье:

— Когда на работу?

Значит, не знает. Ловил рыбу.

— Не боишься, что я потребую, чтоб вернули на мое место?

Андрей Петрович хмыкнул.

— Не боюсь.

— Знаешь, что не вернут? Или метишь выше?

— Не знаю. И не мечу. Сам прошусь в институт.

— В науку?

— Зря я слепил глаза над диссертацией?

— Модным стало — идти в науку.

— Верное дело.

— Это правда: дело верное. Да только наука что-то не сильнее. Особенно сельскохозяйственная.

Андрей Петрович опять засмеялся.

— Подожди. Покончили с волюнтаризмом — двинем науку.

Уверенность — позавидуешь. А руководитель — посредственный. Для дела лучше будет, если он подастся в науку. Там только рекомендации дают, а здесь — приказы. И сколько среди них ненужных, невыполнимых!

Жена сказала с укором:

— Где ты шатался? Тебе звонили. От Петра Федоровича. Просит зайти. Завтра.

— Я еду к Васе. Ночью. Симферопольским.

Ольга Устиновна побелела.

— Что случилось?

— Ничего. Просто мне захотелось поговорить с сыном. Имею я право на такую прихоть?

— Неправда.

Увидел: Ольга подумала невесть что. В первый год она жила в страхе за здоровье и жизнь сына, пока не съездила к нему, не увидела — возмужавшего, бодрого.

Иван Васильевич обнял жену за плечи.

— Какая ты паникерша! Клянусь: это — моя фантазия! Ходил-ходил — и надумал. Встретил одного товарища с сыном. На рыбалку ездили.

Она заглянула в глаза — поверила.

Молча сжала руку — поблагодарила, что он думает о сыне и хочет повидаться с ним. Но и другое ее тревожило.

— А как же там? — кивнула вверх.

— Подождут. Обходились два года.

— Ты недоволен разговором?

— Предложили отдел... Я ответил: только на свое место.

— Так оно необходимо тебе, это место?

— Мне необходимо, чтобы некоторые поняли...

— Опять воюешь? Боже мой!

— Два года я ни с кем не воевал. Можно наконец позволить себе такую роскошь?

— Тебе кажется, что не воевал. А сегодня приходила Милана. Жаловалась. Кто-то им сказал, что по твоему предложению горком назначил комиссию проверять институт. На что тебе еще задирать Будыку?

— Почему это он так испугался комиссии? Обычная общественная группа госпартконтроля. Что-то же нам, пенсионерам, надо делать.

Ольга Устиновна сказала неуверенно, осторожно:

— Ваня, а может, погодить с поездкой? Тебя просят зайти, а ты... будто удираешь. Что подумают?

— Я вольный пенсионер. У меня свои планы.

— А все же... — Чувства ее раздваивались: так хотелось, чтоб муж поехал к сыну, но не меньше — чтоб он скорей вернулся на работу. Сейчас такая ситуация!

— Я надоел тебе дома? — попытался пошутить Иван Васильевич.

— Не надоел. Но я не могла не видеть, как тебе необходимо быть в коллективе, среди людей. И на любой должности. Зачем тебе чины?

— Нет, мне нужен чин! Чтобы наиболее эффективно отдать свой опыт да и ту энергию, что накопил за два года отдыха.

— Ты на любом месте умеешь работать.

— Что-то тебя потянуло на комплименты. Собери чемодан.

— А может, хотя бы завтра?

— Оля, я не люблю отменять свои решения. Ты знаешь. У меня не часто возникало желание поговорить с сыном. К сожалению, не часто. К сожалению.

— О чем ты хочешь с ним говорить?

— Ни о чем. Просто так. О жизни. Может, ему будет легче служиться.

У матери глаза наполнились слезами счастья.

— ...а мне воевать, как ты говоришь... с волюнтаристами. Слово-то какое! А?

Глаза жены мигом высохли.

— Ох, Иван, Иван! Когда ты угомонишься?

— Когда накроют крышкой. Да и тогда еще буду пускать биотоки и не давать кому-нибудь спокойно спать.

Появилась Лада из своей комнаты. Остановилась в дверях, взлохмаченная, хмурая, как всегда после того как основательно посидит над квантовой теорией. Может быть, недовольная, что голоса родителей ей помешали.

— Слышу, предки ведут ученую беседу. На современном уровне. О биотоках.

Когда-то Иван Васильевич возмутился, услышав, как сын сказал вот так — «предки», а Лада через неделю повторила, конечно, неслучайно, это слово, и в ее устах оно прозвучало, как шутка.

Вспомнил это и еще острее почувствовал тоску по сыну. Лада везучая. Ей все удается. Нет, неправда. При чем тут удача или неудача? Лада — талант, помноженный на недевичью трудоспособность. За это он любит дочь и все ей прощает, даже «предков».

— Познать тайну биотоков — до этого мы еще должны дойти. Но я боюсь, что люди не очень-то обрадуются, если кто-нибудь научится улавливать каждый импульс. Тебе, отец, было бы приятно, если б сидел где-нибудь некто и читал твои мысли? Все, о чем ты сегодня думал, о чем вспоминал, о чем мечтал.

Иван Васильевич на миг смутился, вспомнив, о чем думал, о чем вспоминал, пока бродил по городским улицам, помолодевшим

от снега. Лада как будто угадала его мысли. Представил, как бы все, наверное, усложнилось, если б в самом деле кто-нибудь сумел настроиться, к примеру, на его «волну», запеленговать в любом месте, в лесу, в постели, в самолете, и «вести» — день, два, неделю, записывать все, что приходит ему в голову. А может быть, наоборот, все упростилось бы? Люди значительно лучше понимали бы друг друга, проникнув в недра души, больше верили бы, меньше подозревали бы в тайных намерениях.

Высказал дочери это, последнее, соображение.

Она на миг всерьез задумалась. Но тут же скептически скривилась:

— Ты идеалист, папа. Тебе хочется все открытия науки использовать для совершенствования человека.

— И общества.

— Тем более это идеализм. Пепел Хиросимы не сблизил людей, а еще сильней разделил их на враждующие лагери. Вот тебе великое открытие!

— Неправда, Лада! — энергично возразила мать. — Пепел Хиросимы сблизил людей. Всех хороших людей.

— Слышишь голос матери! — поддержал Иван Васильевич.

— Я где-то читала, что у матери — голос сердца, а не разума. Боюсь, что когда у меня заговорит сердце, я плюну на расщепление атома и поверю в прочность мира. В первом слове моего ребенка для меня будет больше смысла, чем в любой формуле квантовой механики. А покуда наоборот: я верю только в формулы. Но не верю, что, овладев методом расчета сложных атомов, я стану лучше.

— Все это, дочка, слова из модных книжек. Поза. Мы с мамой отлично знаем, что ты не такая. И мне хочется, чтоб ты так же серьезно, как законы физики, изучала и другие законы — жизни, борьбы... Пепел Хиросимы разделил не людей, он еще больше разделил классы, которые никогда не могли и не могут примириться...

— Вот видишь — разница только в словах! И ты сам подтверждаешь мои мысли: значит, все-таки вражда, которая всегда кончается трагедией. Доказал еще Шекспир.

— Но есть не только пепел Хиросимы. Есть Дубна, куда ты ездила. И есть Братская ГЭС. И Асуанская плотина... Это объединяет людей. Люди все больше понимают, что будущее человечества здесь — в Дубне, в Асуане.

— Человечество, оно, папа, как атом, частицы его — классы, нации, государства, партии — несут заряды. А еще со школы я знаю, что взаимодействие заряженной частицы с атомным ядром, которое приводит к превращению этого ядра в новое ядро, называется ядерной реакцией. Взрыв — новое ядро. И новые заряженные частицы. Заколдованный круг. Ничто не может существовать без заряда. Где же перспектива покоя?

Иван Васильевич удивился. Случалось, что и раньше они спо-

рили, и Лада с юношеским пылом старалась сбить отца сложными математическими формулами и категориями, которые он не мог знать. Но редко она из законов физических делала такие вот социальные выводы.

— Где ты это вычитала?

— Папа, ты обо мне плохого мнения.

— Не считай, что делаешь открытия. Еще до нас с тобой, давно... Да и в наше время немало есть таких мудрецов, которые переносят законы физики, биологии на общество. Почитай у Ленина. Великими учеными стали те, кто открыл законы физики, и те, кто открыл законы общественного развития. Но не те, кто хотел механически перенести...

Лада засмеялась.

— А ты неколебим, дорогой папочка, в своих убеждениях. Я иногда завидую твоей твердости. Мне хочется, чтоб и в моей кибернетической машине был такой же порядок. А то у меня часто путаются плюсы и минусы... А ты представляешь, как может измениться окончательный результат, если перепутать знаки?

Мать не любила таких слишком ученых рассуждений. Сказала с укором:

— Ты путаешь не только знаки. Не запутайся в людях.

Лада поняла, засмеялась.

— Не волнуйся, мама. У меня математический расчет.

— Я еду сегодня к Василю. Что ему передать? — спросил Иван Васильевич у дочки. Спор был прерван.

— Почему так вдруг?

— Это трудно объяснить — и отцовский гнев, и отцовскую тоску. Когда-нибудь ты поймешь.

— Я понимаю, — Лада посерьезнела, задумалась, но тут же рассмеялась. — Передай, что у меня появился еще один жених. Пускай поздравит. — И, увидев, что отец удивился, объяснила: — Тебе мать не рассказывала? Ко мне серьезнейшим образом сватается Феликс Будыка. Вот как выросли мои акции! Поднялись до кандидатов. Вчера пригласил в театр. А я спросила, какие места, пошла и купила еще один билет, рядом, на мое счастье, место было свободно. И пригласила Джозефа, малийца. О, как они смотрели друг на друга! Помереть можно. У негра, когда гас свет, белки сверкали. Страшно делалось. Думаю, как даст сейчас Феликсу в поддыхало. Вот был бы спектакль! Черный студент побил белого кандидата. Сенсация!

Иван Васильевич не слишком весело улыбнулся.

— Не шути с огнем, Лада.

— О! Но ведь надо знать, кто из них горит, а кто тлеет. Посоветуй мне выйти за Будыку. Веселенькую жизнь я устроила бы свекрухе!

— Милана Феликсовна неплохая женщина.

— О, папа! Ты ли это? Может, в самом деле хочешь посватать меня за Будыку? Засиделась в девках? Признайся, тебя это

волнует? В классических романах каждого отца волновало. Графа Ростова, например, князя Щербацкого...

Дочка развеселила-таки Ивана Васильевича.

— Я, видно, дурной отец, потому что никогда не думал ни о твоем, ни о Майином замужестве.

— Слава богу. Хоть в одном отцовская психология прогрессивна.

Обычно Лада прерывала разговор с родителями внезапно — надо заниматься. Десять минут для разрядки — и хватит, дисциплина у нее железная. В тот вечер они беседовали долго, то всерьез, то шутливо. Никто не мешал. Ольга Устиновна побежала по магазинам: надо собрать сыну гостинец. Напоминание мужа, что неделю тому назад отправили ему посылку, не остановило мать. Как можно ехать с пустыми руками!

...Нет, ни в чем я не считаю себя виноватым. Ни перед кем из вас. И никто из вас не имеет права судить меня! Разве только ваша мать. Перед ней я грешен, но — странно — никогда не казнил себя за это. То, что я сказал молодому моралисту, который хотел напугать тем, что знает мою тайну, правда: тот Антонюк остался там, за межой, и всё осталось вместе с ним. Нет, вздор. Никто не хоронил одного Антонюка и не родил другого. Какая межа? Когда и что она разделила? Никогда я не раздваивался, кажется. Да нет, раздваивался все-таки. Иначе прожить нельзя.

«Вы, отцы, точно попы... Вам страшно, как бы мы не додумались до отрицания того, что вам кажется святым...»

Нет, дочка. Мне не страшно. То, что для меня свято, вам никогда не перечеркнуть, потому что оно было, есть и будет свято для всех. За это я не боюсь. И будущее ваше не тревожит, потому что знаю — жизнь ваша будет лучше, чем моя.

А что значит лучше? Спокойненькая? Больше достатка?

«А я не верю, что от овладения методом расчета сложных атомов стану лучше...» Любишь ты, Лада, пускать шпильки. Ты проникла в строение материи куда глубже, чем я за всю свою жизнь, за все годы учения, и по логике ты должна стать лучше. Усовершенствованная модель. Но, к сожалению, не всегда так бывает. Наука не одна. Наук много. Есть еще гигантский и чертовски сложный атом, который называется человечеством... Однако я повторяю твои слова.

Мы, отцы, похожи на попов не из-за страха, что дети додумаются до отрицания чего-то там, а оттого, что любим повторять прописи, известные каждому младенцу, и выдаем старые, как мир, истины за нашу отцовскую мудрость.

Опять остановка? Почему на этом перегоне поезд останавливается у каждого столба?

А снег все идет. Вон в свете фонаря какие кружат мотыльки. Пришла зима. Не рано? Кто-то садится. На таком полустанке? Только бы не ко мне в купе. Эгоист. Но ведь сколько угодно

мест, вагон пустой. Мимо. Слава богу. Я должен все-таки разобраться в себе. Почему возникло это непонятное чувство вины перед детьми? Не только перед Василем. Но и перед Ладой. Перед Витой. Перед всеми детьми. Какими всеми? Не уносись, пожалуйста, в мир абстракций. Истина всегда конкретна. Ладе завидуют. Я и сам завидую такому таланту. И горжусь. Хотя подчас становится страшно за нее. Но сегодня этого не было. Сегодня грызет совсем другое. Значит — Василь. Может быть, ты давно забыл уже, как бросил мне суровое обвинение? А я помню, и у меня это болит. Моя вина, что ты плохо знал, кому я служил и как служил. Я никогда не умел рассказывать о себе, тем более вам. Не умел или некогда было? А может быть, боялся? В самые высокие, героические периоды моей жизни случались такие события, складывались такие ситуации, что вам, юным, их не понять. И однако я должен был больше рассказывать. И не реагировать так болезненно на твои слова, каковы б они ни были, помнить, что в юности сам был такой же горячий. Да и не только в юности. Мне, наверно, надо было вот так же спокойно и рассудительно разобраться в твоей вине. Но у всех у нас нервы, у меня они изрядно-таки потрепаны, а ты и до того не раз бил по этим стертым струнам. В младших классах приносил пятерки, а в старших — тройки. Звонки директора, классной, деликатные просьбы последить за сыном. Могло это меня тешить, радовать так, как радовали Ладины грамоты и медали?!

Под нажимом матери я пошел на унижение: просил за тебя, когда ты поступал в университет. За Ладу не надо было просить. Было больно, и теперь больно, что ты, мой единственный сын, не такой, как твоя сестра. Ну, пускай не выдающийся, хотя бы обыкновенный, как все. А так ли уж хорошо быть серенькой посредственностью? Собственно говоря, что я о тебе знаю? Что ты возглавил компанию крикунов, где, конечно, были лодыри и, возможно, хулиганы. Им лишь бы пошуметь. Но разве все такие? Сам ректор говорил: были ребята способные и умные. Против чего вы протестовали? Против одного дурака и приспособленца? Или против методов преподавания? Кто в этом разобрался по существу? Якобы вы требовали: «Марксизм-ленинизм должны преподавать настоящие ленинцы!» И устроили обструкцию тому типу. Но он и сейчас ежедневно поднимается на кафедру, жирненький, розовенький, довольный собой, и читает, наверно, все по тем же старым конспектам, сделав небольшие купюры и такие же вставки, чтоб связать с современностью.

Умные люди в ректорате, в горкоме и тогда понимали, что сурово карать вас не за что. Наказать надо было за форму протеста, а не за существо. Чтоб не распускались, не действовали, как анархисты. Надеюсь, что теперь, в армии, ты это понял. Боюсь я встречи с тобой, хотя она и не первая. Но сам я, кажется, стал другим. Тогда я был уверен, что все вы заслуживали более сурового наказания, что с вами обошлись либерально и что я

единственный поступил мудро, посодействовав, чтоб ты оказался в другом «университете», где так не нянчатся с подобными анархистами.

Но теперь я думаю: если вы по существу были правы, то как иначе могли вы выразить свое юное возмущение подлостью и невежеством? Разве не так же запротестовал я против очередной глупости и невежества в ведении хозяйства? Так почему — ответь сам себе в этом пустом вагоне, под стук колес, — почему то, что ты всю жизнь делал сам, у сына, у его друзей посчитал крамолой? Показалось, что они замахиваются на то святое, что ты завоевал кровью, смертью близких? Нет, и тогда я так не думал. Если б нечто подобное учинила Лада, я, наверное бы, реагировал совсем иначе. А ты всем своим поведением усугублял недовольство, разочарование. И произошел взрыв. Наверное, и в самом деле невозможно объяснить отцовский гнев, как и тоску. Прими во внимание, еду я не затем, чтоб успокоить совесть и загладить свою вину перед тобой. Я не мать, чтоб плакать и раскаиваться. Сейчас не могу объяснить, зачем мне эта встреча, но чувствую, что она нужна и тебе и мне, что она в чем-то поможет. В чем? «Бороться с дураками»? Но какой борец из пенсионера? Пойти на предложенную должность? И помогать таким, как Андрей Петрович, пробиваться в науку? Научились некоторые выбирать места, где вернее! Я никогда не выбирал.

Ребенок? Где-то через купе или два. Грудной... Выходит, не так пусто в этом вагоне, что мчится сквозь ночь, снежную мглу на юг, к солнцу...

Ей-богу, как-то стало уютнее от детского плача. Он разбудил, заполнил вагон, как тогда, в ту снежную ночь, заполнил лагерь и... согрел зачерствелое, застывшее сердце командира. Мое сердце.

А вот и она, мать, ее приглушенная колыбельная. Не бойся, женщина. Не бойся кого-нибудь разбудить, кому-нибудь помешать досмотреть приятный сон. Пой громче. Я хочу взять на себя ответственность и за твоего ребенка...

Погоди... Вот оно что! Вина? В чем? Перед кем? Ответственность. За тебя, Василь. За тебя, Лада. За тебя, Стасик! За тебя, Вита. И за тебя, чужой младенец.

А вина... Вину я чувствую только перед тобой, Павел. Перед одним тобой.

Я разыскал тебя в лесу после того, как Будыка открыл мне твою тайну. Ты сидел на пне. Свежие сосновые пни плакали смолой. И березы плакали. Капли березового сока звенели в жбанчиках и котелках, подвешенных партизанами. Лес прятал нас, согревал, поил и кормил. Но война сделала нас безжалостными к лесу. Я присел напротив на такой же пень. Я сказал:

«Поверь, Павел, я ничего не знал. Ты любил ее? Еще с техникума? Она об этом знала?»

Ты закрыл лицо руками. Мне показалось, ты плачешь. Маль-

чик мой! В двадцать один год ты был ребенок и поэт, романтик, ты единственный там, в лесу, выступал в защиту леса, хотел, чтоб его берегли, в твоей планшетке нашли тетрадь стихов, ты писал о своей любви и о лесе. Но из-за леса ты ссорился с теми, кто безжалостно его истреблял, а о любви своей не сказал никому, даже ей.

«Ты любил ее и отдал тому... гаду?.. Наивный чудак!»

Ты оторвал руки от лица, сверкнул глазами.

«О, зато ты не наивный. Теперь я знаю, какой ты! Думаешь, тебе все дозволено? Где твоя совесть? Человеческая, партийная! У тебя семья. Ребенок. Где они? Как они живут? Что ты им скажешь? Как посмотришь в глаза Ольге?»

Павел, не надо было тебе говорить о моей совести. Я — человек. Обыкновенный. Не бог. Война, горькие часы, моя власть над людьми, над отрядом, которую тогда еще никто не контролировал, — может быть, все это и испортило меня. Но в главном, в самом святом, совесть моя была чиста. Я не жалел себя. Шел под пули первым — ты это видел. И о семье я думал, хотя тогда ни ты, ни я не знали, что она так выросла: месяц назад, где-то на Урале, родились Василь и Лада.

Я жестко ответил:

«Оставь в покое мою совесть! Перед семьей я отвечу! И перед людьми. Если останусь жив. А сейчас...»

«Сейчас тебе на все наплевать. И на всех! Разве что кроме нее».

«Нет, не на все, Павел. И не на всех. Я прошу: останься. Ее отошлем. Куда-нибудь в безопасное место, в другой район».

Ты язвительно хмыкнул:

«Такая жертва! Ради меня? Что ты, товарищ командир! Как будешь без нее командовать? Погибнет отряд. Нет, лучше уйти мне».

Павел, зачем ты сказал эти слова? Я никому не разрешал издеваться надо мной, ни раньше, ни потом. Нет, потом я стал равнодушен к любым словам. Теперь я думаю: если б принял их спокойнее, с мудростью и рассудительностью старшего человека, который был тебе не только братом, но и отцом, эти слова можно было бы истолковать совсем иначе, сделать мостиком для какого-то примирения, которое помогло бы удержать тебя в отряде. Нет, вряд ли помогло б. Тебя глубоко ранила моя связь с ней. Может быть, мне было бы еще больнее, если б ты погиб у меня в отряде, на моих глазах. Прости мне, Павел, ту вспышку, те глупые слова:

«Ну и катись на все четыре! К чертовой матери! Слюнтяй! Сопливый романтик!»

Прости... Что бы ни случилось, я не имел права так расстаться с тобой, так проводить...

...Странные бывают сны. Этот мой сегодняшний почти точно повторил то, что произошло двадцать два года назад. Всю исто-

рию с детьми. Только во сне среди детей почему-то оказался мой Василь, маленький, исхудалый мальчуган, в лохмотьях, с фурункулом на щеке. Тогда там был не один такой. Да, сильнее, несравненно сильнее чувство, которое я вчера не сразу узнал, — тревога за детей, ответственность за них. Во сне — боль. И крик. И гнев в споре... Сперва с тем же Корольковым, как было в действительности, а потом —странно! — с Клепневым. Откуда взялся этот тип? Три раза отчурайся и плюнь, если приснился поп или черт.

В выводах нашей группы контроля надо-таки записать Будыке, что окружил себя подхалимами, людьми, которые в технике ни бе ни ме... Может быть, дойдет до него. А тогда он поддержал меня, Валька. Сам лежал раненый, а поддержал. И это мне снилось. Точно, слово в слово — весь спор, весь разговор. Покуда не влез Клепнев. Ни в каких мемуарах не мог бы, наверно, припомнить все с такой точностью, как во сне... Голоса людей, которых давно нет. Шум пропеллеров. Колючий снег в лицо... Испуганные и радостные глазенки детей в иллюминаторе, когда самолет стал выруливать на взлет. Прощальный круг самолета...

Только после этого, кажется, начался сон: я оглянулся и увидел, что не все дети полетели, что много-много осталось их на заснеженном поле, застывших, голодных, в лохмотьях, и среди них — Вася, маленький Вася. И пронзила такая боль за них, овладела такая тревога!..

В воспоминаниях этого, наверное, пережить нельзя. Странно, что никогда никому не рассказывал про эпизод с детьми.

Моя бригада — уже бригада! — дислоцировалась в глухом районе, далеко от железной дороги и города. Это был наш партизанский район. Бригада несла охрану центрального аэродрома соединения. Полицаи и каратели пытались выбить нас, уничтожить базу и аэродром. Бой длился несколько дней. Фашисты отступили. Но и мы похоронили немало людей, других принесли ранеными. Тех, что полегче, разместили в своих госпиталях. Тяжелые ждали эвакуации. Самолеты прилетали редко. Та вторая наша партизанская зима, сталинградская, не была такой снежной и суровой, как первая. Однако же зима. И в наше мирное время, при современных самолетах и локаторах в аэропортах, оборудованных по последнему слову техники, зимой пассажиры сидят иной раз неделю. А что говорить о том времени, о тех транспортных самолетах! За две недели — один рейс. Самых тяжелых эвакуировали. А раненых не становилось меньше. После известного санного рейда на аэродром привезли своих тяжелораненых минские партизаны. С ними приехал и Корольков, раненный в руку.

Каждый день мы отправляли радиограммы — просили прислать самолеты. Почти каждый день получали ответ, что завтра-послезавтра самолет вылетает.

Но напрасно мы дожидались, не спали ночами...

Вот в один из этих дней он и пришел к нам. Его привели в

штаб дозорные. Старый простуженный человек с болезненным блеском в глазах. Требовал на всех заставах, в отрядах, чтоб его доставили к самому главному партизанскому начальнику. Он так и спросил с ходу, сразу, как вошел в землянку и со свету с трудом разглядел воспаленными глазами меня за столом:

«Вы главный?»

«Пускай буду я».

«Нет, без шуток. Кто вы? Мне надо знать».

«А не кажется ли вам, что в такой ситуации мы первые должны спросить — кто вы?»

Он не сразу уразумел.

«Мне надо знать... поймите. Жизнь детей... Вы — отцы... Советские люди...» Старик горячо выкрикивал слова без всякой логической связи.

«Кто вы?»

«Я директор детского дома. В Петровке. Знаете Петровку?»

Еще бы не знать! В местечке этом — полицейский гарнизон, на который мы давно точили зубы.

Человек окоченелыми руками расстегивал кожушок, чтоб достать из-за пазухи какие-то документы, и не мог никак расстегнуть. Теперь он уже заинтересовал меня.

«Так что вы хотите?»

Он рванулся к столу и зашептал отчаянно, надрывно, и шепот этот — точно крик на весь мир:

«Спасите детей! Спасите детей! Они забирают по четыре, по пять и не возвращают моих детей! Что они делают с ними? Товарищи дорогие! Товарищ командир!..»

Сухие, красные от бессонницы глаза наполнились слезами. И такие же слезы я увидел у Королькова, лежавшего рядом на топчане: его в этот день лихорадило от раны или от простуды.

Я молчал, понурившись. Директор обращался к нашей гуманности, к высокому долгу перед детьми. Просил. Требовал. Он боялся, что мы откажем, и спешил убедить, захлебываясь словами.

Я долго молчал. Знаю, многие из сегодняшних гуманистов могут спросить: почему? Почему молчал? Разве можно было колебаться? А кто из вас теперь, при мирной жизни, так сразу, не задумавшись, возьмет на себя ответственность за сотню детей? Я должен был взять ответственность за их жизнь. Детский дом — все-таки детский дом, пускай голодный, холодный, под стражей. А бригада — фронт. Кто станет тащить детей на фронт? На передний край, под пули?

Фашисты презрели все законы человечности. На фронте брали в плен. Нас, партизан, расстреливали на месте. Дети в зоне боя, в лесу, считались партизанами, их уничтожали. Это я хорошо знал. Именно тогда, в тот миг, впервые с такой силой почувствовал то, что вчера. Сжалось, защемило сердце.

Выговорился директор. Умолк. Глядит на меня. Так же гля-

дит Корольков. Ждет. Как представитель центра он мог подсказать, мог приказать. Но, пробыв три месяца среди партизан, понимал, что не тот случай, когда следует проявить свою власть.

«Сколько детей?» — спросил я.

«Шестьдесят семь. А было сто восемь. Сто восемь! Куда они забирают моих детей? На что им дети?»

«Вывести ночью можете в лес под Потисню?»

Директор удивился, что я так хорошо знаю окрестности далекой Петровки. Загорелся. Замахал руками.

«Выведем, товарищ командир. Выведем. Мы ведь в имении. Правда, охрана и у нас стоит. Но — свои... Какие там свои! Бобики, сукины дети! Но у нас... у нас... смирные. Они не стоят, а спят в доме. Мы их напоим... И самогоном. И снотворным... Выведем!»

«Кто пойдет с детьми?»

«Трое нас. Всего трое. Я... Клавдия Михайловна... Нет... я вам скажу по секрету. Она — Клара Моисеевна. Наша старейшая воспитательница. Мы маскируем ее и дрожим, что кто-нибудь выдаст... Все же местные. Знают... Но это такой человек! Такой человек! Мать для всех детей. Люди прокляли бы того, кто выдал бы ее немцам. Она и кормит и лечит детей. Да и не только детей. Она зарабатывает для нас хлеб тем, что лечит других, роды принимает. Когда разграбили аптеку, мы кое-что взяли для своего дома. Дети же. Они болеют... А нам надо жить. Тогда мы думали — недолго. Вот-вот вернутся наши. Но когда немцы стали забирать детей...»

«Десять повозок хватит?»

Директор задохнулся от счастья.

Когда дежурный повел его на кухню — накормить, Корольков встал и протянул мне левую руку — правая, забинтованная, висела на повязке. До боли сжал мои пальцы.

«Иван Васильевич! Ничего не говорю. Слов не надо! — Он взволнованно прошелся по хате, не выдержал: — Одно скажу: какие люди! какие люди! Нет, ты только задумайся, комбриг, над этим фактом. Никто не выдает старую воспитательницу, хотя знает немецкий приказ. Даже полицаи боятся... Гнева людского боятся. Матерей, жен, которые никогда не простят. Какой факт! А? Какой факт!»

Для меня он казался обычным. За полтора года войны мы, партизаны, были свидетелями сотни случаев такого вот интернационального единства советских людей.

Когда детей привезли, встречать вышел весь штабной отряд, все крестьяне деревни, где мы размещались. А было это — только чуть развиднелось, на рассвете. Скатились они колобочками с саней в своих лохмотьях и удивленно таращились, почему собралось столько народу и почему женщины плачут. А бабы и вправду подняли вой. Хватали малышей, разводили по хатам, чтоб накормить скорей, согреть.

Забот прибавилось. А самолеты не прилетали. И погода как будто стояла ничего. Хотя кто знает, какая она была там, под Москвой. Метеосводок не передавали. Однако же полмесяца не могла мести метель. Если б хоть не было обещаний, может быть, легче бы ждалось. А тут еще разведчики донесли, что немцы готовят новое наступление на наш район. У меня лопнуло терпение. Я составил радиограмму:

«Начальнику штаба.

Если завтра-послезавтра не будет самолетов ответственность смерть раненых и детей ляжет на вас.

Комбриг Антонюк».

Перед тем как отдать шифровальщику, показал Королькову и Лагуну, комиссару бригады.

Корольков побледнел. Дрожал человек перед начальством и за тысячу верст, за линией фронта.

«Ты серьезно?»

«Мне совсем не до шуток».

«Да ты что, субординации не знаешь? Комбриг! Имей в виду: быть советским партизаном — не значит партизанить, как тебе вздумается. Ты член партии. Анархии не разрешим! Запрещаю отправлять такую радиограмму!»

Я послал его... Эх, как он взвился! Чуть до сердечного припадка не докричался. Я приказал позвать врача. Лагун, добрый, умный, но нерешительный человек, уговаривал меня, пока мы шли к землянке, где помещалась рация.

«Наживешь ты себе, Иван Васильевич, неприятности».

«Да я что — ради чинов воюю, ради званий, орденов? Какие у нас с тобой могут быть неприятности больше, чем наступление карателей, чем блокада? Что нам тогда делать с ранеными? Бросить на надругательство фашистам?»

Радиограмма пошла. На следующую ночь прилетел самолет. И Корольков сразу стал — хоть на хлеб его мажь. Чуть не лез целоваться. Сам организовал прощальный обед. Заглядывал в котлы на кухне. И всем «раздавал ордена».

А у меня заныло сердце в то утро. Там же на аэродроме, у замаскированного самолета. Сосала какая-то непонятная тревога, или страх, или бог его знает что. Все казалось: что-то я сделал или делаю не так, как надо. Но что? Объехал посты, наведался в отряды, занимавшие самую дальнюю оборону. Нет, все в порядке. Немцев близко не слыхать. Небо обещает лётную погоду. Ночью самолет с тяжелоранеными возьмет курс на подмосковный аэродром. И никто его в такую ночь не перехватит, разве что над линией фронта обстреляют зенитки. Но пилот говорит, что это не страшно.

Примерно к полудню вернулся в штаб. Сидят Корольков, Лагун, Будыка, врач, пилот. Сочиняют план эвакуации. Проще гово-

ря, составляют список, кого вывезти в первую очередь. Протянул список мне. Долго я читал двадцать каких-то фамилий. Так долго, что они все притихли и насторожились.

Врач сказал:

«Хотели Валентина Адамовича включить, он отказался».

«Да я уже скачу, как заяц», — засмеялся Будыка, стукнув костылем.

Между прочим, и позднее, осенью сорок третьего, он отказался эвакуироваться. Вызывали на совещание начштабов — притворился больным. Все почитали за счастье полететь на Большую землю, а Будыка всячески уклонялся. Но тогда я подумал о другом: «Валька отказывается, хотя такой же раненый, а некоторые рвутся...»

С новой силой засосало в груди: что-то тут не так. Но что? И вдруг... В таких случаях говорят — осенило. Я бросил список на стол и сказал:

«Этим рейсом полетят Чугунов, Концевой, Файзулин. Им нужны неотложные операции. Клара Моисеевна и дети. Пилот, сколько можешь взять детей? От пяти до десяти лет?»

«Дети? Каких детей?»

«Наших».

«Здоровые? Сидеть могут?»

«Могут».

«Да такого гороху человек... тридцать».

«Зер гут, панове офицеры, — весело сказал я. — Так и запишем: летят все малыши».

Но в ответ — лишь более шумное, чем обычно, со свистом и хрипом, простуженное дыхание Королькова да скрип новой портупеи пилота.

Будыка взглядом одобрил: правильно! Но ждал, пока выскажется уполномоченный. Лагун тоже смотрел в рот Королькову. А тот молчал. Долго. «Чапай думает», — хотелось мне пошутить. Может быть, он сейчас встанет, пожмет руку, как тогда, когда пришел директор детского дома?

Корольков обдумывал с важностью и значительностью человека, на которого возложена высшая ответственность. И сказал рассудительно и спокойно:

«Иван Васильевич, мы понимаем тебя, твои чувства. Мы — все отцы, и первая наша забота о детях, что бы ни случилось, какая бы сложная ни возникла ситуация. Дети — наше будущее. Однако давай все взвесим. Представь, что самолет опять не прилетит неделю, а то и две. Ты слышал, что рассказывает пилот. Все транспортные машины брошены под Сталинград добивать Паулюса. Вот и думай... А в это время Швальде начнет наступление. И вдруг окажется, что вам придется отойти. Война есть война, особенно партизанская. Детей можно раздать по селам. Селяне их смело возьмут, их легко выдать за своих. Да кто будет детей искать?А раненые... Куда ты денешь раненых? Наконец, ты

уверен, что сами раненые нас поймут? Им известно, что прилетел самолет, и каждый мечтает поскорей оказаться на Большой земле, в госпитале. Ты не знаешь психологии раненого».

Его тут же поддержал наш бригадный врач Вапняк. Мы уже привыкли: чуть что не так, доктор сразу ставит ультиматум. Я не раз грозил ему, что расстреляю за такие ультиматумы, но на него это мало действовало. Он и тогда начал с заявления, что, если эти раненые — прочитал фамилий пятнадцать — останутся в наших условиях еще хоть на один день, он слагает с себя обязанности главного врача. Можете расстреливать его, можете вешать — как вам больше нравится. За ним — Лагун, добренький, деликатный. Напомнил, что в отряде живет ребенок, которому всего второй годик, — Вита! — и ничего, здоровенький растет. Одним словом, намекнул перед отлетом уполномоченному, в каких отношениях командир бригады с матерью этого ребенка. Капнул. Но меня это мало тронуло, потому что тайны я не делал.

Будыка сказал, что он не может согласиться, будто все раненые рвутся лететь. Давайте спросим — добрая половина откажется.

Те трое почувствовали: начштаба — мой союзник, и стали убеждать его.

Я молчал. Может быть, не перебродили еще мои ощущения, не созрела тревога. Меня переубедили. Я сдался. Без боя. Только взял с Королькова обещание, что он добьется, чтоб выслали специальный самолет за детьми.

Был торжественный обед. Пили спирт. Провозглашали прощальные тосты, серьезные и шуточные. На стол подавала Надя. Пили за ее здоровье. Захмелевший Будыка целовал ей руки. Пьяный Валька всегда лез целовать Наде руки и признаваться, что он женился без любви, но никогда не изменял жене. Однажды я дал ему за это по морде — за намек, что он лучше меня, грешного.

Кажется, все шло, как положено. Все были довольны. И я тоже. Правда, особой веселостью не отличался на этом обеде, однако и не сидел темной тучей. То утреннее тревожное чувство, верно, уснуло, опьянев.

После обеда Корольков, Будыка спали — люди раненые. А я вышел на улицу засыпанной снегом лесной деревушки. Поглядел на близкий лес — наш, и на далекий — с другой стороны, — что синел за полями; за ним, за тем лесом, враг. Поближе к деревне — посадочное поле. Там в березняке замаскированный самолет, который мы так долго ждали. Когда прилетит следующий? И снова засосала сердце тревога. А тут еще и они, детдомовцы, попались на глаза. Несколько мальчишек вместе с деревенскими тащили из лесу на саночках хворост.

Был мой приказ — помочь крестьянам заготовить и перевезти топливо. Почему дети возят на себе? Крепко досталось коменданту и командиру штабного отряда.

Заглянул в госпиталь. Под поветью легкораненые глушат самогон. Вапняк, хитрюга, знал, когда можно спорить, предъявлять ультиматумы, а когда надо молчать. Стоял навытяжку: «Слушаю, товарищ комбриг!»

Вскочить разве в седло — и в дальний отряд? Пускай провожают самолет без меня. Зашел в хлев, постоял возле своего Гнедого, погладил его, нетерпеливого, горячего. Конь рвался на простор. Пусть бы летели ледяные искры из-под копыт! Надя боится моих поездок — в отрядах теперь много девчат. О, женская душа! Уже ты присвоила меня и ко всем ревнуешь. А сама заливаешься краской, когда начштаба целует тебе руки. Наверное, приятно. Хотелось «завести» себя, разозлиться на всех и вправду махнуть в лес одному — пускай ищут комбрига! Нет, ничто не трогало, ничто «не заводило». Все отлетало в сторону. Одно стояло перед глазами, сжимало сердце: дети. Как их привезли, застывших, испуганных и обрадованных, что они среди партизан, как Надя кормила сразу троих, самых маленьких, годиков по пяти, а я помогал ей. И раненый Будыка помогал. Прыгал на костылях перед малышами. Хотел рассмешить. Дети не смеялись. Глядели грустно, с жалостью. Они все понимали. Знали, что такое раны. И Надя опять заплакала от этих их взглядов. Дети оттаяли только тогда, когда перед ними появилась живая кукла — маленькая Вита. С ней они играли, как дети. Да, Вита растет в отряде. Но какой страх переживаю я во время каждого боя! За нее одну. А если за всех? Однако нельзя не согласиться с Корольковым, с Лагуном: раненые есть раненые, они наши бойцы, наши товарищи. Разве я враг своим людям?

Поехал на аэродром. Красное морозное солнце скатилось в лес. Снег посинел. Пилот и штурман прогревали моторы. Вскоре в аэродромную землянку привезли первых раненых. Не очень тяжелых. Тяжелых должны были привезти к самому отлету, чтоб прямо из саней — в самолет.

Вот тогда созрело это мое чувство и сорвалось, как яблоко с ветки, неожиданной командой:

«Отставить возить раненых. Передать директору, Кларе Моисеевне, — собрать детей! Кому меньше десяти!»

Через полчаса на аэродром примчались уполномоченный, комиссар, начштаба.

Теперь уж Корольков кричал на все поле, обвиняя меня во всех грехах, сущих и мнимых.

«Как уполномоченный центра я отстраняю вас от командования бригадой. Товарищ Лагун, примите командование!»

Я спокойно показал ему дулю. Он меня будет отстранять! Где ты был в сорок первом? Корольков схватился за кобуру. Но у меня пистолет был ближе. Комиссар бросился между нами. Просил. Умолял.

Корольков приказал пилоту:

«Не слушайтесь этого человека! Я — представитель центра! Самолетом могу распоряжаться только я!»

Пилот обозлился.

«Пошли вы!.. У меня своих командиров хватает! Я — извозчик. Повезу, кого погрузят».

Погрузили пятерых тяжелораненых и детей. Правда, меньше, чем я рассчитывал, — самых маленьких и больных.

Корольков попытался подняться в самолет, чтобы лететь вместе с детьми, но я стал у трапа.

«Вы, товарищ Корольков, не тяжелораненый и можете подождать. Вам это будет полезно. Подумаете, остынете».

«Ну, бандюга, ты этот день будешь помнить до конца жизни», — пригрозил он мне.

Я помню тебя, Корольков. Помню. И знаю, как ты хотел меня съесть. В первый раз промахнулся. А потом слишком долго ходил вокруг да около, прицеливался и... опоздал. Наступили времена, когда тебе только и осталось, что помочь отправить меня на почетную пенсию. Не более. А теперь укуси ты меня... Тогда мы тебя славно-таки остудили. На твое счастье, следующий самолет прилетел скоро, дня через три-четыре. Через месяц меня вызвали в Москву. Валька Будыка посоветовал тишком:

«Не лети. Дадим радиограмму, что лежишь с воспалением легких».

Я и в самом деле немножко гриппповал. Никогда не был я трусом, но в тот раз послушался инженера, не полетел. Лагун, который слетал, вернувшись, высказал обиду, правда, будто бы шутя:

«Испортил ты, Иван Васильевич, нам с начштаба карьеру. Говорили авторитетные люди, что на нас, всех троих, были подготовлены наградные листы — на золотые звездочки».

Тогда Будыка смеялся. А теперь что-то часто вспоминает эту неполученную звездочку...

— Киев-пассажирский. Стоянка двадцать минут.

«О, это я столько провалялся! Выйду взгляну на тебя, мать городов русских».

V

Иван Васильевич надеялся, что Крым встретит его солнцем, сверкающим на голубой, как небо, морской глади, слепящим глаза. Ему очень хотелось солнца. И ласкового моря. Но все было иначе. В небе — тучи, низкие, тяжелые. Стремительно несутся куда-то. Было в их полете что-то устрашающее: всей кажущейся тяжестью своей тучи наваливались на горы, срезали их, растворяли, сносили. А ведь там, на вершине, ближе к солнцу, люди, его сын. Сеялся зимний холодный дождь, мелкий, неровный, дождевые капли разбивал сильный восточный ветер. Раскачивались,

гнулись мачты пирамидальных тополей, ветер ломал ветви миндальных деревьев. Стонали провисшие провода. На все это — на шум дождя, свист ветра, треск деревьев — наслаивался близкий, непрерывный, как шум водопада, грохот моря. Оно видно за аллеей молодых кипарисов, за пустыми серо-белыми зданиями дома отдыха. Оно как бы поднялось над деревьями, над домами, вздыбилось до самых туч. Пока еще с этой водяной горы катятся сюда на берег валы легкой, как крылья гигантских чаек, пены. Но чудится: миг, минута, час — и все море, поднятое неведомой силой к небу, обрушится на землю, да еще потянет за собой тучи, и смоет разом и эти маленькие домики, и сиротливо-убогие деревца, и почерневшие от дождя столбы, и ограды из ноздреватого ракушечника, и его, одинокого путника на мокром, наклонном здесь, на повороте, асфальте. И пускай. Ничего не жаль в этой тоскливой пустыне. Можно пожалеть разве что эту аллею зеленых кипарисов над самым морем.

Прошлым летом здесь отдыхали жена и Лада и потом восторженно расписывали это местечко, как самый лучший уголок на всем побережье Черного моря.

Матери понравилось здесь, конечно, потому, что она два раза в неделю виделась с сыном. По этой причине малоцивилизованное побережье показалось ей лучше всех самых фешенебельных курортов. А что понравилось Ладе, ультрасовременной рационалистически настроенной девушке, которой кажется смешным сантиментом умиление перед чем бы то ни было — перед лесом, морем, цветами, птицами, детьми? Однако же понравилось. Что?

Иван Васильевич остановился, огляделся еще раз. Слева, повернувшись глухими фасадами к суше, откуда на них смотрят люди, туристы, — вульгарные корпуса пансионата, того самого, где жене и дочери с великим трудом удалось получить — не комнату! — балкон, над которым не капало. Какие чахлые деревца вокруг этих обрюзгло-мокрых, как покинутые старые корабли, строений! Как будто листья на этих деревцах объели «дикари».

Чуть правее — сад, единственное, на чем хочется задержаться глазу, особенно на зеленых кипарисах. И домики под ними — маленькие, белые даже в такую морось, уютные. Лада возмущалась, что художники — черт бы их побрал! — не пускали пансионатчиков и «дикарей» в свой сад.

Молодежь мстила им: собиралась на побережье и устраивала часов до двух-трех ночи такие концерты, что солдатам в горах за много километров не спалось. Пузатые классики приходили слушать эти концерты, а назавтра жаловались местной милиции, что им не дают спать и они не могут творить свои бессмертные шедевры.

Лада умела рассказывать об этом особенно забавно. Старый друг Антонюка, писатель, который когда-то отдыхал в этом доме, покатывался со смеху, слушая Ладин рассказ. Может быть, дочери здесь потому и понравилось, что она получила свежую пи-

щу для насмешек. Хотя там, где солнце и море, юность и песни, не может не быть хорошо и весело. Верно, и он, старый скептик, сумел бы оценить первобытную красоту этого уголка, если б все вокруг — горы и море — было залито хотя бы холодным ноябрьским солнцем. И если б были люди. А то — насколько видит глаз — мокрая дорога и глинобитные домишки поселка: ни живой души. Диво ли? В такую погоду хороший хозяин собаки не выгонит.

Иван Васильевич почувствовал, что устал. Это с ним редко случалось даже в последние, пенсионные, годы. Захотелось вдруг зайти в один из этих белых домов в саду, затопить там печку, если она есть, и сидеть у огня, слушать грохот моря, свист ветра и спокойный шелест своих воспоминаний. Он посмеялся над собой: вот уж поистине пенсионерские мечты!

А вот почта. Иван Васильевич сразу узнал ее. Издалека. Вообще многое удивительно знакомо, как будто он был тут уже когда-то давно и после того, первого, посещения кое-что не узнает — изменилось, выросло, застроилось, но многое осталось, как было. О почте тоже рассказывала Лада. Она любила приходить сюда читать объявления. Каких тут только не было!

«Ищу спутника (лучше спутницу) до Ленинграда на мотоцикл. Желательно, чтоб вес пассажира вместе с чемоданом не превышал 70 килограммов».

Антонюк зашел в домик почты. Пусто и холодно. Только запах непривычный, не клея, не бумаги, а вяленого винограда. От этого запаха стало веселей, будто от солнца, от молодого вина.

За лето тут привыкли к незнакомым людям. Две сотрудницы не обратили на него никакого внимания. Одна, постарше, забивала посылки, ловко орудуя молотком, — прямо мастер, будто всю жизнь загоняла гвозди. Она держала гвоздики во рту. И на приветствие посетителя ответила легким кивком. Должно быть, это от посылок пахло виноградом, но почему она сама забивает? И не одну, не две?

Над дощатым барьером возвышался затейливый стожок пышных, обесцвеченных перекисью волос. Стожок даже не шелохнулся в ответ на его приветствие. Иван Васильевич заглянул за загородку и увидел милую и простую девичью мордочку, склоненную над вдрызг зачитанной книгой. Такие девчушки, начинающие модницы, знающие себе цену, любят покрасоваться перед каждым новым человеком, а потому обычно приветливы и говорливы. Многоопытный Антонюк редко ошибался в людях. Вот почему он и обратился к молодой красотке, любительнице старых романов. Осторожно кашлянул над стожком. Девушка даже не взглянула.

— Прошу прощения. Вы не могли бы сказать, как мне пройти в воинскую часть... — Он назвал почтовый номер, который указывали на конвертах.

Красотка глянула одним глазом и грубо ответила:

— Мы не справочное бюро.

— Я понимаю. Но... я приехал навестить сына... Он здесь служит...

— Пускай бы ваш сын и написал, как его искать.

— Он написал, что надо ехать сюда...

— Зайдите в поселковый Совет, — посоветовала старшая, прекратив работу и через барьер подозрительно оглядывая не самого Антонюка, а почему-то его ноги, сапоги.

Ивану Васильевичу стало обидно. За девушку.

«Я понимаю, ты, может быть, не имеешь права сказать, как пройти к части, хотя сотни отдыхающих ходили туда. Лада рассказывала, что нахальные девчонки чуть ли не через забор лазили. Но если ты сознаешь, что живешь на морской границе, и знаешь, что нужна бдительность, то прояви хотя бы ее — заинтересуйся мной, погляди в лицо. Неужто ты так зачерствела на своей работе, что потеряла всякий интерес к людям?»

— Можно оставить у вас чемодан, чтоб не таскаться с ним?

— Мы — не камера...

— Деточка! А нельзя ли отвечать более любезно и приветливо?

— Я вам не деточка! — опять-таки не отрываясь от книги.

— Простите. Но неужели вам так хочется испортить мне настроение, старому, усталому человеку?

Только тогда девушка обернулась к нему, посмотрела хорошими, чистыми глазами и... покраснела.

«Слава богу, не все еще в тебе погасло», — вздохнув, подумал Иван Васильевич.

Старшая сказала:

— Давайте ваш чемодан. Но мы только до пяти.

— Я до пяти вернусь.

Лада рассказывала так подробно, давала такие ясные ориентиры, что он, наверное, нашел бы Василя, ни у кого не спрашивая. Конечно, если б горы не окутались тучами и если б видна была та горная тропка, что сразу за поселком ведет по голому склону к гряде горного дубняка, и скала, напоминающая человека, и антенна на вершине...

А так — надо идти вслепую.

Иван Васильевич сразу же за виноградником повернул с шоссе на вытоптанную тысячами ног широкую, с добрую дорогу, тропу и... полез в горы. В самом деле, не шел, а лез, потому что тропка была скользкая, из-под камней и гравия текла синяя глина. Чем выше — тем сильней сек щеку колючий дождь. Хорошо, что предусмотрительная жена положила в чемодан плащ. Но плащ, свитер, сапоги — это не для хождения по горам. Вспотел. Почувствовал сердце. Оно сигналило, как бы предупреждая: осторожно.

Да, осторожно — тебе не двадцать два, как Ладе. Она и ее друзья здесь бегали. Правда, они были в купальниках и тапочках

и прыгали, как козы по сухим камням. Однажды поднялись сюда ночью и расположились на ночлег возле самого поста. Их обнаружили. И отвезли на машине в долину, к морю. Ладины товарки перепугались. «Посадят на гауптвахту, — посмеивалась Лада. — Суток на десять».

Лада не ведает страха, ничего не боится. Свободный человек. А Василь? Нет, и в ней таится страх, над которым она иногда посмеивается, а иногда, как позавчера, задумывается всерьез, — за судьбу человечества; ей, физику, лучше, чем кому-нибудь, известна разрушительная сила оружия, которое лежит в арсеналах.

А Василь? Что думает сын? Он кажется таким далеким, незнакомым, неразгаданным. От этого, верно, и ощущение своей вины перед сыном. Нелепо, что сына он понимает хуже, чем многих чужих детей.

Человек поднялся в облака. На несколько шагов вокруг видны земля, камни, редкие кусты, а дальше, внизу, вверху — со всех сторон — туманная мгла. Скрылся поселок. Не видно моря, но грохот его не стал дальше. Волны бьют в скальный берег совсем рядом, как будто под ним. Может быть, он идет над обрывом, о котором рассказывала Лада? Неосторожный шаг — и в бездну, волны слижут мертвое тело с узкой прибрежной полосы, с обкатанной до гладкости гальки, море проглотит его, и никто никогда не узнает, куда девался человек. Фу, какая чертовщина лезет в голову! Однако в самом деле, так ли он идет? Вот горный дубняк, низкий, голый; кое-где ржавый, как старая жесть, листок — он перезимует на ветке. Но в дубняке не одна тропка, люди тут ходили кто куда. Какая же из них ведет к сыну?

Иван Васильевич откинул капюшон, снял шапку, чтоб вытереть пот. Дождь больше не сечет, — видно, близкая гора заслонила от морского ветра. А может быть, он поднялся выше той тучи, что проливает крупный дождь? Осталась одна туманная морось. Но от этой мороси одежда сыреет хуже, чем от настоящего дождя. Дождевые капли скатились бы по плащу, туман же проникает всюду. Или, может быть, одежда отяжелела от пота? Все стало тяжелее — пальто, сапоги. А сердце... оно умное и нашло... свой ритм. Бьется часто, но без боли, без призыва к осторожности. Это вернуло хорошее настроение.

«Есть еще у тебя, Иван, запас прочности. Может, податься под старость в альпинисты?»

Однако обрадовался, когда неожиданно, как из-под земли, перед ним появился моряк, в камуфляжной накидке, с автоматом. Из-под капюшона блеснули веселые глаза.

— Стой, папаша! Гуляем?

— Гуляем.

— Отличная погодка для прогулки в горы! Верно?! — без улыбки кивнул моряк на небо.

— Ничего. В самый раз.

— Для чего — в самый раз?

— Для прогулки.

— Люблю веселых...

— ...шпионов.

— Нет, дедов.

Ивану Васильевичу было жарко, и он хотел расстегнуть пальто. Но как только коснулся пуговиц, часовой поднял автомат.

— Ша, дед! Не шевелись. А то положу на землю и будешь нюхать скалу.

— Позови начальство.

— Между землей и небом я — высшее начальство.

— Что ж мне, так и стоять?

— Все будет в свое время.

Иван Васильевич понял, что сигнализация здесь — вполне на уровне, что сигнал о его появлении давно уже пошел куда надо.

— Неужто я похож на деда?

— Сынок, беру свои слова обратно. — И все это с деланной серьезностью. Хоть бы улыбнулся, разбойник.

— Болтун ты, брат, а не моряк.

— О-о! А это уже оскорбление особы часового.

Откуда-то сверху, как будто из туч, быстро спускались люди: сыпались из-под ног камешки, но летели не сюда, а куда-то в сторону, падали на мягкое, будто в траву.

Вынырнули из кустов двое — матрос и лейтенант, совсем молоденький, казалось — даже моложе своих подчиненных. Но зато куда более серьезный. Сразу строго потребовал:

— Документы!

Иван Васильевич подмигнул часовому, который задержал его.

— Можно залезть в карман?

Лейтенант оборвал:

— Разговорчики!

— Уф ты, — сказал Иван Васильевич, протягивая паспорт.

Лейтенант покраснел — то ли от гнева, что с ним так непочтительно разговаривают, то ли от смущения, что так командует незнакомым штатским человеком.

— Антонюк, — прочитал вслух фамилию.

— Тут где-то служит мой сын, и я хочу с ним повидаться.

— Вася Антонюк? — Лицо веселого часового расплылось в улыбке.

Иван Васильевич понял: Вася его друг. Пожалел, что не сказал об этом сразу. Разговор их до прихода начальника караула мог бы пойти совсем иначе, и он, возможно, узнал бы о сыне больше, чем от него самого, от командиров. Хотя, собственно говоря, что он хочет узнать?

Лейтенант бросил часовому:

— Разговорчики, Павельев! Следите за сектором! — И спросил у Антонюка уже с иронией: — Это сын вам написал, что его можно искать таким образом?

— Лейтенант, не будем играть в сверхбдительность.

— Гражданин! Я несу службу!

— Я уважаю вашу службу! Но, между прочим, хочу сказать: после того, как вы познакомились с моим документом и узнали цель моего приезда, я мог бы перестать быть для вас «гражданином». Чтоб облегчить ваше положение, могу другим документом засвидетельствовать, что имею звание полковника. Вот так, товарищ лейтенант! Это чудесное слово — товарищ, оно сближает, роднит людей...

Лейтенант растерялся. Он совсем не был сухарем и педантом, но он действительно нес службу, от этого, в сочетании с его юностью, и шла вся его сверхсерьезность.

— Если вы, товарищ... полковник, то знаете, что есть места, где запрещено... А если вам надо видеть сына, то также должны знать...

— Четыре месяца назад здесь отдыхали моя дочь и жена. Дочь ходила по этой тропке, чтоб встретиться с братом. Здесь гуляли тысячи людей.

Все трое таинственно переглянулись: хоть ты, мол, и полковник, однако наивен и не представляешь, что за четыре месяца многое могло измениться.

Заметив их ухмылки, Иван Васильевич, пожилой человек, проживший целую жизнь, сам почувствовал себя наивным чудаком, мальчишкой, которого двое суток вели не рассудительность, не разум, а эмоции, неосознанные желания.

— Что же мне — спускаться обратно?

— Идите за мной, — сказал лейтенант, спрятав паспорт в карман кителя.

Другой встречи Иван Васильевич и не мог ждать, разыскивая сына таким способом, а потому постарался настроиться на юмористический лад: чем больше приключений — тем интереснее. Но то, что хмурый лейтенант — он так ни разу и не улыбнулся — не вернул паспорта, ведет за собой и сзади так же молча идет автоматчик, не могло не задеть. Подумал: никогда и нигде за всю жизнь его так не вели и он так послушно не шел по чужой команде.

Хотел подшутить над собой, но мысль была слишком серьезна, чтобы над ней смеяться. Как бы он держал себя, если бы вели не свои, а враги? Странно, в партизанах никогда не приходило в голову подготовиться к тому, как бежать, если ты захвачен и тебя ведут двое или трое. Вырабатывали множество разнообразных тактических приемов действия отряда, бригады, подрывников, разведчиков, тактику штаба и даже его, командира, в разных ситуациях, на любой случай, а вот об этом не думали. Правда, в отряде Будыка обучал разведчиков приемам японской борьбы. Но он, Антонюк, смотрел на это скептически. Он признавал единственный действенный способ нападения и обороны — пулю и гранату.

Эти воспоминания и размышления приглушили недоброе чув-

ство, что шевелилось внутри, несмотря на юмористическое отношение ко всей истории с его задержанием.

Привели к воротам с проходной будкой. Поговорив по телефону, лейтенант подошел и, несколько смущенный, вернул паспорт. Сказал:

— Ждите.

Кого ждать, чего — не объяснил. Не попрощался. Ушел и автоматчик. Теперь, кажется, никому не было никакого дела до задержанного, о нем все сразу забыли. Только в окошко проходной выглядывал дежурный, но не выходил. И тогда Иван Васильевич возмутился. Теперь уже было не до шуток над собой, не до юмора.

«Хоть бы извинился, чертов сын, — подумал он о лейтенанте. — Ни малейшего такта! Вот молодежь пошла. Одна, на почте, рычит, другой слова человеческого не скажет...»

Почувствовал, что ноги гудят, млеют в коленях, как никогда, даже после самой трудной охоты, и сел на мокрый камень.

Возможно, что, усталый, он задремал, потому что не увидел и не услышал, как в дежурку вышел сын. Или они тут из-под земли появляются? Услышал голос сына и смех, когда тот выходил из дежурки сюда, в мир штатский.

Василь увидел маленькую, закутанную в плащ фигуру отца на камне, но... не встревожился, подошел с улыбкой, будто ждал его приезда или только вчера с ним виделся.

Иван Васильевич поднялся навстречу.

— Ты приехал в санаторий?

— Нет.

— Нет? А куда?

— К тебе.

— Ко мне? — Юноша удивился.

Ивана Васильевича это задело: не верит, что отцовские чувства могли позвать в дальний путь.

— Может, поздороваемся?

Хотелось обнять сына. Но Василь засмеялся и по-мужски протянул руку:

— Здорово, отец.

— Здравствуй, Вася.

Рука у парня мозолистая, рабочая, сжал он отцовскую так, что Иван Васильевич, сам человек крепкий, не белоручка, порадовался его силе. Смотрел на сына снизу вверх: Василь на голову выше.

На нем — новая фланелевка: как кусочек моря, синел из-под бушлата гюйс; брюки не широкие, как флотский клеш, как раньше, а нормальные, ботинки, начищенные до блеска, только бушлат будничный, рабочий, но пряжка на поясе горит. Эта черная одежда придавала ему элегантный вид. Иван Васильевич любовался сыном, не выпуская руки.

— Ты правда приехал ко мне?

— Все еще не веришь?

Василь смутился, сказал:

— Я не ожидал, — и в глазах его блеснула совсем детская радость, такая чистая, что тронула отца чуть не до слез.

Чтоб скрыть волнение, он пошутил:

— Я же вольный человек, пенсионер.

— Мама говорила, что ты тяжело переживал свою отставку. Я понимаю. С твоей энергией...

— Ну, мама наговорит! Меня зовут назад. Ситуация изменилась, и я подумал, что, если вернусь на работу, трудно будет вырваться...

Удивился такому неожиданному объяснению своей внезапной поездки. Да, он в конце концов согласится на любую должность и, конечно, накинется на работу с жадностью человека, долго изнывавшего от жажды. За время вынужденного отдыха у него появились некоторые любопытные идеи и по мелиорации, и по размещению культур, улучшению лугов... Было бы преступно не попытаться их проверить на практике, эти идеи.

Спросил у сына:

— Нам разрешили поговорить здесь на камнях?

— У меня увольнительная до восьми. Идем вниз.

— Идем.

Они зашагали по асфальтовой дороге, которая, затейливо петляя вокруг скал, огибая теснины, полого спускалась вниз. Идти по этой дороге было легко и приятно. Шли быстро, плечом к плечу и в ногу, как солдаты. Никогда не ходил так с сыном.

— Лада не знала этой дороги?

— А ты подымался там, по тропке? — Василь свистнул и засмеялся. — Лада ничего не хотела знать, ничего не хотела видеть. Она влюбилась в одного моего дружка, в Сашку Павельева. Теперь ему пишет каждый день. А мне — раз в месяц.

— Лада пишет сюда парню?

— А ты не знал?

Иван Васильевич почувствовал себя обманутым. Жил в уверенности: кто-кто, а Лада раскрывает перед ним свою душу, говорит обо всем, что думает. Единственный действительно открытый и искренний человек. Не то, что молчаливая Майя, далекий Василь, зять, который болтает много, но всегда себе на уме. И вот — пожалуйста...

«И мать дуреха! «Лада каждый день бегала в горы к Васе!» Тетеря! Грела старую спину на пляже и сквозь черные очки собственной дочки не углядела. И теперь ни черта не видишь. Негр, Феликс Будыка — все это черно-белый камуфляж. А истина — вот она где. В горах. Не тот ли это весельчак, что первый меня задержал? Однако хватает времени у нее каждый день писать! На любовь всегда времени хватает».

Необыкновенное чувство овладело Иваном Васильевичем: и злость на дочку, на жену, и в то же время какое-то странное удо-

вольствие, даже восхищение: «Ах, чертовы дети, только и жди от вас сюрпризов».

— Если она держит это в секрете, то ты не выдавай меня, пожалуйста.

— Ладно. Не выдам.

— Я не хочу ссориться со своей дорогой сестрой. Она хоть редко пишет, но письма веселые и... умные.

— Что он за человек... этот твой друг?

— Сашка? Парень — душа. Лесовод. По уши влюблен в лес. У него отец лесничий. И он поступал в Лесную академию в Ленинграде. Срезался. Ну и забрили.

Ивана Васильевича неприятно кольнуло это «забрили». Было бы больно узнать, что сын смотрит на службу, как на наказание за университетские грехи. Поговорив о Ладе, о матери, он осторожно спросил:

— Ну, как тебе служится?

— «Как тебе служится, с кем тебе дружится?» — весело продекламировал сын и так же весело ответил: — Хорошо, отец. Поначалу было трудно. А теперь — ничего, даже нравится. Не надо много думать. Всё делаешь по команде.

— Не утрируй, пожалуйста. Ты не безголовый автомат.

— На своем боевом посту я думаю. У таких приборов нельзя не думать. Я могу открыть тебе секрет, товарищ полковник запаса. Если знаешь, что благодаря твоей работе в штабе флота и противовоздушной обороны каждую минуту и каждый час знают, что делается в небе, куда какой предмет летит и с какой скоростью, где, в каком квадрате стадо овец подняло слишком высокий столб пыли, так, скажу я тебе, такое чувствуешь!.. И гордость. И радость. И уверенность, что никакой гад неожиданно не плюхнет папе и маме на голову какую-нибудь игрушку, как в сорок первом. Пускай попробуют. Нам показывали, чем мы можем ответить. Правда, у меня возле этих «пушечек» похолодело внутри. Я не хотел бы нажать на эти кнопки. Но людям, которые изобрели наши приборы и все прочее, я готов в ноги поклониться. Можешь себе представить — твой сын, бездарный математик, не в пример своей гениальной сестре, здесь полюбил технику? Правда. Я даже думал: не сделать ли своей профессией работу с этими приборами?!

Это признание обрадовало отца. Говорил Василь, безусловно, искренне и серьезно, хотя и ребячился немножко, чуть бравировал. Только насчет профессии — отец не совсем понял. Спросил.

— Наш командир агитирует меня пойти в инженерное училище.

Такое намерение сына должно было бы обрадовать — вон как изменились его взгляды! Но Иван Васильевич вдруг почувствовал, что в глубине души ему не очень хочется, чтоб сын на всю жизнь остался в армии. Лучше бы скорее возвращался домой.

Упрекнул себя: «Раскисаешь под старость, как его мамочка. Хочешь держать под крылом. Пускай выходит в широкий мир». Сказал:

— Что ж... недурная перспектива.

— Но если б в армии все были, как наш командир. Если б не было дураков...

Отец весело засмеялся.

— Чего захотел! Не помню, кто из великих сказал: без дураков было бы скучно.

— Это верно — с ними весело, — согласился Василь без улыбки, с мрачной суровостью. — Так весело...

Иван Васильевич вопросительно глянул сыну в лицо, сказал:

— Тебя обидел кто-нибудь?

— Нет. Никто. Но есть у нас один солдафон, все время боюсь, как бы не сорваться... А он — шишка.

— Я прошу тебя, Вася. Не от своего имени. От мамы. Я понимаю, случалось — сам давал дуракам в зубы. Но у меня было другое положение. Ты — солдат.

Василь, замедлив шаг и даже сбившись с ноги, так же пытливо посмотрел на отца, заглянул в глаза. Минуту тянулся немой разговор, который оба хорошо понимали. Наконец Василь широко улыбнулся.

— Не бойся. Не сорвусь. Научен уже.

Дождь перестал сеяться. Падали редкие капли. Облака поднялись выше. Или, может быть, так казалось потому, что все ниже и ниже спускались они. Когда дошли до поселка, Василь предложил:

— Пойдем погуляем у моря.

Волны бухали с прежней силой, только как бы реже, с бо́льшим раскатом.

Они вышли по узкому переулку на берег. Море дохнуло в лицо солеными брызгами и запахом водорослей. Здесь, вблизи, белые гребни валов не казались такими грозно-фантастическими, уже не страшно было, что море водяной горой обрушится на землю. Все стало обычным.

Но Антонюк увидел, как загорелись у сына глаза, раздулись ноздри, как он склонился над обрывом: вот-вот кинется в самую высокую волну. Нет сомнения: морские просторы приворожили сухопутного моряка.

— Море съело пляж, — сказал Василь с восторгом перед могуществом стихии и радостно засмеялся. — Негде будет «дикарям» отлеживать бока. Сколько их сюда наезжает летом! Лодыри!

— Ты строго судишь людей, использующих свое право на отдых. Разве твоя мать или Лада лодыри?

Василь немного смутился.

— Некоторые тут все лето сидят.

— Ты все знаешь...

— Совхоз — наши шефы. А дармоеды эти живут у совхозовцев. Правда, местные тоже научились их обирать.

— А заодно и тех, кто приехал отдохнуть на честно заработанную копейку.

— Да уж, конечно, не разбирают, с кого слупить больше, с кого меньше. Лови момент.

Такие рассуждения сына не понравились: одних он осуждает огулом, других так же огульно оправдывает, уверенный, что он — за людей трудящихся, которым можно простить такой небольшой грех, как выколачивание денег из курортников. Видно, хороши шефы эти совхозники, если такое влияние оказывают. Спорить трудно, не зная этих людей и их психологии. Он никогда не живал в таких курортных местах. Сын, между прочим, словно прочитав его мысли, сказал:

— Напрасно ты, отец, не ездил к морю. У тебя были такие возможности.

— Я не люблю курортов.

— Можно полюбить море.

— Я люблю поле и лес. Ты полюбил море?

— Полюбил. Это здорово, я тебе скажу. Даже в такую погоду — чудо. Неужели не понимаешь? А летом, когда солнце!.. Нам с горы его видно на десятки миль. Искрится все. И без конца меняет краски. Каких не бывает цветов! Когда солнце всходит, когда заходит. В полдень. Стоишь на посту — глядишь и не налюбуешься. А если б ты с аквалангом спустился под воду. Сказка! — От восторга он говорил отрывисто, как школьник.

— Ты аквалангист?

— Да. Разрядник.

— Это не рискованно?

— А ты прожил без риска?

Иван Васильевич опять рассмеялся.

— Ты парируешь, как хороший фехтовальщик. Я рискнул в последний раз в пятьдесят шесть... Правда, знал, что теперь это не смертельно.

— Ты был таким же и тогда, когда это было смертельно?

— На войне — всегда. В мирное время — не всегда. Но не потому, что не хватало мужества. Когда-то ты осудил меня...

— Теперь я не осуждаю. Нельзя бросаться в море с горы. Мне, например, хочется набить морду тому солдафону. Но что я этим докажу? Меня засудят. Теперь я тебя понимаю.

Ивана Васильевича растрогали эти слова сына, но и насторожили: а не слишком ли много взрослой рассудительности и... покорности? Кому нужно, чтобы из парня вырос безропотный исполнитель чужих команд? Конечно, армия есть армия. Однако и армия сильнее, когда состоит не из роботов, а из людей волевых, умных, свободных, которые умеют отлично выполнять разумные приказы, но и умеют серьезно думать не только о содержимом своего котелка и ранца, но и о самых высоких материях, о

самых широких проблемах — от техники подводного плавания до космических полетов, от цен на курортном рынке до районирования посевов кукурузы, от схемы локатора до событий во Вьетнаме.

Они шли мимо белых домиков, где летом жили художники, мимо аллеи кипарисов.

Иван Васильевич хозяйским глазом оглядывал строения, дорожки, тоннели из виноградных лоз, что некогда давали заманчивую тень, а теперь висели на железных опорах, как рваная сеть, неумело сплетенная, мокрая. Спросил у сына:

— Знаешь названия здешних садовых деревьев?

— Нет.

— Напрасно.

— Не всем же быть агрономами.

— Названия деревьев должен знать каждый культурный человек. Как бы ты себя чувствовал, если б не умел отличить дуб от клена?

— Сравнил!

Василя не интересовал сад. Он смотрел на море, жил им, шел у самого обрыва, должно быть, нарочно, чтоб брызги били в лицо. Лизнул мокрую ладонь.

Возможно, что сын нарочно привел к этому обелиску. Серая низкая пирамида, позеленевшая медная дощечка, надпись на которой скупо и прозаически сообщала, что здесь похоронено пятнадцать моряков-десантников, погибших 31 декабря 1941 года при высадке на берег.

Василь остановился у обелиска с таким видом, словно это была главная и конечная цель их похода.

Снова начал сеяться дождь, и мелкие капельки его казались солеными, будто морские брызги взлетали в небо и падали оттуда.

Корпуса пансионата отсюда, с берега, не выглядели так мрачно, как с шоссе, они смотрели на море множеством окон. Но ни на балконах, ни на дорожках — нигде ни живой души, словно место это давно и навеки покинуто людьми. От этой пустоты еще с большей силой охватывало чувство скорби перед этим простым памятником мужеству, каких тысячи на просторах от Волги до Эльбы, от Кубани до Дуная.

— Отец, скажи мне, зачем погибли эти ребята?

Иван Васильевич не понял, удивился и встревожился: почему вдруг такой вопрос?

— Как зачем? На войне погибли миллионы.

— Двадцать миллионов. Это я знаю. Но зачем был нужен этот десант?

— Я не знаю, с какой конкретной целью и задачей высаживались здесь. Разведка, захват плацдарма, связь с партизанами... Разные бывали задачи. Но нельзя ставить вопрос так, как ты: зачем погибли, зачем десант? Ты — солдат, а не мальчик-

школяр. Так можно задать тысячу «зачем» и «почему». А зачем я создал партизанский отряд, бригаду? Зачем к нам в тыл приходили и прилетали спецгруппы, диверсанты, радисты, агитаторы, даже писатели, актеры? И многие погибали. Иной раз и нелепо, случайно. Война есть война.

— Ты меня не понял. Я хочу выяснить: зачем вообще понадобилась эта массовая высадка в Крыму в последний день сорок первого года? Загнать на голый полуостров несколько дивизий, четыре армии.

— Дорогой мой сын, воевали люди. Разные. И те, кто планировал операции в стратегических масштабах, тоже были разные. Выдающиеся, посредственные, бездарные. Но и самый гениальный командующий не может все предвидеть, все рассчитать, каждый ход до самой победы. Ему противостоит противник, и тоже не глупый. Он рассчитывает свои ходы. Это как в шахматах. Ни один великий шахматист не может заранее знать, какой контрход сделает противник. Так и на войне. Иной раз из операции, на которую все возлагали надежды, тщательно готовили, получался, мягко говоря, пшик, пустой фейерверк, а не то и еще хуже — боком вылезало. Было это и у нас, у партизан, бывало и на фронте. Я не историк. А тем более никогда не занимался Крымской операцией. Если она тебя заинтересовала, ты мог бы за два года службы здесь выяснить все аспекты десанта. Теперь это уже не тайна. А ведь ты хотел стать историком...

— Я попытался. На меня чуть всех собак не повесили. Как в университете.

Иван Васильевич съежился: этот удар задевал и его. Об университете сын сказал спокойно, без обиды, сожаления, но так, что стало ясно — никогда он не согласится, что наказали его справедливо, в том числе и он, отец. Но у взрослых, у отцов, своя логика, которая в столкновениях с молодежью часто приводит не к тем выводам, которых они придерживаются в собственной житейской практике.

Иван Васильевич ответил:

— Потому что ты неправильно ставишь вопрос. Тебе хочется найти виновного в том, что не удалось.

Сын хмыкнул.

— Странная у тебя философия, отец. По-твоему выходит — нет виноватых? Никто ни за что не отвечает? Ни за предвоенные годы? Ни за сорок первый? Ни за этот десант? Ни за то, что порой дураки...

— Погоди. Не вали в одну кучу несравниваемые вещи. А почему ты не ищешь виноватых в окружении Паулюса, в Корсунь-Шевченковской операции, в Орловско-Курской битве?.. Там погибло не меньше, но там сломали зверю хребет. А штурм Берлина... Найди, кто командовал там. И может случиться, что это одни и те же люди. Положи на чашки весов их ошибки и их успехи, славу, героизм... Что перевесит? Всегда помни: судьбу наро-

да, страны, ленинских идей решила не трагедия сорок первого, а победа сорок пятого.

— Но она могла быть добыта меньшей кровью.

— Сын мой, с такого расстояния и с такой высоты все мы умные и предусмотрительные. А осенью сорок первого в Гомельских лесах у меня — а я человек не слабый, ты знаешь, — были моменты, когда хотелось умереть, и я лез под шальные пули.

Василь помолчал. Отошел от монумента к обрыву, снова подставил лицо соленым брызгам. Когда отец стал рядом, спросил:

— Неужели до сих пор нельзя было установить фамилии этих пятнадцати и написать их?

Тут уж Иван Васильевич не просто возразил — возмутился.

— Значит, опять я виноват?

— Да нет... почему ты?

— Одним словом, отцы? Да? Ну ладно, пускай здесь сидят равнодушные люди в местном райкоме, военкомате. Но вы... вы два года тут служите. Сколько вас — я не знаю. Наверное, не один десяток. Молодые, образованные! Рядом лежат ваши товарищи по роду войск — моряки. Почему же вы не разыскали их имена? Да вы могли бы не только разыскать имена, а вместо этого стандартного обелиска возвести здесь курган, гору славы, такой монумент, чтоб виден был с кавказского берега.

Василь вздохнул.

— Ты плохо представляешь нашу службу. Не знаю, как служили в ваше время, а мне, могу теперь признаться, в первый год было не до поисков героев десанта, да и теперь не столько у нас времени, чтоб заниматься историческими исследованиями. Что ты хочешь от солдата?

— На девчат у вас хватает времени. — Иван Васильевич все еще не мог успокоиться, что Лада пишет моряку, а он, отец, ничего не знает; он подумал о том Ладином друге, когда сказал эти слова, но тут же понял, что прямо-таки жестоко бросать сыну такой упрек.

И Василь удивился. Спросил с вызовом:

— Что ж ты хочешь, чтоб мы совсем выключились из жизни?

— Жизнь — не одни девчата.

— Не будь моралистом, отец.

Тон какой! И подтекст: знаем, мол, какой ты моралист. Иван Васильевич чуть не вспыхнул. Но сдержался. Сын уже не тот, каким был два года назад, это — взрослый мужчина, и у них — мужской разговор, который естественно переходит с серьезного на мелкое, бытовое и наоборот.

Однако, должно быть смутившись, они долго молчали. Смотрели на белые гребни волн. Василь стоял так, чтоб брызги обдавали лицо, облизывал соленые губы. Антонюка-старшего тоже постепенно начало волновать море, его шум, простор, хотя он старался настроить себя против: оно может навеки заполонить сына.

У Майи своя семья. Вылетит из родного гнезда Лада. С кем они, старики, останутся! Сын есть сын. Под старость начинаешь чувствовать, как это дорого и как необходимо — иметь сына.

Василь спросил:

— Ты поедешь ночевать в город?

— Нет. Я хотел бы здесь. Может быть, завтра распогодится. Хочется взглянуть на горы, от которых в восторге твоя сестра. Говорит — нечто библейское.

— Если б ты вышел в море и поглядел оттуда! Это здорово, я тебе скажу! Какие глыбы! Чудеса. Описать невозможно, надо самому увидеть.

— Так можно тут переночевать?

— Летом тут ночуют тысячи. Уладим. С полным комфортом. Ты без вещей, вот так?

— Думаешь, твоя мать отпустила бы так — без двух кур на дорогу мне, без чемодана лакомств своему бедному сыночку, который помирает с голоду.

Василь засмеялся.

— Я оставил чемодан на почте.

— Здесь, у нас? — Василь как будто немножко смутился, но тут же подтянул ремень на бушлате, бодро сказал: — Пошли на почту.

Девушка, которая испортила Ивану Васильевичу настроение своей невежливостью, увидев Василя, расцвела, как роза, и растаяла, как воск. Радостно вскочила:

— Вася! Ты идешь на пост?

Кажется, перескочила бы через загородку и бросилась в объятия, если б в дверях следом за высоким бравым моряком не показался небольшой худощавый человек в плаще — тот самый.

— Ко мне приехал отец. Познакомься, — повернулся Василь и представил девушку, которую такая неожиданность точно громом оглушила: — Валя.

Иван Васильевич через барьерчик протянул руку, сказал банальное, обычное: «Очень рад, очень рад», но звучало это, как издевательство, как жестокая насмешка, как суровый укор.

Больше ничего говорить и не надо было — девушка сама себя наказала. Рука ее, которую она не сразу догадалась подать, была влажной и холодной. глаза уперлись в банку с клеем. Щеки вспыхнули, а лоб пожелтел. От смущения она подурнела. Иван Васильевич подумал о сыне: «Неважный вкус у парня». Василь глянул на девушку и засмеялся.

— Валя! Тебя будто холодной волной смыло в море. Не бойся, не потонешь. Что случилось?

Она попыталась улыбнуться, но и это ее не украсило.

— Правда, чего ты морщишься?

Видно, это «морщишься» подсказало ей выход из неловкого положения.

— У меня болит зуб.

Иван Васильевич отметил ее находчивость. А может быть, и в самом деле у человека болит зуб? Тогда простим ей. При зубной боли хочется кусаться и рычать на каждого, кто тебе докучает.

— Скажи, Валя, Иван Васильевич Антонюк мог бы переночевать у вас? Отец хочет дождаться погоды... у моря.

«Иронизируешь, прощелыга, — беззлобно подумал Антонюк. — Рад, а не хочешь показать».

Валя умеет быть любезной и приветливой. Зубная боль, верно, прошла. Она засияла солнечной улыбкой и стала довольно привлекательна.

— О, конечно! Вася, как тебе не стыдно спрашивать! Папа будет рад с вами познакомиться, Иван Васильевич. Посидите минуточку, я сбегаю, предупрежу маму.

Бросив на них почту, кассу, телеграф и телефон, она вылетела за дверь.

Иван Васильевич с неодобрением подумал об этой девичьей беспечности. Пошутил:

— Считай, что мы захватили главный объект — почту и телеграф.

Василь не сразу понял, зная, что отец может и крепко поддеть вот так невзначай. Когда же до него дошел простой смысл шутки, весело захохотал.

— Значит, власть — в наших руках.

— Не совсем. Но налицо — половина успеха. Хотя что это я примазываюсь к твоей славе! Ты здесь обошелся без моей помощи. Давно? Она тебе нравится?

— Мы дружим...

— Так отвечают в шестнадцать. А тебе — двадцать три. И ты не из застенчивых, я знаю...

— Твой сын.

«Издевается, черт».

— Напрасно ты так думаешь. Для меня в юности познакомиться с девушкой было мукой. И подвигом.

Сын скептически прищурился.

— И много у тебя было таких подвигов?

— Не дурачься. Я серьезно.

— Не бойся, жениться я не собираюсь.

— Вот этого я не боюсь. Не скажу, что при первом знакомстве мне понравилась твоя Валя. Но все же я прошу тебя никогда не забывать, что ее увлечение, ее чувство может быть глубже и серьезнее, чем твое. О, ты не знаешь, как может привязаться женщина!

— Ты это знаешь?

Иван Васильевич нахмурился.

— Даже в наше сверхдемократическое время говорить так с отцом... Что за манера? Это не делает тебе чести и не красит твой мундир.

Сын серьезно сказал:

— Не обижайся. Прости. Я ничего дурного не думал. Просто мы так привыкли. Стиль времени...

...Антонюк хорошо знал и понимал женщин-крестьянок — матерей взрослых дочек, их извечную заботу: как бы, упаси бог, не осталась девка вековухой. Можно простить им любые хитрости, любые уловки. Но эта мать, Валина, раньше, видно, не слишком одобряла дочкино увлечение морячком — ненадежный жених. И вдруг — приезд отца, устройство к ним на ночлег. Это меняло все представления матери, заставляло думать, что отец приехал по приглашению сына — на смотрины. В таком случае стоит постараться, не пожалеть ни добрых слов, ни щедрого угощения. Иван Васильевич чувствовал себя неловко. И смешно и глупо. Сердился на Василя, что так, не подумав, устроил его, на себя, что, человек опытный, не сообразил, какая создается ситуация. И тут же начинал разыгрывать свата, чтоб угодить наивной женщине. А она старалась вовсю, с перебором. Даже Валя почувствовала это и смутилась — исчезла из дому.

Естественность во все внес хозяин. Спросил на кухне:

— Ты что стряпню затеяла, как на свадьбу?

Жена зашикала на него, зашептала.

Он выругался в полный голос.

— Одни женихи у вас на уме.

Антонюку стало весело.

Поздоровался хозяин хмуро, руки первый не протянул. Но Ивану Васильевичу почему-то сразу захотелось получше познакомиться с этим человеком. Он пожал его большую шершавую, как кора старого дуба, руку, назвал себя:

— Иван Васильевич.

— Иван Трофимович. Тезки, значит? — Потеплели глаза усталого после работы человека. — Откуда?

— Из Минска.

— Считай, что земляки. Мы — смоленские. Сбежали в сорок седьмом из своего горемычного колхоза счастья искать.

— Нашли?

— Счастье? Нашел. А что вы думаете? Что еще человеку нужно, кроме того, что у меня есть? Может, у вас оно другое, другие требования. А мне теперь разве одного не хватает — рабочих рук на винограднике. Да удобрений.

Антонюк сразу почувствовал симпатию к человеку, для которого счастье в работе.

— Я вас понимаю. Я тоже от земли не отрывался, где бы ни работал. Я — агроном.

Сказал и с горечью подумал: «И все же меня оторвали». Од-

нако успокоил себя и пригрозил своим недоброжелателям: «Ничего. Вернусь. В совхоз пойду. На болотную станцию».

С хозяином сошлись сразу, просто, естественно, как это бывает с людьми, влюбленными в одно дело. Еще до ужина Иван Васильевич с интересом выслушал рассказ о том, как человек научился выращивать новую культуру и, по всему видно, полюбил работу на винограднике. А раньше только слышал об этой «сладкой ягоде», до армии даже отведать не довелось. Только в Румынии и Венгрии в сорок четвертом уразумел, «что это за фрукт такой» и какая от него польза. Раньше думал — так, забава, как смородина в огороде: воткнул куст, пускай растет у забора на утеху детям.

Вернулся из армии инвалидом, изо всех сил старался поднять свой смоленский колхоз. Может быть, и не бросил бы дедовское гнездо, если б больше порядка было в колхозе, если б получали хоть что-нибудь, а не одни палочки в табелях. Если б было чем детей кормить. Предложили переселиться сюда, в Крым, — бросил все, поехал, хотя женка неделю голосила. И тут нелегко было. Может, и здесь не удержался бы, некоторые вернулись назад, да очень уж захватила «эта ягода». Прямо привязала своими лозами. С соток начинали на старых татарских виноградниках. А теперь — сотни гектаров. Крупнейший совхоз.

— Это если б сказать там, на Смоленщине, что я, Иван Сухой — кличка у нас, еще от деда, такая, — буду на зиму по триста литров своего вина ставить, так буду размачивать сухость свою, — брехуном назвали бы. И сейчас не поверили, ездил я позапрошлый год туда, хотя и привез вина этого пуда два. Выпили своячки-односельчане, а все равно ухмылялись: заливает, мол, Иван. Да не в вине радость. Если ты агроном, так понимаешь. Главное, чтоб человек видел плоды своего труда, что не зря спину гнет. А что польза от его стараний и ему, и людям, и государству...

Трезвый хвалил все. А пропустил чарку — стал ругать. Мало порядка в совхозе, не все делается по-хозяйски. Но всего злее ругал курортников. Разбаловали людей здешних, разожгли жадность к деньгам, от работы на земле отбивают. Зачем иному поле пахать или лозы окапывать, если можно больше заработать на курортниках. Сам все лето в хлеву живет со свиньями, а в доме, как сельди в бочке, «дикари»: по рублику за диванчик или раскладушку да сорочки постирать.

— Меня бабы тоже грызут: почему и нам не выжимать рублики у «дикарей»? Денег их, говорят, тебе жалко, что ли? Нет, денег их мне не жалко. Из иного сукиного сына их таки надо вытянуть, потому сразу видно, что не мозолью их заработал и не мозгой... Вас, говорю я бабам, вас, дуры, жалко. Что из вас станет, если привыкнете легко деньги огребать?

— Поехал уж, поехал, опять двадцать пять, — упрекнула мужа хозяйка.

— Одна вон болтается, эта самая, на которую твой моряк поглядывает, кончила десятилетку, просил, как человека: подавай, дочка, в сельскохозяйственный, на виноградаря учись, совхоз рекомендацию давал. Так, ты думаешь, послушалась? Черта с два. Полетела в Харьков, в железнодорожный. Такая уж у нее любовь к поездам объявилась! Провалила, конечно... Много их там таких! Два года на почте марки продавала, думала, за это ее сразу в радиоинститут возьмут. Опять срезалась. Теперь возненавидела связь эту самую. Начальник жалуется: плохо работать стала, людям грубит... Что ты меня дергаешь, — накинулся вдруг хозяин на жену. — Ее ведь еще не сватают, что я должен ее хвалить, цацу такую.

— Тьфу на тебя, старый дурень, — рассердилась женщина и, ткнув пальцем себя в лоб — мол, не хватает у тебя тут, — ушла на кухню.

— Вот бабья порода! Только и думает, как бы замуж сплавить. А того не ведает, что не те нынче времена.

Иван Васильевич тактично молчал, когда охмелевший хозяин касался семейных дел, или переводил опять разговор на землю, на виноград; его вдруг заинтересовали сорта, он решил, что непременно купит в Симферополе книгу по виноградарству.

Во время их застольной беседы в комнату вошел морской офицер. Хозяин встретил его радушно:

— Прошу за стол, товарищ капитан.

— Нет. Спасибо. У меня еще служебные дела. А я хотел бы с вами поговорить, — сказал он Антонюку, познакомившись.

У Ивана Васильевича тревожно екнуло сердце.

— Что-нибудь с сыном?

— Нет. Все в порядке. Но мне хотелось бы вас кой о чем попросить. Может, выйдем? Простите нас, пожалуйста, Иван Трофимович. Я оторву вашего гостя ровно на десять минут.

На улице капитан сказал по-военному коротко:

— Командование части довольно вашим сыном, Иван Васильевич. Отличник боевой подготовки. Спортсмен. Одно нас беспокоит: он единственный у нас не комсомолец. Понимаете, неудобно как-то...

— Он был в комсомоле. — Иван Васильевич не знал, что он так и не восстановился, и это взволновало: значит, затаил обиду.

— Да, — сказал капитан. — Он рассказывал. Чего не случается в юности!

— Признаюсь, мы дома не знали, что и до сих пор...

— Я хотел написать вам, но потом решил, что неудобно. Я сегодня дал нагоняй своим, что вас не пригласили в часть. Простите.

— Ничего. Я поговорил с сыном под шум моря.

— Вы могли бы продолжить разговор? И как-нибудь повлиять...

Иван Васильевич задумался.

— Что вас удерживает?

— Думаю, что я отвечу, если Василь спросит: «Тебя, отец, просил наш замполит?»

— Я не делаю тайны из своего разговора с вами.

— Дело не в том, скажу я или не скажу о нашей беседе. Все это сложнее. Даже родного сына я не хочу уговаривать вступить в комсомол. Должна явиться душевная потребность...

— Вы не были политработником, — вздохнул офицер.

— Я был всем, дорогой капитан. Командиром и комиссаром. Знаете что? Давайте я поговорю со всеми вашими подчиненными, если уж мне, грешному, дозволено будет к вам прийти.

— Пожалуйста. Мы будем рады.

— ...Я знал эту женщину еще до войны. Я работал заведующим райзо — районного земельного отдела. А она была лучшей льноводкой одного из колхозов. Мы ее представили к ордену, но она его получить не успела — началась война. Фамилия ее Казюра. Марина. Марина Алексеевна, из деревни Казюры на Гомельщине. Там у них половина деревни — Казюры.

Мы возвращались после небольшого рейда, и нас захватила в дороге метель. Мартовская. Последняя предвесенняя. Кто из средней полосы, тот знает последние метели. Когда, как говорится, три дня зима едет туда, а три обратно. Только уже после такой «свадьбы» можно ожидать весны. Мы ее здорово-таки ждали. Здорово ждали в ту первую партизанскую зиму. Все-таки летом воевать легче. Хотя и врагу легче. Но летний лес лучше укрывает.

Мы совсем не собирались останавливаться в этих Казюрах. Там стоял полицейский гарнизон — мы это знали. Завязывать бой, даже с небольшой группой, после такого рейда нам было невыгодно: мало патронов, люди и лошади падали от усталости. Мы просто заблудились в завирухе. Полночи ехали по снежному полю и никак не могли добраться до леса, хотя у нашего начальника штаба был хороший армейский компас.

Догадались потом, что лошади чуяли близкое жилье, хлевы и, как мы их ни направляли, снова поворачивали к деревне. Мне пришлось скомандовать — дать волю коням, пускай они нас выведут хоть куда-нибудь. Помню, я еще пошутил над начштаба, что лошади умнее его компаса. Кони действительно скоро привели нас к хате. К крайней хате села. Я сам постучал. В войну люди были напуганные и отворяли ночью с опаской. Отвечали нехотя, покуда не доведывались, кто же их ночные гости — партизаны или полицейские. Долго в хате шуршали, чиркали кресалом... Наконец вышла старуха.

«Бабуся, что за деревня?»

«Казюры».

Я чертыхнулся: мы и в самом деле полночи кружили вокруг

этих Казюр, потому что, по нашим расчетам, должны были проехать мимо них часа три назад. На мой голос выглянул из своего укрытия в сенцах сам хозяин, не старый еще человек, и сразу шепотом предупредил:

«Товарищ Антонюк, гарнизон у нас. В школе».

«Знаю. Но нам надо переночевать. Лошади не тянут. Думаю, спят они, ваши полицейские. Мы откуда заехали?»

Село большое, и от школы мы были не близко — на дальнем конце села. А что, если заночевать под боком у полицаев? Вряд ли кто нас мог видеть в такую завируху. А если и увидели соседи, так не выдадут же, не поднимут тревоги. Помимо всего прочего, кому охота, чтоб бой завязался в их селе?! Переночевать там, где стоит полицейский гарнизон, — недурная демонстрация нашей партизанской силы. Ей-богу, мне нравилась эта идея. Но хозяин охладил:

«Сосед ненадежный. Опасно».

Сказал он от души, заботясь о нас или, может, больше о том, чтоб не накликать беды на свою семью, неизвестно. В конце концов с нашей стороны тоже неразумно — ставить людей под удар. Лишняя осторожность никому не вредила в то время. К тому же в одной хате не разместиться — нас ехало человек семнадцать.

«Что ж нам делать?»

«Добирайтесь до Стригунов».

Стригуны — соседняя деревня, небольшая, ближе к лесу, до нее еще километра четыре.

«Боюсь, что снова будем кружить. Видишь, как разгулялась?»

«Я провожу».

Конь — умнейшее животное! Он сразу почувствовал, что правит им человек, хорошо знающий дорогу. Без приключений, довольно быстро мы добрались к месту ночлега. Провожатый наш ночевать не остался, как ни уговаривали его партизаны, зная, что слишком опасно в такую метель сбиться в поле с пути. Между прочим, я предложил тому дядьке:

«Иди к нам, разведчиком будешь».

«Не могу, товарищ Антонюк, легкие больные».

И правда — кашлял человек всю дорогу.

Что ж, не может, так не может, никого силком не тащим. А под утро, часа этак через четыре, не больше, часовой привел в хату, где я спал, Марину Казюру. Оказалось, что наш провожатый — ее брат. Его я не знал по довоенной работе. А ее знал хорошо. Я говорил уже, что она была лучшая льноводка... до войны... И сейчас работает. Года два назад я заезжал в Казюры. Марина — на ферме дояркой, учит молодых.

Разбудили меня тогда — увидел ее, залепленную снегом, и испугался.

«Что случилось, Марина?»

«Ничего, Иван Васильевич. Поговорить пришла».

«В такой час?»

Улыбается. Шепотом, чтоб не разбудить партизан:

«А как же еще поговорить с вами могу? В район не поедешь. В райзо не зайдешь».

«Что ж, давай поговорим».

Накинул я кожух, присел к столу.

Она развязала платок, осторожно, у порога, отряхнула снег, тихонько обмела бурки, сшитые из старой шинели.

Шепчет:

«Иван Васильевич, хочу посоветоваться с вами насчет хлопцев своих».

Сыновей ее я тоже знал. И что муж ее в первый день войны ушел в армию.

«А что с ними, с твоими хлопцами?»

«Да покуда ничего. Но страшно мне за них. Рвутся немцев бить. В партизаны собираются. Оружие всякое в хату тащат. Чего доброго, накличут беду. С полицаями заедаются. И ругала я, и лупцевать пробовала. Да где там! Чует сердце — не удержать мне их. Но куда они пойдут, к кому угодят... Вон, говорят, и полицаи иной раз партизанами прикидываются. И бандиты всякие... Я уж думала: если б где свой человек был. А тут брат мой, Савка, постучался середь ночи и рассказывает новость: «Марина, говорит, ко мне только что партизаны заезжали. И знаешь, кто ими командует? Антонюк...»

Короче говоря, попросила она взять ее сыновей в отряд.

А хлопцы, в сущности, дети еще: одному неполных семнадцать, другому — пятнадцатый. Одного старшего нельзя, младший все равно из дома сбежит.

Нелегко матери самой отправлять детей на войну. Больше у нее никого. Муж на фронте, не ведомо, жив ли иль, может, давно уже в земле. Одна остается в пустой хате. Да еще, наверное, полиция привяжется: куда девались сыновья? Доведаются, что в партизанах, добра не жди. Она не говорила об этой своей материнской боли, о страхе. Но я понимал. Она лишь попросила:

«Будьте им за отца, Иван Васильевич. Вам доверяю...»

Я мог бы гордиться: нет выше на свете доверия, чем это — когда мать отдает тебе своих детей. Но ведь она, конечно, надеется, что я сберегу их и верну возмужавшими, героями. Да понимает ли женщина, что ни ей, ни себе, никому не могу сказать: да, я сберегу их, твоих детей, не горюй, не тревожься...

В отряде были уже дети. И я отвечал за них... А это — поверьте — самая тяжелая ответственность. Откровенно скажу, мне совсем не хотелось добавлять к ней ответ еще за двоих. Хотя я подумал, что мы, партизаны, так же как солдаты и офицеры на фронте, отвечаем за всех детей. Легче ли мне будет, если эти подростки, рвущиеся в бой, погибнут зря, ничего не успев сделать? Прошло столько лет, а я до сих пор помню, что перечувствовал, пережил за те минуты, пока женщина, не сводя глаз, ждала ответа. Помню, как долго я молчал. Дольше, чем это можно в разго-

воре с глазу на глаз. Но была ночь, на полу спали партизаны. Мы разговаривали шепотом, как заговорщики или влюблённые. А потому молчать можно было дольше, чем в обыкновенной беседе. К тому же я устал и был простужен, не выспался, голова гудела, как котел. Перед глазами стояли ее хлопцы, которых я видел год назад, — помогали матери полоть лен, тот, что потом помяли танки. Остатки выбрали бабы, кто успел.

Марина понимала, что мне нелегко решить. Она не торопила, не повторяла просьбы. Сидела, облокотясь на стол, и смотрела в глаза. На выбившихся прядях волос, на бровях блестели капельки растаявшего снега. Может, показалось ей, что я хочу отказаться от ее хлопцев. Тяжело вздохнула и сказала:

«Все равно не удержать мне их. Пойдут вас искать. А где найдут? К кому попадут?»

«Ну что ж, Марина, давай твоих сынов. Одно обещаю: сделать из них хороших партизан».

Она не обрадовалась. Какая тут радость? Не поблагодарила. А как-то сразу ссутулилась, натянула платок на лоб и от этого постарела. Молчала. Может, не так долго, как я перед тем. Но помню — какое-то время молчала, как бы не зная, о чем еще говорить. Поднимаясь, сказала просто, буднично: «Так подождите здесь. Пришлю их».

О нет, женщина, так не делается! А если кто из недобрых людей видел нас? Донесет властям? И в ту же ночь ушли из дома твои сыновья. Теперь мы в ответе и за твоих сыновей, и за тебя. Я сказал ей об этом. Посоветовал: пусть она распустит слух, что посылает ребят к какому-нибудь родичу в далекое село или в город. Есть у нее кто-нибудь такой? Есть. В Гомеле. И мужа сестра живет под Рогачевом. А через недельку-другую мы пришлем связного, который приведет хлопцев в отряд.

Поблагодарила. Но — чуял я — не поверила. Подумала: так хитро хочу отвязаться от нее. Может, не очень огорчилась. Может, жила еще в материнском сердце надежда уговорить сыновей остаться дома. Довольно, что батька воюет.

Связной Рощихе, которую мы послали в Казюры к Марине, я дал наказ: постараться уговорить младшего остаться с матерью. Пускай подрастет. Рощиха — председатель сельсовета, женщина опытная, сама вырастила детей — бодро уверяла:

«Можешь не беспокоиться, командир. У меня все будет чин чинарем».

Но ничего у нее не получилось. В отряд пришли двое — Володя и Петя.

«Чертенок, а не ребенок, — сказала Рощиха про младшего, про Петю, — ему хоть кол на голове теши».

Старший, Володя, был парень рослый, но тихий, не по возрасту солидный и не по возрасту разумно-осторожный, хотя и смелый. Брат его, Петя, на вид совсем мальчуган, больше двенадцати ему никак не дашь. И по характеру — вьюн, непоседа,

озорной насмешник, неудержимый и неутомимый выдумщик. Смел безрассудно, по-детски лез под каждую пулю. Одним словом, хлопот с ним было немало. Комиссар, начштаба, партизаны не раз требовали: отправить его обратно к матери. Но я знал — нельзя, хлопец начнет воевать в одиночку и... погибнет. Однако возмущенные его выходками командиры оттаивали, прощали его, когда Петя возвращался из разведки. Лучшего разведчика у нас, пожалуй, не было. По росту — ребенок, дитя горемычное, попрошайка бездомный, а по хитрости — профессиональный агент разведки.

Петя подал заявление в комсомол. Его не приняли, договорились дать ему понять, что дисциплина есть дисциплина. Он заплакал от обиды, клялся перед всеми, что никогда больше не будет выкидывать никаких «коленцев». И в тот же вечер командиру взвода, который первым высказался против, сунул в котелок с супом лягушку. Когда, как — никто не видел, никто не мог доказать. Комвзвода сам наливал себе суп. Его чуть не вывернуло наизнанку, три дня ничего есть не мог. Командиры возмущались: Петина работа. Партизаны хохотали: «Вот дед Щукарь!»

Позвали Петю.

«Опять ты за свои штуки!»

«Да что вы, товарищ командир, я первым поужинал и уже мыл котелок, когда они пришли, комвзвода и врач».

«Так ты договоришься, что это врач сделал».

Глаза сразу завертелись, что колесики.

«А что? Врач нам рассказывал, что у какого-то народа — забыл, у какого, — лягушка самая вкусная еда. Лучше курицы. Они жарят лягушек и лапки обгладывают». Причмокнул и слюнки проглотил: казалось, готов сам тут же обглодать лягушиную лапку. Начштаба наш, Будыка, человек брезгливый, прогнал мальчишку из землянки. «Пошел вон, дьяволенок! И не показывайся мне на глаза!»

Петя понимал, что лягушки ему не простят, хотя вина и не доказана. На другой день он попросился в разведку — «похристарадничать» в городке: словаков, с которыми наши хлопцы начали налаживать связь, неожиданно сменила немецкая охранная команда. Сколько их, как вооружены? Нам надо было это знать. Я согласился отпустить Петю. Начштаба ворчал:

«Выгораживаешь ты этого разбойника. Разведать он разведает, а потом опять будет играть на нервах, бросать в котелки всякую дрянь. Взрослого партизана я судил бы за такие штуки».

«Засушишь жизнь. Зачерствеем без шутки, инженер».

Ходил Петя в разведку каждый раз в новой роли. Актер был. Талант! Даже нищие его не похожи один на другого. В тот раз он явился показаться перед уходом в роли маленького паралитика. В лохмотьях. Одна рука висит неживая. Ногу тянет. Говорит сердито, а что — не разобрать.

Даже начштаба, настроенный против парня, поразился. Петя

наступал на него, дергался всем телом, страшно махал «неживой» рукой и злобно лопотал. Будыка отступил, как бы испугавшись, что «паралитик» дотронется до него.

Начштаба побледнел. Сказал мне:

«Нельзя так, командир. Они пристрелят его из своего «арийского гуманизма»: зачем, мол, такому жить? Это игра для сердобольных женщин, а не для фашистов».

Я согласился. Пришлось Пете перевоплощаться заново.

Из разведки он никогда не возвращался с пустыми руками. Я имею в виду не только то, что на военном языке называется разведданные. Это он делал как бы между прочим. И казалось, порой не совсем понимал, что для отряда данные о враге — самое ценное. Он еще всегда старался принести вещественные доказательства того, где был, что видел. Или просто что-нибудь нужное отряду. Как-то летом стало у нас туго с солью. Петя принес суму соли. Едва доволок. Но больше всего нас удивило, когда после одной из своих разведвылазок Петя принес три немецких мундира со всеми документами, два автомата, пистолет. Захотелось фашистам искупаться — лето, жара, забрались они в речку, а Петя сгреб все — и в кусты.

Меня тревожили такие похождения маленького разведчика. Я не давал Марине никаких обещаний, кроме того, что сделаю ее сыновей партизанами. Но я все время чувствовал свою ответственность перед ней. Старался держать братьев Казюр поближе к себе: Володю — связным при штабе, Пете говорил, что он разведчик при командире отряда, для особых заданий. Я старался посылать хлопца в разведку с кем-нибудь из взрослых партизан, отцов, которые оберегали бы его, удерживали от ненужного риска.

Но вышло так, что я сам послал детей Марины на смерть...

В августе сорок второго мы совершили недолгий рейд за Днепр. Цель была — сорвать оккупантам хлебозаготовки, пустить красного петуха на их склады. Где удастся — забрать хлеб и схоронить на зиму. Отряд рос. За полгода вырос чуть ли не втрое. Людей надо кормить.

Появление партизан в безлесном районе, где оккупанты и полицаи чувствовали себя хозяевами, нагнало на них страху и вызвало панику. Первые дни мы жгли склады, раздавали награбленный фашистами хлеб тем, кто его растил — крестьянам, отослали обоз в лес, не встречая серьезного сопротивления. Без боев. Бывало, что бобики, удирая, пальнут — и все. Но через неделю немцы бросили на нас батальон СС. Механизированный. Карателей, которые хвастались, что очистили от партизан не один район. Вступать с ними в бой мы не могли. Силы неравные, да и позиции не те, что в лесу. В таких случаях главное — оторваться от врага. Чтоб обмануть карателей, небольшая группа партизан инсценировала ночью прорыв на запад, в полесские леса, по дороге совершила дерзкий налет на довольно крупный полицейский гарнизон. Казалось, фашисты клюнули на это. Десятки машин, два

танка кинулись догонять наших разведчиков. Отряд двинулся в другую сторону. Однако враги не так глупы, они знали, откуда мы пришли и куда можем отойти. На переправе, нашей, партизанской, поджидали в засаде полицаи. Мы, конечно, могли их разбить. Но вряд ли это помогло бы нам переправиться с ходу. Ясно было, что лодки наши и плот захвачены, что на том луговом берегу тоже враг. Кроме того, если здесь — полицейский сброд, слабо обученный и плохо вооруженный, то там наверняка каратели с автоматами и минометами. Не обнаруживая своих сил, своего огня, я бросил отряд вниз по реке. Не шли — бежали. Удирали от врага. Для партизана это не позорное слово — удрать. Цель: пока не рассветет, переправиться любым способом. Нам не много надо. Полдесятка рыбачьих челнов для пулеметов, для тех, кто не умеет плавать, для раненых. Повозками можно пожертвовать, хотя и жалко. Большая часть людей и лошадей переплывут сами. Лето было жаркое, и Днепр обмелел.

Но в каждом селе, где можно было бы достать лодки или бревна, отряд встречали полицаи. Откуда их столько взялось! Они не лезли в бой; они поднимали тревогу. Ясно: давали сигнал, где мы. По этим сигналам за нами шли — заметили хлопцы из группы прикрытия — по тому, луговому и лесному партизанскому берегу каратели. Делалось все, чтобы не дать отряду переправиться, чтоб навязать бой на безлесном берегу среди бела дня. А день наступал. Там, над нашим лесом, таким родным и манящим, светлело небо. Но до него, до наших болот, где и в августе донимали комары, стало уже далеконько. Переправляться нельзя. Неразумно. Зачем бросать людей под пули? Переть на врага в лоб — не партизанская тактика. Меня не так уж пугало то, что мы останемся еще на день здесь, в полевом районе, и что нам предстоит долгий и тяжелый марш, чтобы ввести врага в заблуждение, запутать следы.

Но... поверьте, я человек без предрассудков, со школьных лет не верю ни в какие чудеса, однако, кажется, именно с того времени, с той ночи, я начал верить в предчувствия. В отчаянии кричит мать в тот день, может быть, в ту самую секунду, когда за сотни и тысячи километров гибнет сын. Вероятно, когда-нибудь ученые откроют некие биотоки, объяснят и такое явление. А может быть, все это проще? Такие предчувствия редко посещают молодых, у кого не так много забот. Чаще — тех, кто несет огромную тяжесть ответственности за людей. Может быть, это кульминация или взрыв их беспрестанной тревоги, волнений, что сосут и сосут сердце и накапливаются в нем, как яд, как взрывчатка.

О лагере я не переставал думать. Очень возможно, что жила и тревога — скрытно, заглушенная другими мыслями, заботами. А тут вдруг ударила в самое сердце, скажу я вам, прямо-таки физической болью. Я и теперь помню, чувствую ее, эту боль. Как только стало ясно, что переправиться не удастся, что надо отводить отряд от Днепра, в обход фашистских заслонов, тут же

и екнуло: лагерь! Наш лагерь! Кто мог с уверенностью сказать, что немцы не знают, где он? Не потому ли так упорно преграждают нам путь домой, что готовят нападение на лагерь? Вряд ли они надеются разбить нас здесь, в открытом бою. Не очень-то мы пойдем на такой бой. Ищи ветра в поле. А вот обескровить, уничтожить базу, запасы... В лагере немногочисленная охрана, раненые, женщины, дети... Нет, детей тогда еще почти не было, семейные отряды появились поздней, после большой карательной экспедиции, когда немцы пожгли села. Но и тогда уже у нас жила маленькая девочка... Вита, ей было всего восемь месяцев. Она родилась в отряде в декабре сорок первого, в нашу первую партизанскую зиму.

Рассказывая, Иван Васильевич все время смотрел в зал: узкая и длинная комната, залитая ярким светом ламп, с чертежами сложных электросхем на стенах.

Нет, чертежи он заметил вначале, между прочим. А в течение всей беседы видел лишь одно: глаза этих красивых, аккуратно причесанных парней, черноволосых, белокурых, каштановых, в ладно подогнанной флотской форме... Они вплотную сидели за черными столиками, за которыми изучали сложную технику по этим чертежам, и на стульях вдоль стен (за столиками мест не хватило).

Некоторые — в очках, и глаза их нельзя было разглядеть. Иван Васильевич удивился: никогда не видел в армии такого количества людей в очках. Даже в войну.

Слушатели поначалу смотрели на него по-разному: одни — с откровенным любопытством в глазах, другие — с ироническим прищуром: мол, поглядим, что ты нам преподнесешь! Третьи — равнодушно: всё мы уже слышали. Часть устала, это выражалось по-разному: а, все равно, хоть отдохну! Или наоборот: не разводи только бодяги надолго, хватает с нас докладов и без тебя.

Антонюк понимал их. Во всяком случае, после разговора с сыном казалось, что он понимает этих ребят значительно лучше, чем их университетских ровесников — Ладиных друзей. И уважения к матросам чувствовал больше. Любви. Отцовской. Подумал, что это не совсем справедливо по отношению к тем, кто бессонными ночами грызет квантовую теорию. Успокоил себя, что сердцу не прикажешь, кого любить больше, кого — меньше. Наконец, все меняется в зависимости от времени, обстоятельств, настроения. Может случиться, через неделю или месяц такое же умиление — видно, старческое уже чувство — появится перед кем-нибудь другим. Перед Ладой — наверняка. Лада — частица его любви постоянная.

Во всяком случае, чувство, что он догадывается, о чем думают эти парни, помогло ему, говоря лекторским языком, «наладить контакт с аудиторией».

В глазах он видел разное, пока рассказывал о партизанской войне в общих чертах. Значит, не очень задевало то, что происходило тогда. Когда же заговорил об этом конкретном эпизоде, во всех глазах загорелось одно, даже очки стали поблескивать совсем по-иному. Во всех... кроме... Кроме глаз сына. У Василя все еще таилась — не во взгляде, в складках губ — ироническая ухмылка. Очень знакомая ухмылочка — его, Антонюка; он такой вот усмешкой многих «вышибал из седла».

Не так давно один высокий гость Беловежи, ныне такой же пенсионер, как и он, Антонюк, после охоты, во время обеда, вдруг раскричался: «Мне очень не нравится ваша усмешка! — И показал пальцем: — Ваша! Ваша!! Кто вы такой?», хотя хорошо знал, кто он такой, — вместе охотились. С того дня началась подготовка к торжественным проводам Антонюка на пенсию. А может быть, проводы того гостя готовились еще раньше?..

Иван Васильевич без раздражения, с любовью мысленно просил сына:

«Не надо, Вася... Не надо иронии. Вчера на берегу у обелиска ты был совсем другой. Да, я напросился на выступление. Напросился, уверенный, что это нужно тебе и твоим товарищам. Ты сам подсказал мне, в нашем разговоре у памятника».

Ирония Василя, усмешечка эта мигом исчезла, когда он сказал про Виту. Сын застыл, напрягся, вытянул голову вперед, как бы желая приблизиться, чтоб не пропустить не то что слова, ни единого движения отца. Это почти испугало Ивана Васильевича. «Что он знает? Ничего он не знает. Или, может быть, до него что-то дошло? Когда они с Ладой были маленькие, у матери изредка прорывалась женская обида».

Такой неожиданный интерес сына немножко сбил с толку.

— Много людей для защиты лагеря послать мы не могли. Во-первых, нельзя обескровить отряд. А вдруг нам все-таки придется вести бой, прорываться из окружения? Нужна сила. Во-вторых, не каждый партизан с ходу, ночью, уверенно, без риска, решится переплыть Днепр. Не хватало еще — потопить людей. Таких смельчаков набралось тогда сразу человек десять. Казюры, Володя и Петя, были при мне. И я сам послал их. Должно быть, я подумал, что они будут в большей безопасности, чем здесь, с нами. Очень возможно, что нам придется прорываться с боями и Петя полезет под пули, как уже лез не раз. Там же еще неизвестно — нападут на лагерь или нет. Может, тревоги мои напрасны. Если и нападут, группе не ставилась задача защищать лагерь. Прежде всего: вывести из-под удара раненых, женщин. Попытаться, конечно, задержать карателей до прихода отряда. Если же видно будет, что это невозможно, взорвать склад, мастерскую, сжечь землянки. Я нарочно посылал командиром группы человека рассудительного, осторожного — бывшего военного, инженера Бу-

дыку. Правда, он боялся воды. Но его успокоили: ничего, мол, товарищ начштаба, с нами не потонете, если вы не топор и хоть немножко умеете держаться — вытянем.

Нельзя сказать, что группа замешкалась в пути, потом мы выяснили все обстоятельства. Течение отнесло одного подальше, другой выбрался ближе — кто как плавал. Людям пришлось потратить час, пока собрались в лозняках в тумане. О сигналах не условились, тут и моя вина — не подсказал, не предусмотрел. Звать боялись: кто ведает, где враг? Свистели по-птичьи. Троих не дождались: одного немолодого партизана и братьев Казюр.

Будыка решил, что они потонули или, испугавшись, повернули назад.

До сих пор неизвестно, каким образом Володя и Петя оказались в лагере часа на два раньше группы. Можно только догадываться: то ли бежали всю дорогу, продрогшие, босые, чтоб согреться, то ли — что более вероятно — попались им на лугу кони. На болоте хлопцы заметили, что немцы и полицаи пробираются к лагерю. Обошли карателей, подняли тревогу. Очень своевременно. Передали приказ: раненым, женщинам отходить через болото в Рудненский лес. А сами вместе с ребятами из лагерной охраны встретили карателей на опушке, на наших «минных полях». Бой был неравный: врагов сотни полторы, хлопцев — горсточка! Они почти все погибли до прихода группы Будыки, которая внезапным налетом с тыла оттянула карателей, заставила их отступить из лесу. Испугались гады, что вернулся отряд. Мы нашли только двух наших раненых — спрятались в кустах. Трупа ни одного. Убитых фашисты забрали с собой, — видимо, как доказательство удачной операции.

Мы провели траурный митинг — символически похоронили своих товарищей, над телами которых где-то глумился враг. О, с какой болью, с какой мукой хоронил я Володю и Петю! Что сказать матери?

А дня через два связные принесли весть: братья Казюры в плену. Думаете, стало легче? Но появилась надежда: может быть, удастся спасти ребят? Их держали в тюрьме, в городе. Тут же связной отправился к подпольщикам: что можно сделать? Через нашего человека в полиции узнали, как братья попали в плен. Когда из группы охраны уже никого не осталось, Петя, маленький Петя, попытался вынести своего тяжело раненного брата. Хотел оттащить в болото, спрятать в лозняках. Там их догнали. Схватили. Вскоре подпольщики передали, что Володя умер от ран. Остался один Петя.

Мы знали — его пытают, хотят выведать: сколько нас, какое оружие? Где запасный лагерь? Где спрятали зерно?

Говорят: время залечивает все раны, забываются страдания физические, муки душевные. Нет, я не забыл. Ничего. Тех бессонных ночей, боли от мысли, что там, в городе, за тюремными стенами, бьют, пытают огнем мальчика, ребенка. Он был не толь-

ко боец отряда, он — мой сын. Меня просила мать. Что я ей скажу? Зачем я послал ее сынов? Однако не кто иной, а они, братья Казюры, спасли других людей — женщин, раненых... Пока бы до лагеря добралась вся группа! А они — как сказочные герои. Словно на крыльях долетели.

Вернуть матери хоть одного сына! Но как вырвать его? Думал я. Думали все командиры. Весь отряд. Подпольная группа в городе. Действовали. Но осуществить планы не удавалось. Пришлось пойти на переговоры с врагом. Впервые. Предложили обменять Петю на полицаев — немцы не ответили. Что им какие-то предатели, холуи!

Снова бессонные ночи, боль и терзания. В одну из таких ночей я не выдержал. Поднял разведчиков, вскочил на коня. Даже комиссару и начштаба ничего не сказал. Далеко было от нашего нового лагеря до Казюр. А августовская ночь не так и долга. Уже светало, когда добрались туда. Хлопцы стали — двое на улице, один на огороде: полицаи, напуганные нашими рейдами, всю ночь несут охрану, не то что зимой.

Я тихонько поскреб по окну. Марина припала лицом к стеклу, узнала и... задохнулась, судорожно скомкала пальцами сорочку на груди и долго так стояла, онемелая. Открывать дверь не пошла — отворила окно, шумно, не остерегаясь, ударив кулаком в раму.

Глухо спросила:

«Оба? Когда? Где?»

Я рассказал, что случилось. Она не дослушала до конца.

«Я пойду к нему. Сегодня же».

Тут я понял свою ошибку. Конечно, мать пойдет, будет просить у фашистов свидания с сыном. А они арестуют и ее. Мать партизана. За одно это гитлеровцы расстреливали. Выходит, еще одного человека я пошлю на смерть. Еще один камень ляжет на сердце. Долго просил Марину не ходить, милости у них не вымолишь, никому это не нужно, чтоб посадили и ее.

«Пускай, — отвечала Марина, — помру вместе с сыном».

Она не плакала. Ни одной слезы. Будто окаменела. Чтоб удержать ее, мне пришлось пойти на обман. Мы, мол, ведем переговоры: обменять Петю на пленного офицера. Пусть она подождет два-три дня, наш связной, а может быть, и я сам каждый день будем приходить к ней и сообщать, как идут переговоры. А так, отправившись сейчас, она помочь не поможет, а скорей навредит. Наверняка навредит.

Женщина поверила. И сразу подумала о нас: чтоб никому из партизан не рисковать, не надо приходить в деревню, где шныряют полицаи, она будет ждать нас в лесу у сожженной сторожки лесника каждую ночь, с вечера до рассвета. Ничто ее не страшило — только бы спасти сына.

Еще с более тяжким сердцем возвращался я из Казюр. Что скажу этой женщине завтра, послезавтра? Кабы он был у

нас, этот пленный офицер, хоть какой-нибудь! Не так-то просто его взять за день, за два. А время не ждет — Петю могут расстрелять, повесить. Наш осторожный комиссар, Вася Шуганович, который не раз удерживал меня от таких вот порывов, рискованных операций, хмуро молчал, когда я заявил, что сам иду с разведчиками за Сож, на шоссе Гомель — Чернигов, чтобы захватить офицера; там они часто ездят.

Мы лежали в засаде двое суток. Три ночи Шуганович ездил к Марине, все больше и больше убеждаясь, что она уже не верит в легенду о том, как я веду переговоры, кружу с отрядом вокруг города. Потом говорил: больше никогда в жизни не возьмется за такую миссию. Больше ему и не пришлось...

Нам повезло: мы таки сковырнули среди бела дня «опель-капитана». Аккуратненько спустили. Только шофер сломал руку, пассажиры наставили синяков — и все. Их было двое. Офицер-тыловик, обер-лейтенант, какой-то уполномоченный имперского управления или комиссариата по использованию промышленных ресурсов восточных земель. Наших земель! Второй — штатский, представитель лесоторговой фирмы.

Там же в лесу, возле шоссе, я написал письмо фельдкомендан-ту. Если немецкие власти хотят сохранить жизнь двум «сынам фатерланда», партизаны согласны обменять их на своего сына — мальчика, ребенка, которого держат в тюрьме. Отпустили шофера. Забинтовали ему сломанную руку. Штатский угрюмо молчал. Интендантик, стуча от страха зубами, заискивающе просил шофера любым способом доставить письмо, а главное, передать его собственное послание, которое мы разрешили ему написать. Пообещал шоферу крупную награду: «Вам повезло, Томас. Вам просто повезло».

Не знаю, как обернулось для солдата это «повезло».

Марина-таки не дождалась. Мать остается матерью. Пошла в райцентр. Может быть, до ее прихода позвонили из Гомеля. Или, может, у гестаповцев были свои расчеты. Неизвестно. Но ей дали свидание с сыном. Ее не арестовали. Даже шпика, кажется, не послали проследить: куда она пойдет, с кем встретится?

Гестапо согласилось обменять парнишку на немцев, которых мы захватили. Даже сделали жест: отпустили из тюрьмы раненого партизана из отряда Каткова, он принес письмо — где встретятся парламентеры. Двоих, мол, на двоих. Нас такое великодушие насторожило. Начштаба Будыка отказался идти на переговоры. Сказал: «Не верю я фашистам. И сам в ловушку не полезу». Пошел комиссар Вася Шуганович. Ничего. Вернулся, договорившись о часе и месте обмена. Но Будыка был прав: фашисты есть фашисты. Ни чести, ни совести — ничего у них нет. Одна звериная хитрость.

Обмен должен был произойти в открытом поле, между деревней Рудня и лесом. В деревне — немцы, в лесу — мы. Ровно в девять ноль-ноль из лесу под конвоем двух партизан выйдут

пленные интендант и лесоторговец, из деревни — Петя под конвоем одного немца.

Само собой разумелось, что с обеих сторон на место встречи будут наведены пулеметы и прочее оружие, у кого что есть... Конечно, у фашистов оружия больше. Мы это учитывали. Имели в виду и то, что гитлеровцы не удержатся от соблазна окружить нас. И не ошиблись. Разведчики накануне установили, что лес оцепляют: значительные силы карателей и полицаев тайно залегли в кустарнике, во рвах.

Собрался военно-политический совет отряда: что делать? Никто не предлагал отказаться от операции: Петю надо вырвать из их лап. А на хитрость врага ответить хитростью! Отряд войдет в этот небольшой лес. Отряд даст себя окружить. Но тех, кто окружит нас, возьмут в клещи отряды Каткова и Косача. При нашем отряде тогда находился секретарь подпольного обкома Ружак, он координировал действия отрядов зоны. Он первый выдвинул такое предложение. Договориться с соседями было легко. Между прочим, как раз тогда велась подготовка к объединению отрядов в бригады. Случай давал возможность испытать в бою главные силы будущей бригады.

Мы все предусмотрели и все спланировали. С военной точностью. По законам партизанской тактики. Все учли, кроме той подлости, на какую способны только фашисты. Никому из партизан и в голову не пришло, что они пойдут на это.

Ровно в девять из-за колхозной конюшни вышли двое: немец и мальчик. Даже за полтора километра я разглядел, что у Пети забинтована голова. Он шел медленно, пошатываясь. Сжимались кулаки: пытали гады ребенка. Передают нам побитого, искалеченного. А мы их пленных пальцем не тронули, передаем накормленных, побритых, начищенных.

Чесались руки, горело сердце... Но черт с ними! Только бы Петя остался жив!

Интендант, сволочь, козырнул мне, штатский поклонился. Чуть не побежали, обрадовавшись. Конвойным пришлось придержать. Встретиться должны в определенном месте — посреди поля.

Из-за конюшен, из садов перебегали зайчики от немецких биноклей. Но... что это?! Когда группы почти сошлись, один из наших конвойных, Сенька Гарун, отскочил, замахал руками, закричал. Явно давал сигнал: провокация! Провокацию мы предусматривали. Но какая тут провокация, в чем — не сразу сообразили. Увидел в бинокль, как немецкий конвойный выхватил пистолет и выстрелил в Гаруна. Тот упал. Другой наш конвойный, Ваня Ткачев, выстрелил в немца. Оба упали одновременно. Интендант и коммерсант, махая руками, бросились что есть силы бежать к своим... Это их погубило: не военные, не имели опыта. Пулеметчик наш не стал ждать команды. Дал сразу длинную очередь.

Тот, кого мы считали Петей, кинулся в сторону и побежал по фронту, не приближаясь ни к нам, ни к немцам. И как бежал! Летел! Тогда только я понял, что вместо Пети нам хотели передать кого-то другого. Забинтовали, чтоб не догадались сразу.

Я предупредил своих:

«По мальчику не стрелять! Бить по конюшне! По садам!»

Конвойные живы. Их и наш. Залегли, перестреливаются. С дерева, где я сидел, видно было, как Ваня отползал по борозде.

За лесом ударил немецкий миномет. Начался бой, в котором фашисты рассчитывали уничтожить наш отряд. Но сами попали в ловушку. Сводный полицейский батальон, поставленный, чтоб отрезать нам путь в большие леса, был разбит наголову. Эсэсовская механизированная зондеркоманда, вырываясь из окружения, бросила машины и минометы. Но и у нас в том бою были потери немалые. Погиб Вася Шуганович, мой комиссар, мой друг. Не вызволили Петю. Пленные рассказали: его расстреляли в то самое утро на тюремном дворе. Так страшен был для них этот мальчик, что фашисты боялись обменять его на двух своих. Они даже боялись вывести его за город, ближе к партизанам. Нам хотели передать беспризорника, сидевшего в тюрьме за кражу.

Марину привезли на похороны партизан. Среди тех, кто лежал в гробах, не было ее сына. Но мы хоронили и его.

Гробы стояли под соснами, рядом с только что выкопанной братской могилой. Вокруг сидели усталые партизаны: раненых увезли в лагерь.

Партизаны вскочили, как по команде, когда подошла мать. Постаревшая, ссутулившаяся, в черном платке — помню, вижу ее и сейчас — Марина подолгу стояла возле каждого гроба, вглядываясь в лицо убитого. Нет, она не плакала. Изредка шевелились запекшиеся губы. Что она говорила? Читала молитву? Или посылала проклятья убийцам? Я боялся: не помутился ли от горя ее разум?

Дошла до последнего гроба. Постояла. Повернулась, чтоб идти дальше — куда? — и увидела меня. Я не мог вымолвить ни слова — душили слезы. Склонил перед ней голову, готовый услышать крик материнской боли, укор. Она могла спросить: почему я не уберег ее сыновей? Могла удариться оземь с криком: «Где мои дети? Верните моих сынов!»

Марина положила мне руку на голову, как ребенку, провела шершавой ладонью по щеке:

«У тебя горячка».

Я был ранен в руку, прошла ночь после боя, поднялся жар. Кто-то из партизан, из мужчин, всхлипнул. Рядом. Кто-то из женщин заголосил.

Она сказала:

«Петя просил... передай, говорит, Ивану Васильевичу... пускай меня примут в комсомол. Я ведь не такой, как они думают. Я, го-

ворит, мамочка, знаешь какой! Я им слова не сказал! И не скажу! А сам... живого места на нем не было». И тут она зарыдала. Не заголосила по-бабьи, а зарыдала надрывно, глухо, как плачут в очень большом горе.

...Не поднялась ни одна рука, когда замполит предложил слушателям задавать докладчику вопросы.

Иван Васильевич, немного смущенный, сказал, что никакого доклада он не делал. Они поняли его, эти ребята во флотской форме, поняли, наверное, лучше, чем их капитан. Они просто смотрели на него с большим интересом, с большим уважением, чем вначале. Антонюк был благодарен им за это. И за то, что они не захлопали, когда он так вот неожиданно, на рыданьях матери, кончил свой рассказ.

Один Василь в ту минуту не смотрел на отца. Понурившись, разглядывал свои руки, словно нашел в них что-то диковинное. Но по лицу его уже не блуждала ироническая усмешка. Теперь на нем вообще ничего не отражалось — никаких эмоций.

Аплодировали горячо после того, как капитан от их имени поблагодарил за — он не сразу нашел слово — «содержательную беседу». Василь не аплодировал. Не демонстративно, конечно. И не из скромности. Просто мысли его были где-то далеко. Где? О чем он думал?

Ему разрешили проводить отца в поселок.

Иван Васильевич боялся, как бы сын не сказал что-нибудь такое, что может испортить его хорошее впечатление от встречи, от всего того, что увидел здесь за два дня.

Василь в «газике» при шофере спросил:

— А теперь ты знаешь об этих людях? Держишь с ними связь? Как они живут?

— Обо всех? Бригада — это сотни людей... Прошло столько времени. Но со многими связь имею. С некоторыми вижусь чуть не ежедневно. С Будыкой, например. К Марине заезжаю изредка. Помогаю. Чем могу.

— А девочка, которая родилась в отряде... Кто она?

— Виталия? Мы были романтики. Видишь, какое имя дали? В декабре сорок первого. Вита — жизнь. Верили в жизнь. Не видел ее лет семь. Тогда она была еще школьница.

— Детдомовка?

— Нет. Почему же! Она жила с матерью. Мать ее учительствует. В Полесье.

— А отец?

— Отец? Он... он погиб...

Дорога круто повернула на горном склоне, фары выхватили причудливые очертания срезанной взрывом скалы. Впереди замелькали огни поселка. Еще через несколько минут въехали в долину. Дорога проходила близко от берега, и даже сквозь шум

мотора слышался грохот прибоя. Было безветренно, а море все равно бушевало.

Василь с каким-то детским восторгом заговорил о море. У отца ревниво сжалось сердце: приворожило оно сына.

VI

В Гомеле шел снег. Сухой, легкий.

От этого Ивану Васильевичу вдруг стало хорошо, радостно. Будто попал в родную стихию. Будто вернулся из Африки, где не видел зимы много лет. Он так и подумал с улыбкой об Африке, потому что всю дорогу в купе молодая мать читала четырехлетней дочурке:

Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!

Ивана Васильевича смешили эти шутливые стихи старого поэта. И наводили на грустные мысли. Почему он не читал их своим детям? Дети любят алогичные фантазии. Только взрослым нужны во всем, малом и большом, железная логика и глубокий смысл.

Он накинул пальто и вышел на перрон. Захотелось взглянуть на город своей юности. Он любил этот город всю жизнь. Только однажды он показался неуютным и чужим, когда осенью сорок второго пришлось прийти сюда, чтоб организовать после провала новый подпольный горком, боевую группу его.

После войны город разросся. В центре почти ничего не осталось от того, что было раньше. Но все это совершалось на его глазах, и потому ему не приходило в голову сказать: «Не узнать Гомеля».

Все новое как-то постепенно, незаметно и очень естественно входило в его представление о родном городе. Так же естественно, как то, что бывший мальчишка Иванька Проськин (почему-то в деревне маленьких Антонюков звали по их бабушке, Просе) стал пенсионером Иваном Васильевичем. Однако в чем-то главном он все тот же мальчишка-рыболов, юноша-рабфаковец, который немало потопал в этом городе по деревянным тротуарам, партизанский командир — хозяин лесов в междуречье Днепра и Сожа. А не пенсионер!

Может быть, в чем-то самом главном неизменным остался и город. В чем? Странное ощущение. Реконструировали вокзал, сделали тоннель, построили новые дома, там, за путями, в зализнейном районе, и здесь, у привокзальной площади; дома, как близнецы, похожие на тысячи таких же домов в других городах.

И все равно этот вокзал непохож на другие, по-прежнему он знакомый и родной — до спазма в горле, до боли в сердце. Что сохраняет его неизменным, таким, каким запомнился с тех далеких времен, когда Иванька Проськин впервые приехал в город, чтоб поступить на рабфак? Может быть, этот перекидной мостик с гремучими железными ступеньками, на котором он встречался со своей первой юношеской любовью? Где она, та девчонка, теперь уже бабушка? Смешно. Говорят, первая любовь не забывается. Не забывается юношеский огонь, твое чувство. А не она, та, что зажгла этот огонь. Она исчезла из памяти, как только пришла другая любовь, более зрелая, более серьезная... Была вытеснена. Нередко он действует, этот неумолимый закон. Однако, когда эта другая любовь создала семью, появились дети, он не позволил, чтоб их вытеснило то, третье... Вот оно действительно не забывается, это последнее, ничем его не вытеснить: ни тем, что было до того, ни тем, что после... Хотя после ничего и не было, кроме вспышек все того же огня.

Проводница предупредила:

— Опаздываем. Стоянку могут сократить. Не отходите далеко.

Иван Васильевич шел по перрону к тепловозу. Снежинки садились на руки, на лицо, приятно щекотали теплым холодком. Да, бывает теплый холодок и холодное тепло — в природе так же, как в человеческих сердцах. А самое неизменное из неизменного здесь — это снег, это тихий снегопад над городом, что засыпает черноту асфальта и, как ничто иное, единит город с просторами полей, с лесами, с первобытностью земли. Может быть, потому и мысли так неожиданно, так внезапно устремились туда, за эти просторы, за эти леса? А так ли уж неожиданно?

Да, позднее уже ничего и не было, кроме вспышек все того же огня. И вот она, еще одна вспышка. Может быть, последняя? Нет, совсем не такая. И причина иная совсем. Тогда это шло от его человеческой слабости. А теперь?

Поезд тронулся.

Антонюк стоял и смотрел, как проплывают вагоны. Чаще постукивали на стыках колеса. Вот и его вагон. Проводница хлопнула плитой, закрывающей ступеньки, увидела его, откинула плиту назад, крикнула:

— Эх! Цепляйтесь! Да скорей же вы!..

Иван Васильевич, не трогаясь с места, с улыбкой помахал ей рукой.

Павла похоронили без меня. Катков приехал потом, этого я ему не могу простить. Катков завидовал славе моего отряда. Как многие профессиональные военные, глядел свысока, считая, что он один умеет командовать и я перед ним что лапоть перед сапогом. Он, кажется, ни разу не приехал первый, пока отряд его был самостоятельным. Ездил я.

Почему Павел выбрал его отряд? Назло мне?

У меня не было к Каткову ни ревности, ни неприязни. Но когда Павел ушел, я почему-то подумал тогда: лучше бы к Косачу.

Может, потому я сразу понял, что случилась беда, — в тот же миг, как увидел Каткова у себя в лагере. Он совсем не по-военному соскочил с седла — сполз как-то по-старчески. Я вышел из землянки-мастерской, где хлопцы делали мины.

Катков боялся поднять глаза.

«Когда?»

«Позавчера».

Шевельнулась надежда.

«Ранен?»

«Нет. Напоролись на засаду возле Рудни. Скосили всех троих. Двое там и остались, полицаи хоронили. Павла конь вынес. В пылу держался, видно, еще некоторое время. Нашли его в лесу за километр от места засады. Две пули в грудь. Три — в спину. Стреляли вслед...»

Уже в пути, когда запаренные лошади умерили бег и с натугой вытаскивали ноги из размокшей пашни, я, поравнявшись, спросил у него:

«Почему не сообщил сразу?»

«Тебе было бы легче?»

Нет, мне не было бы легче. Не было б! И ты, Катков, не знаешь, как мне тяжело было тогда. И теперь. Эта рана не заживает. Ты не знал, из-за чего Павел перешел к тебе. Или, может быть, знал? Все равно. Ничто не мешало тебе сделать так, чтоб я сам похоронил брата.

Я должен был в последний раз взглянуть на его лицо, прежде чем навеки засыпать землей. Я так и не спросил у тебя, Катков, до сих пор не спросил: сделал ли ты хоть гроб? Я боюсь, что ты ответишь: нет, не сделал, не до того, мол, было. Ты всегда оставался военным, неплохим командиром, но не всегда человеком и другом. Или, может быть, мы в эти понятия вкладываем разный смысл?

Что застыло на твоем лице, Павел? Боль, отчаянье? Твердо знаю одно: не страх, не паника. Было у меня крошечное утешение: брат не сам полез под пули. Засада неожиданная, смерть случайная. Павел хотел жить, хотел бороться. Никто на войне не знает, когда и где встретит свою пулю. Мои хлопцы тоже налетали на засады. Павел мог так же погибнуть у меня в отряде. В разведке или в бою во время блокады. Сколько их погибло! Я не оберегал брата. Никого не оберегал, кроме... Да, разве кроме детей. Я сам чуть не каждый день шел на смерть. И вел на смерть партизан. Война не бывает без жертв. Однако в моем отряде люди гибли реже, чем у того же Каткова. Мы меньше несли потерь, хотя боевых операций совершали больше. Выходит, все же в какой-то мере мы берегли людей. Я, Шуганович, Будыка... Я, кажется, уподобляюсь тем мемуаристам, которые стремятся до-

казать, что были всегда умны, предусмотрительны, непогрешимы; я начинаю доказывать это самому себе, в душном вагоне, под стук колес и беззаботный храп соседей. Нет, я ничего не доказываю ни самому себе, ни другим. Двадцать два года я казнил себя за смерть брата. Не хочу больше казниться, не надо. Верю: Павел единственный, кто имеет право судить меня, тебя, Надя, кому я разрешил бы это сделать, — сейчас, если б судьба отпустила ему столько прожить, понаблюдать, понял бы нас и... простил. Хотя зачем нам прощенье? Не хочу чувствовать себя виноватым! Ни перед кем! Даже перед Павлом. В чем?

Тебе, конечно, сразу сказали о моем горе — почему и куда поехал я с Катковым. За день, который я просидел у могилы брата, ты немало пережила. Когда я вошел в землянку, маленькая Вита, хорошо помню, надрывно кричала. Ты держала ее на руках. Рванулась ко мне.

«Иван!..»

Не знаю, что ты хотела сказать, но я остановил:

«Не надо!»

Ты испуганно отступила в угол, укачивала малышку, шепотом просила:

«Тише, крохотка моя, тише. Сейчас, сейчас...»

Что сейчас? Что ты ей обещала? Как будто ребенок мог понять и успокоиться.

Не помню, сколько просидел на колодке, наверное, долго. Все время кричал ребенок. Его крик, твое убаюкивание не раздражали, напротив, кажется, успокаивали, должно быть, напоминая о жизни и о нашей цели — бороться за нее, за жизнь.

Почему я ничего не сказал тебе тогда, две недели назад, когда Будыка открыл мне глаза — из-за чего Павел ушел из отряда? Что меня остановило? Может, испугался, узнав, что тебя любит другой, моложе, намного моложе, ты станешь думать о нем и я отступлю в твоем сердце на второй план? В любви, в ревности мы всегда остаемся пылкими юношами, трепетными и неразумными.

Теперь это было жестоко — по отношению к нам обоим жестоко — и, может быть, даже оскорбительно для памяти Павла. Во всяком случае, неуместно. И ненужно.

«Ты знала, что Павел тебя любил?»

Задохнулась, будто горячего воздуха хватила.

«Я догадывалась... в техникуме».

«И... вышла за... того? Эх, вы!.. Народ!»

Сжалась, как от удара. Обняла ребенка. Потом подняла кофточку и дала девчурке грудь. Вита смолкла. Все естественно. Но в первый момент меня почему-то покоробило, что ты, когда такое горе, так вот просто оголила передо мною грудь. Я чуть не оскор-

бил тебя. Но тут же устыдился своего неразумного гнева. И стыдно было смотреть на тебя. Я опустил глаза, понурился.

«Не казни меня, Иван... Павел не обмолвился ни словом. Мы уехали работать в разные школы».

Не покорная просьба, а почти упрек: не казни меня, потому что я наказана уже жизнью, людьми, богом.

Однако тогда это меня мало тронуло. Опять заплакала Вита — молока все-таки не было. Но детский крик уже не успокаивал меня, даже скорее раздражал. Я сказал то, для чего пришел:

«Завтра вас увезут на Украину, за Добрянку... Там он вас не найдет. — И — проявление слабости — добавил, словно оправдываясь: — Я не могу иначе. Пойми...»

Ты приняла приговор этот покорно. Вздохнула только. Долго молчала. А потом попросила. Не о себе, не о ребенке — странно и непонятно! — о нем, бывшем муже, начальнике полиции.

«Иван. Я напишу письмо... Передай ему — имени не назвала. — И от себя напиши. Прошу тебя. Пусть он уедет куда-нибудь, если не может прийти к вам. Ради дочки своей. Из-за нее прошу. Пускай чинит дороги, пилит дрова... Что ему нужно? Был же человек как человек...»

Для меня это не было новостью. Ты уже однажды просила написать ему, предупредить, посоветовать... Пока не поздно. И я, ка-

жется, обещал. Но в тот момент все мое нутро прожгла эта твоя просьба.

Ничего не спросила про Павла — как он погиб? В минуту расставания не нашла теплого слова для меня. Ничего не просишь для себя. А о ком беспокоишься? Ты уже знала меня: видела в радости и в гневе. Глянул — и ты снова съежилась, будто я замахнулся чем-то смертельно тяжелым. Побелела. Я бросил то самое тяжкое, о чем до сих пор не говорил ей:

«Он лично расстреливал еврейских детей».

Как ты закричала! Но тут же задушила крик, будто вырвала его из груди. Поняла: это приговор! И он записан в наших сердцах. И никакой амнистии не будет: никто ее не вымолит. Может быть, у тебя сомлели руки и ты испугалась, что уронишь дитя. Может быть, ты боялась чего-то еще более страшного — не знаю. Но ты положила дочку на нары, и— странно! — она замолчала. (Какие мелочи запомнились!) Ты шагнула ко мне, попросила взглядом: поддержи. Но твоя первая просьба сделала меня жестоким и безжалостным.

«А кто поддержит меня?!» — чуть не крикнул в ярости. Но не крикнул. Просто не смотрел на тебя, в прекрасные глаза, затуманенные болью. Уставился в пол, на чисто вымытые доски. (В вашей землянке хлопцы сделали пол. Тебя любили.)

Ты отступила назад, в свой угол, и оттуда попросила:

«Не отсылай меня, Иван! У меня никого нет, кроме...»

«Нет!» — крикнул я и поднялся с колодки, чтобы выйти.

Ты вцепилась в рукав, задержала.

«Прошу тебя еще об одном, Ваня, родной мой... Но обещай... обещай... Ты не сделаешь это сам. Своими руками. Не делай. Прошу».

Не сразу дошло, о чем ты просила. А дошло — тут только понял, что творилось в твоей нежной и мужественной душе: ты сама давно осудила его, но все еще не теряла надежды как-то спасти. И вот должна была подписать окончательный приговор. Теперь все свое тепло отдавала мне. Одному.

Лед моего горя, отчаянья начал таять. Но я боялся твоей теплоты, я отгораживался от нее жестокостью. Уже взялся за скобу, наклонил голову, чтоб пройти в низкую дверь, когда ты сказала:

«Будь здоров, Иван... Попрощаемся. Спасибо тебе за все. Я была счастлива... с тобой».

Первый порыв — вернуться, обнять... Но тогда я, наверное, не отослал бы тебя. А я не мог этого не сделать: слишком свежа была рана от смерти Павла. Я вышел, осторожно, тихо закрыв за собой дверь землянки. Услышал, как опять закричал ребенок.

...Медлительный поезд останавливался, кажется, у каждой будки. У каждой деревни — определенно. Тянул состав паровоз. Еще паровоз. Старый безотказный работяга, во многих местах уже вытесненный молодыми красавцами тепловозами и электровозами.

Паровоз выбрасывал тяжелые пасмы дыма. Они окутывали провода, столбы. Но свет из вагонных окон разрывал эти пасмы. Тогда, будто от злости, дым стегал по окнам. Изредка сыпались искры. Они летели вверх и гасли в ночной мгле. Ветер поднялся, что ли?

Но когда поезд остановился на станции, где горели фонари, Иван Васильевич увидел, как тихо и ровно падают редкие снежинки. Он прочитал знакомое название. Очень знакомое. Правда, приезжая на могилу брата, он сходил не на этой станции. На этой не был почти с войны, проезжал мимо. Но отсюда ближе к тому месту, где находился тогда лагерь отряда. Если пешком, то часов за пять можно добраться. Он не сбился бы с пути и ночью, снега тут еще мало, поле черное, дороги проторенные.

Захотелось сойти. Так же внезапно, как в Гомеле. Подумал, что странные у него возникают порывы в последнее время. Самому себе их трудно объяснить. Что случилось? Ни разу, кажется, за двадцать лет образы людей, что были тогда рядом, те места и чувства не стояли так ярко перед глазами, не будоражили душу, не рождали столько мыслей. Странно. С Надей он сейчас говорил так, будто она была там, за окном. Видел ее глаза, слышал голос, слышал, как кричит Вита. Вита...

Одного не мог представить, увидеть — Виталию такой, какая она теперь. А зачем она ему понадобилась? И на миг показалась нелепой сама поездка. Да, было время, когда его заботила Витина судьба точно так же, как и судьба родных детей. Но вот уже сколько лет он почти ничего о ней не знает. Девушка стала далекой и чужой.

Надя писала, по сути, раз в год: короткая открытка — поздравление с праздником — с Первомаем. Почему-то аккуратно именно с Первомаем. Раза два, правда, присылала новогодние поздравления, но только в ответ. Один лишь раз написала не к празднику: сообщила, что Вита поступила в институт. О том, что окончила, а как будто уже должна была окончить, об этом Надя не сообщила. Где Вита теперь? Как относится к нему? Забыла? Или все еще ненавидит?

Все-таки тогда, шесть лет назад, его задело, обидело, когда Надя по дороге, в машине, сказала:

«Не могу больше, Иван. Не надо больше. Вита знает и осуждает. С каким презрением она говорила со мной! Дочка возненавидит меня. И тебя!..»

Вот это и задело, что она, девчушка, которую он вынянчил в лагерных землянках, может возненавидеть. Остальное принял не так остро. Что ж, не надо так не надо. Еще лучше: нигде и ни в чем не придется раздваиваться. Не тот возраст, чтоб таиться и лгать близкому человеку — Ольге.

Иван Васильевич подумал о чемодане, который уехал в Минск. Что железнодорожники делают с такими вещами? Если откроют, наверное, найдут там что-нибудь, какой-нибудь конверт с его фамилией и адресом. Вспоминал, что там есть, в чемодане? Письмо Василя Ладе, но оно, наверное, без адреса. Есть книги... Если позвонят домой, жена и Лада испугаются, поднимут тревогу. Что он им скажет? Отстал в Гомеле? Но из Гомеля легко позвонить.

Возникла мысль: а может, вернуться? Мелькнула, как короткая вспышка совести. Но какая-то другая, неосознанная сила тянула его, вела... Не в первый раз отдавался он этой силе, этой душевной волне. Случалось, что она выносила не туда или не вовремя. Но ни разу не унесла в открытое море, на погибель.

Поезд все шел в ночь. Но почему-то не стало дыма и искр. Из темного тамбура видно было поле, уже слегка припорошенное снежком. Мелькали огни деревень, близких и далеких. Тусклые огоньки. Уличные фонари, от которых поднималось бы зарево в небо, любимая тема поэтов, не сияли нигде. Но Иван Васильевич сразу различал, где деревня электрифицирована, а где по-прежнему сидят при керосине. Вот даже и уличные фонари горят — на ферме, конечно. А совсем по соседству, в каком-нибудь километре, не больше, верно, тот же колхоз, скупо цедится керосиновый свет из множества окон — деревня не малая.

В том своем выступлении, которое, говорят, многих ошеломило, а для него стало последним с такой высокой трибуны, Иван

Васильевич говорил и об этом — как иной раз средние цифры смазывают истинную картину. Числится колхоз электрифицированным, а две трети людей лишь издали смотрят на это благо цивилизации.

Грустно стало от мысли, что почти два года он уже не активный участник работы этих людей, а сторонний наблюдатель. Всю сознательную жизнь помогал хлеборобам своими знаниями, опытом, трудом... И теперь чувствует, что мог бы приносить пользу, особенно при условии: ему верят, что он что-то понимает в том, как и где надо выращивать хлеб, а он верит другим — людям вот в этих деревнях, огни которых, разные огни, веселые и грустные, но одинаково теплые, провожают движущиеся, но холодные огни поезда.

Опять подумал, что, вернувшись, пошлет к черту свой гонор и пойдет на любую должность, какую предложат. Только бы работать. Но тут же почувствовал, что не так просто — поступиться своими принципами, преодолеть характер. Так можно дойти до унижения. А он никогда не унижался. Ни перед кем. Во всяком случае, ему не стыдно за свои отношения с людьми. С теми, кто стоял выше, и с теми, кем он руководил. Кто становился близким, шел долгие годы рядом, и с кем встречался случайно, как в поезде.

Становилось холодно, хотя стоял в накинутом на плечи пальто. Но в вагоне еще разговаривают, в одном купе веселая компания играет в карты, голоса их долетают и сюда. А ему хочется тишины. Раньше тянуло к людям. Теперь больше по душе одиночество. Плохая примета. Нельзя сказать, что характер у него безупречный, но совсем не хотелось, чтоб теперь он у него менялся. Пускай остается, какой есть. Сейчас чрезвычайно важно остаться прежним Антонюком. Во всем. И в том, что сам он и другие считали его силой. И в том, что было его слабостью.

Интересно, в чем проявлялась его сила и в чем слабость? То, что он, старый человек, пенсионер, как юноша, внезапно с волнением едет к женщине, с которой связала его военная судьба, — сила это или слабость характера?

К чему это раскладывание по полочкам: на одной — сила, на другой — слабость. В таких вот неожиданных поступках — высшее проявление свободы, презренье ко всем условностям, и, может быть, совсем не стоит так копаться в душе, заниматься самоанализом? Правда, зачем? Лучше пойти и попытаться уснуть. Выходить рано — часов в пять, на лесной станции. Вряд ли там будет тише и теплей, чем в вагоне, чтоб поспать, пока рассветет. Если же сразу пойти — можно сбиться с дороги. Да и не хочется приходить так рано, будто крадучись. Нет, он придет среди бела дня. Как добрый старый друг. Ему только и надо, что слово душевного друга тех далеких лет. Самого душевного...

А все-таки интересно — то, что было между ними тогда, в войну, и позднее, — что это: проявление слабости или силы?

Привести в исполнение приговор над Свояцким мне не пришлось. И никому из моих партизан тоже. Полицай исчез. Внезапно. Никто не знал — куда. Когда связные принесли это известие, я сразу подумал, что, видно, Надя все же каким-то образом связалась с ним, предупредила, что его ждет. Что ж, ее можно понять: он отец ее ребенка. Черт с ним. Пускай исчезает. Если и в другом месте будет собакой, кары ему не миновать.

Однако, когда я в тот же день, позднее, кажется, уже ночью, в бессонницу, подумал, что Свояцкий мог прийти к ней, к Наде, что они могли уехать или уйти вместе, мне стало нестерпимо больно, я принял самую возможность этого, как злостную измену. На другой же день, тайком от Будыки, от Шугановича, послал на Черниговщину человека: там ли она, куда отвезли? Как живет, как ребенок?

Камень свалился с души, когда разведчик вернулся и рассказал: там она, у сестры нашего Кравченко, живая и здоровая, работает в поле, и ребенок здоровенький. Я приказал ему ничего не передавать от меня лично, ничего не говорить. Но, возможно, партизан, хотя и не молодой уже, не выдержал, проговорился или, очень может быть, Надя сама догадалась, потому что знала его в лицо. Наверное, приход его разбередил ее душу.

Кто из нас проявил слабость, а кто силу?

Недели через две или три после этого, в жаркий день в землянку, где я отдыхал после операции на чугунке, вошел Будыка со своей особой ухмылочкой. (Дурацкая у тебя ухмылочка, Валентин Адамович!)

«Тебе сюрприз, командир».

«Какой сюрприз?»

«Выйди, увидишь».

Не помню, что я подумал, но, во всяком случае, не о Наде, не о том, что она может самовольно вернуться в отряд из такой дали.

Ее задержали молодые дозорные — из партизан, которые пришли в отряд за два весенних месяца. Хлопцы не знали, кто она. Привели под дулом винтовки, подозрительно приглядываясь — слишком хорошо женщина эта знает партизанские стежки. А в лагере, возле кухни, ее сразу окружили, Виту передавали с рук на руки. Девочку тетешкали, искали, чем накормить. Увидели меня — затихли, расступились. Надя поднялась с пенька, стояла в молчаливом ожидании. Потом признавалась, что испугалась, увидев меня. Впервые за долгую дорогу подумала о той каре, которая может пасть на ее голову за самовольство. Моей каре.

У нее был вид нищенки, вызывающей жалость. Два дня шла по жаре с ребенком на руках. Босые, потрескавшиеся, запыленные ноги. Запекшиеся губы. Обожженное солнцем лицо, выгоревшие брови и волосы, с которых на плечи сползала грязная косынка. Зимой, после родов, у нее было на диво белое лицо, белое тело, а сейчас она потемнела, прямо-таки почернела. Даже волосы: были русые, а стали какие-то темно-ржавые. Сама она страшно исхудала.

Но лицом не подурнела. Наоборот, показалось мне, стала краше. На лице страдание и страх, но глаза — они излучали дивный свет.

Что я почувствовал? В первое мгновение — злость: кто тебя сюда звал? Потом — жалость...

Она глядела на меня. Не униженно, не по-собачьи. Просила, как можно просить очень близкого человека. Сперва — взглядом. Потом — словами. Теми же словами, что и два месяца назад, но еще настойчивее, словно за то время, которое прошло, получила право на такую просьбу:

«Не отсылай меня... — Но тут же поправилась: — Не отсылайте меня из отряда, товарищ командир. Я не могу там... Я хочу быть с вами».

Я молчал. Долго. Молчали партизаны. Ждали, что скажу я. Может быть, не все хотели, чтоб я разрешил ей остаться. Были, верно, такие, которые не прочь были услышать, увидеть драматическое представление — проявление командирского норова, укоры, женские мольбы, слезы или еще что-нибудь. Но больше всего у этих внешне грубых людей было мудрой народной деликатности, сдержанности, чуткости. Я убеждался в этом не раз.

Надя не повторяла просьбы. Не сказала ничего больше.

Рана, что чуть-чуть начала заживать, заболела с новой силой. Я подумал, что присутствие этой женщины в отряде каждый день будет напоминать о моем горе. Но хуже другое — почувствовал, что я — слабый человек: мне уже хотелось подойти, взять ее почерневшие от работы, шершавые руки или — еще больше — обнять усталую, измученную, чтоб она почувствовала, что не одинока, не забыта... Нетрудно догадаться, как пойдет дальше, если возникают такие порывы, такие стремления.

Да, я слабый человек...

Первой заговорила Люба. Старая моралистка! Зимой, когда узнала о нашей связи, довела меня до ярости своим бабским осуждением, попреками. А тут вдруг расчувствовалась:

«Чего ты, Иван Васильевич, глядишь на нее, как на матку боску? Давай разрешение зачислить этого бойца, — и подкинула Виту, — на котельное и всякое прочее довольствие. Будет у нас Виталия, будет и Надежда!»

Партизанки — тогда их было у нас уже несколько — засмеялись. Мужчины молчали.

Как мне было выпутаться из этого неловкого положения? Чувствовал, что отослать из отряда не отошлю. Но и встречать с объятиями... Перед партизанами... Свинья Будыка! Не мог принять потихоньку, а потом сказать. Выставил меня. Теперь, должно быть, стоит позади, наблюдает, ехидничает. Разозлился. Не на нее, конечно. На себя. На Будыку. На Любу. Выругался, не глядя на присутствие женщин.

«Не отряд, а цыганский табор! Скоро бабы командовать начнут!»

«В таборе никогда не командуют бабы, — ответила Люба. — А ты не кричи, как феодал! Цыганский король!»

Будыка был прав: Рощиха часто подрывала наш командирский авторитет. Мой и его. Следовало бы обрезать председательшу. Но лучше не трогать: на одно слово она высыплет десять таких же, а то и похлестче, бесцеремонно и независимо. Поэтому я спокойно сказал:

«Хватит митинговать! Гостей не гонят от порога. Перво-наперво их надо накормить. А там — посмотрим...»

Надя шагнула ко мне. Хотела поблагодарить или сказать что-то. Потом клялась, что не помнит, какой душевный порыв толкнул ее. Признавалась, что был миг, когда хотелось упасть на колени. Удержало — люди. Если б не стояло их столько вокруг.

Конечно, Надя поняла, что никуда ее больше не отошлют. И может быть, правда, хотела поблагодарить. Но я повернулся и пошел, ничего больше не сказав. Это — призналась потом — ее обидело. Женщина есть женщина: ей всегда хочется больше того, что она получила.

В землянке я накинулся на Будыку:

«Ты что выставил меня? Некому было ее принять?»

«Я думал — тебе приятно...»

Говорит покорно, виновато, а в глазах чертики скачут: видит, тип этакий, что я рад.

Да, я слабый человек, я был не просто рад — счастлив, что она вернулась. Но я долго таил и старался задушить это чувство. Да так ли уж долго? Неделю, две? Не помню... Избегая встречаться с ней, ходил на операции — с разведчиками, подрывниками; один — на связь с подпольными группами. Нет, одному удалось вырваться, кажется, раз или два, не больше. А так — Вася Шуганович следовал за мной тенью, берег, остерегал. Ему казалось, что после смерти брата я слишком рискую, лезу под шальные пули, что меня надо охранять. Ах, Вася, Вася, друг ты мой дорогой! Не два раза ты меня спасал. Бесчисленное количество раз. В то лето — каждый день. А я не сумел спасти тебя, заслонить грудью. Ты командовал группой на другом участке, за лугом, где залегли полицаи, чтоб ударить нам в спину. Я увидел тебя уже мертвого, после боя. Дорого нам обошлась моя попытка спасти Петю Казюру. Сейчас «объективный историк», не нюхавший пороха, может посчитать мою выдумку с обменом авантюрой, может обвинять и судить. Но вы, мои партизанские товарищи, — вы понимали. Шуганович, Ружак, Будыка, Роща, Кравченко — все проголосовали «за». Даже соседи — Катков, Косач — без долгих переговоров привели свои отряды.

А с чего началось? Теперь могу признаться. Со страха. Тогда, над Днепром, когда в течение всей ночи мы не могли переправиться. Еще и теперь я чувствую его, тот приступ страха. Их немного было таких. Бывал просто страх. Обыкновенный. За свою жизнь. За других. А там было нечто большее, не просто извечный ин-

стинкт. Я несу особую ответственность. За лагерь. За людей. Но было еще одно: где-то там, в лагере, спала в землянке у материнской груди девчурка. Я до сих пор помню, что почувствовал, когда представил, что их могут убить, мать и ребенка. Надежду и Виталию. Удивительно сочетались ваши имена! Хотя второе мы придумали сами, коллективно, под завыванье декабрьской вьюги, слушая сводку о разгроме немцев под Москвой. Теперь я уже не помню, кто предложил это имя — рационалист Будыка или романтик Шуганович. Помню, что «крестили» мы девочку не сразу, а лишь после того, как мать начала поправляться от послеродовой горячки.

Крик ребенка, который мы услышали, вернувшись с рейда, не одному мне перевернул душу. Не одному мне в тот суровый декабрь придала силы борьба, которую мы вели, чтоб спасти им жизнь, этим слабым существам. Все одобрили, когда я сам поехал искать по селам кормилицу или корову. А потом я оступился — и меня осудили. Павел, Рощиха, Шуганович. Один Будыка цинично шутил: таков, мол, закон — «лучший конь и лучшая женщина всегда принадлежали вождю племени». И конечно, завидовал, что не он «вождь племени». Подвыпив, целовал Наде руки. Во мне в такие минуты шевелилась ревность.

Кто из нас первым проявил слабость? Или силу? Да, тогда, вначале, первым пришел я. Но было и по-иному. После твоего возвращения. Помнишь?

Должно быть, недели две я тебя не видел, опасаясь собственной слабости. Ты нашла меня за лагерем, в чаще, куда я спрятался в свободный летний вечер. В лагере играла гармоника. Кажется, танцевали. Что ж, жизнь есть жизнь. На войне тоже выпадали минуты веселья.

«Я не могу так, Иван. Я люблю тебя. Люблю. Кто знает, сколько отпущено нам веку?»

Да, тогда никто не знал. А его, оказывается, отпущено не так мало. Нам с тобой. Когда же ты проявляла слабость, а когда силу? Было ведь и так...

Осенью сорок третьего, когда освободили эти места, некоторые наши отряды влились в армию. Ты могла остаться здесь. Но я получил приказ опять уйти за линию фронта, повести спецотряд в глубь Полесья. Представитель обкома был против того, чтоб ты шла с нами: «Женщину с ребенком? Да ты ошалел, Антонюк. Довоевались вы тут! После войны ваших бабских дел не расхлебаешь!» Но ты все равно пошла. А потом вдруг зимой осела в этих своих Калюжичах. Чем они приворожили тебя? Когда и туда пришло освобождение, ты сказала:

«Никуда я не уеду отсюда. Все, Иван. Отвоевалась. Я должна растить дочку, учить детей... И ты должен растить своих детей. Все».

Да, было и так... Я понял тебя. Более того — был благодарен. И может, лучше было б, если б и вправду — все. Навсегда! Но я,

видно, слабый человек. Или чувство мое было сильнее разума? Но теперь уже все равно. Теперь меня ведет совсем другое. Совсем другое...

VII

Тут еще почти не было снега — чуть-чуть припорошило землю. Падал и сейчас, но очень робко, сухой и легкий как пух; слабое дыхание ветра сдувало его с дороги в канавы, с пригорков в лощины, на опушки.

Два дня назад была тут оттепель; может быть, даже шел дождь. На дороге стояли лужи; вода замерзла, но колеса машин и повозок разбили слабый ледок. Белые осколки его звенели под ногами, звенели удивительно мелодично, прямо-таки радостно.

Приятный морозец, еще более приятные снежинки, что нежно, будто живые существа, садились на руки, на лицо, и этот веселый звон льдинок под ногами — все так славно бодрило, радовало. Ушли ночные колебания: зачем он едет? Кому это нужно?

Нет, теперь все казалось просто и естественно. Отсюда и настроение такое. Нелепо все еще обуздывать свои желанья, порывы, тем более что никому он не причинит зла, а кое-кому, наверное, может принести хоть маленькую радость.

Иван Васильевич не стал ждать в темном и холодном станционном помещении, пока рассветет. Пошел сразу, лишь скрылся в ночной дали сигнальный огонек последнего вагона.

Дорогу он помнил. Правда, спросил у дежурного по станции, как выйти на большак. Тот подозрительно оглядел ночного пассажира, объяснил нехотя, туманно. Да Иван Васильевич скоро узнал дорогу сам. Когда дошел до села, где светилось два-три окошка, не больше, — у самых ранних хозяек.

У него была удивительная память: облик сел, их «лицо», он запоминал так же, как лица людей. Забывалось иной раз название, как и фамилия, но если б завязали глаза и привезли в любое село, где он был хоть однажды, он тут же сказал бы, в каком оно районе, когда он здесь был, по какому поводу, с какими людьми встречался.

По этому селу проезжал в «газике» раза два всего, последний раз семь лет назад; не помнил, называется оно так же, как станция, или как-нибудь иначе, но сразу узнал лавку, школу, высокий осокорь, от которого надо свернуть направо, на другую улицу, пошире, чтоб выехать... выйти на нужную дорогу — большак, обсаженный старыми березами.

Каких-нибудь пятнадцать километров для него, охотника, легкая прогулка. Если хорошенько разойтись, два часа ходу — и там. Но не хотелось все-таки приходить так рано. Неловко как-то. Странное чувство! Никогда его не бывало раньше.

Поэтому Иван Васильевич шел не спеша. Ни угрызений сове-

сти, ни тревоги, которая в вагоне не давала уснуть. Не было и того юношеского волнения, которое охватывало его раньше, когда подъезжал к этим знакомым с партизанских времен местам. Не к местам вообще, места не такие уж знакомые, — к Калюжичам, к ней, к Наде. Теперь же, как ни странно, был настолько спокоен, что даже думал о другом — о селах, о том, как они выглядят. Это естественно: всю жизнь, по долгу службы и еще больше по долгу человека, он думал о людях, которые выращивают хлеб. Как они живут. И как должны жить.

После войны немало строили. Один из его знакомых — экономист — подсчитал, что по общим затратам за двадцать послевоенных лет в деревне построено больше, чем за целое столетие, охватывающее три исторические формации — феодализм и крепостничество, весь период капитализма с его подъемом и падением и первые годы социализма. Однако внешний вид села мало изменился, особенно здесь, в Полесье. Все те же почернелые деревянные хаты, вросшие в землю, в большинстве крытые соломой — в селах, которые не горели. Однако не лучше и в тех селах, которые сожгли каратели или фронт. Люди строились сразу после войны, по бедности, без мужчин, вдовы да сироты; лепили хатенки кто из чего; распилить бревно было проблемой; покрыть — еще большей, на усадьбах выращивали жито и жали серпами, чтоб иметь снопы соломы — стародавний кровельный материал.

Все затраты колхозов, государства шли на производственное строительство. Материально-техническая база — основа, это понимали все, руководители и рядовые колхозники. Если смотреть не на хаты, а на фермы, мастерские, элеваторы и особенно на те машины, что работают в поле, — о, какие перемены произошли на селе! Индустриальная революция! Когда он ездил в Англию и, знакомясь с фермами, заходил в коровники, его мало что удивило, разве что лучшее качество построек и оборудования. Но размах, масштабы совсем не те, что у нас. Другое дело, что мы не научились еще по-настоящему управлять такими крупными хозяйствами, научно, с экономическим расчетом. Сколько было этого самого волюнтаризма!.. Немало и он, агроном, делал глупостей, выполняя указания людей, которые и не нюхали агрономии. Но иногда, черт возьми, хватало духу и протестовать в полный голос. Набивал шишки. Болели бока. Да зато легко становилось на душе. Как сейчас... А сейчас легко? Не очень-то.

Материально-техническая база — основа. Но когда условия жизни людей начинают отставать... возникают явления, которые в философии называются диалектическими противоречиями. Любой новый завод-гигант, самый совершенный по оборудованию, не мог бы нормально работать, если б рядом с ним не вырастал жилой город, город современный — на уровне технических достижений завода.

Так и с колхозами, с селом вообще.

Антонюк уверен, что наступило или вот-вот наступит время, когда в селе надо будет по-настоящему заняться бытом людей. К этому принуждают многие проблемы, возникающие в колхозах. Не разрешив их, нельзя двигаться дальше. И не только сейчас, в ночном поле, но не раз и прежде, в теплой, уютной, городской квартире, становилось тяжело от мысли, что интереснейшая работа по переустройству села будет проходить без его участия. А он способен еще что-то подсказать, да и организовать... Правда, есть притягательность и в свободе, которую он почувствовал, став пенсионером. А может быть, так вот и рождается психология дармоедства, оправдываемая высокими словами? Всю жизнь твердил себе и детям, что не может быть свободы у лодыря, что истинно свободен лишь тот, кто трудится, работает творчески, с радостью, с пользой для людей и себя.

«Не по своей воле я дармоед».

«Но ты начинаешь вживаться в эту роль, как актер, она тебе нравится».

«Нет, я хочу работать».

«И ставишь условия, которые трудно принять?»

«Я имею право ставить такие условия. Сама жизнь показала, кто из нас лысый...»

«Слишком заботишься о своем самолюбии. И забываешь, что оно есть и у тех, от кого зависит вернуть тебя на работу или предоставить наслаждаться «внутренней свободой».

«Им хочется сломить мою гордость».

«Ты поднимаешь свою гордость, как знамя».

«Нет. У меня одно знамя. Я нес его всю сознательную жизнь. И ничто не выбило его из моих рук».

«Так чего ты страдаешь? Все равно — на два года раньше или на три позже — ты должен уступить место более молодым...»

«Кому? Тому, кто не об этих вот людях думает, а о том, как бы поскорее пробиться в науку».

«Наука тоже помогает людям».

«Опять ты противоречишь сам себе».

«Такова суть человека, умеющего думать. Он весь соткан из противоречий. Отрицание и утверждение... Если мириться со всем, он остановится в своем движении. Что было бы, если б я навеки остался стоять здесь, в поле, смотрел бы на эти огоньки, слушал, как лают собаки, и не мог бы дойти до людей. И до своей цели. А она там, где люди. Она ведет меня, моя цель... я не стою среди поля...»

В деревне, в которую вошел Иван Васильевич, подняли дикий лай собаки.

Одна как гавкнула, услышав чужого, так и покатилось волной со двора во двор. Целая собачья капелла — басы, тенора, молодые подголоски: та лает с подвыванием, другая — так заливисто, что кажется, вот-вот захлебнется. Ивана Васильевича всегда удивляло неравномерное распределение дворовой стражи. Коров, свиней по-

чти везде одинаковое количество на двор. Есть, правда, зоны побогаче и победнее. А вот собак... одну деревню пройдешь — даже заваляющий щенок не тявкнет. А в другой, соседней, ничуть не богаче, — в каждом дворе по псу, вот как здесь. Чем объяснить? Традицией? Правда, вот еще гуси. Но все-таки гуси там, где живут побогаче. «Гусиные» деревни выделяются даже своим внешним видом.

Встретились три молодицы, в ватниках, в теплых платках. Антонюк сразу догадался, куда они идут в такую рань.

— Доить? — спросил, поздоровавшись.

— А куда же еще бабам идти до света? — ответила старшая.

— Что это вы собак столько поразвели?

— Добра у нас много, боимся — покрадут.

Другая засмеялась.

— То наши мужики собак завели, чтоб чужие не лазили. Вот ты, кто тебя ведает, откуда ты бежишь с ночи. Может, от нашей Ганны.

Все три захохотали.

Иван Васильевич притворно вздохнул:

— Отбегал я свое, бабоньки!

Подошли поближе, заглянули в лицо. Та, хохотуха, подбодрила:

— Да нет — ничего еще мужчина. Шустрый.

Старшая спросила серьезно:

— С поезда?

— С поезда.

— Куда?

— В Калюжичи.

— Видно, есть к кому спешить, что побег со станции, когда волки по полю гуляют.

И вот, после случайного этого разговора, пришло оно, волнение, понятное и все же странное, потрясло своей неожиданностью. К чему бы это? Отчего сердце вдруг дрогнуло, затрепетало почти так же, как тогда, когда Надя, после отправки ее, вернулась в лагерь с Витой на руках, в нищенских лохмотьях? И сейчас, как тогда, вспыхнула и радость, и тревога.

Хотел перевести мысли на другое — на этих женщин, доярок. Тоже одна из проблем, над которой он серьезно задумывался и где пробовал что-то сделать, — чтоб труд доярок, пожалуй, самый тяжелый из всех женских профессий на фермах, стал легче. Болело сердце, когда молодые женщины показывали ему свои руки. А их рабочий день? Теперь, зимой, идут чуть позднее, хотя, верно, мало кто из мужчин уже продрал глаза. А летом у этих женщин рабочий день — с четырех утра до одиннадцати вечера. Хорошо еще, если коровники близко. А если надо идти две или три версты...

Не однажды выступал на совещаниях, ругал конструкторов доильных аппаратов, разносил «елочки» и «карусели» — знал, что

все это новаторство кабинетного происхождения, как круглые коровники и торфоперегнойные горшочки. При доярках ему аплодировали. А потом, за спиной, посмеивались: «Чудачит старик. Популярность зарабатывает. Не понимает, что его народнические замашки не в ногу со временем... Что он, в сущности, выступает против механизации...»

На том «антитравяном» совещании сказали это в глаза, с трибуны, под аплодисменты президиума.

Хотел поразмышлять над сельскими проблемами, поспорить со своими оппонентами, хотя, правда, теперь они вдруг поумнели — сами стали «народниками» и «экономистами». Хотел... Не вышло. Перед глазами встала Надя, заслонила все. Шла к нему. Или он шел к ней... А она ждала. Испуганная... Радостная... Печальная... Стыдливая... Какая встретит его теперь?

Долго в воздухе плавали отдельные снежинки, невидимые в ночном мраке. Когда начало светать, легкие, пушистые, они закружились гуще. Сразу побелела дорога. А может быть, потому так вдруг и рассвело, что все вокруг побелело? Только дымы над трубами желтые — топили торфом.

По улице бежали школьники, с любопытством оглядывали незнакомца. Останавливались женщины, чтоб не переходить дорогу с пустыми ведрами. С полными спешили перейти. Потом уже оборачивались.

Тронуло это Ивана Васильевича. Люди желают удачи. Узнают или просто так? Он очень давно не был здесь зимой, лет пятнадцать. Тогда казалось все нормально — село как село, счастливое — не горело, уберегли партизаны. Теперь поразили оголенная улица и оголенные огороды.

Хата за молодыми зелеными кленами была летом такой уютной и по-своему красивой — одна из лучших на улице. Теперь же едва узнал ее — показалась голой, сиротливо убогой, хотя клены выросли. Но сейчас в них мало красоты. По-новому защемило сердце: вот они, приметы старости. Не покажутся ли вдруг такими же голыми и убогими и чувства? Свои — самому себе. Твои — ей. Или ее — тебе. Эта мысль испугала, с ней трудно примириться. Пусть желтеют и осыпаются деревья. Придет время — они зазеленеют вновь. Пускай чернеют стены хат, трухлявеют — их легко подновить... Наконец, построить новые... А как обновить то, что долго жило в сердце и... погасло, как забытый людьми костер? Но в пепле может тлеть жар...

Иван Васильевич без стука вошел на веранду. Тут все сверкало чистотой. Вещи — стол, диванчик, лозовая белая корзина, эмалированное ведро, лыжи и даже старые валенки — стояли в том хорошо продуманном порядке, который свидетельствует, что в доме живет женщина, одна, и что во всем у нее лад, никем не нарушаемый, и душевный покой, когда человек не забывает ни одной ме-

лочи. Вот только лыжи... Но почему не может Надя ходить на лыжах?

Вид веранды как-то сразу успокоил Ивана Васильевича, и он весело, как стучит сосед соседу, постучал косточками пальцев в дверь.

— Пожалуйста. Заходите!

Голос ее не изменился, не постарел.

Он вошел — и она испугалась. Она очень испугалась, увидев его. Побледнела, отступила к открытой двери, ведущей из кухни на чистую половину, точно хотела спрятаться за ней. Смотрела на него со страхом и... молчала. Или, может быть, ему показалось, что со страхом. Но все-таки так не встречала никогда. Да, она изменилась. Конечно, постарела. И как-то опростилась. Все у нее опростело: волосы, платье... Раньше волосы как будто вились, были пышные. А теперь — аккуратненько причесаны, приглажены, свернуты на затылке в большой узел. Он видел ее в разной одежде — в лохмотьях, в гимнастерке, в хороших платьях. Эта длинноватая черная юбка, простенькая, выцветшая жакетка... делают ее типичной учительницей.

«Народницей», — подумал Иван Васильевич без улыбки и поздоровался.

— Доброе утро, Надя.

Секунды растерянности и разглядывания друг друга прошли. Она двинулась к нему, но не раскрыла объятий. Остановилась за шаг, заглядывая в глаза, спросила:

— У тебя несчастье, Иван?

Тогда он понял, почему она испугалась, и горячая волна благодарности за ее любовь, за тревогу, за этот испуг затопили сердце.

— У меня — счастье.

— Иван! Погляди на меня.

— Я гляжу. Разве я похож на несчастного? Виноват поезд — слишком рано приходит. А мне хотелось скорей увидеть тебя.

Она поверила — улыбнулась.

— Ты все еще партизан.

— Я все еще партизан.

Надя приблизилась, но не обняла, не поцеловала, словно смущаясь, а лишь провела ладонью по его колючей щеке, тихо и нежно. Растрогало это прикосновение больше поцелуя, больше самых ласковых слов. Иван задержал ее руку и прижал к щеке, потом к губам. Тогда она уткнулась лицом в плечо, в настывшее пальто и прошептала:

— Спасибо тебе, Иван.

— За что?

— За все. За то, что ты приехал. Мне так хотелось тебя увидеть. Так хотелось, если б ты знал. Вот так поглядеть, — она подняла лицо, в глазах плавали слезинки.

— Вот тебе на! Не люблю женских слез. Давай высушу их, — и поцеловал в глаза.

Надя смущенно высвободилась, сказала по-хозяйски деловито:

— Чего мы стоим на кухне? Раздевайся. Проходи, дорогой гость.

Пока Иван Васильевич снимал пальто, хозяйка забежала на чистую половину, сквозь открытую дверь он увидел, как она торопливо собрала с дивана чью-то постель, бросила на кровать, застлала покрывалом.

Слегка царапнуло сердце, что здесь, в ее доме, ночевал еще кто-то. Сразу после войны как-то обожгла мысль, что другой может к ней прийти. Должно быть, потому приехал тогда. Умом понимал, что она имеет право на счастье, на семью, на любовь человека, который был бы всегда рядом. А сердце ревновало. В последние годы ни разу не думал об этом. Почему? Не сомневался в ее верности? Нет, и об этом не думал. Однако же что-то вот шевельнулось. Задело самолюбие? Смешно.

Надя сказала:

— Только прости, пожалуйста. Не прибрано у нас. Проспали, лежебоки. — И, как бы спохватившись, сообщила как-то странно — не то робко, не то радостно: — Вита дома. Работает в нашей школе.

— Ты боишься?

— Нет. Что ты! Теперь она взрослый человек. Теперь она понимает... Не думай об этом. Знай: я рада. Ты принес мне радость. Я просто растерялась от счастья и не знаю, что делать. Надо покормить тебя, а у меня — урок, — она глянула на ходики.

— Разумеется, иди на урок.

— Да. Я пойду. Дам им задание. Восьмые классы.

— Нет. Не срывай уроков. Это неудобно. Что скажут?

— Да... неудобно...

— И не надо. Зачем? Я сам себя покормлю. Можешь доверить. Я все еще партизан.

Надя подошла и опять погладила по щеке, как маленького. Он с грустью подумал, что за шесть лет Надя заметно постарела, наверное, более заметно, чем он. Глаза... Изменились глаза. Даже, кажется, цвет стал другой. Выцвели, что ли? Какими они были тогда?.. У глаз — пучки мелких морщинок, лучиками. И эти так гладко причесанные волосы — они тоже ее сильно изменили. Старят.

— Ты опаздываешь?

— Нет. У меня есть еще минутка... —Она смотрела с любовью, нежностью, но была в глазах и скрытая тревога. — Иван, Вита — она колючая. Она поймет — я не сомневаюсь. Но сказать... сказать может... Задиристая. Насмешница. Не обижайся, если что...

— Чего-чего, а выдержки, самообладанья у меня не стало меньше. Что бы она ни сказала — я пойму. Не бойся.

— Она работала в Жабинке и не поладила с директором. Так сцепились! Комиссия облоно разбирала. Правда была на ее стороне. Но мне стало страшно... Молодая, горячая. Только тебе, Ваня, я признаюсь: мне стало страшно. Я сделала все, чтоб перевести ее сюда. Под свое крыло. Едва уговорила. Упросила районо... Но и здесь она начинает войну с директором совхоза. Не может жить тихо...

— А зачем тихо, если человек воюет за правду...

— Правда... Ах, Иван. Пойми. Я боюсь...

— Ты стала такой трусихой?

— Думаешь, я была когда-нибудь храброй? — Надя грустно улыбнулась и взглянула на часы.

— Ты опаздываешь. Иди.

— Я пойду. Ты голодный? Ты шел пешком? О, боже. Как я оставлю тебя! Прости, пожалуйста...

— Ты извиняешься, как перед чужим. А я — свой. И все найду сам.

— Да. Там молоко в шкафчике. В кладовке —сало... Нет, я дам задание... Скажу завучу.

— Не делай этого! Я прошу. Зачем лишние разговоры?

— Ваня. Единственное, чего я не боюсь, это — что́ обо мне скажут. Сколько было разговоров — ты знаешь.

— Знаю. Однако уроков не срывай. Нет повода.

— О-о!.. Нет повода... Не скучай здесь.

— Не буду.

— И поешь.

— Что-нибудь найду.

Она ушла. А он остался стоять посреди комнаты и слушать... тишину. Нет, тишины не было. Голоса за окном... И ходики... Они упорно отстукивали: «не так, не так». Странная звуковая ассоциация эта заставила Ивана Васильевича насторожиться. Может быть, и правда что-нибудь не так? Что? Он прислушивался к самому себе, к чуткому сейсмографу внутри, который должен записывать все колебания. Ничего не записывалось. Недвижимо лежали пласты чувств. Тишина. Все-таки тишина, такая, что от неожиданного стука двери он вздрогнул.

Вернулась Надя. Она разрумянилась от мороза и волнения и потому казалась помолодевшей.

— Что случилось?

— Иван... Я подумала... У Виты, кажется, «окно». Как она будет разговаривать с тобой? Нет, нет, я не боюсь. Она — умница. Но... но... ты должен знать, я и до сих пор не сказала ей... про Свояцкого. Не могу. Как сказала маленькой, что ее отец — партизан... Иван... Шуганович...

— Шуганович?

— Просто пришла на память фамилия человека, который погиб. Хорошего человека.

— Лучшего из нас. Но имя его — Василь.

— Иван! Разве я могла забыть! Но я записала ее — Ивановна. В сорок четвертом. Здесь, в сельсовете. Я не могла иначе. Судьба связала меня с Иванами... — Она горько улыбнулась.

Его немножко кольнуло это «судьба связала» — напоминание, что тот, кому они вынесли приговор, тоже был Иван. Об этом никогда раньше не думалось. Зачем ей напоминать?

— Ты испугалась, что я могу проговориться?

— Нет. Но...

— Я не проговорюсь. Не бойся. Ты опоздала на урок.

— Я опоздала. Можно мне не идти? — робко, как школьница, спросила она.

— Нет, иди, — почти сурово, как строгий педагог, сказал он.

— Я пойду.

Опять он в одиночестве слушал тишину и самого себя. Теперь ходики отбивали уже иначе — «так-так, так-так». Но это не было утверждением, это было как бы неуверенное раздумье, ответ на какие-то тайные мысли.

Большие фикусы, плотные гардины заслоняли окна, и в комнате был полумрак; держалось еще ночное тепло, оно создавало уют и как-то расслабляло тело и мозг.

Иван Васильевич сел на диван, с которого Надя убрала постель, и тут почувствовал, что здорово устал — не спал ночь, основательно прогулялся от станции. Теперь только увидел, что в комнате — на табуретке, на столе, на проволоке, по которой ходила на кольцах занавеска, даже на фикусе — раскиданы разные девичьи — именно девичьи, не женские — вещи: халатик, косынка, чулки, духи... И дохнуло чем-то детским — тем беспорядком и запахом, который всегда стоял в землянке, где они жили — Надя, маленькая Вита, Рощиха. Пускай моралисты осуждают, но это был уголок обыкновенной человеческой жизни, а не войны, и его тянуло туда после каждого боя, наказания изменников и похорон своих людей. Достаточно было подержать на руках ребенка — и возвращалось душевное равновесие. Может быть, потому так спокойно, уютно показалось теперь в этой комнате, что он почувствовал присутствие этого ребенка.

Он попытался разрушить иллюзию: ребенку уже двадцать три года. Она может так тебя встретить, что и рад не будешь. Нет, настроиться скептически он не может. Но и веселья особенного не чувствует. С болью и грустью подумал о Наде. У нее хватило отваги и решимости за неделю до родов бросить все и уйти в лес... У нее хватило отваги с ребенком оставаться в отряде тогда, когда смыкалось кольцо блокады. Ее могли еще вывести. Теперь же у нее не хватает смелости сказать родной дочери, кем был в действительности ее отец. Изменилась?

«Все мы изменились. Но ты, может быть, меньше, чем кто бы то ни было. Чем я».

«Ты все еще партизан».

«Вряд ли я еще тот, каким был».

«Судьба связала меня с Иванами».

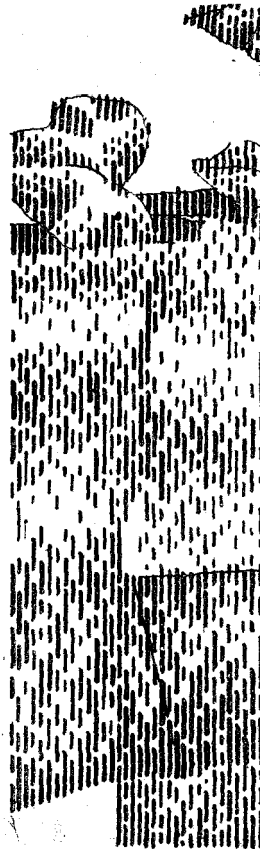
Нет, это не напоминание о нем. Это — боль и признание. Признание, что ты все та же... что пойдешь вместе в любую блокаду... Нет, как и тогда, ты не пойдешь без дочери, только с ней. Ты боишься, ты дрожишь, чтоб кто-нибудь не стал между вами, мертвый или живой... Не бойся. Не станет. Никто! Теперь уже никто!

...Все глубже и глубже вязнут ноги в трясине, зеленой, густой, липучей. На плече пулемет... Какой он сегодня тяжелый! А ребенок на руках легкий. Совсем легонький, как пушинка. Может быть, его нет? Может быть, осталось одно одеяльце? Нет, он слышит его дыханье, ровное, спокойное посапывание носиком. Но не слышит другого — чавканья трясины за спиной — шагов, шагов своих людей. Где они? Почему отстали? А может быть, всех скосили пули? Странно такает пулемет — редкими одиночными выстрелами: «так-так, так-так» — совсем непохоже на обычные. Ему надо оглянуться, посмотреть — что там сзади, где люди? Но он не может — от тяжести, из-за боязни провалиться в «волчью яму». Они стынут перед ним черными, блестящими, как деготь, лужами. Он осторожно обходит их, но ноги вязнут все глубже и глубже. Пот заливает лицо, глаза. Хочет крикнуть, но голоса нет, голос где-то там, в сердце, которое распухло, заполнило всю грудь. Однако ему нужно посмотреть назад, непременно нужно! Он пытается обернуться и... чувствует, что трясина засасывает, тянет за ноги в холодную бездну. По пояс, по грудь... Он поднимает дитя высоко над головой — в небо, к солнцу. Чтоб люди увидели, спасли... Он кричит...

...Очнувшись, Иван Васильевич не сразу понял, где сон, где явь. Было и так. Шли по болоту. Но нес он не дитя — раненую партизанку, уполномоченную ЦК комсомола. Ни разу не провалился. И рядом все время шли люди, много людей, партизан. Самое страшное, оказывается, остаться одному и не иметь возможности оглянуться, чтобы увидеть товарищей. Он и в самом деле вспотел, весь лоб мокрый. Голова откинута к стене, руки подняты — видно, во сне тянул их кверху. Вспомнил, где он, встрепенулся: может быть, усталый, уже долго спит? Шея занемела, руки отекли. Выпрямился — и увидел ее. Девушка стояла у печки, смотрела на него, скептически улыбаясь.

Иван Васильевич понял: Виталия. Но удивился. Если б встретил где-нибудь в городе, наверно, не узнал бы — так она изменилась с тех пор, как видел в последний раз. Шесть лет назад на него с презрением и ненавистью бросала злые взгляды долговязая худая девочка-подросток. Сейчас здесь стояла очень ладная женщина. Да, вся ее стать была такова, что, верно, каждый с первого взгляда назвал бы ее женщиной, а не девушкой. Может, это от строгости одежды: трикотажный костюм стального цвета, так же, как у матери, гладко причесанные волосы, заплетенные и заложенные на затылке узлом.

Но удивило не то, как она выросла, возмужала, а то, как мало



дочка похожа на мать. Крупная, дородная — как в шутку говорят «гром-баба», — с более крупными, чем у матери, чертами, но лицо ее, широкое, со здоровым румянцем, красиво, во всяком случае — привлекательно. Выразительные глаза, полные, сочные губы. Именно губы и придавали лицу особую привлекательность и женственность.

За короткий миг, пока они разглядывали друг друга, у Антонюка мелькнула еще одна мысль: и на Свояцкого она непохожа.

Виталия сказала иронически:

— Здравствуйте, товарищ «партизанский товарищ».

— Здравствуй, Вита.

Иван Васильевич встал, чтоб пожать девушке руку. Но она не тронулась с места, улыбка пропала, взгляд стал холоден. Он побоялся, что она не подаст руки, а это с первой минуты усложнило бы их отношения.

— У тебя «окно»? — спросил он, вспомнив возвращение Нади, ее страх, предупреждение.

У девушки недобро скривились полные губы.

— У вас есть право говорить мне «ты»?

Она все-таки склонна объявить войну.

— У меня есть такое право. Я на тридцать пять лет старше.

— Всего?

— Что всего?

— Всего и права?

— Нет, не только. Я вот тут уснул. И во сне пережил — в который раз! — один эпизод партизанской жизни. Мы прорывались из блокады. Шли через болото... И я нес ребенка. Я нес тебя...

— Часто вы меня носили?

— Из блокады? Нет. Блокировали нас основательно всего два раза. Но в первый раз, осенью сорок второго, мы загодя вывели семейный отряд в безопасное место.

— Семейный?

— Да. Тебя удивляет? Видно, мало ты читала партизанских книг. Отряды, где жили женщины, дети, назывались семейными. Но мать твоя и ты чаще находились при боевом отряде...

Снова недобрая ухмылка скривила ее губы.

— Почему такая привилегия?

Он не ответил на ее язвительный вопрос.

— И мы больше двух лет носили тебя на руках. Ребенок... Ты была радостью, утехой и напоминала о смысле нашей борьбы. Ты, педагог, должна это понимать. Потетешкаешь дитя — и легче идти в бой. Мы были люди, а не автоматы. Мы любили... ненавидели... плакали от умиленья, глядя, как дети играют...

Виталия стояла неподвижно, как окаменелая, пытливо и, казалось, скептически разглядывала гостя.

Ивана Васильевича вдруг разозлили и ее ухмылки, и монумен-

тальность позы, и то, что он как будто должен оправдываться перед этой девушкой. В чем? Почему?

Он сказал твердо и строго:

— Что бы у нас ни было, ты теперь не имеешь права судить нас. Нет, не имеешь! Тебе не пятнадцать лет!

Она отвечала не сразу, как бы в раздумье:

— Я не сужу.

— И я хочу, чтоб ты знала: я в самом деле имею право говорить тебе «ты».

Вита засмеялась низким голосом, от души, этот смех как-то сразу разбил лед. Повеяло теплым ветерком.

Оторвалась от печки. Подхватила с этажерки свой халатик, с размаху бросила его за занавеску. Передвинула стулья. Прибрала со стола книги, тетради.

— Вы ели? Получила приказ накормить вас.

— Нет. Не ел. Я уснул. Но я голоден как волк. Деликатному гостю не положено признаваться. Но я не деликатный гость.

Она весело, как-то по-новому блеснула глазами и вышла на кухню.

«На кого она похожа? Ни на кого она не похожа!» — подумал Иван Васильевич и почувствовал удовлетворение от разговора, который поначалу казался небезопасным. Настроение сразу поднялось. Он провел ладонью по колючему подбородку и пожалел, что не захватил из чемодана электробритву. Электричество есть. И розетка. Но, выходя из вагона, он совсем не думал отстать. А побриться хочется — привык бриться ежедневно. Где теперь в этом женском царстве найдешь бритву?

Сбросил пиджак и в одной рубашке, закатывая рукава, вышел на кухню. Виталия разжигала на припечке керогаз.

— Где можно умыться?

— Я вам полью.

Девушка молча, задумчиво поливала ему на руки над эмалированным тазом. Ему не понравилось, что она вдруг стала такой молчаливой. Надо чем-нибудь занять ее внимание.

— Я уже неделю в дороге. Ездил к сыну. Он служит в Крыму. Сухопутный моряк. Береговая охрана. Он твой ровесник, месяца на три моложе.

Вытираясь, из-за полотенца следил, как она приняла это сообщение. Совершенно спокойно, даже равнодушно. Спросила:

— У вас отпуск?

— Не-ет. Я вольный казак. Пенсионер.

Тут она удивилась:

— Так рано? У вас и лысины еще нет и седых волос немного.

Такая детская непосредственность рассмешила.

— Спасибо за комплимент.

Легкий румянец сделал девушку краше.

— Нет, правда, почему вы так рано на пенсии? По болезни?

— Нет, я здоров. Защищал травы.

— Травы? Какие травы? — не поняла она.

— Кормовые. Которые хотели запахать, чтоб посеять вместо них кукурузу.

— А-а, в колхозах. И за это вас отправили на пенсию? Короче говоря, вы кому-то мешали?

— Возможно. Но это несколько упрощенно. Все более сложно. Как всегда в жизни.

— На пенсию вам не хотелось?

— Не хотелось.

— Вам тяжело?

Иван Васильевич понял: Виталия подумала, что это случилось недавно и поэтому он приехал — отвести душу.

— Нет. За полтора года я вжился в свою новую роль. Нянчу внука, езжу на охоту...

— Ваш сын женат?

— Старшая дочка замужем.

Ждал, что она спросит: сколько у вас детей?

Не спросила. Занялась кухонными делами.

Он предложил помочь ей. Отказалась.

Ушел в комнату, нарочно не закрыл дверь и тайком наблюдал за девушкой. Она действовала с неестественной медлительностью, глубоко задумавшись. О чем она думала? Это начало серьезно беспокоить Ивана Васильевича. Пускай бы уж она была колючей, насмешливой, как в начале встречи, даже непочтительной.

Виталия немного оживилась, когда стала накрывать на стол здесь, в чистой половине, где гость делал вид, что все его внимание занято книгами на этажерке.

Стол она собрала богатый: капуста, огурцы, квашеная брусника, на сковороде яичница, которая все еще сердито шкварчала и распространяла по комнате аппетитный дух. Над тарелками возвышалась бутылка из-под шампанского с почти черной жидкостью.

Виталия пригласила гостя к столу, села сама напротив и по-хозяйски наполнила стопочки настойкой.

Иван Васильевич поднял свою стопку, сказал:

— Я выпью за тебя, Вита. Я рад, что вижу тебя такой. За твои успехи, за счастье! Будь здорова.

Но Виталия не дала ему выпить. Она сказала:

— Я ненавидела вас. Тогда, девочкой... Возмущалось все мое детское естество. Потом вы долго не попадались мне на глаза, и я почти забыла о вас. Когда сегодня мама — боже! как она была растерянна! — сказала мне в школьном коридоре, что приехал ее партизанский товарищ, я догадалась, что это вы, и во мне шевельнулось недоброе... Протест, что ли... Но потом я подумала, что мама вас любит... Что она осталась верна этой любви... Она была молода и могла выйти замуж, привести в дом отчима... Такую любовь нельзя не уважать. Я сама против ханжества! Я вам простила... Сегодня, идя из школы. И я ничего не стану расспрашивать о ваших отношениях с мамой. Понимаю. Не маленькая.

Но обещайте, что вы будете со мной так же откровенны и станете говорить, как со взрослым человеком.

Иван Васильевич почувствовал, что у него пересохло во рту. Он не сказал — кивнул головой: обещаю.

— Я задам вам один вопрос. Вы ответите правду! — Она не просила — требовала.

Иван Васильевич попытался улыбнуться. Сказал бодро:

— Пожалуйста, — но увидел: настойка в стопке колышется — рука дрожит. Поставил стопку на стол.

— Кто мой отец?

Антонюк заставил себя никак не отреагировать на этот неожиданный вопрос. А он все-таки неожиданный, несмотря на предупреждение Нади. Сказать правду? Или поддержать святую ложь матери? Он снова взял стопку, в упор посмотрел ей в глаза, увидел, что она очень волнуется — даже губы дрожат. И вся она дрожит от нетерпенья.

— Давай выпьем, Вита.

Она жадно, по-мужски осушила свою стопку. Он, медленно потягивая настойку, решил, что не откроет материнской тайны. Пускай все так и остается. Ее отец — Шуганович. Но первой заговорила Виталия: возбужденно стала объяснять, почему спросила.

— Я давно вижу, что мама путается и чего-то недоговаривает. Ей как будто больно говорить о моем отце. Сперва я подумала: она перед ним виновата. После института я поехала в тот район, где вы партизанили.

Ивана Васильевича бросило в пот. От настойки, что ли?

— Так много было вас, партизан, а через двадцать лет никого нельзя найти, кто мог бы толком объяснить. Рассказывают легенды. Кто что. Только одна учительница хорошо помнит Шугановича, завуча школы, где она работала до войны. Знает, что он был комиссаром отряда Антонюка. Но того звали — Василь... Матери я ничего не сказала... Если она напускает туман на мое появление на свет, то мне в конце концов все равно, кто мой отец, — заключила она со злостью.

— Твой отец — я.

«Что ты делаешь? Зачем ты это сказал? Такова твоя правда?!» — закричал один Антонюк.

«А разве я не был ей отцом там, когда над всеми нами висела смерть? Она не должна стыдиться такого отца. И может быть, ей будет от этого легче жить», — рассудительно говорил другой.

— Вы? — Виталия долго, не мигая, широко раскрытыми глазами смотрела ему в глаза. Потом недобро засмеялась: — Вы?! Вам захотелось преподнести мне сюрприз? Веселенькая история! Ха-ха.

Потную спину лизнул холодный ветерок. Проползло то мерзкое ощущение, которое редко к нему наведывалось и которое, наверное, называется страхом.

«Зачем нагромождаю на ложь еще одну ложь? На какого дья-

вола ей сейчас мое отцовство? Если она прогонит такого отца к чертовой матери, то будет права».

Но отступления нет. Надо не растеряться, подкрепить признание фактами.

— Я работал заведующим райзо. А твоя мать — в школе, начальной. Старый дом церковноприходской школы. С квартирой для учительницы. Мы познакомились еще до войны.

— Вы были женаты?

— Был женат.

— Хороши моралисты! А теперь все грехи валите на наше поколение и хотите выдать себя за святых.

— Нет, мы не были святыми. Мы люди... Когда началась война, семья моя эвакуировалась, а я ушел в лес, организовал отряд... Твоя мать — мужественная женщина. Она пришла в отряд... в таком положении... незадолго до твоего появления на свет. Ты родилась в партизанской землянке...

— Это похоже на правду, — задумчиво сказала Виталия. — Мама такая... И вы... защитник трав, — она хмыкнула, налила настойки только себе и так же, по-мужски, выпила. — Теперь я не знаю, что мне делать. Целовать вам руки от радости? Или погнать прочь за то, что вы столько молчали... Даете жизнь детям — и боитесь сказать им правду.

— Меня ты можешь винить. Мать не вини...

— А ну вас... — беззлобно и уже как-то устало и равнодушно отмахнулась девушка. — Ешьте. Яичница остыла. — И стала нехотя жевать, как будто желая показать гостю пример.

Сидели друг против друга, опустив глаза в тарелки, делали вид, что едят, и молчали. Долго молчали. Это были тяжелые минуты.

Иван Васильевич корил себя:

«Зачем я это сделал? Чтоб нарушить ее душевный покой? И Надин, и мой? Правда, на кой черт ей теперь отец? Да еще такой, как я? Удочерить надо было тогда, в войну, когда она была ребенком. Но тогда почему-то и в голову не пришло, что ей нужен отец. Сейчас вернется Надя и... не подтвердит... Разрушит все. И мне, лгуну, как побитой собаке, придется уйти... Как я посмотрю ей в глаза? Уже и теперь трудно смотреть ей в глаза».

— Я виноват перед тобой: ты давно могла бы знать...

— Вы думаете, что от этого мне легче жилось бы? Нет, мама умно поступила. Я была как все, кто остался без отца. А их здесь, в селе, немало таких. Моих ровесников. Мой отец, партизан, погиб, как герой, и я гордилась им. Все было просто. С нами в школе учился мальчик Евген Ковшик, о котором говорили, что его отец — немец. Он был тихий, добрый, а его все равно не любили, называли «фрицем». Дети жестоки. После седьмого класса ему пришлось уехать куда-то в Донбасс. Говорят, стал шахтером. Женился. И ни разу не приехал к себе в село. Я его понимаю. Поэтому не виню

мать... Как скажешь дочери про свой грех, даже если она и не ребенок уже, дочь?

Антонюку не стало легче после ее слов.

«Мать она не винит. А меня, по сути, приравняла к немцу. Ни искорки, ни нотки радости или благодарности. Дожил до пенсии, а ведешь себя, как мальчишка. Разве не бывало уже, что твоя филантропия обращалась против тебя?»

Но тревожило не это. Тревожила мысль, как отнесется к его лжи Надя. Надо непременно ее предупредить.

Он поднялся из-за стола, поблагодарил за завтрак.

— А чай? — спросила Виталия.

— Спасибо. Не хочу. Разболелась что-то голова. Хочу пройтись.

— Вам надо встретить маму и предупредить ее... сговориться? — догадалась она, саркастически улыбаясь. — Идите. Маму и в самом деле надо предупредить. Она что дитя малое. Совсем не умеет лгать. У нее сейчас урок в восьмом; в бывшей церкви. — Виталия вздохнула. — Когда нам построят школу? Бегаем, как сумасшедшие, с одного конца села в другой. В дождь, в грязь. — И почему-то некстати попрекнула: — Попробовали бы вы так поработать!

Как будто бы строительство школы зависело от Антонюка.

Надя, должно быть, заметила его через окно и, бросив класс, выбежала на улицу, испуганная: что случилось? Почему он здесь?

Иван Васильевич увидел страх на ее побледневшем лице, прочитал вопрос в настороженно расширенных глазах. Виновато улыбнулся. Глянул на окна школы, к стеклам прилипли физиономии мальчишек и девчонок. Им любопытно: к кому так поспешно вышла учительница? Надя тоже оглянулась на окна и еще больше растерялась и встревожилась. Тогда, в партизанах, когда каждый день смертельная угроза висела над ней, над маленькой дочкой, он никогда не видел ее такой растерянной, беспомощной, трепещущей, как пташка: удивительно изменился человек. Чего ей бояться теперь? Из-за чего волноваться? Слова не может вымолвить. Молит взглядом: говори скорее, что у вас там случилось?

— А случилось-таки...

— Что? — словно в беспамятстве, прошептала она.

— Вита спросила, кто ее отец...

— И ты сказал?..

— Сказал — я...

— Иван!

— Она ездила в наш район и расспрашивала о Шугановиче.

Лицо ее совсем побелело, пальцы судорожно мяли платок, накинутый на плечи.

— На твое... наше счастье, не наткнулась ни на кого из тех,

кто знает все... Но что Шуганович — Василь, об этом ей сказали. Почему ж она Виталия Ивановна?

— Иван! Я не могу больше лгать! Не надо! Зачем?

Он ответил громко и почти сердито:

— А разве не я был ей отцом с самого рождения? Не я три года носил ее на руках? Разве не я думал о ней? Да, думал... так же, как и о своих детях. Она жила в моем сердце... Кто еще о ней думал, кроме тебя?

— А он? Иван! А что, если он жив?

— Его нет.

— Нет?

Иван Васильевич шагнул и сжал ее руку, крепко сжал руку у локтя, до боли. Другой рукой заботливо поправил платок, прикрыл грудь, чтобы не простудилась. Она попыталась вырвать руку. Он не отпустил.

— Давно нет. Это единственное, что я от тебя утаил.

— Ты?!

— Нет. Не я. Трибунал. После войны уже. В сорок девятом. Тогда он бежал на Украину. Но не затем, чтоб там трудиться. Вступил в бандеровскую банду. На его руках много крови. Разбитые, они попрятались, те, кто уцелел. Свояцкого нашли где-то в Азербайджане. Меня вызывали для опознания. И потом — свидетелем на суд. Во время очной ставки он имел возможность спросить о вас, если б был человеком. Не спросил. Вы не существовали для него. Они там все озверели. Родную мать ненавидели.

Ее начала бить лихорадка. Вся задрожала. У Ивана Васильевича даже шевельнулось недоброе чувство. Так остро переживать смерть этого подлеца?

— Тебе холодно. Иди в класс.

— Б-боже мой! Столько времени я ж-жила в с-страхе, что он... н-найдет нас, в-вернется. Я могла бы и-иначе жить. Совсем иначе! — Она бросила эти слова, как упрек: зачем Антонюк молчал?

Теперь он понял всю трагедию этих более чем двадцати лет ее жизни. Бесстрашно бросила дом, мужа, который предал все, что было ей дорого, и ушла в лес, в метель, в неизвестность. А потом... потом, когда пришла победа и радость, она жила в страхе — может вернуться он, сказать Виталии, кто ее отец... Была за ним вина, но он понес наказание, муки... Дочка может простить. А она не могла. Она чувствовала, что не сможет простить. Никогда. Какое бы тот наказание ни понес. Каким бы измученным ни вернулся. Как бы ни просил.

А он не подумал об этом раньше! Выходит, плохо он все-таки знал эту маленькую, как будто беспомощную женщину, которую когда-то полюбил. Нет, она не слабая. Она такая же, какой была и тогда, в лесу, — тихая, незаметная, преданная тому, кого полюбила, но мужественная. Однако другие времена — другая мера мужества.

— Прости. Я думал — так лучше.

— Б-боже мой! Столько лет!

— Успокойся. Ты вся дрожишь. Иди в класс, — Иван Васильевич повел ее к школе, не выпуская руки.

На крыльце Надя сказала:

— Я не смогу вести урок.

— Скажи, что к тебе приехал гость. Дай им заданье. Попроси сидеть тихо. Ты же сама предлагала мне.

Она постояла, подумала. Потом сказала:

— Я боюсь заходить в класс. Боюсь — расплачусь. — На немой вопрос — почему? из-за чего? — криво улыбнулась: — Бывает, что хочется поплакать.

— Погоди, я сам скажу.

— Нехорошо, Иван.

— Все хорошо. Я все еще партизан.

Он решительно вошел в класс. Школьники бросились от окон, от дверей за парты. Недружно встали, еще менее дружно ответили на приветствие — рассыпали горох. Крепко их удивило такое неожиданное вторжение в класс незнакомого дядьки.

Иван Васильевич обратился к ним, как к взрослым:

— Товарищи! Мы с Надеждой Петровной вместе воевали. Я командовал бригадой, она была партизанкой, санитаркой нашей и хозяйкой. Мы не виделись много лет. А гостя надо принять. Разве не так?

— Так! — ответили хором, дружнее, чем поздоровались.

— Надежда Петровна просит вас позаниматься самостоятельно. Идет?

— Идет!

— Не так громко, а то мы подымем на ноги всю школу.

— А тут только три класса.

— Все равно. Вы обещаете вести себя так, чтоб на вас не было никаких нареканий?

— Не будет!

— Расскажите нам, как вы партизанили, — голос с задней парты, где сидели мальчики.

— Я могу рассказать, но, конечно, не сейчас.

— Так вы же ненадолго.

— Я постараюсь найти время... С помощью Надежды Петровны. Так можно считать, что мы договорились?

— Договорились!

Иван Васильевич хотел было идти, но его остановил девичий голос:

— Пальто Надежды Петровны.

Пальто висело на спинке стула.

Он взял пальто, повернулся и... увидел Надю: она стояла у двери, спокойная, уверенная, улыбкой укоряя его, как ребенка:

— Иван Васильевич действует по-партизански.

Ребята засмеялись. И тут же стали уговаривать ее:

— Идите, Надежда Петровна. Мы сами...

Она дала задание — что прочитать здесь, в классе, и на дом.

Иван Васильевич помог учительнице надеть пальто. На это обычное проявление вежливости сельские школьники смотрели с любопытством: девочки — с явным восхищением (нам бы такое внимание!), хлопцы — с ироническими усмешками.

Когда вышли в коридор, Иван Васильевич спросил:

— Тебе расхотелось плакать?

— Мне расхотелось плакать.

И смолкла. Впервые он испытывал неловкость от ее молчания. Оно отчуждало ее, отдаляло. Надя никогда не была разговорчива. И раньше, даже тогда, в молодости, она могла подолгу молчать. Но тогда оно было иным, ее молчание.

Самое странное, что и сам он вдруг почувствовал себя юношей, который боится, не умеет при женщине вымолвить двух слов. Казалось, что не скажет, будет невпопад.

Заметил:

— Надо учить детей обхождению.

— А чего они не умеют?

— Хотя бы не удивляться, что мужчина помогает женщине надеть пальто.

— Разве это главное?

Иван Васильевич почувствовал себя неловко. В самом деле, нашел проблему!

«Кажется, глупеешь, товарищ Антонюк. Придираешься к внешним мелочам».

Хотелось хоть чем-нибудь расшевелить ее, вывести из задумчивости, заставить говорить. Спросил несмело:

— Надя, я сделал тебе больно?

Она остановилась посреди улицы, повернулась к нему, смотрела в лицо открыто, душевно, хорошо, но без той влюбленности, которую он всегда видел в ее глазах раньше.

— Иван! Ты приносишь мне радость. Всегда. И теперь... Но радости бывают разные. И не каждая нужна... Не каждая, Иван...

— Я понимаю, — теперь он действительно все понял, потому что снова, в один миг, охватил все события в их взаимосвязи, будто собрал в единый фокус. А то как бы провалы были: думал об одном и забывал о другом. Думал, например, о том, как она приняла известие о смерти Свояцкого, и не связывал это со своим признанием Вите, с еще одной ложью, пускай и во благо, которую ей, матери, придется или принять, узаконить, или отбросить.

Вдруг захотелось, чтоб Надя не приняла этой лжи — его отцовства. «Радости разные... — не каждая нужна». Всю жизнь он говорил людям суровую правду, боролся за правду. И вдруг должен лгать. Пускай бы девушка послала такого отца к черту. Было бы проще. Однако не послала, не возмутилась. Приняла почти спокойно. Простила матери ее обман.

Надя молчала. Встречные женщины здоровались с учительни-

цей и с любопытством разглядывали ее гостя. Может быть, некоторые постарше помнили его по прежним редким посещениям. Хотя когда это было! Не очень-то он показывался на люди.

Выходит, Надя тоже готова принять его ложь. Принимает. На крыльце своего дома остановилась, тяжело вздохнула.

— Тебе стыдно перед Виталией?

— Нет. Я все испытала уже. Переживу еще один упрек. А потом, может быть, все станет проще. Для меня. Я устала, Иван, — она легко сжала его пальцы, не то благодаря, не то ласково укоряя.

Виталия, когда они вошли в комнату, прищурила свои чуть монгольские глаза, иронически оглядела их — так бесцеремонно, что Ивану Васильевичу даже стало как-то неловко.

— Что, старые греховодники, сговорились? — И весело засмеялась. — А вы друг друга стоите. Ей-богу. Маленькие, да удаленькие.

Мать растерялась.

— Вита!

— Что, дорогая мамуля? Сейчас начнешь читать мораль, что я плохо веду себя? Да?

— Нет. Не будет. Она больше не будет, — как маленький, ответил Иван Васильевич, чтоб обернуть разговор шуткой.

— Больше не будет? Спасибо. Наконец я получила право на самостоятельность! — И опять засмеялась. — Гляжу я на вас, и смех разбирает. Очень уж вы непохожи на любовников. Таких, как в романах.

— Вита!.. — Надежда Петровна вспыхнула, как девочка.

Иван Васильевич сказал серьезно:

— Тебе не к лицу цинизм, Виталия. Ты обижаешь мать. За что?

— Мама не обидится. Не бойтесь. Если вы открыли свою тайну, то нечего прикрываться фиговым листком. Этакие голубки! Ай-ай!

Даже его, старого зубра, она заставила покраснеть.

Она разговаривала с ними так, как многоопытный взрослый говорит с детьми — не принимая всерьез их слова, поступки. Изредка, правда, прорывался интерес к Ивану Васильевичу — любопытство и даже забота.

Очень может быть, что ей, лишенной отцовской ласки в детстве, хотелось почувствовать ее теперь. Но она не позволяла себе это показать, ловко прячась за иронией, за шуткой. Может быть, и в самом деле ей, человеку с юмором и настроенной несколько нигилистически, что свойственно определенной части молодой интеллигенции, вся эта история кажется забавной? Не так уж тронуло ее появление отца. Какая разница — есть он где-нибудь или нет его, главное — существую я. Весь мир — во мне и для меня. А все родственные отношения, сыновняя, дочерняя, отцовская любовь, — все это анахронизм. Есть и такая философия среди мо-

лодежи. Лада иной раз, чтоб нагнать страха на мать, рассказывает о таких взглядах студентов.

Правда, Антонюк никогда всерьез не принимал эти рассказы. Лада — фантазерка. И не верил в такую «философию», которая, по его мнению, была либо безобидной болтовней маменькиных сынков, желающих покрасоваться, либо — вот это опасно! — могла быть порождена злобой и завистью юного существа, не знавшего отцовской ласки.

Виталия не похожа ни на того, ни на другого. Вряд ли у нее раньше возникали такие мысли. Ей досталась слава отца и горячая любовь матери.

Просто она, интеллигентная девушка, хорошо понимает положение человека, имеющего семью, одобряет благородство матери, ее бескорыстную, преданную любовь. Потому и встретила так трезво неожиданное признание. Не станет же ей хуже житься оттого, что отец, известный партизанский командир, жив и здоров.

Дочка и мать занялись обедом, верно необычным, праздничным.

Иван Васильевич прилег на диван в чистой половине и с удовольствием стал читать в хрестоматии «Капитанскую дочку». Давно не перечитывал, не попадалась на глаза.

Женщины тихо переговаривались между собой — слов не разобрать. Виталия то и дело приглушенно смеялась. Все еще, видно, подтрунивала над матерью.

Возможно, он задремал на мгновение и услышал это во сне. Но показалось вдруг, чта Виталия засмеялась недобро, злорадно. Тогда вновь поднялась тревога. Подумал, что она все знает — и про Свояцкого и все прочее. И хочет зло подшутить в отместку и матери и ему, Антонюку. Отомстить за настоящего отца. Там, в районе, куда она ездила, ей мог попасться человек, который неумышленно, а может быть, и умышленно рассказал о Свояцком не то, что было в действительности. Ведь тогда, когда он исчез, кто-то пустил легенду, что заместитель начальника районной полиции ушел к партизанам, что и в полицию он заслан был партизанами. Но неужто она могла так долго молчать, не сказать матери? Неужто специально ждала его приезда? Не верила, что он сюда больше не наведается?

Какая чепуха лезет в голову. Подозревать девушку, пускай и не наивную, в таких злобных намерениях, в желании так жестоко и безжалостно отомстить матери — абсурд. Самому близкому человеку?! Мало ли отчего Виталия могла так засмеяться. А может, и правда приснилось? Вот характер у человека! Сидел ты, Иван, тихо, спокойно... Так нет, сорвался и наделал себе хлопот. А когда я сидел тихо? Нет, не было такого дня, когда бы я чувствовал себя пенсионером. Пока жив — буду волноваться сам и заставлять волноваться других. Буду шуметь. Буду ошибаться, потому что не ошибаются лишь обыватели и покойники. А я живой! Живой! Буду любить и буду ненавидеть! Может быть, я сделал глупость, но не раскаиваюсь. Тебе не будет, никогда не будет горько и стыдно за

того, кто назвался твоим отцом. Ты можешь судить меня за многое, но не за то, что было главной линией моей жизни, что должно быть главной линией жизни каждого человека.

Виталия вошла что-то взять — на цыпочках: думала, что он спит.

Иван Васильевич поднял с груди книгу.

— Входи смело. Я не сплю. Увлекся «Капитанской дочкой».

— О-о! Вас еще могут увлекать такие книги?

— А почему нет? Мы, старики, как раз и читаем Пушкина, это вы, молодежь, — Евтушенко.

Вдруг захотелось втянуть ее в спор — в такой, какие часто вел с Ладой. Но Виталия не приняла вызова. Видно было, что Евтушенко для нее — пустой звук, не то что для Лады, голова которой забита стихами так же, как формулами. Похоже, что Виталию стихи мало интересуют. Она человек практичный, реалистка. Насколько глубоки ее знания по химии и биологии, которые она изучала в институте и ведет в школе? В области биологии агроном Антонюк мог бы поспорить с любым педагогом, хотя его и обвиняли, что он отстал от передовой науки. Правда, теперь начали признавать и ту, старую, «не передовую» науку, которой он придерживался еще с Тимирязевки.

Виталия сказала:

— Я хочу пригласить к обеду нашего директора школы. Вы ничего не имеете против?

— Хорош гость, который стал бы указывать хозяевам, кого пригласить, что подавать на стол...

Девушка шуршала чем-то в шкафу за занавеской, видно, переодевалась. Сказала после долгой паузы:

— Мама посоветовала спросить. Она, видно, не считает вас гостем...

Иронии не заметно. И это было уж слишком. Иван Васильевич даже не нашелся, что ответить. Вита сразу отсекла все сомнения. Она признавала за ним права хозяина.

Затаилась там, за занавеской, — может быть, ждала, что он ответит.

— Конечно, приглашай. Ведь у нас с тобой — праздник. И попроси его, пожалуйста, захватить бритву. Надеюсь, он бреется? Или носит бороду?

Она засмеялась весело и, кажется, даже счастливо. Или просто Ивану Васильевичу этого очень хотелось? Не только сейчас, но и раньше он замечал, что начинает терять способность чувствовать настроение близких людей и определяет его в зависимости от собственного желания. Захочется, например, чтоб Ольга чуточку взгрустнула — и кажется, что она грустит. Но когда он однажды спросил у жены, чем она так огорчена, та удивилась:

— Выдумываешь, Иван. У меня давно уже не было такого хорошего настроения, как сегодня. Это тебе, должно быть, невесело. — И тяжело вздохнула: — Я понимаю...

Смешили и злили эти ее вздохи: дескать, как ему тяжело без работы, без коллектива.

Виталия с таким же счастливым смехом — невозможно же столько раз ошибаться — что-то долго рассказывала матери.

Закрылась за дочкой дверь, и Надя сразу вошла в горницу. Одетая по-домашнему — в синем фартучке, в белой косынке, из-под которой выбивались прядки волос, не приглаженных, как утром, — она выглядела простой, чистенькой и привлекательной хозяюшкой. Румянец молодил ее.

Ивану Васильевичу захотелось порадовать ее чем-нибудь.

— Посиди возле меня, Надя.

Присела на край дивана. Он взял ее маленькие руки. Они пахли свежей булкой. Поцеловал пальцы. Хотел сказать привычные слова: «Я люблю тебя, Надя». Но что-то незнакомое, неведомое удержало. Какое-то новое чувство. Не сказал. Надя, так же как утром, провела ладонью по его колючей щеке. Она, конечно, ответила бы: «И я люблю тебя, Иван». Но он не сказал — может быть, поэтому она вздохнула.

В этом новом чувстве были та же благодарность и ощущение близости, та же нежность, что прежде, но появилось какое-то странное, непонятное сознание ответственности. Перед кем? За что? И еще — примесь жалости. Жалость — ясна: к ней, оттого, что она могла эти двадцать лет прожить иначе, имела право прожить иначе. Он почувствовал свою вину.

— Прости, Надя...

— За что, Ваня? — Она удивилась так искренне, что Иван Васильевич не стал ничего больше говорить: подумал, что и настроения ее не уловил и вообще все усложняет — овладела этакая нехлюдовщина. Надо горячо обнять ее, осыпать поцелуями: так редко у нее бывает эта радость. Притянул к себе. Надя сама, както совсем иначе, чем раньше, поцеловала его и... отстранилась. Сказала:

— Вскружил ей голову этот Олег Гаврилович.

Иван Васильевич не сразу понял, что Надя — о дочери. Догадался — и почувствовал: Виталия стоит между ними, стоит, как не стояла никогда раньше. Маленькой она сближала их. А теперь, когда он так приблизил ее, это переводит его с Надей отношения совсем в другое русло, какое — еще неизвестно, но новая ложь, которую она приняла со страхом и радостью, странно и как-то по-особому отчуждает их. Или, может быть, внутренний холодок этот имеет более простое объяснение: годы? Годы вообще и шесть лет, которые они не виделись.

— А у нее, по-моему, это первое серьезное чувство. И мне боязно...

— Чего?

— Она увлечена, как школьница... как в шестнадцать лет. А ей двадцать три...

— Какая разница? «Любви все возрасты покорны», — Иван Васильевич раскрыл хрестоматию на портрете Пушкина.

— Ты не понимаешь, Иван. Она учительница, а он — директор. Злые языки распускают сплетни.

— Боже, какая ты стала правильная!

— Я — мать.

— Если они любят друг друга, как ты говоришь, чего тебе бояться сплетен? Пускай болтают. Без сплетен было бы скучно.

Надя вздохнула:

— Моя беда, что я не верю, будто у него это так же серьезно и так... романтично, как у нее. Он уже был женат. Но меня пугает не это. Ему — тридцать два года. В жизни всяко бывает. Но если б он был откровенен до конца. А у меня все время такое чувство, что он что-то скрывает...

— У каждого есть своя тайна.

— Да, у каждого из нас своя тайна. Но я храню свою тайну для спокойствия и счастья близкого человека — дочери. А он почему?

— А какая тайна у него? Что ты подозреваешь? Ведь он же сказал, что был женат. А разведен ли — можно проверить.

— Ненавижу проверки. Я хочу верить человеку. Вита верит, как ребенок. Как она накинулась на меня, когда я начала однажды этот разговор... осторожно, деликатно. А она... ты поглядел бы, как закипела! Оскорбила меня: «Ты всех меряешь по себе!»

— А правда: почему то, что он, может быть, не оформил развод, кажется тебе такой опасной тайной? Ты сама говоришь: в жизни всяко бывает. Ну ладно, был женат. Ну, не получилось... Неизвестно, по чьей вине.

— Если б он открыто признался! Самое страшное — разочарование, Иван. Самое страшное. Я знаю, что это такое... Мне тогда было двадцать два...

— Но у тебя были другие причины.

— Все равно. Это страшно! Только откровенность сближает, роднит людей на всю жизнь. Как у нас с тобой. Ты ничего не таил от меня, я — от тебя. У тебя был твой долг. И я полюбила тебя еще больше, когда ты вернулся к семье.

— Вита не показалась мне такой уж романтичной особой. Рассуждения ее весьма трезвы.

— О, нет! Ты ошибаешься. Внешне она как будто грубая, дерзкая. Но я знаю, как легко ранить ее сердце. Она всегда воюет за правду. Со всеми задирается. Там сцепилась с директором школы, с районо, а тут уже несколько раз налетала на директора совхоза. Из-за культработы. Он, Олег, не только не удерживает, а подбивает на такие выходки. А сам всегда умеет остаться в стороне. Не нравится мне... Не люблю я таких. Ты когда-нибудь оставался в стороне, если в драку ввязывались близкие люди?

Иван Васильевич подумал:

«Если Надя не ошибается, то письмо могло быть от него. Ви-

талия рассказала по простоте душевной, и он не удержался, чтоб не «сигнализировать». О, водятся они еще, эти «сигнальщики»! Если это так, то дрянной человечишка».

— А может, антипатия у тебя от ревности, что он, чужак, становится дорог твоей дочери? И от страха, что заберет ее у тебя?

— Может быть, — грустно согласилась Надя. — Ты все еще партизан, а я уже не партизанка. Я трусиха. Вита готовится вступить в партию, и я тоже боюсь.

— Чего?

— А если не примут? Какой это для нее будет удар!

— Почему не примут?

— Из-за характера. Все воюет. Директор совхоза что скажет, то и сделают.

— Не те времена, Надя. У тебя старые представления.

А у самого дрогнуло сердце, кольнула тревога. Но по другой причине.

«В партию тебя примут. Партизанская дочка. Но потом, может случиться, спросят: почему скрыла «факт своей биографии»? О, этот злосчастный факт! И никто, никто не поверит, что ты ничего не знала. Да, не поверят. И может случиться, что тогда уже не будет такого свидетеля, как я. А факты биографии останутся. Их будут по-прежнему проверять. Выходит, я лгу не только тебе... Неловкая ситуация. Может быть, убедить Надю, что лучше сказать правду? «Только откровенность сближает». Пусть переживут это горе один раз... Нет, Надя не согласится, подумает, что я испугался. Ей нужно вычеркнуть его из своей жизни и жизни дочки навсегда. Она рада моему признанию и... даже моей лжи...»

— О чем задумался, Иван?

— Я? О детях... О наших... О моих детях.

— Прости. Я не успела спросить, как твои...

— Я, кажется, говорил — еду от сына. Нет, это я Виталии сказал... Он в Крыму, в береговой охране. Служба пошла ему на пользу. Но пережитое сделало его несколько замкнутым. История в университете...

— Я же не знаю этой истории. Ты написал два слова.

Он рассказал.

— У тебя были неприятности?

— Тогда — нет. Так, разговор... А потом... Потом припомнили все. И сына тоже. Тогда я крепко рассердился на Василя: маменькин сынок, катается как сыр в масле и еще недоволен, протестует... Против чего? А теперь понимаю, против чего. Мы, старики, помаленьку свыкаемся с глупостью, подлостью, ханжеством. И частенько проходим мимо них. Только бы жить спокойно. Ничего, мол, не поделаешь. А они, молодежь, не хотят спокойно жить, они хотят гореть, а не тлеть. Но мы иногда заливаем этот огонь... Затаптываем, грубо... сапогами. Боюсь, что Вася уже никогда так не загорится. Будет правильным. Не люблю правильных. Очень часто это люди с двойным дном. Мне захотелось по-

сле этой встречи, чтоб Василь вернулся домой. А его приворожило море... Что-нибудь или кто-нибудь их привораживает, и они уходят от нас. Таков закон...

— А Лада? Замуж не вышла?

— О нет! У нее весь огонь для науки. Похоже, растет большой физик. Лада — моя любовь. С ней мы нашли правильную форму отношений... отцов и детей. Мы спорим. А в спорах рождается истина...

Так они сидели, по-семейному беседуя, пока не вернулась Виталия и с ней Олег Гаврилович.

Надя первая услышала их голоса. Вскочила, как будто испуганная или смущенная.

— Идут.

Директор принес две бритвы: электрическую и «безопаску». Пояснил:

— У меня эта не выбривает подбородок. Приходится подправлять по старому способу.

Познакомился он просто, не проявляя излишнего любопытства. Вообще чувствовалось, что это довольно сдержанный человек — во всем: в словах, в поступках, даже в жестах. Было в нем что-то от знающего себе цену драматического актера.

Антонюк так сразу и подумал, он знал и плохих, и хороших актеров. Но знал он и другое: бывает, что хороший актер — плохой человек. А для него всегда на первом плане — человек. Однако по всему видно, что этот актер — Олег Гаврилович — не так просто откроет свою человеческую суть. Нелегко его раскусить.

Иван Васильевич включил «Харьков». Бритва гудела, как трактор. Можно помолчать, чтоб не перекрикивать ее, и разглядеть нового знакомого. Что ж, мужчина красивый, такие особенно нравятся женщинам. Высокий. Действительно с актерской осанкой. Сел на диван, закинул ногу на ногу. Спросил у Надежды Петровны разрешения закурить. Из листочка бумаги быстро и умело сделал лодочку-пепельницу... Лицо худощавое, продолговатое. В светлые и довольно густые еще волосы врезаются залысины — этакие профессорские залысины; они увеличивают поле лба, такой лоб привлекает внимание, и люди наивные подчас думают: о, вот это ум! Но Иван Васильевич нередко видел «сократовские» лбы у дураков.

В профиль лицо директора выглядит хуже. Что его портит? Ага, нос. Он придает лицу какой-то хищный вид. Нет, не ястребиный. Нос без горбинки, кончик даже вздернут. На кого же он похож? На щуку? Нет, не та линия. Да и не хищный вовсе. Нехорошо выискивать несимпатичные черты в человеке, которого пока еще не знаешь. Да и вообще не во внешности суть.

Он писал письмо или не он? Чтоб установить, надо выяснить, когда он услышал о нем, Антонюке, когда и что рассказала ему Виталия? Но как подступиться, с чего начать?

Иван Васильевич выключил электробритву.

— Подправлю и я старым способом.

— Всухую?

— Всухую. Правда, у меня щетина жесткая, как у дикого кабана.

Виталия засмеялась. Она стояла у стола, выдвинутого на середину комнаты, неторопливо перетирала тарелки, расставляла их, по-детски склонив голову, любовалась своей работой и... мужчинами. Не просто мужчинами. Не какими-то там своими однокурсниками-шалопутами. И не старыми учителями, что иной раз приходят в класс прямо из хлева, в резиновых сапогах, облепленных навозом. С теми она воевала, и они не любили ее. А эти двое ее любят, пускай по-разному. Желают счастья. Принесут счастье.

Старший уже принес нечто, что, наверное, можно назвать счастьем, если б не было это так неожиданно и не вызывало таких сложных и противоречивых чувств. Она сама еще не решила, как отнестись к тому, что сказал этот человек. Но ей приятно, даже радостно. Сейчас они оба любы ей. Нравится их мужская сдержанность, аккуратность. Даже это бритье электробритвой. Никакого намыливанья, пачкотни с кисточкой.

— ...Но я ко всему привык, — стоя перед зеркалом, продолжал Иван Васильевич. — Однажды во время блокады в нашей группе — нам пришлось разбиться на группы для прорыва — не оказалось ни одной бритвы. Хлопцы отрастили вот этакие бороищи. А я, назло немцам и для примера своим, брился. Стеклом. Подобрал у разбитого лесничества куски оконного стекла и скреб ими. Без мыла. Конечно, выть хотелось... Но не сдавался.

— Знаете, я сегодня был посрамлен, — сказал Олег Гаврилович.

Иван Васильевич обернулся к нему. Виталия насторожилась: застыла с поднятой тарелкой.

— ...когда Виталия Ивановна сказала мне, что к матери ее приехал партизанский командир. Я полгода работаю и не знал, что Надежда Петровна — партизанка. Директору непростительно не знать своих людей. Верно? Конечно, виновата Виталия...

Девушка доброй смущенной улыбкой попросила прощения за то, что не рассказала о матери раньше.

Иван Васильевич с облегчением вздохнул. Слава богу, не нужно никакой дипломатии. Все так скоро и просто разрешилось. И в наилучшую сторону. Ну да, Вита ничего не могла рассказать о наших отношениях. Ни в коем случае. Даже человеку, которого полюбила. Или, вернее, тем более этому человеку. Бросить тень на мать? Никогда! Да еще при том, что ее собственное появление на свет оставалось до некоторой степени загадочным.

Значит, Леонид Мартынович был прав: анонимку писал кто-то из моих старых «друзей». Опять Корольков? Неужто так долго хранит человек злобу? Почернеешь, Корольков! Кто еще знает

о Наде из тех, кто поближе? Все знает Будыка. Но Валька анонимок не станет писать. Зачем ему? Если б его прорвало, он скорей всего рассказал бы Ольге. Но и тут начштаба ведет себя, как мужчина.

Достаточно убедиться, что рядом с тобой не доносчик, не интриган — и как меняется настроение. Ей-богу, он симпатичный парень, этот Олег Гаврилович. Напрасны твои страхи, Надя! Я с удовольствием выпью за ваше счастье, дети.

VIII

После обеда они гуляли. Втроем. Надя осталась хозяйничать дома. Предложила погулять Виталия. То ли от выпитого вина, то ли от счастья, она становилась все веселей и веселей. Молчаливо-сдержанная вначале, беззлобно-ироническая в разгар обеда, под конец девушка превратилась в веселую хохотушку... Теперь она уже не скрывала своих чувств к Олегу Гавриловичу. Даже при Иване Васильевиче чмокнула директора в щеку. Он, на десять лет старше ее... сконфузился. Странно, но это, только одно это не понравилось Антонюку. Не верил он в такую чрезмерную стыдливость взрослого мужчины. А все, что неискренне, что разыгрывается, настораживает.

— Мы покажем вам, чем славна и бесславна столица князя Сиволоба, — весело сказала Виталия.

— Сиволоб — директор совхоза, — объяснил без улыбки Олег Гаврилович.

— А то ведь вы ее ни разу хорошенько не рассмотрели.

Девушка все еще мстила за те тайные короткие приезды или, может быть, за то, что он так долго таился от нее. Иван Васильевич понимал. Но ответил:

— Я хорошо разглядел эту «столицу» двадцать лет назад. Мы выбивали из нее полицейский гарнизон.

— О, когда это было! Любите вы, партизаны, похвастаться старыми заслугами. Одна мама не любит. Из нее слова не вытянешь. Но теперь мы с Олегом Гавриловичем заставим маму говорить. Будет двадцатилетие Победы — сделаем стенд героев, тебя, мама, на первое место.

— Не мели глупостей, — по-учительски строго сказала Надежда Петровна. — Идите гулять.

Погода не изменилась за день. Было пасмурно и тихо. Чуть примораживало. Так же, как утром, изредка в воздухе кружили легкие-легкие, как тополиный пух, снежинки. Но и в это безветрие снег не укрывал землю. Неслышное дыхание сдувало его. Поле черное. И улица тоже. Белело только у заборов, в канавах, в бороздах и ярах.

Чтоб выйти на «центральный проспект», как иронизировала Виталия, они двинулись огородами. Взору открылось заречное бо-

лото, в этот день желтое, как ржавая вода, с редкими березками и молодым леском вдали, где-то на том краю.

— Грустный ландшафт, — сказал Олег Гаврилович.

— Неправда, — запальчиво возразила Виталия. — А мне тут все любо, я тут выросла. Вот увидите — весной! Речка наша не ахти что, летом перейдешь, подол не поднимая. А весной, в большую воду, — море. Конца-края не видать. Весь луг и болото залиты. Там и тут островки... Вода спадет — луг зацветает. И болото цветет. Маленькой я ходила с ребятами утиные гнезда разорять. Злостная браконьерка была. А потом, когда поумнела, встала на защиту уток. И теперь школьников учу... Совсем мало осталось уток. Черт знает что делается! Открывается охота, сюда сотни убийц приезжают. Дикари... Стая собак. Трехстволки. Двустволки уже не достаточно на эту несчастную птицу. — Ивану Васильевичу: — Сказали бы там, в Минске, кому надо, кто власть имеет, чтобы запретили такую охоту.

— Я сам охотник.

— Вы? Не говорите мне этого! А то станете моим врагом!

— Охота может принести пользу, если она ведется с головой. Разумно.

— Всё-то мы умеем оправдать, — вздохнула Виталия. — Начали осушать болота... Вон видите, экскаватор работает? Я толкую ученикам: на пользу людям. А у самой иногда сжимается сердце. Что будет с нашей речкой? Со всеми реками? Куда денутся несчастные гуси, утки, аисты, когда все будет осушено? А будет ли от этого польза через пятьдесят лет?

— Всё не осушат. Будет создана научная система регулирования водного режима, — заметил Олег Гаврилович.

— О, боже! Олег! Не говори так учено! Когда я слышу или читаю такие слова, я перестаю им верить.

Иван Васильевич засмеялся: Виталия неожиданно, может быть, даже случайно, высказала то, что, бывало, чувствовал он сам. Смех его смутил девушку, она стала оправдываться:

— Мне даже самой становится неловко, что не верю таким, казалось бы, разумным словам. Я хочу им верить! Ведь я должна передать эту веру детям.

Была в ее признании детская наивность, но была и глубокая мысль взрослого человека, который серьезно относится к жизни, стремится понять явления в их взаимосвязи и диалектической сложности. И это нравилось Ивану Васильевичу. Лада проникает в неизмеримо глубокие законы строения вселенной, но она как бы оторвана от грешной земли, она уже в космосе — в другом мире; она, конечно, тоже может порассуждать об осушке болот, даже с использованием физики и химии, но никогда не бывает у нее той земной заботы, какая чувствовалась в этой девушке, — о людях, о птицах, о будущем: «А будет ли от этого польза через пятьдесят лет?» Лада кричала: «Бросьте твердить, что мы должны работать для счастья будущих поколений. Будущие поколения поза-

ботятся о себе сами лучше, чем это делаем мы!» У Виталии более реальное ощущение связи будущего с минувшим и с настоящим, более простое и практическое понимание роли человека на земле. Для нее, верно, бессмертие, как для истой крестьянки, — в детях, а не в открытии физического закона, который обогатит науку. И влюбленность у нее простая, бесхитростная, не обремененная сложными раздумьями. Чуть он, Антонюк, немного отстал, и Виталия, кажется, уже забыла о нем. Взяла Олега под руку, что-то говорит и весело смеется. Что ж, все естественно. Его счастье, что он, старик, сохранил воспоминание о молодости, о собственных чувствах, о своих мыслях, стремлениях того далекого времени. Это помогает понимать молодежь. Неужто те, кто не умеет ее понять, так позабыли свою юность, или она была совсем иной?

Да, иной, чем у Лады. Иные условия, желанья, стремленья. Однако вот Витина юность, кажется, не так уж сильно отличается от юности его поколения советских интеллигентов. Мы — от земли, от этих болот, от этого «грустного ландшафта»...

«Грустный ландшафт», «научная система регулирования водного режима»... Мысль перекинулась на Олега Гавриловича. А он из каких? Непохож на тех, что рвутся в космос, сгорают у атомных реакторов. Но и от тех, что посвящают жизнь выведению нового сорта роз или охране диких уток и аистов, он как будто хочет отгородиться. Что кроется за этой артистической внешностью? Стала понятней Надина тревога — материнское беспокойство. Захотелось раскусить этого человека — а что там, в середке? Да, у него крепкая защитная скорлупа — немногословие. Это понравилось тогда, за столом. Но такой старый зубр, как он, Антонюк, не может не знать, что и за глубокомысленным молчанием иной раз скрывается пустота. Немало встречал и таких.

Село некогда, в далекие времена, любопытно застраивалось: три улицы шли параллельно, огород в огород. Улицы здесь, в Полесье, широкие, не у́же Минского проспекта. Так бы и дальше строить. Но когда начали перекраивать усадьбы — у кого обреза̀ть, кому добавлять, — новые хаты повыросли между улиц без всякой планировки; новые хаты — добрые особняки, оазисы в «грустном ландшафте». Даже сейчас, зимой, когда все вокруг голо, хатам этим придают уют сады. «Садок вишневый возле хаты».

Когда Иван Васильевич сказал про планировку, Виталия с сарказмом ответила, что строились тут те, кто имел право ставить хаты по принципу: «Где хочу, там и строю», — бывшие председатели колхозов, сельсовета, бригадиры, сельповцы, участковый милиционер.

— Хвощ вон повернулся задами к Василькову и подсунул ему под окна уборную. Пускай нюхает.

Олег Гаврилович укоризненно покачал головой, не одобряя такие неэстетические выражения учительницы. А ей хоть бы что.

— Они перегрызлись когда-то, два председателя, колхоза и

сельсовета, готовы были съесть друг друга. Но умный секретарь райкома обоих турнул. Прошлым летом Васильков яблоки крал у Хвоща. А тот пальнул ему солью в мягкое место. Товарищеский суд был. А мама — заседатель. Нахохотались все до колик...

Виталия со смехом, с юмором рассказывала о «прославленных» здешних новоселах. Иван Васильевич отмечал чрезмерно едкий и порой безжалостный тон ее рассказов. Это его по-отцовски беспокоило: нечего молодой учительнице быть такой злой, человеческие слабости надо высмеивать, подлость — карать, но не валить все в одну кучу, не разжигать в себе злобу и ненависть. Сказал об этом осторожно, мягко. Олег Гаврилович охотно поддержал. Виталия не стала возражать: она согласна. Согласна с ним — Олегом. Она всегда будет с ним согласна, только бы он дарил ей свое внимание, ласку. Милая и умная женская покорность!

Антонюк подумал, что, если они станут мужем и женой, эта покорность может погасить в ней много добрых, ярких искр.

«Я любил Ольгу, любил Надю. Я — грешен... Но я не потушил их огня, ни одну не сделал своей тенью, женой в патриархальном смысле, любовницей в обывательском понимании. Не потому, что я такой... передовой, нет, скорее всего потому, что они такие. Оставались верны своему характеру. Останься и ты, дитя, сама собой, каков бы он ни был, твой избранник! Но как сказать тебе об этом?»

На «проспекте» Виталия стала серьезной и озабоченной.

Подошли к новому двухэтажному зданию из белого кирпича. Рядом с почернелыми хатами (тут, на улице, почти все — старые) он выглядел дворцом. Виталия показала на него:

— Контора совхоза. Красиво, верно? — Она спросила, казалось, с гордостью, но тут же повернулась в другую сторону и сказала грустно: — А там наша школа. Правда, зато у нас два здания. Другое вон на той улице, церковь. Кончим урок здесь и бежим туда. Под дождем, в метель. Отличная зарядка.

— Есть школы, где положение хуже, — сказал Олег Гаврилович.

— Великий оптимист! Как ты умеешь утешать своих подчиненных! Но объясни мне: почему контору для бухгалтеров надо строить в первую очередь?

Олег Гаврилович пожаловался Антонюку:

— Никак не может понять, что это разные ведомства, разные источники финансирования.

— Не могу! Этого я не могу понять! И не хочу! — почти крикнула Виталия со злостью. — Я знаю одно: все источники — из одного источника.

Директор пожал плечами.

— Наконец, основа всего — материальная база.

— А вот это я понимаю, дорогой Олег Гаврилович. Сдала политэкономию на пятерку, — сказала она кротко, с улыбкой, но за

улыбкой этой скрывался сарказм, который позабавил Ивана Васильевича и успокоил.

«Да нет, кажется, не так легко сделать ее покорной слугой. Бунт — ее стихия. Она еще покажет тебе зубки, господин директор».

Потом повела к клубу и... к дому директора совхоза. Как школа с конторой, так и эти строения стояли друг против друга, через улицу. Девушка ничего больше не стала объяснять, сказала только, что бывший директор, верно, думал о планировке села, а потому не полез на огороды, а поставил скромный финский домик в ряд с хатами. Домик сам по себе действительно скромный, но оброс пристройками — шлакоблочной кухней, чуть не больше самого дома, застекленной верандой; на дворе — кирпичный погреб и хлев, где свободно может разместиться полдесятка коров и столько же свиней.

Виталия, верно, хотела удивить Ивана Васильевича. Да ничто его удивить не могло: все он видел, все знал; в частности, отлично знал те операции, с помощью которых вот так строятся, — все по смете и всего в три раза больше. Местная инициатива. За нее не карают, а даже хвалят. Вот только беда, что проявляется она чаще всего, когда строятся дома директоров совхозов, председателей колхозов, лесничих, районных работников. Нет, в райцентрах, пожалуй, реже, потому что меньше простора инициативе, меньше своих собственных, неучтенных, сэкономленных материалов, а людей на строительстве занято больше, чем где-нибудь в совхозе, и каждый что-нибудь пристраивает или надстраивает в собственном доме.

Иван Васильевич в юмористических тонах нарисовал эту картину. Рассмешил Олега Гавриловича. А Виталия вздохнула:

— А на ремонт школы кубометр досок трудно выпросить.

— Да, бывает и так. Все зависит от того, какой след оставила школа в голове иного руководителя. К сожалению, не одинаковый след она оставляет, не одной глубины борозды в мозгах.

Они шли, по пути разглядывая старые и новые постройки. Ивана Васильевича больше интересовали старые, их своеобычная архитектура, полесская, неповторимая. Он был одним из тех немногих, кто горячо поддерживал идею создания музея крестьянского быта, такого музея, который стал бы исследовательским центром, чтобы и архитекторы, проектирующие новые села, могли поучиться и использовать элементы национальной архитектуры, а не копировали бы чужое, далекое и ненужное.

Директор совхоза встретил их, когда они возвращались назад. Разумеется, сделал вид, что встретил случайно, идя с работы. Антонюк, оказывается, знал этого человека (на фамилию, когда ее назвали, хотя она и колоритна, не обратил внимания — мало ли

Сиволобов!). А тут издалека узнал его и даже имя-отчество припомнил: Гордей Лукич.

Сиволоб когда-то работал заместителем начальника областного управления. Правда, занимались они разными отраслями, и Антонюк непосредственно не руководил им, не сталкивался по работе. Но встречались часто — на коллегиях, совещаниях. При первом знакомстве Гордей Лукич производил солидное впечатление. Высокий, сутулый, с лысиной, но всегда чисто выбритый, в белоснежной сорочке и аккуратно повязанном галстуке, хотя и мятом костюме — верная примета, что человек много времени проводит в машине. По внешности скорей профессор, чем сельскохозяйственный руководитель. И держаться умел — солидный, спокойный, немногословный. Благодаря этим качествам до поры до времени поднимался по служебной лестнице. Пока не поняли, что для того, чтоб руководить такой сложной отраслью хозяйства в областном масштабе, надо иметь еще кое-что. Однако продолжали держать — по инерции. Куда денешь номенклатурного товарища? Года три назад вынуждены были все-таки спустить на районное управление. Не удержался, выходит, и в районе. Вот где вынырнул Гордей Лукич! Но теперь директор — фигура!

Обрадовался, довольно засмеялся, широко раскинул длинные руки, словно собрался подлететь навстречу, как гусак. Забасил:

— О-о, кого я вижу! Иван Васильевич! Каким ветром занесло вас в наши болота? В командировке? — долго тряс руку.

— Нет... В гостях.

— У кого? У него? — протянул руку Олегу Гавриловичу.

— Нет. У нее, — кивнул Антонюк на Виталию, которая со стороны со скептической улыбкой наблюдала за их встречей, за притворной радостью хозяина.

— У нее? — удивился, но тут же, спохватившись, повернулся, чтоб поздороваться, сказал галантно: — Имею честь, дорогая Виталия... Виталия...

— Ивановна, — подсказал Антонюк.

— Помню, помню... Как же! Но иногда такие простые имена боишься перепутать. Годы, знаете... Склероз. Родичи?

— Родичи, — поспешно ответила Виталия, должно быть не желая, чтоб Иван Васильевич стал объяснять, что они вместе с ее матерью партизанили.

— Так прошу быть и моим гостем, Иван Васильевич! Дом вон рядом. Спасибо, построил предшественник. Ничего домишко.

— Да нет, спасибо. Только из-за стола.

— Да разве зайти — так уж сразу за стол? Чашечку кофе. Моя жена варит отменный кофе. И посмотреть у меня есть что.

— Не будем обижать хозяина, — сказал Олег Гаврилович, ему хотелось зайти.

Иван Васильевич подумал, что Сиволоб изрядно изменился: меньше стало важности, деланной независимости, больше — угодливой суеты.

«Не знает, верно, что я на пенсии».

Поглядеть в доме и в самом деле было на что. Музей. Стены завешаны картинами. Полотна художников неизвестных, вероятно не первостепенных, однако же — оригиналы. Больше — пейзажи. На двух-трех картинах Иван Васильевич узнал знакомые места, которыми не раз любовался сам. Особенно много было видов Немана и Гродно.

Но еще до картин поразила хозяйка, встретившая их на просторной веранде. Маленькая, ладно скроенная женщина с хорошенькими ямочками на щеках, с малиновыми, как бы припухшими или капризно надутыми губками, что придавало ее лицу детски-милое выражение. Была она на добрых пятнадцать лет моложе своего лысого мужа. Просто, но со вкусом одетая — шерстяной серый костюм, зеленая нейлоновая куртка на молнии. Куртку эту она сразу же сняла, заведя гостей в теплый дом.

И еще одно удивило Ивана Васильевича — обстановка. Здесь, в полесской глуши, — стильная мебель, не бобруйской, не мозырской фабрики, а импортная, чешская или немецкая. Откуда взялись деньги, чтоб купить все это? Три последних года Сиволоб на районных должностях. Да и раньше не такой уж у него был высокий оклад. Антонюк получал в два раза больше, но если б и захотел, вряд ли мог бы накопить на такую мебель, (как призывают рекламы сберегательных касс: «Деньги накопил — мебель купил»), а тем более — на картины. Черт его знает, а может быть, человек, который не умел руководить совхозами, — художник, художник в душе и призвание его — собирать картины, создавать красивые интерьеры, любоваться ими. Или это его хобби? Есть же у него, Антонюка, свое хобби — охота.

Хозяйка скрылась — ушла на кухню. Хозяин показывал гостям картины.

— Это Неман у Мостов. Помните, Иван Васильевич! Дубы у реки. Это вид с Немана — на Калужскую церковь. Друскеники. Парк. Иван Васильевич помнит. Мы с ним там отдыхали. А это уже Двина, Полоцк. В современном пейзаже художник искал приметы старины. Обратите внимание...

Высокий, сутулый, лысый, ступал он мягко, как кот, здесь у себя дома, — важно, несуетливо, и в голосе появились прежние нотки. Человек разыгрывал глубокого эрудита.

Иван Васильевич вспомнил голос, фигуру, первое впечатление от знакомства с Сиволобом и всю эволюцию своего отношения к этому деятелю и теперь не верил даже тому, что он рассказывал о картинах, не верил глубокомысленным высказываниям знатока искусства. Усомнился даже в том, что это страсть, увлечение, хобби. Разве что не его, а той хорошенькой женщины?

Биталия — Иван Васильевич следил за ней — сперва смотрела на картины с почти детским восторгом, но потом у губ ее появилась скептически-насмешливая морщинка, сменившаяся в конце концов откровенно иронической усмешкой.

— Это вы покупали все или получали в подарок? — спросила девушка.

— И покупал, и дарили. Тому, кто покупает, художники любят дарить. Начала Маша. Она жила среди художников. А потом я увлекся. Познакомился. Возил художников на рыбную ловлю. Я ловил рыбу, варил уху, а они писали этюды и дарили их мне. — Сиволоб довольно рассмеялся и погладил лысину: умная, мол, голова.

— Подарили бы вы школе эти картины, — сказала Виталия.

Сиволоб на миг застыл от неожиданности. Потом с натугой, с судорожной гримасой выдавил из себя басовитый хохоток.

— Э-э, дорогая Виталия... Виталия... — опять забыл такое простое отчество. — Вы не знаете психологии коллекционера. Попробуйте попросить у филателиста плохонькую марочку. Не даст. Не потому, что скуп. Не сможет расстаться. Так ведь то марка, а это картина, произведение искусства. Картины начинаешь любить, как собственных детей.

— У вас есть дети? — спросила Виталия.

Гордей Лукич смутился.

Иван Васильевич догадался: у него есть дети, у нее нет, у этой хорошенькой любительницы искусства. Оглянулся на открытую дверь — не услышала ли? — и увидел ее в комнате с подносом в руках. Слышала. Ямочки на щеках побелели, а вокруг них разлился румянец. Но сказала беззлобно, с грустью и ласковым укором, ставя поднос на стол:

— Вы же хорошо знаете, что у нас нет детей.

— Откуда мне знать? Ведь вы не молодые уже люди, — безжалостный удар по хозяйке. — У вас могут быть взрослые дети, учиться где-нибудь... Вы уже год у нас и никого из учителей не пригласили посмотреть на ваши картины. — Удар по обоим.

— Я заходил не раз, — сказал Олег Гаврилович.

— Полгода Гордей Лукич жил один, — мягко оправдывалась хозяйка. — А потом пока устроились... Пожалуйста, просим, наш дом открыт. — Но краска на ее щеках переменилась: покраснели ямочки и побелели щеки возле ушей.

— А собачки у вас нет? — вдруг наивно, как девочка, спросила Виталия. — Я очень люблю таких малюсеньких собачек, которые лежат на диване.

Виталия рубила наотмашь. Виталия издевалась. Ивану Васильевичу стало боязно за нее. Начал понимать Надин страх за дочку. Такие, как Сиволоб, не прощают пренебрежения. Хотя, кажется, он не понял и ответил с искренним сожалением:

— Собачки нет.

А Маша — такое простое народное имя, без малейшего оттенка мещанства! — склонившись над низким круглым столиком, чтобы не видно было лица, и расставляя маленькие чашки, сказала с таким же сарказмом: мол, как спрашиваешь, так отвечаю:

— У нас есть кошка. Она ловит мышей.

Тогда только, должно быть, понял и хозяин и перевел разговор опять на картины:

— Вот построим клуб, тогда — так и быть! — отдадим часть картин туда. Отдадим, Маша?

— Ты же знаешь, сколько я их раздарила.

— Что правда, то правда.

Хозяйка подняла голову, ямочки на щеках приветливо смеялись: отхлынула от лица краска гнева, и женщину радовало, что удалось скрыть свое раздражение.

«От кого скрыть? От неопытной Виты, от самоуверенного Олега Гавриловича? Но не от меня, старого волка», — подумал Антонюк.

— А когда он будет, этот клуб? — снова наступала Виталия.

— Пробиваю. Нажимаю изо всех сил. Вы думаете, легко одолеть министерских плановиков? Давайте вместе попросим Ивана Васильевича, чтоб помог нам. Хотя он сидит и не на совхозах, но его голос весит.

«Если б ты знал, что я ни на чем не сижу, не видеть бы мне твоих картин. Сказать? Посмотреть, какая у тебя будет физиономия? Нет, не стоит. Неизвестно, как вы будете себя вести. Вита не сдержится, если вы проявите хамство, и это усложнит ее жизнь».

— Помогите нам, Иван Васильевич, — с наивной простотой попросила Виталия.

Антонюка передернуло — не мог понять: насмешка это и над ним, над его пенсионным положением, или вера, что и сейчас он может что-то сделать?

Угощали Сиволобы тоже сверхмодно, точно в посольстве каком-нибудь: Маша поставила на стол маленькие рюмочки, бутылку коньяку, красивый кофейник, нарезанный тонкими ломтиками хлеб, масло в причудливой масленке и пластинки душистой брынзы. И все. Красиво, просто, аппетитно. Давно ли от праздничного стола, а захотелось отведать и масла, и брынзы, и кофе, да и рюмку коньяку выпить. Кто же из них такой мастер? Конечно, она, хозяйка. Однако же с такими изысканными вкусами не побоялась уехать в полесскую глухомань. Или другого выхода не было?

Искусство, с каким хозяйка собрала на стол, умение приготовить все так красиво, тихое, ласковое гостеприимство и сдержанность укротили Виталию. Девушка притихла, скептическая усмешка исчезла, казалось, она даже немножко растерялась, когда пригласили к столу, не знала, как подступиться, с чего начать.

Стульев к столу не придвинули, сесть не предложили. Действительно, как на приеме. Хозяин разлил коньяк. Поднял рюмку.

— За здоровье нашего гостя Ивана Васильевича.

«В совхоз поехать ты поехал. Вынужден был. Но работать тебе здесь не хочется. Рвешься назад, в город. Потому и организовал всю эту показуху, чтоб ошеломлять простых людей: вот, мол,

куда недоброжелатели сослали такую женщину, с таким вкусом». И снова нестерпимо, до зуда в сердце захотелось сказать, что он — пенсионер, напрасно перед ним стараются. Однако снова сдержался.

Выпили стоя. Хозяйка показала пример, как вести себя дальше: налила кофе, сделала себе бутерброд с маслом и брынзой и, захватив свою чашечку, села поодаль от стола.

Виталия потянулась к ней — села рядом. Виталия шла на мир.

— Что вы кончали? Какая у вас профессия?

— Я кончила институт легкой промышленности. И работала художником-модельером в ателье.

— О, и вы скрываете это! Полгода живете, и никто не знает. Научите наших девчат шить.

— Художник. Виталия, не шьет.

Учительница смутилась. Куда девалась ее ирония! Человека, который умеет делать то, чего не умеет делать она, Виталия не может не уважать.

— Простите, я не так сказала. Я понимаю. Вот этому и научите нас — хорошему вкусу. Нарисуйте новые фасоны, чтоб красиво было и удобно. К нам же тогда весь район кинется. Из райцентра будут приезжать.

Маша подумала и, должно быть увидев в этом для себя некоторые новые перспективы, согласилась:

— Хорошо. Давайте создадим кружок.

— Нет, правда, вы не представляете, как это нужно и как будет хорошо. И для вас тоже! Вам же скучно...

Иван Васильевич расспрашивал хозяина о совхозе. Жаловался Сиволоб: неразумно планируют, без учета того, что их совхоз за сто верст от города и вокруг бездорожье, весной и осенью к железной дороге только на тракторе добраться можно. Говорил правду, но не без задней мысли: осторожненько капал на свое руководство, подбрасывал фактики — знал характер Антонюка, рассчитывал, что тот не смолчит, где-нибудь выложит эти факты.

«Все ты знаешь. Удивительно, как это ты не знаешь, что я на пенсии? Не искал ли ты в то время счастья где-нибудь в другой республике?»

Совхозные дела действительно интересовали Ивана Васильевича, и разговор шел живо. Сиволоб рассказывает не без хитрости. Но и Антонюк расспрашивает с целью понять: чего стоит он как директор? Какие у него планы? Насколько за год изучил хозяйство, людей? И постепенно убеждается: все тот же Гордей Лукич Сиволоб, каким был, таким и остался: сверху блестит, а внутри пусто. Глубокомысленно высказывает общеизвестные истины — пускает пыль. А экономики своего хозяйства не знает. Руководства вообще. Вот ведь проклятая инерция! В ателье его надо было отправить, вместе с молодой женой, пускай бы модничали, а не совхоз ему доверять. Так нет же — числится специалистом по земле. Вертится все в той же орбите.

Маша показывала свои эскизы новых фасонов. К ним присоединился Олег Гаврилович; скучны ему были разговоры о совхозной экономике.

Пили коньяк. Так и не допили. Полбутылки осталось, для других гостей.

На улице Виталия спросила:

— Что это за порода, Иван Васильевич?

— Милые люди, — сказал Олег Гаврилович.

— О, это порода весьма любопытная! — ответил Антонюк.

Потом, уже в сумерках, когда зажглись огни в свете, падавшем из окон, кружились причудливые бабочки, они ходили по улицам вдвоем — Антонюк и Виталия. Проводив Олега Гавриловича, возвращались домой, где их ждала Надя, ждала в нетерпении и тревоге. Уже у дома девушка попросила:

— Расскажите... о моих сестрах и брате.

За день, за разговорами, Иван Васильевич как-то отошел от того, что случилось утром, почти забыл о своем рискованном признании, а когда вспоминал, то казалось оно далеким сном, фантазией, которая никого не задела, ничего не изменила. Надя, Вита по-прежнему заняты были своими заботами, и о них, этих ежедневных заботах, больше и говорили. Однако нет, не так все просто. Оказывается, девушка жила весь день с мыслями о нем, отце, более того — о своих сестрах и брате.

Неожиданная просьба ее потрясла Ивана Васильевича: как все это важно и серьезно, какую ответственность он взял на себя! И как запутал свои отношения с близкими людьми!

Начал он рассказывать о Ладе. Почему о ней первой? Видно, жила в нем подсознательная надежда, что Лада скорей, чем другие, поймет его... Он, должно быть, дольше, чем надо, и слишком восторженно говорил о младшей дочке. Виталия — о, ужас! — сказала с детской ревностью:

— Вы больше всех любите Ладу.

Иван Васильевич спохватился:

— Да нет, трудно сказать, кого больше, кого меньше. Отцовские чувства — сложная штука. Несколько дней назад я почувствовал такую тоску по сыну, что не выдержал и в ту же ночь поехал... А потом...

Хотел сказать: «А потом, в поезде, — по тебе и, видишь, оказался у вас», но не сказал, не хотел больше лгать, потому что в поезде он думал о ее матери.

Виталия не обратила внимания на это «а потом». Тихо, несмело попросила:

— Можно мне как-нибудь приехать к вам?

Такая естественная просьба! И если он пошел на признание ее своей дочерью, то, конечно, должен был сразу ответить: «Разумеется, можно».

Странно, почему он замешкался с ответом?

Вита спросила шепотом:

— Вы боитесь, что это усложнит ваши отношения с семьей? С женой вашей?

— Нет. Я не боюсь.

— Я ничего не скажу. Я — дочь вашего партизанского друга. Неужто никто из детей ваших товарищей не бывает у вас? Мне так хочется познакомиться...

— О чем ты говоришь! Конечно, можно. Нужно! Непременно нужно приехать! Ты дочь моего лучшего друга! Там, в лесу, твоя мать была самым близким мне человеком. И ты! Дочь отряда! Тебя все любили. Ты давно могла приехать. Моя вина...

— Не считайте себя виноватым. Я не хочу! Утром во мне вспыхнула злость, хотелось, чтоб вы ушли прочь. Но я подумала: тогда и маму надо винить. А за что? За то, что дала мне жизнь? Я счастлива, что живу.

Они говорили тихо, чуть ли не шепотом. Шли медленно. Миновали свой дом. Повернули и снова прошли. Неизвестно, сколько еще раз прошли они мимо освещенных окон, к стеклам которых при стуке шагов о мерзлую землю припадало лицо женщины. Наконец Надя не выдержала, вышла и с радостными укорами повела ужинать. Дело гостя — без конца есть.

Тот наш рейд, по сути первый, был в общем удачен. Нагнали страху на старост и полицейских. Дали понять и им, изменникам, и народу, что на захваченной врагом земле существует Советская власть и советский закон, что есть сила, которая защитит честных людей, сурово покарает отступников.

Увлекшись, мы под прикрытием метели заехали далеконько, в соседний район. Но вдруг распогодилось, мороз хватил градусов под тридцать. Днем — солнце, смотреть больно. Ночью — звездный дождь. И тихо-тихо. Полозья поют — за пять верст слышно. Возвращаясь назад, мы увидели, что тянем за собой «хвост» — группу полицаев. От боя они уклонялись. Правда, в бой и мы не очень-то рвались — патронов осталось мало. Надо было не только оторваться от полицаев, но и запутать следы, чтоб не привести бобиков в наш лес, в лагерь. А в такую погоду это нелегко сделать. По проторенным дорогам ехать опасно, напрямки — снег глубокий, да и свежий след по целине сразу выдаст. Ну и кружили. Как только не изловчались! Четыре наши фурманки разъезжались в разные стороны, потом опять съезжались, выскакивали на дороги, заезжали в села, меняли сани, лошадей. Не спали... Почти не ели. За двое суток километров, верно, сто пятьдесят отмахали, спидометров не было, не высчитаешь. Покуда твердо не убедились, что наконец оторвались. Тогда двинулись к себе в лес. Да и то с предосторожностями.

Вернулись полуживые. Окоченелые... Мечтали хорошенько отогреться. Подговаривали, чтобы я приказал нашей бережливой хо-

зяйке — Рощихе — раскошелиться, не жаться, как обычно, выставить сверх нормы из НЗ.

Сползли с саней, скорей в землянки, к печкам. А я — к Рощихе, чтоб отдать приказ. Разленилась, чертова баба, даже командира встречать не вышла. Подхожу к землянке-госпиталю и... остолбенел. Ребенок! Ошеломило меня его уаканье. Вот так неожиданность! Не думал я в дороге об этой беременной женщине, что так некстати появилась и осталась в лагере. Хватало других забот.

Может быть, и не взволновался бы так, если б услышал просто детский плач. А то необычный какой-то, точно крик отчаяния, боли. Клич жизни и одновременно клич тревоги, мольба о спасении.

Стою перед дверью, а войти боюсь. Может, он только на свет появился? Голенький. Может, нельзя и дверь отворить, чтоб не напустить холода? Может, мне, мужчине, и заходить неудобно? Погонит Рощиха, не постесняется. Чего, скажет, прешься! Без тебя сделают, что надо.

Пожалуй, не вошел бы, если б оно так не кричало. А то не выдержал. Быстренько отворил дверь, нырнул в землянку. Ребенок у Рощихи на руках. А фельдшер наш, Фима Рубин, молодой очкарик, над кроватью склонился, озабоченный, испуганный. Увидела меня Рощиха, заплакала:

«Помирает наша Надечка, командир!»

«Помирает? Отчего?» — нелепый вопрос.

«От родов. Горячка. Вчера еще кормила, а сегодня совсем без памяти. Дитятко помрет. Чем его накормишь без матери?! Ишь как заходится».

В первый момент охватила меня злость. Накинулся на фельдшера:

«Ты что же, чертов эскулап, роды как следует не умеешь принять?»

«А когда я их принимал? Раза три на практике, и то под руководством врача. Да это и в роддомах бывает. У опытных акушеров».

«Бывает... А у тебя не должно быть! Не должно! Слышишь?»

Не ему крикнул эти слова — себе. Злость моя вдруг обратилась в активность, решительность.

Не можем же мы допустить, чтоб в такое время здесь, у нас в лагере, умерли мать и ребенок! Нельзя допустить! Они теперь для нас — символ. Для меня символ! Жизни, победы! Сделать все, что можно и чего нельзя, но спасти! Спасти!

«Что сейчас нужно, Фима?»

«Для нее? — кивнул тот на мать. — Хороший гинеколог. И лекарства, которых у нас нет».

«Кто остался в городе из таких врачей?»

«А у нас один только такой и был: Буммель Анна Оттовна».

«Немка?!»

Эту старуху я помнил. Почти все в городе ее знали. Баба въедливая, норовистая, но акушер-гинеколог исключительный. Женщины на нее молились.

«Она, безусловно, осталась», — высказал свои соображения Рубин.

Я тоже не сомневался, что осталась.

«Что ж, привезем Буммель!»

«Не поедет».

«Поедет!»

«Тут нельзя насильно», — осторожно предупредил меня молодой эскулап.

«Это моя забота, доктор. Что нужно для него? Он? Она?» — показал я на ребенка.

«Она. Девочка. Ладненькая такая».

Суровая, безжалостная Рощиха стала до слезливости чувствительной, хлюпала носом, жалко ей было ребенка.

Рубин пожал плечами.

«Для него нужно молоко, товарищ командир. Материнское. Кормилица».

«Если б хоть корова у нас была. Соседка наша когда-то, вскоре после той войны, померла от родов, а хлопчик остался. Так мы молоко водичкой разбавляли да — в бутылочку. А на бутылочку — соску. Выпоили. Еще какой парень вырос! Разве мало их, искусственников! Только уметь надо».

«Ладно. Кормилицы не обещаю. А корова и соски будут. Покуда же делайте все, что можно, чтоб поддержать их! Рубин! Головой отвечаешь!»

Закоченевший в рейде Вася Шуганович и распаренный Будыка — любил жарко натопить — уже закусывали, не дождавшись, когда я влетел в командирскую землянку. Будыка не ездил с нами, оставался за старшего в лагере. Встретил и не сказал о таком чрезвычайном событии! Это меня возмутило.

«Ты что сделал, чтоб спасти женщину и ребенка?»

«А я тебе — главврач роддома? Что я мог сделать?»

«Размазня, так твою... Сейчас же поедешь в город и привезешь врача!»

«Так он и ждет нас с тобой, этот врач! Может, «скорую помощь» вызвать?»

«Не зубоскаль ты, человеколюбец! Собирайся!»

Будыка сидел, раскрасневшийся от выпитой самогонки, в расстегнутой неподпоясанной гимнастерке.

«Ты серьезно?»

«Нет поводов для шуток. Человек умирет! И ребенок! Младенец! Только что родившийся. Ты это понимаешь?»

Будыка встал, расправил гимнастерку, хотя ремня и не было.

«Слушаю, командир. Я — человек военный. Подчиняюсь. Но... — Он повернулся к Шугановичу. — Я прошу комиссара запомнить: за какую-нибудь неделю командир дважды посылает

людей на рискованные операции, продиктованные не нуждами отряда, не боевыми соображениями, а...»

«Чем?»

«Не знаю, чем сейчас. В тот раз — твоим тяжелым душевным состоянием».

Хитер, черт, умел выбирать обтекаемые словечки, осторожные, не взрывающие.

«Я тебе, Валентин, объясню как-нибудь на досуге, чем продиктованы мои приказы — и этот, и тот. А сейчас не будем тратить времени».

«Сколько шансов за то, что врача удастся привезти?» — наступал Будыка.

«Поеду я! — вдруг сказал Вася Шуганович. — Я знаю город, а начштаба не знает».

«Мы дадим ему Кравченко».

«Все равно поеду я!»

Вася повторил это так, что я понял — спорить бесполезно, комиссар не отступится.

«Начштаба! Документы на полицейского. Из Перероста! И на возницу!»

Будыка бросился к железному сундучку, где лежали секретные бумаги и разные печати. Оформить любой документ — на это он мастер.

«Кого привезти?» — спросил Шуганович.

«В городе остался единственный подходящий врач».

Вася сам догадался:

«Буммель?»

«Немец?» — насторожился Будыка.

«Немка».

«Не часто ли возим немцев в лагерь? Довозимся!» — неожиданно возвысил голос начштаба.

Я оборвал его:

«Заткнись! Не твое дело. Готовь документы!»

И Васе:

«Вам бы только туда добраться, а назад она сама будет лучшим пропуском. Пускай захватит свой документ. Выпьем на дорогу. Я тоже еду. В Копань. Искать роженицу. Или, в крайнем случае, дойную корову. Теперь это тоже нелегко».

Будыка оторвался от бумаг, потом подошел и виновато сказал:

«Прости, Иван Васильевич. Теперь я тебя понял».

Меня тронуло его искреннее раскаянье, даже немного смутило.

«Ладно. Без сантиментов. Бери стакан. За успех, Вася!»

«Выпьем за Анну Оттовну. Чтоб была жива и здорова, — улыбнулся комиссар. — От души пью за немку».

«Она тебя не знает?»

«Откуда! Сельского учителя? Это ее все знают».

«У Лазовенки обязательно поменяй лошадей. Назад перепряжешь».

В Перероете староста был наш человек.

«Рано придется бабушке глаза завязывать».

«Будь актером — разыграй реквизицию».

Лошади, которые не были в рейде, не из лучших. На них шибко не разгонишься. Это меня беспокоило. Я выехал вместе с ними. Сидел на санях с Шугановичем, уточнял детали необычного задания. Будыка, если б слышал, наверное, попрекнул бы: ни одной, мол, боевой операции командир не разрабатывал так детально. Сказать, может, и не сказал бы, а подумал бы наверняка, потому что была в этом доля правды. Боялся я провала. Послать на смерть Васю и старого буденновца и ничем не помочь несчастной женщине...

Распрощался я с ними на опушке и долго стоял. Слушал плач полозьев, и казалось мне, что очень уж медленно они отдаляются. Чуть не бросился вдогонку, чтоб ехать самому. Только понял — не настигнуть мне их: они на паре, да и кони приличнее, а у меня один битюг, тихоход. Я поехал в Копань.

Деревня — наша, партизанская. Каждый третий житель — наш связной. Да и в отряде из Копани человек восемь. Деревня бедная, на песках, и в мирное время там больше лесом жили — бондарили. Но люди последним с нами делились. За доброту их мы платили им тем же. Осенью налетели на мельницу, где немцы мололи, пудов триста пшеничной муки вывезли, большую часть роздали копанцам, детям на блинцы.

Были там, как и везде, полицейский, староста... Но заправлял всем бывший бригадир бондарной артели — Степан Кулик. Немецкие подпевалы, те, что не шли на связь с нами, придерживались нейтралитета, знали: тронут кого из наших — ни жизни им, ни спасения.

К Степану и подался сразу. Семья Степана привыкла к таким ночным визитам. Поскреб по стеклу — условный знак, — сразу отворили. Молча. Сам хозяин. Удивился, правда, немного встревожился.

«Один? Иван Васильевич, что случилось?»

«Есть срочное дело».

«Погоди, я кожух накину, в чулане поговорим».

«Можно и в хате».

Обычно секретные разговоры вели мы в чулане: все-таки дети, хотя и не маленькие они у Степана и научены отцом и войной.

Вошли в хату.

«Совсем один?»

«Нет. Возле бани — Коля с лошадью».

«Позавчера бобики наведывались, помогали инспектору подать собирать. Десяток свиней, гады, увезли. Чесались у хлопцев руки сделать им темную. Да я удержал».

«Правильно. Не трогай у себя дома. А то сожгут село, куда денем людей зимой?»

«Так что тебя привело среди ночи?»

«Скажи, у тебя роженица есть на селе?»

«Какая роженица?»

«Женщина, что недавно родила».

«На что она тебе? Загадки загадываешь, Иван Васильевич».

«Есть?»

Жена Степана, услышав такой необычный, непартизанский разговор, выглянула из-за ширмы.

«Анюта, Катя не разрешилась еще?»

«Нет».

«Тогда такой, чтоб недавно, нету. Молодые бабы теперь умные, не очень-то кидаются. Но скажи — на что она вам?»

«Женщина у нас родила...»

«В лагере? Откуда взялась такая? Я что-то не видел».

«От мужа-подлеца убежала. Но горячка у нее послеродовая. Надо ребенка спасать».

Анюта надела юбку, вышла без кофточки, в полотняной сорочке с вышитыми рукавами. Поняла, что в таком деле она первый советчик: шестерых родила.

«Иван Васильевич, да не обязательно вам тащить бабу в лес. Не каждая и поедет. Шуму наделает. Свое дитятко. А коли еще и муж дома, слюнтяй какой-нибудь... У меня когда Нинка родилась, такая грудница случилась, что молоко сгорело за два дня. Так я Нинку коровьим выкормила. Кипяточком разбавлю...»

«Ладно, Анюта, уговорила. По правде говоря, за коровой я и приехал. Про кормилицу на всякий случай спросил. А может, подумал, на счастье есть такая смелая. Мы б ее, как барыню, повезли. А теперь соображайте, у кого занять корову. Вернем, как только свою раздобудем. А добудем скоро. Конфискуем у какого-нибудь фашистского прихвостня».

«Так что тут думать, шум поднимать! Забирайте нашу. Еще доится. Правда, мало уже дает. Запускать скоро пора. Но для дитятка и для больной матери молочка хватит».

«У вас свои дети».

«Ничего. Живы будут. Не маленькие. Да и знаем: за вами не пропадет, Иван Васильевич».

Ах, Степан, ах, Анюта! Надо мне и вас проведать! Сколько лет не виделись! Живы ли вы там?

Километров десять от Копани до лагеря. А с коровой чуть не до утра тащились. Упиралась, мычала на весь лес. Волков накликала. Стрелять пришлось.

В лагере тревогу подняли. Будыка с разведчиками навстречу прилетели.

В лагере — сразу к Рощихе:

«Что там, Люба?»

«Опамятовалась, закричала: где ребенок? Кормила. Да нет у нее молока. Сосало, сосало дитятко, а все равно голодное. Кричала маленькая, пока из сил не выбилась. Уснула. А она в бреду — все о ребенке».

«Иди дои корову».

С коровой маялись в дороге — не переставал думать о Шугановиче и Кравченко: как там у них? А когда наступило утро и, по моим расчетам, они должны были уже вернуться с немкой или без нее, я не выдержал — не мог усидеть: поднял разведчиков, вскочил в седло, помчались к Переросту. В поле встретили. Летят взмыленные кони. Кравченко с обледенелыми усами, в армяке, стоит в передке на коленях, правит, нахлестывает лошадей вожжами. А в возке на сене рядом сидят Вася Шуганович и она — Анна Оттовна. В старой енотовой шубе, в облезлой мужской шапке. С завязанными полотенцем глазами. И смешно. И грустно. Вася мне сигнал подает: молчите, мол, не бередите до времени. Но она услышала топот лошадей, фырканье. Спросила:

«Ваши?»

«Наши», — коротко ответил Вася.

«Ох, бандиты!»

Вот, думаю, Кравченко даст ей сейчас за «бандитов», жиганет трехэтажным буденновским. Нет, улыбается дед, весело подмигивает мне.

В лагере развязали ей глаза, под ручки, как княгиню, из саней вывели. Она жмурится на снег, а глаза прямо искры мечут. Я вежливенько представился, козырнул:

«Командир отряда».

Она снова:

«Ох, бандиты!»

Партизаны, стоявшие поблизости, возмущенно загудели. Но я показал за спиной кулак: молчать, ни слова!

«Где ваши раненые или больные? Кто у вас тут? Некогда мне ваши поганые морды разглядывать».

Попробуйте стерпеть! Терплю и другим всякими знаками приказываю молчать. Веду в землянку.

Услышала она детский крик — вся посветлела. Вошла в землянку — сразу шубу долой, очки на нос, рукава засучила и прикрикивает на Любу:

«Воды! Горячей!»

А потом нам с Рубиным:

«А вам что надо? Женского органа не видели?»

Вылетел я из землянки, как пристыженный мальчишка. Рубин — за мной.

«А ты куда? Ты же медик, черт тебя побери! Глаз не спускай! И учись!»

Пока старуха колдовала там над Надей, Вася Шуганович рассказал, как они ее взяли. Хлебнули горя.

По большаку в город Кравченко не поехал — у въезда застава, еще задержат, несмотря на полицейские документы, или — чего доброго — на знакомого напорешься. А въехал по заснеженным карьерам кирпичного завода. Чуть лошадей в снегу не утопил. Выбрался в глухой переулок, недалеко от дома Буммель.

Хороший дом — особняк за высоким забором. Муж ее, покойник, инженером на лесопилке работал, было из чего построиться.

Постучал Вася в ворота — собака отозвалась по ту сторону. Волкодав. Не залаял, а предупреждающе зарычал: мол, не вздумай лезть, я из тех, кто много шума не делает, но клыки у меня острые.

А у Васи было-таки намерение перемахнуть через забор, чтоб добраться до окон.

Застучал в ворота сильней. Обученная собака отошла к дому и залаяла где-то, видно на крыльце, — будила хозяев. Наконец выстрелила примерзшая дверь. Женский голос, молодой, спросил сперва у собаки:

«Что там, Рекс?»

А потом крикнул тому, кто стучал:

«Кто там?»

«Я начальник полиции из Перероста. У меня помирает жена. Я прошу Анну Оттовну...»

«Анна Оттовна никуда не поедет в такую рань. Вообще она теперь в села не выезжает».

И хлопнула дверь. Заскулила собака, которую не пустили в тепло.

Что делать? Как прорваться к самой Буммель?

Шуганович взял у Кравченко кнут — и на забор. Волкодав кинулся, чтоб стащить человека с забора. А Вася сам соскочил на собаку. И здорово огрел кнутом. Завыл зверь, поджав хвост, озираясь, потащился к крыльцу, чтоб там, с помощью хозяев, преградить непрошеному гостю дорогу в дом.

Сразу засветилось в окнах. За дверью мужской голос что-то сказал по-немецки. Испуганно крикнул во двор:

«Вер? Я стреляйт!»

«Эх, как вы тут напуганы. Я возле пущи живу и не боюсь. Я — начальник полиции из Перероста. Анна Оттовна! У меня умирает жена! Вы же врач. Богом молю. Войдите в положение!»

Тогда отворилась дверь, и появилась она сама, как привидение: белые волосы, черное пальто или шуба, из-под него длинная, до полу, белая ночная сорочка.

«Что вам надо?»

«У меня умирает жена. Я — начальник полиции».

«Меня не интересует, кто вы. Откуда?»

«Из Перероста».

«Я никуда не езжу».

Шуганович упал на колени.

«Анна Оттовна! Милостивица! Одна надежда на вас. Прошу. Всю жизнь буду бога молить. Трое детей сиротами останутся. Пожалейте».

Видно, тронуло ее.

«Заходите в дом».

В комнате, тускло освещенной керосиновой лампой, молодой

немчик подозрительно оглядел Шугановича, не вынимая руки из кармана домашнего халата, — явно держал пистолет.

Анна Оттовна из другой комнаты что-то говорила ему по-немецки. Вышла она уже в черном платье. Тоже оглядела Васю, удивилась.

«У тебя трое детей? Когда успел?»

«Успел».

«А в полицию чего пошел?»

«Что я, хуже людей?»

«Разве все люди в полиции?»

«А я так думаю — лучшие».

«А я так не думаю».

Немчик хлопал глазами — не все понимал. Буммель переводила, но не то, что сказала, — Вася понял по ее интонации и по хитрой усмешке девушки, которая грела спину у печки.

«Что с женой?»

«Позавчера родила. Фельдшерица наша роды принимала. А вчера горячка такая началась, что без памяти баба лежит, бредит...»

Докторша тихонько свистнула:

«Ничем я вам не помогу. У меня в больнице умирали от такого заражения. Тут надежда только на нее самое да на бога. Нечего мне ехать по морозу».

Вася Шуганович шапку об пол и заревел, как маленький:

«Не поеду я без вас. Не поеду! Хоть убейте! Теща голосить. Она меня из дому выгонит без вас».

Буммель переговорила с немцем. Спрашивает:

«Какой гонорар будет?»

«Какой гонорар?»

«Что ж вы думаете — я бесплатно поеду?»

«А-а, вы про плату! Заплачу, Анна Оттовна. Хорошо заплачу. Хотите — рублями, хотите — марками».

«Два пуда муки, три кило сала, две живые курицы, два литра самогонки, первача».

«Крепко-таки заломила баба», — смеялся потом Шуганович.

«Все будет. Больше будет».

Она посмотрела на часы.

«Подождем, пока рассветет».

А до света еще часа два. Декабрь. Взмолился Вася:

«Анна Оттовна! Дорога каждая минута. Да и кони стынут. Дядька родной замерзнет в санях».

Соблазнил, видно, старуху высокий гонорар. Согласилась. Быстро оделась. Принесла ей девушка акушерский саквояжик. Вася говорит:

«Анна Оттовна, документик какой-нибудь захватите».

«Зачем?»

«Назад вас дядька, может, без меня повезет. Чтоб наши не цеплялись на контрольных постах».

Послушалась, взяла.

Сели. Поехали.

Поскольку решили возвращаться по своему следу — через кирпичный завод, Шугановичу пришлось прежде времени, на сонной улице города, раскрыть карты.

«Анна Оттовна, пусть вас не удивляет дорога, по которой мы поедем. Нам не хочется встречаться с вашими полицаями. Характеры у нас разные».

Дернулась старушка, словно хотела из саней вывалиться.

«Спокойно. Гарантируем полную безопасность, возвращение домой, условленный гонорар. Даже курочек раздобудем».

«А если я закричу?»

«Не советую. Есть кляп», — отозвался Кравченко.

«А погонятся — у нас не будет другого выхода...» — Шугановича достал из кармана кожуха пистолет.

«Как, убить старую акушерку?! Бандиты!»

«Осторожно, дамочка!» — предупредил Кравченко.

Умолкла. Только в карьерах, когда лошади месили сугробы, снова заговорила:

«Предупреждаю. Я умею потрошить только баб. Резать ноги или руки вашим раненым я не умею. И не буду! Так что напрасно меня везете».

«Вы займетесь своим делом».

«Что, аборты вашим шлюхам?»

Кравченко не выдержал:

«Ты у меня докаркаешься, старая ворона! Не была б ты нам так нужна, я б с тобой иначе поговорил!»

Пришлось Шугановичу попридержать буденновца. И извиниться перед докторшей.

Она умолкла — как воды в рот набрала. Только когда предложили перед Переростом глаза завязать, страшно возмутилась и обиделась. По-мужски ругалась.

Долго, часа два, занималась Буммель нашей больной. Да и ребеночка тоже, как потом Люба рассказывала, осмотрела, перевязала по-своему пупок, учила, как кормить — в каких пропорциях смешивать молоко и воду.

Мы ей в командирской землянке завтрак приготовили. Царский по нашим условиям. Выставили все лучшее, что имели. Вышла она из госпиталя, я ее встретил. Хмурая, но прежней злости на лице нет.

«А теперь что будете делать со мной?»

Я откозырнул.

«Командование отряда просит вас позавтракать с нами».

Удивилась. Согласие как милостыню бросила:

«Что ж, позавтракаем».

В землянке увидела Васю Шугановича, его виноватую улыбку — снова встопорщилась. Тут же предупредила:

«За ваши штучки — двойной гонорар. Курочек забыл захва-

тить, когда лошадей перепрягал? Консервами отдашь. Двадцать банок. Живете, вижу, не бедно», — кивнула на стол.

«Насчет гонорара не беспокойтесь», — заверил Вася.

«Я не беспокоюсь. Ты побеспокойся».

«Руки помоете?»

Глянула на свои костлявые кисти, потом — на наше полотенце, что висело на гвоздике у умывальника. Грязноватое полотенце, партизанское. Брезгливо поморщилась.

«Ах, бандиты! Заразили бабу, а потом Буммель хватают посреди ночи. Вы думаете, Буммель бог святой? А она такая же баба, только старая. Чья жена?»

«Моя», — отвечал я.

«Не ври, Антонюк. Твоя уехала. Разве что другую завел?»

Меня как кипятком ошпарило. Неужели, думаю, Люба или Рубин по простоте своей выболтали мою фамилию и все прочее? Шкуру спущу, если так. Хотя меня она могла знать с довоенного времени. Невысока должность заведующего райзо, с городскими медиками почти не встречался, но если эта бабка специально интересовалась партактивом... все-таки немка. Спрашиваю с иронией:

«Немцам и такие детали моей биографии известны?»

Поняла.

«Не знаю, что известно немцам. А мне известно. О тебе в городе немало говорят. Целые легенды ходят. Немецкое командование награду объявило за твою голову».

«Большую?»

«Не помню суммы. Но помню, когда прочитала, подумала: типичная немецкая скаредность. За такую голову не жалко и в пять раз больше. Ценная голова».

Вася Шуганович засмеялся. А Будыка, который во время этого разговора все краснел, особенно когда она опять нас бандитами назвала, что-то сердито сказал по-немецки. Анна Оттовна перевела:

«Офицер говорит, что за такие шутки в военное время расстреливают. Мне это угрожает?»

«Вам пока что угрожает вот эта стопка спирта, — я налил полстакана, а ногой под столом толкнул начштаба: будь человеком, а не военным бюрократом! — Пьете так или разводите?»

«Развожу».

Развела водой и, не чокнувшись, выдула до дна.

«А я выпью...» — начал Вася.

«Только не за здоровье роженицы», — перебила Буммель.

«Почему?»

«Никогда не пейте за человека, находящегося на грани между жизнью и смертью! Я суеверная».

Я осторожно спросил:

«Есть надежда, Анна Оттовна?»

«Надеяться можно только на бога. Да на нее самое. Такие у нас и в больнице умирали. В мирное время».

«И ничего нельзя сделать?»

«Что могла — сделала. — Накладывая на тарелку ломтики душистого жареного сала, задумалась, вздохнула. — Попытаюсь еще что-нибудь сделать. Не для вас, головорезы (однако не бандиты уже). Для нее. Несчастный женский род! Чего только не выпадает нашей сестре на долю. Я передам лекарство. У нас такого не было. (Все трое после ее отъезда вспоминали это «у нас», значит, она причисляла себя к нам, к советским людям, а не к фашистам.) Антибиотик. А у немцев есть. Ваш жидок умеет хоть уколы делать?»

«Он же в районной больнице работал».

«Помню. Но было там неумех сколько хочешь. Разве так надо обучать медиков, как мы учили?»

Раскусить ее было невозможно. Еще раза два она выразила недовольство нашими довоенными порядками: и это худо, и то не так.

Будыка не удержался, хотя я и толкал его, и язвительно спросил:

«Под властью соотечественников вам живется лучше?»

«Не закидывайте удочки, товарищ офицер. Не клюнет. Я думала, вы умнее. Вас война радует? А я — женщина. Врач. Кроме зова крови, есть зов разума».

Понимайте, мол, как хотите.

Странно, что Будыке она говорила «вы», а нам с Васей «ты».

Под конец завтрака, когда немного подвыпили, я попытался было расспросить ее о некоторых знакомых. В том числе и о Свояцком. Тоже не клюнула старушка. Отрезала:

«Не вздумалось ли вам сделать меня своей шпионкой? Вы хитры, но и я не дура... Да и мало меня интересуют эти люди. Я с ними не встречаюсь».

Заплатили мы ей щедро. Рощиха ужаснулась, когда узнала, хотя, чтоб спасти Надю и ребенка, ей ничего не было жалко. Просила не говорить партизанам, как дорого нам обошелся этот вынужденный визит немки-акушерки.

Будыка тоже ворчал. Провожая Буммель, порывался предупредить, что если партизан, который ее повезет, не вернется... Но я разгадал его намерение. Остановил: никаких предупреждений! Будем верить до конца.

Партизан вернулся. И привез полный чемодан бинтов и лекарств разных — как раз того, чего у нас не хватало. Золотая бабуля. Ругала на чем свет стоит. Однако оказалась человеком. За наше доверие и щедрость так же щедро отплатила. И потом выручала не раз. Медикаментами. Только медикаментами. Мол, выполняю долг врача — и не более. А нам от нее больше ничего и не надо было. Связных у нас хватало.

Будыка тогда сказал, когда мы рассматривали присланные Анной Оттовной медикаменты:

«На этот раз, командир, интуиция тебя не подвела. Но когда-нибудь ты погоришь из-за своей доверчивости».

Горел. Однако не сгорел. Не сгорел, Валентин Адамович! А людей, случалось, выручал. Может быть, и Надю спас этим немецким антибиотиком. И Виту.

Спят мать и дочь на одной кровати. Нет, мать не спит. Я слышу по твоему дыханию, Надя. О чем ты думаешь? Почему тебе не спится? Спи. Добрых снов тебе, мой хороший друг. Пора и тебе уснуть, неугомонный пенсионер. Завтра — в путь.

IX

— Жалуются на вас, Иван Васильевич.
— Лично на меня?
— На вашу комиссию.
— Будыка?
— Догадливы. Разве комиссия занималась только институтом?
— Однако теперь — институтом.
— Сколько тянется это «теперь»? Не слишком ли долго?
— Вы хотите от пенсионеров такой же прыти, как от штатных работников?

Секретарь горкома, начавший разговор как будто строго и неприветливо, вдруг рассмеялся.

— У таких пенсионеров, как вы, иной раз больше прыти, чем у наших... Я своих инструкторов пока не подстегну... Не скажу, что горят на работе...

Антонюк насторожился: не подсмеивается ли секретарь над прытью пенсионеров? Болезненная подозрительность, не свойственная ему раньше, появилась в последнее время.

Но то, что говорил секретарь, как он это говорил, успокоило. Порой шутливое слово всего серьезнее и всего красноречивее. Смех, как ничто, раскрывает человека.

Евгений Павлович — новый работник, год, не больше, на этом посту. В официальной обстановке Антонюк встречался с ним не раз. Тогда почему-то больше занимало: какой ты руководитель, что знаешь и умеешь. А сегодня, пока обменивались общими фразами о зиме, о том, как много она отнимает человеческой энергии — такие снежные заносы! — Ивану Васильевичу все хотелось спросить у секретаря, сколько ему лет; раньше это его не интересовало, и он не узнал. У Евгения Павловича больше седины, чем у него, хотя тот, безусловно, моложе лет на пятнадцать. По сути, молодой еще человек, в расцвете сил. Но удивительно изменчивое лицо: иногда кажется совсем старым, суровым, а иногда юношески молодым и добрым, как сейчас, когда оно освещено улыбкой.

Антонюк сказал:

— Что до прыти в работе, так ее, верно, было мало, если так рано попросили уступить место более молодому.

— Или, может быть, слишком много? — прищурился секретарь.

— А вот в лесу, на охоте, не догоните, могу похвастать. По любому снегу. На лыжах и без лыж.

— Вы, охотники, крепыши.

— Мы как законсервированные. Не стареем. Не сгибаемся. Помираем на ходу. Вы что-то рано поседели, Евгений Павлович. Простите, сколько вам лет?

На лицо сразу легла тень строгости, усталости.

— Подошел возраст, когда я начинаю вас догонять.

— Не торопитесь, — пошутил Антонюк. Но, увидев, что не склонен человек говорить о своих годах, вернулся к делу, по которому его пригласили. — На что жалуется Валентин Адамович?

— Говорит — из-за вашей проверки институт лихорадит. Мешает творческой работе.

— Творец!..

Секретарь внимательно посмотрел на Антонюка.

— Что вы так... пренебрежительно? Крупнейший наш ученый.

— Я не посягаю на его научный авторитет. Но чем мы ему мешаем? Лично с ним, кажется, никто из нас еще не говорил.

— Вот это и худо. Это людей нервирует. И вы не говорили?

— Я говорю с Будыкой почти каждый день. Но я не специалист. А общих выводов у нас пока еще нет.

— Кстати, он ставит вопрос о некомпетентности комиссии. Не специалисты.

— Неверно. В комиссии есть инженер-машиностроитель. Между прочим, не пенсионер еще. Есть экономист-плановик. А в таких областях, как партийная работа, кадры, полагаю, можем и мы, пенсионеры, разобраться.

— Думаю, что можете, — согласился секретарь и помолчал, искусно вертя в пальцах толстый синий карандаш. — Какие у вас отношения с Будыкой?

Антонюк удивился.

— Он говорил что-нибудь о наших отношениях?

— Нет. Но говорили другие. Еще тогда, когда комиссия начинала работу.

— Мы вместе партизанили. Вместе хлебали и беду и радость. Два десятка лет друзья, дружим семьями. Вам говорили другое?

— Да нет. Это же. Потому, признаюсь, мне тогда не понравилось, что группу возглавляете вы. И вас не понимал — зачем согласились? В конце концов, никто вас не заставлял. Добрая воля.

— Не подкапываться под Будыку или под кого-нибудь я шел. За многие годы работы я привык понимать партийную проверку, как способ помочь организации, людям. За исключением, разумеется, чрезвычайных случаев, когда требуются срочные оргвыводы. Валентин Адамович хороший инженер, ученый, человек с головой. Но и у него есть свои слабые места. Я их знаю лучше, чем

кто бы то ни было. Мне хотелось помочь старому товарищу... Со стороны всегда виднее.

— Он это понял иначе.

— Жаль. Но он человек настроения. Пошуметь, показать себя любит, но и переубедить его можно. А делу было бы на пользу.

Секретарь тайком вздохнул.

— Жаловался он не в горкоме. Выше. Оттуда был звонок. И в довольно категорической форме. Ваша ошибка, что вы слишком затянули проверку. Это действительно, как там сказали, пенсионерские темпы.

Опять пенсионерские! Иван Васильевич разозлился. Секретарь, этот молодой поседевший человек, вдруг поблек в его глазах.

«Неужто и ты испугался? Ох, до чего ж мы боимся, чтоб не вытащили из-под нас кресло! Кто-то там позвонил, не разобравшись, и ты готов бить отбой, тоже не вникнув в суть дела».

Сказал грубо, со злостью:

— Все ясно, товарищ секретарь. Пенсионерскую лавочку закрыть! Работу комиссии — на свалку. Не мешать ученым! Так?

Евгений Павлович чуть заметно улыбнулся и с укором покачал головой:

— Горячий вы человек, Антонюк.

— Да уж какой есть. Переделываться поздно.

— Так вот что. Не так! Вовсе не с такими намерениями я вас пригласил. Тут вы явно поторопились с выводами. Скажите, может уже быть серьезный разговор по результатам работы комиссии? Чтоб не по мелочам. Не только о том, что Будыка взял на работу своего сына.

— Сын его — из лучших работников.

— Даже так? — удивился секретарь.

— Настоящим ученым будет. Для разговора хватит других тем. Более серьезных. Например, насколько автоматы, спроектированные институтом, находятся на уровне достижений мировой конструкторской мысли. Выше или ниже?

— Комиссия сумеет в этом разобраться?

— Попробуем.

— Последняя их автоматическая линия выдвинута на Ленинскую премию.

— Быть выдвинутым — еще не значит получить. Покрасоваться, правда, можно. В списках. Поднять себе цену. Кое-кто удовлетворяется этим.

— Думаю, Валентин Адамович рассчитывает на большее.

Ивану Васильевичу вдруг стало весело. Наверное, потому, что представил разговоры со старым другом, или потому, что понял, как нелегко было секретарю сделать выбор: и после того, как высказал свое принципиальное решение, все еще взвешивает, примеряет, тянет разговор, будто бы оспаривает собственное решение или хочет предупредить Антонюка, с кем тот имеет дело.

— Ученые института когда-нибудь получат премию. Но им надо помочь.

— Им или их директору?

Антонюк засмеялся.

— Евгений Павлович, скажите Будыке, что работа комиссии ему помогает получить премию. Эх, выдаст мне Валентин! Но ничего. Бывало, что мы за пистолеты хватались. Однако ничто не разрушило нашей дружбы.

— Прошу об одном: кончайте скорее. Нельзя тянуть, когда такие жалобы.

— Спешить не будем, чтоб не наломать дров. Но постараемся не затягивать.

День был серенький. Оттепель. На тротуарах скользко. Здесь, на боковых улицах, их не очень-то чистят. Полагаются на совесть дворников. Если пройти на рассвете, можно увидеть, как лопатами, доисторическим способом, скребут их старые женщины-дворничихи. Где тротуар нечищеный, так и знай: тут дворник мужчина, ему после вечерней попойки не подняться на рассвете. Иван Васильевич пробовал проверять: из четырех случаев ошибся только раз.

За два года он изучил эти улицы лучше, чем за двадцать предыдущих. Каждую заплату на асфальте, трещину в стене, каждую витрину (их тут немного), каждую липу и каштан. И — странно! — не надоело. Он любил этот уголок. Любил здесь гулять, медленно, по-пенсионерски, потому что спешить было некуда.

Ольгу Устиновну прямо пугала такая медлительность человека, за которым раньше приходилось мчаться чуть ли не бегом, когда выходили погулять, в гости или в театр. Иначе он ходить не умел.

Она, верно, обрадовалась бы или еще больше испугалась, если б увидела, как Иван Васильевич вышел из горкома, как шел по скверу к проспекту на троллейбусную остановку.

В коридоре горкома, шагая по мягкой ковровой дорожке, подумал:

«Будыка жалуется на такую скромную комиссию? Дрянь твое дело, Валька! Дрянь. Надо тебе помочь. Веселенький у нас будет разговор. Но я не отступлю — ты меня знаешь».

Не было ни капли иронии или язвительности в этой мысли, во внезапном желании поскорее встретиться со старым другом, поговорить с ним. Искренний порыв души. Он не стал даже звонить по телефону, чтоб узнать, в институте ли Валентин Адамович. Не хотел размагничиваться, тушить свой душевный порыв. Разозлился на студентов, которые бесцеремонно оттеснили его от входа в троллейбус. Пришлось одну машину пропустить.

Не заметил дороги в три километра — таким горел нетерпением, хотя сознавал, что это, наверное, будет нелегкая беседа, что они могут немало испортить друг другу крови, как случалось уже не раз.

— Здесь шеф?

Секретарша всегда встречала приветливо, любила перекинуться словцом, пошутить. А тут как будто испугалась.

— У Валентина Адамовича люди. Но — пожалуйста, пожалуйста, — и сама отворила красиво отполированную дубовую дверь, объявила, как на дипломатическом приеме: — Иван Васильевич Антонюк!

— Заходи. Что ты там зацепился за Галину? — прогудел в глубине огромного кабинета голос Будыки.

Валентин Адамович не встал из-за своего овального модерного стола с особыми полочками по бокам, не поднялся навстречу гостю. Он даже не бросил работы — чтения бумаг. Не из пренебрежения. Наоборот, подчеркивая этим, что зашел очень близкий, с в о й человек. С одной стороны лежал грудью на столе, коленями на кресле, Клепнев, выставив прямо против двери свой широченный бабий зад, засаленные штаны на котором натянулись так, что, казалось, вот-вот лопнут. Он тоже не обернулся. Его поза возмутила Ивана Васильевича.

«Толстая свинья».

У другого конца стола скромно сидел главбух, высокий, хорошо одетый, красивый старик. Бывает же красивая старость! За спиной у Будыки стоял его заместитель по материально-техническому снабжению и тыкал пальцем в бумаги.

— Да разберусь без тебя. Гудишь, как шмель над ухом. Здорово, Иван, — Валентин Адамович бегло взглянул, протянул руку. — Посиди, пока я расправлюсь с этими кукурузниками... злодеями... мучителями моими. — Слова эти он произносил округло и вкусно, с шутливым добродушием.

Бухгалтер и снабженец довольно ухмылялись: вот, мол, какой у нас директор, душа-человек. Клепнев хохотнул так, что, казалось, забулькало где-то в его бездонной утробе. Он наконец сполз со стола, жестом сопляка-мальчишки подтянул штаны и после этого энергично выбросил руку навстречу Антонюку.

— Здоровеньки булы, персианальный.

Будыка недобро блеснул глазами на своего верного слугу. Не отрываясь от бумаг, спросил у гостя:

— Куда ты удрал так внезапно? — И продекламировал: — «Иван бежал быстрее лани».

— «Быстрей, чем заяц от орла», — продолжил Клепнев, опять наваливаясь на стол и суя нос в директорские бумаги.

— Дорогой Эдуард Язепович, дирекция и партком были бы вам глубоко признательны, если бы вы поприсутствовали на лабораторном испытании БВ-65.

Хотя сказал это Валентин Адамович все тем же шутливо-дурашливым тоном, но Клепнев понял, что его вежливо просят выметаться из кабинета, да только не сразу до него дошло — за что? Почему вдруг так изменился директор? Клепнев не сполз, как

раньше, а соскочил со стола, подтянул штаны, которые никак не хотели держаться на его круглом животе, покраснел.

— Сейчас ехать?

— Ласкач звонил полчаса назад. Я обещал сам приехать, но видишь: дела, люди... Одна нога здесь, другая там. Скажи — пускай начинают. Передай Ласкачу, чтоб потом показал мне режимный график.

Эдик, шутовски отсалютовав всем сразу, покатился к двери.

— У тебя надолго, дед? — спросил Будыка у бухгалтера, подписывая бумаги снабженца.

— Пять минут.

— Знаю я твои пять минут! Вон какую папку приволок! До тебя партгосконтроль уже добрался? Нет? Странно, что они не начали с поисков финансовых махинаций, наших с тобой. Ведь ты, дед, известный растратчик. А я аферист-рецидивист. Белянков — наш агент. Пожондная * компания.

Бухгалтер укоризненно, с мягкой улыбкой на красивом лице покачал головой, глядя при этом на Антонюка: полюбуйтесь, мол, что за шутник наш директор, иногда пересаливает, но чего не простишь остроумному человеку!

— Зайти попозже, Валентин Адамович?

— Зайди попозже, дед.

Когда Будыка наконец всех выставил из кабинета и они остались вдвоем, Иван Васильевич пересел в мягкое кресло на место бухгалтера. Очень удобное кресло. Вообще ему нравился этот просторный, со вкусом обставленный — ничего лишнего! — кабинет. Он даже немного завидовал Будыке — тогда, когда у него был еще свой кабинет, тесноватый, со старой мебелью. В таком кабинете, как у Будыки, появляются масштабные, широкого охвата мысли. И в то же время как-то легче отключиться от дел, от серьезных размышлений, чтоб несколько минут отдохнуть в таком вот мягком кресле. Выкурить хорошую сигарету, выпить чашку кофе. Между прочим, Будыка и это умел организовать: кабинет его чуть не единственное место во всем городе, где гостю быстро и красиво могут подать настоящий кофе.

Иван Васильевич пожалел, что давно бросил курить, вдруг почему-то захотелось взять папиросу. И кофе захотелось. Валентин словно прочитал его мысли. В дверях уже стояла секретарша.

— Галина Артемьевна, нам кофе. По последнему рецепту.

— С коньяком?

— Ах, Галина Артемьевна! Выдаете меня с головой. И кому? Партгосконтролю!

— Не кривляйся, Валька, — просто сказал Иван Васильевич, когда секретарша закрыла за собой дверь. — Не такой уж ты талантливый комик!

---

* Почтенная (польск.).

— А может, мой талант только раскрывается? Почем ты знаешь?

— Поздно.

Будыка вышел из-за стола, сел в кресло напротив, лицом к лицу, спросил серьезно, с сердечностью и заботой близкого человека.

— Как там Вася?

Ивана Васильевича тронула его забота. Ольга права: что бы ни случалось, как бы там ни было, Валентин всегда оставался самым близким, самым верным другом семьи, никогда не отворачивался.

— Ничего. Несет службу, как говорят военные.

— Что-то очень уж неожиданно ты сорвался. Ольга назавтра позвонила Миле встревоженная. Не поверила тебе, что ничего не случилось. Я тоже обеспокоился. Попросил генерала Воднева по их линии связаться с Крымом, с частью. Он вечером мне позвонил, что все в порядке, Василий Иванович Антонюк жив, здоров, на прежнем месте, несет службу исправно и так далее.

— Напрасно ты беспокоил людей.

— Я же знаю тебя не хуже, чем Ольга. Не в твоем характере такие поездки.

— К сыну?

— Много раз ты ездил раньше?

— Не попрекай. Видно, старею. Больше стал думать о детях. Иногда чувствую, не все сделал, что мог. Для детей.

— А чего недоделал? Разве только с Василем поторопился...

В порыве дружеской откровенности захотелось рассказать о посещении Нади, о Виталии, о своем неожиданном признании. Посоветоваться, как держать себя дальше, например, в случае, если Вита приедет, а она, наверное, приедет... Что сказать Ольге, Ладе? С кем еще посоветуешься об этом? Главное — ничего объяснять не надо. Валентин все знает до мелочей... И все поймет...

«А поймет ли?..» — остановило сомнение, возникающее уже не впервые. Показалось, что и тогда, в партизанской землянке, Будыка не все понимал. А теперь, когда взошел на вершину славы, стал хозяином этого великолепного кабинета, давно уже слушает и слышит в первую очередь самого себя. А может быть, это он, Антонюк, в последнее время замкнулся, стал подозрителен и недоверчив? Когда человека считаешь другом, надо идти к нему, как говорят, с сердцем на ладони. А он? Так он приходил к Валентину?

— Сын сказал тебе что-нибудь неприятное, что ты нахмурился?

— Нет. Мы хорошо поговорили. Вася не в обиде. И я убедился, что служба ему на пользу. Его море зачаровало. Единственное, что меня немножко огорчает: останется парень на море.

Будыка засмеялся.

— Теперь я вижу, что стареешь. Хочется тебе собрать детей под свое крыло? Не выйдет, Ваня! Не те времена! Пускай летят! В море. В космос. Куда кого тянет.

Секретарша принесла кофе. Поставила поднос с чашками на круглый столик. Назвала фамилию человека, который ждет в приемной.

— Попросите его зайти через час. И тогда уже — прямо ко мне. Кто бы тут ни был. А сейчас — пусть извинит меня. Иван Васильевич редкий гость. Хотя по всем линиям ему надлежит наведываться чаще... Как другу...

Галина Артемьевна, привлекательная женщина, из тех, чей возраст никак не угадаешь, понимающе улыбнулась: мол, все знаю, объяснять не надо.

Неприятно как-то кольнула ее улыбка Ивана Васильевича. Понял: против комиссии восстановлен весь аппарат института, от самого Будыки, его заместителей до секретарш и машинисток. Пришел сюда, намереваясь поговорить с Валентином сердечно, откровенно, по-дружески. Даже если тот вскипит — покорить, обезоружить его своим спокойствием. А тут вдруг море всколыхнулось, ударило первой волной, и через мгновение душевного штиля и в помине не осталось. Дурацкие нервы! На черта ему эти волнения? И из-за чего?

— Сядем туда, удобней будет.

Из особой тумбочки, стоявшей у круглого стола, Будыка достал початую бутылку коньяку, рюмки.

Антонюк попытался «разрядить» себя шуткой:

— Ого! Шикарно живешь! Можно позавидовать.

— Не мало таких, которых ест, как ржавчина, этот пережиток. Ну, будьмо!

— Говорят, жалуешься?

— На кого? — Будыка отдернул, точно обжегшись, поднесенную ко рту рюмку, поставил обратно на стол. — Жалуюсь? Нет. Просто хочу вежливо указать твоим пенсионерам на дверь.

— Да что ты! Такой ученый, такой деятель — и испугался народного контроля? Что-то с тобой неладно, Валентин. Не от уверенности такая нервозность...

— Все со мной ладно. Не бойся. Уверенности в работе, в своих людях мне не занимать. Но я не позволю, чтоб у меня путались под ногами, заводили тут мышиную возню... собирали обывательские сплетни. Вы три месяца сквозь лупу разглядывали диссертацию моего сына.

— Диссертация твоего сына — одна из лучших.

Будыка вскочил с места, обрадованный и негодующий.

— Ага! Что? Не вышло? Осечка? Проверяльщики! — И тут же пошел на мировую: — Сам читал?

— Читал. Не все, правда, понял — сложные расчеты. Но специалисты дали высокую оценку.

О, великая сила — отцовская гордость! Засиял человек. Однако продолжал возмущаться:

— А ты думал, Будыка тащит в науку сына по блату, протаскивает бездарность?

— Я так не думал.

— Ты не думал, другие подумали. А ты поверил. Комиссию возглавил. Никто тебя не вынуждал. Зачем это тебе, скажи, пожалуйста? Пенсию тебе повысят, что ли?

Тяжело, с гулом ударила волна обиды и возмущения. Опять пенсия! Ударила в сердце, погнала кровь к вискам. Но снова выстояла дамба спокойствия, не обвалилась, не прорвалась.

— Хотел тебе помочь.

— Мне помочь? — ошеломленно переспросил Будыка и остановился рядом, разглядывая друга, как чудо заморское.

Антонюк глотнул коньяка, запил кофе. Это еще, видно, больше поразило хозяина. И взорвало. Спросил придушенным шепотом:

— Таким способом? — И тут же грохнул хохотом: — Спасибо тебе! Ты меня спас. Только от чего?

— Хочу спасти. От тебя самого.

Валентин Адамович так же внезапно и резко перешел на важный и серьезный тон:

— Прости, я забыл. Теперь у тебя единственное занятие — помогать друзьям... Высочайшая миссия!

Это было тоже оскорбление, более тонкое, а потому более злое. Но — странно — оно почти не задело; волна отхлынула, с шумом унеся с собой гальку прежней обиды. Теперь можно наступать, не боясь сорваться.

— Ты порадовался за сына. Я тоже рад за Феликса. Он идет в науку. А рядом ползут, лезут в каждую щель разные жуки, слизняки и... клепни. А ты им покровительствуешь. Клепнев — будущий кандидат! Смеха достойно!

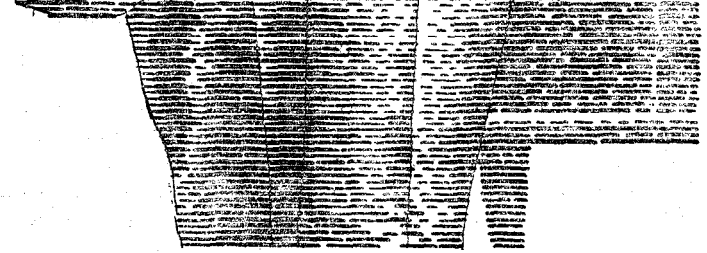
Будыка сел. Выплеснул в широко раскрытый рот коньяк, вытер платком руки: видно, они вспотели. Сказал спокойно, запросто:

— Ничего у вас и тут не выйдет, Иван. Каждый имеет право сдать минимум, писать на любую тему. У Клепнева тема неплановая. Зарплату он получает не за то, что пишет диссертацию. Защищать будет не у нас, если тебе известно положение. Не я его научный руководитель. За одного из жуков я несу известную моральную ответственность. Да, у жуков есть Жук, — Будыка засмеялся. — Я не без греха, Иван. Но спасать меня не от чего. И не от кого. Нет. Напрасно тратишь время, командир. Пей. Кофе стынет.

— За твою уверенность. Но мне хочется понять. Зачем ученому Клепнев?

Будыка скривился, как от зубной боли.

— А-а, черт! Дался тебе этот Клепнев. Да пойми ты наконец. Он нужен не ученому, он нужен директору, который отвечает за все. Да не могу я день и ночь заниматься административной работой. Я — ученый, конструктор. Для тебя Клепнев — пройдоха, для меня — делец, выбивала, доставала, как хочешь называй. И мне нужен такой человек. Он работает за пятерых. Он осво-



бождает меня от мелких забот. Он один может раздобыть и сортовую сталь и этот вот коньяк, который тоже иногда нужен. Я не крохобор и не ханжа. Мне приходится жить и работать с людьми... Ты начинаешь меня удивлять, Иван. Никогда раньше ты не был оторванным от жизни моралистом. Ты — человек конкретного дела. И грехов у тебя не меньше, чем у меня. Не строй из себя теперь святого. Знаем...

Это была почти угроза. Но странно, и она мало тронула Антонюка. Он только подумал, что правильно сделал, не рассказав о Наде и Вите.

— Если я и строю из себя святого, на меня все равно никто не молится. А ты хочешь, чтоб на тебя молились. Есть разница.

Снова хозяин развеселился, и на этот раз, кажется, искренне, без игры: жонглировал ложечкой, по-мальчишески улыбался.

— Ты только сейчас открыл, что на меня молятся? Молятся давно. Но кто? И за что? Кто разбирается в моей работе, в моих станках... Мои заслуги перед промышленностью... Не может быть ни политики, ни науки без авторитетов. А ты поставил себе целью сбросить с пьедестала всех святых. Попробовали недавно. Но тут же водрузили новых, против которых ты сам выступил. Природа не любит пустоты. Основное — выяснить, за что молятся и как... по доброй воле или... по приказу... В науке не прикажешь. У нас истины конкретные.

Иван Васильевич смотрел на друга и... любовался, без иронии, от души, его самоуверенностью, победоносным наступлением на позиции противника. Его жаждой и в этом споре с глазу на глаз оказаться на белом коне. Но Антонюк, как хороший тактик, видел все его промашки и выбирал момент, чтоб нанести решительный удар. По-партизански. Больше, пожалуй, не стоит завлекать противника в трясину рассуждений, в которых он может увязнуть сам. Очень соблазнительно дать бой в чистом поле. Чтоб удар был элементарно прост.

— Ты решил воздвигнуть себе «памятник нерукотворный» автоматами, скопированными с чужих... И, между прочим, не самых лучших, уже устарелых... Книгой, где формулы теоретических расчетов списаны с чужой книги...

Будыка вдруг посинел. Антонюк не часто видел его таким. Подумал, что так можно довести немолодого уже человека до гипертонического криза. Однако не отступил. Не смог. Сунул руку в карман за записной книжкой.

— Могу назвать фамилию автора... название тех автоматов и, для примера, несколько формул из той книги и из твоей... Желаешь послушать?

Нет, не желал Валентин Будыка слушать. Тяжело поднялся, как буйвол. Зацепил столик. Если бы Иван Васильевич не придержал, перевернул бы. Грубо выругался.

— Поймали блоху? Ни хрена вы не смыслите, а лезете! Законы Ньютона, Ома, Эйнштейна используют все! Кто когда считал

это плагиатом? И математические формулы! Что я, украл патент? Я взял идею. И сэкономил государству миллионы рублей. Миллионы! Кто из вас, проверяльщиков, дал их народу? Вы умеете только брать!

— Но не выдавай это за изобретение, достойное высшей награды.

— Ах, вот оно что! Врагам моим поперек горла стало выдвижение работы на премию. Это я знал. Но никогда не думал, что среди них и ты. — И вдруг совсем другим голосом, с жалостью: — Иван! Кто тебя купил? Куда ты лезешь? Книжечку завел, формулы выписываешь... Счет ведешь. Давно?

— Что давно?

— Давно тебе захотелось поставить крест на нашей дружбе?

— Мне жаль тебя, Валентин. Ты опьянел от славы.

— Пожалей себя. Себя пожалей, Иван! В кого ты превращаешься? В старого завистника и злопыхателя. Ты мстишь близким за свои неудачи. Был человеком, а становишься... — Бросил грязное слово.

Антонюк почувствовал, как снова ударила сильная, горячая волна. Поднималась буря. Он страшился этого. Не к месту. И не ко времени. А потому медленно встал и... направился к двери, не попрощавшись.

X

О его партизанской любви Ольга, конечно, знала. Тогда, сразу после войны, случалось, без причины плакала по ночам. А подчас язвила. Когда однажды в компании зашел разговор на эту тему, она сказала мужчинам, бывшим партизанам: «Хоть сто раз клянитесь — ни одному не поверю, что он безгрешен».

Будыка выскочил тогда:

«Мне, Ольга, можешь верить. Командир подтвердит».

Да, может подтвердить. Случалось, что, выпив, он целовал женщинам руки, но даже отрядные бабы не имели случая посплетничать, что, дескать, начальник штаба приголубил какую-нибудь. Будыка, очевидно, ожидал этого подтверждения при жене. Антонюк ответил шуткой:

«Валя! Не лезь вперед и не занимай первых мест, они — для инвалидов и детей».

За столом захохотали. Валентин Адамович покраснел. У Миланы в глазах сверкнула молния.

Иван Васильевич догадывался, что Ольга многое знает — о Наде, об их отношениях. От Миланы. Будыка не мог не рассказать жене, не мог не похвастаться, каким он сам был чистеньким и как вел себя командир.

Но Ольга ни разу не попрекнула его конкретно, как говорится, с указанием адреса, ни разу по-бабьи не оскорбила соперницу. Видно, зная ее драму, по-женски сочувствовала и, может быть,

благодарна была Наде за ее благородство, за то, что никаких напоминаний, никаких требований, все в прошлом.

И вот, надо признаться, что не все в прошлом. Что он, по сути, удочерил дочь той женщины. Легко ли сказать такую вещь? Если б знать, как Ольга отнесется. Но душа даже близкого человека — потемки.

Антонюк сидел в кресле перед телевизором, но смотрел не на экран — в окно. Там, за стеклом, в вечернем полумраке, шел снег. Мело. Над снежными козырьками, что свисали с крыши дома напротив, вихрились синие смерчи, вздымались белыми прядями. Снежная зима. Она волнует, как не волновала, кажется, ни одна из прежних. Пробуждает воспоминания. Зовет в лес. До боли в сердце хочется в лес. Но не бросишься ведь туда на ночь глядя. А стихнет завтра, прояснится — и уйдет это желание. Опять будешь сидеть, прикованный к телевизору. Хорошая игрушка для детей и пенсионеров!

Думать мешает внук. Малыш без конца лепечет над ухом — ему надо объяснять, что там происходит на экране. А как ты объяснишь трехлетнему ребенку скучный телевизионный спектакль? Да и трудно оторваться от мыслей и... от снега. Скоро стемнеет, включат свет и исчезнет эта чудесная сказка на крыше соседнего дома.

Мальчик мой, если б я умел, я придумал бы сказку про снег и про лес. Но я не умею придумывать для таких, как ты. Это очень трудно. У меня есть сказка про лес, да тебе ее еще не понять.

Как обычно, в комнату вошла Лада, постояла минутку, сразу определила, чего стоит передача; если что-нибудь интересное, она задерживается подольше, а иногда совсем отрывается от формул.

— Дорогие мои мужчины, наука и человечество были бы вам глубоко признательны, если б вы хоть немного приглушили эту шарманку.

— С величайшим удовольствием я выключил бы совсем, но тогда будет еще больше шуму.

— Не хочу выключать! — заверещал мальчик.

— Вот видишь...

— Наказание божеское на мою голову — такой племянничек. Он у вас доглядится до психического расстройства. Уже кричит по ночам. Если человечеству суждено от чего-нибудь погибнуть, так это от телевизора.

После его приезда жена с тревогой рассказала, что Лада стала плохо спать, блуждает ночью по квартире, непривычно молчалива, грустна. Просила его поговорить. «Тебе она больше доверяет».

Не отрывая взгляда от окна, Иван Васильевич остановил дочку:

— Лада!

— Я, папа.

— У тебя неприятности?

— Нет.

— Ты нездорова?

— Мамины выдумки.
— Ты становишься не такой, к какой мы привыкли.
— Все течет, все изменяется — сказал философ.
— Но ничто не происходит без причины.
— Если я скажу, что влюбилась, это вас успокоит?
— От любви веселеют.
— Как кто. И смотря от какой. И смотря на каком этапе.
— Интересная теория. У тебя какой этап?
— Последний.
— Что значит последний?
— Не знаю, что значит, но знаю, что последний.
— Василь рассказал мне о том, что ты скрывала. О Саше.

Очень хотелось обернуться, чтобы видеть ее лицо, глаза в этот момент. Но уже сумерки, и вряд ли можно разглядеть, что сейчас в ее глазах — радость или грусть. Он не шевельнулся.

Лада ответила не сразу.

— Я рада, что у вас наладился такой контакт... Вы поговорили даже о моей любви. Но я не поручала брату...

— Василь и не говорил, что поручала. Проговорился случайно. Но скажу откровенно, меня немножко обидело, что ты от меня таилась.

— Разве любовь — для выставки?

— Нет. Но зачем темнить: негр, Феликс?

Лада рассмеялась.

— Защитная маскировка.

— Что и от чего надо защищать? Почему все-таки последний этап?

— Не волнуйся. Могу превратить его в первый.

— Ты загадываешь загадки. Отгадывание их не для моей старой головы.

— Это не загадка — задача, которую должна решить я сама. Если решу — сразу сообщу тебе результат. А сейчас у меня на столе задача на измерение критической энергии каскадных ливней, поэтому я приглушаю вашу шумилку.

Лада крутнула регулятор громкости и отправилась решать свои задачи, космическую и душевную.

Иван Васильевич остался с внуком, который не мог оторваться от телевизора. Синих смерчей над карнизом крыши уже не видно, только танец снежинок на фоне освещенных окон соседнего дома. Все сложно в этом мире. И у каждого свои проблемы. Даже у этого малыша. Но самые сложные из них те, что связаны с взаимоотношениями людей.

В тот же вечер жена прямо-таки ошеломила его последними новостями. Опять приходила Миля, жаловалась на него Ольге! Растревожил мужа, выбил из творческой колеи, нервничает человек, не ест, не пьет.

— Ничего — похудеет, это ему на пользу, — довольно равнодушно поначалу ответил Иван Васильевич.

Но жена стала укорять:

— Ну чего ты задираешься со всеми? Вот ведь человек! Не научили еще тебя. Ну там, в сельском хозяйстве, воевал, так там ты хоть специалист. А в Будыковы станки зачем ты лезешь? Что ты понимаешь в них?

— Ничего. Но в группе есть инженер-станкостроитель. А лично я немножко разбираюсь в людях, в кадрах, в организационной работе, в партийной. Вам с Будыкой хочется полной бесконтрольности? Я никогда не поднимал такого шума, когда проверяли мою работу. А проверяли почаще.

— Во-первых, ты не на службе и мог отказаться.

— Из партии на пенсию не выходят, Ольга!

— А если уж взялся, то неужто нельзя было сделать так, чтоб не погубить нашей дружбы. Столько лет дружили!

— Если она за столько лет не закалилась, наша дружба, значит, не та сталь.

— Ох, Иван, Иван! Тебе хочется потерять друга, который всегда может помочь, поддержать?

— Я не падаю, Ольга.

— Когда будешь падать, поздно поддерживать. Я не меньше тебя не люблю блата, но такова жизнь. Ты вдруг уехал к Васе — у меня замерло сердце. Кто мог бы дозвониться до части? Валентин смог. Теперь он пригласил к себе на работу Геннадия.

Вот это и ошеломило.

— Будыка пригласил нашего зятя? Сам? Когда? Через кого?

— Вчера от его имени позвонили Геннадию на работу.

— И ты молчала?

— Иван! Ты и в этом готов увидеть бог знает что. Надо же парню расти.

— На заводе расти нельзя? Для хорошего инженера завод — лучшая школа. А он без году неделя инженер — и уже в институт лезет. Небось с радостью согласился?

— Почему же не согласиться, если предлагают лучшее?

— Значит, со мной можно и не советоваться? Я — нуль. Пенсионер. Так?

— Он самостоятельный человек...

— Когда сидел на моем горбу, тогда вы молчали о самостоятельности! Самостоятельные!

Антонюк выругался. Ольга знала: Иван при ней отпускал крепкое слово в три года раз, когда возмущение его, как говорится, поднималось до колокольни; вот тогда и бил этот большой колокол. По-женски мудрая, она тут же спешила погасить гнев мужа — уступкой, мягкостью. Ольга и сейчас постаралась восстановить мир и лад, но меж ласковых слов вздохнула, призналась:

— Ах, Иван! Перестаю я тебя понимать.

Ему тоже стоило немалых усилий погасить злость; осталось только удивление и даже своеобразное восхищение другом: «Ну, ты

и Остап Бендер, Валька! Однако все больше и больше выдаешь свою неуверенность».

Можно довести спокойствие до равнодушия: делайте что хотите, мне все равно. Но Антонюк знал, что тогда, по сути, наступает гражданская смерть человека, коммуниста. Он до этого опуститься не мог. Когда Ольга уже забыла про разговор о зяте, довольная, что муж стал таким добрым, уступчивым, он вдруг попросил:

— Позвони ты этому будущему великому конструктору, попроси приехать.

Она не поняла, удивилась и обрадовалась.

— Валентину Адамовичу?

Иван Васильевич улыбнулся.

— По-твоему, он еще будущий? Боюсь, что бывший. Я о зяте твоем говорю.

— Он такой же и твой, — обиделась Ольга. — Чтоб сейчас приехал? Поздно уже.

— Пусть хоть на сына посмотрит! Поздно! По неделе не видит сына!

Ольга почувствовала, что Иван опять «заводится» — так она это называла, — и опять начала «спускать на тормозах» (его определение).

— Я позвоню. Но прошу тебя: говори с ним спокойно. Обещаешь?

— Разве я когда-нибудь кричал?

— Нет. Но ты иногда говоришь так язвительно, что это обижает.

— Ах, как ты боишься зятя обидеть. А как он со мной разговаривает в последнее время, ты не слышишь?!

— Нет, слышу. И говорила ему.

— Представляю, как ты говорила. Уверен, что ты больше извинялась.

Сверхделикатность жены в иных случаях трогала, а в иных злила.

Он слышал через дверь, как она говорила по телефону, сперва с дочерью, потом с зятем, долго уговаривала ее и его приехать. Отрываться от телевизора, ехать по морозу в метель им не хотелось. Зять, видимо, выпытывал, зачем он так срочно понадобился. Ольга Устиновна отвечала приглушенным голосом. Иван Васильевич понимал ее положение. Нельзя сказать правду, потому что тогда Геннадий может не приехать, и врать Ольга не умела, так что приходилось говорить какую-то полуправду, малоубедительную для упрямого и самоуверенного инженера. В сущности, старая женщина вынуждена была унижаться перед детьми.

Антонюк долго сдерживался, шелестел газетой, чтобы не слышать переговоров жены, но в конце концов не стерпел. Сейчас он скажет этому сопляку несколько слов, после которых тот долго не уснет. Наглец! Но Ольга угадывала настроение мужа по шагам, по тому, как он отворяет дверь. Она догадалась о его намерении,

как только он вышел в коридор. Сказала громко, сердито, решительно:

— Можешь не приезжать! — и повесила трубку.

Зять доехал из поселка тракторного завода в центр за несколько минут. Антонюк не ждал его так быстро.

Позвонил воинственно, агрессивно.

Иван Васильевич вскочил с дивана, приблизился к двери, чтоб послушать: будет ли Ольга извиняться перед зятем, инструктировать его? Неужто пойдут на кухню шептаться? Он не простил бы жене такого позорного поведения. Нет, у Ольги необыкновенно тонкое чутье и такт.

З я т ь. Какая муха его укусила?

Т е щ а. При чем тут муха? Иван Васильевич хочет с тобой поговорить. О твоем же деле. Стыдно, Геннадий. Просит старший товарищ.

З я т ь. Мне в восемь на работу.

Т е щ а. Тебе полезно прогуляться перед сном. Пузо отрастил выше носа.

З я т ь (ошеломленно). И вы против меня?

Т е щ а. Да. Все против тебя. Заели несчастного. Амбиции у тебя много и мания величия. Опасные симптомы. Гляди, нажить эту болезнь легко, лечить трудно.

З я т ь. Не заболею, не бойтесь. С вашей помощью...

Т е щ а. Иван Васильевич ждет.

Молодчина Ольга! Действует, как говорят, синхронно.

Антонюк сел за стол, углубился в прочитанные уже газеты: разговор серьезный, и вести его надо в соответственном положении, не на диване. Жаль, что остался в пижаме, не подумал, надо было одеться по всей форме.

Геннадий постучал, что делал чрезвычайно редко.

— Пожалуйста.

Увидел тестя за столом — якобы удивился:

— А я думал, вы спите давно. Пенсионеры рано ложатся. Вместе с курами. — Хохотнул, довольный своей шуткой.

Лезет парень на рожон. Провоцирует. Но мало у тебя опыта, не так это делается, брат. Иван Васильевич приподнялся, протянул руку:

— Добрый вечер, Геннадий. Мы сегодня не виделись.

Смутился-таки оттого, что не поздоровался первым. Покраснел.

— Добрый вечер, Иван Васильевич.

— Садись. — А сам в газету. Пускай остынет. Бывает, что раскаляются и на морозе.

Зять сел. Затих. Ждет.

Иван Васильевич перечитывал скучно-розовый очерк о колхозном пастухе. Мысленно выругался: посреди зимы — о пастухе! Характерно для сельской газеты. Правда, и у плохого журналиста бывают интересные мысли, здесь умно написано о травах, совсем с других позиций, чем те, что господствовали полгода назад. Заду-

мавшись над сельскими проблемами, может быть, передержал, пропустил нужный для начала разговора момент.

Геннадий спросил почти с вызовом:

— Ну?

Не остыл, значит.

— Что — ну?

— Зачем вы меня звали? Мне рано вставать.

Иван Васильевич знал: жена нарочно, с присущим ей тактом и чтоб придать вес свиданию, не вошла вместе с зятем, но стоит на страже, вслушивается.

Зачем ей унижать себя подслушиванием? Он позвал:

— Мать! Иди сюда, пожалуйста.

Она тут же отворила дверь.

Геннадия явно нервировали медлительность и спокойствие тестя. Парень от нетерпения даже пальцы стал ломать, ждал разговора.

— Геннадий, я хочу попросить тебя — не переходи с завода в институт.

— Почему?

— Я объясню. Мы с Валентином Адамовичем старые друзья, с войны, ты знаешь. Теперь в институте работает группа партгосконтроля. В числе прочих недочетов, очевидно, будет записано о подборе кадров. О неправильном подборе. Мне не хотелось бы ставить своего хорошего друга в неловкое положение. Ты понимаешь?

— Вы же его не просили! А я вас не просил. А если бы и просил, знаю — слова не сказали бы.

«Дурень, не знаешь, сколько слов я сказал за тебя. И вот благодарность!»

— Будыка сам пригласил меня.

— За какие заслуги?

— А чем я хуже других?

— Что тебя соблазняет?

— Ого! Спрашиваете! На тридцать рублей больше!

— И это все? Решают тридцать рублей?

— Для вас это, может быть, мелочь, вы тысячи загребали.

— Геннадий! — упрекнула Ольга Устиновна.

— Не волнуйся, Оля. Разговор должен идти совершенно откровенный.

— А там, гляди, и в науку можно пролезть.

— О боже, — простонала мать. — Из тех, кто пролезает, никогда не выходит ученых.

— Однако кто кандидата хапнет, тот не бедует.

Иван Васильевич вдруг почувствовал странную опустошенность. Не хотелось больше ни говорить, ни убеждать, ни тем более просить. Напрасная трата сил. Лес дремучий. Не пробиться. Завал за завалом. Обидно. Тысячи людей воспитывал. А зятя за пять лет ничуть не обтесал, не прочистил мозгов, такой же кулак, частник. Может, даже хуже стал. Что за черт! Какие же тайные си-

лы тянут в другую сторону? Кто или что на него влияет! Те пятнадцать гектаров земли, которые отец имел при польской власти? Сватья, когда приезжает, и сейчас еще вспоминает эту земельку и клянет какого-то Шуру, который в тридцать девятом отрезал лучший участок.

— А ты бедуешь? — уже с возмущением спросила теща.

— Оба работаем, а пальто зимнее хотел сшить, так не вышло. Майя сшила, телевизор купили...

— А ты хочешь все сразу? Не интересно будет жить дальше. Горя вы не видели. Слишком многое получили готовым.

— Вы после войны литеры имели. А я в колхозе картошине радовался.

— Ты запомнил литеры, а как я с тремя детьми жила в эвакуации — это ты знаешь? — У Ольги Устиновны задрожали губы.

Иван Васильевич разглаживал газету и разорвал ее пополам.

«Если еще что-нибудь скажет о тысячах и литерах — выгоню вон».

Нет, опомнился, кажется, дошло.

— Ведь я не говорю, что вы горя не знали. Всем хватило.

— Довольно дискутировать о горе. Я повторяю свою просьбу. Повторяю очень серьезно. Не спеши с ответом. Подумай.

— А что мне думать! Вы можете дружить, можете ссориться. Вам что? Один имеет персональную, другой скоро будет академиком и лауреатом. А мне надо жить. Из-за ваших капризов я должен отказываться от выгодного места! Будыка не боится, что́ о нем скажут. Я вижу: наплевать ему на вашу комиссию. А вы испугались, как бы не подумали, что вы меня устроили. Чего вам бояться. Пенсии не снимут.

— Значит, твердо решил вопрос?

— Твердо.

— Ну что ж, будь здоров. Спасибо, что приехал.

Иван Васильевич засунул руки в карманы пижамы, склонился над газетой.

Зять поднялся, растерянно оглянулся, не зная, как попрощаться. Часто выручала добрая теща. Уставился на нее. Но она разглядывала ногти с бледными следами маникюра, сделанного еще на праздник. Не взглянула даже. Это встревожило инженера: тещино недовольство может отразиться на их благосостоянии заметнее, чем те тридцать рублей, которые он получит, перейдя в институт. Но почему им так не хочется, чтоб он туда перешел? Из гонора? Так и у него есть гонор! Пусть не думают!

— Спокойной ночи!

Иван Васильевич понял, что делалось в душе у зятя, и, чтоб успокоить его, ответил почти весело:

— Спокойной ночи! Сына не забудь поцеловать.

Когда хлопнула наружная дверь, Антонюк тяжело вздохнул. Жена попыталась утешить:

— Я поговорю с Майей.

— Нет! — решительно возразил он. — Не надо! Зачем? Это поражение. Мое. И мне достаточно пережить его один раз. Не хочу дважды или трижды! Нет! Слышишь?

Все, что делала Ольга в доме, казалось настолько естественным, что работы ее да и душевной теплоты почти не замечали ни сам Иван Васильевич, ни дети: другой жену и мать представить не могли. Но одну ее черту Иван Васильевич отмечал каждый раз и каждый раз испытывал благодарность — за то, с какой сердечностью и народной простотой она принимала гостей.

Заезжали бывшие партизаны, секретари райкомов, председатели колхозов, колхозники, заглядывали академики и министры; случалось, что очень разные люди сходились вместе. Неразумная хозяйка стала бы делить их по рангам, выказывать больше внимания высоким гостям, радовалась бы, если б доярка, узнав, что пришел известный писатель, от смущенья постаралась бы скорей уйти. Ольга же удивительно умела объединить за столом любых людей — не веселой выдумкой, не острым словцом, а тихим, душевным радушием и равным вниманием к каждому.

После того как Антонюка попросили уйти на пенсию, гостей, естественно, стало меньше. Ольга Устиновна болезненно переживала это. И еще больше радовалась тем, кто не миновал их дом, заезжал, заходил по-прежнему. Дорожила дружбой таких людей. Потому и боялась, что из-за своего упрямого характера Иван может поссориться с Будыкой — другом, который, казалось ей, всегда оставался верен в счастье и в несчастье.

Иван Васильевич вернулся из района — его приглашали в группу, которая срочно, по сигналам рабочих, должна была проверить птицефабрику, — усталый, закоченевший, расстроенный обнаруженными злоупотреблениями. Открыл дверь своим ключом, увидел на вешалке кожух, платок; на полу — деревенскую корзинку и обрадовался: гости. Гости из села! Не раздеваясь — прямо в комнату: кто приехал? За столом пьют чай раскрасневшаяся Ольга и старая крестьянка в платочке, повязанном «хаткой». Не сразу узнал Марину Казюру. А узнал — расцеловался и... прослезился. Очень это взволновало жену. Скуп Иван на слезы, ой, скуп. А тут не выдержал. Видно, не только оттого, что Марина — мать погибших братьев-партизан. Ольга знала об их трагической смерти — слышала и от мужа, и от самой Марины; та приезжала вскоре после войны — обидели ее в районе, лесу на хату не хотели давать. После того ее приезда Ольга сама напоминала Ивану, чтобы заехал к Марине: может, помочь надо чем-нибудь. Заезжал, не часто, правда. Никакой помощи ей больше не нужно было. И вот уже сколько лет не виделись! Может, потому и взволновал ее приезд. Ольга тоже не удержалась, тайком утерла глаза. А Марина — ничего, верно, выплакала давно все слезы. Грустно покачала головой:

— Постарел ты, командир, постарел. — Но тут же, спохватившись, подбодрила: — Ну, ничего еще, ничего, дедок крепкий.

Ольга засмеялась.

— Раздевайся, дедок, мой руки да поскорее за стол.

Когда Иван Васильевич вышел, Марина сказала:

— Хороший он у тебя человек.

— Хороший.

— В согласии живете?

— Всяко бывает. Случается, что и поссоримся. Из-за детей.

— Из-за своих детей, разве ж это ссора! — И тяжело вздохнула. Ох, как ей хотелось бы поссориться с мужем из-за детей! Но нет мужа, нет детей...

Ольга Устиновна поняла это и задохнулась; боясь разрыдаться, выскочила из комнаты, будто бы вспомнив, что на кухне что-то горит. В ванной Иван причесывался перед зеркалом. Она, как девочка, приткнулась лицом к его плечу.

— Что с тобой?

— Мне перед ней стыдно...

— Пожалуйста, без сантиментов.

Вернулись вместе. Марина, увидев его в хорошо скроенном синем костюме, в галстуке, умытого, причесанного, удивленно всплеснула руками.

— Ах, божечка! Да ты еще совсем жених, а я тебя дедом назвала. Извиняй глупую бабу.

— Нет, Марина Алексеевна, не извиню! Такой обиды не прощаю.

— Так я ж о том, что у тебя уже внук есть. Как же не дед? — И хитро-хитро прищурилась.

На столе лежали на тарелках ее гостинцы: толстый брус сала, круг сухого, облитого маслом сыра, крепкие, один в один, маслянисто-янтарные боровички. Стоял кувшинчик с медом и причудливая — откуда их в деревнях берут? — бутыль. Обыкновенная бутылка портвейна рядом с этой пузатой черной склянкой выглядела, как бедная родственница рядом с богатой купчихой. А вообще все казалось очень аппетитным и отлично сочеталось с тонкими тарелками, красивыми чайными чашками, блестящим электросамоваром.

Голодный Иван Васильевич довольно потер руки, причмокнул:

— Вот это да!

— Возьми моей для аппетиту, — предложила Марина и сама налила из пузатой бутылки ему — полную рюмку, себе и хозяйке — по капельке. — Чарки у вас маленькие. Наши мужики так стаканами глушат.

— За ваше здоровье, Марина Алексеевна.

— На здоровьечко вам, Иван Васильевич. И вам, Ольга Устиновна.

Самогонка, должно быть первач, обожгла — не вздохнуть. Подцевая вилкой грибок, Иван Васильевич другой рукой отгонял жар ото рта. У гостьи весело смеялись глаза, но и сквозь смех проступала навеки застывшая скорбь, как туманная пелена.

— Сама гонишь?

— Сама.

— Посадят тебя за это.

— Э-э, ничего я не боюсь. Да и кто даст в обиду лучшую доярку! Им же стыдно будет.

— Все еще доишь?

— Ага.

— А на пенсию не пора? — Он посмотрел на ее руки: больные руки, пальцы искривлены, с подагрическими узлами. Ему не раз становилось стыдно и больно, когда видел такие женские руки. А они кормят хлебом, поят молоком всю страну!

Марина поймала его взгляд и незаметно убрала руки под стол.

— Спрашивал как-то директор совхоза, не хочу ли я на пенсию. Нет, говорю, не хочу. Скучно будет без работы. Что делать одной в хате?.. Сама себе опостылеешь.

«А я уже на пенсии», — хотел было признаться Иван Васильевич, но вздохнула тайком жена; понял, что она об этом не рассказала, и тоже смолчал. В конце концов он завтра может пойти работать! Да и без должности не бьет баклуши. Нашел чем хвастать перед старой колхозницей!

— ...А так я песни с девчатами попою. Сердечные тайны их выслушиваю. Иной раз, случится, и поплачем вместе.

— А вообще как вам живется, Марина Алексеевна?

Еще с тех партизанских времен Марина, в зависимости от ситуации, от настроения или от места, где происходил разговор, говорила ему то «вы», то «ты». Между прочим, в тех краях больше почитают обращение на «ты». Антонюк не только привык к этому, но и сам, незаметно для себя, обращался к хорошо знакомым людям таким же чином.

— Ох, командир, так живется, так хорошо живется, что ажно сердце болит.

— Не пойму, серьезно вы или от беды какой...

— Да какая беда теперь! Серьезно, Иван Васильевич. Живется — лучше, может, и не надо. По сто рублей в месяц зарабляю. Корова, свинья, сад... Телевизор купила. Теперь зимой, когда рано с фермы прихожу, детей со всей улицы зазываю. Они уже поджидают меня. «Баба Марина идет!» Потому и болит, когда вспомню, как бы сыны мои могли жить. — И заплакала. Нет, не все материнские слезы выплаканы. Много их еще прольется. Ой, много!

У Ольги тоже глаза мокрые, ищет в карманах фартука носовой платок и не может найти.

Иван Васильевич сурово молчал. Многому он научился за свою жизнь, одному не мог научиться — утешать людей в горе словами. Делом, помощью — это он мог, словами не умел.

Да Марина сама сразу высушила слезы.

— Извиняйте вы глупой бабе. Приехала незваная, непрошеная, да и портит вам настроение. Выпей, Иван Васильевич, еще..

На нас, баб, не гляди, у нас слезы близко. Сала вот отведай, сыру. Все свое. Грибки, правда, не мои, некогда мне ходить по них. Брата моего невестка, агрономша, собирает. Вот уж собирает! Муж ее, Виктор, механик в совхозном гараже. Так на машине как поедут! По три корзины привозят! И как она их только не готовит! И маринует, и солит, и жарит. В банки закатает, так, вишь, средь зимы откроет — как вчера собранные.

— Грибки отменные.

— Это, верно, еще не самые лучшие. Лучших у нее не выпросишь. Бабочка молодая, а скупая. Больше как две сотни получают, а дитятко одно. Говорю ей: «Ты, Люда, хоть детей рожала б». — «Некогда», — говорит. Слышали? Собирать грибы есть когда, а детей — некогда! — Марина засмеялась.

И нельзя было не засмеяться с ней.

Ивана Васильевича глубоко тронула жизнестойкость этой женщины, пережившей величайшее горе, отношение ее — и шутливое, и одновременно серьезно-озабоченное — к молодым, к их жизненным проблемам.

Ольга Устиновна ушла в детский сад за внуком. Лады дома не было. Они остались вдвоем.

Марина пила чай — которую уже чашку! Хвалила:

— Вкусный у вас чай. А говорили, что из городской воды невкусно. Говорили — хлоркой пахнет. Да неправда это все.

Иван Васильевич еще при жене стал расспрашивать о своих партизанах, тех, что из Казюр или из соседних деревень, кто как живет? У кого какие дети? Марина рассказывала охотно, то всерьез, то с беззлобным юмором, как о братовой невестке Люде. Но как только хозяйка ушла, она прервала свой рассказ, отодвинула чашку с недопитым чаем, подозрительно глянула на дверь: надежно ли, не может ли кто подслушать? — понизила голос до полушепота:

— Разговор у меня с тобой, Иван Васильевич, тайный. Чтоб никто не слышал. Дело давнишнее, однако же не забывают, вишь, злые люди. Враг у тебя объявился. Почитай, какое письмо мне прислал.

У Антонюка сжалось сердце от недоброго предчувствия. Не знал вины за собой, ничего не боялся, а вот все-таки стукнуло.

Марина достала из кармана кофты платочек, развязала и среди других бумажек и денег нашла сложенный во много раз лист. Сама развернула, разгладила, а потом только отдала ему.

Страничка машинописного текста. Он не стал искать очки. Прочитал так, ухватил суть одним взглядом. Кровь ударила в темя, в виски, запульсировала в пальцах рук, и лист задрожал. Некий аноним советовал тетке Марине — такое обращение: «Дорогая тетка Марина!» — спросить у партизанского командира Антонюка, из-за чего погибли ее сыновья. А погибли они из-за того, что он, Антонюк, послал детей спасать свою любовницу.

«Бывают ошибки, а бывают преступления. Ошибки всем прощены, а за преступления и сейчас не поздно судить».

Буквы запрыгали, слились в черные полоски.

«Не показать волнения! А то подумает старуха, что испугался. Нет, Марина не подумает. Не может она так подумать!»

Посмотрел на нее. Суровое лицо. Тень скорби в глазах.

— Не догадываешься, кто мог написать? Кто тебе враг?

— Нет. Такого врага не знаю. Такого врага не было.

— А ведь есть, как видишь. Злой человек. Страшный. Бойся его, Иван Васильевич. Подумать только — этакое написать! Да кому? Матери. Через двадцать годов. Знал, на что бить. Проклятьем страшным прокляла б, кабы не ведала, как оно все было, как вы сами шли на смерть, чтоб спасти... — Губы ее дрогнули.

Иван Васильевич взял ее руки, шершавые, мозолистые, в порыве благодарности хотел поцеловать их. Но почувствовал: заплачет. Нервы натянуты до предела, не выдержат.

— Спасибо вам, Марина Алексеевна.

— За что мне спасибо?

— За душевность вашу, за мудрость.

— А, батенька! Какая там мудрость! Получила ту писульку — неделю не спала, сердце болело. Грешный, думаю, человек Иван Васильевич. Да разве ж в том его грех? Мужской, так перед женкой пускай и кается. Живет с семьей, значит, прощено. А тут какой-то паук поганую паутину плетет. Откуда заходит! Ой, издалека! А неизвестно, где кончит. Чего доброго, еще запутает хорошего человека. Наговор что смола — нелегко отмывается. Дай, думаю, съезжу; скажу, чтоб знал да оглядывался.

— Вот за это и спасибо, Марина...

Она опять оглянулась на дверь, опять понизила голос:

— Может, это — муж ее? Полицай тот?

— Его расстреляли.

— Нашла-таки кара. Кровь людская не прощается.

Помолчала.

— А она где? Все соромилась поспрошать. Чтоб не подумал, что глаза колю.

— В Полесье, учительствует.

— Замужем?

— Нет.

— Нет? — удивилась Марина. — Такая молодая была. И живет одна?

— С дочкой. Дочка тоже учительница. В той же школе.

— Пишут?

— Пишут.

— Много из партизан вам пишут?

— Нет, теперь уже немного.

— Забывают люди. У каждого своя жизнь, свои болячки. Не диво, столько лет пролетело.

Марина как бы умышленно отводила разговор подальше от письма, лежавшего на столе между ними, подальше от того, что вызывало тяжелые воспоминания. Ей, видно, искренне хотелось забыть и поговорить о чем-нибудь другом. А у Ивана Васильевича отстукивало сердце:

«Кто? Кто? Кто?»

Не было ответа на это «кто». И непонятно было, почему? Почему поклеп возник теперь, когда он так мало встречается с людьми? Кому он мешает? Чем? Несомненно, есть связь между анонимкой в ЦК и этой. Одна рука. Кто-то боится, что он вернется на работу, на старое место? Кто? Преемник? Но откуда ему знать о Марине и вообще всю эту давнюю трагическую историю? Все до мелочей знает только один человек — Будыка. Валька? Нет! Нет! Нет! Невозможно! Ведь он знает правду лучше, чем Марина.

И сквозь пелену огромного горя мать сумела тогда понять все правильно. Не поверила и теперь, хотя боль многих лет могла сделать ее подозрительной.

Никто из партизан слова не сказал в осуждение того, что было сделано. Спасли раненых, детей, женщин. Они с начштаба, в сущности, поровну делили ответственность за все операции. Со своей военной вышки Валентин считал удачей и рейд за Днепр, и вывод людей из лагеря, и бой после фашистской провокации с обменом немцев на Петю. По его логике все это обыкновенно, буднично: война не бывает без жертв. Смерть братьев Казюр для начштаба — один из не очень значительных эпизодов. В бою за спасение одного из них погибли десятки людей, комиссар отряда погиб. Переболел этим один человек — он, Антонюк. Он один чувствовал вину, о которой написал теперь неведомый недоброжелатель. Не перед отрядом чувствовал себя виноватым. Не перед партизанами. Перед ней — Мариной. И перед теми, кто погиб в бою.

Теперь своей сердечностью, своей заботой о его спокойствии, о его добром имени старая измученная женщина вновь пробудила эту боль.

— Марина Алексеевна, я берег ваших сыновей, держал при себе. На глазах. Я мог и в ту ночь оставить их рядом. Но вы знаете, немцы и полицаи прижали нас к Днепру, надо было прорываться с боем. В той группе, которую послали для охраны лагеря, я думал, хлопцы будут в большей безопасности. Вышло наоборот.

Марина остановила его:

— Не казните себя, Иван Васильевич. Кто знает на войне, где кого смерть стережет. Рассказывали вы, видно, кому-то так, как сейчас мне, а поганец этот, — она взяла письмо, стала не спеша складывать его, как будто собираясь разорвать, — враг этот ваш перевернул все против вас. — Протянула письмо: — Нате спрячьте или сожгите. Зачем тревожить Устиновну?

Все были за то, чтоб продолжать проверку института, — секретарь горкома, председатель комитета. А комиссия распадалась. «Заболело» двое пенсионеров; один из них, отставной полковник, «безнадежно» захворал в возрасте сорока пяти лет. Неизвестно, по чьему приказу, отозвали на другую проверку, более срочную, штатного сотрудника комитета. К самому Антонюку стали проявлять невиданное раньше внимание, давая ответственные поручения, не формальные, интересные, от которых трудно было отказаться. Поручали дела по разным линиям — через обком, горком, комитет контроля, комитет по охране природы.

Но старого воробья на мякине не проведешь. Все это — он знал — неспроста. Кто-то где-то тешил себя мыслью, что дело с институтом можно будет «спустить на тормозах»: и без того затянувшаяся проверка еще больше затянется, а Будыка не дурак, за это время наведет порядок в своем большом и сложном хозяйстве. И тогда на бюро горкома или на заседании комитета, если обсуждение состоится, о всех ошибках можно будет говорить в прошедшем времени. А это имеет большое значение для выводов: руководитель понял, выправил.

Одного не мог взять в толк этот «кто-то где-то», что Антонюк согласился проверять и настойчиво продолжает работу совсем не для того, чтоб утопить директора или еще кого-нибудь, а именно для того, чтобы Валентин, старый друг, действительно неплохой человек, способный конструктор, понял свои ошибки, навел порядок в институте и не увязал глубже в трясине, куда тащили его разные жуки и клепни-слепни.

Антонюка не так уж возмущали люди, которые незаметно, тихо, хитро нажимали на разные тайные рычаги и кнопки. У них не хватало решимости действовать открыто. Не то время — нет былой уверенности в своей непогрешимости. Он смотрел на их действия с юмором. Возмущал Будыка: все идет от его нажима, от его неколебимого убеждения в своей незыблемости. Нет, мелкие недочеты, ошибки Валентин Адамович признавал — все то, что не задевало его славы ученого, что можно свалить на подчиненных: за всем, мол, не углядишь. Но именно эта снисходительная уступка — «на тебе косточку и отцепись!» — методы Будыки, применяемые им приемы, вроде истории с Геннадием, больше всего злили Ивана Васильевича, поддерживали его упорство и настойчивость. Выполнял поручение по охране природы и снова шел в институт. Случалось, что из шести членов комиссии являлся он один. Видел: сотрудники над ним подсмеиваются. А Валентин снова стал добрым и приветливым.

— На кой тебе сдался мой зять? — спросил его Антонюк.

Будыка победно хохотнул.

— Думаешь, тебя хочу улестить? Нет. Отлично знаю: такого дьявола, как ты, ничем не улестишь. А ты это подумал? Признавайся. Преувеличиваешь, Иван, свою роль. Взял я твоего зятя из эгоистических соображений. Можешь записать в акт. По-

надобился инженер в секретную лабораторию. Зачем мне искать неведомо кого, брать по рекомендации Жука или Клепнева? Чтоб ты еще один факт записал? Я взял человека, которого хорошо знаю, члена партии, с чистенькой биографией, сына колхозника, зятя персонального пенсионера. Хитер Будыка? Хитер. Осторожен. Но и смел! Не боюсь ответственности! Не боюсь сплетен! Даже твоей комиссии не боюсь. Съел?

После этого разговора появились-таки у Антонюка сомнения: может быть, и правда, все факты, которые они выявили и которые кажутся ему важными, для Будыки как ученого, для развития автоматизации — мелочь. В большом деле и большие промахи можно простить. Пускай последние автоматы не оригинальны по конструкции, но, по-видимому, пользу промышленности они принесут немалую — тут Валентин, наверно, прав.

Но от сомнений ничего не осталось после того, как Иван Васильевич побывал на партийном собрании в институте. Обсуждали итоги научной работы минувшего года. Вообще-то собрание как собрание. Инструктор райкома записал его в актив работы парткома и своей собственной. Было много выступающих. Была критика и самокритика. Но что поразило Антонюка — чуть не в каждом выступлении открыто или в подтексте звучало: под руководством Валентина Адамовича, благодаря Валентину Адамовичу, только Валентин Адамович мог добиться...

Антонюк сидел в сторонке, вглядывался в лица коммунистов и видел: есть люди, которые придерживаются другого мнения, хотя, может быть, не отрицают авторитета Будыки — скептических улыбок не видно. Но эти молчат. Почему? Странно, что сам директор принимает все выступления как совершенно естественные. Не похоже, что он организовал их специально для райкома, для комиссии. Нет, скорее всего такие выступления здесь явление обычное. С ними свыклись. На них, вероятно, смотрят, как на пропаганду достижений всего института. Мало кто думает, как это опасно. Для Будыки. Для коллектива. Нет, эту болезнь пилюлями не вылечишь. Нужна операция. А на операцию не согласны ни сам пациент, ни близкие и далекие. Как переубедить? Кого нужно в первую очередь переубеждать?

После собрания Будыка стал, кажется, еще более самоуверен. Узнал, что Антонюк в институте, специально, видно, пришел в плановый отдел, начал подтрунивать при сотрудниках:

— Один? Расползается что-то твоя комиссия. Вожжей нет. Нету. Слаб ты стал, Иван. У нас в буфете выявлена растрата. Вот козырь! Займись. Очень может быть, что это ученые, обжоры и пьянчуги, обсчитали несчастную буфетчицу. Доктор наук Будыка... видишь, как раскормился? — похлопал себя по животу. — Кандидат Борецкая... она по две курицы съедала... Какой буфет выдержит!

Плановики и экономисты весело смеялись. Любили директора,

особенно женщины, — за простоту, остроумие. Да и внешность: мужчина что надо!

Антонюк не поддержал его фиглярства. Сказал серьезно:

— Посоветуй, Валентин Адамович, на каком заводе лучше проверить экономическую выгодность замены старого оборудования вашими автоматами.

— На каком? Можешь поехать в Иркутск. Далеко? В Каир. Не дадут разрешения? В Ереван. Нет командировочных? Я могу выдать из своих средств. Нам такие данные тоже понадобятся. Идет?

— Идет. Давай в Иркутск. Пошли, выписывай! — взял Будыку за локоть и повел в коридор.

Валентин Адамович несколько растерялся.

— Ты что, серьезно вознамерился ехать?

— Я ведь не такой шутник, как ты. Идем, идем.

— Не будь идеалистом, Иван. Как я могу дать командировку человеку, не имеющему отношение к институту?

— Тогда, так твою... не паясничай перед людьми! А то дам по морде — иди тогда жалуйся на меня куда хочешь, — Антонюк развернулся, как для удара.

Будыка испуганно отступил — знал характер своего командира. Укоризненно покачал головой:

— Стареешь, Иван. Шутку перестаешь понимать. Плохой симптом. Дружбой не дорожишь.

Опять хотелось сказать, что дорожит дружбой, очень дорожит и все, что делает, делает для его же, Валентина, пользы, из дружбы. Но чувствовал, что нет у него нужных слов, а над обычными Будыка посмеется: «пионерский идеализм». Поэтому не стал больше разговаривать на эту тему. Хватит, один раз поговорили. Но потом, уйдя, несколько дней чувствовал себя нехорошо, словно виноватым или побежденным.

XI

Лада сообщила родителям:

— Один гжечный кавалер предлагает свое сердце и просит моей руки.

Лада имела привычку разговаривать шутливым тоном. Даже близкие не всегда понимали, когда она серьезна, а когда дурачится.

Сидели за столом. Ужинали. Мать не придала ее словам значения. Улыбнулась ласково, как над маленькой шалуньей, укоризненно покачала головой: мол, когда ты станешь наконец взрослым человеком! А Иван Васильевич насторожился, почувствовал, что дочь говорит не шутя, даже волнуется и хочет скрыть это под иронией.

Лада пытливо посмотрела отцу в глаза, спросила с некоторым раздражением:

— Почему вы не спрашиваете — кто? Вас это мало интересует?

— Ждем, что сообщишь сама. Кто сказал «а», тот должен сказать и «б».

— Да, «б»! Жених крепко стоит на ногах. Имеет твердую основу. В лице родителей. И свою собственную — ученую степень. Правда, первую покуда. Однако можно не сомневаться: будет иметь и вторую. Все будет иметь!

Антонюк понял, о ком идет речь. Особой неожиданности здесь не было.

— Феликс?

— Ты удивительно догадлив, папа.

— Это серьезно?

— Насколько я понимаю, с его стороны — весьма серьезно.

— Будыка? — ошеломленно переспросила мать, уразумев наконец, что Лада не шутит.

— Похоже, дорогие родители, что вы очень удивлены. Почему? Вот что интересно. Мне двадцать три года. Я что переспелая вишня: вот-вот сорвусь, и неведомо, в чей рот попаду. А мне хочется попасть в надежные руки. Ни высшая математика, ни ядерная физика не освобождают от биологических законов. Они действуют равно для всех. Не стоит забывать об этом. Наконец, что вы можете возразить против такого союза? Я — дитя города, дитя относительной роскоши. Привыкла жить на уровне современной цивилизации. Я получу для этого все: квартиру, дачу, машину.

Теперь уже и отец не понимал: издевается ли Лада над своим возможным замужеством или убеждает самое себя? Если убеждает, то это еще одно его поражение, еще одно разочарование, может быть, самое тяжелое. Даже в том случае, если замуж она за Будыку не выйдет. Пусть выходит за кого хочет, но только без таких рассуждений, без такой философии.

— Кроме всего того, что ты перечислила, нужно еще одно — любовь. И она, между прочим, не делится ни на какие этапы и периоды, — перефразировал недавние ее слова, чтоб осторожно, не в лоб, напомнить о моряке.

— А может быть, это пережиток, от которого человечество должно избавиться?

Нет, она, кажется, шутит. Если так, то можно, пожалуй, переходить на такой же тон.

— Ты что, решила задачу?

— Не знаю, правильно ли, но решила.

Ольга Устиновна всплеснула руками.

— Дала согласие?

Лада в ответ на испуг матери подарила ей бодрую улыбку,

а на отца посмотрела все так же пытливо, как бы стараясь догадаться, чего он ждет.

— Нет. Я сказала, что поговорю с вами. Что вы посоветуете?

— Феликс будет хорошим мужем, — не задумываясь, сказала Ольга Устиновна и тяжело вздохнула: — Перестарок, правда. И нудный.

Лада захохотала.

— Чудесно, мамочка! Великолепная аттестация! После нее нельзя не выйти за него замуж!

Что ей посоветовать, что сказать? Нелепо думать, что это со стороны Будыки какой-то подвох, что он хочет женитьбой сына смягчить его, Антонюка, или поставить в неловкое положение, заставить отказаться от участия в комиссии. Почему Будыке бояться какой-то, в сущности, полуофициальной, самодеятельной проверки? Так, несколько блошиных укусов; неприятно, но опасности никакой. Сейчас можно скорей подумать, что все как раз наоборот: Будыкам давно хотелось породниться с ними, закрепить долгую дружбу родством, потому Валентина и нервировало его участие в комиссии. Приглашение Геннадия на работу тоже могло быть от души — из желания сделать семье что-нибудь приятное. Нет, это вряд ли. Не так Будыка наивен. Хорошо зная его, Валентин не мог не догадаться, как Антонюк примет историю с зятем. Там, безусловно, был расчет, двойной или тройной. Но какой расчет может у него быть здесь, в женитьбе сына? Что ответить Ладе? А зачем ломать голову? Он может ответить только одно!

— Я старомодный человек и повторяю то, что уже сказал. Я признаю только один мотив для замужества или женитьбы — любовь. Но я полагаю, что к Феликсу у тебя ее не было, нет и...

— Да откуда ты знаешь, Иван? — попыталась смягчить категоричность его слов жена.

Лада спросила у матери:

— Ты, мама, за то, чтоб я дала согласие?

Ольга Устиновна смешалась. Всегда спокойная, уверенная, что для детей она высший авторитет и судья, мать вдруг почувствовала себя беспомощной, как бы лишней здесь, и потому рассердилась:

— Не мне с ним жить. И машина его мне не нужна!

А через несколько дней после этого разговора вдруг, без телеграммы, прилетели на побывку Василь и товарищ его Саша Павельев — тот самый веселый часовой, который первый задержал Антонюка в горах. Что мать расплакалась от радости — вполне естественно, женщина есть женщина. Но и сам Иван Васильевич обрадовался приезду сына необычайно — до непривычной, несвойственной ему чувствительности, так что потом даже было ему немножко неловко. Нет, он не прослезился. Но тискал

ребят в объятиях, тыкал кулаками в плечи, живот, без причины смеялся.

Лады дома не было. Ребята сразу отправились ее разыскивать, даже отказались пообедать, только побрились.

Тогда Ивана Васильевича вдруг осенило, и новый смысл приобрели Ладины слова об этапах любви. Он ничего не сказал жене, но ему очень захотелось посмотреть, каковы они вместе, Саша и Лада. С нетерпением ждал, когда они вернутся. Молодежь не спешила домой. Ольга Устиновна, озабоченная тем, что стынет обед, жаловалась:

— Приехал сын и даже не дал на себя поглядеть. Где можно бродить столько? В такой мороз!

Ртутный столбик на градуснике за окном опустился до двадцати пяти. Январь выдался снежный и морозный. Даже Антонюку, закаленному охотнику, не очень-то хотелось на мороз из теплой квартиры.

Дети вернулись к ужину.

— Были в ресторане? — с обидой спросила Ольга Устиновна.

— Мама, не были, — отвечал Василь. — Мы же знали, сколько ты вкусностей наготовишь. Нагуливали аппетит. Теперь нам хоть вола подавай!

Лада и Василь помогали матери накрывать на стол, замораживали на балконе принесенную бутылку шампанского. Между прочим, шампанское это тоже заставило Ивана Васильевича насторожиться. Даже испугало: «Неужто так сразу, с ходу, не поговорив с матерью, со мной?»

На некоторое время они остались вдвоем с Сашей. Парень, такой острый на язык там, в горах, был молчалив, смущен.

— Простите, что я вот так... не предупредив.

— Что вы, Саша. Друг нашего сына — наш друг. И желанный гость.

— У вас богатая библиотека. Можно поглядеть?

— Пожалуйста.

«Хочешь спрятать от меня лицо. Неужто тебе так неловко смотреть мне в глаза?»

Моряк повернулся спиной, открыл дверцу шкафа, вытащил из тесной шеренги толстую книгу в кожаном переплете с непоблекшим золотым тиснением «Императорские охоты в Беловежской Пуще».

— У вас много литературы о лесе.

— Я агроном и охотник. Член коллегии комитета по охране природы.

— Я вырос в лесу. Мой отец лесничий. Люблю лес. Хочу учиться, стать лесоводом. Если удастся. Один раз срезался.

— Почему не удастся? Тем, кто отслужил в армии, на флоте, двери широко открыты...

— И все-таки сколько нас спотыкается в этих дверях! — ве-

село засмеялся Саша, повернувшись к хозяину с книгой в руках. И опять как будто смутился, раскрыл книгу.

Иван Васильевич сказал:

— Будет время, гроссбух этот советую полистать. Интересные есть факты. Слышали о наших зубрах?

— А как же!

— Так вот, во время одной императорской охоты гость царской семьи — племянничек кайзера — убил за неделю сорок зубров. И это выдается за доблесть! Прославляется бойня. Мясники!

Саша слушал, кивая головой, медленно перелистывая страницы.

— У нас, в вологодских лесах, лосей много. Бывало, что некоторые браконьеры тоже устраивали бойню. — И, словно испугавшись, что говорит не то, тут же заключил: — Теперь навели порядок.

— Нет, мало еще у нас порядка в лесах и на реках. Уничтожаем безжалостно зверя, птицу, рыбу. Вы охотились?

— Так... начинал... по-детски. Знаю, как держать ружье. Отец мой всю жизнь прожил в лесу, но не охотился. Не любит. Теленка зарезать или поросенка заколоть — лесника звал, а сам уходил из дому. Мать смеялась над ним. Мать все умеет.

Иван Васильевич любил такие беседы — обо всем, — в них малознакомый человек, сам не замечая, рассказывает о себе, обнаруживает свои вкусы, взгляды, раскрывает характер. Хотелось повернуть разговор и так, чтоб у парня прорвались юмор, ирония, смех. Чертики в глазах скачут, но он гонит их прочь. В шутке такая натура открылась бы, верно, полнее, и тогда легче было бы понять его намерения, да и спросить осторожненько проще.

Шампанское не выходило из головы. С тревогой ждал, когда позовут к столу. Прислушивался к голосам Лады, жены и Василя. Заглянул в соседнюю комнату. Спросил:

— Скоро кормить будете?

Но на самом деле хотелось, чтоб подготовка затянулась, чтоб больше было времени присмотреться к нежданному гостю. Не очень-то ему понравилось, что стол накрывается больно уж по-праздничному. Не то Лада, не то жена вытащили сервиз, которым пользовались не чаще, чем раз в год, когда были особые гости или особо торжественный случай. Прежде он высмеивал припрятывание дорогих тарелок, супниц и соусников: на кой черт их тогда покупать! Чтоб пылились? А теперь так и подмывало поддеть жену:

«А это зачем? Мало, что ли, будничных тарелок?» Но понимал, что такой вопрос встревожит Ольгу: неужели у него, такого некогда широкого, щедрого, появилась старческая скупость — еще одна пенсионерская черточка? Ольга боялась пенсионерской психологии.

Саша сказал, перелистывая уже другую книгу — альбом «Эрмитаж»:

— Василь собирает книги о море.

— Заворожило его море.

— Готовится в мореходное.

Укололо: ему, отцу, сын не сказал об этом. Вообще надо бы радоваться, но все-таки немножко больно, что это уже не догадка, не предчувствие, а уверенность: не отпустит сына море, не вернется он под отцовское крыло. Может быть, тоже пенсионная болезнь — это патриархальное желание, чтоб дети не разлетались далеко?

И все-таки очень уж скоро накрыли великолепный стол! Кажется, прошло всего несколько минут! Перекинулся с парнем десятком фраз, ничего не прояснивших. На столе не было бутылки шампанского, не дававшей ему покоя. Она все еще замораживалась или, может быть, уже согревалась. Но высокие бокалы стояли.

Иван Васильевич предложил:

— Не начать ли нам с шампанского?

— Это слишком уж по-интеллигентски, отец, — возразил Василь. — Мы хотим по-флотски.

За столом Василь был всех разговорчивей и шумней. Вел себя хозяином. Как будто не он приехал в гости, а к нему приехали. Но принимал он не родителей, а сестру и друга. Только их. И это усиливало отцовскую подозрительность.

Лада, обычно такая шумная, неугомонная, притихла. Но вся сияла, светилась. И тоже, в свою очередь, держалась хозяйкой за столом — отдавая все внимание... нет, не одному Саше, пожалуй, больше брату. Но девичья дипломатия не больно хитра, даже у тех, кто изучает высшую математику и ядерную физику. Нетрудно было увидеть, что внимание ее, радушие через брата, как через трансформатор-усилитель, направлено на его друга.

Впервые в жизни Иван Васильевич чувствовал себя скованным за собственным столом. А мать любовалась сыном, остальное ее мало интересовало; к тому же она часто отлучалась, чтоб подать новое блюдо, сменить тарелки, и ей трудно было уследить за словами, улыбками, взглядами, обобщить их и осмыслить. У нее была еще одна забота: почему опаздывают Майя и зять? Раза четыре звонила. Ивана Васильевича это мало беспокоило, не очень-то хотелось встречаться с зятем после того разговора.

Когда наконец налили шампанское и ничего не произошло, ничего не было сказано, кроме шутливого грузинского тоста, который по просьбе Василя произнес Саша с очень похожим и поэтому смешным акцентом, Иван Васильевич повеселел. Не успокоился, но порадовался, что у детей хватило такта не взорвать над головами родителей бомбу.

Пришли Майя и Геннадий. Но теперь даже зять не мог ис-

портить хорошего настроения. Наоборот. Глядя, как Геннадий жадно выцеживает из бутылок остатки вина, «выжимает по тридцать три капли», сетует, что опоздал, — «Все из-за Майи! Такая копуша!» — Иван Васильевич все больше веселел.

Пригласил ребят завтра на охоту — на белячка, на лиса. Те сразу с энтузиазмом согласились. Но Лада решительно заявила:

— Никуда они не поедут! Вырвались в настоящий город со своей горы на семи морских ветрах — и снова в лес? Нет!

Слова ее для гордых, независимых, уже захмелевших моряков что командирский приказ.

— Не поедем, Саша?

— Не поедем. Поймите, Иван Васильевич.

— Понимаю.

— Нет, вы только, пожалуйста, не обижайтесь. Нам лучше по музеям, в театр...

— Давайте по музеям, давайте в театр. А я поеду, поброжу по лесу. Зайчатиной вас попотчую.

Укладываясь спать в приподнятом настроении, Иван Васильевич сказал жене:

— Готовься к свадьбе, мать.

— Какой свадьбе? Ведь все затихло.

— Ты так думаешь? И не видишь, что приехал настоящий жених?

— Этот? Лада не такая глупая, ей не восемнадцать лет. В ее возрасте так не бывает — бух, как в прорубь. Парень еще служит. Потом учиться будет. Не такой ей муж нужен.

— Очень уж ты рассудительная стала!

— Да уж не ребячусь, как ты. Постоянные фантазии.

— Увидим.

Она помолчала, вздохнула, видно, посеял тревогу в ее душе.

— Хотя от твоей дочери всего можно ждать.

— От моей?

— Твой характер.

— Такой уж он дурной?

Ольга ответила ласково:

— Ваня, не дурной, но и не легкий. Ой, нелегкий! — И поцеловала *мужа в лоб, как ребенка.*

То, чего Антонюк ждал и, не случись это, был бы, верно, разочарован, — значит, плохой он психолог! — произошло на четвертый день пребывания гостей. Произошло очень просто, обыденно, за будничным обедом, на столе не было даже бутылки вина.

Лада постучала ложкой по тарелке.

— Внимание! — И заговорила напыщенно-трагическим голо-

сом: — Господа, я должна сообщить вам пренеприятное известие...

Иван Васильевич сразу понял: вот оно! Нетрудно было понять, сидя напротив гостя: Саша покраснел, как девочка, виновато захлопал глазами. Василь с неестественно серьезным выражением лица, по-армейски вытянулся, как при оглашении торжественного приказа. Только мать не догадалась, она думала, что Лада, как всегда, хочет пошутить, и заранее улыбалась, одновременно одобряя и укоряя дочку, собираясь сказать: «Когда ты наконец повзрослеешь, Лада! Такой серьезной наукой занимаешься!»

Может быть, эта неуместная улыбка матери заставила Ладу отбросить всякую театральность и сказать просто и задушевно:

— Милые мои родители, я выхожу замуж.

Улыбка застыла на губах Ольги Устиновны. Василь тихо провозгласил:

— Ура! Ура! Ура!

— Мама! Никаких сцен, никаких слез. Все решено. Даже записано. Только к тебе, папа, одна просьба. По каким-то там, хорошим или плохим — не знаю — законам загс регистрирует брак через две недели после того, как подано заявление. Мы подали сегодня. И у нас — вы знаете — нет этих двух недель. Если ты пойдешь, папа, и поручишься за нас — запишут раньше. Мы тебя очень просим.

Поднялся Саша, лицо его было уже не красным, а в буро-лиловых пятнах.

— Ольга Васильевна... Василь... Иван Васильевич. Простите, Ольга Устиновна... Я... я прошу простить, что так... мы люди военные... Я полюбил Ладу тогда, летом... Я... я прошу ее руки...

— О боже! Как старомодно! — схватилась за голову Лада с притворным возмущением.

Василь захохотал.

— Руби концы, Саша!

— А шампанское где, черти? Шампанское где? — закричал Иван Васильевич. — Не стыдно вам! Эх, вы!

Дети смущенно переглянулись.

Он встал из-за стола, ушел в кабинет, напугав молодежь: неужто обиделся отец? Вернулся с бутылкой шампанского, которую тайком купил на всякий случай.

Василь снова крикнул:

— Вива! Полундра! Свистать всех наверх.

А мать вдруг разрыдалась, упала лицом на стол, судорожно забилась. Возможно, ей показалось, что все они — дети, отец — были в сговоре между собой, одна она ничего не знала.

Все смутились, растерялись, стали утешать, кто как умел. Лада обняла мать, поцеловала в ухо.

— Мамочка, милая, почему ты? Ну, что случилось? Не огорчай нас в такую минуту.

— Ольга Устиновна, не обижайтесь, пожалуйста.

— Мама, это моя выдумка. Меня вини. Саша тут ни при чем! Саша хотел поговорить с тобой, с отцом...

— Ольга, успокойся, пожалуйста. Я ведь тебя предупреждал. Зачем теперь эта истерика? Скажите, пожалуйста, какая трагедия! Дай лучше бокалы. Выпьем за их счастье.

По широте своей натуры, по неопытности или, может быть, нарочно — от радости — Лада спутала все расчеты отца и матери — сколько гостей пригласить, где кого посадить? Пришло, должно быть, полкурса физиков — простых, подстриженных под бокс парней и бородатых юношей, девушек в сверхмодных платьях и в вовсе простеньких, дешевых (одни из желания выразить пренебреженье к обывательскому поклонению моде, другие, верно, оттого, что на моду не хватает студенческой стипендии). Пришли два малийца. Принесли искусно вырезанную из черного дерева статуэтку молодой негритянки — символ матери. Особенно любовно художник вырезал грудь — необычайной красоты. Юные шутники стали молиться черной богине, касаясь статуи, как святыни.

Молодежь до того, как пригласили к столу, вела себя независимо, шумно, на пожилых гостей не обращала внимания, казалось — полностью игнорировала присутствие дедов и отцов. Кое-кто из ребят не постеснялся без приглашения, без тостов дегустировать поставленные на стол напитки, правда, только в комнате, отведенной для молодых гостей.

Женщины подпенсионного возраста качали головой, вздыхали, перешептывались: вот, мол, какие дети пошли!

Ивана Васильевича и Ольгу Устиновну ничто в поведении Ладиных гостей не задевало, они хорошо знали этих юношей и девушек, таких угловатых в жизни, иногда несдержанных в проявлении чувств, но упорных в учебе, в завоевании глубин и тайн, до которых еще совсем недавно добирались лишь гении, и то ощупью.

Родители удивились, когда пришел Феликс Будыка — длинный сутулый мужчина в очках, в дорогом, но мешковатом новом костюме. Он передал невесте тяжелый пакет, неловко поцеловал руку, сказал: «Поздравляю». Забыл поздравить жениха или, может быть, не сразу разобрал, кто жених. Саша надел Васин штатский костюм, чуть короткий и тесноватый, и как-то сразу слился со студенческой компанией. Один Василь выделялся своей флотской формой.

Феликс мигал, протирал запотевшие очки, пока Василь относил к соседям его пальто, шапку. Долго не мог решить, куда ему двинуться: направо, где в Ладиной комнате группировалась молодежь, или налево, в большую комнату, где расположились остальные гости. Направился к молодежи. Но те не очень-то его приняли — даже притихли на какое-то время.

Иван Васильевич тайком спросил у дочки:

— Ты пригласила?

— Я.

— Это жестоко.

— Но интересно. Пускай учится, как люди женятся, — засмеялась Лада.

Поджидали Будык-старших. Они были первыми в списке гостей, составленном Ольгой Устиновной и обсужденном всей семьей. Но раньше, чем передали приглашение — их Лада печатала на машинке целый вечер, — Валентин Адамович позвонил сам, видно, узнав от сына. Лада нарочно ошеломила Феликса неожиданной новостью — позвонила ему даже раньше, чем сказала на курсе.

— Иван? — прогудел в трубку бас Будыки, хотя баса у него не было. — Не Васильев, а чертов сын! От тебя всего ожидал, любой гадости. Но этого!.. Ну, знаешь!.. Смертельно ты нас с Милей обидел.

— Чем?

— Еще спрашиваешь — чем! Выдаешь замуж Ладу — и ни слова. Мою любимицу и крестницу!

— Валентин, сын Адамов. Становишься подозрителен, теряешь веру в друзей. И я, и Ольга, и Лада считаем тебя на свадебном вечере гостем номер один. Тебя и Милану, разумеется.

— Правда? — Голос перешел на собственный тембр. — Только не гость номер один, а друг номер один! Друг! Не забывай, пожалуйста.

— Я не забываю.

— Хочешь сказать, что я забываю? Нет, врешь! Я могу полезть с тобой в драку из-за своей или твоей работы. Но, как видишь, остаюсь человеком во всем прочем. Мой высший принцип!

...Общие знакомые знали, кого ждут хозяева.

Поэт, глотавший слюнки, глядя на пития и закуски, от которых ломились столы, не выдержал этикета:

— Иван Васильевич, давай команду. Семеро одного не ждут.

— Позвони этому светилу, — посоветовал бывший командир отряда Тихон Косач. — Начштаба еще тогда любил, чтоб его ждали.

Косач сказал неправду: там, в лесу, Будыка был самым аккуратным. По-военному. Однако, выходит, теперь, чтоб осудить, можно приписать человеку любые качества, любые пороки в прошлом, и оспаривать их почти невозможно. Так некогда приписали ему, Антонюку, ошибки в работе, которых он не совершал.

Иван Васильевич не стал возражать Косачу — кому из гостей интересно, каким когда-то был Будыка? Но, очевидно, именно потому, что не возразил, мелкое это, казалось бы, совсем безобидное замечание вызвало множество ассоциаций и навело на невеселые мысли.

Звонить он не стал, потому что такой звонок мог бы обидеть

других гостей. Поэт и бывший партизанский командир — люди простые, не зараженные бациллами спеси. Но у некоторых приглашенных, особенно женщин, спесь эта была раздута до шляхетских размеров. Дай по неосторожности понять, к примеру, Клавдии Ивановне, жене коллеги по бывшей работе, что кто-то из гостей важнее, чем она, — ославит на полгорода. Хотя он относился совершенно равнодушно к тому, что о нем могут сказать, однако бестактным никогда не был. А тем более, что это неверно, будто Будыка — самый желанный гость. Раньше, может быть, так и было, а теперь все-таки появилась трещина. Опоздание Будыки злило. Обыкновенное хамство! Он давно начал бы свадебный пир, если бы не Ольга Устиновна. Она хитро брала вину на себя: не все, мол, готово, не успела, не рассчитала. Хозяйке в такой день все прощают. Когда Иван Васильевич сказал жене на кухне, что надо начинать, она взмолилась:

— Куда я их потом посажу? Ты знаешь Милю! Глупая наша девчонка притащила своих в три раза больше, чем рассчитывала. Не хватает ни приборов, ни мест.

Наконец Будыки явились. Не одни. Валентин Адамович привел с собой... Клепнева. Подбросил другу в торжественный вечер жабу, которую тот должен проглотить. А что поделаешь? Не выставишь же этого толстого нахала за дверь.

Троица произвела фурор. Валентин Адамович едва протиснулся в дом, держа перед собой огромную корзину... роз. Посреди зимы — розы! Белые, красные, живые, пахучие!

Женщины ахнули. Откуда? Где такие выросли?

Даже бородатые скептики умолкли и потянулись в коридор поглядеть на это чудо.

Лада, насмешливо-равнодушная к подаркам, онемела, растерялась. Может быть, только при виде этих цветов она поняла всю торжественность и серьезность того, на что так легко отважилась, почувствовала себя настоящей невестой.

Почему-то вспомнилась Кити, ее венчание, слова священника: «Расстоящиеся собравый в соединение и союз любве положивый», которые она, Лада, в школе никак не могла понять и никто ей как следует не умел их растолковать.

Валентин Адамович протянул Ладе корзину. Она не сразу взяла ее. Потом схватила, прижала к груди, уткнулась лицом в розы. Казалось — вот-вот заплачет. Но кто-то засмеялся, кто-то сказал:

— У розы есть шипы.

Лада передала корзину жениху. Горячо, в душевном порыве обняла Будыку, крепко поцеловала.

— Спасибо вам, Валентин Адамович.

— Ну, поздравляю, поздравляю. — И, подняв под мышки, как маленькую, передал жене, ожидавшей своей очереди.

Милана чмокнула Ладу в щеку и тут же протянула маленький пакетик.

— Это, Ладочка, от меня.

— Но есть кое-что и от меня, — прогудел Будыка, оглядываясь на Клепнева, который держал два больших свертка.

Саша передал корзину с цветами другу и шурину, Василь — еще кому-то, и лето поплыло над головами гостей к серванту.

Будыка жал руку жениху.

— Поздравляю, Саша. И завидую. Получил сокровище. Величайшее сокровище. Лада — золото.

— Лада — атом, — пошутил кто-то из молодежи.

— Заряженная частица, — подхватил другой.

— От старого партизанского друга твоего тестя тебе лично, — протянул Будыка один пакет смущенному Саше. — Чтоб в крымских горах веселей было скучать по жене. Чтоб не забывал о нашем Минске.

По словам Будыки и объему пакета молодежь догадалась.

— «Спидола»! — крикнули почти хором.

— Ух, черт! — восторженно воскликнул низкорослый, как мальчик, бедно одетый, нестриженый, кудлатый «гениальный физик» Витя Дзюба — Ладин однокурсник, парень, которого Иван Васильевич особенно любил. Витя иногда приходил и говорил просто: «А я сегодня голодный. Накормите».

Физик этот, как никто другой, был равнодушен к житейским благам — одежде, вещам. И вдруг такое восхищение подарком!

Иван Васильевич, поначалу глядевший на Будыкино представление с усмешкой — любит человек показать себя! — вдруг почему-то почувствовал себя униженным. Но не злость охватила, а какая-то боль и грусть сжали сердце.

Милана поцеловалась с Ольгой, и та повела гостью в спальню, снять енотовую шубу.

Клепнев, дождавшись наконец своей очереди, прилип губами к Ладиной руке.

Не желая принимать поздравлений от Клепнева, да и от Будыки тоже, Иван Васильевич крикнул:

— Гости! Прошу к столу! — И первый прошел за стол на свое место у окна.

Поэт сказал:

— Давно пора. В горле пересохло.

Командир отряда укорял бывшего начштаба бригады:

— Ох, любишь, Валентин Адамович, чтоб тебя ждали. Зазнался!

Тогда Будыка крикнул через головы гостей, протискивавшихся за столы:

— Иван! Прошу простить за опоздание.

Женщины, блюстительницы ритуала, зашумели:

— Молодых — к родителям! Пропустите молодых!

— Молодых — на кожух, — сказал поэт.

Гости прижались к серванту, к стене, чтоб пропустить молодых. Лада шла уверенно, радостно-возбужденная, Саша — застен-

чиво, извиняясь перед каждым, кого коснулся; парню, должно быть, казалось, что он здесь самый неуклюжий, может быть, отвык от штатской одежды и потому чувствовал себя в Васином костюме неловко.

Но пока они пробрались на свое место, там сидел уже Стасик — пролез под столом. Малыш вел себя очень странно. Он вдруг загорелся любовью к Ладе, хотя обычно воевал с ней из-за телевизора, желал сидеть только рядом с невестой и... ревновал к Саше; еще днем заявил ему: «Уходи, ты — чужой».

Покуда Милана в спальне причесывалась, лучшие места заняли другие гости, и Будыкам поневоле пришлось поместиться на краю стола. А Клепнев все-таки пролез вперед, втиснулся между молодых женщин и уже обвораживал — шептал на ухо то соседке справа, то соседке слева что-то смешное.

Человек энергичный, Иван Васильевич был весь день особенно оживлен, деятелен, весел. А тут вдруг, неведомо почему, овладело им странное безразличие. Не хотелось ни пить, ни есть, ни тем более говорить. Как будто застолье это уже шумело целые сутки и он, хозяин, обессилел, изнемог. Но первому, кажется, надлежит говорить отцу. Он попросил наполнить бокалы и поднялся с рюмкой в руке. За столом притихли. Даже молодые гости в комнате через коридор, когда увидели, что отец невесты встал, зашикали друг на друга, хотели услышать, что он скажет. Но ничего не услышали. Сказал Иван Васильевич тихо, устало и коротко:

— Что вам пожелать, дети? Как всегда в таких случаях — счастья, согласия. Еще чего же? Поблагодарим гостей, что пришли порадоваться вместе с нами. И... выпьем. А что еще? — спросил как будто растерянно, как будто и в самом деле не зная, что еще можно сказать или сделать, и вышло это хорошо — наивно и забавно.

Гости сдержанно засмеялись. Зашевелились те, что поближе, потянулись чокаться.

— Поздравляем, Лада!

— Саша! Был ты матросом, стал мужем. Будьмо! — сказал поэт и, кажется, один успел опрокинуть свою рюмку, потому что остальных остановил Будыка.

— Погоди, Иван! Уж очень что-то куцо ты сказал. А сказать надо так, чтоб вечер этот, слова пожеланий запомнились молодым на всю жизнь. Это же свадьба! По-нашему, по-белорусски — вяселле! Одно слово чего стоит, смысл в нем какой! Вспомните, какой она была у наших отцов. Когда садились за стол, наш поэт провозгласил: «Молодых — на кожух». Да, молодых сажали на дежку, на кожух. И это не смешно. В этом был глубокий смысл. Был обряд. Сложный, длинный, рассчитанный на разные эмоции — память невесты о девичьем житье, грусть от расставанья с родными, сожаление о молодецкой вольности и радость, что пришла любовь, что единятся сердца, рождается новая семья, а

с ней — новая жизнь. Обряд пробуждал извечную надежду, что дети будут жить лучше, чем отцы...

— Политграмота, — сказал поэт, закусывая.

Женщины шикнули на него, мужчины, жаждавшие выпить, завидуя его прыти, одобрили улыбками: давай, мол, останови этого самозванного оратора.

Будыка покраснел, нервно глотнул воздух, но не смешался — сбить его нелегко; раздражения своего не выдал, наоборот, сказал мягко, шутливо:

— Нет, дорогой поэт, это не политграмота. Политграмота — твои стихи.

Многие засмеялись. Но поэта это не смутило, только дало возможность под шумок налить и, подмигнув хозяину, опрокинуть еще одну рюмку. Молодежь в другой комнате тоже не дождалась конца речи Будыки — зазвенели рюмки, застучали ножи, зашумели голоса.

— Мы разрушили обряд. И утеряли красоту, святость этого незабываемого события — свадьбы. На месте разрушенного надо строить новое. Во всех областях, во всех сферах, материальных и духовных, у нас — новое. Нам нужны новые обряды! К сожалению, молчат наши поэты, этнографы...

— Обряды создает народ, — оторвался от закуски поэт. — И ты, частица народа, вместо скучной речуги предложил бы что-нибудь новое. Эпизод обряда. Глядишь — и пошло бы с сегодняшней свадьбы.

Слова эти сбили-таки Будыку. Предложить он ничего не мог. Пришлось отбиваться:

— Вас, дармоедов, сколько там сидит, и вы ничего не предложите. А я строю машины.

— Вот и строй на здоровье, — не выдержал наконец Косач, — а мы выпьем за молодых. Без религии. Старой. И новой.

Никто не зашикал на седого командира. Засмеялись женщины. Кое-кто из мужчин хватил рюмку: сколько можно ждать!

Испортили тост Валентину Адамовичу.

— Лада, за твое счастье! За твое счастье, Лада! Я носил тебя на руках — и я горжусь тобой. Как родной дочкой. Вологодец! Вручаем тебе сокровище. Береги! Тебе выпало счастье. Чокаюсь мысленно, Лада.

Иван Васильевич ждал конца тоста друга, но слушал плохо — наблюдал за Клепневым, как тот, облизывая губы, с поднятой рюмкой смотрел в рот шефу. Раньше Клепнев не проявлял столь открытого угодничества, держался независимо, иногда даже нахально, дерзко. А тут как бы демонстрировал свою преданность, верность. Почему? Верно, потому, что сразу почувствовал — не «стреляет» речь Будыки, не удивил он «теорией обряда», гости раздражены его опозданием и жаждут поскорей добраться до того, что выставлено на столах. Клепнев не дурак,

психологию застолья знает. А еще лучше знает шефа, его самолюбие.

К хозяину постепенно возвращался его постоянный интерес к людям... Так же, как верный Эдик, вдохновляла мужа взглядом Милана. Вот жена, молится на своего Вальку! Другие жены подтрунивали над мужьями на людях, всерьез или в шутку, Милана — никогда. Как-то Антонюк попросил: «Поссорьтесь хоть когда-нибудь при нас. Как вы ссоритесь? Не ссоритесь совсем? Ох, и скучно же вам живется».

— Обряды будут потом, — серьезно сказал поэт, когда Будыка наконец выполнил первый обряд — выпил освященную неудачным тостом рюмку; слов поэта не поняли, да никто и не хотел уже ничего понимать.

За столом зашумели.

— Папа, ты с обрядами женился? — со смехом спросила Лада.

— После небогатого ужина у бабушки Маланки я повел твою мать к себе, в холостяцкую квартиру. А это километров за семь, лесом; осень, темнота, мы сбились с дороги и блуждали чуть не до утра. Но нам было весело, та ночь запомнилась на всю жизнь.

— Видишь, у всех была романтика. А ты, лесовод, ничего не можешь придумать.

— У нас — красивые свадьбы. Я — за обряды.

— Истина конкретна, Саша. Какой обряд ты предложил бы здесь, в городе?

— Хотя бы, чтоб записывали не в тесной комнатушке, как нас с тобой. А в высоком зале. И чтоб играл орган...

— О боже! Баха? Моцарта? Может быть, еще «Реквием»? Чтоб ты оплакивал свою холостяцкую жизнь? И старушки проливали слезы умиления, на тебя глядя?

— Лада, не балагань. Ты совсем не такая. Не пугай мужа.

— Папа, я дитя атомного века. Я — за физику, а не за лирику. Но если хотите, я буду читать Блока. Могу устроить для вас вечер поэзии.

— Слово имеет Михась Иванович!

— Просим, профессор!

— Молодые, внимание! У меня — тост! Вот. Чтоб у вас было столько детей, сколько капель в моей рюмке. Вот! Ха-ха.

— А там — три капли.

— Михась Иванович! Такой тост и так мало налили! Да это же оскорбление молодых.

— Налить ему!

— Плюнь ты на свою печенку!

— Истина — в вине, говорили древние философы.

— Еще один доктор высказался. Величайшие оригиналы эти доктора наук. Остроумие бьет ключом! Пей, Саша, за наших детей.

— Лада, тебе положено сегодня быть доброй и ласковой. Он выдающийся философ.

— Папа! Выдающихся философов за всю историю человечества было два или три. Философ, не знающий строения атома...

— Лада, тебя слышат...

— А вино горькое. Горько! — завизжала шустрая дамочка, радуясь, что своим открытием опередила других.

— Вытирай губы, жених, начинаются обряды.

Но встала саркастически настроенная невеста с застенчивой улыбкой. Молодые пристойненько, чуть касаясь, поцеловались. Им захлопали.

— Вот теперь сладко.

— Ешь, Саша. Худей по методу докторов наук. Они худеют методом вытеснения. Знаешь такой? Рюмку водки вытесняют селедкой, селедку — салатом, салат — отбивной... И так далее...

— Где там Вася?

— Без тебя он погибнет, бедняжка. Молится на Свету. Ты поторопился с женитьбой, мой дорогой. Там есть на кого помолиться. Видел, какие богини? Света — это ж Нефертити.

Ивану Васильевичу хотелось слушать одну дочку да разве еще внука. Он с болью думал, как тоскливо станет в доме, когда Лада уйдет. Не вернется Василь. Отдалились Майя и зять. Одна утеха — внук. Погладил малыша по головке; Стасик, необычный, не по-детски серьезный, сидел между ним и Ладой — рядом с Ладой. Попытки матери и бабушки забрать малыша из-за стола встретили решительный протест не только с его стороны, но и со стороны Лады, которую, видно, растрогала такая неожиданная любовь племянника.

Ивана Васильевича тоже трогал этот страх ребенка, что кто-то чужой заберет Ладу — «мою Ладу»; Стасик даже ножкой топнул, когда мама днем сказала, что теперь уже Лада не его. «Нет, моя Лада! Моя!» Вспомнил об этом и почувствовал, что глаза наполняются слезами. Не хватало еще заплакать при гостях! Хорошо будет выглядеть бывший комбриг! А может быть, надо было не допустить этого поспешного замужества? Нет, не мог. Однажды уже не допустил...

Хлопец вошел в землянку несмело. В кожухе. С кнутом в руке. Поздоровался не по-военному. Неловко, по-стариковски стащил с головы подпаленную где-то у костра, а может быть, и в бою овчинную шапку. Будыка тут же сделал партизану замечание — приучал к военной дисциплине, особенно таких, молодых.

Хлопец совсем растерялся.

«Так я ж по семейному делу... к комбригу».

«По какому бы делу вы ни обращались, обращаться надлежит по форме, — пробирал начштаба. — Из какого отряда? Фамилия?»

«Микола... Кирейчик...»

«Что у тебя, Микола?» — спросил я. Жаль стало хлопца.

У него перехватило дыхание, а лицо запылало, как переспелый помидор. Он натянул шапку и... выпалил «по форме»:

«Товарищ комбриг, дозвольте жениться! Командир отряда, товарищ Катков...»

«Не дозволяет? — Будыка захохотал. — Довоевались!»

Действительно, было смешно, но я удержался от смеха. Понял, что перед нами — не шалопай, не сердцеед какой-нибудь, а хлопец скромный, и женитьба для него дело серьезное. Он приехал к командиру бригады, как к отцу. Другие разрешения не спрашивали. И стало мне еще больше жаль безусого парнишку.

«Садись, Микола. Сколько тебе лет?»

«Девятнадцать... — И торопливо поправился: — Двадцатый уже...»

Выяснили, что до войны Кирейчик кончил девять классов. Какое образование по тому времени! Какой кадр для будущей мирной жизни! А было это зимой сорок четвертого. Фронт у Мозыря стоял. А мы — в Пинских болотах, висели над немецкими тылами.

По-отцовски отговаривал Миколу. Учиться тебе надо, хлопче! Учиться, а не жениться. Победа вон видна, светит уже. Мир наступает. А ты вместо того, чтоб кинуться в науку, должен будешь вить гнездо для семьи. А вить гнездо нелегко будет — все вокруг опустошено, разрушено.

Будыка тоже подключился — помогал мне. Убедили хлопца. Отговорили. Потом рассказал Наде — она нахмурилась.

«Ты чего?»

«А у нее вы спросили? У дивчины? Вы два часа с ним беседовали, а ее в сенях дрожь била. И вам, феодалы этакие, и в голову не пришло поговорить с ней. Вам — только бы его убедить. Ему — что! А где она найдет свое счастье? Кто знает!»

Странно, что о ней мы и не подумали — о девушке. Только о нем.

Не после этого ли незначительного эпизода Надя осталась в деревне, организовала школу?

А года два назад заглянул ко мне уже несколько облысевший, полный, шикарно одетый мужчина. Не узнал его я, пока он не напомнил.

«Пришел, говорит, поблагодарить вас, Иван Васильевич. Помните, как вы в партизанах отговорили меня жениться. Умная у вас голова. Далеко вы глядели».

Кончил Кирейчик университет, аспирантуру, теперь — преподаватель института, кандидат наук. Обеспечен. Доволен. Счастлив. Порадоваться бы за бывшего партизана. Но вспомнились мне Надины слова.

«А она как?»

«Кто?»

«Девушка та?»

«А-а, Нинка Лагодич? Да не знаю. Осталась там, в Полесье. Не до нее было. Учился как сумасшедший. А потом встретилась другая. Жизнь...»

Да, жизнь. Однако почему-то пропал у меня интерес к жизни этого довольного собой кандидата наук. И наоборот, страшно захотелось узнать, как же она, та Нинка, которую я так и не увидел. Как сложилась ее жизнь? Каково ее счастье?

И теперь скребет: как же она? Надо будет летом поехать, поискать ее следы...

— О чем задумался, папа?

— Деда, дай вина. Сладкого.

— Иван, задавай тон! А то ученые скоро передерутся.

За столом шумно. Идет полупьяная безалаберная и бесплодная дискуссия среди мужчин. А женщины трещат о своем.

— Догматики вы, биологи. Запустили науку...

— Не захочешь жить с невесткой — построишь кооперативную...

— Мы запустили? В вашу физику никто не лезет с мудрыми советами, а в биологию каждый лезет...

— Так же как в искусство.

— У нее отец генерал. Да ни копейки не дает. А у нас откуда же деньги?

— В музыку еще не так, а вот в кино... Каждый зритель знаток получше Феллини.

— А кто такой Феллини?

— Я актеров не запоминаю. Черт их упомнит!

— Мы, физики, верим друг другу, поддерживаем, помогаем разрабатывать... А вы едите один другого. Вопреки биологическим законам. Борьба внутри одного и того же вида.

— Без борьбы мнений наука не движется...

— Не путай научную дискуссию с групповщиной.

— Беда, что они игнорировали биологическую практику. У нас, машиностроителей, науку от практики отделить невозможно. Машина должна работать. — Это Будыка.

— Да не всегда. Вот Игнат Свиридович, представитель института, машины которого — а за них получали премии — валяются на колхозных дворах металлоломом.

— Неправда.

— Они по сто картин в год смотрят, а пользы что?

— Нельзя зачеркивать работу всего института. Пусть однадве машины не удались...

— Валентин Адамович, чистую тарелочку.

— Олечка, милая, не надо. Посиди ты спокойно.

— Товарищи! К черту ваши ученые рассуждения. Самый традиционный, но самый сердечный и серьезный тост! За родителей. За Ольгу Устиновну. За Ивана Васильевича.

— За вас, мама! — крикнул жених и повернулся к тестю: — За вас, Иван Васильевич.

— За твоих родителей, Саша. Жаль, что они не смогли приехать.

— Не нажимайте на сантименты, а то разревусь, как теленок. Наделаю хлопот!

Молодежь начала скандировать:

— Мо-ло-дых! От-дай-те нам молодых!

Но выйти из-за стола было не так просто.

В дверях появилась Ладина подруга, однокурсница, проворная и настойчивая девушка, заводила. Задорно крикнула:

— Дорогие родители, дедушки и бабушки! Прислушивайтесь изредка к голосу молодежи. А то начнем бунтовать. Беды не оберетесь!

Кое-кто из старших обиделся, не столько из-за иронической угрозы, сколько из-за обращения «дедушки и бабушки». Бабушки возмущенно зашумели. А молодежь продолжала скандировать — народ поддерживал свою парламентерку. И она, нахальная девчонка, подстегивала:

— Лада! Тебе рано еще в бабушки. Давай к нам! Сердцем не старей!

Лада посмотрела на отца, увидела, что он не сердится за нарушение свадебного порядка, а забавляется — глаза хитро и весело смеются, перебегая по лицам гостей. Поднялась, пожала плечами: а как выбраться? Видела, что старшие не собираются их выпускать. Но тут дорогу показал Стасик: нырнул под стол и выскочил с другой стороны. Остановился и победоносно посмотрел на тетку, как бы приглашая последовать его примеру.

Лада засмеялась, отодвинула стул от стола, вдруг скомандовала:

— Саша! За мной! — и нырнула под стол.

Когда она вынырнула в тесном проходе между столов, Будыка и Клепнев захлопали ей:

— Вива, невеста! Браво!

— Моряк! Не отставай, — кричала Клава смущенному жениху, который не решался выбраться тем же путем. — Всю жизнь будешь отставать.

— Стол не вынеси на себе, — мрачно предупредил Косач.

— Саша! — укоряла Лада, давясь смехом.

Гудела «нижняя палата» (так молодежь назвала свою комнату). Встали из-за стола, столпились, чтоб видеть все через распахнутую дверь.

— Встаньте, бабушки. Пропустите молодого, не заставляйте парня лезть под стол. Не позорьте.

— Ни за что не полез бы!

— Встали!

— Нет, пускай лезет! Правильно, Лада! Командуй!

— Саша!

— Полундра!

— Моряк! Покажи класс!

Глянул жених на тестя, которого немножко побаивался и стеснялся, и увидел его глаза, не суровые — веселые, озорные. Кивнул Иван Васильевич: давай, не смущайся.

И...

— Опля!

Никто и глазом моргнуть не успел, как парень вскочил на стул и... перелетел через стол. Грохнул о пол. Задребезжали зеркала и стекла, зазвенели бутылки и рюмки. Заревела от восторга «нижняя палата», встречая молодых. Да и из старших никого не возмутила такая несерьезность — все смеялись. Понравилась ловкость.

— Силен, собака, — сказал поэт. — Выпьем за физкультуру и спорт!

Но прорвалось-таки старческое недовольство:

— Им можно прыгать. Через столы. Через наши головы. Прыгнул бы я так на своей свадьбе. При отце... Ого!

— Петро! Брось ты наконец свой дореволюционный аршин!

— Молодежь теперь не та.

— Ох, надоело мне это старческое брюзжание! — сказал Будыка. — Разумеется, не та. И хорошо, что не та. Не те времена. Не те представления. Замечательная молодежь. Штурмуют космос...

Опять поднялся старый, как мир, спор о сущности нового, тот беспорядочный спор, когда спорщики возражают не только оппоненту, но и самим себе.

А молодежь взрывалась хохотом и пела студенческую песню:

Тропы еще в антимир не протоптаны,
Но, как на фронте, держись ты,
Бомбардируем мы ядра протонами,
Значит, мы антилиристы.

К Ивану Васильевичу, на освободившееся место подсел бывший товарищ по работе, главный ветврач Захар Корнеевич, человек скромный, серьезный, не болтун, не сплетник. А тут зашептал на ухо:

— Слушай, говорят, там, наверху, была мысль взять тебя советником. Запросили нашего шефа — так, говорят, он высказался против. Что он против тебя имеет? Боится, что ли? Не слыхал?

— Нет, не слыхал. Меня это мало интересует, Захар.

— Да как сказать! Все мы люди.

Слышал, что ему собирались предложить эту должность. Не слышал, что возражал человек, с которым работали много лет и, казалось ему, были в дружбе. Во всяком случае, понимали друг друга. Сказал неправду, что его это мало интересует. Не могло не поразить, кто возражает. Если это правда — за что еще один

старый друг, неплохой и уважаемый руководитель, вздумал ударить его, лежачего? Тогда, когда разбирали его персональное дело, держался довольно прилично, даже, кажется, пытался защищать.

Им овладела злость. Не на того. На друга-шептуна. Какого дьявола ему понадобилось рассказывать об этом здесь, за свадебным столом? Бестактность, глупость? Или, может быть, нарочно? Может быть, за двадцать лет совместной работы он так и не раскусил этого Захара Корнеевича, тихого, деликатного, хорошего товарища, готового поделиться с сослуживцами последним куском? Где же его деликатность, душевная чуткость? Может быть, этот тихоня и пишет анонимки? Они были добрыми друзьями, часто вместе ездили в командировки, жили в одном номере в гостинице, и в порыве откровенности он, Антонюк, рассказывал Захару о Наде, да и о братьях Казюрах, кажется, тоже.

Вспомнил анонимки — и совсем испортилось настроение. Каким подлецом надо быть, чтобы даже Марине, многострадальной матери, написать такую гнусную ложь! Неужто такой тип может находиться среди гостей?

Все сразу окрасилось в мрачные тона. Снова показалась нелепой эта свадьба. Такая поспешность. Сколько Лада знала этого парня? Две-три недели встречалась там в горах. Да и то вряд ли каждый день. Разве что в самоволку бегал? Почему не добился, чтобы приехали его родители?

Стыдно стало самого себя. Это ж полная бесхарактерность — согласиться на такое замужество. Точно околдовали. Да еще, как дурак, высунув язык, три дня носился по магазинам, по рынкам, таскал бутылки, продукты, тратил последние сбережения. Чтоб все это за вечер сожрали люди, которые, может быть, в душе смеются над ним.

Злился на Ладу: такой ум и такое легкомыслие. Ругал Ольгу: пусть бы хоть она, старая гусыня, загоготала, что отлетает последнее дитя. Так нет же! Плакала, верно, от радости — дочка выходит замуж! А куда? За кого? Зачем? Все нелепо. Все. Комедия какая-то. Фарс. Невеста лезет под стол. Жених скачет через стол. Черт знает что! Молодые зубоскалы тоже, очевидно, издеваются:

Пусть не поймаешь нейтрино за бороду
И не посадишь в пробирку,
Но было бы здорово, чтоб Понтекорво
Взял его крепче за шкирку.

Стараясь перекричать их, разинула рот, старая дура. На каждой вечеринке визжит, как застрявший в плетне поросенок. Жена селекционера-картофелевода. Выведенные им сорта не много прибыли принесли колхозам, а ему дали и кандидатскую и докторскую степень. Между прочим, ходят сплетни, что диссертации и брошюры пишет за него эта визгуха. Как у нее хватает времени разучивать все новые песни?

Издалека долго
Течет река Волга,
Течет река Волга —
Конца и края нет.

— Подпевай, Иван. Чего нос повесил?

«Ненавижу этот пьяный рев. А зять как старается! Ты гляди. Никогда как будто не пел. Шефу своему новому демонстрирует ловкость и таланты. Глазами ест Будыку. Как же, осчастливил Валентин Адамович — на тридцать рублей больше дал. Начхать ему теперь на тестя, который учил, кормил, одевал, квартиру помог получить... Но черт с ним, с зятем! Лада, Лада... — Боль пронзила сердце. — Ты была надеждой и радостью. Куда же ты теперь полетишь? Кем станешь? Женой моряка? Лесовода? А твоя физика?»

Охватила такая тоска, что хотелось завыть. Будто хоронил дочку, а не выдавал замуж. И Ольга невеселая. Примостилась на краю стола, как дальняя родственница. Он больше не злился на жену. Жалел. Бедная мать.

«Подойди, сядь рядом. Я обниму тебя. И мы вместе поплачем, как плакали родители на крестьянских свадьбах в давние времена. И никого это не удивляло».

Среди хлебов спелых,
Среди снегов белых
Течет моя Волга,
А мне семнадцать лет.

Мужской бас перекрыл визгуху:

Гляжу в тебя, Волга,
Седьмой десяток лет.

— Кто-нибудь белорусскую знает? — спросил поэт.

Тут же доказали, что знают, — несколько голосов затянуло:

Ой, березы да сосны,
Партизанские сестры...

— О боже! Если б так мусолили мою песню, я бросил бы писать. Есть песни в народе...

— Ша!

— Внимание!

— Поет поэт!

Хвалилася калиночка за рекой,
Хвалилася калиночка за рекой:
Никто меня не вырубит за водой...

— Не надо, — тихо попросил Иван Васильевич.

Услышал и сразу понял поэт. Умолк. Предложил:

— Выпьем за отцовскую печаль.

Вскочила и вышла на кухню Ольга Устиновна.

«Иди, излей свою печаль в одиночестве».

Ничего только не поняла разжиревшая, всегда довольная собой визгуха — заголосила:

У моря, у синего моря
Со мною ты рядом, со мною.

И нельзя ее попросить: не надо. Не поймет.

За песней, подхваченной еще двумя-тремя женщинами, Иван Васильевич не слышал звонка, не заметил, кто открыл дверь, — кто-то из молодежи. И вдруг увидел в коридоре... Виталию.

Она стояла в пальто, в белом платке, с чемоданчиком и... виновато улыбалась.

— Пропустите меня, — сказал Иван Васильевич удивленным гостям, которые не сразу поняли, что случилось, почему хозяин так внезапно вскочил. Не все даже сразу поднялись. Он протиснулся между столом и стульями, наступая гостям на ноги.

— Вита! Добрый вечер! — не обнял, не протянул руки, а взял чемодан и... растерялся, как мальчишка, не зная, что делать дальше, что говорить. — А у нас — свадьба. Лада выходит замуж.

— Поздравляю вас, — сказала Виталия сдержанно, почти официально.

Иван Васильевич увидел жену, она выглянула из кухни и с удивлением смотрела на незнакомку.

— Ольга, это — Виталия. — Понимал нелепость такого представления, потому что так и не выбрал времени, не отважился рассказать жене о девушке, которая неожиданно может приехать.

Ольга Устиновна привыкла к тому, что к мужу приезжали разные люди. Но, увидев, как он смутился, догадалась, что девушка эта не просто знакомая по прежней работе, не какая-нибудь льноводка или агроном, что она имеет отношение к его партизанской славе, боевой и еще кое-какой.

Нехорошо сжалось сердце. Но хозяйка протянула гостье руку и любезно пригласила:

— Раздевайтесь, пожалуйста. И — за стол. Вася!

— Что, мама?

— Возьми Виталию к себе в компанию.

Сын появился в дверях и весело, даже несколько скептически оглядел девушку: откуда такая?

— Это наш сын, — обрадовавшись, сказал Иван Васильевич.

Молодежь шумела, смеялась, кто-то играл на гитаре, и никто не обращал внимания на то, что происходит в коридоре: мало ли какие гости, близкие и далекие, могут приехать или прийти на свадьбу!

А те, кого хозяин так внезапно поднял с места, с любопытством заглядывали в коридор: кто же она, если сдержанный Антонюк так бросился встречать?

Иван Васильевич увидел, как любопытно поглядывают гости, вспомнил, кто у него там, и возбужденно крикнул:

— Валя! Начштаба! Это же Вита, наша Вита!

Будыка мигом очутился возле девушки.

— Вита? Неужто Вита? Наша партизанская дочка? Боже мой! Какая ты выросла! Помнишь, как мы тебя носили на руках? Нет, не помнишь. Дай подниму сейчас.

Обнял. Расцеловал в щеки, в лоб. Шутливо попытался поднять. Кричал на всю квартиру:

— Товарищи! Это же наша партизанская дочка! Нет, вы поглядите, какая выросла! Вот так сюрприз! Молодчина, Иван, что пригласил! Миля! Эдуард! Знакомьтесь!

Тогда и молодежь притихла, заинтересовалась, потянулась в коридор. А Клепнев уже увивался вокруг Виталии, первым догадался помочь девушке снять пальто.

Выскочила Лада. Хотя не было на ней традиционного свадебного наряда, Виталия почему-то догадалась, что это она.

— Вы — невеста? — И шагнула к ней, может быть, хотела обнять сестру.

Но Лада холодновато, настороженно протянула руку:

— Я — невеста.

— Поздравляю, Лада. — И засмеялась, стала рассказывать: — А я подошла — шум, гам. Вот, думаю, попала незвана-непрошена. Постояла у двери — и вниз.

— Откуда ты, прелестное дитя? — как старый знакомый, говорил Клепнев. — Давно не встречал такой невинности!

— Откуда? Из лесу. Ведь вам говорят — партизанская дочка. Но куда же мне деваться в большом городе? Топала, топала по двору, озябла, мороз... и снова к двери. Все равно уж: приехала, надо заходить. Но, думаете, так легко нажать эту маленькую кнопочку, когда за дверью такой галдеж? Дядя какой-то помог. Спускался сверху. «Громче, говорит, звоните, а то они так разгулялись, что ничего не слышат». Тут уж хочешь не хочешь, а нажимай.

Своим откровенным признанием она сразу завоевала симпатии гостей. И Василя. Одна Лада нахмурилась: ей представилась задача со многими неизвестными.

Будыка удивился:

«Выходит, о свадьбе она не знала? По какому же случаю приехала?»

Все неизвестные в той задаче, что решала Лада, ему были известны; во всяком случае, он так считал. Не хватало только ответа. Однако Валентин Адамович совсем не собирался ломать голову даже над самым элементарным уравнением, он давно привык

получать решения в готовом виде. И тут тоже был уверен, что все откроется само собой.

Ольга Устиновна подумала с горечью и болью:

«Иван ведет себя, как мальчишка. Стыдно. Надо сказать. Нельзя так».

Но почувствовала, что для искреннего возмущения не хватает злости, а разыгрывать запоздалую ревность и все прочее неуместно, не к лицу ей — не те годы. От этого стало еще более горько и грустно.

Раздевшись, Виталия, может быть, не без хитрости — чтобы скорее сблизиться, попросила Ладу показать, где можно причесаться, помыть руки, «навести красоту». Лада повела ее в ванную комнату.

Мужчины вышли на лестницу покурить, Клепнев и кое-кто из женщин помогали Ольге Устиновне восстановить порядок на столе.

— То ли шляхта пировала, то ли свиньи паслись, — демонстрировал свое остроумие Клепнев.

— Вы циник, Эдуард, — сказала ему Милана Феликсовна, расставляя чистые тарелки; она всегда помогала Ольге, считая себя самой близкой ее подругой, но не собирала, не относила и тем более не мыла грязную посуду — брезговала.

— Все мы циники, — глубокомысленно заключил Клепнев.

Ольга Устиновна вдруг страшно разозлилась на этого толстого прощелыгу, который подхалимничает, прислуживается и в то же время, должно быть, презирает всех, ненавидит. Захотелось, чтоб когда-нибудь открылось, что Клепнев любовник Миланы. Пусть бы съел довольный собой Будыка!

Но тут же устыдилась своих недобрых мыслей. Что это ей вздумалось желать людям зла?

Будыка собирал вокруг себя слушателей; ему явно хотелось первому и как можно эффектнее рассказать о Виталии, о ее матери. Но Иван Васильевич не спускал с него глаз. Оттягивать предупреждение нельзя было: охмелевшего начштаба могло прорвать в любой момент.

— Валентин, можно тебя на два слова.

Они зашли в спальню, где пахло мехом и духами.

— Что за сенсацию ты мне приготовил?

— Маленькое предупреждение. Виталия до сих пор не знает, кто ее отец. Никогда не слышала про Свояцкого.

— Да что ты! Ай да Надя! Какая воля! Однако для взрослой дочери нужна какая-то легенда. Какая?

— Ее отец — я.

— Ты? Я таки догадывался, что будет сенсация. Что ж, можно понять, но подумала ли она...

— Нет. У Нади была легенда о партизане, который погиб. Я сам сказал это Вите. Недавно. Она приехала посмотреть на своих сестер.

— Узнаю Нехлюдова нашего времени. Замаливаешь грехи?

— Не надо, Валя, о моих грехах.

— Ох, Иван. Усложняешь ты себе жизнь. Надя создала самую разумную легенду. Она мудрая женщина.

— Кто-кто, а ты знаешь: я никогда не жалею о том, что уже сделал...

— Все-таки это толстовство какое-то. Столько проблем взвалить на себя! Зачем?

— Я должен сказать своим. Но не сказал пока что...

— Иван! — Будыка прочувственно сжал руку друга. — Понимаю. Можешь не предупреждать. Тайна друга для меня то же, что государственная.

— Тайной останется одно — о Свояцком.

— Любишь ты романтические истории. Слушай. А дед не помнит?

— До него, кажется, не дошло, кто такая Виталия. Когда он к нам присоединился! Тогда уже был семейный лагерь — столько женщин, детей! Партизанских сынов и дочек!

— Все, Иван. Могила. Но удивлен. Признаюсь. Хотя и знаю, что удивлять ты умеешь. Пошли. И молча выпьем за Надю. Кто знает: если б не ты, мог бы не устоять я. Перед такой женщиной! Все мы человеки. Как она? Постарела?

— Да уж не помолодела. Дочь вон какая!

— Да, неумолимое время, — тяжело вздохнул Будыка.

Когда они вышли из спальни, Ольга Устиновна сказала им укоризненно, но беззлобно:

— Заговорщики старые.

Они не забыли молча выпить за Надю. Возможно, Ольга догадалась, за кого они пьют, потому что иронически спросила:

— Можно с вами?

Тут же присоединилась Милана:

— Я тоже хочу с вами выпить.

Не совсем тактично получилось по отношению к другим гостям. Но никто об этом не подумал. Налили, что попалось под руку, стоя у чистого, меньше, чем вначале, загроможденного посудой стола.

— За что? — должно быть, не без хитрости спросила Ольга.

— За них. За наших мужей, — сказала Милана.

— За нашу молодость, — предложил Иван Васильевич.

Будыка вздохнул.

— За вашу молодость, — согласилась Ольга.

— За нашу, — поправила Милана.

Каждый вкладывал в тост свой смысл.

XII

Продолжение вечера совсем было непохоже на его первую половину. Разошлись по домам гости солидные, любящие подолгу сидеть за столом, пить, есть, иногда тянуть старые песни. Власть

захватила «нижняя палата». Молодежь выставила столы на площадку и начала свою свадьбу. Веселье захватило и стариков, тех, кто остался.

Возможно, в том душевном состоянии, которое овладело Иваном Васильевичем вначале, многие из модных танцев и песен ему не понравились бы: даже самые большие вольнодумцы в таком возрасте становятся моралистами. Но удивительно изменилось его настроение, внезапно, в какой-то неуловимый момент. Почему? Огорчило неожиданное замужество Лады и обрадовал приезд Виталии? Однако же приезд ее принесет немало забот — столько проблем взвалить на себя, как говорит Будыка. Уже насторожились Ольга, Лада, даже флегматичная Майя, хотя старшая дочь, пожалуй, недовольна только одним: из-за лишней гостьи ей негде будет лечь и придется тащиться по морозу домой, в свой микрорайон.

Элегантная пара — Ладины друзья-физики — танцевала твист. Выламывались, извивались, как без костей, распластывались, чуть не ложились на паркет и снова медленно, мягко, словно на невидимых пружинах, поднимались. Необычно, но, пожалуй, красиво. Им хлопали.

Под ту же чужую музыку магнитофона Иван Васильевич ловко прошелся вприсядку, выбивая такт ладонями по паркету. А мы умели вот как! Где больше надо ловкости? А потом пародировал модный танец. Довольно удачно. Молодежь не подсмеивалась — подзадоривала. Только жене не понравилось. Ольга остановила:

— Отец, не ребячься. Не с твоим сердцем.

Клепнев, этакий прогрессист, всегда за молодежь, рассуждал вслух:

— Через два года все старушки будут отплясывать твист. Это — как узкие штаны. Давно ли дружинники хватали из-за них?

— Давно.

— А попробуйте вы. Вы! — Лада тащила толстого защитника моды за руку, но он упирался, потому что танцевать не умел и не любил выставлять себя в смешном виде, особенно перед женщинами.

Была у Лады запись для любимого — матросский танец, энергичный, как положено на флоте, с выкриками и присвистом. Она сама включила эту ленту и сама попросила ласково:

— Саша!

Хотела показать, что муж ее, который в течение всей свадьбы был удивительно молчалив и неприметен, не такой уж тихоня и недотепа.

Саша не ломался. Только постоял немного, как бы выбирая удобный момент. И — бросился в круг, как в море с высокой палубы. Вертанулся на одной ноге и начал так выбивать каблуками, что, должно быть, зазвенели стекла и посуда во всем доме на семьдесят квартир.

Но и флотский танец украшает девушка. Саша задержался пе-

ред одной, другой — приглашал. Вышла Виталия. Пошла легко, просто, сорвала с шеи косыночку, помахивала ею. Несмотря на залихватский, бешеный ритм танца, движения ее были на диво плавны, почти медлительны. А Саша вертелся вокруг нее с космической быстротой. Но она вызывала другого, единственного человека во флотской форме — Василя: матросскому танцу не хватало матроса, Лада вытолкнула брата. Саша сошел с круга.

Василь плясал хуже товарища — спокойно, может, даже чуть лениво. Но он был в форме, а главное — они были пара: он и она. А потому появилась та гармония, тот внутренний ритм, который выше, теплее самого высокого уменья.

С той минуты, как Виталия, причесавшись, чуть подкрасившись, сменив бурки на туфли, села за стол, Иван Васильевич заметил, как, не в пример сестрам, Василь потянулся к девушке. А она к нему. Да только по-разному. Виталия — к брату: она знала то, чего не знал он. Сперва Ивана Васильевича обрадовало их быстрое сближение, душевный контакт. А потом вдруг испугался. Страх пронзил внезапно, как приступ боли. Похолодело внутри, затем до пота стало жарко. Не одной Виталии, многим близким людям должен он сказать... неправду. Нет, это почти правда! Это будет правдой! Но как ее встретят Ольга, дети? Конечно, по-разному. Но теперь его, в сущности, волновал только сын, больше никто. Как отнесется Василь? Разочаровала немножко Лада, ее холодная настороженность по отношению к Виталии — больше, чем у матери. Может быть, Ольга лучше умеет скрывать свои чувства? Во всяком случае, Лада никогда прежде, до свадьбы или до приезда жениха, не была такой. Она как-то хорошо умела подняться над бытом, над старыми, как мир, человеческими страстями в космические сферы науки, и это возвышало и ее и тех, кто был близок ей, — его, например. А теперь она — обыкновенная женщина. Но, может быть, вся мудрость жизни именно в этом возвращении назад, к обыкновенным страстям, на землю?

Зазвучал вальс. Солистка пела:

— Вальс устарел, —
Говорит кое-кто, смеясь. —
Век усмотрел
В нем отсталость и старость.

Составились пары. Будыка всех опередил — подхватил Виталию. Они кружились среди молодежи. Валентин Адамович что-то шептал девушке. Виталия весело смеялась. Ревниво краснела Милана, стоя с хозяйкой в дверях.

Клепнев, не без злого умысла, разжигал страсти — громко восхищался шефом:

— Вот кому завидую. Больше никому. Ни молодости, ни гению. Нет, вы поглядите, какая фигура! Какая грация! Молодые перед ним, что глисты...

Иван Васильевич не сводил с этой пары глаз, не замечая, что за ним, в свою очередь, следит жена; он боялся, что опьяневший, возбужденный Валентин может сболтнуть лишнее. Не выдержал. Галантно остановил их, извинился и забрал у друга его партнершу.

Клепнев вознегодовал:

— Куда лезет! Пигмей...

Ольга Устиновна обиделась за мужа, но смолчала.

Как нарочно, Василь увеличил громкость, и музыка заглушала слова, смех. Виталия не смеялась теперь, стала серьезна, задумчива.

— Тебе нравится? — спросил Иван Васильевич.

— Я счастлива... — Но тут же объяснила: — Я счастлива, что попала на свадьбу... Все так просто... сразу со всеми познакомилась... и я уже — как своя... и больше мне ничего не надо. Только увидеть всех, познакомиться. Какой у меня брат! Чудо!

— Как мама?

— О, мама остается мамой! Она так не хотела, чтоб я ехала. Так не хотела. Не понимаю — почему? Чем она напугана, почему живет в постоянном страхе?

— Твоя мать — мужественная женщина.

— Видно, мужество партизанское и мужество... обыкновенное... житейское или материнское, не знаю, как сказать, — разные вещи. Многие из вас стали не теми, что были тогда.

— Твоя мама не стала другой.

— Вы редко ее видите.

Завальсировал Василь, один, склонился перед ними в низком поклоне. И Виталия сразу перекинула руки с плеч отца на плечи сына.

Удовлетворенно прорычал Клепнев:

— Правильно! В отставку старье!

Иван Васильевич это услышал, но нисколько не обиделся на Клепнева. Было весело, все принималось легко — любые шутки, любые слова.

Василь почти все время танцевал с Виталией. Он не скрывал своего увлечения. Наклонялся к девушке, шептал что-то на ухо, влюбленно вдыхал запах ее волос, иногда пристойно и деликатно касался губами прядки на виске. Виталия, охмелевшая от вина, от радости, смеялась, может быть, громче, чем надо. Но смеялись все, и на нее никто не обращал внимания. Кроме Лады. Иван Васильевич видел, какие взгляды бросала дочь, и это было единственное, что тревожило и немножко огорчало. Неужто и Лада может разочаровать? Как Майя. Как зять. Как Валентин. Да, и Валентин — веселый, довольный, не пропускающий ни одного танца. Как некоторые другие старые друзья. За последние годы слишком много было разочарований. Пожалуй, хватит. Радовал сын — вернулся в его отцовское сердце таким, о каком он мечтал. Всегда радовала Лада. И должна радовать по-прежнему! Надо бороться

за эту радость! Вологодский парень, как с неба свалившийся, не должен — не имеет права! — так приземлить ее, чтоб она лишила отца счастья следить за ее взлетом, видеть, как эта родная черненькая головка проникает в недосягаемые для многих глубины строения вселенной.

Витька Дзюба был влюблен в Ладу. Теперь страдал. Еще более всклокоченный и измятый, ходил с двумя бокалами вина и каждому предлагал выпить с ним. Но физик был пьян, и никто его не поддерживал. Мужчинам он говорил:

— Черт с тобой! Ты бездарный тип.

Это обидело тоже опьяневшего и огорченного Феликса Будыку, и они чуть не сцепились. Дзюба залил кандидату портвейном новый костюм.

Клепнев сказал Дзюбе:

— Подонок!

— Сам ты подонок! — огрызнулся студент на толстого опекуна.

Ивану Васильевичу вдруг захотелось, чтоб маленький Дзюба устроил большой дебош — дал Клепневу по физиономии. Но вмешалась Лада:

— Витя, ты позоришь физиков.

— Пардон, мадам, — сказал Дзюба и осушил невыпитый бокал. — Я пью за ваше счастье, мадам.

Милана пошла замывать сыну костюм.

В столовой, за пустыми столами, сидели поэт и командир и вели бесконечный спор о партизанской стратегии и тактике.

Обиженный физик пошел к ним. Пожаловался:

— Я не умею танцевать.

— А что ты умеешь, патлатый? — недоброжелательно спросил поэт, недовольный, что прервали его рассуждения о рейде генерала Сабурова.

— Я умею расщеплять атом.

— Правда? — искренне удивился поэт. — В таком разе давай выпьем. Садись.

Через пять минут партизанский историк превратился в великого ученого-атомника. Старый командир получил отставку и, зевая, пошел смотреть на танцы.

Физик и лирик кричали, объясняя друг другу суть миров и антимиров.

Квартира превратилась в ночлежный приют. Хозяевам пришлось поместиться в комнате, где шел пир, на нешироком диване. В углу за столами, на охотничьем плаще и ватнике Антонюка смачно храпели на полу поэт и физик.

Иван Васильевич лег первым. Ольга Устиновна пришла, села на край дивана, распустила волосы, чтобы прибрать их на ночь.

— Как я устала, — сказала она.

— Диво ли! Даже у меня гудит все тело.

— В танцах ты не отставал от молодых.

— А в чем я когда-нибудь отставал?

Она сдержанно вздохнула. Помолчали. Иван Васильевич понимал, что обязан сам рассказать всю правду, что эгоистично и жестоко испытывать терпение жены. Но страшно хотелось услышать, как Ольга спросит о Виталии.

— Иван, я редко расспрашивала о твоей партизанской славе.

— Не надо иронии, Ольга.

— Мое счастье, что я могу с иронией. Теперь это легко. А знал бы ты, чего стоила мне эта ирония тогда... Ты думал, что я ничего не знаю...

— Я не думал. Тебе рассказала Милана. Чтобы выставить свою святость, Будыка не мог не выдать грешного товарища.

— Я простила все. Во имя семьи. Но до сих пор скрывать, что у тебя дочь...

Он стремительно сел за ее спиной, зашептал в затылок.

— Ольга, все более сложно, чем ты думаешь. Виталия — дочь Свояцкого. Помнишь? Я рассказывал, как мать его пришла к нам, ее привез Павел, как она родила... как мучилась... чуть не погибла сама и ребенок... Обо всем другом тебе рассказала Милана. Вита росла в отряде... Партизанская дочка. Но у Нади... у матери ее... так и не хватило мужества... до сих пор не хватило... сказать, кто же ее отец. Свояцкий расстрелян по приговору суда. Не буду оправдываться. В чем я виноват, в том виноват. Но можешь поверить — я не видел их много лет. А тут, когда ехал от Василя, меня потянуло проведать. Ольга, ты не станешь говорить, что я когда-нибудь был пошляком. И это была не пошлая связь, как иные на войне. Нет. Мы каждый день смотрели в глаза смерти. Я спас ее и ребенка... Она спасала меня... не раз.

Ольга молчала, медленно заплетая волосы в косу. Нет, ничего она не заплетала, просто руки застыли на затылке, руками ловила горячее дыхание мужа или отгораживалась от него.

— Я благодарен ей. Да, благодарен. Ты можешь думать, что хочешь. Но бывают моменты, когда хочется увидеть человека, друга. Приехала Марина Казюра. Хотя за что ей быть мне благодарной? Она могла проклинать меня за сыновей. Однако же приехала... Захотелось ей увидеть командира.

— Иван, я ни в чем тебя не упрекаю.

— Нет, я все эти годы чувствовал твой немой укор.

— О, давно уже от него ничего не осталось!

— Мне не легче твое равнодушие. Как будто я не мужчина уже. Не муж...

— О боже. Ты пьян, Иван. И у тебя неспокойно на сердце.

— Никогда у меня не было спокойно на сердце. Ты должна понять. Мне хотелось увидеть, может быть, в последний раз. Не думай ничего дурного, пожалуйста.

— Я не думаю. Я верю тебе.

— Приехал — там Виталия. Я знал ее маленькой. А тут — взрослый человек. Она спросила: кто мой отец? И я сказал. А что я еще мог сказать? Что сказала бы ты?

— Не знаю. Ты был связан заговором молчания. Но если б я была ее матерью, я сказала бы правду. Давно сказала бы.

— О! Ты думаешь — это легко?

— Нелегко. Но проще. Зачем запутывать узел, и так уже запутанный. Когда-нибудь его все равно придется рубить. А это будет больно. Всем вам. И еще, может быть, кому-нибудь...

— В конце концов, кто имеет право называться ее отцом? Он? Гад этот? Даже если б остался жив? Зверь, который убивал детей? Нет! Я спас ее при рождении. Я носил на руках. Два года. Больше. В таких условиях! В лесу. По болотам.

— Я понимаю, Иван. Это нужно Наде. Так ей легче.

— Не думай о ней дурно! — в полный голос сказал Антонюк.

— Тише! Не все спят, — предупредила Ольга Устиновна. Встала и выключила свет. Но горел фонарь на улице, чуть наискосок от окна, и перекошенное, как на абстракционистской картине, отражение лежало на боковой стене, на серванте.

Жена постояла возле двери, будто раздумывая, что делать. Иван Васильевич испугался, что она не вернется, пойдет приткнется где-нибудь на кухне, загроможденной грязной посудой, может быть, будет плакать там.

Нет, Ольга вернулась и сразу легла на край дивана, не сбросив халата, от которого пахло кухней. Теперь он сидел, в полумраке вглядываясь в ее лицо.

— Я никогда дурно не думала о ней, Иван. Как ни странно. Я жалела ее. За все в конце концов расплачиваемся мы, женщины. За ваши измены и за ваш героизм. Мне только обидно было, что я услышала правду от Миланы, а не от тебя. Ты открыл полправды, четверть правды. Ты вел себя, как трус, прославленный командир.

— Снова прошу без иронии, Ольга. Я думал, что берегу твой покой. Тебе не так легко жилось, как казалось некоторым.

— Я никогда не жаловалась на свою судьбу. У меня — дети.

Немножко обидел этот материнский эгоизм: у нее дети, а у него, выходит, их нет.

— Я тоже думал о детях. Всегда. Обо всех. Не об одних своих.

— Не нужно таких масштабов, Иван. Будем думать о своих детях. Что ты намерен делать?

— Как что?

— Ну, с дочкой своей.

— Она самостоятельный человек. Учительница. Ей ничего не надо.

— Я не о том. О ее положении в нашей семье.

— Утром я скажу Василю, Ладе, что она их сестра.

Жена схватила его за руки, как бы стремясь удержать от необ-

думанного поступка, зашептала так же горячо, как шептал он минуту назад:

— Не делай этого, Иван! Зачем? Ей в самом деле ничего не надо. Не двенадцать лет. Даже не семнадцать. В таком возрасте уже не так важно, есть отец или нет его... А как отнесутся к этому наши дети? Василь? Лада? Лада! Хороший свадебный подарок ты ей преподнесешь. А Саша? Что подумает он? Мы же совсем его не знаем. Что он за человек? Мало радости принесло мне это замужество. Ошеломило оно меня. В самом деле какое-то космическое. Сколько ночей я не спала! Ты этого не знаешь. Ты-то спал спокойно...

«Нет, я не спокоен», — хотел он возразить, но промолчал — не посмел перебивать.

— А теперь преподносишь такой сюрприз. Пригласил на свадьбу...

— Я не приглашал. Она приехала сама. Но я рад, что она приехала и что ей понравилось у нас.

Ольга Устиновна точно задохнулась. По нервной дрожи рук, по выражению лица, что вырисовывалось во мраке на фоне белой подушки, по шевелящимся губам казалось, что она продолжает возбужденно говорить, но долго, может быть целую минуту, он ни слова не услышал, как на киноэкране, когда пропадает звук, — Иван Васильевич понял, как она волнуется. Потом зашептала совсем иначе — умоляюще:

— Иван, у меня нет сил ссориться с тобой, и я не хочу этого. Поздно. Поздно уже. Но я прошу тебя... молю: ничего сейчас не говори. Может быть, как-нибудь потом... И ее попроси. Я имею право на то, чтоб ты выполнил эту просьбу. Я заслужила, Иван. Своим терпением. Своей болью. О, мне и в самом деле нелегко. Но разве я пожаловалась кому-нибудь. Или тебе? Никому. Обещай мне, Иван! Обещай, что ты будешь молчать.

Ольга сжимала его руки и тянула к себе. Показалось, что она хочет поцеловать их, и он отнял руки.

Жена почти крикнула в отчаянии:

— Обещай, Иван, я никогда так не просила.

Иван Васильевич молчал. Сперва рассердился, не постигая, что так пугает ее, почему так истерически молит. Потом вспомнил свои грустные мысли за столом перед приходом Виталии и понял жену. И опять почувствовал себя слабым, обессиленным, почувствовал, что теряет самое ценное — твердость, решительность, что такие уступки разрушают его, антонюковский, характер, ослабляют волю. Снова охватили печаль и безразличие. Ко всему.

— Ладно. Я буду молчать, — сказал и упал на подушку, отрезал, чтоб прекратить разговор: — Спать!

Повернулся лицом к стене. В знак благодарности Ольга Устиновна тихо погладила его по плечу.

Целый день Виталия и Василь бродили по городу. Виталия, все так же радостно возбужденная, смеялась как девчонка, иной раз без причины, особенно вечером, когда в тесном семейном кругу продолжали праздновать свадьбу. Без танцев, за столом, но с добрыми шутками и остротами. Разошелся молодой муж: имитировал голоса своих командиров и всех смешил.

Ивану Васильевичу было не очень весело. Но он старался не отставать от молодежи. А Ольга веселилась, пожалуй, от души — успокоилась мать. Молодежь освободила ее на этот вечер от всех кухонных и домашних забот. Готовили и подавали на стол Лада и Виталия, хотя в отношениях их Иван Васильевич все еще улавливал настороженность, холодок. Удивляла любимица его Лада, которую, казалось, до приезда жениха мало что интересовало, кроме физики. И вдруг такие чисто женские таланты!

Но вообще вечер прошел хорошо. С опозданием явились Геннадий и Майя, им позвонили, когда веселье было уже в разгаре.

Зять начал подражать привычкам и даже голосу своего шефа. Но Ивана Васильевича это не раздражало — хороший признак! — а лишь забавляло. Он сказал:

— Оля, слышишь? Нет, ты прислушайся. У него голос Будыки.

Зять пошутил, может быть, впервые удачно:

— Ого, мне бы голос Валентина Адамовича!

— С твоими способностями это нетрудно. Ты далеко пойдешь!

Ольга Устиновна съежилась: зять мог обидеться и испортить всю обедню. Нет, к счастью, ирония до него не дошла. Ответил:

— А что вы думаете? Не боги горшки обжигают.

Вообще казалось, что Геннадий в последнее время поумнел. И Антонюк уже готов был простить ему переход с завода к Будыке. Черт его знает, может быть, институт, где немало умных, интеллигентных людей, повлияет на него в хорошую сторону и изменит его крестьянскую частнособственническую психологию, такую нелепую у инженера-горожанина.

Но о Геннадии — между прочим. Главное — Виталия. Старался ничем не выдать этого — ни словом, ни жестом. И все-таки ловил ревнивые Ольгины взгляды. Они немножко смущали, будоражили. Взял руку жены, пожал, говоря без слов: «Не следи за мной, пожалуйста. Я сдержу свое слово. А если б вздумал сказать, ты все равно мне не помешаешь».

Ольга, кажется, поняла и переключила все внимание на молодого зятя: надо же все-таки выяснить, что он за человек. Времени мало, через неделю ребята возвращаются в часть.

Ивана Васильевича в тот вечер радовало веселое настроение Виталии. Но за ночь девушку как будто подменили. Завтракала она мрачная. Должно быть, от бессонницы, под глазами легли тени. От Васиного предложения пойти в художественную галерею отказалась. А когда ушли из дому Саша и Лада, неожиданно объявила:

— Еду домой.

Василь был прямо ошеломлен:

— Почему так вдруг?

— Ведь я на работе. Меня отпустили на три дня.

«Почему так вдруг?» — не спросил, как сын, но мучительно думал Антонюк. Сказала что-нибудь Ольга? Нет. Непохоже. Не могла она ничего сказать. Да и когда? Жена ушла в библиотеку, когда Виталия еще спала. Все еще спали. Завтракали без Ольги. Что же случилось?

Виталия обула бурки, надела простой костюм, в котором, наверное, ходила в школу, укладывала в чемодан туфли, платье, взятое для театра.

Василь стоял рядом, растерянно, как маленький, просил:

— Ну, подожди хоть маму. И Ладу не подождешь? И Сашу? Как можно так, Вита?

— Они не обидятся на меня.

— Странная ты какая-то. Не попрощавшись? Вита! Прошу: останься до вечера. Ты же раньше не говорила, что тебе непременно нужно уехать сегодня.

— Меня ждут дети.

Ивана Васильевича резанула по сердцу эта сцена — как, точно влюбленный, просит сын и как неумолимо жестока сейчас, неожиданно и неизвестно почему, эта девушка. Он попытался помочь сыну уговорить ее:

— Ведь нет же сейчас поезда.

— Нет, есть! На Брест. Я поеду на Брест. Мне так даже удобнее. Приеду на нашу станцию, когда уже рассветет и можно будет идти.

— Я хотел передать матери какой-нибудь подарок.

— Зачем?

— Ну, неловко так. Ты была в гостях...

— Ей ничего не надо! Я ничего не возьму!

О подарке сказала почти со злобой, как ударила. Иван Васильевич испуганно отступил: лучше не трогать человека, когда у него плохо на душе. Но из-за чего?

Даже Василь безнадежно вздохнул.

Виталия на миг смягчилась — провела ладонью по Васиной щеке, как раз так, как мать ее касалась его, Антонюка, щеки в их последнюю встречу, уже не по-женски — по-матерински; так же и она, Виталия: не как девушка парня приласкала и утешила, как сестра — брата.

— Не надо, Вася. Ты — хороший. Я рада, что познакомилась с тобой. Я счастлива...

Посмотрела на Ивана Васильевича. Странно посмотрела. Не то с укором, осуждением, не то с жалостью — он так и не понял. Только почувствовал не просто печаль — боль, почти отчаяние. На душе стало очень тяжко. Казалось, он сделал что-то гадкое, низкое. А что? Ведь ничего как будто. Но не мог поговорить с

ней с глазу на глаз, не мог объяснить... А что объяснять? Ведь она же говорила там, в деревне, что совсем не нужно разглашать их тайну, она приедет, чтоб посмотреть на своих сестер... Увидеть брата не рассчитывала. Ей повезло.

Хотелось проводить ее до поезда и по дороге сказать что-то, что — сам не знал, но чувствовал, что обязан сказать что-то такое, что прояснило бы причину ее отъезда, их отношений, должен успокоить ее боль и свою. Что все-таки причинило ей боль? В конце концов нетрудно догадаться, из-за чего. Причин достаточно. И все так усложнилось. Еще это Васино увлечение. Оно больше, чем что другое, могло взволновать девушку, испугать ее.

Но провожать пойдет Василь, и он, отец, никак не может отказать ему в этом.

Они уже оделись.

Вита подошла попрощаться. Крепко, по-мужски пожала руку. Иван Васильевич задержал ее руку в своей.

— Передай маме привет. Пусть будет счастлива. Скажи: я глубоко ей благодарен. Спасибо, что приехала.

— Вам спасибо. Передайте Ольге Устиновне, что я благодарю ее за гостеприимство. А ты, Вася, поцелуй Ладу за меня. Я желаю ей счастья. Чтоб Саша скорей вернулся. И ты... Приезжайте тогда к нам. У нас хорошо. Особенно летом.

Она сказала это, обращаясь уже к Василю, но испытующе смотрела в глаза отцу и не отнимала руки. Взгляд ее не был мягок, ласков, глаза не туманились, как туманятся они у женщин в минуты расставания. Нет, она смотрела жестко, почти осуждающе.

Он не выдержал, сказал, не глядя на присутствие Василя:

— Не обижайся на меня, Вита. Я стар. И... не партизан уже...

Тогда она резко отняла руку:

— Чего мне обижаться? — И почти весело протянула: — Что-о вы, Иван Васильевич, батька наш партизанский! Будьте здоровы. Напишу — отвечайте.

— А как же, Вита. Непременно. Скажи матери: я кланяюсь ей.

Ольга, вернувшись с работы и узнав, что гостья уехала, сказала:

— Вот умница.

«Эгоистка! Для собственного спокойствия и спокойствия детей ты готова выгнать человека из дому! Добрейшая из женщин!» — чуть не закричал Иван Васильевич. Но он понял, что срываться нельзя, что ему станет еще хуже.

Разочаровала и Лада. Она, так же как мать, почти обрадовалась отъезду Виталии. Собственно, ей этот эгоизм простителен: не так много дней осталось ей пробыть с мужем, а в небольшой квартире каждый лишний человек в тягость, и на дворе — зима, деваться больше некуда. Но Лада объяснила отъезд гостьи по-своему:

— Она испугалась Василя. Он же втрескался по уши. Готов был тут же просить ее руки. А ей нельзя выходить замуж.

— Почему нельзя?

— Мало ли почему. Может быть, у нее там, в деревне, жених есть, — явно хитрила дочь.

Что она знает? О чем догадывается? Ведь она всегда была с ним откровенна. Лада отходит от него — и это еще новая боль.

Порадовал Василь своим прямодушием и почти детской непосредственностью. Но и испугал. Проводив Виталию, он целый день не возвращался домой, бродил где-то один, явился только вечером. Всей семьей сели пить чай. И сын при отце, при матери не постеснялся сказать другу:

— Проводил я Виту и, знаешь, Саша, чего захотелось? Поскорей сбросить бушлат. Поехал бы я куда-нибудь туда, в Полесье. И стал бы шофером в совхозе...

— И женился б я на Вите, — насмешливо продолжала Лада.

— А что? И женился бы. Ты же вышла замуж за старшего матроса.

— А море? — спросил Иван Васильевич.

— Море останется морем.

— Саша мне рассказывал о твоей мечте.

— Мечты что море: цвет его меняется много раз за день. В зависимости от облаков и солнца, — засмеялся Саша.

— Если вы так легко меняете свои мечты, — нахмурилась мать, — мало толку будет.

— Мы их не меняем, Ольга Устиновна, — сказал зять. — Они сами. Под влиянием обстоятельств. Живем среди людей.

— У настоящего человека должна быть твердая цель, — входя в роль сурового педагога, говорила добрая мать и теща. — Это философия безволия. Человек должен уметь управлять своими поступками, настроением, чувствами. И мечтами...

— Какая ты стала рационалистка, — мягко, без иронии, разве только с оттенком удивления сказал Иван Васильевич.

Но жена почему-то рассердилась.

— Я всегда была такой. Во всяком случае, не поддавалась первому чувству, первому порыву. А ваше поколение... Один раз увиделись, готовы идти в загс.

— Мама! — удивилась Лада. — Ты, кажется, нас упрекаешь? Поздно, мамочка! Надо было делать это до свадьбы.

Саша смутился, покраснел.

— Я не о вас, — спохватилась Ольга Устиновна. — Но нельзя так, как твой брат. Увидел девушку и готов забыть обо всем: о службе, об учебе. Шофером готов пойти.

— А тебе, мама, хочется, чтоб я стал академиком? Не меньше? Вот чего не обещаю. Предоставляю это Ладе, она — гений, — Василь начинал злиться.

Ивану Васильевичу не хотелось, чтобы сейчас, в такой вечер, портили друг другу настроение. Ольга, при всей ее рассудительности, может иной раз заладить совсем не в тон.

— Ты сама приехала ко мне в Тимирязевку, — напомнил Иван Васильевич, — хотя мне оставалось еще год учиться.

— Ага, мама! — засмеялась Лада. — Выходит, не такие уж святые были и вы!

— Да, приехала, — обрезала мужа Ольга Устиновна. — Но поженились мы через год. И до того мы два года дружили, переписывались.

— Переписывались, — повторил отец. Иван Васильевич не мог сказать жене при детях: «Ты считаешь, что замужество твое началось со дня записи в сельсовете, а ведь все случилось раньше». Он задумчиво улыбнулся.

— Время — понятие относительное. В любви есть другие величины. Сила любви. Что еще, мальчики? Подсказывайте — и мы выведем математическую формулу, которую никто не опровергнет. — Лада дурачилась, ей не хотелось говорить об этом всерьез, боялась, что мать зайдет слишком далеко и Саша не все правильно поймет, может обидеться. — Не забудем поправки на темп жизни. В космический век, мама, жизнь не может идти со скоростью того трактора, который когда-то наш отец вывел в поле.

Но Ольга Устиновна не сдавалась; ничем ее в тот вечер нельзя было ублажить — ни шуткой, ни напоминанием о ее собственной молодости.

— Скоро сгорите, если будете лететь, как на ракете, — сурово предупредила она в ответ на Ладину шутку.

Удивляла эта непримиримость женщины, которая была всегда так добра к детям. Но Иван Васильевич понимал ее душевное состояние, хотя и не мог точно определить причину, потому что не одна, верно, а сочетание многих причин взбудоражили ее покой. Он щадил жену и помог Ладе отвести разговор в безопасное русло. Он был добр в тот вечер. Ни злости, ни раздражения, ни строгости, наоборот, не в пример Ольге, умиление и любовь.

Но одно не проходило — ощущение вины. Перед Виталией. Странно. Ведь в конце концов ничего особенного не произошло. Мало ли из-за чего девушка могла так внезапно уехать. Пускай он смалодушничал, поддался страхам жены. Но еще неизвестно, как Виталия приняла бы разглашение их тайны. Хотела ли она этого? Может быть, уехала бы еще более поспешно? Может быть, даже возмутилась бы? А Василь? Действительно неизвестно, как отнесся бы ко всему этому сын.

Такие женщины, как Ольга, кроме материнского эгоизма, обладают поразительной интуицией и мудростью. Редко случалось, чтоб выходило плохо, когда он поступал по совету жены.

Но все эти размышления мало утешали, да и не одно ощущение вины грызло сердце. Оно что тот камешек, с которого начинается обвал. Росло, как снежный ком, как опухоль, другое — страх, что он, оторванный от большого дела, теряет характер, становится безвольным и не нужен даже детям — не авторитет для них. Такие приступы случались с ним в начале его вынужденного

бездействия. Но тогда он становился злым и активным. Шел доругиваться с теми, с кем не доругался. Теперь ни с кем ругаться не хотелось. Теперь он добрый, мягкий. И эта мягкость не нравилась, пугала.

Он провел еще одну бессонную ночь.

«Мне звонил Антонюк, чтоб не запахивали ни одного гектара».

«И я согласен с Антонюком. Мы подрубаем не сук — корни».

«Иван Васильевич, что ты делаешь? Ты один — против всех».

«Как видите — не один. Прислушайтесь к голосу тех, кто растит хлеб на поле, а не в кабинетах».

«Это демагогия. Я вынужден официально доложить в ЦК».

«Григорий Фомич, это давно сделали без вас. Докладчиков всегда хватает».

«Я уважаю вашу принципиальность. Но почему я должен верить вам и не верить крупнейшим ученым, с которыми консультировались и которые целиком поддерживают эту идею? Есть расчеты...»

«У меня тоже расчеты».

«Я читал вашу записку. В ней много интересного, однако же...»

Вот так — однако же... Ты — умный человек. У тебя хватило мужества недавно самокритично признать: «Мы иной раз допускали волевые решения». Иной раз... Те же, что были тогда пламенными защитниками новшеств, и теперь на первых местах. Их многоопытные помощники выписывают положения из моей записки и вставляют в доклады. Все правильно! Все поставлено на свое место! И я молчу! Я могу радоваться: победил.

«Пойду хоть погляжу на него. Не принять он меня не может. Просто интересно, как он будет теперь смотреть мне в глаза».

«Не надо, Иван. Я знаю твой характер. Поругаешься. А кому это нужно?»

Ты умная, Ольга. Кому нужно, чтоб я поругался с дураком и карьеристом?

Кому нужно, чтоб я признал Виту?.. Ты — добрая. Ты не пилишь, не упрекаешь... Ты спишь... А мне опять надо глотать снотворное. Творить сон. Сон! И видеть во сне жизнь.

Павел, ты хотел бы, чтоб она была твоей дочерью? Так было бы проще. Для всех. Для нее. Для Нади. Для Ольги и наших детей.

Признаюсь: я думал об этом. Но не мог без твоего согласия. И Надя, видимо, не могла. Назвала Шугановича. Такого же чистого, как ты. Может быть, чувствовала, что он тоже любил. Так же, как ты. Молча, стыдливо, по-юношески. Я обокрал вас. Тебя — живого. Его — и живого и мертвого. Но ведь он ни одним взглядом не выдал своей тайны. А если б и выдал, было уже поздно. Так же, как опоздали твой бунт и твое признание. Я был ослеплен. Чем? Властью? Ответственностью, которую взвалил на себя?

Горем? Болью за муки людей? Я был старше вас. Тебя, Васи. Я командовал вами. И такими, как Кравченко. Дедами. Я умел повести людей в бой. Но чего-то я не умел. Чего? Считал, что в главном — в верности народу, партии — у меня достаточно силы, убежденности, а человеческие слабости — их спишет война. Разве один я жил по этой формуле?

Не знаю, как кому, а мне война ничего не списала.

Раньше, когда был моложе, в работе, в суете я временами забывал о твоем осуждении, Павел. Но оно висит надо мной. И мне тяжело. Прости меня, брат. Я уверен: живой ты простил бы. О, как мне хочется поговорить с тобой! Сейчас. В эту бессонную ночь. Теперь модно показывать в кино, как убитые на войне отцы приходят к возмужавшим детям. Я еще не дошел до подобной мистики. Не хочу, чтоб ты приходил такой, каким ушел из лагеря. Такой ты ничего не поймешь. А если бы пожил, то, верно, понял бы и простил. Но все равно Вита никогда не могла бы стать твоей дочкой. Зачем же я спрашиваю, хочешь ли, чтоб она была твоей дочерью? Она — моя дочь!

«Тебе ни разу не поручали контролировать сельскохозяйственные учреждения? Ха-ха! А я думал — ты сам боишься. Оказывается, тебя оттирают. Не подпускают близко к той области, где ты считался специалистом. Вот тебе и контроль! Идеалист ты, Иван. Весь твой контроль направляется теми, чью работу ты должен бы проверить в первую очередь. Но ты жаждал деятельности — и тебе подсунули мой институт. На, проверяй! И ты обрадовался — покажу себя. И ловишь блох. Неужели ты не видишь, что кому-то хочется столкнуть нас лбами? Кому-то это выгодно».

Валя... Валентин Адамович... Ты был идеалистом, когда мы смотрели смерти в лицо. А стал циником. Что тебя сделало им? Ведь у тебя все шло как по маслу. Достиг таких высот! Не без помощи же людей ты поднимался. Теперь тебе кругом мерещатся интриги. А я, битый и тертый, не верю в такое хитросплетение интриг. И в высокий смысл всей нашей работы верю. И в контроль. И в критику. В воспитание и перевоспитание даже таких поседелых зубров, как мы с тобой.

Но в самом деле, почему мне ни разу не поручили проверить какое-нибудь сельскохозяйственное учреждение? Там я, наверное, разобрался бы лучше, чем в машиностроении. Оттирают? Кто-то боится, что я увижу и скажу больше, чем надо? Однако же никто не может зажать мне рот. И не могут списать меня окончательно. Вспомнили же, позвали, предложили... Да, заговорил гонор. А у кого его нет, гонора? Но мой гонор непохож на твой, Валентин. Я ничего не выгадываю для себя. Завтра я пойду к тем, к кому сохранил уважение, и скажу: «Дайте работу. Любую». Нет, я напишу... «Дорогой Петр Федорович! Не хочу выставлять себя ни героем, ни мучеником. Не буду говорить о прошлом. Время показало, кто прав... Не обещаю, что в будущем не испорчу кое-кому нервы. Но прошу дать возможность приложить мои знания агроно-

ма и опыт организатора к осуществлению тех задач, которые выдвигает партия и которые — верю — помогут быстро поднять сельскохозяйственное производство».

Нет, «быстро» — не то слово. Быстро на земле ничто не вырастает. Попробовали уже ускорить выращивание хлеба и мяса — получилось то, что теперь назвали волюнтаризмом Не так просто быть реалистом В политике. В экономике. В жизни. Люди, прожившие по шесть-семь десятков лет — как дети: придумывают и желания, и мечты, и пути их осуществления, и возможные результаты всего этого. Лада утверждает, что кибернетические машины не оставят места для волевых решений. Любое решение будет проверяться математически. Какое? О посевах кукурузы? О заготовках мяса? Дорогой мой физик, а какая машина рассчитает, за кого и когда тебе выйти замуж? Какая машина решает, что лучше: сказать Вите правду, что ее отец изменник и детоубийца Свояцкий, или поддержать святую ложь о партизане? Что лучше — объявить всем вам, что Вита моя дочь, или... Включи свои машины, Лада!

Ох, так конца не будет до самого утра. Надо сотворить сон. Но сильные средства Ольга прячет, считает, что они разрушают нервную систему. Она бережет мои нервы. Найти можно, за два года изучил все ее тайники. Но во всех комнатах спят дети. Не надо их будить. Пускай спят. Когда-нибудь и у них будет бессонница.

После снотворного почти никогда ничего не снится. А мне хочется, Павел, чтоб ты пришел ко мне во сне. Хоть один раз. Я не мистик. Но я хочу почувствовать твою живую руку, увидеть живой взгляд твоих глаз. Неужто мы так далеки друг от друга, что даже присниться ты мне не можешь?

А вот она приходит, Надя. Во сне. И так... особенно, когда я болею. Правда, теперь я болею редко, закалился, никакая хворь не берет. Говорят, на войне людей обходят обыкновенные мирные болезни. У меня — наоборот. Там, в лесу, только воспаление легких раза два или три валило с ног. Собственно говоря, с моей болезни все и началось.

В марте уже, кажется... Да, в марте, потому что, помню, солнце припекало, снег осел, утром ехали по насту... Жумига, лесник, подсказал: хорошо бы на Журавлином болоте, через «гнилые жилы», через которые в самое жаркое лето не пробраться, перекинуть кладки, укрепить их и поставить вехи на тайных стежках, чтоб только партизаны знали, как выйти к этим переправам. Пока держит лед, можно подвезти бревна. Болото это было самым надежным оборонным рубежом, прикрывало лагерь с тыла. Но могло стать и ловушкой. Старый лесник оказался лучшим тактиком, чем мы с тобой, инженер Будыка. Потом в августе, когда боевые взводы совершали рейд за Днепр, кладки эти спасли людей. Кладки. И братья Казюры.

Повезли бревна. На одной из дальних гнилин конь, рядом с ко-

торым я шел, провалился. Я бросился за топором, чтобы перерубить гужи. Испугавшись, конь рванул и подмял меня под себя. С головой окунулся в ледяную ржавую воду. Едва вытащили партизаны своего командира. Пока довезли до лагеря, обледенел, хотя пригревало уже солнце. Вечером — температура сорок. Даже фельдшер наш сразу поставил диагноз — крупозное воспаление. Дня три горел, бредил. Потом быстро стал поправляться. На нервах держался. Наступала весна — некогда залеживаться, надо готовиться к новым операциям.

Пока Надя болела, я иногда заходил в женскую землянку — поглядеть на нее, на ребеночка, как растет. И каждый раз после этого становилось страшно; думал — куда их девать?

А когда Надя поправилась и незаметно включилась в лагерную жизнь, а Рощиха еще нахваливала ее — какая работница! — страх мой прошел, стала она, как все другие, партизанкой. И встречались мы редко: на построение женщин не вызывали, приказания отдавать непосредственно ей незачем было — Рощиха отдавала. Ухаживали они за ранеными и больными, мыли, шили, латали. Работы в лагере хватало. Да когда еще ребенок на руках.

Однажды я зашел в их землянку по какому-то делу или, может, просто захотелось посмотреть на ребенка в грустную минуту. В жарко натопленной землянке Надя была одна, качала малышку. Испугалась, увидев меня.

«Как вам тут живется?»

«Спасибо, Иван Васильевич».

«Как ваша Виталия?»

«Спасибо, Иван Васильевич».

«Что это вы — спасибо да спасибо? За что?»

«Спасли вы нас...»

«Не благодарите больше за это».

Неловко стало мне. И неприятно. Обидно, что держит себя так приниженно. Хватило мужества бросить мужа-предателя, дом и за неделю до родов уйти в лес. На что надеялась? На нашу человечность? Вот держись и дальше так — мужественно, дерзко, с достоинством, женским, материнским. Не сгибайся ни перед кем! Так, помню, я подумал.

Разговора у нас тогда не получилось.

Во время болезни за мной ухаживала Рощиха. И крепко-таки надоела своей старческой воркотней. Вдруг однажды вечером приходит Надя — поставить банки. Фельдшера комиссар послал в Загонье — там болели дети, разгорелась эпидемия кори или скарлатины — не помню. Фельдшер поручил ей поставить банки.

Сразу поразило, как смело она со мной поздоровалась, заговорила — с больным все смелые. И ловко, как профессиональный медик, делала свое дело.

«Ложитесь на живот. Так. Подушечку под грудь, мягче будет лежать, — подняла сорочку, пожалела: — Ой, да у вас живого места нет. Любит наш Ефим Львович банки».

Самогоном протирала спину. И это прикосновение нежных женских рук взволновало. Замер я, притих и... растерялся, как раньше она передо мной, не знал, о чем говорить.

Укрывая меня кожухом, она тихонько провела рукой по волосам, пригладила их, взлохмаченные на затылке. Это было уже слишком. Женская ласка совсем расслабила волю командира. Остался мужчина, которому до душевного трепета хотелось этой ласки.

В землянке горела яркая лампа: Будыка приладил ее у меня над головой, чтоб я мог почитать, оставаясь один.

Надя села на табуретку поодаль, у столика. Я приподнял голову, чтоб видеть ее. Она не смутилась от того, что я разглядываю ее (очевидно, к больному женщины относятся, как к ребенку), но привычным движением оправила юбку на коленях. Такой обыкновенный, инстинктивный жест, который можно видеть много раз на день, находясь среди женщин. Но тогда и жест этот взволновал. И смутил, как мальчишку. Сейчас помню это ощущение.

Выздоровев от послеродовой горячки, она за два месяца пополнела, порозовела. Показалась мне очень красивой. Я удивился, что раньше не замечал этого. Очевидно, из такого открытия и рождается любовь. Я опустил голову на подушку и спросил о ребенке:

«Как ваша Виталия?»

Надя теперь не сказала «Спасибо, Иван Васильевич», а начала охотно, как каждая молодая мать, рассказывать о дочке: что она уже смеется и многих узнает — Рощиху, фельдшера, Шугановича, любит, когда Ефим Львович выносит ее из землянки, сосны удивленно разглядывает. И еще много всяких мелочей. Но я плохо слушал. Вдруг обожгла мысль, что фельдшер или еще кто-нибудь не только будет нянчить ребенка, но может приголубить и мать. Семьдесят мужчин вокруг. И я восстал против этой мысли. Меня в самом деле точно обожгло. Что это? Мгновенная любовь и ревность? Или тщеславие? Какое? Мужское? Командирское?

«Вождю племени — лучший конь и лучшая женщина».

Нет, никогда я не был таким «вождем племени». Я мог погорячиться, мог наломать дров, но никогда не преступал партийных норм и человеческих законов. Да, могло быть тщеславие — и мужское, и командирское. Однако, безусловно, появилось тогда что-то, что сильнее воли, сильнее разума.

Когда Надя сняла банки и я перевернулся на спину, она наклонилась поправить подушку. Я взял ее руки и прижал к своим горячим щекам.

Она сказала:

«Не надо, Иван Васильевич», — но рук не отняла.

Я поцеловал загрубевшие от работы пальцы. Тогда она вспыхнула, растерялась. Губы задрожали, глаза налились слезами. Я отпустил ее руки. Надя поскорей ушла. Потом призналась, что никто до этого не целовал ей руки.

Я провел бессонную ночь. Вася Шуганович тоже не спал, храпел один Будыка. Вася спросил:

«Не спится, Иван Васильевич?»

«За день выспался. Больше недели отлеживаюсь. А ты почему не спишь?»

«Умирают в Загонье дети. Что делать?»

Мальчик мой дорогой, обо всем у тебя болело сердце: о соснах и о детях. О песнях. И о моем настроении.

Утром Надя принесла завтрак в командирскую землянку. До этого всегда приносила Рощиха. Потом — обед. И ужин. Будыке это понравилось: его, кадрового офицера, возмущало, что Рощиха ворчит на нас, как сварливая теща, и бранит, как мальчишек. А Надя такая вежливая, деликатная. Приятней есть кашу, разложенную по мискам ее руками. Вася Шуганович, наоборот, почему-то хмурился. Чувствовалось, что Надя боится комиссара. Или стесняется. Вася такой мягкий был, чуткий, внимательный, интеллигентный, но его все стеснялись — и молодые и старые.

На третий день Надя принесла обед, когда я снова был один: Шуганович отправился в пропагандистский поход по деревням — перед севом поговорить с селянами о нашей, партизанской весне. Будыка руководил строительством тайных складов.

Я начал уже вставать. Сидел у приемника и ловил Москву, чтоб послушать последнюю сводку с фронтов. Нам приходилось экономить батареи, и приемник наш чуть шептал. Чтоб что-нибудь услышать, надо было почти прижаться ухом к динамику. Я пригласил Надю послушать... Мы сидели голова к голове, едва не касаясь друг друга, и я больше прислушивался не к передаче, а к ее дыханию, пьянея от аромата волос, которые пахли ребенком и хвоей. Очень хотелось обнять ее. Но сдержался.

Возможно, она сама чувствовала опасность такого мужского окружения и инстинктивно искала защиты у того, кто сильней. Где ты был в это время, Павел? В разведке? Да, ты несколько дней не появлялся в лагере. Но ведь прошли месяцы. Три месяца, и за это время ты не собрался с духом сказать Наде и другим, что давно любишь ее, еще с техникума? Тебе она доверилась, с тобой поехала в лес, в таком положении, среди зимы. Ты мог стать ей ближе, чем кто бы то ни было. Какие мы были идеалисты все. Даже я. Даже суровая Рощиха. Кажется, в тот день Рощиха сказала:

«Зачастила что-то Надя к вам в землянку. Раньше силком нельзя было заставить пойти... Гляди, командир, не вздумай крутить амуры. Узнаю — милости не жди. Разделаю на партсобрании, как бог черепаху. Недостает нам еще морального разложения».

Наивная женщина! Хотела предупредить, а вышло наоборот. Взбунтовали ее слова, задели гонор, опять-таки командирский и мужской. Чтоб Рощиха мной командовала! Чтоб Рощиха указывала, что я имею право делать, чего не имею! Полюбить, выходит, не имею права! Потому что и здесь, в лесу, на войне, висит над го-

ловой ханжеская пропись. К дьяволу все прописи и условности! Я отвечаю за судьбу людей. Отвечу и за себя. И если это любовь — ничто не остановит меня, Рощиха, никакие твои предупреждения!

— ...Ты все еще не спишь, Иван?

— Сплю.

— Я проснулась и сразу услышала, что не спишь. Я по дыханию твоему узнаю... А ты еще шептал что-то...

— Считал до тысячи, как ты учила.

— Что тебя расстроило? Выкинь все из головы.

— Там и так не очень-то полно.

— Постарайся ни о чем не думать.

— Стараюсь.

— Снотворного не дам, не жди.

— Я не прошу. Спи.

— Просись на работу, Иван. Просись. Ты терзаешь себя.

— Ты сама меня заводишь. Не мешай. Я буду спать.

«Не бросайте нас, Иван... Не бросайте».

«Надя, успокойся. Кто вас бросит! Держись рядом».

«Если что — застрели. Прикажи хлопцам, чтоб застрелили...»

«Что ты болтаешь? У кого поднимется рука?»

«Иван, лучше смерть, чем попасть к ним. Лучше смерть...»

«Мы будем отбиваться до последнего патрона».

«Дай мне пистолет. Дай мне пистолет! Я должна иметь оружие!»

«На́ тебе пистолет. И замолчи. Слышишь? У тебя — нервы».

«Нет. У меня ребенок. Ребенок у меня, Иван!»

Идет дождь. Шумит в искалеченных соснах. Мы лежим на опушке. Нас горсточка, семь или восемь человек. Но и в других местах — другие такие же группы. Это не прорыв из блокады. На прорыв мы уже ходили. Дважды. Не прорвались. Три дня нас молотили, что снопы цепами. Минами. Бомбами. Разнесли в щепу весь лес — последнее наше пристанище после перехода через Астаховские болота. Мы намеревались оторваться от них после недельного боя. Но у карателей тоже головы на плечах. Они разгадали наш маневр. Три дня полного окружения, полной блокады. Нечего есть. Нет патронов. Растаяла бригада. Эсэсовцам известны наши силы и возможности, и завтра они, наверное, прочешут лес с автоматами. Ждать нельзя. Единственный выход: спасайся кто как может! Нет, это не стихия. Это тактика, наша, партизанская. В самой чаще выкопали скрытую землянку, спрятали тех раненых, кто не может идти. Замаскировали. Не обнаружат собаки — кто-нибудь останется в живых. Вернемся, заберем, вылечим. Все остальные разбились на такие вот группки. Есть, кажется, даже по два человека. Без командирских приказов. Каждый выбрал, с кем ему идти и в какую сторону. Пойдет двадцать или тридцать групп. Кто-то на-

скочит на заставу карателей. Начнет неравный бой. Кто-то погибнет. Но под этот шум кто-то же и прорвется. Верю: большинство прорвется. И бригада будет жить! Как вовремя пошел дождь. Боже, если б я верил в тебя, возблагодарил бы тогда (да и теперь) за твою милость. Тот майский дождь — сколько спас он добрых людей! — приглушил шум шагов, смыл следы...

Притупилась боль от раны в плече и самая жгучая боль — в сердце, боль и горечь поражения, разгрома. Что было — не переделаешь. И мертвых не вернешь. Надо думать о живых. Нет, сегодня каждый сам себе командир. Я верю в людей, в их хитрость и ловкость. Выйдут! Многие выйдут. И соберутся в условленном месте! Выйти бы только мне. В конце концов это не имеет большого значения. Кто-то же выйдет. Комиссар. Будыка. Косач, Катков... И соберет отряды, бригаду. Я могу лежать спокойно. Мог бы, если б не эта женщина, не этот полуторагодовалый больной ребенок... Проклинаю свою слабость: сколько раз собирался устроить их в безопасном месте, да так и не выполнил своего намерения. Надя убеждала, что для нее и Виты самое безопасное место при штабе бригады, при мне. О, женская привязанность!

Перед наступлением карателей я отдал приказ: женщин, детей, больных расселить в деревнях, растворить среди населения. Кто не выполнил приказа? Надя пришла на болото с группой Будыки.

Тихо. Только дождь шелестит в молодой листве кустарника. Неужто ни одна группа еще не двинулась?

И вдруг просыпается ребенок. Кричит. Кричит на всю опушку. Голодный, больной. Мать качает, уговаривает, прикрывает личико, чтоб заглушить крик. Мать в отчаянии.

Вот и пройди неслышно мимо часовых. Такой детский плач ничто не заглушит. Разве что стрельба. Канонада. Его уже, наверное, слышат. Пускай слышат, пускай знают, что мы тут, с женщинами, с детьми. Это может даже помочь другим.

«Виточка, цветик, ягодка моя, замолчи, замолчи, моя маленькая. Боже, если бы ты знала!»

Отползает в сторону кто-то из партизан нашей группы. На кой ему рисковать? Лучше он пойдет один или присоединится к кому-нибудь другому! И я не могу остановить его! Не могу приказать! Каждый пошел, с кем хотел, куда хотел. Таков последний приказ комбрига и комиссара! Главное — вырвать из этого адского котла хоть горсть людей, основу будущих новых отрядов. Лагун пошел с Катковым. Будыка остался с нами. Спасибо тебе, Валя. Спасибо. Всегда ты в опасности рядом!

Еще один отползает. И меня охватывает страх, такой, какого не знал никогда, в самые критические минуты. Даже когда тонул в трясине и вокруг — никого. Это тоже страх одиночества. Но какого? Остаться одному с Надей и больным ребенком, который заходится от плача здесь, перед цепью карателей? Тогда уж действительно один выход...

«Дай ребенка!» — Голос у Будыки осипший, чужой, суровый.

«Не дам!» — Шепот, как вопль на весь мир, на всю землю. Отчаянный вопль матери.

«Дай ребенка!»

«Не дам! Стреляйте сперва меня! Меня...»

«Кому ты на черта сдалась!» — Никогда так грубо Будыка не говорил с Надей. Неужто озверел перед лицом смерти?

Но самое страшное, что я не имею сил оборвать его, приказать молчать.

Однако что он надумал? Зачем ему ребенок? Ползет. Ползет к нам. Или от нас? Нет, ребенка я тебе не отдам! Умирать, так вместе!

«На, напои ее самогонкой».

«Виту?»

«Виту».

«Помрет...»

«Не помрет. Уснет. Будет спать».

Ты мудрец, Валька! Ты великий изобретатель, инженер Будыка. Запасливый человек. И предусмотрительный. Любой другой в этом пекле давно бы вылакал свою самогонку. А ты берег фляжку до последней минуты.

«А вот теперь выпьем», — сказал ты, когда мы вышли без боя и на рассвете добрались до Прибарской пущи, шесть человек, Вита — седьмая. — Всем по глотку. Но пить честно. Первому — комбригу. А Вите больше не дадим. Маленькая пьянчужка!»

И Надя засмеялась и заплакала, затряслась в нервном припадке, забилась о землю, о корни ели, под которой мы остановились.

Не надеялась, что смерть минует и на этот раз. А кто надеялся?

XIII

Незавершенное дело не давало покоя. Никто больше не звонил, не торопил, а все равно скребло на сердце: надо же как-то закончить эту проверку, сделать выводы, написать заключение. Не для того, чтоб обвинить кого-нибудь, напрасно Будыка нервничает. Чтоб обратить внимание партийных, хозяйственных органов на промахи в работе очень нужного института.

Три дня писал заключение. Один. Поехал в институт, чтоб ознакомить Будыку и партком, прежде чем дать подписать членам комиссии. Чувствовал, что придется выдержать бой: секретарь парткома — за директора. Но именно это и расшевелило, взбодрило, заставило собраться. Таким он бывал перед каждым боем, там, в партизанах, где в боях проливалась кровь, и потом, в бескровных баталиях — на коллегиях, совещаниях, пленумах.

Ехал и вырабатывал план обороны и наступления. Прикидывал, представлял аргументы людей, которые будут возражать, видел лица тех, кто будет молчать. А между прочим, почему они

молчат? Слишком много молчунов для такого большого и квалифицированного коллектива. Стоит и об этом сказать.

В длинном институтском коридоре перехватил зять. Будто нарочно подстерегал.

— Иван Васильевич, хочу поговорить с вами, можно?

— Здесь?

— Ага.

— Такое срочное дело, что нельзя подождать?

— Можно, но...

В голосе зятя и во всей фигуре не заметно обычной самоуверенности, развязности, иронии. Вернулась сыновняя почтительность, уважение к старшему, более умному; таким он был в первые годы жизни в доме у Антонюков. Это приятно поразило Ивана Васильевича, и он, как говорится, клюнул на приманку.

— Где ж нам поговорить?

— Да лучше тут, в холле.

— Давай тут, если недолго.

Они пошли по коридору к небольшому холлу, месту встреч курильщиков. Там стояли низкие кресла, два столика с пепельницами, по углам — пальмы, на одной висела табличка: «Не бросайте окурков в вазоны». Они не сели, стояли под пальмой: Геннадий ломал пальцы — видно, волновался.

— Не знаю, как начать. Вот так... Я вам не чужой человек, Иван Васильевич, от моей работы зависит счастье нашей молодой семьи. Может быть, ошибся, что пошел сюда. Но ведь я не сам просил. И мне здесь нравится. Перспектива есть, если б поддержали. Но кто-то уже начинает плести интриги. Сперва все шло хорошо. Сам Валентин Адамович хвалил. Я старался. А тут вдруг заведующий лабораторией стал цепляться. Начались придирки. Я молодой инженер, могу ошибиться. Но разве так надо растить молодых? Сегодня в приказ попал. Предупреждение. Сразу предупреждение! За месяц. Я же знаю, как это делается. Предупреждение, потом — выговор. А там — будь здоров. И никакой профсоюз, никакой суд не спасет. Поговорите, пожалуйста, с Валентином Адамовичем. Попросите... Он слово скажет...

Иван Васильевич отступил на шаг, как бы для того, чтобы лучше разглядеть уже довольно солидную фигуру в модном костюме: Геннадий купил себе новый костюм, перейдя в институт, чтоб быть на уровне молодых ученых.

— Ты помнишь наш разговор, мою... не совет, нет... просьбу?

Что-то изменилось в лице у Геннадия Иван Васильевич не сразу даже понял, что это все те же отвратительные черты самоуверенности, превосходства. Зять воровски оглянулся: нет ли кого поблизости?

— Вам же выгодно, чтоб я здесь прижился. Могу, если надо, такие фактики подобрать...

— Пошел вон! — крикнул Иван Васильевич на весь этаж.

Геннадий мгновенно смылся — знал характер тестя.

Антонюка даже затрясло всего. Было ощущение, словно плюнули в душу.

Желая помочь старому другу, коллективу, партийным органам, занимался он этой проверкой. Спорил, ссорился. Но не собирал «фактики». «А ты!.. Чуть задели тебя, указали, видно, на нерадивость, и ты готов собирать «фактики». Нашел себе кадр, Валентин Адамович! Можешь радоваться. Или ты уже сам раскусил его и дал команду выжить? Все равно это не делает тебе чести».

Будыка встретил странно. По-разному он встречал своего бывшего командира: с искренней радостью, веселой иронией, с самолюбованием, при людях — афишируя дружбу, настороженно и с неудовольствием, когда работала комиссия.

Теперь же ничего этого Валентин Адамович не выказал. Даже неприветливости или раздражения: опять, мол, черти тебя принесли. Были в его облике какое-то мрачное безразличие и усталость, даже тени легли под глазами и потемнели веки, будто человек узнал, что неизлечимо болен.

Ивана Васильевича встревожил вид Будыки. Но в кабинете находился сотрудник, и неудобно было спросить, что с ним. Когда плановик вышел, Валентин Адамович сказал сам, не ожидая вопроса:

— Можешь радоваться: наша работа вылетела из списка в первом туре. Помогли лучшие друзья! — Он недобро хмыкнул.

Антонюка поразило: из-за премии такая мрачность, такое настроение?

— И для тебя это трагедия?

Будыка глянул исподлобья, ответил со злостью:

— Да, для меня это трагедия!

— Валентин! Из чего ты делаешь трагедию? Чего тебе не хватает? Денег? Славы?

— Чего мне не хватает — для твоего примитивного ума непосильная задача. Премия нужна не одному мне! Коллектив...

— Не ври! Прежде всего ты думаешь о себе. Не прикрывайся коллективом!

— Довольно с меня твоей ханжеской морали. Нашелся отец духовный! Хватит!

Тогда Антонюк изо всей силы хлопнул папкой по столу, вскочил, и... стены шикарного кабинета, мебель модерн, толстые тома технических справочников услышали слова, которых никогда не слышали и вряд ли когда еще услышат, а хозяин кабинета слышал их в последний раз двадцать лет назад в землянке или в бою, когда комбрига, случалось, доводили до такого накала и он взрывался.

Неведомая сила, нет, ведомая, та, что имела над ним власть там, в лесу, подняла усталого, размякшего директора с кресла, и он слушал, стоя почти по-военному — «смирно». Не возражал. Не возмущался. Только испуганно поглядывал на дверь, как бы

кто не вошел. Знал — теперь комбрига никто и ничто не остановит. Пускай хоть двадцать человек ворвется.

Когда накал несколько поостыл, пошли слова, допустимые в печати:

— Я не успел помочь, ты знаешь это...

— Не знаю, — огрызнулся наконец Будыка.

— Так знай: жалею, что не помог. Может, комитету легче было бы разобраться. Но по всему видно, там не дураки... Из-за премии у него трагедия!.. А что же было тогда, когда мы лежали в блокаде и кричал ребенок?.. Жареный петух не клюнул тебя в толстую... Трагедия у него! Постыдился бы перед памятью тех... Шугановича. У него была не трагедия... Он лежит в земле, чтобы ты делал трагедию из того, что тебе не дали еще одной премии, еще одного ордена. Сколько уже нахватал? За что? Ведь ты лишь отдаешь людям то, чем они щедро оделили тебя!

Вдруг непривычный жар разлился в животе, подступил к сердцу. Стало трудно говорить. Никогда этого не было. Иван Васильевич умолк, прислушался.

Тогда, как будто почувствовав, что обвинитель его выдохся, как будто сообразив наконец, что перед ним не комбриг, а всегонавсего пенсионер, закричал Будыка.

Иван Васильевич не слушал.

«Неужто инфаркт?» И почувствовал страх, пожалуй, никогда не испытанный. Однако не хотел, чтоб стало дурно здесь, в кабинете, перед этим разозленным его словами себялюбцем. Направился к двери. Будыка не остановил, но от удивления умолк на полуслове.

Иван Васильевич вышел в коридор, посидел в кресле под пальмами, откуда прогнал вон зятя.

Отлегло. Ничего страшного не случилось. Только осталась слабость в ногах. Да полная опустошенность в душе. Как будто насосом выкачали все чувства, все эмоции. Равнодушие ко всему. Такое же, как на свадьбе.

Называется — познакомил директора, партком с заключением, написанным в бессонные ночи. Папка лежит на столе в кабинете. Пусть остается Будыке на память. Черт с ним. Все. Точка. Никто не заставит его больше приходить сюда, заниматься этой проверкой. На кой черт это ему нужно!

Оделся в приемной. Приветливая говорливая секретарша, которая не однажды угощала его кофе, не подняла головы от бумаг, не сказала ни слова — слышала сквозь дверь или успела переговорить с шефом?

Иван Васильевич вышел, не бросив привычного «бывайте».

Душевная опустошенность и безразличие не проходили. День. Второй. Иван Васильевич не выходил из своей комнаты. Лежал бессонной ночью. Лежал днем. Но мысли не бурлили, как обыч-

но. Дремотно плыли, как у тяжелобольного, тусклым маревом. Ни обиды, ни горечи. Не жаль многолетней дружбы. Но подсознательно чувствовал, что именно то, что никого и ничего не жаль, больше всего и угнетает. Пытался заполнить пустоту воспоминаниями: может быть, проснется что-нибудь — боль, любовь или хотя бы злость; даже злости не было. Но вспоминалось почему-то главным образом детство, такое далекое. Не было оно безоблачным, но и горького, печального было в нем не так уж много. Да и что детские горести по сравнению с теми, что пришлось пережить потом? Вообще воспоминания детства размягчают, убаюкивают человека, расслабляют волю. Приятно, сладко — даже сердце щемит, но ничто не заводит пружины эмоций. Механизм возбуждения, взрыва бездействует.

Жена талдычит свое:

— Хандрить начинаешь, Иван. Плохой симптом. Иди попроси, что-нибудь ведь предложат. Соглашайся на любую должность, лишь бы с людьми, в коллективе.

— Никуда я не пойду. Надо будет — позовут.

— К чему он, твой гонор? А если не позовут больше?

— Значит, обходятся без меня.

— Но ты-то сам не можешь обойтись без работы. Разве я не вижу! Не с твоим характером.

— Тебе кажется. Пенсионер — довольно массовая профессия в наше время. Пожить за счет общества — немалый соблазн.

— Иван, от кого ты прикрываешься шутками? От меня? Я насквозь тебя вижу.

Иван Васильевич не сказал, что, к сожалению, Ольга видит не все на этот раз, во всяком случае, не понимает причины его хандры. Хотя и сам он не мог толком осознать этой причины. Разочарование? Но разве он был так уж очарован Будыкой? Нет. Не однажды расходились во взглядах на жизнь. Ссорились. В конце концов, ничего нет удивительного, что такого человека, как Будыка, отклонение работы в первом туре сильно расстроило. Он, Антонюк, не понять этого не мог. У каждого свои слабости. Слабости Будыки он знает лучше, чем собственные. И сто раз прощал их ему. А вот этого простить не мог. Не злобной фразы, что у Антонюка «примитивный ум», — это глупости! — а злобного признания, что для него, Будыки, провал с премией — трагедия. Но теперь уже все равно: переживай свою трагедию один! Вместе мы переживали настоящие трагедии.

— Поехал бы на охоту, — посоветовал Ольга.

— Охота уже запрещена. Пора бы тебе знать.

— На волка не запрещена. Походил бы по лесу. Лес тебя бодрит.

Ольга знает: лес бодрит. Но сейчас ему никуда не хочется — ни в лес, ни в поле. Ни гулять по городу.

Вошла Лада.

— Ты нездоров, папа?

Иван Васильевич быстро сел на диване, растер руками лицо, будто со сна.

— Нет, кажется, здоров. А что?

— Ты никогда столько не лежал. Что с тобой?

— Ничего.

— Ты стал какой-то не такой, как всегда.

— А ты? Ты тоже не такая.

— Я? — Лада задумалась, стоя посреди комнаты.

— Мы ни разу не поговорили с тобой после свадьбы. Так, как раньше.

Лада присела на подлокотник кресла, потом сбросила тапки и забралась в кресло с ногами, поджала их — совсем по-детски, по-домашнему. И уже одно это дало отцу ощущение ее доверчивой близости.

— Я не такая... — задумчиво призналась Лада и тут же горячо сказала: — Но не стала хуже, папа! Нет! Не думай... Я люблю тебя... так же...

Как человеку мало надо: дочкино признание — и в застывшее сердце будто влилась теплая живая струя. Иван Васильевич благодарно, но почти растерянно улыбнулся дочери.

— Но... знаешь... как тебе объяснить?.. Замужество многое изменило. Я легкомысленно относилась к нему. О, это все значительно серьезнее!.. Тебе я признаюсь... Провожая Сашу и Васю, я ревела на вокзале, как баба. Разве это похоже на современного физика? Смех... Или вот еще... Помнишь, я привыкла еще со школы, и это продолжалось все годы в университете... уходя утром на занятия, я забиралась в карман твоего пальто и выгребала мелочь — на пончик, на кофе, на кино. Иногда ты сердился: сядешь в троллейбус, сунешь руку в карман, а там — ни копейки. А тут... через несколько дней после свадьбы... по инерции потянулась было к твоему пальто и отдернула руку. Стыдно стало. Теперь я не растрачу стипендию за два дня, как раньше...

Совсем растрогало такое признание. Чуть не до слез. Но сказал грубовато:

— Мужицкая психология в тебе пробуждается. Плюнь на эти условности. Ты знаешь мое отношение к деньгам. Транжирства не люблю. Но чтоб дочь не могла взять на завтрак... Почему? Чепуха!

Лада помолчала, подумала, глядя на отца, в глазах затаилась грусть, словно прощалась с чем-то дорогим.

— А может быть, это хорошо, папа?

— Что ж тут хорошего?

— Человек должен меняться. Ты говоришь — «мужицкая психология». Во мне пробуждается что-то другое. Или приходит запоздалая зрелость. Знаешь, у меня теперь такое чувство, как будто я наконец ступила на землю. Под ногами твердь. Не качает, не колышет, не относит в сторону. Я подсмеивалась над нашими «гениями». Однако и сама смотрела на людей как бы с высоты.

Я отгоняла эти мысли об исключительности, но все-таки они наведывались. Мы, физики, знаем, познаем то, чего не знает девяносто девять процентов людей. Наверное, больше. Нам открываются тайны миров. Мы еще удивим человечество! Чем? Над этим я чаще и чаще задумываюсь. И вот после замужества я почувствовала себя обыкновенным человеком среди обыкновенных людей. Каплей в море. И ничего другого мне не хочется. Никакой исключительности. Зачем? Исключительность отдаляет от людей. А я не хочу отдаляться. Плакала на вокзале — и мне не было стыдно, люди поймут. Пишу Саше наивные письма, вроде тех, что писали тургеневские героини, — и мне хорошо. Разве только смешно самой: я — и такие старозаветные чувства! Что сказал бы Витька Дзюба, если б узнал?! — Лада, забавно прищурившись, покачала головой.

— Меня радует то, что ты говоришь. Обычно влюбленные уносятся в небеса и ничего не видят на земле. У тебя — наоборот. Это хорошо. Но я боюсь, как бы все то, что пробудилось в тебе, не оттеснило физику, не потушило твоего увлечения...

— Увлечения квантовой теорией? Папа! Физикой не увлекаются! Это не музыка. Тому, кто не знает, она представляется бог весть какой романтичной. Как мне в школе. Но это детское увлечение давно прошло. Теперь я каторжник. Прикована к науке, как к галере. Неустанно, сверх сил, должна грести, работать. Не руками. Головой! А куда плывем? — Лада вздохнула. — Куда мы плывем? Любовь дала мне немножко свободы. И радости.

Иван Васильевич с грустью подумал: «Любовь к родителям и наша к тебе, выходит, не давали радости. Пока не появился он, этот парень». Но обиды не было. Легкая грусть и удивление перед извечным чудом, которое творит любовь.

— Видно, уже никто и ничто не снимет меня с этой галеры. Но я хочу, чтобы над ней светило солнце. И рядом были люди...

Лада склонна сама себе противоречить.

Ивана Васильевича не раз удивляли виражи ее логики, ее житейской философии. В сложнейших научных рассуждениях мышление ее куда более последовательно, строго. Между прочим, это свойственно не только ей. Даже Будыка и тот частенько удивлял своими заскоками и перескоками.

Пускай Лада и рисуется немного. Но ее признание насчет денег, доверчивый рассказ о своих интимных переживаниях и весь этот разговор животворным бальзамом вливались в опустошенную душу, пробуждали прежний интерес к жизни. Иван Васильевич был благодарен дочери.

Они долго говорили о самых разнообразных вещах, даже поспорили о новом фильме. Он ждал, что Лада заговорит о Виталии. Ждал и боялся. На ее откровенность надо отвечать так же откровенно и правдиво. А что сказать? Какую правду?

Лада ни словом не упомянула о ней. Словно не было ее на свете. Это и успокоило и разочаровало: Лада столько говорила о близости к людям и в то же время как будто не желает призна-

вать человека, который жил у них в доме в самые радостные для нее дни. Не помнить о Виталии дочь не могла. Значит, в чем-то таится, не все раскрывает, что у нее на душе.

Когда Лада наконец ушла, Иван Васильевич походил в раздумье по комнате, потом несколько раз энергично и весело, по-молодому, присел и начал одеваться: захотелось пройтись по морозу.

А вечером позвонил Будыка. Как будто знал, что у комбрига изменилось настроение. Неизвестно, как принял бы, если б тот позвонил до разговора с Ладой.

— Что делаешь, дед?

— Ищу некролог в газетах. Думал, помер оттого, что премии не дали.

— Заразный ты человек, Иван.

— Чем это я заражаю?

— Кого — принципиальностью, кого — козлиным упрямством.

— Тебя — чем?

— Меня — дружбой.

— Старый подхалим!

— Вот этой обиды тебе не простим. Не я, Миля. Какой я старый? Спроси у нее.

— Хвастун!

— Приходи коньяк пить. Есть бутылочка французского.

— Не жди.

— Выдерживаешь характер?

— Выдерживаю.

— Ну и черт с тобой.

— Пускай остается с тобой. У тебя с ним ближе родство.

— Ох и дал мне бог друга!

— Бог дал, бог может и взять.

— Не пыжься, петух. Я первый склоняю голову. Папку тебе вернуть?

— Пришли. Я не все написал, есть новые соображения.

— Пиши, пиши. И ногою колыши. Не глубоко пашешь. Недочеты в работе института я раскрыл поглубже. Прочитай мое письмо в ЦК.

— Откуда такая самокритичность?

— Да вот оттуда.

— Ход конем?

— Конем или слоном, думай как хочешь. Я ставлю технические проблемы. А у тебя что? Кадры, партработа... мелочь.

— Если тебе захотелось отвести душу, пожалуйста, но не касайся этих вещей. А то я опять тебе скажу, что́ мелочь, а что́ не мелочь.

— Молчу. Так не хочешь увидеть мою просветленную физиономию?

— Нет.

— Что ж, подожду. Коньяк не киснет. Кланяйся Ольге.

— Привет Милане.

Двойственное ощущение осталось от этого разговора. Но то, что Будыка все-таки позвонил первым, порадовало. Значит, дорожит еще дружбой, скрепленной кровью. Сколько раз они ссорились! Не всегда был прав он, Антонюк. Но всегда первым шел на примирение Валентин. Что это? Слабость его? Или сила?

XIV

Вызывал для разговора человек, к которому Иван Васильевич никак не мог «пылать любовью». Ни раньше, ни тем более теперь. Человек этот первым стал кричать об «оппортунистических ошибках Антонюка». Он, по сути, и создал «дело Антонюка». С непреклонным упорством требовал увольнения, строгого выговора и так далее. Если б не умные люди, стоящие выше этого «стража идейной чистоты на полях», пришлось бы тебе, Иван Васильевич, на старости лет зарабатывать свою пенсию в должности «подшивателя бумаг»; работу агронома-практика вряд ли доверили бы. Разве только теперь, после Пленума, вернули бы, но, разумеется, не на прежнюю должность. Куда там! Место занято.

Недавно прочитал: праведник этот и «принципиалист» на одном из совещаний выступил с речью, в которой почти целиком повторил его, Антонюка, «последнее слово»; тогда, на том заседании, он сказал все, что думал. Этот прямо подскакивал от возмущения, а вернее всего, от радости, что первым разоблачил такого оппортуниста. «Слышите, что он говорит? С какими настроениями человек руководил одной из важнейших отраслей...» Теперь Семен Семенович первым переменил взгляды, перестроился. Кто не ошибается! Мы, мол, исполнители воли вышестоящего. Встретит, конечно, объятиями: умеет покарать, умеет и приласкать. И девиз у него: кто старое помянет...

Он, Антонюк, не злопамятен. Но, на свою беду, ничего не забывает. И актер плохой: не сыграет уважения и почтительности. Испортит настроение высокой персоне, навредит себе.

Решил: не идти. Если разговор действительно серьезный — пусть позовет кто-нибудь из тех, кто тогда поддерживал его. Были такие люди.

Но Ольга не одобрила его решения, хотя, конечно, понимала мужа. Ольга мягко и осторожно стала уговаривать его пойти. Мол, не целоваться тебе с ним, не он же тебе работу будет предлагать — государство. Это, безусловно, не его инициатива. Считай, что говоришь не с Семеном Семеновичем, а с человеком на определенном посту, который он пока еще занимает. Если б жена по примеру других жен так уговаривала его из эгоистических соображений — из-за денег, положения, — ни за что не пошел бы. Но нет, у Ольги другое. Ей кажется, что это последняя возможность вернуться на работу, которая, по ее мнению, нужна ему как воздух. Не хотелось

огорчать жену. Был благодарен ей за такт и сдержанность: после отъезда Виталии — ни слова о Наде, вообще о прошлом.

Пошел.

Семен Семенович и вправду встретил чуть ли не объятиями. Иван Васильевич отворил дверь — тот уже посреди кабинета, на пестром ковре, дородный, веселый, улыбка во все широкое, по-мужицки простое лицо. Долго жал руку. Хлопнул по плечу.

— Рад приветствовать, рад. Давно не видел. Как живешь? Что не заходишь? Обиделся? Напрасно, напрасно. Кто из нас не ошибается! — Однако не стал уточнять, кто из них двоих ошибся. — Как семья? Все здоровы? Слава богу.

Сам спрашивал — сам отвечал. В бодром тоне. Зная эту его привычку, Иван Васильевич когда-то пошутил: на вопрос «Как семья? Все здоровы?» — ответил с печальным видом:

— Плохо, Семен Семенович.

— Что такое?

— Бабушка умерла.

— Твоя?

— Да.

— И ты так горюешь?

— Вырастила она меня.

— Сколько же ей лет?

— Девяносто семь.

— Сколько? И ты так скорбишь о такой древней старушке? — Очень это удивило Семена Семеновича, и он на полном серьезе утешал осиротевшего внука.

Да, он такой, Семен Семенович. Входят пионеры приветствовать съезд — стоит в президиуме и, не стыдясь всего зала, плачет, как бобр, — от умиления. А через десять минут бросает с трибуны серьезнейшие политические обвинения товарищу по работе, который когда-то в чем-то не согласился с ним.

Антонюк не «клюнул» на вопросы о семье, о здоровье. Его сдержанность заставила Семена Семеновича насторожиться. Обидела человеческая неблагодарность. Но он умел великодушно подняться выше мелких обид.

Усевшись за модернизированный стол, начал длинную — нельзя сказать, что не интересную для того, кто первый раз слышит, — лекцию об осушении и освоении болот на новом техническом и агрономическом уровне.

Антонюк знал: умеет товарищ показать свою эрудицию. Но не мог не удивляться: неужели человек настолько потерял чувство меры, такта, что щеголяет своими знаниями перед ним, агрономом, да еще бесстыдно, прямо в глаза, повторяя его, Антонюка, давнишние высказывания.

Очень хотелось сказать: не занимайся плагиатом, дорогой Семен Семенович, но, помня наказы жены и свое обещание, молчал, терпеливо слушал. Однако не выдержал-таки в конце концов, перебил:

— В мелиорации расширяются штаты?

Семен Семенович удивился — не сразу сообразил, о чем он спрашивает. Понял — рассмеялся.

— Не терпится узнать, что тебе предложат? Нет. Не в мелиорации. — И назвал должность, равнозначную той, которую Антонюк занимал до своего вынужденного двухлетнего отдыха. Кажется, все хорошо, но... Ивана Васильевича поразило предложение. Во-первых, это была другая область, надлежало заниматься не выращиванием технических культур, а переработкой их в готовую продукцию. Что ж, в конце концов можно, как говорится, отведать и этого хлеба, работа не менее благодарная. Но... еще одно: непосредственный начальник — Корольков. Тот самый, который так стремился первым улететь из партизанской зоны. Случайность? Да нет, Семен Семенович с Корольковым, кажется, друзья.

— Корольков знает, кого ему предлагают в заместители?

— А как же... Скажу больше: это его личная просьба.

— Странно.

— Что тебя так удивляет?

— У нас с ним сложные отношения. С войны.

— Что там у вас в отряде было? Бабу не поделили, что ли? — хохотнул Семен Семенович, хитро прищурив глаза под рыжеватыми, как бы выгоревшими на солнце бровями. Грубо дал понять, что знает все грехи Антонюка. Но, должно быть увидев, как посетитель изменился в лице, и зная его характер, укоризненно, по-отечески покачал головой и сказал добродушно: — Злопамятный ты человек, Иван Васильевич.

— Не злопамятный. Но к Королькову не пойду.

— Много потеряешь.

— Что я могу потерять? Пенсию?

— На пенсию твою никто не посягает, но если ты действительно хочешь работать...

— Я действительно хочу работать.

— То советую поразмыслить. Подумай. Поговори с женой, с друзьями. Не торопись. Зачем нам спешить? Иван Васильевич! Мы уже не молоды. В таком возрасте надо прощать обиды...

— ...и замаливать грехи, — язвительно подсказал Антонюк. — Я это и делаю.

Он кипел, и это кипение, видно, почувствовал Семен Семенович. Встал с кресла, выпрямился, окинул взглядом кабинет, как бы подчеркивая свое величие, свой сан: не вздумай, мол, оскорбить при исполнении служебной миссии.

Иван Васильевич сдержался: на кой черт ему лезть на рожон. Вышел взволнованный, но, пока шел по лестнице, почти успокоился. Даже не потянуло побродить, как обычно после таких разговоров. Забавляло неожиданное Семеново толстовство: «Надо прощать обиды...» Все-таки, видно, грызет тебя совесть. Хочется, чтоб тебя простили...

Была оттепель. Снег таял, он выпал ночью, и улицы не успели

очистить даже здесь, в центре. Под ногами — скользкое месиво. В воздухе пахло весной.

...Ольга выслушала молча. Тяжело вздохнула:

— О боже!

— Чего ты вздыхаешь?

— Ничего, — и ушла на кухню.

Это ее «о боже!» хуже самых многословных упреков. Разозлился. Но и жалко было жены: она вбила себе в голову, что спасение его только в работе. От чего спасение? Мало он поработал? А теперь разве сидит сложа руки?

Ольга вернулась. Сказала будто бы весело, будто бы в шутку:

— Если б я была, как другие жены, продолбила бы я тебе макушку за такие «взбрыки»... Ты хуже Васи, когда ему было семнадцать... В двадцать три он сам поумнел, а ты...

— Ольга, это не «взбрыки». Существуют принципы.

— Но я не такая, как другие. Во всем не такая. Нет. — И вдруг расплакалась.

Ивана Васильевича в первый миг слезы жены ошеломили: из-за чего трагедия? А потом разозлился:

— Не строй из себя мученицу! Мерзкая роль! Лучше уж ругай. Бей тарелки. Попрекай за все грехи! Я стерплю. Но ни ты и никто другой не заставят меня кланяться Королькову или Семену.

Дня через два после этого разговора случайно встретил на улице своего выученика, сотрудника, который лет шесть назад по собственному желанию поехал в совхоз, — Казимира Захаревича. Непоседливый такой парень был, худощавый, очень не любил заниматься бумагами и любил в командировки ездить.

Иван Васильевич не видел его года три. Оба обрадовались встрече.

— Как живешь, Казимир?

— Разве по мне не видно? — Директор совхоза надул розовые щеки, ткнул в них кулаками, грохнул хохотом на всю многолюдную улицу.

— Черт побери, отчего вас так разносит? Я же знаю жизнь директора. Весь день на ногах... В пять встаешь, сразу на воздух...

— Так, может, от воздуха, Иван Васильевич? — зубоскалил Захаревич.

Слово за слово, то всерьез, то в шутку, — и почувствовали, что есть у них о чем поговорить, хочется посидеть. Прихватили бутылочку, отправились к Антонюку. Сперва хозяйничали сами. Потом вернулась с работы жена. Стол был накрыт заново, женскими руками, с обычным Ольгиным радушием.

Когда славно поговорили — каждый из них умел и рассказать, умел и послушать другого (редкий талант) — и немножко выпили, Захаревич неожиданно предложил:

— Иван Васильевич, плюнь ты на все и идем ко мне главным агрономом.

Мгновение стояла тишина. Хозяева уставились на гостя. Тот смутился: неужели обидел таким предложением? И вдруг Иван Васильевич разразился хохотом. Откинулся на спинку стула, задрал голову и прямо-таки заливался смехом. Захаревич совсем сконфузился: смеются над ним, дураком.

— Ольга! Слышала? Ей-богу, гениально. А травы запахал?

Захаревич все еще не понимал, в чем дело. И Ольга не понимала. Иван Васильевич опять засмеялся и тут же умолк.

— Ты серьезно?

— Серьезно, — неуверенно отвечал директор.

— Не боишься?

— А чего мне бояться?

— Опыта у меня больше.

— Тем лучше.

— Согласен! Ольга! Я согласен! Как до сих пор не подумал, что мне надо вернуться не в мягкое кресло, а в свою молодость, к земле, к людям, которые на ней работают. Так просто и так мудро! Я ведь мог давно. Нет, не мог. Тогда, до октября, меня, верно, никто не взял бы и никто не утвердил — травянист, антикукурузник. А теперь, думаю, не решатся возражать. Ни обком, ни райком.

— В райкоме у нас рады будут, Иван Васильевич.

— Значит, по рукам?

Хлопнули ладонью о ладонь, как цыгане. Засмеялись.

— Выпьем за мою будущую работу! Ольга! А ты чего нахмурилась? Не согласна?

— Ты меня ничем уже не можешь удивить, Иван. Но когда тебя вызовут на бюро райкома — почему не перевозишь семью, — придется тебе оформить развод. — Она грустно улыбнулась.

Захаревич успокаивал с серьезностью охмелевшего человека:

— Не бойтесь, Ольга Устиновна. Теперь на бюро не таскают из-за того, что не переезжает семья. Никого же не посылают силком, как раньше. Сами едут. Просятся. К тому же мы почитай что пригородное хозяйство. Каких-то шестьдесят километров. А что теперь полсотни верст? Не на волах. Вот приедете к нам — увидите. Летом отдыхать будете. Лес у нас... Бор... До Березины, правда, далековато. Да что нам какие-то семь или десять километров!

Ольга молчала. Вроде бы соглашалась. Но когда директор совхоза наконец распрощался, условившись, что будет ждать Антонюка через два дня, машину пришлет за ним, женщина встревожилась. Не находила аргументов, чтоб отговорить мужа. Да и знала, что никакие доводы не помогут. Иван взволнованно ходил следом за ней из комнаты в комнату, на кухню и доказывал, как это здорово, хотя и неожиданно. В конце концов это пощечина тому же Семену Семеновичу. У него же, верно, спросят: где Антонюк? Не по своей же инициативе вызывал. А Антонюк — уже вон где!

— Конечно, и там я буду под его началом. Но далеко. Не до-

тянется. Руководство будет доходить в виде бумаг. А их можно толковать по-своему. Творчески! В этом вся соль. Это я умею...

— И погоришь в первое же лето на своем творчестве.

— Да уж лучше сгореть в чистом поле, чем в теплом клозете.

— Не дури, Иван. Ты выпил. Утро вечера мудренее.

— Напрасно ты надеешься на утреннюю мудрость. Я дал человеку слово. Разве я когда-нибудь его нарушал?

— Жизнь нарушала, — хитро уклонилась жена от ответа, который мог бы прозвучать горьким укором.

Иван Васильевич догадался, о чем жена думает, и снова — в который раз — поблагодарил ее в душе за такт и сдержанность.

Ольга все-таки надеялась, что к утру он остынет, одумается. Но пришла Лада, и отец в радостном возбуждении рассказал ей о неожиданном предложении директора совхоза и своем согласии. Когда Лада одобрила эту идею, не сразу, подумав, даже высказав сомнение — по годам ли ему работа? — а он стал горячо доказывать глубокий смысл такого возвращения на землю, Ольга Устиновна поняла, что теперь уже никто и ничто не остановит этого упрямого и неугомонного человека. Если почему-нибудь сорвется назначение в этот совхоз, он найдет другой или колхоз какой-нибудь, передовой, отсталый — все равно. Теперь ему уже неважно, куда ехать: мысль о возвращении на землю овладела им целиком. Вот так он когда-то остался в партизанах. Она знала, что райком назначил его ответственным за эвакуацию скота. Две недели он носился по колхозам, организовывал выгон. Она надеялась, что муж на своей райзовской полуторке поедет следом за гуртами и ее с Майей возьмет с собой. А он, когда загремело над Рогачевом, отвез семью на станцию, посадил в эшелон и на прощанье, обнимая, прошептал:

«Там меня не ищи. Не волнуйся. Я остаюсь здесь».

«Где здесь, Ваня?»

«В своем районе».

«Почему?»

«Так надо. Смотри — никому ни слова. А то какая-нибудь дура выскочит из вагона, отстанет и будет трепать языком...»

Что она тогда могла сказать?

Теперь другое время, не те годы. Но что сказать ему сейчас?

Она призналась:

— Не понимаю я твоего отца, Лада. Тридцать лет живем, и всю жизнь он задает загадки. Я устала их разгадывать.

Лада засмеялась.

— Мама! Элементарная частица таит в себе миллион загадок. А ведь это же человек!

...Все распахнуто настежь — ворота внизу, через которые въезжают машины, двери на ток и сушильные площадки, вытяжные люки. Мощный сквозняк продувает оба этажа. Даже вой стоит

в вентиля́торах. Не теплый сквозняк — он дышит остатками снега, что лежит еще кое-где в лесу и на косогорах.

Хорошо проветривается хранилище. Но никакая сила не может выгнать живого духа зерна. Он густ, настоялся за зиму. И — странно! — не смешивается: запах каждой культуры держится особо, то ли у своих засек, то ли напластовавшись один на другой, по вертикали, где более тяжелый, где — легкий.

Так, возле пшеницы запах — мягкий, тонкий, прямо-таки булочный аромат. Однако чуть повернешь голову — и тут же ловишь острый дух льна, маслянистый настой слежавшегося семени. А он далеко, лен, не в засеке, — прямо на полу, под изогнутым, как гусиная шея, кожухом пневмотранспортера — геометрически правильная золотая гора, вокруг нее чистенько подметено. Кажется, завихрится сквозняк — и гора эта задымит, как вулкан, подымется золотым смерчем, и вся красота исчезнет в железном жерле транспортера.

У дверей все другие запахи забивает гречка. Летит пыль. Работает сортировочная машина. Хлопают сита, пугая воробьев, целая стая которых залетела в склад, как только отворили дверь. Гречиха не нравится новому агроному. Не нравится сорт. И лабораторный процент всхожести. Гречу надо заменить или купить новые семена. Но где? Иван Васильевич потратил три дня на поиски лучших семян. Напрасно. Все можно найти, только не гречу. Погубили ценнейшую культуру в «кукурузное» время. Надо восстанавливать. Приходится еще и еще раз сортировать те семена, которые есть.

А вот ячмень радует. Молодчина Захаревич! Отменный ячмень! Он уже на пути в поле. У засек, в другом конце хранилища, неровно гудит транспортер. Из отводной трубы ячмень сыплется в бункер. А там внизу, на первом этаже, из рукавов — в мешки. Там работают девчата. Подставляют мешки. Завязывают. Относят в угол на весы. Оттуда мешки поедут в поле.

Нелегкая работа — таскать полные мешки. Многое механизировано в зернохранилище, в совхозе вообще. Но до самых тяжелых работ механизация не дошла. Однако девчата не жалуются. Смеются. Им весело. Ивану Васильевичу тоже весело. Он через лестничный лаз сверху смотрит на девчат, на их разнообразные ярко-пестрые косынки и одинаковые серые ватники.

Девчата заметили агронома. Пошептались и опять смеются. Возможно, над ним. Пускай. Кажется, одна из этих тараторок две недели назад высказала свое неудовольствие:

— Эх, девочки, ждали молодого агронома, а нам деда прислали.

Тогда его немножко скребнуло по сердцу. Были со стороны кое-кого и более серьезные слова и поступки, которые даже наводили на мысль: а стоило ли сюда ехать? Но сегодня ничто, никакие слова не могут испортить хорошего настроения.

Иван Васильевич вернулся к засекам, из которых брали ячмень. Оперся грудью о дощатую загородку, запустил руку в зерно. И по-

чувствовал необыкновенное наслаждение — радость, подъем, нежность, как от ласки ребенка, — от неповторимого прикосновения зерна, от его живого тепла. Давно уже не переживал ничего подобного. Раньше на своем высоком посту, случалось, наведывался в склады, хранилища, элеваторы; проходил, осматривал их, давал руководящие указания — что сделать, где расширить, как механизировать. Но никогда, кажется, вот так не наслаждался ароматом злаков, не отдыхал душой, не набирался сил для нового труда.

Может быть, кому-нибудь покажется чудачеством, что главный агроном каждый день наведывается в зернохранилище. Посмотрел один раз, проверил — и хватит. Количество посевного зерна даст плановый отдел, анализы — лаборатория. Что же тебя тянет сюда? Никому этого не объяснить. Хорошо, что хоть заведующий хранилищем — Марьян Лученок — догадывается и, кажется, понимает. С Лученком у них — душевное родство. И житейское. Тот тоже партизанил, потерял руку. Был председателем колхоза после войны, бригадиром. Знает здешнюю землю. С ним есть о чем поговорить.

Антонюк сел на кипу мешков, вытянул ноги, нывшие от усталости. Лученок заботливо спросил:

— Васильевич, не прохватит вас на сквозняке?

— Ничего. Я закаленный.

— Может, притворить двери?

— Не надо.

— Кыш, чертово племя! Загадили все на свете. Вот же паскудная птаха, — швырнул заведующий метлой в воробьев.

Они порхнули в другой конец склада, словно ничуть не испугавшись, а просто по-ребячьи дразня человека: ничего, мол, нам не сделаешь, мы-то ловчей тебя!

Иван Васильевич весело наблюдал, как Лученок гоняет воробьев. Подумал, что когда-то у королей, царей были «хранители клада», «хранители золотого запаса». Этот однорукий человек, партизан, тоже занимает на старости лет почетный пост — «хранителя золотого запаса», запаса жизни, более дорогого, чем золото, потому что то сокровище лежит мертвым и холодным, а каждая крупинка этого золота — каждое зернышко — жива, она прорастет и умножится.

Во все двери, люки бьет солнце. Сверкает радугой гречишная пыль над триером. Смеются внизу девчата. На току любовно воркуют голуби, между ними со звонким щебетом скачут все те же воробьи. Ветер свистит в голых ветвях тополей. Ветер — сильный, весенний. Солнце и ветер съедают остатки снега. Журчат ручьи. Даже отсюда слышно, как булькает где-то близко вода.

Иван Васильевич закрывает глаза, вслушивается в музыку весны. Ему хорошо. Сегодня он чувствует себя победителем. Нет, главное, что сегодня другие признали его. А были нелегкие дни за эти короткие две недели. Было и разочарование.

Захаревич, кажется, не очень обрадовался, когда он, Антонюк,

приехал-таки, как договорились. Может быть, не рассчитывал, думал, как Ольга, что утро вечера — да еще пьяного вечера — мудренее. Захаревич, вероятно, жалел, что пригласил старого человека на такую должность. И при внешней уважительности устроил довольно-таки жесткое испытание. Поселил на квартире рядом со своим домом. Сам он действительно вставал в пять и его, Ивана Васильевича, подымал, хотя особой надобности в этом не было. Хозяйка даже возмущалась: что делать в такую рань? И каждый день — задание с дальними поездками: в Минск, в Могилев. Идет весна, сев, дел — голова кружится. И она-таки кружилась. Даже не в переносном смысле. В первые дни, отвыкший от такого раннего вставания, такого темпа, ежедневных поездок, Иван Васильевич чувствовал себя плохо. Должен был жене признаться, как-то заглянув домой:

— Ох, кажется, не по летам такая работа!

Ольга не обрадовалась. Наоборот, встревожилась.

Испытание шло, как говорят техники, на разрыв. Или на растяжение? На излом? Как оно там называется в сопротивлении материалов? Жал или гнул не один Захаревич. Парторг. Райком. Агрономы отделений.

Будыка прислал телеграмму, в конторе совхоза ее читали все: «Восхищен твоей смелостью, не каждый пенсионер способен на такой подвиг». Издевается, сукин сын. Должно быть, радуется, что избавился от присутствия друга. Иван Васильевич пожалел, что ему не придется докладывать на бюро горкома, когда будут слушать институт. Заключение свое он все-таки написал и передал в горком. Но теперь не уверен, что вообще будут слушать; Будыка умеет спустить на тормозах то, что ему невыгодно. Своей докладной в ЦК он, наверное, предупредил и парализовал выводы группы контроля. Надо уметь. Своевременная самокритика — лучшее спасение от критики. А ты, упрямый идеалист, никогда не умел своевременно покаяться. И на тебя сыпались шишки.

Приезжал Семен Семенович. Впервые за десять лет в этот совхоз. Вне сомнения, нарочно посмотреть на него, Антонюка. Посмотреть и... «поставить на место», чтоб не принимали его тут как посланца сверху.

Семен Семенович приехал с секретарем райкома. Осматривал хозяйство, но преимущественно интересовался животноводством. Тоже нарочно. Чтоб объяснения давал главный зоотехник. Не главный агроном. Ему подал руку, не глядя в лицо. Так подавал незнакомым людям — бригадирам, инженерам. За все время ни разу не обратился к нему, ни разу не дал понять, что они старые знакомые, бывшие сотрудники. Обращался только к директору совхоза. Очень уж явно подчеркивал нынешнее место Антонюка. Указывал на это райкому, начальнику управления, директору. Грубо говоря, просто втаптывал в грязь. Нагло. Цинично.

Ко всему Ивана Васильевича приучила жизнь, всего навидался. Но такая демонстрация со стороны человека, обладающего немалой

властью, больно задела. Не из-за себя. Из-за него, Семена Семеновича, из-за того, что он компрометирует не Антонюка, старого коммуниста, старого человека, а нечто более святое — те принципы отношения к людям, за которые Антонюк боролся всю свою сознательную жизнь. Было больно несколько дней. Но и это пережил. Не заживают лишь смертельные раны.

Самое странное, что Захаревич, кажется, понял кое-что совсем не так, как хотелось Семену Семеновичу, и после его отъезда ослабил свое «испытание на разрыв». Осторожно возвращался к прежнему отношению — ученика к учителю, младшего к старшему. И словно чувствовал себя виноватым. Иван Васильевич не обижался. Да и за что? Сам когда-то почти так же испытывал некоторых работников. Однако невольно держался настороженно и с директором, и с парторгом, и с молодыми специалистами, скептически наблюдавшими за ним.

Понимал, что при таком отношении невозможно работать, однако настроить себя на полное доверие никак не мог. Мучился в душе. Что случилось? Раньше так легко и просто входил в коллектив, срабатывался с разными людьми, а тут сразу нашел общий язык только с хозяином квартиры, учителем-пенсионером, да вот с этим «хранителем клада». Может быть, поэтому и полюбил отдыхать в зернохранилище.

Но сегодня, кажется, лед тронулся. Поехали осматривать озимь — Захаревич, он и управляющий отделением Гриц — молодой агроном, скептически настроенный по отношению ко всему на свете и в то же время безжалостный к тем, кто работает не с полной отдачей.

Зима была снежная. Но снег лег на неподмерзшую землю. Кое-где озимые выпрели. Кое-где вымокают: воды — море, все низины залиты. Надо было осмотреть поля, хотя бы на глаз прикинуть площади пересевов, чтоб запланировать семена, технику, людей. «Газик» с передними ведущими далеко от дороги не прошел, как попал у перелеска в глину — едва вырвался. Ходили пешком. Сперва вел Захаревич. Но располневший директор скоро сдал. Взмок весь, распарился. Тогда повел он, Иван Васильевич. В своих высоких охотничьих сапогах лез в грязь чуть не по колени, потом в лощинах обмывал сапоги и шел дальше. И хоть бы что. Скинул фуражку, подставил седую голову солнцу и ветру. Захаревичу и Грицу (один моложе на двадцать, другой чуть не на тридцать лет) стыдно было отставать. Но часа через три директор взмолился:

— Иван Васильевич, помилосердствуй.

Молодой скептик смотрел на главного агронома с откровенным восхищением. Смеялся.

— Казимир Левонович! Задал нам жару старый партизан!

Они стояли на пригорке, где земля уже подсохла, прогрелась и где по-весеннему зеленели всходы. Иван Васильевич по шутливым репликам, по неуловимым мелочам, по тому, как закуривали, как смеялись, почувствовал: изменилось отношение к нему этих

двух совхозных руководителей. Словно он выдержал какой-то трудный экзамен. Смешно это. Агроному не крепкие ноги нужны, а хорошая голова. А какова голова — судить можно по урожаю. Но впечатление произвели, должно быть, не ноги охотника, а настойчивость, воля и умение по-хозяйски увидеть посевы — где надо пересеять, сколько гектаров, чем засеять замокшие участки. Предложил посеять кукурузу на силос — Захаревич рассмеялся, довольный:

— А ты не такой уж антикукурузник, Иван Васильевич, как тебя расписывали, — и тут же хорошо, душевно попросил: — Прости. Не к месту старое вспоминать.

Потом, в машине уже, директор, в великолепном настроении, прямо-таки опьяневший от весны, по-комсомольски задорно воскликнул:

— Братки! Давайте поработаем так, чтоб о нас слава пошла!

Гриц хмыкнул — мол, к славе он тоже относится скептически. Это его хмыканье смутило Захаревича. И не понравилось Антонюку, который почувствовал искренность душевного порыва директора: человеку действительно хочется поработать с новой силой, с новым разгоном — и для славы, и для более высокой цели, и он ищет таких союзников, которые помогали бы не за страх и зарплату, а по велению сердца и совести, с таким же светлым горением, как у него.

Видно, показалось, что приглашенный им главный агроном по возрасту своему не способен уже загореться. Не тот союзник. И вдруг, в этом походе по полям, увидел: да нет, может еще старик! Они, Захаревич и Антонюк, как бы настраивались на одну волну. А этот скептик мешает. Сказал что-то насчет того, что выше плеча рукава не засучишь, выше головы не прыгнешь...

Антонюк с молодым запалом бросился в бой:

— Руководитель в наше время не рукава должен засучивать, а мозги. Как мы планировали до сих пор? Частенько под нажимом людей, которые в экономике ни бе ни ме. Давайте пригласим ученых, пускай произведут экономический анализ хозяйства, дадут научные прогнозы. Ей-богу, затраты окупятся...

Гриц хмыкнул.

— Меня удивляет, что вы, немолодой, тертый жизнью человек, верите в лысых склеротиков или пижонистых кандидатов, которым только б диссертация да место в городе. Знаю я их.

— Я верю в науку.

— В некоторые науки и я верю. Но не в ту, которая занимается экономикой сельского хозяйства.

— Наука должна исходить из требований практики. Иметь простор. Базу для экспериментов. Разумеется, если там, в институтах, будут высасывать выводы из пальца... Если мы не дадим ни одной комплексной задачи...

Кричали в машине, толкаясь друг о друга. «Газик» швыряло на разбитой дороге. Кое-где он буксовал, мотор выл, грелся.

Осмотрев поля, ездили на Березину любоваться разливом. Захаревич предложил: видно, хотелось ему, чтоб старый и молодой агрономы подольше поспорили. А он слушал и, как говорится, мотал на ус. Когда вернулись в село, к совхозной конторе, Захаревич пригласил:

— Приходите вечером ко мне. Весну встретим. У Григорьевны найдется чем угостить. Ее идея.

Захаревич и жена его — люди радушные. У них часто собираются. И он уже побывал у них в гостях. Поэтому приглашение ничего особого не означало. Но все вместе — как ходили по полю, как спорили в машине, как вырвался у директора призыв поработать на славу и как пригласил в гости — давало основание считать, что произошел какой-то перелом, изменилось отношение к нему. От этого поднялось настроение, стало действительно весенним. Может быть, потому и потянуло сюда, где хранятся семена, где готовятся они для сева. Для его сева. Сегодня, кажется, признали, даже молодой скептик этот, что не забавы ради он приехал сюда, не из стариковского чудачества или самолюбия. Что он может еще посеять и вырастить хлеб для людей. Не один раз посеять. И не один раз сжать.

Пахнет зерном. Пахнет жизнью. И весной. Солнце бьет в хранилище. Свистит ветер, будто хочет поскорее вынести живую силу зерна в поле.

XV

Позвонила Ольга. Долго расспрашивала о здоровье, о работе, пересказывала письмо сына и как бы между прочим сообщила:

— Телеграмма тебе. Слушай: «Иван, помоги найти Виту». Без подписи. — С иронией и ревностью усомнилась: куда она могла деваться, ваша Вита? Но тут же сомнение сменилось материнской рассудительностью, даже тревогой: — Загубите вы девушку своими тайнами...

Может быть, сама телеграмма без этих слов жены — «загубите вы девушку» — не прозвучала бы, как отчаянный крик о помощи. А тут екнуло сердце: случилась беда. И очень может быть, что виноват он. Надо ехать. Не теряя ни минуты.

9 декабря 1964 г.

Давно не открывала эту тетрадь. Должно быть, с год. И вот снова захотелось вдруг взяться за нее. Почему? Дневники ведут влюбленные. Несчастные. И вероятно, очень счастливые. А я? Бумаге могу открыть тайну: кажется, я влюбилась. Но случилась эта «беда» не вчера, однако писать о ней ни разу не захотелось. А об этом... Человек сказал, что он мой отец. Была я сиротой, и вдруг у меня — отец — партизанский командир. Ура! Смеяться или плакать? Мать, которая так темнила насчет моего рождения,

признала этот факт. А кому, как не ей, знать, чья я дочь. Но все-таки кажется, что и сейчас она чего-то недоговаривает, моя святая мама. Грустно. Обидно. Какие дурацкие предрассудки! Законно рожденная я или незаконно? Что значит законно или незаконно? Ханжество. Идиотизм. Мне все равно, как я рождена, по каким законам. Ой, так ли? Думала ведь, что мне безразлично, кто мой отец, есть он или нет. А выходит, не безразлично. Вот тебе и на!

Подростком я возненавидела этого человека, когда поняла, почему он изредка наведывается. Но постепенно ненависть прошла. Я узнала жизнь, и тайная любовь матери показалась мне смешной и наивной. Если б я так не любила маму, наверное, при моем дурацком характере подсмеялась бы над ней. И то, случалось, вырвется, я натура грубая, несдержанная. Как-то спросила: «Почему это твой любимый больше не приезжает?» Она вспыхнула, как девчонка. А потом плакала тайком. Я просила прощения. Ведь это моя мать. Никого у меня ближе ее и дороже не было и нет.

Ох, как мне хотелось поиздеваться над ним, когда мать, краснея, шепнула в школьном коридоре, что приехал ее «партизанский товарищ»! Ох, думала, выдам я этому товарищу! Прямо руки чесались. Но она словно почувствовала: «Я прошу тебя, Вита... Я прошу...»

Догадалась, о чем она просит.

Пришла домой, а он спит на диване. Как ребенок. Маленький. И старый уже. Разве обидишь такого?

Правда, когда он сказал, я чуть не взбунтовалась. Хотелось крикнуть: «А не запоздало ли ваше признание, дорогой И. В.? На кой черт мне теперь ваше отцовство!»

Но после его слов у меня язык не повернулся говорить с ним грубо, бестактно. Все всколыхнулось во мне. Выходит: отец все-таки что-то значит. Вот тебе и условности. Точно заворожил. Такая добренькая стала, вежливенькая, что даже противно вспоминать.

У него — семья, дети. У меня — сестры и брат. И смех и грех. Была я без роду, без племени — и на тебе. Сразу разбогатела. Фантасмагория какая-то. Сон.

В самом деле будто сон. Неделю хожу как очумелая. Расспрашиваю у матери: как же я все-таки на свет появилась? Смущается, краснеет, как девочка. Жаль мне ее. И злость разбирает. «Да не маленькая же я, мама! Когда-нибудь до тебя дойдет, что я не только взрослая, но и переросла!» Темнит чего-то моя мамочка. Ой, темнит. Потому и радость моя потускнела. Сомнения пришли. Не сговорились ли они? Нет, мама подтверждает, что правда, он мой отец. Такой сговор невозможно понять. Хотела потребовать у матери: «Поклянись!» Побоялась — обидится.

В первые дни так хотелось Олегу сказать, что И. В. мой отец. Расхотелось. Не скажу. Спросила, что он думает об И. В. «Колючий он. Рядом с таким трудно жить. Как ни повернешься — уколешься». — «А ты любишь мягоньких? Как пуховая подушка?

Так знай: и я такая же колючая!» Хотелось поссориться. Но с Олегом не поссоришься: очень уж он добрый. Добрый или добренький? Не люблю добреньких! Не люблю мягоньких, ласковеньких!

Если И. В. такой, как говорит Олег, то я, несомненно, его дочь. Спросила у матери: «И. В. был суровым командиром?» — «Со своими, с партизанами? Что отец родной. Любил людей, берег. На глупую смерть ни одного человека не послал».

Нашла объективного судью! Мама на него молится. За такую любовь, какую пронесла через всю жизнь мама, можно все простить. Я хотела бы так полюбить, как она. Пускай даже так неудачно — женатого.

Выпал снег. Глубокий. А то все дразнил только. Люблю снежную зиму. Все вокруг будто только на свет родилось.

Ходили с Олегом на лыжах. Он не умеет. Странно. Где человек рос? Чем занимался до тридцати лет?

Учила его. На речке провалилась. Трамплинчик на берегу мне понравился. Я прыгнула, а ледок слабенький, снегом засыпан. Ничуть не испугалась, потому что знаю: и при желании в нашей речке утонуть нельзя — воды по колено, осень сухая была.

Олег перепугался — страх. Растерянный, не знал, как меня спасать. Бегал по берегу бледный, лыжу протянул: «Хватайся!» А зачем хвататься? Воды и правда по колено. И рядом — лед крепкий. Почему-то в одном месте такая проталина. Как будто там горячий источник.

Мама и Олег часа три отогревали меня. Как маленькую. Чтоб не захворала. Мать растерла ноги спиртом. Поили чаем с водкой. Фу, какая гадость! Теперь пью чай с малиной. Напиток богов!

Надоели их заботы. Еле выпроводила в кино. Лежу одна. Иногда так необходимо человеку побыть одному. Тишина. По радио Чайковского передают. Хорошо! Даже плакать хочется. Старею, видно. В институте не любила классики — скучно. Эстраду подавай, джаз! И вдруг все наоборот. Мама порадовалась бы, если б узнала, что я плачу, слушая Чайковского. А может, это вовсе не от музыки? Я не так уж внимательно слушаю. Я думаю. Голова полна мыслей. О чем? Обо всем. Обманываю я сама себя. Больше всего — о нем, об И. В. Странно, но ни в разговоре с мамой, ни мысленно я не могу назвать его — отец. Но думаю, как об отце. Отступили сомнения. Хочу верить всему, что рассказала мать. Хочу любить. Что ни говори — хорошо, когда у человека — пускай ему и двадцать три — есть мать, отец. И сестры. И брат. Хочу любить вас всех, мои незнакомые родичи!

Репетируем «Лявониху на орбите». А во «дворце культуры» нашем — холод. В конторе совхоза — дышать нечем, окна раскрыты настежь, чтоб прогнать духоту, а тут пальто нельзя снять.

Подбивала своих актеров всей капеллой пойти к Сиволобу. Одни стесняются, другие боятся. Не согласились. Зайцы. Но зато

дружно насели на Толю Плющая. Бедный Толик! Он хороший парень. Старательный работник. Но робок. Дрожит перед старшими, особенно перед начальством. Боится испортить отношения с директором, с парторгом. И от комсомольцев отбиться не умеет. Он — между молотом и наковальней. Я уже ему как-то сказала: «Расплющат тебя, Плющай, когда-нибудь». Смеется: «Меня «газик» уже раз переехал». Он — автомеханик. Лежал под «козлом», а шофер не заметил, решил отогнать машину, мешала ему. Колесо проехало по Толе. Ничего, ни одного перелома. Он, дурень, решил блеснуть эрудицией: «Я — как йог». С тех пор и прилепили ему кличку эту — Йог. Толя не обижается, а мать его очень расстраивается, считает это величайшим оскорблением. Ругается с теми, кто сына так называет.

Толя расхрабрился вчера, когда налетели на него за холодный клуб. «Пойду, говорит, позвоню Сиволобу, чтоб разрешил репетировать в конторе». А у нас — принцип. «На черта нам контора, где ни сцены, ничего. Натопите клуб». Хотя вряд ли можно его натопить. С Сиволобом я уже ссорилась. Пробить его, кажется, ничем невозможно. О, это тот кадр! Еще тот! Как будто так его назвал И. В. И. В. становится для меня авторитетом. А до него я разве не знала, что такое Сиволоб? Знала!

Надо попытаться взять его обходным маневром. Говорят, молодая жена из него веревки вьет.

Так долго не заходила к Сиволобам, потому что очень уж хотелось пойти в их дом-музей. Каждый день рвалась и каждый день удерживала себя. Рассказала всем девчатам о кружке, надеялась, что дойдет до Сиволобихи и она придет сама. Не пришла. Раза два встречала ее на улице, в магазине. Она приветливо здоровалась, но ни о чем не спрашивала. Забыла о своем обещании. Или не хочет? Если б она повторила приглашение — я пошла бы за ней, как школьница за учительницей, с сердечным трепетом.

Сам Гордей Лукич, встретив однажды, удивил вниманием и приветливостью. «Почему не заходите, Виталия Ивановна?» А раньше не замечал, проходил мимо. Может быть, и потому еще не шла, что он пригласил. У меня гонора, что у шляхтянки слуцкой — у нашей Адалины Аркадьевны. Ох, как она ненавидит меня! Боже мой! За что? Учителя говорят: Адалина считала, что холостяк-директор должен достаться ей, как самой красивой, самой образованной, — говорит по-английски, по-немецки, по-польски.

По-белорусски, правда, разучилась, голубушка. Я однажды сказала ей об этом. Как она взвилась! Но я на нее не сержусь. Жалко ее. Ей так хочется замуж. А разве я виновата, что не она, а я понравилась Олегу? Никакая я не добрая. Я злая, хорошая язва. Каждый день поддеваю ее — Адалину. Тетка Марина, ее хозяйка, говорила матери, что квартирантка плачет по ночам в подушку.

А я не помню, когда плакала. Может, это и правда для нее трагедия? А для меня — шуточки. Разбрасываюсь я сегодня, как развесистое дерево, во все стороны. «В огороде бузина, а в Киеве дядька». Хотела только записать, как ходила к Сиволобихе, а доехала до Адалины. Ей сейчас, наверное, икается. А мне уже пора в постель, завтра — первый урок. Слышу: мама не спит, прислушивается затаив дыхание, как будто хочет на расстоянии услышать, о чем я пишу. Она думает, что это из-за любви я так расписалась, потому что раньше ведь этого не было. Нет, мама, главная причина того, что я снова завела тайную беседу с дневником, не моя любовь, а твоя — появление И. В., открытие тайны, которую вы так долго хранили. Аминь! Доброй ночи, Виталия!

Вчера мой визит к Сиволобихе казался важным, разговор — интересным. А сегодня стыдно за это посещение. Развалилась, как барыня, на мягком диване, пейзажиками любовалась, орешки грызла, конфетки, ликерчик потягивала. Тьфу! Как мещанка. Слушала пустую болтовню. И сама всякую чепуху молола. Просидела два часа. О, эта кошечка может заморочить, заворожить, вызвать на откровенность.

«Вам хочется иметь ребенка, Маша?»

«Ребенка? Я уже старуха, мне тридцать пять лет».

Уклонилась от откровенного признания, хитрюга.

«А вам, Вита?»

«Мне хочется иметь сына. Красивого и умного».

Сама себе никогда не признавалась в таком желании, а тут — на, любуйся. какая я. А может быть, неправду сказала? Для красного словца или ей в пику: ты не хочешь, а я хочу. Но сегодня все равно стыдно. Как можно девушке говорить такие вещи? Она перескажет мужу, даже, может быть, Олегу. Разнесут по селу. Ворона я все-таки.

«Почему же вы замуж не выходите?»

«Никто не сватает».

«Мужчины глупые. Не видят, где сокровище. Вам Олег Гаврилович нравится?»

Я не ответила.

«Покраснели. Значит, нравится».

Мама родная, как позорно я себя вела! Я, которая никому ни в чем не уступаю, за словом в карман не лезу, при том первом нашем посещении сиволобовского музея с И. В. и Олегом такие шпильки подпускала этой самой Маше, что ее, верно, и сейчас колет! «А собачки у вас нет?» Однако же она умеет и ответить: «У нас есть кошка. Она ловит мышей». Неизвестно еще, кто кого сильнее уколол. В конце концов, если быть справедливой, нельзя не признать, что женщина эта умеет держаться, умеет нравиться. Не случайно она меня заворожила. Да я перед ней что кролик перед удавом.

На мою просьбу помочь нам оформить спектакль, сделать эскизы костюмов Маша засмеялась:

«Вита, милая, какие эскизы! Вы станете шить костюмы для спектакля из колхозной жизни?»

Об эскизах я, разумеется, ляпнула ради красного словца, чтоб поднять значение нашей работы. Никаких костюмов шить не будем. Кто нам даст деньги? Да и зачем, когда актеры в таком спектакле могут выйти в своем обычном виде? Но только тут, кажется, не поддалась ее гипнозу: настойчиво просила ее подобрать нам костюмы и сделать декорации.

«Да не делала я этого никогда».

«А вы попробуйте. Неужто вам не интересно побыть среди молодежи? Разве не скучно сидеть одной?»

Вопрос этот заставил ее чуть помрачнеть. Видно, все-таки скучно. Но дурацкий гонор, как у Адалины.

Должно быть, чтобы отвязаться от меня, обещала попробовать.

«Только дайте мне время проверить себя. Что я умею?»

Проверяй на здоровье.

А вот школой почему-то сама заинтересовалась — кружком кройки и шитья. Теперь ее не шокировало такое прозаическое занятие. «Художник не шьет». Теперь сама сказала, что без практического шитья моделирование не имеет смысла и теоретически хорошему вкусу не обучишь. Что правда, то правда.

Если рассудить спокойно, в вечерней тишине, сходила я к ней не без пользы. Напрасно весь день сегодня терзалась, хотя вчера чувствовала себя победительницей.

Нет, Виталия, вела ты себя все-таки во многом не соответственно твоему характеру и принципам. Согласись с этим, покайся и... ложись спать.

...Адалина давно распускает обо мне грязные сплетни. Игнорируя, как говорят, общественное мнение, я вечерами захожу к Олегу в его холостяцкую комнату при школе. Еще в институте я была злейшим врагом условностей и предрассудков. Но то, о чем чешут языки Адалина и другие кумушки, могло случиться лишь вчера. На счастье, не случилось. На чье счастье?

И раньше мы целовались. Не святые. Вчера он начал меня целовать, когда я сидела на диване. Целовал очень горячо. И мне было приятно. Я не отталкивала... пока рука его не полезла, куда не надо. Тогда я так рванулась — недаром в институте была разрядницей, — что он очутился на полу. Меня рассмешило, как он плюхнулся. А он обиделся, разозлился, бросил мне: «Дура!» Тогда и я разозлилась, наговорила черт знает чего и выскочила как ошпаренная.

Мне надо было погулять где-нибудь в поле, чтоб успокоиться. Но снег занес все дороги и тропки. Мело. И я сразу пошла домой, разгоряченная, взволнованная. Вид мой испугал маму. Как она вглядывалась в меня! Долго. Молча. И как я прятала глаза! Мама не выдержала, спросила:

«Что с тобой, Вита?»

«Ничего, мама».

Я, конечно, покраснела, смутилась, как школьница. О, мама, мама, какой у тебя острый глаз! Мучительные минуты пережила я, пока не догадалась, что лучше всего сказать если не всю правду — стыдно, — то хотя бы полуправду.

«Я поссорилась с Олегом».

Мать вздохнула, показалось мне — с облегчением. Знаю: ей не очень нравится Олег и мои отношения с ним. Но я стала его оправдывать.

«Не думай дурно об Олеге. Это я виновата. Ты же знаешь мой характер. Начали со спора о пустяках, а кончили тем, что поссорились. Я нагрубила».

Что я могла нагрубить — в это мама поверила. Странно. И обидно. Даже мама считает, что я такая. А кого я обидела? Обижают меня.

Опять-таки даже мама считает, что я очень уж современная: в поведении, во взглядах на жизнь, на людей, на искусство — во всем. И никто не знает, что я, может быть, самая старомодная.

То же было в институте с Леней. Год дружили. Все девчата были уверены, что мы поженимся. Но когда весной в лесу он вот так нахально хотел взять меня — я возмутилась и дала ему по морде. И кончилась на этом Ленина любовь. Назавтра он пошел с Ленкой Квашей, а перед выпуском они поженились. Уже дочка у них есть. А я осталась с носом. Хорошо, тогда мне было двадцать. А теперь двадцать три. Кому нужно такое целомудрие в моем возрасте. Тем более что говорят обо мне и думают совсем другое. Возможно, даже мама не уверена, что я не знала мужчины. И никого не убедишь. Мне нелегко будет пережить, если Олег отвернется так же, как Леня. Его немедленно пригреет Адалина. Она красива и, конечно, более опытная, не такая глупая, как я.

Каюсь? Жалею? Нет! Нет! Не каюсь. Не жалею. Пойми же ты, культурный человек, интеллигент, что не могу я так. Не могу. Оскорбительно это. Гадко. Я жду, чтобы ты назвал меня женой. А ты... Думаешь, я не хочу ласки, не тоскую по ней? Но ведь ты же не назвал меня своей женой. Что же тебе надо от меня? Если ты любишь, зачем же тебе надо так грубо девушку унизить? Ты же сам перестанешь ее уважать. А может быть, как раз наоборот. Мама... Я как-то спросила у нее:

«Ты знала, что И. В. женат?»

«Он сам сказал».

«На что же ты надеялась?»

«Ни на что. Я полюбила».

Выходит, что надо полюбить до безумия, до самозабвения, чтобы всеми поступками руководили чувства, а не разум. Я, наверное, люблю слишком рационалистически. Поэтому мне суждено остаться старой девой. Не слишком радостная перспектива, но что поделаешь... У мамы моей судьба не слаще. Она полюбила женатого

человека и до старости осталась верна ему, многие годы не получая никакой награды за свою любовь. Я, дура, не догадалась тогда вечером уйти куда-нибудь с Олегом, чтобы они, И. В. и мама, остались вдвоем. Они же, в сущности, так и не побыли наедине. Но мысль об их связи тоже неприятна, оскорбляет. Противно, когда такие старики милуются.

С трепетом шла в школу. Как посмотрю Олегу в лицо? Как встретит он? Ничего. Как говорится, глазом не моргнул. Встретил мягко и был, пожалуй, еще внимательней, чем всегда.

Адалина синела от злости. Но сегодня это меня почему-то не радовало.

Идет снег. Третий день сыплет. Сколько его навалило! Из райцентра не могут привезти кинокартину. Пророчат: будет урожайный год. Не очень верю пророкам. Наши пески просыхают за неделю, а торфяники до июня будут залиты водой после такой снежной зимы. Я ведь помню, выросла здесь. Только тогда меня мало интересовали дела колхозные. А теперь все интересует. Во-первых, я — биолог, я должна научить детей любить землю, а не все теперь ее любят так, чтоб она щедро платила за любовь и ласку. Во-вторых, не могу относиться равнодушно к радости и горю людей, удачам и неудачам в работе, к порядкам в совхозе, школе, к благородству и низости, к хорошим людям и хапугам, наживалам. Если уж я решила навсегда остаться в своем селе, которое стало мне родным, то хочу сделать что-нибудь путное. Потому и воюю за школу, за клуб, за памятник партизанам. Думала: Олег будет моим верным союзником. Напрасно я надеялась, кажется. Нет, он ничего, поддерживает. Но очень уж старается со всеми сохранить хорошие отношения, ни с кем не ссорится. А разве это возможно? Самое опасное, что под его влиянием и я сдаюсь, становлюсь такой же — моллюском бесхребетным. Мне следовало бы восстать против сиволобовского мещанского быта, а я хожу и — стыдно признаться — любуюсь и картинами, и мебелью, и сервизами. Вчера опять заходила. Правда, не сидела так долго, как в тот раз, но конфетками угостилась. И сейчас вот захотелось пойти к ним, ведь больше некуда. К Олегу не могу. И он не приходит.

Вдруг стало совсем не все равно, что обо мне говорят, думают, о чем сплетничает Адалина. А что, если пойти к ней? Удивить. Идея, заслуживающая внимания, но без моральной подготовки осуществить ее нелегко. Как-нибудь в другой раз. Зима впереди. Однако и к Сиволобам не пойду.

С одной Машей еще приятно посидеть. С женщиной всегда найдешь общий язык. А сейчас, вечером, наверное, этот старый лапоть дома. О чем я с ним говорить буду? О холодном клубе?

Ловлю далекие станции. Представляю города. Захотелось туда, где море огней и потоки людей. Может, в самом деле съездить к И. В.? Сперва загорелась, а потом стала потухать. Неловко будем чувствовать себя — и он, и я.

Из приемника льется такая душевная музыка, что хочется и смеяться и плакать. Не знаю даже — чья. Кажется, Григ. Мама светится — рада: наконец умнеет дочка. От джазов у мамы болела голова.

Пришел Олег — серьезный, почти торжественный и при матери трагическим голосом открыл еще одну страничку своей биографии: официально он не разведен со своей бывшей женой, она не дает развода. Ничего себе страничка! Сколько еще таких страниц в его светлой биографии? Через полгода так же трагически сообщит, что у него не одна жена, а три и табун детей? Ломаю голову: почему он до сих пор молчал? С какой целью? Зачем рассказал теперь? Назло мне? Или чтоб оправдаться? Мол, рад бы в рай, да грехи не пускают; давно предложил бы руку и сердце, да вот видишь — связаны руки мои.

Вскипела я. Хотелось поговорить с глазу на глаз. Но махнула рукой. Олег предложил пойти погулять. Отказалась.

«Я понимаю, — виновато склонил он голову. — Тебе больно. Прости мне малодушие. Я хотел все уладить, тогда сказать».

Мне больно? Нет. Боли не чувствую. Вру однако. Все-таки что-то треснуло вот здесь, под грудью, под моей полной и красивой грудью... она давно уже просит прикосновения нежных детских уст. Не стыдно будет, если мама читает дневник? Нет, не стыдно! Даже перед мамой.

Спросила у нее, что она думает относительно признания Олега. Мама не сразу ответила. Помолчав, вздохнула. Грустно вздохнула.

«Хочешь, чтоб сказала правду? И раньше и еще сильнее теперь я хотела и хочу, чтоб ты связала свою жизнь с другим человеком... Не с ним. Не лежит мое сердце...»

Я почему-то разозлилась.

«А кого ты выбрала? С кем ты связала свою жизнь?» — чуть не вырвалось у меня. Слава богу, спохватилась. Какое я имела право так жестоко укорять ее?

Сказала мягко, как бы в шутку:

«Странно, что ты такая, мама, старомодная».

Но и это обидело ее:

«Где уж мне угнаться за вами, модными!»

Разговор этот произошел еще летом, на лугу. Мама с первых послевоенных лет, как только обосновалась в Калюжичах, помогала летом в колхозе, в особенности во время сенокоса и жатвы. Люди удивлялись: какой расчет учительнице работать? Она не всегда даже получала натурой за выработанные трудодни. Однако, видимо, и почитали ее за это. Тогда была семилетка, учителей немного, и мама, пожалуй, была самой уважаемой среди них.

Мама и меня со школьных лет приучала к работе на земле, может быть, потому и биолог из меня вышел, хотя и не слишком хо-

роший. Не скажу, чтоб так уж я рвалась к работе на поле. Когда девчат-ровесниц бригадир посылал, шла и я, чтоб не отрываться от них. Росла животным общественным.

В совхозе хватает рабочих рук, и мама не ходит уж который год — неловко, боится, не подумали бы, что из-за денег.

Но прошлым летом на субботник в сенокос подняли всю интеллигенцию. Работа так понравилась, что я осталась в лугах на целую неделю. Веселые были деньки. Наработаешься, напоешься, нахохочешься! Остались девчата, которым не надо кормить детей, доить коров. Хлопцев неженатых было, правда, немного. А где их в наше время возьмешь на каждую девушку? Но все равно вечера проводили весело. Потанцевать можно и с женатыми. Мужчины — народ удивительный. Целый день машет косой по кустам и кочкам — луга у нас запущенные. А вечером иной такого выбивает крыжачка или гопака, что земля гудит. С девчатами особенно любят покружиться. А некоторые еще и грешные мысли таят, забыв о жене и расплате. Мне было особенно весело. За мной стал ухаживать Толя Плющай, Йог этот, наш комсомольский лидер. Олега тогда еще не было. Не скажу, чтоб мне нравился Толя. Но кому из нас, Евиных дочек, не лестно, когда сын Адамов на тебя заглядывается?

Девчата подтрунивали надо мной, над Толей. И мне было смешно. Такой шумный, активный обычно, передо мной становился тише воды, ниже травы. Вел себя как школьник, влюбленный в учительницу. Оставались наедине — двух слов связать не мог. Я подарила ему вечера два или три. Ходили по песчаному берегу обмелевшей реки, слушали дергачей и лягушек, песни и гомон у недалеких шалашей. А прикоснуться ко мне Толя не решался. И говорить в первый вечер приходилось мне одной. Но потом понемногу разговорился. И вдруг начал агитировать... вступить в партию. Можно было бы посмеяться над таким влюбленным, если б предмет разговора не был столь серьезен, если б секретарь комсомольской организации не доказывал так горячо, что я «достойна быть в авангарде».

Я потом долго думала над этим разговором. И чем больше думала, тем больше убеждалась, что Толя прав. В самом деле, почему мне не вступить в партию? Столько лет была неплохой комсомолкой. А потом что, когда перерасту? Присоединюсь к старым учителям, которые, оглядываясь, шепчутся о тех непорядках в совхозе, в школе, о которых я на собраниях говорю в полный голос? Нет, не хочу оглядываться! Хочу всегда быть в гуще жизни, помогать людям и своим трудом и своей общественной активностью! Карьера мне не нужна. Какая карьера у учительницы? Дорасти до завуча лет через десять-пятнадцать? Не высок пост и не сладок хлеб. Нет, мне нужно одно: чтоб о строительстве школы, клуба, о ремонте хат селянам, об условиях труда доярок, о том льне, который сгноили, о пьянстве некоторых «активистов» говорить не с кумушками и тетками, не в учительской на переменках, а там,

где эти вопросы решаются, — в организации людей, которые взяли на себя высокую обязанность руководить жизнью.

Тогда же, летом еще, сказала о своем желании матери. Удивила меня мама чрезвычайно. Она испугалась. Прямо побелела. Даже дыхание перехватило. Не отговаривала. Но таким голосом попросила не спешить, подумать, что мне стало холодно в жаркий день. Ничего не понимаю и до сих пор. Прожила с матерью двадцать три года и, выходит, не знаю ее. Партизанка, подруга прославленного комбрига, о котором в книгах пишут, — за книгами такими ты очень следишь, мама! — и вдруг пугаешься, когда дочь собирается совершить такой серьезный шаг. Не вольнодумство же какое-нибудь!

Может быть, тебя страшило, что я не знаю, кто мой отец, и должна буду написать ту ложь, которую ты сочинила для меня, когда я была маленькой?

Короче говоря, охладила меня тогда мать. А потом приехал Олег, я увлеклась им. Стоп! Что такое? Раньше ты называла свое чувство к нему любовью. Теперь — только увлечением? Ах, боже... Ну, любовь, любовь. Ну, треснуло что-то в груди... Не очень и больно. «До свадьбы заживет», как говорит наша техничка Одарка.

Заносит меня сегодня что-то в воспоминания. Возвращаюсь к главному.

Вчера перед репетицией Толя вдруг свалил мне на голову снежную гору. С ним это часто случается. «Виталия! Все в порядке! В райкоме я договорился! С парторгом тоже. Кроме комсомола, рекомендации дают Ганкина и Сиволоб. Оформляйся скорей. Только Лесковец просил зайти побеседовать».

Стояла я не то что ошеломленная — очумелая и хлопала глазами.

«Толя, дорогой. Так же не делается».

«Как так?»

«Да так».

«А как делается?»

«Да рекомендации я сама должна просить. У людей, которые меня лучше знают».

Толя, когда говорит о делах, да еще на людях, смел до бестактности.

«А ты сама и попросишь. Я за тебя просить не буду».

«Но ведь ты уже попросил».

«Ну, знаешь, плохой бы я был секретарь, если б пустил на самотек...»

«А если я не хочу, чтоб эти давали».

«Ты что, ошалела? Запомни: в партии все равны. И если коммунисты — с таким стажем! — согласны рекомендовать тебя, скажи им спасибо. Нечего делить людей по тому, нравятся ли тебе их носы или не нравятся».

«Не носы — работа их, поведение».

«Это разговор особый. Будешь иметь право критиковать любого члена партии — скажешь об их работе».

Вот таков он — наш Йог. Один раз как будто формалист, другой — настойчив до нахальства, а в иных обстоятельствах, как в те вечера на лугу, двух слов связать не может; на деле же — душевный парень: веселый, живой, честный до наивности.

После разговора на репетиции появилась у меня — ей-богу, правда — шальная мысль. Теперь, через сутки, самой смешно. А вчера, глядя на него в роли, я совершенно всерьез мысленно попросила:

«Толя, дорогой мой, признайся мне в любви, посватайся — и я тут же выйду за тебя замуж».

Ты порадуешься, мама, прочитав это? Не радуйся. Ничего не выйдет. Это так — брожение чувств, шалости ума. Люблю я все-таки Олега, и тебе, дорогая мамочка, наверное, придется назвать его зятем. Я терпеливая. Подожду.

Ох, и расписалась я сегодня однако! Интересное это занятие — писать дневник. Как будто еще раз переживаешь то, что записываешь. Но переживаешь уже не стихийно — сознательно. И тогда кое-где начинаешь хитрить сама с собой. Этакая игра в прятки.

Каникулы. Дни тянутся скучно и однообразно. Возила своих воспитанников на районный смотр школьной самодеятельности. Но выступили мы неудачно, мало радости доставило это и мне и ребятам. Ребят угнетала бедность наших костюмов. В других школах — шик. Откуда они деньги берут?

Вернулась злющая. На педсовете докладывала так, что мама опять испугалась за меня. Директор краснел и бледнел. Учителя сидели потупившись. У одной Адалины глаза горели, как у тигрицы, которая почуяла, что можно вырвать у соперницы добычу.

Мама и Олег, вдруг став единомышленниками, целый вечер корили меня и доказывали, что нельзя так вести себя на официальных собраниях, что нужен такт, рассудительность, чувство меры и так далее, и так далее. Все меня учат — надоело. Но не стала спорить. Пускай думают, что я раскаиваюсь, и утешаются. Только так можно успокоить маму.

Теперь каждый день — лыжи. Единственная радость. Хожу больше с учениками. Изредка — с Олегом. Он наконец научился немного. Когда идем с Олегом, нарочно прохожу мимо Адалининого дома. Представляю, как она шипит.

Вздумала как-то пригласить Толю, хотела пройти с ним мимо школы. Как бы посмотрел на это мой верный рыцарь? Да Толя вовсе замотался. Замахал руками, закричал:

«Ты шутишь? Думаешь, у меня есть время прогуливаться? Я рабочий человек, а не лодырь какой-нибудь!»

Дурень. Как будто рабочему нельзя походить на лыжах, да

еще с девушкой, которая нравится. Ох, горе мне с тобой, Толя. Если б с девушками ты был так активен, как в работе! Ты мог бы кого-нибудь сделать счастливым.

Тогда, сразу же, когда мы после посещения Сиволобов ходили с И. В. по улице, и несколько дней после его отъезда мне так хотелось съездить и познакомиться с его семьей — с сестрами моими. Кружила голову мысль, что у меня есть сестры и брат. Ходила, как пьяная. Но любой хмель выветривается. Приходит трезвость. Желание понемногу остыло. Только теперь, на каникулах, вспыхнула искра в потухшем костре, пробилась сквозь слежавшийся пласт пепла.

Сказала маме. И она... опять испугалась. Что такое? Мамочка, милая, что с тобой? Так умоляла не ехать, что мне стало стыдно, как будто я нарочно издеваюсь над близким человеком.

Должно быть, маме хотелось добиться обещания, что я никогда туда не поеду. Ну нет! Такого обещания я не дала. И не дам! Съездить к И. В. я должна. Непременно!

...Наконец окончились каникулы. Работать веселей.

Сегодня перед занятиями в учительской появилась Маша Сиволоб. Вошла непринужденно, без смущения, красивая, как богиня. Даже Адалина перед ней померкла. Все удивились. Но Олег объяснил — представил:

«Наша новая преподавательница — Мария Марьяновна Сиволоб. Районо, в качестве эксперимента, разрешило для девочек восьмых классов ввести в политехническое обучение вторую специальность — кройку и шитье. Не одни доярки и телятницы нужны. Мария Марьяновна — художник-модельер. Специалист высокого класса. Ей передаются все часы рисования. Приказ подготовлен. Прошу любить и жаловать нового члена нашего коллектива».

Марья Марьевна — ученики сразу так ее окрестили, и я пишу по инерции — снисходительно оглядывала коллектив, в который вступала. У преподавателей были постные физиономии. Корней Данилович очень смешно икнул — хакнул как-то, словно подавившись костью. Но никто не засмеялся.

Меня сперва разве что одно разозлило — что тип этот, Олег, драгоценный мой, даже мне ни слова не сказал о том, что устраивает в школу Сиволобиху. Тайком да тишком. Но я рада, что Маша к нам пришла. Это же здорово! У нас появятся свои портнихи, модельеры. Сошьем наконец костюмы для самодеятельности и не будем чувствовать себя голодранцами среди богатеев. В самом деле, сколько можно готовить доярок? Коров на всех не хватит. Да и что учить наших девчат этой профессии? Они сызмала умеют доить. У нас есть неплохо рисующие мальчики. Наконец-то с ними будет заниматься человек, который что-то понимает в искусстве, обладает вкусом. Она покажет им свою коллекцию картин.

Так я примерно рассуждала, давая уроки. Конечно, подогревая

при этом обиду на Олега, чтоб не остыла, готовилась к веселенькому разговору.

Вышла из школы вместе с мамой. И — о боже! — давно не видела я маму такой возмущенной. Она даже не постеснялась употребить слово, которого я никогда раньше от нее не слышала.

«Дерьмо, — говорит, — твой Олег Гаврилович, а не директор. Мелкий подхалим. Чтоб устроить жену директора совхоза, он отнимает кусок хлеба у детей. Их четверо. Сам Корней Данилович инвалид. Легкие прострелены».

Попыталась я защитить Олега:

«Да не умеет же рисовать Корней Данилович. Чему научит такой учитель?»

«Учит. Много лет. Сходи на его уроки физики».

«Так пускай и преподает физику».

«Легко тебе рассуждать! Сколько он будет иметь часов, если их, физиков, двое? Посидела бы с такой оравой на одной ставке».

«Мама! Ты же словесница! Сколько говорим об эстетическом воспитании! А рисование и пение отдаем — кому часов не хватает. Да не богадельня же школа. Не собес».

Переубедить маму невозможно. Она все еще не может успокоиться. После обеда сказала:

«Иди ты к этому... директору. Сделай так, чтоб он сегодня к нам не приходил. Не желаю видеть его физиономии! А то, если я сорвусь и выскажусь, больше он сюда не явится».

Олег отбивался от моих наскоков: мол, лично он никаких мер не принимал, а потому и не говорил ничего, все сделано без него, по указанию райкома. Может быть, и правда?

Все это — то, что говорила мать, и то, что сказал Олег, — заводит меня, как мину замедленного действия, против этой Марьевны (здорово, черти, окрестили!). Вести кружок на общественных началах не очень-то разбежалась. А за деньги — явилась с видом генеральши.

Приходил Толя. Озабоченный. Как будто виноватый в чем-то. Долго разглядывал книги, заговаривал мне зубы. Видела: хочет он сказать что-то не очень приятное. Наконец, уже уходя, взяв шапку, решился:

«К Сиволобу за рекомендацией не ходи. Отказался. — И выпалил, сердясь: — Солидный человек, а ведет себя... несерьезно. — Потом накинулся на меня: — Видно, опять ты наговорила черт знает чего? Легко вам критиковать со стороны. Посидела бы на его месте!»

«Нигде я ничего не говорила. Наоборот, перед женой его подхалимничаю».

«Все понятно. Насмехаешься небось. Помолчала бы хоть до вступления».

«Странная у тебя принципиальность, Толя! Если ты таким способом хочешь зажать мне рот, можешь больше не возвращаться к этому разговору».

Одним словом, поговорили мы с Толей на высоких нотах. А ушел он — я задумалась: почему Сиволоб отказался? Достиг цели — устроил жену? Или дошло высказанное мамой возмущение?

Как бы там ни было, но заело меня такое хамство. И я твердо решила: вступлю! И как можно скорее. Чем я хуже Сиволоба? Жизнь покажет, кто из нас принесет больше пользы. Выступит против? Не один Сиволоб решает. Существует организация, в ней — честные люди, многие знают меня с младенчества, двадцать лет уже. На биографии моей пылинки нет. И рекомендации дадут без Толиной или еще чьей-нибудь помощи.

Сказала маме о своем намерении. Сказала твердо, чтоб мать поняла, что никакие ее отговоры и страхи больше не подействуют.

«Ты просила подумать — я полгода думала».

Радости мать не выказала, но того страха, который охватил ее почему-то летом, теперь и в помине нет.

Мать приняла мое решение почти спокойно, с обычной своей рассудительностью. Мы хорошо поговорили. По душам.

Мама посоветовала: у председательницы сельпо тоже не просить рекомендации. (Получай, Толик, дулю!) Лучше попросить у дядьки Федора Корнейчика. Бывший партизан, теперь — просто сторож, в селе все его уважают, никому человек поперек дороги не становился. А вторую — у бывшего директора нашей школы Тихона Николаевича. Я была его ученицей с первого по десятый класс. Теперь он на пенсии. Живет в райцентре у сына — редактора газеты.

Завтра же поеду к нему.

Ты — умная, мама!

А вот то, как Олег отнесся к моему намерению, наводит на размышления, довольно противоречивые. Он сказал:

«Поздравляю».

Но показалось: не от души, даже с иронией.

Я ответила:

«А может быть, рано еще поздравлять?»

И весело подумала: «Тебе, видно, не хочется, чтоб жена была во всем на равных с тобой. Феодал!»

Теперь опять раздумываю об этом его «поздравляю». Становится грустно.

Еще он спросил, тоже не без иронии: «Это тебя Плющай сагитировал?»

Неужто ревнует? Эта мысль позабавила.

Толя, дорогой мой, заходи почаще в гости! Обещаю — больше ссориться не будем. И на лыжах покатаемся. Силком вытащу. И мы пройдем мимо школы. Пусть полюбуется господин директор!

Долго думала над автобиографией. «Ни одного факта скрывать нельзя». А что написать об отце? Что?

Не написала ничего. Это мой вызов обществу. Я — незаконнорожденная. Выдумали же такое слово. Узаконили. Какая гнусность! Как будто от меня зависело, как родиться — законно или незаконно. Но существует ведь такая категория детей. Им не записывают отцовской фамилии. Они носят материнскую, что, по-моему, совершенно логично и справедливо. Они не знают, кто их отцы. Мне посчастливилось: я в конце концов узнала. Но, очевидно, есть такие, для кого это остается тайной на всю жизнь. И вот тут общество сделало огромный шаг вперед: не попрекает и не допытывается, кто же их отцы. Детям дано право не знать, а если и знают, то нигде не освещать этот грустный факт своей биографии — отсутствие отца. Так почему я должна кричать? Я тоже имею право молчать. Но, видно, грызли сомнения — показала написанное маме. Она прочитала и не сказала ничего. Выходит, одобрила. Стало немножко больно. Видимо, хотелось, чтоб мама посоветовала, попросила написать об И. В.

Шла к Лескавцу — колени дрожали. Просто противно. Перед незнакомыми людьми я не очень-то смелая, теряюсь. Со своими — языкастая. Но от такого пережитка, как страх перед начальством, кажется, избавилась давно — еще в школе.

Лескавец всего-навсего секретарь совхозной парторганизации, человек знакомый. Так чего перед ним дрожать? Из-за биографии? Боялась, что спросит о том, о чем не написано? Нет, видно, просто потому, что человек, которого я встречаю чуть не каждый день, в сущности, мало знаком и загадочен. Из-за его молчаливости. Не люблю молчунов. Не могу понять, как выбрали такого. Мать и рабочие, правда, отзываются о нем хорошо: справедливый, отзывчивый. А я не понимаю, как сочетаются добрые качества с таким упорным молчанием? Ни докладов его не слышала, ни лекций. На собраниях одно-два слова скажет изредка — только о практических, хозяйственных делах. Правда, к немногим словам его прислушиваются. А все-таки, казалось мне, не трибун, не борец, такой не поведет за собой народ. Не то, что комсомольский вождь наш — Толя. Говорун, заводила. (Заводила, а на лыжах пойти не может. Надо придумать какой-нибудь агитпоход, чтоб Толя должен был вести свою гвардию.)

По дороге продумала все, о чем может спросить секретарь, — от моего рождения и до того, что такое демократический централизм, от школьных дел до войны во Вьетнаме. Подготовила сверхумные ответы. Блестящие. Чтоб удивить Романа Ивановича. Но удивил он. Прежде всего — обыденностью, с которой встретил и стал рассматривать мои документы. Никаких эмоций. Уж такая будничность, что ужас. Я не требую праздничности, но представляла себе все иначе. А тут сперва повеяло даже безразличием. Но, перелистав анкету, автобиографию, Роман Иванович с неожиданным интересом и вниманием прочитал рекомендации. Это меня и успокоило и в то же время взволновало — по другой причине.

«Хорошо. — Потом подумал и похвалил: — Молодчина! —

И тут же снова удивил — поскреб затылок, вздохнул: — Многовато интеллигенции. А рабочих мало».

Я просто остолбенела. Что сказать на такие слова? Где мои умные, острые ответы? Но не обиделась, вдруг за этой озабоченностью как-то совсем с другой стороны открылся он, молчаливый секретарь. Кажется, начинаю понимать, за что его любят рабочие. В чайной в день получки послушаешь: всем косточки перемывают — директору, агроному, зоотехнику, бригадирам, Лескавца же редко когда заденут, даже пьяные.

Согласна: человек хороший. А все же — не борец. А если борец, то не для нашего времени. В конце нашей весьма немногословной беседы он еще раз удивил меня:

«Послушай, говорит, дочка, ты знаешь, какой я оратор. А мне на районном семинаре секретарей поручили доклад о работе с молодежью, с комсомолом. Помоги написать доклад».

Не стыдится человек признать, что сам не может написать даже о собственной работе. А может быть, он таким обходным путем проверяет, на что я способна? Этого молчуна голыми руками не возьмешь. А я, дура, уши развесила. Ну, пускай проверяет. Хотелось бы мне посмотреть, как он будет читать о своей работе с молодежью. Уж я так распишу!.. Выдам «всем сестрам по серьгам».

30 января

Какая радость на душе! Маму прямо пугает мое настроение.

Приняли! Сомневаться, что примут, конечно, оснований не было. Но все равно перетрусила, как ни перед одним экзаменом. Стыдно признаться даже самой себе, как я дрожала, пока шла на собрание. Но все произошло проще, чем думала. Вообще в жизни почти все происходит проще, чем воображаешь, — знакомство с новыми людьми, экзамен, прием в комсомол и даже в партию, любовь и т. д., и т. д. Наверное и рождение человека проще, чем я думаю, представляя его себе по книгам и рассказам. Наша акушерка Лиза говорит о родах, которые принимает, как о самом обыденном деле, даже слушать неинтересно.

В голове у меня карусель. Но подробно писать не хочется.

Из-за своего дурного характера, я могла и усложнить прием. Нарочно отдала Лескавцу доклад о работе с молодежью за день до собрания. Пускай знает, кого он получит в свою организацию. Потом жалела и из-за доклада этого трусила. Могла ведь отдать и после собрания.

Но секретарь еще раз удивил. Перед собранием подошел и поблагодарил за доклад; кажется, совершенно искренне, без иронии, безо всяких. Если узнаю, что Роман Иванович прочитал на семинаре, при райкоме, все, что я написала, окончательно уверюсь, что он Коммунист с большой буквы, который не боится по-ленински сам критиковать свою работу и ставить острые проблемы.

Итак, все произошло просто. Однако...

Дядька Федор сказал:

«Какие могут быть вопросы? На наших глазах выросла. А политику... так она ее знает лучше нас и Устав, конечно, выучила от корки до корки. Принять!»

Как говорится, коротко и ясно. Однако... был вопрос. Один. Тот, которого боялась.

Спросил Сиволоб. Сидел в первом ряду, точно ксендз. Сиял лысиной. Вертел большими пальцами.

«Простите, Виталия Ивановна... Кто ваш отец? Где он?»

Почувствовала, как земной шарик, маленький такой, ненадежный, оторвался от моих ног и полетел черт знает куда — в черную бездну, и я осталась висеть в пространстве, в невесомости, безо всякой опоры. Какое-то мгновение не было и воздуха, он вылетел из легких, и я боялась вдохнуть, боялась открыть рот. Пауза, должно быть, затянулась. Потом я увидела глаза, одни глаза, много глаз, и они вернули мне силу.

«Мой отец — Антонюк, Иван Васильевич».

Сказала — и сразу почувствовала, что ступила на новую, более устойчивую планету, твердо стала на ней. И тогда уже почти не тронула грязная ухмылочка на длинном вылизанном лице Сиволоба, а глаза Олега чуть не рассмешили. Они стали круглыми, как плошки.

Только они двое — Сиволоб и Олег — знают, кто такой Антонюк. Больше никто не знает. Но никто не стал расспрашивать, кто же этот Антонюк, где он, почему не живет с нами. Наверное, из уважения к матери. О, добрые, славные люди в замасленных телогрейках, в подшитых валенках, спасибо вам за вашу деликатность, за вашу чуткость! За все вам спасибо! Что выросла среди вас, что живу одной жизнью! Что вы многому меня научили и доверили детей своих, чтоб и я их научила чему-нибудь.

Олег рад. Доволен, что и у меня была тайна. Мягко этак укорял весь вечер за то, что, мол, его пилила — как это не сказал сразу про развод, утаил историю с назначением Марьевны, а сама — ишь какая! — более важное скрывала. Почему? Зачем? С какой целью? Разве стыдно иметь такого отца, даже если он и живет с другой семьей?

Кажется, Олег доволен, что И. В. мой отец. От этого стало еще радостнее. Мы гуляли после собрания до поздней ночи, опять целовались. Я была на седьмом небе и вела себя, как эгоистка, совсем забыла о маме. А она, бедняжка, волновалась больше, чем я. И гораздо дольше. Когда я вернулась за полночь, мама еще не спала...

Тогда только я поняла и попросила прощения. О том, что меня приняли, она знала — сбегала к дядьке Федору. Но старик, конечно, ничего не сказал про вопрос Сиволюба. А когда я рассказала и о своем ответе — мама, мне кажется, опять испугалась. Я обняла ее.

«Мамочка, миленькая, почему ты такая трусиха? Просто смеш-

но. Не верится, что была в партизанах. С маленьким ребенком. Ведь ты такие ужасы рассказывала о блокаде. Там ты не боялась?»

«И там боялась».

«Ну ладно, там — смерть... А теперь чего?»

«Ничего я не боюсь», — как бы спохватилась, что, по сути, признала свой страх, мама.

«Боишься, что о тебе дурно подумают? Ты же святая, мама, да и не в средневековье живем. Кто может попрекнуть, что я родилась не в законном браке? Это же отсталость! Меня это ничуть не тревожит. Я живу — и мне хорошо. Порадуйся вместе со мной, мама!»

Но когда я сказала, что на той неделе еду к отцу, мама прямо съежилась и побледнела. Покуда ничего не сказала, но чувствую — собирается опять отговаривать. Ничего не выйдет, мама! Теперь я непременно поеду! Теперь уже ничто не удержит меня.

17 февраля

Не надо было мне туда ездить. Мама умная, она чувствовала, что встреча с его семьей разбередит мне душу. Мама, верно, обрадовалась, когда услышала, что гостила я в роли дочки партизан его бригады — и только, не более, что никакой драмы не произошло, все промолчали. Мама обрадовалась... А я... Если б она знала, как мне больно. На душе гадко-гадко. Стыдно за свое поведение и надежды. Стыдно за него. Завидно. Им, законным детям, завидую. Тьфу! Хочется плюнуть на себя самое. Глупая! Жила, работала, и все вокруг было просто и светло. А теперь вот мучайся. На какого дьявола нужна была эта поездка!

Попала я на свадьбу. Лада выходила замуж за моряка. Познакомилась с ним в Крыму, летом на каникулы ездила к морю. И поженились уже. По-современному. Не то, что я, старосветская телка.

Опьянела я от дорожных мыслей и мечтаний, страха и счастья, от долгого стояния под дверью, за которой шумел пир, от его радостной встречи, от удивления и восторга начальника штаба — доктора наук, от гостей, от вина, и свадьба эта в моей памяти, как сон, где все перемешано — и приятное и грустное, веселое и пугающее, благородное и дурное.

Какие-то бородатые физиономии. Какие-то негры. Пьяные поэты. Толстые ученые. Старые и модные танцы. Бешеная музыка. Чтоб не показаться «деревней», я тоже вертела своим толстым крестьянским задом. И, наверное, выглядела, как корова на льду. Дрожь пробирает, как вспомню.

Но все это в конце концов ерунда по сравнению с тем, что я пережила потом и переживаю сейчас.

Как они отнеслись ко мне?

Лада — равнодушно. Понятно — ей было не до меня. На сле-

дующий день после свадьбы молодые чуть не до вечера не выходили из своей комнаты.

Старшая моя сестра, по-моему, просто эгоистка, которую вообще мало интересуют другие люди. Да и говорила я с ней, собственно говоря, один раз на второй день, когда она приехала за сыном.

Ольга Устиновна была очень приветлива со мной. Подчеркнуто приветлива. А я боялась этой приветливости. Я боялась этой женщины и — стыдно признаться! — в душе ненавидела, она отняла мамино счастье, хотя — трезво рассуждая — все как раз наоборот, и неизвестно, что она пережила и имела ли сама это счастье. Но одно дело — ум, совершенно другое — наши чувства, они так часто в разладе с умом.

Один Вася сразу на свадьбе еще, за столом, где сидели бородатые физики, нутром, должно быть, сердцем почуял нашу близость, родство. Зов крови, что ли? Мой добрый, славный брат, ты единственная светлая страничка в этой бездумной поездке, в этом неуместном гощении. Я благодарна тебе. О, если бы ты знал, как я тебе благодарна! За сердечность твою, за дружбу.

Когда ехала, я не только не надеялась на что-нибудь, я даже не хотела, чтоб он объявил, кто я. Казалось: гораздо интереснее, романтичней будет, если явлюсь в роли дочери его партизан. Погляжу на своих сестер. Забавная ведь ситуация: я все знаю, а они — ничего. О брате не думала, он в армии, к нему недавно ездил отец, потому и мечтать не могла, что мне так посчастливится.

Сперва все шло хорошо. Завороженная свадьбой, опьяневшая от впечатлений, тот первый вечер, ночь и до вечера второго дня я чувствовала себя, может быть, счастливей молодой. Должно быть, во всем виноват Вася, его такая неожиданная приязнь. Мы сходили в кино, смотрели «Секретаршу». И вот, когда шли из кино по ярко освещенному и шумному проспекту, мне вдруг, неведомо почему, страшно захотелось, чтоб Иван Васильевич объявил, что я его дочь и их сестра. Вася хотел еще погулять, я потащила его домой.

Я смотрела ему в глаза — Ивану Васильевичу, за столом, когда ужинали. Просила мысленно, умоляла, — ведь есть же, верю я, биотоки, которые передаются даже за много километров. А тут один шаг, через стол. Он должен был прочитать эту мольбу в моих глазах. Но он виновато отводил взгляд. Меня поразило, что он чувствует себя виноватым. Перед кем? Передо мной? Я ни в чем не виню тебя. Даже теперь. Перед детьми? Перед женой?

Но я не теряла надежды. Ждала весь следующий день. Нетерпение росло. Нервы были натянуты. Ночью меня лихорадило. Не могла уснуть до утра. А за завтраком поняла: напрасно жду, не скажет, боится. Боится! О, как это больно ранило сердце! Ска-

зочный воздушный замок, который я так старательно возводила, — он не рушился, нет, он казалось, в один миг растаял, и осталась лишь грязная лужа. Как пушок одуванчика, разлетелся ореол, которым я сама его окружила. Стыдно стало. За себя: папу захотела иметь, сиротиночка! Дайте ей папу! За него: такой был мужественный командир! И вдруг обыкновенный трус, страшно ему нарушить свой пенсионерский покой, потревожить обывательское довольство жены, дочерей. Ну и наплевать! Плюнула бы, если б не Вася. Ах, Вася, Вася! Знал бы ты, как мне тяжело было за этим завтраком, когда вы с Сашей весело допивали свадебное вино, а Лада, усталая и счастливая, подтрунивала над вами, разыгрывая роль хозяйки.

Иван Васильевич сидел невеселый, грустно улыбаясь. Были минуты, когда становилось жаль его. И я поняла: останусь еще на день — выкину какую-нибудь глупость, от которой всем будет неприятно. А я вовсе не хочу причинять людям неприятности. Ни близким, ни далеким.

После завтрака объявила о своем немедленном отъезде: надо на работу! Вася очень огорчился, просил остаться еще хоть на день.

И. В. было неловко — он все-таки чувствовал, понимал! Но в душе, наверное, одобрил мое мудрое решение, мой такт и благодарил, что не выдала нашей тайны. Тихо сказал: «Прости меня, Вита».

Бог с вами, прощаю: все мы люди, все человеки.

Теперь так думаю, а там, после его слов, чуть не заревела. Шли на вокзал — и у меня дрожали губы, на Васины вопросы отвечала невпопад, он один провожал. На перроне не выдержала все-таки — разревелась, как деревенская баба. Вася испугался. Допытывался: «Что с тобой? Что случилось? Кто тебя обидел?»

«Что ты! Никто меня не обижал. Тебе я особенно благодарна, Вася».

Мы поцеловались на прощанье. Я первой поцеловала его, моего славного брата. Он бежал за вагоном. В морской форме. На него смотрели с добрыми улыбками. Когда поезд набрал скорость и Вася отстал, я опять заплакала. Долго не могла успокоиться. Соседи по купе утешали: мол, не на войне же парень, отслужит и вернется; по всему видать, что любит. И смех и грех.

Чтоб отвязаться от их сочувствия, сказала, что это брат. Их еще больше удивило, почему же я плачу. Редкая сестра так горюет, расставаясь с братом. Хорошо, что от Бреста ехала со своими: заведующий фермой, зоотехник, доярки возвращались с совещания. Хохотала до неприличия. Девчата удивлялись, чего я такая веселая. Не за свадебными ли покупками ездила? Они ждут, что я вот-вот выйду за Олега.

За три дня отошла — остыла или, наоборот, согрелась возле мамы, с ней хорошо, спокойно как-то, надежно. Бывают только

минуты, когда хочется плакать. Никогда не думала, что такая плакса. Баба остается бабой.

Сегодня воскресенье. Мама поехала в райцентр на рынок — за свежим мясом. Сижу одна. Охватила грусть. Взялась за дневник. Записала, поразмыслила сама с собой — и все прошло. Хорошее снадобье этот дневник. Надо почаще принимать дозы записей. Поездка, видимо, оставила глубокий след в душе.

Олег спросил вчера:

«Ты почему такая?»

«Какая?»

«Да знаешь, какая-то не такая, как раньше, до поездки. Может, влюбилась?»

«Влюбилась».

«В кого?»

«Негр там был на свадьбе. Чудо! Словно пришелец с другой планеты».

«Гляди — могу поверить. На негров многие дуры наши кидаются».

«Я — дура?»

Испугался. Встал на задние лапки.

Всего, что произошло со мной, я не рассказала ни маме, ни Олегу. С ним говорю так, как будто бы давно знала и Майю, и Ладу, и Василя. И он верит, что я в самом деле их давно знаю. Снова упрекнул: имею такое обширное родство и никого за полгода словом не помянула! «Надо уметь!» — говорит Олег.

Правду говорят: любая рана заживает, если от нее не помирают. Любая боль утихает. Прошла неделя, и многое из того, что было почти трагедией, теперь кажется смешным. Жизнь идет своим чередом. И есть великая мудрость в ее размеренном течении, будничности, в ритме труда.

Приближается весна. Закладывали парники. Делали новые рамы, стеклили, возили навоз. Между прочим, в прошлом году с твердолобым Сиволобом пришлось вести войну, чтоб взять на конюшне машину навоза. А в этом году он готов отдать школе хоть весь совхозный навоз. Не жалко. Великая сила — материальная заинтересованность!

Ученики выпускных классов совсем не думают о земле. На что они рассчитывают? Все хотят уйти из деревни. Мечтают о городе. Чудаки. Когда-нибудь многие из них пожалеют. И я была в свое время такой же! А потом в институте каялась: больше бы внимания уделяла тому, что и как растет на земле, легче овладела бы профессией и лучшим была бы педагогом. На уроках часто чувствую провалы в своей подготовке.

Сегодня в десятом два часа вела с ребятами дискуссию. Со мной говорят, как с ровней. И любят — за откровенность. Я иногда рассказываю о таких вещах, что целомудренная Адалина

однажды, послушав, чуть в обморок не упала и написала в районо. На мое счастье, инспектор, приехавший для проверки, сам биолог, неглупый человек, согласился, что для биолога, так же как для медика, не может быть запретных тем на путях познания человека и природы, и еще — что ученики десятых-одиннадцатых классов — не дети, говорить с ними надо обо всем, что является предметом науки и искусства. Одним словом, Адалина должна была проглотить еще одну пилюлю.

Мама, правда, считает, что я допускаю с учениками слишком большую демократию. Спорим — где проходит грань, которую нельзя переступать в отношениях между учителем и учениками, в обсуждении со школьниками, пускай и старших классов, того, что делают взрослые, педагоги, родители. Я за то, чтоб не скрывать от ребят правду, — все равно не скроешь! — а воспитывать самих себя, прежде всего воспитывать взрослых, с которых дети берут пример.

О, как легко было бы работать учителям, если б исчезли вокруг лодыри, дармоеды, пьяницы, воры, демагоги, лжецы, ханжи! Мама в одном права: в теории все проще, чем на практике. В самом деле, как относиться к тем сплетням, которые распускает обо мне Адалина и которые, конечно, доходят до учеников? В селе сразу все становится известно всем, старым и малым. Но не все в равной мере могут разобраться, что к чему. Как объяснить такие вещи ученикам? В старые времена за такие сплетни мужчины вызывали на дуэль. Может быть, мне дать Адалине пощечину при всех учителях? Не хочется пачкать руки о такое...

Сыграли «Лявониху». Один раз наш холодный клуб согрелся — дыханием людей. Было полнехонько. Приняли на «ура». Хохотали — дрожали стены. А мне не понравилось. Собственная игра не понравилась: не такой Лявониху представляла, какую сыграла, хотя женщины ахали от восторга: «Все по правде». Но еще больше не понравился Толя в роли Глуздакова. Не его роль. Не тот типаж, не то амплуа, как говорил нам в институте актер Малиновский.

Смотрела в зал на первый ряд, на лысого Сиволоба и со смехом думала: вот кому играть Глуздакова! Может, предложить? А Толя вообще не за свое дело взялся. Дарования у него актерского — ни на грош. Энтузиаст без таланта.

Сказала ему это — обиделся. Вот удивительное явление! Толю за работу критикуй сколько хочешь — не обижается, отбивается, доказывает свое, но беззлобно. А сказала, что он плохой актер, даже побледнел весь, зубы показал: «Ты у нас гений! Ермолова новая!» На этой почве можно серьезно поссориться. Теперь я знаю, чем можно допечь уравновешенную, деликатную, обворожительную Марьевну: сказать, что она бездарная художница. А я убеждаюсь, что это действительно так: учит она рисованию не луч-

ше Корнея Даниловича. Но учеников старших классов очаровала, особенно хлопцев. Красивая. Хлопцы любят красивых. А может быть, это и неплохо? Пускай хоть так развивают свой эстетический вкус.

Получила от Васи письмо. Длинное, сердечное, ласковое. Признается мне в любви. «Вернувшись сюда, в горы, наедине с собой, в караулах, я почувствовал, что там, в Минске, встретил наконец то единственное счастье, без которого жизнь не имеет смысла. Я встретил тебя». И так — на шести страницах. Никто еще не писал мне таких писем. И все началось сначала: заныли раны, почти уже зажившие, больно сжалось сердце.

Единственный человек, который, кажется, по-настоящему полюбил... Кошмар какой-то! Вася, славный мой, напрасно это все. Если и неправда, что ты кровный брат мой, все равно ты брат и ничего, кроме дружбы, между нами быть не может. Никогда.

Но что ответить, чтобы не сделать так же больно и тебе?

Долго думала. День, второй. Сегодня показала Васино письмо маме. Прочитала моя дорогая мамочка — побледнела. Испугалась опять. Но теперь ее страх понятен, я и сама испугалась, когда первый раз прочитала. Для матери были бы чудовищным святотатством такие отношения между нами. Она в отчаянии сказала: «Боже мой, как мы все запутались».

Сразу не придала значения этим словам. А теперь думаю о них. Кто в чем запутался? Выходит, есть еще какие-то тайны. От кого? Какие? Спросила у матери, что ответить Василю.

«Напиши, что у тебя есть жених, что выходишь замуж. Чтоб он не надеялся».

Удивил меня ее совет. И разозлил.

«А почему я не могу написать, что он брат мой? Почему? — И тут я впала в истерику, кричала: — Почему мы лжем друг другу? Почему играем в жмурки? Столько лет скрывала тайну моего рождения! Святые грешники! Он, комбриг твой, и сейчас боится сказать правду своей семье! Герои! Обыватели! Покой свой боитесь нарушить! Не желаю брать с вас пример! Человек тянется ко мне всем сердцем, а я должна морочить ему голову? Ради чего? Нет, я напишу правду!»

Странно — мама не возмутилась, не обиделась. Покорно сказала: «Напиши правду. Так будет лучше. Всем нам».

Прошел еще один день, а я так до сих пор ничего не написала Василю. Кажется, начинаю понимать и маму и Ивана Васильевича. Нелегко бывает сказать иной раз правду, не зная, как ее могут принять, что́ она принесет близкому человеку: радость, горе? Подумаю, как может взволновать, расстроить мое письмо человека, который, возможно, стоит у страшного оружия, изо дня в день живет рядом с опасностью, — сердце стынет. Да если и не сидит он там на ракете или на атомной бомбе, все равно спо-

койно он это не примет: напишет отцу, — неизвестно, как напишет! — потребует объяснений; письмо прочитает Ольга Устиновна, Лада. Это же своего рода цепная реакция. Почему я должна одним махом причинить стольким людям неприятность, поссорить, столкнуть лбами. Не лучше ли одной помучиться немного — и успокоиться. В конце концов действительно все раны заживают. Да и какая это рана? Так, глупость. Недоразумение. Когда-нибудь буду рассказывать всю эту историю со смехом.

Ничего писать не буду. Ничего не было. Все осталось по-прежнему. Школа, ученики, мама, Олег, которого я все-таки люблю.

Легко решить: не буду писать. А он прислал второе письмо. Такое же нежное, горячее. Обещает писать каждый день. Веселенькая у тебя начинается жизнь, Виталия Ивановна. Вспомнила мамин совет. Написала, что есть жених и я вот-вот выйду замуж... Прошу простить, желаю счастья... И еще много всякой ерунды. Как малограмотная сентиментальная дура. Хорошо, что не отослала это идиотское письмо. Несла на почту и не донесла: разорвала на мелкие кусочки, пустила по ветру. Пускай летят. Гадко стало, что обманываю такого человека. Если бы хоть в самом деле кто-нибудь всерьез посватался. Олег, или Толя, или хоть черт лысый. Так нет же, не хотят, гады. Олег полезет целоваться — надаю оплеух.

Но что написать Васе, чтоб не было глупости, лжи, чтоб не обидеть его?

Написала Василю. Написала, что я:

во-первых, незаконнорожденная — это все же в какой-то мере правда!

Во-вторых, очевидно, от сознания своего неравенства с другими, у меня сложился плохой характер — несдержанная, злая, меня не любят ученики, товарищи по работе (боже, какое вранье и какой поклеп на себя!).

Если ты, мол, увидишь меня в будни, а не на празднике, не в гостях, уверена — отрезвишься и горько разочаруешься. А я не хочу этого. Я суровая реалистка. И так далее, и так далее. Сорок бочек арестантов...

Однако не удержалась — оставила лазейку: «Но и при таком своем характере я умею быть верной в дружбе. Если не пугают все эти мои качества, останемся добрыми друзьями. Более того — я хотела бы с тобой дружить. Я уверена: твоя доброта, чистота, твой романтизм должны благотворно повлиять на меня. Помоги мне стать лучше».

Одним словом, нагородила противоречивой чуши. Теперь жалею, что и это письмо не пустила по ветру или не вклеила в дневник, а отправила все-таки. Теперь, как влюбленная девчонка какая-

нибудь, со страхом, с замиранием сердца буду ждать ответа. Чувствую: больно, очень будет больно, если Вася больше не напишет.

Вчера Олег хотел поцеловать, когда мы остались дома вдвоем. Я решительно отстранилась:

«Нет!»

Удивился. Огорчился.

«Все-таки я не понимаю тебя. После поездки ты совсем изменилась. Что произошло?»

«Я попала на свадьбу. И мне самой захотелось замуж».

«Разве замужество — это штамп в паспорте, а не вера в человека, в его чувства?»

«Пригласи свою бывшую жену — побеседовать. Я хочу знать правду о ваших отношениях не только от тебя».

Как он вскипел.

«Правда одна! То, что я рассказал! А тебе надо бы судьей быть, а не педагогом. Ты не веришь людям! Требуешь невозможного!..»

«Ничего невозможного нет. Могу сама съездить к ней, если ты так боишься».

«Вот оно что! Наконец-то ты раскрылась. Теперь вижу: никакой любви в твоей душе нет! Ты пустая и холодная. Один женский и мещанский расчет да, может быть, еще самолюбие толкнуло тебя на связь со мной».

«Выбирай слова, господин директор!»

«Я говорю о душевной связи».

«Если есть расчет, душевной связи быть не может».

«Но ты разыгрывала любовь, как плохая актриса. Кружила мне голову».

«Бедный мальчик! Его обманули! Не поздно переменить адрес. Я дам новый: Адалина. Она ждет не дождется».

Почувствовал мой нареченный, что давление поднялось до предела, может произойти такой взрыв, что от наших отношений не останется и обломков. Дал задний ход. Подлизывался. Льстил. Успокоилась. Не стала ругаться. Но попрощалась холодно. И — никакого раскаянья. Видно, он правильно понял: нет у меня того чувства, из-за которого забываешь все на свете. Или, может быть, такое чувство бывает лишь в семнадцать? А в двадцать три — трезвая рассудительность? Ой, нет! «Любви все возрасты покорны».

Шумит весна. После последней предвесенней вьюги — «ехала масленица» и нагнала снегу под стрехи — наступило тепло. Солнце майское. Поплыл снег. Заревели ручьи. На улице — потоп. В учительской стоят резиновые сапоги — переходить из одного здания школы в другое. Но теперь это приятная прогулка, не то что осенью, когда сапоги оставляешь в грязи. Люблю широкие

реки. Правда, в последние две ночи стало подмораживать. Может высушить и не будет такого разлива, как, помню, однажды, когда я училась еще в школе. Тогда наша узенькая Хлява стала прямотаки Амазонкой — другого берега не видать. Удивлялись люди — столько воды!

Сегодня вскрылся лед. Стреляло, как из пушки. Сорвала урок в седьмом, ходили смотреть ледоход. Ведь мы натуралисты!

Не обошлось без приключения.

Подогнало к берегу большую льдину. Костя Вусик прыгнул на нее и меня позвал:

«Виталия Ивановна, поплывем?»

Как озорная девчонка, прыгнула на льдину, следом за учеником. Оттолкнулся он. Закружило нас и понесло. Понесло на середину речки, где неслись другие льдины. Испугалась я. Не за себя. Я хорошо плаваю. За него, за мальчишку, хотя он, чертенок, плавает, наверное, еще лучше. А он — молодец: хоть бы что.

«Не бойтесь, говорит, Виталия Ивановна, у меня ведь жердь. Мы в прошлом году с хлопцами до самой Лешни плыли».

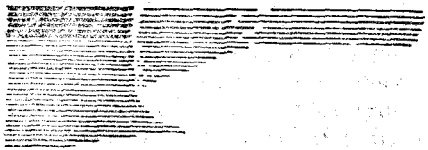
Люблю людей смелых. Никак до сих пор не могу понять: мама смелая или трусиха? Что ее привело в отряд? Смелость? Мужество? Ненависть? Жажда борьбы? Или только любовь к И. В.? Но, должно быть, и для этого нужно немало мужества — пойти за любимым в такое время на такую опасность в таком положении. Думаю: пошла бы я? Давно думаю. Может быть, за кем-нибудь и пошла. Но за Олегом, кажется, не пошла бы. Привет, старушка! Додумалась. Дописалась. Радуйся!

Письмо от Васи. Ответ на мое. Он делает то же самое: разоблачает себя. Все свои недостатки. Большинство из них, конечно, выдумал, так же как я. И такой же несдержанный, грубиян, за это из университета исключили. Необразованный, некультурный: «до сих пор с ошибками пишу». Ошибки я нашла только две, мелкие. Стиль, правда, не ахти какой, но не все же обладают литературным талантом; мне, например, лучше бы пойти на филфак, но еще девочкой я возненавидела горы замызганных тетрадей, над которыми мама слепила глаза, теперь хоть я ей помогаю.

До чего может дойти это наше самораскрытие, самобичевание? До абсурда? До презрения друг к другу? Но я не хочу презирать! Я хочу любить! Однако как отвадить его от себя? Как сказать, что о такой любви, о какой он пишет, и думать нечего? Вернуться к басне о замужестве?

Может быть, из-за этих мыслей я сегодня такой фортель выкинула, что сейчас самой и стыдно и смешно.

Шло комсомольское собрание; я — член бюро и потому еще в комсомоле. Толя Плющай долго и скучно — живой ведь парень, интересный, а на трибуне — зануда! — рассказывал о недавнем Пленуме. Я не слушала — думала о своем. А когда он окончил



и спросил, у кого есть вопросы, я, как школьница, подняла руку.

«Что там у тебя?»

«Толя, почему ты не женишься?»

Девчата прыснули, кто-то из ребят захохотал басом, словно гром петровский прокатился.

Толя, бедняжечка, как он растерялся! Покраснел, посинел, побелел. А потом взвился, крикнул:

«Ты что — пьяная?»

Выручил меня инженер-плановик Петро Хрипач:

«Так спали же все, Толя. Почему не устроить разрядочки? Ведь тут не академики, а комсомольцы».

Но несчастного Толю не обрадовала такая оценка его доклада. После собрания он пошел со мной и всю дорогу «распекал». Говорил, что мой поступок совсем не к лицу учительнице, члену бюро, кандидату в члены партии, что, по сути, это хулиганская выходка, что если бы он, Толя, был какой-нибудь бюрократ и пожаловался Лескавцу, поставил вопрос официально, то я могла бы, не успев вступить в партию, очень просто схватить выговор. Понимала, что сконфуженный, разозленный Йог наш мелет чепуху, пугает, — никто за такие шутки выговоров не дает, а потому отвечала ему опять же шутками. Но Толя никак не мог успокоиться. Проводил до дому, зашел к нам, стал жаловаться маме.

Я сказала:

«Толик, давай я тебя поцелую, и ты сразу все забудешь». Испугался, чудак, даже попятился от меня. Замолчал и быстренько смылся. Мама смеялась. Люблю, когда мама смеется!

22 марта

Аделька сегодня весь день сияла, как масленый блин. И вертелась вокруг меня, добренькая, сверхвежливая, деликатная — прямо расстилается. Я сразу поняла, что готовит какую-то гадость, но никак не могла догадаться — какую.

После уроков выскочила из школы вместе со мной.

На улице — грязь по колено. Возле хат протоптана тропочка, в самых грязных местах ребята положили кирпичи, жерди. Так пробираемся.

Я — в простых сапогах и потому шла смело, быстро — нарочно, зная, что Аделька мужицкой обуви никогда не наденет, она — в шикарных ботиках. Ей нелегко было идти за мной. Но шла. Бежала, как собачка, следом. И трещала, как сорока. Начала с признаний в любви. Такого лицемерия я не могла стерпеть. Остановилась, круто повернулась. От неожиданности она чуть не плюхнулась с кладочки в грязь.

«Вот что, Аделя, любовь твою я знаю. Кидай свою жабу сразу, не бойся, проглочу».

Съежилась, смутилась, словно заколебалась на минутку, но все-таки выдала:

«Одарка видела, как Олег Гаврилович целовался с Сиволобихой. Позавчера, после занятий кружка».

Я засмеялась. Громко. И, ей-богу же, весело, от души. Потому что сразу представила сцену: Олег и Сиволоб схватились за чубы из-за этой Марьевны. Спектакль на весь район! Потом вспомнила, что Сиволоб лысый, у него нет чуба, и стало почему-то еще смешней.

Аделю разозлил мой смех.

«Не притворяйся, пожалуйста! Ненавижу притворщиков! Хохочешь, а на сердце кошки скребут — разве не видно!» И, возмущенная, повернулась, пошла обратно.

Скребут, Адель ка, больно скребут. Сейчас здесь, дома, за дневником, особенно чувствую. Но черт с ними, с кошками! В конце концов все раны заживают. И не такие! Так даже лучше. Ставим точку, уважаемый Олег Гаврилович!

Иван Васильевич дочитал дневник, поднял голову. И — глаза в глаза. Надя сидела по другую сторону стола, напротив, по-женски горестно подперев щеки руками. Так она села, когда он начал читать. И за все это долгое время — тетрадь изрядная! — ни разу не шевельнулась, не изменила позы, ни словом, ни движением, ни вздохом не остановила, не помешала. Но Иван Васильевич все время чувствовал ее взгляд, она читала вместе с ним и в то же время следила за выражением его лица — как он реагирует на ту или иную запись. Иван Васильевич изо всех сил старался не выдать своих чувств, хотя иногда это было очень нелегко.

Теперь смотрела со страхом — ждала, что скажет он, единственный человек, которого позвала на помощь и который явился скорей, чем она надеялась.

Он и на этот раз шел от станции пешком. Но теперь не декабрьская дорога, твердая, как асфальт. Пришлось месить грязь. От усталости ныло тело. И разболелась нога. Раненая. Двадцать лет молчала, а тут вдруг дала о себе знать.

Он невольно сморщился от острой боли — Надя вздрогнула. Чтоб хоть на миг отвести ее мысли, отвлечь чем-то, он сказал:

— У меня болит нога.

Она ждала других слов, и эти, кажется, еще больше испугали, не смыслом своим — ненужностью в такой момент, когда им надо говорить не о себе — о Виталии. Где она?

Иван Васильевич глядел на знакомое лицо, в знакомые глаза. Знакомые? Нет, глаза почти незнакомые. Странно. Говорят, самое постоянное у человека — глаза. А у Нади глаза изменились. Никогда не видел таких больших — наверное, оттого, что похудела, таких глубоких — может быть, от пристального взгляда — и печальных. Печальными видел ее глаза и раньше, но то была совсем иная печаль. Вообще Надя очень изменилась с декабря, и, конеч-

но, все это произошло за последние три дня, после того, как исчезла неизвестно куда дочка.

Когда он пришел, Надя была в большом черном платке. Платок этот испугал. Но когда она, хотя и путано, рассказала, что произошло, и Антонюк понял, что пока еще ничего трагического не случилось, он прежде всего почему-то попросил снять платок. Надю это как будто приободрило. Она послушно сбросила платок и, пока он читал, сидела с непокрытой головой. Но волосы не были так старательно причесаны и приглажены, как тогда, в декабре. Иван Васильевич заметил в растрепавшихся прядях на висках немало серебра.

Глаза все время были сухие, ни одной слезинки не блеснуло ни при встрече, ни сейчас.

Иван Васильевич и после прочтения дневника не поверил в ту беду, которую вбила себе в голову испуганная мать.

Не видно, чтоб Виталия трагически относилась к жизни: девушка на все умела взглянуть рассудительно, оптимистически, даже с юмором. Но они во многом виноваты — мать и он. Видно, если назвался отцом, надо было идти дальше — взять на себя определенные обязанности, определенную ответственность. Беды он пока что не предвидел. Однако дневник потряс его. Может быть, потому не приходят слова утешения — не обычные слова, банальные, а такие, каких ждет Надя, веря, что только он один может их сказать.

Не выдержал Надиного взгляда — опустил голову, стал листать тетрадку, чтоб убедиться, показалось ему или в самом деле Виталия не всегда ставила даты, только в особых случаях. Да, это так. Какие же события она отмечала особо? Сообщение Адели, что Олег целовался с другой. Но ведь это могло быть просто сплетней завистницы.

Иван Васильевич искал в тетради другие даты. Ах, вот — после того как побывала у него, у отца. Самые тяжелые страницы.

Надя не дождалась его утешений — заговорила сама, стала рассказывать то, что уже рассказала, пока он снимал пальто, только в другой последовательности и с другими подробностями.

— Она спросила, Иван... совсем спокойно... О, если б ты видел, как она спросила! «Это правда?» — и с гадливостью ткнула мне это письмо... Я даже не прочитала... Я увидела фамилию Свояцкого и все поняла. Я ответила: «Это правда. Но ты пойми...» Она закричала: «Не надо мне твоих объяснений! Не надо!» Я заплакала. Вита молчала. Сквозь слезы я прочитала письмо. Иван... Кто его написал? Это не из честности, не для того, чтоб сказать правду. Нет. От злобы. От великой злобы, Иван... Кому мы причинили зло? Почему наша тайна не могла остаться тайной для нее? Она верила, что ты отец. И радовалась... Ты почувствовал, как она радовалась. Ты читал... Как ребенок...

— Я вел себя позорно, когда она приехала. Нельзя останавливаться на полпути.

— Не кори себя, Иван. Виновата я. Надо было сказать ей правду. Давно. Все забывается. Все раны заживают. Ой, нет, Иван, не все заживают. Сколько таких, от которых умирают!

— Надя, пожалуйста, без трагедии. Ничего ведь не случилось. Поживет где-нибудь у подруги, успокоится... и вернется. А если и не вернется, останется работать в другом месте... Не можешь же ты всю жизнь держать ее возле себя?

Надя ничего не ответила на его слова. Помолчала.

— Я вспоминаю, Иван... Я теперь вспоминаю все до мелочей, и многое меня пугает. Не помню, долго ли я плакала. Не помню — не сразу, нет, может быть, через полчаса, а может быть, и через час она вдруг ласково обняла меня. «Успокойся, мама. Я ведь ни в чем тебя не виню. Наверное, другие матери поступали так же. И я, когда стану матерью, возможно, тоже буду такой. Наверное, многие дети не знают о своих отцах». Я ждала, что она начнет расспрашивать о Свояцком. Иван! Я потому и скрывала, что не могу говорить о нем без ужаса, без омерзения. Как он растоптал мою душу! Может быть, это нехорошо, я за это наказана, но только тогда, когда ты сказал, что его нет в живых, я почувствовала себя свободной. Я радовалась... И вот он ожил. Он и мертвый мстит! Кому понадобилось это написать? Зачем? Иван!

— Надя! Пожалуйста, успокойся.

— Ты знаешь, Иван... Потом, поцеловав меня, Вита начала наводить порядок... На столе, на этажерке, в шкафу. Особенно старательно, очень уж старательно переставляла книги, как будто искала нужную ей. Она ведь вообще по характеру беспорядочная, у нее часто книги, вещи валяются где попало. Сперва мне так и показалось, что она ищет какую-то книгу или тетрадь. Я знала, что она ведет дневник, но ни разу не заглянула в него. «Вита, ты ищешь что-нибудь?» — «Нет!» — грубо оборвала. И тогда я испугалась, Иван. Мне показалось, что она прощается с книгами. Страшно, Иван, когда человек прощается с вещами. Ты видел когда-нибудь? Я не сводила с нее глаз. Но скоро она бросила перебирать книги. Легла и притворилась, что спит. Никогда не ложилась днем. А потом встала — начала готовиться к урокам. Говорили мы о будничных вещах, как обычно, только меньше... немногословно, не по-женски. И уже вечером, слушая по радио музыку, Вита задумчиво сказала: «Надо обо всем рассказать Лескавцу». Ох, как меня обожгло, Иван! Я даже не подумала, что ей придется пройти еще через это испытание. А она думала, Иван. Выходит: перебирала книжки, лежала — и думала. Я сказала, что пойду и сама все объясню, моя ведь вина, не ее. «Нет! Я сама!» — сурово так крикнула, со злостью. Но глаза загорелись. Мол, хватит, наобъясняли, напутали, теперь я сама буду распутывать, не маленькая. Но мне стало легче после ее выкрика. Правду говорю, Иван. Я верю людям... верила, что поймут... Лескавец, другие... Не себя я оберегала, не за себя

боялась. За нее. Ты знаешь. И может быть, даже лучше, что наконец открылась правда. В тот момент, ей-богу же, простила доносчику. Нельзя всю жизнь скрывать тайну, да еще от самого родного человека. Нельзя! А потом Вита спросила, когда его осудили, в каком году, где. Спокойно спросила. Как о чужом. И это меня еще больше успокоило. Правда, вечером опять было напугала. Услышала, что идет этот... Олег Гаврилович, спряталась за занавеску, попросила сказать, что нет дома. Я ведь тогда не знала об этом, — Надя тронула тетрадь, брезгливо поморщилась, сцепила пальцы. — Боже мой! Надо же так, чтоб все навалилось сразу! Я не верила этому человеку, не верила, что он принесет Вите счастье.

Директор и ему не понравился тогда в декабре, когда они познакомились с ним здесь, но Иван Васильевич старался быть беспристрастным, даже попробовал проникнуться симпатией. Не очень-то приглядно выглядит этот человек и по дневнику девушки, которая всерьез собиралась связать с ним свою жизнь. Но зачем растравлять свежую материнскую рану?

— Адалина... или как ее?.. Могла возвести поклеп.

— Ах, Иван, разве лишь в том беда, что он поцеловал эту раскрашенную куклу или она его... Нет! Эгоист! Себялюбец! Он так и не понял Витиной души. Если б он был другом, к которому можно прийти и все рассказать... Окажись я вот так на распутье, я поехала бы к тебе, Ваня. Несмотря ни на что. А к кому поехала она? К кому, Иван? Я дала телеграммы всем подругам, с которыми она когда-нибудь переписывалась.

— С парторгом... как его?

— Наш? Лескавец.

— Ему она сказала?

— Не знаю.

— Напрасно, Надя. Это же очень важно: как они говорили? Что она сказала? Что ответил он? Отсюда надо начинать...

— Навряд ли говорила с ним Вита. Кто-нибудь знал бы уже... Сам бы он пришел.

— Да как сказать. Судя по Витиным записям, Лескавец не такой простой человек. Я пойду побеседую с ним.

Тогда только Надя вспомнила, что он с дороги.

— Поешь, Иван.

Иван Васильевич шел к конторе совхоза по грязной тропочке за огородами, примерно той же дорогой, по которой когда-то вела его Вита показывать «достопримечательности» Калюжич. Шел, глубоко задумавшись, и не сразу услышал, что его кто-то окликает:

— Товаришок, а товаришок!

Оглянулся. Его догонял старик с вожжами в руках, с топо-

ром, засунутым за веревку, подпоясывающую старый, много раз латанный ватник. Подошел, снял облезлый треух, поздоровался, поклонился.

Ивана Васильевича даже немножко смутила такая почтительность — старорежимная какая-то. Подумал, что, может быть, дед успел уже «причаститься» с утра.

— Так что звиняюсь, товаришок. Кем вы доводитесь учительке нашей... Надежде Петровне?

Вопрос заставил насторожиться. И опять-таки смутил: кем он теперь ей доводится?

— Она была в моем отряде. В партизанах.

— А-а, — все понял дед, прищурил маленькие и хитрые, не промытые с ночи глазки. — Так слушай, товаришок, что я хочу тебе рассказать... Надежду Петровну пужать не хотел. Мало куда могла поплыть девка. Молодая — ветер в голове.

Иван Васильевич почувствовал, что подгибаются ноги.

— Куда поплыть, дед? Когда?

— Да слушай ты по порядку. Во вторник было. Я одонки из-под совхозного сена подчищал. Думаю: все равно зальет. А на ином одонке, гляди ты, клок какой и оставили, не себе же брали. Не перетряхивали хворостьё... Покуда стояли стога — не пойдешь... Кто ведает — везешь откуда? С одонка или из стога... Припишут тебе... А я, товаришок, чужого крошки нигде. Да коли вода заливает добро...

— Дед!

— Вот так-то, товаришок. На челне перевозил сенцо. Челн добрый. На ём до Киева можно доплыть. Съездил я раз, два, посгреб пудик там, дерьмо, конечно, товаришок, подмоченное, да корова ест, не переборчива...

— Дед! Так куда поплыла Виталия?

— Разве ж я говорю, что поплыла? Может, и не поплыла. Я что говорю? Плыл третий раз под вечер уже, а на берегу стоит кто-то... Думаю, может, сам Сиволоб. Откуль, скажет, сено, дед? На Панском же еще стоги остались. Ни один год не оставались, а тут стоят. На посевную, что ли? Хотя кто теперь на конях пашет. Тракторами всё, товаришок. Как загудят!..

— Дед!...

— Вот я и говорю... Подплыл — ажно она, молодая учителька... дочка Надежды Петровны. Прогуливается. Антилигенция! «Добрый вечер, — говорит, — дед. Дайте я вам помогу». Она пехтерек взяла, а я в вожжечки навязал. Так зараз и перенесли. Сколько того сена, товаришок! Спасибочка тебе, дочка. Дай бог здоровья. И баба моя благодарность отдала. Покуль то сено прибрал, на чердак поднял. Пошел, чтоб челнок вытащить к вербам да замкнуть на ночь. Челнов у нас да-авно не крали... Да и замочек не от честного человека... от детей. Глядь-поглядь — нету челна. Вот, думаю, оказия. Кто-то из совхозников увидел-таки да перегнал, чтоб это самое... вещественное иметь. Клочок же какой-ни-

будь сена остался. Позовут завтра. Да я и не испугался. Легко ж узнать, откуда оно, сено-то, — с Панского или из-за березняка.

— И челна до сих пор нет? — Иван Васильевич не узнал своего голоса — то ли так вдруг осип, то ли спросил шепотом.

— Позавчера не искал... Ждал — позовут... А вчера баба говорит: Петровнина дочка съехала неведомо куда. Матка телеграммы бьет во все концы. Тут меня и тюкнуло, товаришок.

Дед сперва говорил, то ли ребячась, то ли спьяна, а эти слова сказал серьезно и тихо, и закисшие глаза его стали проницательны, умны и печальны. Дед предполагал то, о чем с ужасом подумал Иван Васильевич. Дед молча, глубоко сочувствуя, глядел ему в глаза. Иван Васильевич ощутил острую боль в ноге. И страшную усталость. На миг стало дурно — почернело небо, и расплылось желтым пятном лицо старика. Испугался, что может упасть. Только раз в жизни, в партизанах, при воспалении легких случилось, — потемнело в глазах, закружились сосны, и он упал у входа в землянку.

— Побелел совсем, товаришок. Не пужай ты Надежду Петровну. Бабы, они знаешь какие. Нервы у их слабые. Ну, пускай поплыла. Так молодые теперь всюду плавают, всюду ходят. Их хлебом не корми, а дай ескурсию. Она девка смелая. А челн добрый. На ём до Киева можно доплыть.

Утро было хмурое, когда он шел со станции. Не по-весеннему холодное. А теперь облака рассеивались, выглядывало солнце. На водном просторе, сколько видит глаз, по волнам то тут, то там прыгали зайчики. Если б не ветер, верно, стало бы по-весеннему тепло. Но ветер дует с реки... Холодный. Какая река? Речка. Ручей, на который он — столько раз приезжал — не обращал внимания. А Вита сказала: «Если б вы видели, как она разливается, наша речка!» Да, да, он помнит, она говорила, как разливается их речка... ее речка. Нет, не ее речка! Не ее! Где она, речка?

Теперь, в разлив, даже неизвестно, где она, речка. Там, где стоит еще одна верба по ветки в воде? Или там, где полощется в волнах лоза? Или здесь, возле этой песчаной косы, на которой растут вербы, ряд старых искореженных и одиноких верб? К одной из них цепью привязана лодка. Лодки надо запирать! От детей. Как надо патроны прятать от детей. Как она, однако, разлилась, эта никому не ведомая, не отмеченная на географических картах речка! Полесская речка. Вон где тот берег. У другой деревни. Как она называется, та деревня? Волны лижут песок. Волны смывают песок и когда-нибудь подмоют эти вербы. Или, может быть, волны намывают песок и, вербы будут расти тут вечно? Она, маленькой, гуляла под этими вербами. Она ходила тут три дня назад. Помогла старику перенести сено. Кто виноват? Кто? Я? И я тоже. Нельзя прятать правду. Никакую. Как бы сурова она ни была. Опасно. Особенно нельзя прятать от детей. Особенно.

Вернись, Вита! И я все тебе расскажу. Ты умная, ты поймешь. Зачем ты так наказываешь мать? Она не заслужила такой

кары. Нет, не заслужила. Если б ты сама стала матерью, ты знала бы цену жизни. Она знала, твоя мать. И я знаю. А ты не успела узнать. Вернись, Вита!

Какой холодный ветер! И какие холодные волны. Размывают они косу или намывают? Небывало широкий разлив. Небывало? А может, он был таким и в ту снежную зиму? Снежные зимы! Большая вода! Иной раз они приносят беду. Но чаще дают радость — добрый урожай. Вита не верила этому. Как она писала? На песках — высыхает за неделю, на торфяниках — держится до июня. Выходит, снежные зимы не дают здесь урожая?

Гудят тракторы. Где-то на базе. Выходят на посевную. «Кто теперь на конях пашет? Тракторами все, товаришок». Да, тракторами. Вон они гудят! «Она девка смелая. А челн добрый». Ты мудр, дед. На твоем челне можно до Киева доплыть. Но зачем Вите плыть до Киева? А почему не поплыть? Назло всем. И для разрядки. Я, кажется, становлюсь скептиком и паникером. А мне теперь нужны спокойствие и сила... Спокойствие и сила. На двоих — на себя и Надю.

Зачем стою здесь, на этом ветру? Надо же что-то делать. Дать телеграммы во все пункты по речке... И дальше — по Припяти...

Куда можно доплыть за три дня?

Гудят тракторы...

И зазвенел звонок. Где-то ближе.

Иван Васильевич не сразу сообразил, что звонят в школе. А понял — содрогнулся. Припал лбом к старой вербе и застонал. Хотелось зубами грызть дерево.

Виталию нашли далеко — в Петринове, в больнице, с тяжелым воспалением легких.

XVI

Будыка поднялся со своего кресла-трона, раскинув руки, радостно приветствовал нежданного гостя.

— О-о! Труженик полей! Ура! Нерушимому союзу села и города... — И осекся на полуслове. — Что с тобой, Иван?

Иван Васильевич армейским широким шагом подошел к столу, дрожащей рукой расстегнул пуговицу плаща, выхватил из нагрудного кармана письмо, которое жгло сердце, пальцы.

— Ты писал?

Будыка схватил письмо, быстро пробежал, передернул плечами.

— Что ты! Зачем это мне?

— Ты знаешь, что ты сделал?

— Надя? — Будыка побледнел. — Иван! Как ты думаешь обо мне? За кого считаешь?

— За подлеца!

— Слушай!.. Что бы у тебя ни произошло, не забывай, что ты не в отряде, не в землянке.

— Письмо написано на твоей машинке... этой, — Иван Васильевич кивнул на приемную. — И не одно. Это тоже. Установлено экспертизой.

Будыка вспомнил посещение следователя, который вежливо попросил разрешения проверить машинки, и, охваченный еще не осознанным страхом, медленно опустился в кресло. На залысинах выступили крупные капли пота. Какой-то момент сидел неподвижно, потом стал лихорадочно нажимать на кнопку звонка. Секретарша появилась молниеносно.

— Клепнева! — не попросил — крикнул так, что закашлялся. Вытер платком губы, лоб, испуганно спросил: — Что с Надей?

Иван Васильевич не ответил. Смотрел на дверь. Ждал с таким чувством, с каким не раз поджидал в лесу зверя.

Будыка хрипел неестественным голосом, испуганным, заискивающим:

— Иван, как ты мог подумать? Разве я когда-нибудь подводил тебя? Выдал нашу тайну? Если б я хотел, так сказал бы Вите на свадьбе... Мы танцевали...

Напоминание о Вите передернуло Антонюка, резануло по сердцу болью. Объяснять этому человеку, что такое настоящая трагедия, не мог, не имел сил. Силы нужны, чтоб как-нибудь удержать себя в руках и выяснить... Для себя выяснить. Никого не покараешь. Ни по какому кодексу. Ни по уголовному, ни по моральному. Написанное — правда. Наоборот, сам он достоин кары за то, что утаил ее, правду, выдумал свое отцовство. И Надя... Выяснить хочется одно: зачем было написано это письмо? С какой целью? Он же просил, как друга, как человека.

Неслышно отворилась дверь — и вкатился Клепнев, как всегда с усмешечкой, веселенький, неся новый анекдот, который должен был смягчить шефа, если тот почему-нибудь разгневан.

Будыка тяжело поднялся, выбросил через стол руку с письмом.

— Ты писал?

Клепнев посмотрел в глаза Антонюку и, не взглянув даже на письмо, не взяв его, ответил с наглой улыбкой:

— Я писал.

...Допрашивали пленного карателя. Вопросы задавали все, Будыка переводил. Отвечал фашист смело, толково, давал очень полезные сведения. Антонюк думал: «Не дурак, знает, как спасти свою шкуру». И вдруг начальник особого отдела бригады Гогаридзе, который просматривал документы пленного, протянул ему, Антонюку, фотографию. На карточке — виселица, на ней в петле — их связная Галя Михальченко, живая еще, с раскрытыми глазами, в судорогах... А внизу он, этот, молодой, красивый, с поднятой ногой — только что выбил чурку из-под Галиных ног.

Никто и глазом не успел моргнуть, как Антонюк в упор, в лицо — в разинутый рот, в глаза — выпустил всю обойму. Впервые за войну вот так — в упор. Опомнился, только когда Будыка, комиссар, Гогаридзе скрутили руки, отняли пистолет, повалили на

кровать, прижали к стенке, а он бился, как в эпилептическом припадке...

...Стрелял в толстую, наглую морду. Так же в упор. Гремели выстрелы: бах, бах, бах... Но тот сразу упал. А этот не падает. Почему эта толстая паскуда не падает? И все так же нагло ухмыляется. Пули пролетели мимо? Нет, загодя скрутили руки. Стрелять нельзя...

Стрелять не из чего. Сбросив это наваждение, придя в себя, обмякший, залитый холодным потом, Иван Васильевич посмотрел на свои пустые, липкие от пота ладони, с отвращением вытер их о плащ.

Будыка кричал, Клепнев говорил тихо, с ухмылочкой. Не сразу дошел смысл их разговора.

— Нет, ты посмотри, Иван! Видал такого типа?

— Валентин Адамович, зачем же так? Что я крамольного совершил? И разве это первая тайна, которой ты поделился со мной в дружеской беседе? Конечно, я понимаю, Ивана Васильевича разгневало то, что ты выдал его пикантную тайну. Но ведь не ты писал анонимки. И я не донос написал. Открыл правду. Не люблю обмана.

— Ты кому это тыкаешь, холуйская твоя душа?

— Холуйская?! — Клепнев на миг сорвался, кинулся к столу, сжав кулаки. — Значит, холуйская?.. Так, так... Спасибо, Валентин Адамович. — Но тут же осекся, снова вошел в свою роль: — Зачем же так, Валентин Адамович? Не делает это чести такому ученому, как вы, — обидеть маленького человека, своего подчиненного. Нам с вами работать. И я бываю полезен. Я нужный... Я — свой.

Иван Васильевич не выдержал — тошно стало. Пошел к двери. Но пошел не мимо Клепнева. Пошел на него. Сквозь него. Как слепой. И Клепнев испугался — отступил. Но не в сторону. Отступил к двери, грозя пальцем: «Ну, ну!» Спиной отворил дверь, чуть не сбив с ног секретаршу, которая слушала под дверью. В коридоре умолк, побежал, трусливо оглядываясь. Нырнул куда-то вбок.

Ивана Васильевича догнал Будыка, задыхаясь, будто пробежал километр. От возмущения задыхаясь, от гнева. Пошел рядом.

— Видел, какую змею пригрел? Какая гнида! Сукин сын! А? Подонок! Сегодня же духа его не будет! Ты, как всегда, чуял. Куда ты, Иван? Расскажи толком, что там случилось. Что с Надей?

Иван Васильевич остановился у лестницы, повернулся, выдохнул Будыке в лицо:

— Пошел вон!

И осторожно стал спускаться по ступенькам.

В НОГУ С СОВРЕМЕННОСТЬЮ

Среди современных белорусских писателей одно из первых мест принадлежит Ивану Шамякину. Прозаик, драматург, киносценарист, Шамякин заявил о себе еще в первые послевоенные годы, и с тех пор каждая новая его книга становится предметом диспутов и обсуждений, вызывает бурные споры.

Творчество Ивана Шамякина неизменно перекликается с современностью. Все его книги рождались как ответ художника на острые и злободневные вопросы быстротекущей жизни, угадывали что-то очень существенное в сдвигах индивидуальной психологии и общественного сознания. Писатель обладает счастливой способностью уловить, воплотить в художественном образе то, что еще только как бы носится в воздухе, не имеет точного названия, лежит на грани чувства и сознания. Из всех белорусских прозаиков Шамякин, пожалуй, наиболее чувствителен к веяниям в сфере нравственно-этической.

Белорусская литература — и дореволюционная, и советская — характеризуется духом подлинной народности, демократизма. Все крупнейшие белорусские писатели — Янка Купала, Якуб Колас, Кузьма Чорный, Кондрат Крапива, Петрусь Бровка, Аркадий Кулешов, Максим Танк, Иван Мележ, Василь Быков — интеллигентны в «первом поколении». Они вышли из народных низов, принесли в литературу взгляд на жизнь, словарь, нравственно-этические оценки, свойственные трудовому народу. Это, конечно, не означает, что все эти писатели не поднялись над уровнем народной песни или легенды. Поднялись, овладели высотами общечеловеческой культуры, оставаясь в то же время певцами, выразителями дум и чаяний своего народа.

Иван Шамякин не исключение из этого ряда мастеров белорусского художественного слова. Он родился 30 января 1921 года в деревне Корма Добрушского района Гомельской области в семье лесника. По роду службы отца часто переводили с места на место. Для писателя, вероятно, немаловажным является то, где он родился, что увидел в самом раннем возрасте. Детство — время наиболее острых, глубоких впечатлений, когда душа как бы нараспашку раскрыта для постижения красоты мира. То, что Шамякин умеет рисовать пейзаж, чувствует красоту природы, несомненно, питается и его детскими впечатлениями.

До войны будущий писатель учился в разных сельских школах, а затем в Гомельском техникуме строительных материалов. Уже в школе он писал стихи, помещал их в стенных газетах, и почему для продолжения образования избрал техникум строительных материалов, остается непонятным. Скорее всего сказалось юношеское стремление быстрее выйти на дорогу самостоятельной жизни. Но стихи писали даже студенты этого сугубо прозаического учебного

заведения, и к чести Шамякина следует сказать, что вскоре он стал признанным техникумовским поэтом.

Поколение, к которому принадлежал Шамякин, выделялось обостренным вниманием к романтике подвига. Оно, это поколение, как бы предугадало, что на его плечи ляжет тяжесть военных испытаний и утрат, и сознательно готовило себя к трудностям. Это поколение предвоенной молодежи можно по праву назвать поколением героическим. С молоком матери восприняло оно идеалы Советской власти, раскрывшей перед каждым широкую дорогу. Юноши и девушки готовы были защищать завоевания социализма ценой собственной жизни. Понеся тяжелейшие утраты, потеряв миллионы жизней, советская молодежь минувшей войны в своем мироощущении даже отдаленно не напоминала «потерянное поколение» первой мировой войны, воспетое Ремарком.

Дальнейший жизненный путь Ивана Шамякина типичен для его сверстников. После окончания техникума — несколько месяцев самостоятельной работы, затем призыв в армию. В скором времени — война. Воевать пришлось на далеком Севере, под Мурманском. Человеку, выросшему в сравнительно мягком климате Белоруссии, было нелегко в тундре, в условиях долгой полярной ночи, лютой зимы.

Шамякин был командиром орудия, служил в зенитно-артиллерийской части. Немцы, налетая на Мурманск, безжалостно бомбили. Но, как вспоминает Шамякин, и зенитчики научились хорошо воевать, сбивая за один налет по три-четыре самолета, а однажды сбили даже шесть.

После Мурманска были новые военные дороги — Польша, Германия.

Закончилась война. Шамякин стал учительствовать в сельской школе. А когда он взялся за перо, ему было о чем рассказать.

Первый рассказ Ивана Шамякина «В снежной пустыне» напечатан еще в 1945 году. В нем повествуется о боях с немецкими захватчиками на Крайнем Севере, о красоте, величии души простого солдата. Эта тема звучит и в повести «Месть», написанной в 1945 году. Начиная с этой повести определилось направление творческих поисков писателя.

Талант Ивана Шамякина широк, многогранен, но в целом ему свойственно поэтическое восприятие мира, ощущение его гармонии, доброго гуманного начала в человеческих сердцах и душах. Если в нескольких словах сказать о самом главном в творчестве Шамякина, то этим главным будет глубокое, тонкое понимание того, что выросло в характерах, в отношении к миру людей, воспитанных в условиях советской, социалистической действительности.

Ивана Шамякина наиболее привлекает становление характера, духовного облика его современника. У майора Романенко, героя повести «Месть», фашисты уничтожили семью, жену и детей. Полный чувства святой ненависти, майор приходит в Германию. Он находит семью изверга, виноватого в смерти родных. Но он не мстит. Романенко — советский человек и воин — пришел в фашистское логово, чтобы освободить самих немцев от «коричневой чумы».

Широкую известность принес Ивану Шамякину его первый роман «Глубокое течение», опубликованный в 1948 году. Белорусская литература к тому времени имела уже немало произведений о партизанской борьбе. Но вот появился роман Шамякина и сразу занял видное место в литературе. Книга была

правдивой, драматичной, занимательной. А судило книгу поколение, которое прошло через всю войну и выиграло победу.

Иван Шамякин в своем романе сумел донести глубокую, важную, но одновременно и простую мысль: партизанское движение как сила могло успешно развиваться потому, что его поддерживал народ. Была в романе и другая мысль, равная художественному открытию: советских людей вела в партизанский лес не дорога личной обиды, оскорбления, а что-то более серьезное, существенное: общественный долг, высокое чувство патриотизма.

Писатель рисует в романе взаимоотношения обычной белорусской деревни и партизанского отряда. Рисует типично и в то же время правдиво, не выбирает героев исключительных, а показывает людей обычных — колхозников, учителей, деревенскую молодежь.

После «Мести» и «Глубокого течения» Иван Шамякин еще не раз вернется к событиям военных лет. Своему поколению, его нелегким путям-дорогам, озаренным пожарами войны, посвятит он пентологию «Тревожное счастье». Это в наибольшей степени биографическая книга Шамякина. В собранных под одной обложкой пяти повестях, которые рисуют то белорусское Приднепровье, его леса и нивы, то суровый Север, где пришлось воевать главному герою повести Петру Шепетовичу, в избытке романтика молодости, поэзия первой любви, юношеских раздумий о жизни.

У Шамякина — острое социальное зрение и, как уже говорилось, тонкое чутье современности. Пять романов — «В добрый час», «Криницы», «Сердце на ладони», «Снежные зимы», «Атланты и кариатиды» — создал писатель по горячим следам быстротекущей жизни. В каждом из них — крупные, масштабные образы, что несут в себе приметы времени, отражают его свершения и противоречия.

В романе «В добрый час» передана незабываемая атмосфера послевоенной деревенской жизни, восстановления разрушенного войной колхозного хозяйства. Писатель показывает драмы и противоречия на этом пути, искреннюю радость людей, которые возвращаются к мирной, трудовой жизни.

Крупная удача прозаика — роман «Криницы». В нем рассказывается о реках народной инициативы как о приметах времени в жизни деревни 50-х годов, о крушении парадности и зазнайства, воплощением которого выступал деятель районного масштаба Артем Бородка, о воспитании бодрой, духовно здоровой смены, достойной мужественных отцов.

Острые нравственно-этические и социальные проблемы поставлены в романе Ивана Шамякина «Сердце на ладони».

Оговоримся сразу — писатель в этом романе решает во многом новую для себя задачу. Раньше в поле художественного исследования писателя была преимущественно деревня: колхоз, сельская интеллигенция и труженики села, районные работники — области жизни, достаточно исследованные белорусской литературой. В романе же «Сердце на ладони» И. Шамякин воссоздает облик областного индустриального города, рисует бурный, стремительный поток жизни, людей города — партийных и советских работников, врачей, журналистов, рабочих завода. Белорусской литературе еще предстоит взять важные для нее высоты — добиться, чтобы тема города, рабочего класса звучала в ней так же выразительно, как и многие другие, эстетически освоенные темы, и каждый новый шаг в этом направлении вызывает чувство радости.

Писатель продолжает счастливо найденную тему и в двух последних своих романах: «Снежные зимы» и «Атланты и кариатиды».

В романе «Снежные зимы» Шамякин создает образ одного из тех людей, кого мы сегодня называем старой гвардией, образ человека, долгое время занимавшего в жизни руководящее положение, выявляет морально-нравственный потенциал этого героя, раскрывает его духовный мир.

Иван Васильевич Антонюк — герой романа Ивана Шамякина — руководитель, если можно сказать так, в прошлом. Теперь он персональный пенсионер и находится в положении, которое благоприятствует тому, чтобы осмотреться, осмыслить прожитую жизнь, оценить пройденные пути-дороги.

Действие романа разворачивается в двух планах: Антонюка, не по своей вине и воле оказавшегося на пенсии, мы видим то молодым, тридцатилетним мужчиной — в глубоком тылу врага он организовал партизанский отряд, не раз смотрел смерти в глаза, знавал горечь поражений и радость побед, — то уже пожилым, умудренным житейским опытом, окруженным мелкотой и суетностью семейного быта. Такое двойное освещение, когда сочетается идеальное и будничное, позволило писателю создать образ жизненно правдивый и убедительный.

Антонюк — человек умный, честный, прямой. Длительное пребывание на высоких руководящих постах не вскружило ему голову, не заставило поверить, что он сделан из иного, чем другие люди, теста. Не шел Иван Васильевич на компромиссы с собственной совестью даже тогда, когда это угрожало крупными личными неприятностями. Есть в нарисованном писателем образе что-то от народного характера.

Однако Шамякин вовсе не стремится представить своего героя идеальным. Антонюк, будучи твердым в нравственных убеждениях, в патриотических, партийных позициях, в то же время человек обычный, со своими слабостями и недостатками. Но жизнь не однажды подтверждала, что, несмотря на эти ошибки и слабости, он верно служил идее и правде.

Антагонистом Антонюка выступает в романе Валентин Будыка, бывший начальник штаба в том партизанском отряде, которым командовал Иван Васильевич, а теперь директор научно-исследовательского института. Что-то разделяло Антонюка с Будыкой еще тогда, в суровые годы борьбы с врагом, но теперь, в мирные дни, когда война стала воспоминанием, «водораздел» между ними значительно глубже, он касается принципиальных жизненных позиций. Будыка легко плывет по волнам административного успеха, не упускает возможности приобщиться к научной славе, которую не заслужил. Он не терпит критики, умеет угодничать, подхалимничать, главное для него — жизненный шик, комфорт. Именно на почве такого разного, по существу, противоположного отношения к жизни возникают бесчисленные конфликты между Антонюком и Будыкой. Это очень важная мысль романа — в жизни многое зависит от самого человека, от того, как он поведет себя в тех или иных обстоятельствах. Мы видим, чувствуем: при одних и тех же условиях Антонюк и Будыка поступят по-разному.

Но и про Валентина Будыку нельзя сказать, что это герой абсолютно «черный». И он способен на подлинно человеческий поступок, и он умеет отвечать на дружбу дружбой, а на добро добром. Короче, Валентин Будыка при всех его грехах и падениях еще не совсем потерянный для общества человек,

Из всех произведений писателя роман «Снежные зимы», пожалуй, наиболее публицистичен. Его герои живут в атмосфере острых нравственных поисков. Писатель поднимает немало животрепещущих проблем современности, ищет на них ответ, приглашая читателя к этого рода размышлениям и спорам. Несомненно, «Снежные зимы» — творческая удача прозаика.

И вот последний роман Ивана Шамякина — «Атланты и кариатиды». Он «урбанистический» в лучшем смысле этого слова. Разве не дает роман Шамякина основания для раздумий о самых острых, злободневных вопросах «дня бегущего», и я хотел это подчеркнуть — преимущественно вопросах нашего городского бытия? О том, например, что всесилие техники, техническое решение архитектурных задач приходит в известное противоречие с развитием градостроительства как искусства? Или еще о том, что рождаются в жизни руководители, такие, как Игнатович, которые в своем неуемном стремлении к деловитости, к полезной, так сказать, «отдаче» каждого своего решения забывают иной раз о человечности, чрезмерно поспешают рвать узы дружбы, личной симпатии.

Роман Шамякина заставляет порассуждать и о том, что рост благосостояния при отсутствии высокой духовности у человека в какой-то степени благоприятствует оживлению мещанских настроений, потребительского отношения к жизни.

В центре нового романа «Атланты и кариатиды» архитектор Максим Карнач — «деловой» герой, человек поистине целеустремленный, энергичный, но вместе с тем привлекательный и тонкий в своих чувствованиях.

В последние годы советская проза, тематически связанная с жизнью города, как бы заново проходит путь открытия производства, экономики с их сложной системой отношений, подчинений, где сталкиваются не отсталый директор с мастером-новатором, как нередко показывалось в прошлом, а предстают подлинно драматические узлы человеческих и иных отношений. В романе Шамякина мы как раз и имеем дело с таким случаем. Вопрос о размещении химического комплекса решают горком, обком, министерство, многие другие городские и вышестоящие инстанции, в споре о правомерности или ошибочности «посадки» комплекса в пригородном, как бы подаренном самой природой городу зеленом массиве сталкиваются десятки людей. Отношения Максима Карнача с товарищами по профессии, городскими руководителями, семьей позволяют писателю обстоятельно «высветить» характер героя, глубоко раскрыть его сущность.

Максим Карнач, конечно, понимает, что архитектурный облик современного города в значительной мере обусловлен техническим развитием материального производства. Но он понимает также и то, что техника — одно, а архитектура — несколько другое, что технизация мышления в таком деле, как градостроительство, может принести немало вреда. Карнач с неистощимой энергией, преодолевая поражения, «подкопы» явных и тайных недоброжелателей, удары личной судьбы, сложившейся для него несчастливо, добивается, чтобы город, в котором он живет и который строит, был красивый, уютный, чтобы он приносил людям радость и стал явлением искусства, подлинным памятником своему героическому времени.

В романе недвусмысленно утверждается мысль, что социализм создает неизмеримо более благоприятные условия для развития научно-технического

прогресса, чем какая-либо другая общественная формация, но писатель в то же время напоминает, что условия эти надо реализовать, что на пути прогресса в его повседневном, будничном преломлении, в его практическом осуществлении немало трудностей, препятствий и что в конечном счете очень многое зависит от самого человека, поставленного на тот или иной пост, от его умения отстаивать свои убеждения, свои общественные, партийные позиции.

Максим Карнач умеет постоять за себя и за дело, которое является как бы частью его самого. А вот его другу Виктору Шугачеву, тоже талантливому архитектору, как говорится, не хватает характера. Будучи человеком слабовольным, мягкотелым, укоряя себя за это каждый день, он тем не менее долгие годы занимается «дизайном» — индустриальной архитектурой, при которой архитектор может легко превратиться в прораба, потеряв свои профессиональные качества. Только при высокой настойчивости, даже самоотверженности в «дизайне» может проявиться индивидуальность, личность архитектора-художника, его талант.

Таким образом, писатель выносит на читательский суд острый и животрепещущий вопрос о том, что технизация мышления, только рационалистический взгляд на мир, при котором отсутствуют эмоции и чувства, способны переродиться в узкий, ограниченный практицизм и привести к нивелировке личности, к утрате ее оригинальности и неповторимости.

Максим Карнач подкупает нас широтой своей натуры, чуткостью к человеческой радости и горю, жизнелюбием. Эти его качества проявляются и в конфликте с Игнатовичем, считающим, что главное для руководителя не эмоции и чувства, а работа «по-научному, с использованием новейшей техники и новых методов». Игнатович именно поэтому с необычайной легкостью рвет дружеские связи с Карначом, утешая себя тем, что это для пользы «дела». В конечном счете подлинно «деловым» героем оказывается Максим Карнач.

Карнач не новый образ у Шамякина. Он как бы синтезирует в себе качества, которыми обладали хирург Ярош из романа «Сердце на ладони» и представитель «старой гвардии» Иван Васильевич Антонюк из романа «Снежные зимы».

Но несомненно, что и на этот раз писатель показал свое умение чутко улавливать новые веяния времени. Секретарь горкома Игнатович, так, как он обрисован в романе, — компетентный руководитель. Слов на ветер не бросает, во всем точен, сдержан, строг, исполнителен, старается до мелочей изучить даже техническую сторону дела, которое попадает в его руки. Но «человеческий» фактор он принимает во внимание меньше всего. Во всяком случае, по отношению к Карначу Игнатович совершает явную ошибку. Стараясь помочь строительству города, уступая вышестоящим инстанциям, он, однако, забывает, что Карнач — талантливый, творческий человек, и уже одним этим приносит несомненную пользу городу.

Именно эту коллизию Шамякин подает как острую приметy времени: в условиях научно-технической революции, при наличии эрудированных, технически вооруженных руководителей общество имеет не меньшую потребность в людях, которые видят не только ближнюю, но и дальнюю перспективу, способны смотреть вперед и, повинуясь своему партийному дол-

гу, совести, глубоко понимают, что наисложнейшее дело решают прежде всего люди.

Таким руководителем в романе Шамякина предстает секретарь обкома Сосновский, который умеет мыслить широко и масштабно. Он, наверно, хуже Игнатовича разбирается в деталях градостроительства, в специальных областях знаний, но зато берет другим, несомненно, большим: зоркостью, дальновидностью видения, чувствования жизни, подлинно народным складом натуры и, может быть, еще мудрым пониманием старой доброй истины — наскоком, кавалерийской атакой, так же как и действуя по заранее рассчитанной, но лишенной человеческого содержания схеме, великих, подлинно народных целей не достигнешь.

Новый роман Ивана Шамякина, как и предыдущий, по-хорошему публицистичен, заострен, широк по охвату нашей быстротекущей действительности. Думается, как и прежние произведения писателя, он не оставит равнодушным самого широкого читателя.

ИВАН НАУМЕНКО

СОДЕРЖАНИЕ

АТЛАНТЫ И КАРИАТИДЫ 3
СНЕЖНЫЕ ЗИМЫ 315
Иван Науменко. В ногу с современностью 616

Шамякин И. П.

Ш19 Атланты и кариатиды. Романы. 2-е изд. Авториз. пер. с белорус. А. Островского. М., «Молодая гвардия», 1978.

624 с. с ил.

Содерж.: Атланты и кариатиды. Снежные зимы. Романы.

В однотомник народного писателя Белоруссии Ивана Шамякина вошли два романа. Уже известный читателю роман «Снежные зимы» повествует о советской интеллигенции первого послевоенного двадцатилетия. В центре произведения — образ бывшего партизанского комбрига Ивана Антонюка, который, уйдя на пенсию, продолжает активно участвовать в общественной жизни. Новый роман писателя — «Атланты и кариатиды» — посвящен нашим современникам, людям, строящим новый, социалистический город. Судьба главного архитектора города Максима Карнача, его труд, семейная жизнь, морально-этические проблемы, которые ему приходится решать, и составляют сюжетную основу романа.

Ш $\frac{70303-144}{078(02)-78}$ без объявл. С(Бел)2

Иван Петрович Шамякин
АТЛАНТЫ И КАРИАТИДЫ

Редактор **А. Гремицкая**
Оформление художника **Ю. Бажанова**
Иллюстрации художника **Г. Калиновского**
Художественный редактор **Н. Печникова**
Технический редактор **Е. Брауде**

Подписано к печати с матриц 16/V 1978 г. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага № 2. Печ. л. 39 (усл. 39). Уч.-изд. л. 44,9. Тираж 100 000 экз. Цена 3 р. 20 к. Заказ 982.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.